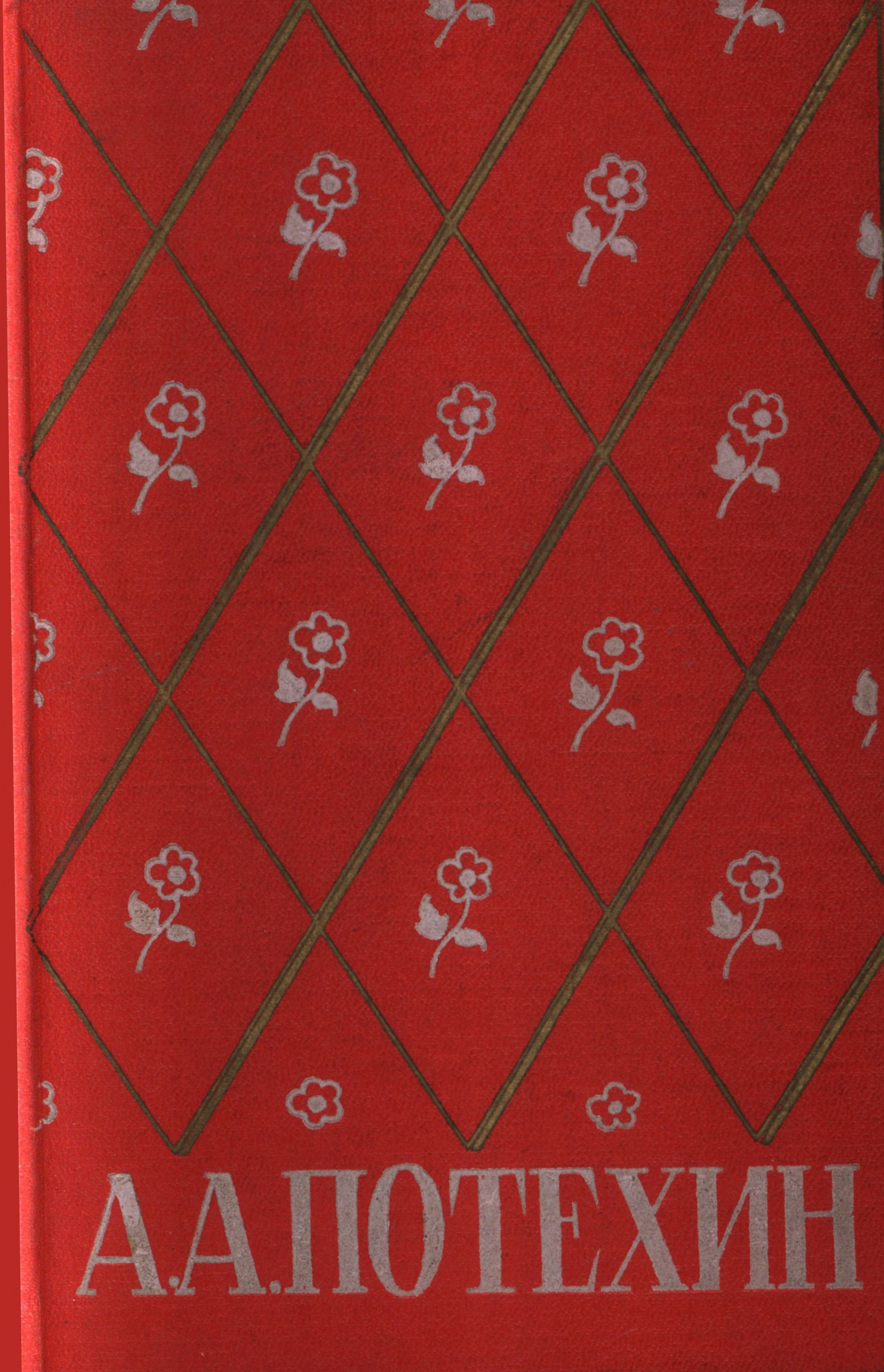


А.А.ПОТЕХИН

А. А. ПОТЕХИН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



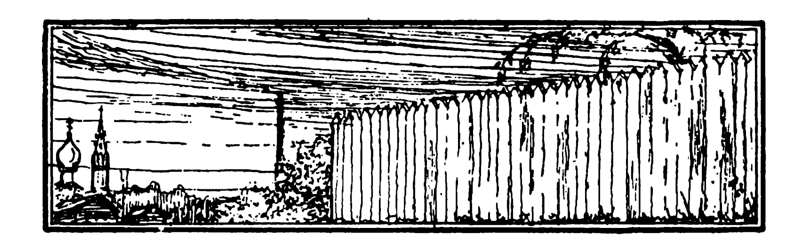
ИВАНОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1960

Р1
П.64



ОКОЛО ДЕНЕГ

РОМАН



I

В деревне Сногищево — канун храмового праздника, «престол», как говорят крестьяне. Деревня эта большая, промышленная, славится хлебосольством и издавна привыкла справлять свой праздник на славу. Сторона здесь фабричная, народ балованный, бойкий, франтоватый: давно забыл, как носят лапти, оделся в жилет и суконную поддевку, надел картуз и пуховую шляпу, а баб своих обрядил в ситцевые платья и польты. Обычную ежедневную жизнь деревня ведет по пословице: на брюхе шелк, а в брюхе щелк; но в праздник свой кутит во всю ивановскую, кстати и престол-то на Ивана-весеннего; и в три праздничных дня пропивает и проедает чуть ли не полугодовой свой заработок. Такое уж заведение, так исстари завелось. В Сногищеве, за околицей, на просторном выгоне, около речки, часовня стоит, давно кем-то поставленная в честь Иоанна предтечи; в иванов день к ней из соседнего села крестный ход бывает, много народа из окрестных деревень собирается, местные прасолы лавочки ставят, торгуют пряниками, орехами, рожками и другими сластями; тут же досужие бабы пекут на скородельных из глины печурках оладьи и пышки; на другом конце деревни барин на своей земле кабак открыл. Иванов день и без того самый веселый весенний праздник,— как же не справлять такого дня на славу, на показ всей округе?.. Самый последний бедняк в Сногищеве запасает на этот день три-четыре ведра водки, покупает пшеничной муки и тушу убоины, а о более зажиточных, справных, и говорить нечего. Нет денег к

празднику,— он займет, запродаст для него свой будущий труд, заложит последнюю одежду, кроме летнего праздничного кафтана, но иванов день справит как следует. Гости, родные сходятся и съезжаются со всех сторон, даже из дальних мест, верст за 40, за 50. Сногищево прежде была деревня барская: девок из нее выдавали замуж в другие дальние деревни, а из них брали невест для сногищевских женихов; оттого к вечеру, накануне иванова дня, по всем дорогам, идущим в Сногищево, тянулись телеги, нагруженные родными, гостями. Крестьяне чтут родство не только близкое, по крови, но и дальнее, не только плотское, но и духовное: оттого в гости к хлебосольным хозяевам ехали тести и тещи, свекры и свекрухи, зятевья, невестки и золовки, деверья и шурья, дяди и тетки с племяшами, крестные и крестненьки, кумовья с кумами, сваты со свахами, словом, вся родня и кровная, и богоданная. Телеги, кругом обсаженные мужичьими, бабьими и детскими головами, то и дело въезжали в деревню, медленно тянулись улицей и останавливались перед той или другой избой, и потом как бы проваливались в темную пасть отворенных ворот. Шли встречи, целованья, обниманья, приветствия; ставился самовар или появлялась одна водка с закусью, смотря по достаткам; хозяйки распределяли, кому из гостей где спать: кому в горнице, кому в сенях, а кому и в сенном сарае.

Смеркается. На улице вовсе нет народа и никакого движения, изредка разве проскрипит телега с запоздавшими гостями; зато во всех избах шум и разговоры. Только один дом во всей деревне, самый большой и построенный по-городски, остается тих и как бы безлюден. Стоит он особняком от остального порядка крестьянских изб; двор при нем обнесен высоким крепким забором, верхушка забора усажена гвоздями, острием вверх; ворота во дворе крепко заперты; ставни закрывают окна. К этому дому не подъезжали нагруженные головами телеги, ворота широкого двора не растворялись для встречи дорогих гостей. Здесь живет самый богатый в деревне крестьянин, записанный даже в купеческую гильдию, Терентий Савельич Скоробогатый, владелец небольшой ткацкой фабрики и набоечного заведения. Семья его состоит из женатого, но не отделенного еще сына, очень немолодой девицы-дочери и старухи-сестры. Скоробога-

тый, седой, но бодрый еще старик, с черными живыми глазами, блестевшими из-под нависших, вечно хмурых бровей, слыл человеком скупым, нелюдимым, неприветливым. Как хозяин фабрики, на которой большинство крестьян Сногищева искало и находило работу, как капиталист, платящий рабочим деньги, он считал себя выше своих сельчан, стоял от них в стороне и не сближался с ними; богачи-фабриканты с своей стороны также смотрели на него свысока и не нисходили до короткого знакомства с ним; бедной родни своей он дичился, как человек богатый и скупой, да к тому же и неприветливый, а с родней невестки, взятой из небогатой купеческой семьи соседнего города, он не ладил из-за расчетов о приданом: вследствие этого, Скоробогатый жил одиноко и даже на храмовый праздник не ждал к себе гостей. Ворота его дома накануне праздника затворились и заперлись тотчас, как в полдень пошабашили на фабрике и разошлись рабочие,— с тем, чтобы не отворяться вплоть до следующего утра.

Большой дом Скоробогатого был обитаем только наполовину. Все передние комнаты, выходящие на улицу, назывались парадными и открывались только в торжественных случаях: когда заезжал исправник, становой или иная предержащая власть,— и в большие праздники, когда приходил батюшка со святом и чинилось ему подобающее угощение. В обыкновенное время все эти комнаты с лоснящимися полами, налакированною до зеркальности мебелью, всегда стояли запертыми, даже ставни на окнах редко открывались, и сам хозяин, проходя по комнатам накануне праздника, чтобы зажечь лампадку перед образом, с такой осторожностью ступал по половикам, разложенным вдоль всей комнаты от двери до двери, точно шел по гибкому мостику над бездонной пропастью. Вся семья помещалась в задних жилых комнатах дома, где, в противоположность парадным, царствовала духота, беспорядок и неопрятность.

Несмотря на то, что у Терентия Савельича считали не один десяток тысяч залежного капитала и оборот его фабричных заведений шел также на десятки тысяч, он жил совсем по-мужицки: прислуги почти не держал, прибирала в доме и кушанье стряпала его сестра, сам он не гнушался и задать корма лошади, и заложить ее, если от фабрики жалелось оторвать рабочего, а нужно было

куда-нибудь ехать. Всю семью он держал в великом страхе и послушании. Тридцатилетний сын исполнял только его приказания, самолично не мог ничем распорядиться, и был у отца, как говорится, на посылушках, несмотря на то что в последнее время старик как будто меньше стал заниматься делом, редко ходил на фабрику и больше все сидел дома,— деньги сторожил, как говорили в деревне. Сестра старика, Анфиса, была совсем ходячей машиной, раз заведенной и пущенной в ход для ведения всего домашнего хозяйства неизменно по однажды заведенному порядку. Старуха она была по природе сварливая, но, боясь брата, никогда вслух и прямо не выражала своего неудовольствия или даже какого-либо мнения, зато целый день, бродя по дому, чуланам, погребам, кладовым, что-то бурчала себе под нос и вечно носила недовольное, точно обиженное лицо. Терентий Савельич и смотрел на нее, как на машину, которая хоть и скрипит, но дело свое делает и остановится разве тогда, когда совсем рассыплется. От времени до времени, впрочем, он считал нужным ее смазывать подачками в виде куска ситца, башмаков, рубля денег и т. п. Дочь, Степанида Терентьевна, молчаливая, степенная, скопидомка и богомолка, пользовалась еще некоторым влиянием на отца, но и это влияние значительно уменьшилось с тех пор, как брат женился и привел в дом невестку. Эта последняя, белая, румяная, тучная и сонливая, была любимицей старика и могла назваться настоящей хозяйкой в доме, потому что делала что хотела или, лучше сказать, вовсе ничего не делала, но нередко ломалась и капризничала над всей семьей, и старик терпеливо переносил ее капризы. С некоторого времени Степанида Терентьевна начала очень враждебно посматривать на невестку. Отношения ее к отцу становились все холоднее и натянутее, вообще она сделалась еще серьезнее, неприветливее и молчаливее.

Вечером, накануне иванова дня, вся семья сидела за ужином в кухне, перед простым деревянным, ничем не покрытым столом. На столе стояла белая с синими полосками глиняная чашка, из которой вся семья хлебала ложками из нового серебра. По коленям ужинавших лежало одно общее полотенце, которым вытирали не только губы и руки, но и вспотевшее лицо и нос. По одну сторону стола сидел старик, рядом со снохою, по другую —

брат и сестра. Старуха, тетка Анфиса, прислуживала, резала хлеб и говядину, наливала варево, подавала смены и, сделавши свое дело, присаживалась к тому же столу и ела вместе с другими. Варево хлебали медленно и лениво, как полусытые люди, которым притом и торопиться некуда, но молча. После щей тетка Анфиса поставила на стол белое плоское блюдо, на котором лежала, нарезанная мелкими кусочками, баранина с солеными, тоже изрезанными, огурцами, и каждому из ужинающих бросила по изогнутой, худо вычищенной вилке с деревянным обтертым, порыжевшим черенком.

— К обедне-то завтра хошь, али нет? — спросил Терентий Савельич, тыкая вилкой в баранину и полуоборачиваясь к снохе.

— Как не хотеть, чай, крещеная, праздник у бога живет,— отвечала та.

— Чай, парочкой тарантасик обрядить про вас? — продолжал старик, желая ласково улыбнуться.— Обрядить, что ли? Тот, что новый завели? — А?

— Да, уж можно бы, кажется, батюшка, не все ему в сарае стоять... Купили, так, чай, ездить бы надобно, особливо под этакой праздник,— не грех бы и парочкой... Не против людей, слава богу,— фабрикантами считаетесь тоже... На телеге-то трястись ровно и зазорно; тоже смотрят, осуждают, от экого-то дома да ровно простые мужики...

— Ну, ну, ладно, вот завтра велю... Мы с Иваном,— он показал на сына,— в тележке поедем; а к вам даже кучером посажу Сережку сторожа,— вот и поезжайте со Степанидой, ровно барыни...

— Я пеша пойду,— оборвала его Степанида.

— Что? — переспросил отец.

— Пеша, я говорю, пойду, не поеду.

— Отчего так?

— Отчего! — Завтра, чай, ход; с образами пойдут; я завсегда пречистую ношу, и завтра пойду с пречистой.

— Так это из церкви, после обедни.— Зачем же тебе к обедне-то пешей идти?

— Завсегда пешком ходила, не впервой... Здесь недалеко; мне не привыкать.

— Да знамо, коли ежели не ко времени, али там в простой какой день, зачем лошадей забивать, можно и пешком, коли помолиться желаешь... А теперича этакой

праздник... И опять же я сам... Для праздника же тарантас купил, нарочно для вас... Вот и поезжайте... Чего же?.. Тарантас, и парой заложу... и с кучером!.. Чего же?.. Можно ехать, кажется, особливо, коли ежели я сам желаю этого...

— Ну, вот пускай Матрена и едет... А я непривычна к тарантасам, век свой в телегах ездила... Опять же у меня обещание: пешком завсегда, особливо завтра. Да чего лучше, ты сам с ней и поезжай, с Матреной, тебе, по старости лет, чего пристойнее спокой себе иметь, в тарантасах ездить...

Терентий Савельич сверкнул на дочь глазами.

— Что ж ты думаешь, и поеду,— сказал он.— Ты, Иван, поезжай завтра на буланой, в тележке, а серых в тарантас обряди, Сережке вели на козлы сесть заместо кучера, в тарантасе я с Матреной поеду...

Терентий Савельич метнул на дочь сердитый взгляд.

— Я еще вот с ней на казанскую, в город на ярмарку поеду, гостинцев покупать,— прибавил он, вставая из-за стола.— Слышишь, Матрена Карповна? Вот знай!

Он перекрестился раза два на угол и, круто поворотясь, пошел вон из кухни. Степанида крепко сжала губы, сложила на коленях руки и низко опустила голову, уставя глаза в землю. Матрена смотрела на нее тупыми глазами, глупо ухмыляясь.

Иван Терентьич, дюжий, краснолицый, с заплывшими, но хитрыми глазами, вставши из-за стола, дольше обыкновенного молился, размашисто крестясь, и только тогда, как отец затворил за собою дверь, тряхнул кудрями и промолвил:

— Матрена, пойдем спать...

Лицо его оставалось совершенно неподвижно и спокойно, только глаза как-то суетливо и беспокойно бегали.

Матрена встала, зевая, и, лениво переваливаясь, пошла за мужем. Степанида подняла голову и посмотрела вслед уходящим с какой-то сосредоточенной злобой и потом медленно перевела глаза на Анфису, которая прибирала со стола и мыла посуду, по обыкновению что-то бормоча себе под нос.

«Не как у людей... Ровно в аду!..» — вот все, что можно было разобрать из ее воркотни.

Степанида, наконец, встала с места с тяжелым вздо-

хом, положила перед образом несколько поясных поклонов, медленно, истово крестясь, подошла к тяблу, поправила лампадку и, наконец, обратилась к Анфисе.

— Что же, пойдешь в часовню-то канон править? — спросила она ее.— Уж пора, чай, ждут, собрались.

— Рада бы идти, да когда мне,— сердито огрызнулась Анфиса,— надо опару ставить, тоже примыть, прибрать к завтрею... Хоть и не как у людей, а тоже и у нас праздник...

— Ну, так я одна, коли, пойду

— Иди, чего ждать-то... Разве у нас?.. Всех делов не переделаешь... Туда да сюда... Ровно собака день-то... Рожи-то перекрестить некогда, не то что часовня... Вам не что делать-то... Бегай да молись... Вон еще хозяйка новая завелась... Новости пошли, тарантасы. Вам не что... Ох, чтобы вас... Что в аду, то у нас... На ярмарку, говорит, гостинцев... На старости-то лет!.. Остолоп-то молчит... Все вы хороши... Всех на одну осину... Часовня!.. Нет, тут без часовни... Раньше встань да позже ляг, вот-те и часовня, и канон справила... Вам хорошо, придешь на все на готовое...

И так далее, без конца, под бряк ложек, стук посуды, шуршанье горшка, задвигаемого в печь, лязг промешиваемой квашни. Степанида давно уже ушла из избы, а тетка Анфиса, оставшись одна, чувствуя себя на полной свободе, дала себе удовольствие говорить вслух и довольно ясно...

Бормотала она потихоньку и неразборчиво только при людях и из боязни брата.

II

Совсем стемнело. На улицах Сногищева тихо и пустынно; но во всех домах еще шумно и весело. Сквозь полураскрытые маленькие окошечки слышны веселые разговоры, смех; не слышно только пения: под большой праздник крестьянин не запоет, даже навеселе. В конце деревни, на выгоне, виднеется темный силуэт часовни, сквозь окна которой мелькают огоньки. На эти огоньки спешной походкой, но степенно, вся в черном, идет Степанида. От одного дома отделяется сидевший на завалинке молодой красивый мужик, идет вслед за Степани-

дой, нагоняет ее, равняется с ней и почтительно кланяется.

— В часовню, верно, помолиться, Степанида Терентьевна? — спрашивает он тихим, заискивающим голосом.

— Не что,— отвечает Степанида Терентьевна, как-то особенно сурово и не смотря на мужика.

— И я тоже, грешным делом.— Долгонько вы, давно уж девки дожидаются; собрались, а без вас не могут... не начинают. Начетчицы нет..

— Субботина Глафира читает...

— Да рази так, как вы? Супротив вас рази можно кому? Вы ровно архангельским голосом, ровно сыта какая медовая... Одни слезы — слушать-то вас. Умиление!..

— Ничего нет особливого...

— Как можно это сдумать.— Вон читают же дьячки, уж ученые, кажется, до того в науке навострены, да что? — Рази так? Один самбур, булькотня, гласу никакого понять нельзя, ничего во внимание не примешь... А у вас каждое слово внятно, каждое до сердца доходчиво... Слушаешь, ровно мать в люльке качает да прибаюкивает, даже все нутро пересмякнет,— вот плачь слезьми да и шабаш... А коли которое смиренное слово насчет грехов наших, так-так душа и захолонет, ужасть нападает на человека... Нет, это вам от бога дано, в назидание нам грешным... чтобы мы чувствовали...

— Я сама грешнее всех,— какое от меня назидание..

— Как это можно вам так говорить... про себя?.. К вам и подходишь-то, ровно к святой, с трепетом... А как вы которым словом удостоите только сказать человеку, так можно себе за счастье большое почитать... Может быть, и деревня-то наша вашими молитвами спасается при всех наших грехах... Вот я как желаю вас понимать, а не только-что — вы грешнее всех... Какое слово вы ненастоящее сказали...

— Много этаких святых да начетчиц, как я; выучился бы сам читать, не хуже бы меня читал,— по речам твоим я это вижу...

— Эх, Степанида Терентьевна, где уж мне... Кажется, если бы мне который человек благодетель да на эту грамоту глаза открыл, был бы я ему слуга до конца живота; мужского сословия человек,— так за отца бы по-

читал, а женского,— так к матери бы применил али больше родной сестры при сердце своем содержал... А уж если бы открыл мне это бог, кажется, лежал бы на святой книге и день и ночь, и день и ночь...

— Что же не учишься, коли такое твое намерение,— учителей найти можно... Я сама у старой девицы училась...

— Эх, где ж мне, Степанида Терентьевна, сами знаете, человек я бедный, обязан женою, семейством, хоть малых нет, старых кормлю... Живем изо дня в день, что поработаешь, то и поживешь... Вот, пробавляемся у вашего тятеньки, на заводе целые дни, от смены до смены... Ну, смена шесть часов,— не все спать да лежать, можно бы и поучиться, да куда пойдешь далеко-то, отойти-то никак нельзя... Нет, видно, так уж с чем жил в потемках, с тем и останешься... так и век проживешь: и в бедности и без грамоты, как зверь какой необразованный... Вот только и дышишь, как вас слушаешь, просветление это себе получаешь маненько, духу набираешься... Только и царства, и радость моя в том. Вам в примету ли, Степанида Терентьевна, что когда бы вы ни читали, на который праздник, я завсегда тут... Уж не пропущу этого случая, ни боже мой... В примету ли вам это, али нет?.. Где же, поди, вам нашего брата заприметить?...

Степанида Терентьевна не отвечала. Сама того не сознавая, она замедляла шаги, слушая вкрадчивые, льстивые речи красивого, статного парня. Ей было любо слушать их, и она невольно старалась продолжить это удовольствие, которое должно прекратиться тотчас, как подойдут к часовне. Она слышала последний вопрос, но не отвечала, не зная, что сказать. Давно уже заметила она этого парня, чуть ли не самого красивого во всей деревне, с голубыми глазами, с вьющимися светло-русыми кудрями и алыми губами, белого и румяного, и, к тому же, такого тихого, угодливого и низкопоклонного. Видала она его не раз на фабрике у отца, когда он после низкого поклона вскидывал и устремлял на нее свой светлый, ласкающий взгляд; замечала его в церкви, стоящего почти всегда на виду у нее, с умилением, чуть не со слезами молящегося перед местной иконой; каждый раз видала она его и в часовне, где, по установившемуся обычаю, пожилые девушки перед каждым праздником собирались по вечерам молиться и читать праздничные

каноны и акафисты с припевами; замечала она и то, что он не сводил с нее глаз во время чтения в часовне и иногда так смущал ее своими глазами, что она должна была сердитым взглядом заставить его опустить глаза; не раз он находил случай и заговаривать с нею, но в первый еще раз говорил так много, так приятно, и притом совсем наедине и в сумерки.

— А как тебя зовут? — вдруг спросила она его.— Ведь Капитоном?

— Так точно, Степанида Терентьевна, Капитоном... Неужто же вы это и мое имя знаете да еще и помните? — сказал он с умилением.

— Я слыхала, тебя на заводе так кликали,— поторопилась она сказать, несколько смутившись и стараясь принять свой обычный суровый тон.

— Уж и то мне, Степанида Терентьевна, за великое счастье надо почитать, что вы мое имя-то, этакого-то супротив вас, запомнили... Так точно, Степанида Терентьевна, Капитон Абрамов, прозываюсь я самый, по прозванию Обожжухин,— так больше на заводе кликают.

Они подходили к часовне.

— Не знаю я, что ты за человек,— как-то торопливо заговорила Степанида,— совестливый ли, смирный ли, а как бы знала, я бы подумала, как твоему горю помочь, грамоте тебя обучить... Да я подумаю...

— Подумайте, Степанида Терентьевна, заставьте за себя вечно бога молить,— так же торопливо проговорил Капитон.— А вот меня ваш сторож, Сережка, довольно знает, какой я есть человек. Мы с ним в приятельстве. Он для меня, что угодно, не выдаст.

Проговоривши эти слова, Капитон отстал от Степаниды, и она подошла к часовне одна, чем была очень довольна и оценила догадливость Капитона. Он подошел к часовне много позже. В часовне и на крылечке у нее собралось уже человек двадцать, преимущественно старух и пожилых девушек; мужчин было очень немного. Некоторые сидели, другие стояли и молились. Слышались вздохи, шептанье молитвы, чаще других слов можно было разобрать: «Господи, прости нас грешных», или «Батюшка, угодник христов. Иван предотеча». При появлении Степаниды сидящие встали, в часовне началось движение, перемещение, топтанье с ноги на ногу, откашливание; заметно было, что ее только и ждали и что при-

шла уставщица. Степанида вошла в часовню, низко наклонивши голову, сложивши на груди руки, совсем поджавши губы, тихой поступью, с самым смиренным видом. Перед двумя местными иконами она положила по три земных поклона, потом, оборотясь к народу лицом, низко поклонилась несколько раз во все стороны. Богомольцы отвечали ей поклонами. Часовня была освещена еще только двумя налепками, приклеенными к большим местным свечам, вставленным в металлические посеребрённые подсвечники, висевшие перед местными иконами. Внутренность часовни напоминала церковь, только без алтаря. Вся передняя, против входа, стена закрывалась иконостасом, уставленным образами,— в нижнем ярусе большими, в верхнем малыми; две средние большие иконы покрыты посеребрёнными ризами, с золочеными венчиками вокруг ликов; перед ними висели, перед двумя другими стояли подсвечники; первые высеребрены, вторые сделаны из дерева и выкрашены разными красками очень ярко и пестро. Стены украшены были картинами духовного содержания. У входных дверей с одной стороны изображение архистратига, поражающего сатану, с надписью: «тако да погибнут беси». С другой стороны изображен, как видно из надписи, «ангел призиратель и в книги животные имена вписатель». В одной руке у него огромное перо, в другой свиток. На боковых стенах одна картина изображает, как «Авраам господа угощает и с любовию его принимает, господь же ему родити сына обещает». Другая представляет мироносицу Марию Магдалину, «из нея же изгна господь седьмь бесы». Против них висит картина, передающая в лицах все подробности убиения царевича Димитрия от того момента, когда «преступиша боляроня Василика и проси благоверного царевича Димитрия у царицы да изведет его»,— до того, когда «убийца приемли его и низведе от палату и закла его ножем, кормилицу же биша немилостивно». Под картиною надпись: «убиен бысть неповинно отрок святой, благоверный царевич Димитрий Иванович государь углицкий, от рабов своих злобников и властолюбцев». У иконостаса, по самой средине, стоял аналой, с евангелием и крестом, покрытый сверху, от пыли, пеленою. В сторонке, у окна, стоял другой аналой, с духовною книгою.

Поклонившись предстоящим, Степанида начала за-

жигать все местные свечи; в то же время богомольцы начали прилеплять мелкие, белого и желтого воска, свечки ко всем почти иконам в иконостасе и по стенам. Одна старуха, зажегши свечку с нижнего конца, прилепила было ее к картине, изображающей архистратига, и именно перед сатаною, но это возбудило некоторый ропот, и разные замечания посыпались на старуху.— «Нечего ругаться-то,— бурчала она,— нажмет так взмолишься и ему... На том свету все зачтется»... Но свечку, к великому неудовольствию старухи, погасили, сняли и, зажегши, как следует, поставили в подсвечник перед праздником. В часовне сделалось светло и душно. Народ прибывал.

Степанида взяла складной аналой, поставила его посредине часовни, прилепила к нему выше книги свечку и откашливалась, приготовляясь читать. В толпе снова началось передвижение: несколько женщин выдвинулось вперед и сгруппировалось на правой сторонке часовни в качестве певчих; остальные богомольцы устанавливались, откашливались, сморкались, вздыхали, крестились, приготовляясь слушать. Степанида, пережидая этот небольшой шум, взглянула в бок: там, на всем виду у нее, почти оборотясь лицом к ней, стоял Капитон, в благоговейной позе, с приподнятыми к небу глазами, по-видимому, проникнутый молитвенным настроением; но он не просмотрел взгляда Степаниды, глаза их встретились. Очень хорош был Капитон в эту минуту, освещенный мерцающим огнем свечей, с своими голубыми открытыми глазами, с лицом, обрамленным отливающими золотом кудрями, с улыбкой умиления на пунцовых губах.

«Ровно ангел»,— промелькнуло в голове Степаниды, быстро опустившей глаза на книгу.

Она торопливо перекрестилась и несколько дрожащим голосом зачитала: «Проповедниче христов и крестителю, ангеле, апостоле, мучениче, пророче, предтече, свещниче, друже ближний, пророков печать, в рожденных пречестнейший, ходатаю ветхие и новые благодати, светлый слова гласе: твоими священными ходатайствы молитвенные творения к богу благоутробному исправи»...

Она читала медленно, растягивая каждое слово, тонким горловым, точно плачущим голосом и несколько в нос. Чтение от времени до времени прерывалось возгласами, которые пел хор женщин, тоже тонкими, умышлен-

но-пискливыми голосами. Хору иногда подпевали и все прочие богомольцы, кто как умел.

Среди чтения часто слышались вздохи и восклицания: «Матушка пречистая... утолимая печаль... Иоанн предотеча... угодник христов, помилуй и сохрани... избави нас от пречестного твоего лукавого»...

Такие молитвенные собрания в сногищевской часовне происходили каждую пятницу и накануне каждого большого праздника. Установились они со времени последней холеры, которая унесла много жертв из Сногищева. Рассказывают, что последним в деревне захворал крестьянин Иван Ананьев, тихий мужик, работящий, но скупой, который и по праздникам всегда работал, редко и в церковь ходил. Долго он страдал и мучился, наконец уснул. И вдруг видит, явилась перед ним дева, точь-точь такая, рассказывал он, как у них в часовне местная, тифинская, и говорит: «забыли вы меня, совсем не вижу от вас поклонения, на то и послала на вас болезни и мор; а будете меня чествовать, установите мне еженедельное ночное бдение, станете молиться, ослобожу мир от скорби, и ты умрешь в деревне последним, на тебе и болезнь остановится». Проснулся Иван Ананьев, послал за попом, собрал весь мир, рассказал свой чудный сон, причастился и умер. Тотчас же народ потребовал, чтобы батюшка отслужил в часовне всенощную, и некоторые из молящихся тогда женщин удостоились видеть чудо: на иконе, которая являлась во сне Ивану Ананьеву, во время всенощной вдруг показались капли пота, тогда как все другие иконы оставались сухи и ни в чем неизменны. В числе удостоившихся видеть чудо была одна крестьянская пожилая девушка Прасковья, грамотная и богомолка, два раза ходившая в Киев и в Троицкую лавру. Она и начала чтение в часовне канонов и акафистов по пятницам, в честь ангела своего, как объясняла она, Парасковеи-пятницы. Несколько лет тому назад эта Прасковья пошла куда-то на богомолье и больше уже не возвращалась. Сложила ли она свои косточки где-нибудь на дороге, или пристроилась в какую обитель, или странствует до сих пор по разным святым местам — никто этого не знает, но нет о ней ни слуху, ни духу.

После нее молитвенные собрания в часовне совсем было прекратились, так как настоящих начетчиц в деревне не оказывалось, а на мужиков в этом случае бабы

и не рассчитывали, да вряд ли и нашелся бы между ними человек, способный на такое богоугодное дело. Усердие к часовне начало было уже охладевать, как вдруг однажды, накануне какого-то праздника, когда в часовне, по привычке, молилось несколько старух, но без всякого чтения и пения,— в часовню вошла Степанида, зажгла перед всеми большими иконами свечи, поставила на середину часовни аналой, раскрыла книгу и начала читать акафист божией матери, да так хорошо, так сладко и внятно, что старухи растаяли, прослезились; после акафиста кланялись Степаниде в ноги, гладили ее по голове, проводили всей толпой до самого дома, и потом начали рассказывать всем и каждому, что читальщица проявилась, да такая, которая, пожалуй, почище будет и Парани. В ближайшую пятницу часовня уже была полна народом, и когда Степанида пришла, ее встретили с поклонами и почетом и повели прямо к приготовленному уже аналою, прося послужить богу и миру, умилить душеньки, утолить сердца. Степанида не отказалась и с тех пор заменила деревне Прасковью. Пример богомольной девушки из богатого дома подействовал заразительно: как-то сам собою составился хор из крестьянок, которыми также руководила Степанида. Незаметно для себя она сделалась как бы уставщицей, приобрела нравственное влияние и уважение. Степанида увлеклась своею ролью, начала заботиться об украшении часовни: посеребрила потускневшие ризы на иконах, купила к местным пудовые свечи, с разрешения местного епархиального начальства перекрыла на часовне ветхую крышу, исправила пол и потолок. Прочие женщины, а отчасти и мужчины поддерживали ее в расходах на часовню своими посильными приношениями. Священник приходского села, к которому эта часовня была приписана, стал больше обращать на нее внимания и приделал к дверям часовни железную за церковной печатью и замком кружку, называл Степаниду любезною дщерью церкви, христовой невестой, и просил ее внушить крестьянам, чтобы они свечи для часовни покупали не иначе, как только в своей приходской церкви, от старосты, так как иначе часовня будет ущерблять доход церковный.

Степанида сама начинала считать себя предназначенною на служение богу и церкви. Ей было уже под тридцать, когда застает ее наш рассказ. Она осталась после

матери 14-ти лет и самые юные годы свои провела в полнейшем уединении и одиночестве. Брат был моложе ее только двумя годами, но она не имела с ним ничего общего и мало видала его возле себя; с 13-ти лет отец пустил его уже в дело, и он торчал постоянно на заводе; а когда стал подрастать, то и дело был в разъездах по поручению отца, сначала как подручный и дозорный за приказчиком, а потом и сам в качестве приказчика. Только угрюмый и нелюдимый отец да тетка Анфиса, после смерти матери принявшая в свои руки хозяйство, делили ее одиночество. Степанида не знала веселья деревенской жизни, не имела подруг, не ходила на гулянки или на поседки, не водила хороводов, не пела песен: отец, старавшийся стать в позицию купца, не хотел позволить ей никакого сближения с простыми деревенскими девками; притом, хотя и православный, он был воспитан в духе старой веры, которой немножко придерживались его родители, и считал всякое веселье бесовским наваждением и великим грехом. Осталась Степанида в девках и не вышла замуж благодаря эгоизму отца. После жены Терентий Савельич привык к постоянному присутствию дочери: она ему наливала чай, она укладывала его пьяного спать, она ему шила рубашки, с нею он иногда от скуки перекидывался словом-другим (с Анфисой он никогда ничего не говорил), перед ней жаловался на рабочих или неудачи в торговых делах, не стеснялся вслух перед нею, но исключительно для собственного удовольствия, хвастать какою-нибудь удавшеюся мошенническою штукой, столь обычной в русских торговых оборотах, или высказывал соображения о возможности устроить такую штуку. Словом, помимо инстинктивных родительских чувств, она была ему столько же необходима, как вся домашняя обстановка, с которою он сжился и не хотел расставаться, тем более, что молчаливая, замкнутая в самой себе, Степанида ни в чем ему не мешала, никогда не противоречила и ничего не просила. Не малую роль при этом играла и скупость Терентья Савельича: женихи являлись и из купеческого звания, наезжали и свахи, но никогда не могли добиться главного: никакого определенного обещания насчет приданого; Терентий Савельич отделывался общими фразами, что дочь у него не товар в самом деле, чтобы цену ему сказывать; что он отец и наградит ее по-отцовски, а капитала, пока жив, дробить не будет:

пускай растет, после него не кому же другому, а сыну с дочерью достанется. Такие обещания, разумеется, не могли привлекать женихов из купеческого звания, а Терентий Савельич даже никогда и не намекал дочери о сватовстве и запросах женихов. Она, как умная девушка, могла только догадываться по воркотне тетки Анфисы. Особенной красотой Степанида не отличалась и вообще была не в купеческом вкусе: слишком суха, не тельна, очертания лица резкие, мужественные, глаза очень выразительные, но строгие, неприветливые; ни особенной белизны, ни румянца; понятно, что не нашлось ни одного жениха, который бы решился добиваться ее руки, несмотря на опасность ничего не получить более существенного. Как бы то ни было, но наступило то время, когда Степанида перестала считать себя невестой и остановилась на мысли, что она должна остаться век свой в девках. Тогда-то и появилась в ней наклонность к богомолью, убеждение, что она предназначена служить богу, быть христовой невестой. В известном возрасте девушки, не вышедшие замуж, никогда не испытавшие взаимной любви, обыкновенно или озлобляются, или начинают сами себя обманывать, теша свое самолюбие и притупляя скорбное чувство одиночества мыслью, что они не верят в любовь, что они всегда сами отвергали или, по крайней мере, уклонялись от нее, что они, наконец, призваны и предназначены к другой доле, к служению высшим целям. Эта мысль ведет или к ханжеству, или к монашеству, или к страстному обожанию кошек и собак, или просто к темному разврату. В редких, исключительных случаях, под условием высокого умственного и нравственного развития, возможны иные лучшие исходы из этого кризиса.

Степанида, ударившись в богомольство, удовлетворенная общим почетом и уважением, сделавшись излюбленною дщерью церкви, думала, что нашла настоящее свое призвание, успокоилась, выкинула из головы все греховные девичьи мечты и считала себя неуязвимою для стрел лукавого... Но лукавый силен... Что-то скорбное, мучительно-сладкое, томящее, начала она чувствовать с тех пор, как заметила упорно устремленные на нее взгляды Капитона и рассмотрела его самого... Какие-то судороги и дрожь пробегали по всему ее существу, когда он разговаривал, идя рядом с нею в часовню, один на один,

вечером; какой-то туман заволакивал глаза, и точно вся кровь уходила из сердца в голову, когда она взглядывала на него во время чтения канона предтече,— при мерцающем свете восковых свечей... Голос ее тогда упадал и дрожал, а глаза едва разбирали крупные буквы церковной печати... Что-то новое, небывалое, творилось в ее душе.

Уходя из часовни домой и отделившись от толпы, когда осталась на улице одна, Степанида не раз оглядывалась и замедляла шаги, ожидая, что к ней опять подойдет и заговорит Капитон, но тот не провожал ее...

III

Капитон из часовни прошел прямо домой. Изба у него была новая, но маленькая. Капитон недавно отделился и стал жить своим домом. Семья, из которой он выделился, была бедная, а потому и в доме Капитона во всем чувствовался большой недостаток: на дворе стояла одна корова и пара овец, лошади еще не было; экипажей одна телега и то с старыми, расшатавшимися колесами, из которых на одном даже и шины не было. Крыша на дворе была покрыта кое-как, чтобы только защитить от непогоды скотину. В избе только и роскоши было, что новые чистые стены, стол и лавки, да светлые еще стекла в окнах и свежевыбеленная печь. Разной хозяйственной посуды: горшков, чашек, ложек и плошек, очевидно, было в обрез,— она занимала очень небольшой конец большой полки около печки; голбец был еще совсем пустой. Одежей, впрочем, видно, не обидели Капитона при дележе: на нем была суконная черного сукна поддевка, другая висела на гвозде, над лавкой, а с полатей висел рукав нагольного полушубка и пола крытой сукном шубы; жена встретила его в ситцевом новеньком платье, повязанная желтым, с красными каемочками, платком; драдедамовое пальто и шаль висели на гвоздике рядом с мужниной поддевкой.

У Капитона сидели приехавшие в его отсутствие гости, родственники его жены: старшая сестра ее, выданная в деревню верст за 15, и ее муж. Жена Капитона, Алена, была молодая, веселая, бойкая женщина, высокая и статная; серые глаза ее, улыбка и все лицо выра-

жали полную, беззаветную веселость. Эти глаза и лицо своим постоянным, почти неизменным выражением, казалось, говорили одно: я хочу жить, жить и жить весело и сытно, без труда и заботы, брать от жизни все, что она дает сегодня, не думая о следующем дне. Старшая сестра ее, Марина, была лет на пять старше ее и смотрела модницей-мещанкой: имела на голове полушелковый фиолетовый платочек, а на плечах желтую полушерстяную шаль с бахромой. Она была смазлива и знала это, а потому манерничала: ужимала губы, держала голову несколько вниз, подщипывала брови, смотрела больше в землю, и когда приподнимала глаза, то взглядывала вкось из-под опущенных ресниц. Говорила она много и охотно, но как-то одними губами и горлом, причем у нее не двигался ни один мускул ни в лице, ни в теле, точно посторонний человек говорил посредством ее губ и горла Вышла она замуж счастливо и на зависть всей своей деревне за удачу-парня, умного и толкового, который жил у купца на фабрике в постоянной должности, получал значительное жалованье и не сегодня — завтра мог попасть даже в приказчики. Гаврило Михайлов и попал в приказчики вскоре после того, как женился и жену его увидал старший купеческий приказчик, правая рука хозяина. Марина зажила тогда припеваючи; ела сладко, одевалась нарядно, ничего не делала и чай пила по шести раз на день; но Гаврило был не только удача-парень, а оказался, сверх того, пьяница горький, во хмелю буйный и плут сознательный, откровенный, точно по праву или по обязанности. С первых же дней он начал тащить, что мог, и наживаться, чем мог, от хозяина, почти не скрываясь, и кончил тем, что хозяин раз призвал его к себе, ни слова не говоря, схватил его за волосы, таскал, сколько стало силы и охоты, надавал потом плюх, ткнул раза два прямо в зубы, и в заключение велел выгнать в шею, не только с фабрики, но даже со двора за ворота; старший приказчик при этом куда-то спрятался. Придя после этого к себе домой, Гаврило недели три сряду пил без просыпу, бил жену ежедневно раза по три и безобразничал на смех и удивленье всей округи, при всяком случае, в трактире и кабаках, на базаре и на гуляньях, ругая хозяина и старшего приказчика и вслух высказывая сожаление, что не удалось огреть хозяина как бы следовало и как он надеялся. Этот кризис случился не-

сколько месяцев назад, а в настоящее время Гаврило уже остепенился и принялся за дело, переторговывая на остатки наворованного и непрокученного еще; и хотя пить не перестал, но пил, как говорится, ко времени и к месту.

У Капитона с Гаврилой была дружба старинная. Хотя Капитон был совсем иного характера человек и был настолько же скрытен и осторожен, насколько Гаврило откровенен и размашист, но это не мешало им понимать и ценить друг друга по достоинству.

— Ах, гости дорогие,— вскричал Капитон, входя в избу; торопливо вздел шапку на гвоздь у стены и обеими руками расправил свои кудри на голове.

— Здравствуйте, пожалуйте,— продолжал он, подходя к гостям,— Гаврило Михайлыч, Марина Федотовна.

Перецеловались.

— Ну, вот, покорнейше благодарствуйте, что пожаловали...

— Как можно, тоже праздник,— сказал Гаврило.— Мы-то вот приехали, а хозяина-то и дома нет.

— Да, уж мы ждали, ждали, думали, уж погнушаетесь,— не приедете.

— Чему гнушаться, что ты... Кажись, люди свои,— сродственники

— Так-то так, да вот обряд-то у нас больно плох, житье-то наше еще сиротское.— Вы так непривычны.

— Ничего, по новости... Еще разживешься, ничего.

— Да, знамо.— Что же, хозяйка, потчуй же дорогих гостей.— Водочки бы Гаврилу-то Михайлычу, пока перед чаем-то.

— Сейчас, сейчас, у меня припасено; я потчивала было, да без тебя не угодно,— хозяина, чу, подожду,— отозвалась Алена.

— Да как же без хозяина? — Непорядки, надо это дело сообща,— вот теперь можно. Где побывал-то? — спросил Гаврило.

— Да так, знаешь, пошел по деревне побродить в улицу...

— Поди, чай, в часовне был,— перебила его Алена с лукавой, веселой улыбкой.

— Был и в часовне...

— Как в часовне? — переспросил Гаврило.

— Как же, он у меня нынче все по богомольям,— засмеялась Алена,— таков богомолен стал, ровно баба.

— Что так? Али делов поправку вымаливаешь? — спросил Гаврило, ухмыляясь и прищуриваясь.

— А что же, помолиться разве грешно? — шутливо отвечал Капитон.— Молиться, вперед пригодится, пословица говорит.

— У нас нынче что не молиться,— продолжала с тем же веселым смехом Алена,— у нас нынче в часовне богомолье хорошее завелось; Скоробогатова дочка стихиры поет да читает,— ну, а он у меня подпевает...

— Полно, дура,— чего не скажет,— возразил, улыбаясь, Капитон.

— Вот оно что, Капитон Абрамыч,— захохотал Гаврило.— Ну, от этой молитвы, пожалуй, что и делов поправка выйдет.— Ну, как же дело-то... гоношится, на лад идет, али нет?..

— Да полно... Ну, что ты ее, шутиху, слушаешь.— Так она это.— Вишь ты, зубоскалит.

— Да ничего... Это бы ладно... вам, на бедность.— Ты только смотри, Алена Федотовна, ему не препятствуй.

— Да мне-то что? — Ничто жалко? — Вот невидаль... Гуляй сколь хошь, только из дома не тащи.— Вас, мужиков, все равно не удержишь... На виду-то еще лучше.— Вот уж кой не в дом, а из дома тащит,— вот то нехорошо.

— Вот это правильно... Вот это умные слова.— Слышишь, жена?

— Слышу я... Чего спрашивать-то?... Довольно я всего наслушалась,— затараторила жена Гаврилы.— Разве я? ... Что я? Нешто препятствую я тебе в чем? По месяцам пьянствовал, по целым неделям пропадал неведомо где... Вот уж ты из дома-то, а не в дом... И то я ничего... Все на себя примала, все на себе произносила... Чего мне это слушать? — Мне этого слушать нечего...

— Ну, ну, ишь ты... христовым именем, что ли, жила? Без щей, без хлеба сидела? Одёжу, что ли, пропил?.. Вся во мне сила: сам нажил, сам, захочу, и проживу... Ан еще вот и не прожил... Этакой дом-то у тебя, что ли? Али одёжи мало? Али лошадь плоха? Коровенки на дворе нет, что ли?.. Ты с чего с людьми-то равняешься? Ты бога благодари. Разе этак люди-то живут, как мы?

У тебя изба-то тесом крыта; а на улицу-то выйдешь — купчихой почитают. Ты вот что думай, а им до этого еще далеко... Вот у них двор-то еще не покрыт порядком... и лошаденки-то нет... Вот это бедность... А мы что еще, мы, благодарение создателю. Ну, пил, денег много пропил,— это верно. Так что? Свои же ведь. Сам нажил, сам и прожил... Поди, вот, смотри на меня: всю округу сомутил, целый месяц только и речей было, что про Гаврюшку Самохватова...

— Так что, хорошо, что ли? Только людей добрых смешил, все смотрели да посмеивались...

— Нет, не смеялись, а завидовали... Всяк бы этак рад, да не всякому сделать... Вот что! Купца, чу, обокрал... Верно, может и обокрал, да, поди, уличи. Что же он не судился со мной, коли я точно обокрал его?... Что зуботычин-то надавал, так встреться где, один на один, я сам надаю, не забуду, небось... Да он меня и боится... Ах, Капитоха, этта что было: гуляю я, еду пьяный, в Накатиху еду, к дружку, смотрю, а он и катит навстречу, парой, с кучером. Дорога — распутица, беда... Сворачивай, кричит... А я нарочно и стал середь дороги: сворачивай сам. Кучер и туда, и сюда кричит, и сам зычет, но я стою да посмеиваюсь. Распалился он, орет, ругается, да делать нечего: пришлось ему объезжать. Лошади-то горячие, не стоят... Хватили в сторону, да в канаву, чуть-чуть усидел с толстым-то брюхом, да Павлушка кучер у него ловкий парень, извернулся, выхватили, а то быть бы ему в грязи, в луже... А я стою, хохочу... Рассвирепел, грозится; а я ему кнут показываю: вылазай, я говорю, вылазай, подходи, спытай этого, тебя только мне и нужно... Не полез тоже... Вор! — кричит; а я ему сам кричу: грабитель, сам вор, всю округу ограбил, людским жиром пузо себе налил, из людских костей каменные хоромы понастроил... Вас не грабить, дураком надо быть... А попадешься, такой-сякой, цел не уйдешь, помни это!... Ничего, съел, уехал...

— А становому после не жалился?— спросил Капитон, видимо, довольный рассказом.

— Да на что он будет жалиться? — Он сам грозился, первый... А что не своротил, так у меня лошадь норовистая, не слушается; опять же мне своей головы жалко: он-то парой, да с кучером, а я один; засяду, так кто меня вытащит, и лошадь покалечить можно...

— А уж усудобит он тебя... Погоди! — заметила Марина.— Сам на рожон лезешь... Они люди сильные...

— Ничего не будет. Твой же Василий Петров не даст... Чуть что, так я ведь и про него знаю... Вместе дела-то делывали...

Марина при этом намеке крепко сжала губы и еще ниже опустила голову.

— А что? Али тоже не без греха? — спросила Алена.

— Кто? Васька-то? Да он вор-от и есть настоящий. Мы супротив него что? Наплевать...

— Ну, да ведь ему и подошло, при каком деле-то!.. Старший приказчик! Все у него на руках... Всего не учтешь! — заметил с своей стороны Капитон.

— Да ведь не только из этого... Он ведь чем взял-то?.. Они с хозяином-то вместе, говорят, человека убили...

— Ну-у?...

— Верно слово тебе говорю. Бил-то хозяин, а Васька-то был при этом... Ну, известно, замяли... Из чего же он и силу-то такую забрал... С того раза и пошел в люди... А уж, брат, руку-то накладывает так, что где нам, того и не сдумать... Мотри, еще лет пяток дай ему сроку, в таком капитале объявится, такое заведение откроет — страсть! Да так их и надо. Чего жалеть-то, у них много, будет с них, чертей! С кого разжились-то? — С нас же... Ну, так коли подходит тебе линия, и ты катай на свой пай... И ты, Капитоха, не зевай, коли статья подходит. Они, эти старые девки-богомолки, куда люты бывают, коли на эту тропу их собьешь... Хошь пущай тут не бог знает что, около Скоробогатого-то не разгуляешься — крепок! У него и сын, не то что дочка, из рук смотрит, а все на поправку перепадет то — другое...

— Да полно ты, Гаврило Михайлыч... Ну, что блажишь не дело? Так я это, собственно... потому читает больно превосходно... Так читает, так читает, братец ты мой, до слез... А я люблю больно, как из книг это... вычитывают... Для понятия больно уж чувствительно... Вот ведь что только... И опять же помолишься. Все-таки, как бы то ни было, хоша и грешники, а христиане тоже...

— Да полно ты мне разводить-то... Ишь прибедняется... Знаю я тебя довольно, и все довольно понимаю. Нас, брат, не проведешь... Тоже, Алена Федотовна, ска-

жи ты мне всю правду: ты баба умная, веселая, не сукрытная, признайся, ведь бегает за Скоробогатихой...

— Почему я знаю... Говорит нет. Так, чу, молиться любит; вижу это, кажный раз в часовне: как моленье у них, так он и в часовню; и в село, по праздникам, к обедне бегает... А что у них там, не знаю... Да я и не спрашиваю... Ну их совсем. Не бегать же мне за ним, не досматривать... Целый день на фабрике живет, не досмотришь, хоть бы и захотела... Да мне и наплевать... Вот перед истинным говорю: наплевать...

— Вот это так... это по-моему... Вот и я тоже. Уж как ведь Василий-то Петров около моей обихаживал: и чай пить ходит, и платки дарит, а я ровно не вижу, ровно дурачок хожу...

— Да полно ты срамиться-то,— остановила его Марина.— Что, ровно оглашенный... Что без пути-то мелешь? ... Ведь, чай, срамно... Хошь родные, родные, а, пожалуй, что и подумают... Право, ну, ровно чумной... Можно бы про жену-то и не... Не чужая ведь и сам-деле. Можно же и стыд, и совесть знать...

— Да какой стыд? Никакого тут стыда нет... Коли муж с женой по согласию... и гуляют, никакой тут совести нет. Коли по согласию,— гуляй, ничего! А вот коли мужу али жене во вреду, в ссору,— ну, то другой разговор. Сказал муж жене: не моги того человека знать, ну, ты и не смей... Вот к примеру: теперь бы к тебе Васька опять повадился, а мне от этого только от людей насмешка, а корысти никакой нет,— вот тогда уж держись, тогда уж, значит, супротивность: казнь тебе нужно положить, бить тебя нужно ежеминутно, до смерти, вот как! А это если с согласия...

— И теперь я много довольна,— перебила его Марина,— кажется, не гладил, спасибо! И теперь еще синяки-то не зажили, как кружился-то после фабрики... Три недели глаз не осушала, и перед ежой, и после ежи тумаки-то жаловал... Спасибо!

— Так это спьяна, дура... Разве это в счет... Гулял, диковал, ну, нельзя, чтобы и жену не поколотить... Это до кого ни доведись: к сердцу подкатит, руки зудят... Домой придешь: кого задеть? Ну, жену, знамо... Это не со зла, это спьяна... Все равно, что играючи... Разе со зла-то так бьют, дура; если теперь, примерно, жена загуляла, а мужу это в обиду, тут не то, что... а привязал за

ноги вниз головой, да и дуй кнутом, пока рука не устанет... Отдохнул да опять... Тут вот как бьют-то вашу братью...

— Ну, а коли муж-то загуляет, а жене в обиду, так тут как, Гаврило Михайлыч? — со смехом спросила Алена.

— Тут как?.. Это смотря по человеку... Вам над нами не дано... Мужику над бабой дано, а вам над мужиком не дано... И закону такого нет... Ну, если мужик тихой, а баба задается озорная да здоровая, могумощная, ну, бывает, и бабы бьют мужиков... Только уж это не порядок: тот мужик и за человека не пойдет, и дому не хозяин, об том и говорить нечего...

— Так как же, вам, значит, все можно: бабу бить, а мужик загуляет, так ему и бог простит? — спросила Алена.

— А то как же?

— Да вот они все так,— вмешалась Марина.— Им все можно: захочет,— запьет, захочет,— жену прибьет, дом разорит...

— Постой, погоди ты... Ну, что затрещала,— остановил ее муж.— Твоя речь впереди. А по-твоему как же, Алена Федотовна, ну-ка?

— А по-моему все равно: коли жене нельзя, так и мужу нельзя, а коли муж загулял, так и жена гуляй. Вот как...

— Ладно; а коли муж-то сам гуляет, а жене не велит, потому он есть глава,— и убить может... Тут как же? — спросил Гаврило.

— Ну, уж я не знаю как сказать. Муж меня не бьет, гулять я не гуляю, еще и не сдумала, живем мы ладно, ровно голуби... Так вот мне его не жалко, и в голову нейдет, что, может, где на стороне от меня гуляет; а кабы, кажись, жалко стало, что пошел от меня на сторону, али самой бы грех пришел, с того горя сама бы с кем загуляла, а он бы меня бить да тиранить стал, ну, уж не знаю, веселая я баба, а уж либо убежала бы, либо утопилась бы, либо его дошла как ни-на-есть, а уж не сдалась бы так...

— Слышишь, Капитоха, что жена-то говорит,— обратился к нему Гаврило.

Капитон смотрел на жену с улыбкой, любовно. Он видимо любовался ею, ее смелые, бойкие речи ему нрави-

лись; но замечание Гаврилы накинуло вдруг какую-то тень на его веселое лицо, точно вдруг какая нехорошая мысль пробежала в его голове. Впрочем, эта тень была мимолетная: он опять улыбался и весело отвечал Гавриле:

— Слышу, слышу... Она у меня бедовая; да ведь слава богу, у нас все по любви, живем ладно, сдору промеж нас нет... Ну-ка, что же, Аленка, ужинать бы да и спать пора; гости-то дорогие тоже, чай, пристали с дороги-то...

Алена засуетилась у печки. Разговор перешел на другие предметы.

Поужинали и разошлись спать. Гостей положили в избе, а хозяева ушли в сенцы.

Капитон лег прежде, но не спал, ожидая жены, которая что-то еще прибиралась по хозяйству. Наконец, она пришла и стала осторожно примащиваться около мужа. Капитон пододвинулся, давая ей место около себя.

— Али не спишь? — спросила его Алена.

— Не сплю, не сплю, ложись ладней,— отвечал Капитон.

— У-ух, умаялась,— проговорила Алена, зевая и укладываясь около мужа.— Спать смерть хочется.

— Аленка,— сказал вдруг Капитон шёпотом, обнимая жену одною рукою.

— Ась? Что? — спросила Алена с новым зевком.

Капитон отвечал не вдруг.

— Давай гулять по согласу,— неожиданно проговорил Капитон.

— Как по согласу? — живо повторила Алена, уже не зевая.

— Так, чтобы по любви... Вот мы с тобой живем ладно, а достатков у нас нет, беднота одна... Работаешь, работаешь, а все ничего нет... Вот я теперь около Скоробогатихи обиход повел, может, до чего и дойдет...

— Ну? — торопила его Алена.

— Ну, так чтобы уж тебе не в обиду... Гуляй и ты... Вот по согласу...

Алена захохотала.

— Ишь ты что выдумал... чего мне и в голову-то не вступало... Да с кем же гулять-то?..

— Да с кем хошь, и спрашивать не стану: хочешь — скажешь, хочешь — нет; только чтобы не в обиду... Потому... надо дом поднять... не все в бедности жить... Из

дома чтобы не тащить... одно... Потому все с тобой, а ни с кем, нам век-то коротать...

— Да мне не надо, у меня и думки-то никакой нет...

— А это и того лучше... Было бы сказано, был бы соглас, а нет никого, так и ладно, и мне легче... Только смотри, чтобы и от тебя супротив меня никакой обиды не было...

— А долго ли гулять-то?..

— Давай на два года...

— А после любить будешь?...

— Да и теперь буду, коли хошь...

Алена опять засмеялась.

— Пострел экой... Гуляй, ничего... Только мотри, и я коли вздумаю,— гулять стану...

— Уж сказано, по согласу...

— Ах, ты... Чтоб тебя... Что выдумал!... Ну-ка, да еще под праздник-то...

— Памятней будет,— шутил Капитон.

— Ах, ты, Капитошка, подлец... Пра, подлый!...

Алена смеялась и со смехом уснула. Капитон уснул вслед за нею.

IV

Медленный, торжественный благовест самого большого колокола с колокольни села Нагорного разносился в утреннем летнем воздухе далеко по окрестностям. Колокол этот составлял гордость и радость всех прихожан; о величине, весе и цене его ходили басносковные слухи, охотно поддерживаемые даже людьми знающими, но неравнодушными к славе своего прихода. Пожертвовал его один из разбогатевших крестьян, в настоящее время известный не в одном своем околотке, купец и фабрикант. Под призывный гул этого колокола, по дорогам, идущим к селу Нагорному, собирались к обедне прихожане из окрестных деревень: бежали шумными нескладными толпами ребятишки, степенно двигались девушки, сверкая на солнце своими ярко-пестрыми платками на головах; размашисто и франтовато выступали за ними молодые и холостые парни в поддевках и в длинных сюртуках, в сапогах с напуском и в высоких резиновых калошах, и даже в блестящих смазных, при штанах

на выпуск, в картузах и пуховых шляпах на сильно намазанных маслом волосах; шли скромно парами семейные люди; тащились спешной, но не спорой походкой и старухи, босыми ногами вздымая пыль по дороге и в то же время неся в руках из экономии башмаки, большие и крепкие, точно скованные из железа, которые надевались на ноги только при входе в церковь. Изредка пешеходов обгоняли праздничные телеги зажиточных мужиков из более отдаленных деревень, и тележки, и тарантасики разбогатевших мужиков и купцов. Самое большое движение было по дороге из Сногищева, где храмовой праздник был в то же время и деревенский и откуда шли и ехали в церковь не только хозяева, но и многие гости. По пешеходной тропинке, пролегавшей около этой дороги, шла одна, в стороне от других прихожан, Степанида Терентьевна. Она была одета в темное шелковое платье, голова прикрыта тоже темным платком, вся ее фигура имела обычный вид холодной гордости, сосредоточенности и недоступности, столь свойственный богатой и не юной уже девице, добровольно отрекшейся от благ мира сего и желающей сохранить себя в чистоте и неприкосновенности; но на этот раз, помимо воли и незаметно для самой Степаниды Терентьевны, в лице ее замечалось что-то новое, небывалое: она как будто помолодела, на щеках был бледный румянец, в глазах светился приветливый огонек, брови над ними не сходились в одну суровую строгую черту, но как будто раздвинулись и растянули сердитые складки на лбу; знала или не знала Степанида Терентьевна, но и платок на голове ее не лежал так по-старушечьи, как прежде, и не скрывал ее густых черных волос, на этот раз гладко, как будто заботливо причесанных и уложенных на лбу и щеках.

Степанида Терентьевна шла неспешным шагом, не оборачиваясь и не смотря по сторонам. Обходящие ее все ей кланялись; она отвечала молчаливым наклонением головы без малейшего изменения физиономии. Вдруг она услышала сзади себя стук едущего экипажа, фырканье скачущих лошадей, ободрительные крики и мызганье кучера; через минуту мимо нее промчался тарантас с откинутым верхом, внутри которого сидели Терентий Савельич с Матреной. Она невольно взглянула на них. Глаза ее поймали довольную улыбку отца, которая на суровом старческом лице его была отвратительна, затем они

встретились с глазами Матрены, которая, увидя ее, высунулась из тарантаса и обернулась к ней с насмешливой, торжествующей улыбкой. Матрена была разряжена в яркие цвета, набелена и нарумянена. Раскормленные, застоявшиеся и немолодые уже, но крупные серые жеребцы, заложенные парою в тарантас и поощряемые Сережкой, храбрились, храпели и яростно рвались вперед, хотя вздергивали задними ногами и, не проехавши версты от дома, были уже все в мыле. Лицо Степаниды Терентьевны омрачилось; при встрече с глазами Матрены она даже несколько побледнела, и в ее взгляде засветился мрачный, недобрый огонек. Через несколько минут вслед за тарантасом показалась тележка, в которой ехал и сам правил Иван Терентьич, на старой буланой кобыле. Заметя сестру и поровнявшись с ней, он остановился.

— Садись, подвезу,— проговорил он.

— Не надо, дойду,— отвечала Степанида, не смотря на него.

— Смотри, не опоздай к началу... Мы приедем, батюшка начнет, тебя ждать не станет, даром что богомолка...

Степанида не отвечала и шла вперед молча и не глядя на брата.

— Ну, ин наплевать... Пыли подол-то.— Он мызгнул на лошадь и уехал.

Степанида провожала его взглядом, в котором была и досада и презрение.

— Дурак, либо плут бессовестный! — сорвалось у нее с языка.

Она шла задумчиво и смотря в землю; лицо ее сделалось мрачно и печально; по нем пробегали темные тени от нехороших, недобрых мыслей. Отдавшись этим мыслям, она забыла, куда шла, не слышала благовеста, который за несколько минут назад посылал ей такое благоговейное, отрадное чувство, и, сама того не замечая, даже замедлила свои шаги. Она осталась сзади всех, шедших в церковь; все опередили ее. Степанида задавала себе один вопрос за другим о своей семейной жизни, о новых отношениях, которые видимо там возникали,— и вся ушла в разрешение этих вопросов, а на душе у нее становилось все мрачнее и мрачнее.

— Понимает он, или нет? Видит и не смеет мешать,

или с умыслом потакает, из подлости, из корысти, чтобы все в руки забрать теперь же, пока еще жив?

Такие вопросы задавала себе Степанида и иногда приговаривала как бы в ответ на свои мысли:

— Срамники этакие! Господи, помилуй! На старости лет!.. Ни стыда, ни страху ни перед богом, ни перед добрыми людьми... Что будет?.. До чего дожили! — Она не заметила, как кто-то торопливо догонял ее; потом шел вслед за нею в нескольких шагах сзади ее, соразмеряя свой шаг с ее походкой, а затем, осмотревшись во все стороны, вдруг решительно поравнялся с нею и снял свою шляпу; но она вздрогнула всем телом, когда услышала голос Капитона.

— С праздником, Степанида Терентьевна,— говорил он, веселый, красивый, нарядный, смотря на нее с радостной заискивающей улыбкой.

Степанида Терентьевна вспыхнула, окинула Капитона быстрым взглядом, но тотчас же, не отвечая на приветствие, пугливо посмотрела по сторонам,— поблизости никого не было. Успокоенная в этом отношении, она силилась было взглянуть опять на Капитона суровым или, по крайней мере, равнодушным взглядом, но, чувствуя, что лицо ее не слушается, брови не сдвигаются, а на губах появляется невольно приветливая улыбка, она смутилась совсем, как молоденькая девчонка, и, проговорив: здравствуй! — почти побежала вперед, стараясь не смотреть на соблазнителя.

— Да, да, надо поторапливаться, Степанида Терентьевна,— говорил Капитон, не отставая от нее,— того смотри, сейчас трезвонить начнут, за начал не попадете... Как тятенька-то ваш проскакал с Матреной Карповной, ровно молодые... Я даже полюбовался.. Разоделся как, новую сибирку надел синюю, никогда я эким его не видал... Веселый!.. Я Сережке помогал лошадей закладать, а тут после, как подали, и усаживал их с Матреной Карповной... Сережка-то говорит ему про меня: лошади, говорит, застоялись, дурят, да я их и боюсь, проклятых, кажись бы парой-то и не обломать их, не заложить, кабы, говорит, он мне не помог... Спасибо сказал... А я говорю: вот бы меня в кучера наняли, Терентий Савельич. Матрена Карповна и говорит: а что, тятенька, лошадей пару держите этаких прекрасных, теперь тарантас завели, надо бы и кучера держать.— А хочешь, говорит, и

кучера держать стану, найму.— Наймите, говорит, тятенька.— Ну, говорит он мне, приходи опосля праздников, может поряжу тебя... Мы еще, говорит, и лошадей-то сменим, почище да помоложе этих заведем.— Смеется. Так и уехали, а я Ивана Терентьича отпустил да и побежал,— не опоздать бы к обедне...

Степанида смотрела теперь на него в упор, вопросительно и мрачно. Рассказ Капитона не только дал ей время успокоиться, овладеть собою, но и возвратил ее отчасти в настроение, сглаженное неожиданным появлением спутника.

— Сердце у меня замерло, дух захватило,— продолжал Капитон,— как я увидел вас, Степанида Терентьевна, здесь на дороге, одних. Без вашего приказа ведь я не наймусь в кучера, ведь я и попытал-то это, говорить начал, сдумавши, что вот, мол, этакая бы благодать, кабы мне и жить-то в дому около Степаниды Терентьевны, может, когда времечко выбрали, и в грамоту бы поучили... А неугодно, чтобы нанимался, я и не подумаю... Может, когда и вас бы привелось прокатить на парочке...

— Я не езжу на лошадях,— вдруг порывисто заговорила Степанида.— Это ее катать ты будешь, Матрену... Не надо, не надо... Не смей наниматься... В дому жить у нас будешь, а я грамоте тебя учить... Что выдумал!.. А что люди скажут?.. И думать не моги этого, а не послушаешь,— и знать, и видеть тебя не хочу... Злодей будешь мне, слышишь... Матрену он будет катать!.. Не смей, слышишь... А то, что и я... Что мне до тебя за дело... Что ты ко мне пристал?.. Отойди прочь, отстань, говорят, вон люди впереди идут... Отойди... Матренин кучер...

Степанида задыхалась от внутреннего волнения; лицо ее было бледно, глаза горели. Она воображала себе Матрену, сидящую в тарантасе, один на один с Капитоном, любующуюся им... Она, бесстыдная, развратная, и он с нею, наедине, далеко, в лесу...

— Не сумлевайтесь, Степанида Терентьевна,— говорил Капитон, понемногу отставая от нее,— не сумлевайтесь, ничего не сделаю, что вам не в угоду, потому единственно для вас хотел, мне ваше слово дороже всего... Я один знаю, что знаю... Ни один человек не может того произойти, что во мне случилось через вас... И никто никогда этого не постигнет, одна моя душа знает... Помни-

те мое слово, Степанида Терентьевна... ангел вы мой божественный.

Последние слова Капитон говорил, идя уже сзади Степаниды, но так, что она все слышала. Ревнивое, мучительное чувство вдруг отлетело, неиспытанная никогда радость, довольство наполнили вдруг все ее существо... Она не хотела, да и не могла бы противостоять неодолимому желанию поглядеть на Капитона, и вдруг оглянулась. Он ожидал, что она может и рассердиться на его слова, и потому несколько робко встретил ее взгляд, но всякое сомнение сразу же устранялось: из глаз Степаниды полился на него целый поток страсти. Лицо ее просияло, она была даже хороша в эту минуту. Как ни был быстр и мимолетен взгляд Степаниды, но Капитон тотчас же понял это безмолвное признание, и когда Степанида отвернулась и пошла вперед очень скорым шагом, по лицу Капитона пробежала холодная, насмешливая улыбка, исказившая его красивое лицо до такой степени, что если б Степанида еще раз обернулась и взглянула на него, может быть, он опротивел бы ей. Но она шла вперед торопливо, с полными слез глазами, с каким-то страхом в душе и испуганно прислушивалась к начавшемуся трезвону. Она опоздала к началу обедни. Капитон совсем замедлил шаг, давая Степаниде возможность подальше уйти от него и прийти в церковь гораздо раньше его.

«Вот поди ж ты,— думал он про себя,— правду Сережка говорит, что она давно искала, только никто подвернуться не умел... Поди-ка ты, даже в лице заиграла, ровно молоденькая стала... Кабы, кажется, в другое время да в другом месте... Ну, да все равно, теперь уж, девка, держись только... Не уйдешь от рук»...

Когда Капитон подошел к церкви, она была уже наполнена народом. Обедня давно началась. Непоместившиеся в церкви стояли на паперти, под открытыми окнами церкви, чрез которые слышалось пение, сидели группами в ограде. Иные молились, другие разговаривали. Многие пришли только для того, чтобы сопровождать крестный ход в Сногищево и, полулежа около церковной ограды, дремали в ожидании окончания обедни. Все были с открытыми головами, несмотря на то, что солнышко уже порядочно жгло. Снаружи церковной ограды были привязаны лошади с телегами и тележками, привезшие

богомольцев. В сторонке, в тени, стоял тарантас Терентья Савельича, и на козлах, не выпуская из рук вожжей, полулежал Сережка. Капитон подошел к нему.

— Приходи же ужо погулять-то ко мне,— сказал ему Капитон, ставя одну ногу на колесо и облокачиваясь на козлы.

— Уж приду беспременно... Как он хочет, я не проклятой по праздникам-то сторожить... Пускай хоть сам сторожит, а я сегодня, как попов отправим, так и уйду.

— Да отпустит, он ноне веселый... Ишь ты какой, форсить стал...

— Не говори, старый хрен... Ехали-то, все шутки шутил со снохой: любо ли, чу, тебе сидеть-то со мной, повадно ли... Вот, братец мой, дела-то... а?... Ах, чтобы вас мухи съели... Сам-то с ней сел. сына-то на кобыле пустил, одного... Лошадей, говорит, новых заведу... Что же, придешь ли в кучера-то наймоваться?...

— Нету, раздумал...

— Что так?

— Да нет, не с руки...

— Как не с руки?... Чего лучше, черт... Завсегда на глазах...

Капитон оглянулся, не слушает ли кто их разговора.

— Да не велит... сама...

— Разве говорил?

— Было...

— Да когда же?

— А сюда шли, в церковь... Дорогой одну нагнал...

Сережка свистнул.

— Значит, с началом... Честь имею проздравить...

— А ты молчи, смотри...

— Вота! Учить стал... Слитки с тебя, стало быть... бу-удут!.. Чего ж она не велит наймоваться-то тебе?..

— Для людей... чтобы говорить не стали чего... Да и Матрены, кажись, боится, чтобы, то есть, с ней... у меня...

— Ну, стало быть, это тебе в склад, тут ее и разжигай насчет этой самой Матрены, вот она у тебя и в руках...

— Нет, брат, тут надо по-другому... Да опосля мы с тобой обо всем перетолкуем, ты только приходи, смотри...

— Да уж приду... Как не прийти, одно слово прозд-

равить нужно... Скоро же ты потрафил, Капитошка... Ишь ты, сахарно рыло!..

Капитон с улыбкой встряхнул кудрями.

— Ну, еще что будет, может и разойдется. Ты, слушай, повертись около нее: как, может, про меня спрашивать будет...

— Да уж это беспременно, только бы случай, сам наведу речь...

Капитон мотнул ему головой и отошел. Он протискался в церковь, но не хотел идти вперед, не считая уже нужным быть поблизости Степаниды. Он остановился среди церкви. После обычных крестов и поклонов, оглядываясь по сторонам, Капитон, к удивлению своему, заметил у одного из поднимавшихся посередине церкви столбов Степаниду, молящуюся на коленях и с глазами, полными слез. «Зачем это она стала не на обычное свое место, впереди, на левой руке, где теперь стояла Матрена Карповна? Неужто затем только, чтобы не стоять с нею рядом или близко около нее? И о чем она, чудная, так молится и плачет? Даве была такая радостная, а теперь отчего? Видно, дома что-нибудь неладно у них. Не обижает ли ее брат или старик из-за этой Матрены?» — Такие и подобные этим вопросы мысленно задавал себе Капитон, посматривая вкось на Степаниду. Но вот она приподнялась с колен; глаза их случайно встретились, Капитон поспешил придать лицу своему благоговейное, молитвенное выражение, но не отводил своих глаз от Степаниды; зато во взгляде ее вдруг отразился и испуг, и досада, и как будто даже гнев на Капитона; лицо ее сделалось мрачно, сурово, она порывисто отвела глаза в сторону и еще усерднее стала класть земные поклоны. Капитон не дождался больше ни одного ее взгляда в свою сторону.

— Господи, помилуй меня, грешницу, сердце чисто созижди и дух прав обнови во утробе моей! — шептала про себя Степанида.

Степанида сегодня в первый еще раз опоздала в церковь, хотя она пришла еще во время первой эктении, но пропустила часы, чего прежде с нею никогда не бывало. Подходя к церкви и слыша трезвон, возвещающий начало обедни, она с ужасом подумала о том, с какими греховными мыслями и чувствами шла молиться. В ней явилась мысль о дьявольском искушении, о соблазне. В ней

вдруг поднялась страшная душевная буря: ей ли, проведшей всю юность в чистоте и непорочности, всегда чуждавшейся всякого плотского греховного чувства, наконец, сознательно обрекшей себя на служение богу, ей ли, излюбленной дщери церкви, соблазняться мужскою красотою и прелестью, и откуда взялось все это вдруг, все новое, небывалое в душе ее? Отчего это замирает сердце, захватывает дыхание, радость и веселье льются в душу, когда она видит и говорит с этим человеком; отчего вся кровь закипает в ней и точно туман застилает ее глаза, когда они встречаются с его взглядом; отчего вслед затем какой-то не то страх, ужас, не то стыд и тоска нападают вдруг на душу? Откуда все это, как не от дьявола? Ведь она видела на картинках, в книжке, что происходит в сердце человеческом, когда преисполнен человек молитв и благочестия, какой светлый ангел обитает в нем, какой свет, радость и чистота окружают этого ангела; и как постепенно мрак и тьма наполняют это сердце, когда в него поселяется греховный помысл и плотское хотение, какие гады и скорпии поселяются в нем и кто царствует в этом мраке, страшный и гнусный, вместо светозарного ангела. Не то ли творится теперь и в ее сердце? Не внушение ли это, не предостережение ли свыше, что вот сегодня, в этакой праздник, она не попала за начало обедни?.. С великим сердечным сокрушением, со страхом и раскаянием в своих греховных помыслах, вступила Степанида в храм и сочла себя даже недостойною идти вперед, ближе к образам, но встала за народом, у задней колонны... И вот, среди самой горячей раскаянной молитвы, когда она силилась наполнить свое сердце не любовью, а ненавистью и отвращением к соблазнителю, она вдруг, точно подтолкнутая, обернулась в сторону и увидела опять его... красивого, приветливого, с благоговейным, устремленным на нее взглядом своих светлых голубых глаз... Она вздрогнула и отвернулась.

— Искуситель, искуситель!.. Наслание, искушение... Чур меня, чур меня! — чуть не воскликнула Степанида, крестясь и кланяясь. Она уже больше не оборачивалась в ту сторону и внутренне давала себе слово никогда не глядеть на него, не говорить с ним...

Сколько ни пялил Капитон глаза в сторону Степаниды, он не поймал уже более ни одного ее взгляда.

V

После обедни начались молебны, но Степанида не слушала их. Она поспешила домой. Ей нужно было успеть поднять образа из часовни и, по обычаю, встретить с ними крестный ход из церкви.

Она шла очень торопливо, смотря в землю и не глядя по сторонам. Выходя из церкви, она не видала Капитона, но боялась, что он поджидает ее где-нибудь по дороге, и была очень рада, когда ее нагнали и присоединились к ней несколько усердствующих деревенских женщин, с тою же целью, как и она, торопившихся поспеть вовремя к часовне.

— Экая ты, Степанида Терентьевна, богобоязная, к нему, батюшке, усердная... Ну-ка, от своих лошадей, и в церковь пеша, и назад пеша, бежит,— говорила старуха, равняясь со Степанидой.— Да ведь как бежит-то прытко, насилу догнали... Видим, впереди-то идешь: матки, мол, смотрите-ка, ведь вот уж где Степанида-то Терентьевна,— да за тобой, за тобой, насилу на великую догнали,— такова легка ты на ногу...

— Это ей бог легкости-то подает за труды ее, что для бога трудится,— подольстилась другая баба.— Во святые угодит...

— Какие мои труды,— скромно возразила Степанида.— Этак разве святые отцы показали трудиться... Плоть свою умерщвляли, дни и ночи, целые годы на молитве простаивали, в пустыни удалялись, в землю себя закапывали по пояс, в стены закладывались. Вот, они, батюшки, трудились, а мы что, мы грешницы великие, наша плоть слабая, немощная... В миру живем, на каждом шагу искушения видим... Где нам.

— Ну, матушка, каждому по силе... Кто что снести может. В пустыне-то, говорят, змей-то еще лютей живет, еще больше искушает, правду ли, нет ли, я слыхивала от одной богомолочки... В пустыне, чу, беда, видение он на себя принимает, им и соблазняет. Деву увидит,— монахом является, перед мужским родом девкой повертывается... Никак, чу, не убережешься, не усмотришься... В миру, сказывают, гораздо легче, потому там, в пустыне, нет ни церквей, ни креста, вот ему и слободно; а здесь, на крещеной земле, ему места гораздо меньше. В церковь уж он не пойдет, не может...

— А твои труды как не велики,— перебила другая льстивая баба.— Одно взять, что до коих вот лет ты в девках прожила, чистоту свою сохранила... Это разве не труд? Тягче труда этого нет, сказывают...

Степаниду чрезвычайно смутил этот разговор; она поспешила переменить его.

— Вот,— сказала она,— не подумала я давеча, грешница, не поговорила, чтобы у часовни-то у нас все приготовили... Стол ведь надо вынести, воды для священья приготовить... Опять же свечу в фонарь вставить... Да мало ли что... Поди, чай, никто не подумал. Не опоздать бы нам...

— Ну, как не подумать, а Капитошка-то на что? Поди, чай, все обрядил... Вот, молодой парень, а тоже о боге думает...

Степаниду точно обожгли; она вся вспыхнула и пошла вперед еще скорее.

— А нет вот ему спеху, парню,— подхватила старуха,— плохо поправляется, бедность, чу, страшенная... Ничего, чу, ни в избе, ни на дворе, только что на себе... Хошь бы ты, Степанида Терентьевна, за его богомольство да смиренство тятеньку своего, что ли, попросила, ряду бы ему дал побольше; а то что парень изводится, жалость смотреть; бьется, бьется все у вас на заводе, а прибыли у него в дому нет... А?

— Разве это мое дело? Разве я в завод вступаюсь?— как-то особенно сердито ответила Степанида Терентьевна.

— Да, нет, для бога... Парень тихий, богомольный, а что живет?.. Вот два года отделился, лошаденки завести не может, двор не крыт стоит... Родным помочь не из чего, тоже бедность... фабрика, матушка, она хозяину хороша, а работничкам-то охо-хо-хо...

— А кто ему велит на заводе жить, коли невыгодно... Искал бы другого дела, повыгодней которое... Живут же люди, не нуждаются, а он, поди, чай, пропивает да прогуливает половину,— проговорила Степанида каким-то не своим голосом.

— Ну, уж нет, ну, уж нет, не греши,— в один голос сказали несколько баб.— Он ровно красна девка живет, жена у него баба, известно, молодая, веселая, а тоже худого и про нее не скажешь, работная бабенка... Живут ровно голуби, и не слышно их... А завод, родная, он за-

вод и есть... Попал на него человек, так уж не выйдет, завод его заведет, от всякого дела другого отобьет, потому привычка. Сегодня человек одно делает, завтра тоже и послезавтра опять же оно. Ну, человек и привыкает к одному делу... Куда он пойдет, за что другое примется, коли привычки нет... А тут еще у хозяина забрался по нужде. Как он от него уйдет? Вот, ровно солдат и служит одному царю да ружью... Вот он завод-то что значит!.. А ты про Капитошку этого не думай, он и сам по себе, и с женой живет ладно... Похаять нельзя...

Слушая эти слова, Степанида думала:

«И все про него, все точно сговорились про него одного... И у меня он из ума нейдет, и другие то и дело нахваливают, словно нарочно наводят меня на него?... Воистину, не искушение ли?... Вот, говорят, в миру легче... Не легче!... Жену хвалят, веселая... молодая... в любви живут, ровно голуби!..».

— Да что вы все ко мне пристали с ним! — вдруг, точно осердившись, почти закричала на баб Степанида.— Я и думать о нем не хочу... Велика мне напасть ваш Капитошка!..

Бабы притихли и не без удивления посмотрели на Степаниду. Та была бледна точно полотно, губы сухие, а глаза горели, как уголья.

Разговор прервался и не возобновлялся; но подходили уже к часовне, и внимание спутниц все сосредоточилось на ней.

Дверь в часовню была отворена. В некотором расстоянии перед нею посреди луга стоял уже стол, покрытый белой скатертью, на нем миска с водой, блюдо и кропило. Деревянный большой крест и фонарь на длинной ножке, в котором уже светилась зажженная свеча, были вынесены из часовни и находились в руках двух мальчишек-подростков. Некоторые небольшие иконы держали уже крестьянские девушки, парни и старухи; к каждой иконе была прилеплена тонкая восковая свечка; иконы держали не голыми руками, а прихватывали или пеленами, сшитыми из разных шелковых и шерстяных лоскутков, с позументным крестом на середине, или чистым бумажным платком, или белым куском полотна. Кругом, в некотором отдалении, уже выстроены были лавочки, покрытые холстом, но товар на них еще не был разложен, а хранился пока на возах, которые стояли

сзади палаток; торг мог начаться только по окончании крестного хода.

— Вишь ты, уж все управлено,— проговорила одна из баб, шедших вместе со Степанидой.

Из дверей часовни в эту минуту показался Капитон, который пошел навстречу Степаниде.

— Все готово, Степанида Терентьевна: и стол припас, и воды, и богоносы все, только и не дал поднять до вас пречистую да Ивана предтечу... Все вас ждали... Вы под кем пойдете?

Степанида шла вперед, стараясь не глядеть на Капитона и ничего ему не отвечая. На последний вопрос она только что-то пробурчала, чего нельзя было даже разобрать, но опять даже не взглянула на Капитона. Он был озадачен и удивлен.

— Умен, Капитонушка, умен,— говорила за Степаниду старуха,— бог тебя не покинет за твое за старание...

Вошли в часовню.

Степанида Терентьевна подошла к большой местной иконе божией матери. Капитон помог вынуть ее из иконостаса и хотел было нести вдвоем со Степанидой; но та, как будто не замечая его намерения, кликнула первую попавшуюся на глаза старуху.

— Бабушка Фетинья, ты, что ли, понесешь со мной пречистую-то... Бери же.

— Ладно, болезная, ладно...

— Ей не снести, Степанида Терентьевна, тяжело, я хотел было с вами...

— Ну, сколь бог поможет, по силе понесу ее, матушку, а после передам, коли не в силу будет,— отвечала старуха.

Капитон вопросительно смотрел на Степаниду. Та отвернулась и с сердцем проговорила...

— Бери же, бабушка, что ли... Пора ведь идти. А то вот дяде Федору отдай, коли тяжело будет.

— Беру, болезна, беру... Господи, благослови... Давай, кормилец.

Капитон уступил и, взглянувши еще раз с недоумением на Степаниду, молча отошел прочь.

Иконы все были подняты. Шествие тронулось. Впереди шел мальчик с крестом. Фонарь несли перед праздником, которым замыкался крестный ход. По мере того, как образа двигались через деревню, толпа, сопровож-

давшая их, увеличивалась. За околицей встретились Терентий Савельич со снохою, возвращающиеся из церкви. Они остановились, вышли из экипажа и присоединились к толпе, но старались идти впереди всех, непосредственно за иконами. Скоро послышался трезвон. Народ понял, что и из села крестный ход тронулся. Богоносы ускоряли шаг. На границе деревенской земли шествие остановилось. Иконы расположили полукругом: в середине праздник и пречистая. Капитон, мрачный и грустный, распоряжался устройством порядка; проходя не один раз мимо Степаниды Терентьевны, не оставлявшей иконы, которую она несла от часовни, он не поднимал смиренно опущенной головы и не искал ее взгляда; Степанида не могла этого не заметить.

Ожидали недолго. Вдали по дороге показались колышащиеся в воздухе, блестящие золотыми крестами наверху и золотой бахромой вокруг, предшествующие крестному ходу, хоругви; засверкали на солнце оклады икон и парчевые ризы священника с дьяконом; послышалось и пение. Толпа благоговейно и восторженно крестилась, шептала молитву, на некоторых лицах показались слезы умиления. За несколько сотен шагов пение прекратилось; встречающие затихли и замерли в напряженном ожидании. Совершенная тишина нарушалась только смутным, неопределенным шелестом движений приближающегося крестного хода и вздохами крестящихся; среди этой тишины, из соседнего ярового поля, быстро, как стрела, поднялся к небу жаворонок и, взлетев на недосягаемую высоту, потонувши в горячих солнечных лучах, рассыпал оттуда свои громкие трели. Все богомольцы с радостной улыбкой невольно оборотили головы и глаза к неожиданному певцу, как бы посылавшему им свои приветствия с самого неба...

Степанида оглядывалась по сторонам, желая передать икону, чтобы идти навстречу крестному ходу.

— Примите кто-нибудь,— говорила она, ни к кому особенно не обращаясь.

Всех других опередил Капитон. Степанида опять старалась не смотреть на него и уступила свое место молча и насупившись, с видимым неудовольствием и нерешимостью; но он успел заметить, что ее руки дрожали и краска выступила на лицо. Она даже едва не уронила икону, когда он случайно коснулся ее руки своею.

«Что с ней деется?» — думал Капитон.

Вслед за Степанидой из толпы выступило несколько человек женщин, мужчин и ребятишек. Все они встали один за другим вдоль дороги непрерывною линией и низко, почти до земли, наклонили головы, приготовляясь, чтобы встречные иконы перенесли через них. Одна сердитая старушонка успела при этом дать несколько тумаков стоявшему впереди мальчишке, который заворачивал и приподнимал вверх свою голову, желая не только участвовать, но и видеть церемонию перенесения через него икон.

Крестный ход, дойдя до встречающих его икон из часовни, остановился. Народ стал прикладываться к церковным образам; пели канон; дьякон кадил. Степанида, приложась к иконам, подошла под благословение священника.

— С праздником,— сказал тот, благословляя.

— И вас также, батюшка,— отвечала Степанида.

— Была ли в церкви-то?

— Как же, батюшка, удостоилась.

— Что же я не видал? Ко кресту не подходила.

— Да я поторопилась домой, насчет часовни, чтобы поспеть встретить.

— А я думал, что такое? Тятенька твой приехал с Матреной Карповной и Иван вижу тут, а тебя нет... Думал, не была совсем...

— Нет, как можно, этакой праздник! Только наши-то на лошадях, а я пешком, ну, они вперед меня и приехали, я маненько и опоздала, пришла, грешница, уж вы и обедню начали... Народу-то в церкви набралось много... Я так назади и простояла...

— Эх, жалко, а ведь я так и думал, что ты не пришла... Говорю отцу дьякону: не будет, видно. Так и начали...

— Я говорил, предлагал маленько повременить,—заметил дьякон, прислушавшись к разговору.— Неугодно было... С праздником, Степанида Терентьевна.

— Покорно вас благодарю, отец дьякон, и вас также...

— Эх, жалко, жалко,— говорил священник.

— Напрасно, батюшка, изволите беспокоиться... Где же вам всякой ждать...

— Как всякой?.. Нет. ты не всякая... Тебя подождать

всегда можно, потому ты к церкви усердна и благожелательна... Ты не всякая... Напрасно... Вот, жалко, не догадался второпях, просвирку бы тебе надо... Никто не напомнил ведь, никто... Эх, жалко...

— Я приуготовил... Пожалуйте, Степанида Терентьевна,— сказал дьякон, вынимая из кармана просвиру и подавая ее.— Во здравие ваше.

Степанида была очень тронута этим вниманием и усердно благодарила дьякона. Священник с неудовольствием покосился на него.

— Ну, что же, тронемтесь, ждать нечего,— проговорил он.

Степанида благоговейно поцеловала просвиру и поспешно завернула в платок, торопясь занять свое место у иконы.

— Я здесь понесу, принимайте с того бока, Степанида Терентьевна,— сказал ей Капитон.

Только-что умиленная и успокоенная молитвой и вниманием духовных особ, Степанида почти безучастно и равнодушно отнеслась к словам Капитона и без возражений стала по другую сторону иконы.

— Ну, ступайте же, трогайтесь,— распоряжался дьякон.

Дьячки запели. Шествие двинулось.

— Путаники, путаники! Как пошли,— суетился дьякон.— Стойте... Выпусти хоругви-то вперед... С фонарем-то где... Ступай на свое место, перед праздником неси... Ты с кем идешь — со спасом?.. Погоди, выпусти других вперед... Вот так... Эх, путаники!.. Ну, ступайте теперь... Что стали?..

Священник оглянулся по сторонам. Невдалеке от него шел Терентий Савельич.

— Яровые-то ноне не ахти важные,— сказал он, обращаясь к нему и показывая глазами на поле.

Терентий Савельич поспешил поравняться со священником и пошел с ним рядом.

— Что ты, батюшка, сказал? — переспросил он.

— Я говорю, яровые-то ноне плохи, выгорают.

— Дожжов нет, что станешь делать,— равнодушно проговорил Терентий.

— Да тебе-то, чай, что, все одно... Ваши дожди вот — макарьевская... Как там урожай-то будет, а это для тебя последнее дело.

— Мало ведь я нонче сею-то, только что для дома; да и то недостает, прикупать приходится...

— То-то, я и говорю, неинтересно тебе это, некорыстно...

— Да не то что... а хлопот больно много, народишка же ноне стал непутевый: чуть сам не присмотрел — плохо... Пробовал я преж того, занимался, землю наймовал... Нет... Не стоит того дело... по нашим местам...

— Да тебе известно, другим занимаешься. Вот бедноте так плохо будет без ярового-то: корма будут дорогие, скота кормить нечем...

— Может, бог даст, еще справятся.

— Ну, навряд ли, вон овсы-то желтые стоят совсем, от земли не видно, а уж в трубку идут, ранние-то уж сыпаться начали...

— Да, вона...

— Ай, плохо, плохо... А что, как ваши дела фабричные?..

— Да что наши дела... Как сказать? Наше дело темное, в колесе ходим, какой оборот выйдет. Никто сказать этого не может. Какие будут цены...

— Да, действительно... Колесо! Колесо большое! — меланхолически произнес священник.

Но подходили к часовне. Весь народ высыпал из деревни, собрались и приезжие гости. Толпа, сопровождавшая иконы, была нарядная, пестрая. Серые кафтаны виднелись только на двух-трех седых стариках; преобладал синий, красный и желтый цвет. Шествие остановилось у заранее приготовленного стола. Дьякон занялся установкой богоносов с образами полукругом; между тем, как Степанида, передавшая кому-то икону, заботливо зажигала свечи перед всеми образами, а Капитон в стороне раздувал кадило. Затем дьякон вынес из часовни крест и евангелие, Капитон подал ему кадило. Начался молебен. Дьякон старался басить! Священник сдерживал, сколько мог, перебитый язык и произносил слова с усиленною выразительностью и чувством; старый, коренастый, широкоплечий, совсем без шеи, седой дьячок, угрюмый и нахмуренный, пел надтреснутою октавой, причем голова его совсем уходила в плечи и подбородок крепко упирался в грудь; зато пономарь из молодых, худощавый и косоглазый, с козлиной бородкой, вытягивал шею как журавль и заливался визгливым фальцетом.

Степанида Терентьевна с своим хором в иных местах подпевала дьячкам. Мужики или стояли, склонивши набок головы и сложивши руки на брюхе, или вдруг, порывисто, крестились широким крестом и размашисто кланялись, каждый раз после поклона встряхивая волосами и бесцельно посматривая вбок; молодые ребята зевали по сторонам; старые женщины, высунувшись вперед из толпы, становились на колени, крестились медленно, протяжно, нажимая пальцами в лоб, под грудью, в плечи, и, поклонившись, долго не поднимали голов от земли, губы их неслышно шептали; женщины помоложе то и дело поправляли платки на головах, подтыкали под платок волосы, посматривали скоса на платья соседок и, при поклонах после креста, даже щупали их одна у другой; ребятишки, как народ подвижной и веселый, то и дело шныряли между народом и даже между образами, заглядывая в рот старому дьячку, когда он гудел своею октавой, засматриваясь на колебание хоругвей, на игру солнечных лучей в ризах на образах, или начинали спорить, толкаться и драться, а то вдруг, под влиянием угроз старших и их примера, быстро-быстро крестились и еще быстрее кланялись в землю. Освященную, во-время молебна, воду с креста, на блюде, дьякон, продолжая петь, поднес сначала Терентию Савельичу, который, опустивши в нее пальцы, помазал себе глаза и волосы, потом сделал было движение к Степаниде, стоявшей в стороне, но вспомнив, что уже он ей услужил просвирой, переменил намерение, подал сначала Матрене, Ивану, и тогда уже передал совсем в руки Степаниды, со словами: «предложите желающим!» Когда Степанида, освятивши предварительно свои глаза, губы и уши, протянула блюдо к толпе, мгновенно потянулись к нему со всех сторон сухие, костлявые, толстые, мозолистые, загорелые рабочие руки, с детскою верою опускавшиеся в освященную воду и переносившие ее капли на свое лицо во исцеление недугов или во здравие. Блюдо с водою обошло всю толпу. А между тем священник уже оборотился к народу с крестом, а дьякон кропил св. водою прикладывавшихся. Впрочем, не все молившиеся успели подойти ко кресту: священник заторопился, осенил всю толпу общим крестным знамением, а дьякон крестообразно покропил во все стороны. Торопились обходить, по обычаю, деревни и поля с образами.

Желающие засуетились поднимать образа. В толпе началось усиленное движение, разговоры. Ребятишки уже бежали вперед, по тому направлению, куда должны понести образа.

— Матрена, ты пойдешь или нет вокруг поля? — спросил Терентий невестку.

— Нетути, пошто?.. Я вот только деревней провожу да и пойду домой...

— Ну, и ладно, там присмотри, чтобы все приготовили, батюшка придет после обхода с причтом, так чтобы и чай, и закуска... Богомолка-то наша ведь еще не скоро развяжется, до последнего проходит, с попами вместе придет.

Крестный ход потянулся сначала вдоль деревни, потом вокруг нее, возле огородов, окружающих зеленые крестьянские гумна, с пестреющими на них цветами кашки, одуванчиков, куриной слепоты, колокольчиков; по полям желтых от засухи яровых, которые отец дьякон усиленно кропил; затем перебрался через речку, где были постланы две узенькие тесинки для попов и богоносов, а все богомольцы или перепрыгивали, кто мог, с берега на берег, или брели прямо водою, вступил в поля буревшей уже, начинавшей цвести и сильно пахнувшей медом ржи, и по широкой, поросшей рябинником меже, отделявшей пар от ржаного поля, возвратился опять к речке и к часовне. Часть молившейся толпы, преимущественно гости и молодежь, не последовала за образами и осталась у часовни, любуясь отсюда на действительно красивую, пеструю, движущуюся ленту крестного хода, которая то открывалась во всю свою длину по желто-зеленому фону ярового поля, то наполовину скрывалась за густой стеной ржи, сверх которой подчас виднелись только одни хоругви и образа, точно двигавшиеся сами собою по воздуху. Но оставшиеся у часовни любовались не только этой картиной: их занимала и та оживленная деятельность, которая началась около балаганов, как только унесли образа. Торговцы живо развязали свои возы, откуда выкидывали и выставляли лотки с пряниками, орехами, подсолнечными семечками, ящики с изюмом, черносливом, шепталой, подвешивали весы и тут же рядом связки сухих заварных кренделей и бубликов. Через пять минут под холщевыми занавесками палаток уже виднелись и совсем готовые к торговле веселые, улыба-

ющиеся, точно подманивающие, лица торговцев. Неподалеку, с другой стороны, в заблаговременно приготовленных печурках, грязными сальными бабами разводился огонь и начинало уже шипеть и чадить масло на сковородах, приготовляемых для печения блинов и пышек.

Как только возвратился к часовне крестный ход, образа занесены в часовню, батюшка с дьконом сняли облачения и отдали его на руки дьячку, который тотчас же торопливо завязал их в синюю бумажную скатерть и снес тоже в часовню. Священник с дьяконом надели рясы и, поправляя волосы, с улыбкой смотрели на Степаниду Терентьевну, которая стояла тут же в немом ожидании. Пономарь подал священнику шляпу, дьякон, где-то торопливо разыскивал и, наконец, разыскал свою.

— Ну, теперь, слава богу, совсем, кажется... готовы,— проговорил священник, с тою же улыбкою оглядывая Степаниду и надевая шляпу.

Дьякон как бы в подтверждение этой мысли, с такою же улыбкой на лице, помахав своею шляпою и выступив вперед, почти вровень со священником, с размаха надел ее себе на голову.

— Милости просим, батюшка, пожалуйте... отец дьякон! — проговорила Степанида.

Дьячки кашлянули сзади, толчась на месте и тоже помахивая шляпами в руках. Степанида оглянулась на них и также промолвила:

— Милости просим... Иван Парамоныч, Прокофий Семеныч... Приходите.

Поп и дьякон, делая шаг вперед, небрежно оглянулись на них и, запахнувши рясы, пошли уже вперед не оглядываясь. Дьячок с пономарем крякнули, наклонили головы несколько набок и пошли было вслед за отцами, но дьячок вдруг остановился и с заботливым видом, ни к кому особенно не обращаясь, проговорил своим хриплым басом:

— Свечи-то все ли погашены в часовне,— посмотрели бы... как бы чего... Да притворили бы часовню-то, неравно ребятенки... чего бы... пакостники...

Затем он пошел вперед вместе с пономарем, уже не оглядываясь назад.

Не дошли еще отцы до деревни, как возле балаганов толпился уже народ, продавцы уже вешали и насыпали

в тюрики разных сластей, послышались шумные, веселые, крикливые разговоры и смех, кто-то запел уже песню и заиграл на гармонии.

VI

Степанида шла возле священника бледная, печальная и озабоченная, так что искательный дьякон даже заметил это.

— Приустали должно быть, Степанида Терентьевна,— проговорил он, выставляя из-за священника свою голову и желая взглянуть на Степаниду.

— Как не устать,— согласился священник.

— Вы-то, чай, устали, батюшки,— отвечала Степанида уклончиво,— а я ничего... кажется...

— Из лица... переменчиво лицо,— заметил дьякон.

Степанида ничего не отвечала; но она знала, что ее ожидает неприятность, что она идет на верную ссору. Еще в то время, как крестный ход шел сзади гумен, ее догнал Сережка, посланный от Матрены с требованием, чтобы она выдала ему ключи от чая-сахара. Степанида до сих пор еще играла роль старшей в доме, и хотя в последнее время Матрена Карповна и начала пользоваться видимым фавором свекра, но ключи от всех шкапов оставались у Степаниды; она хранила у себя чай, сахар, серебро, лучшую посуду и прочее.

Матрена могла пить чай с мужем или одна, отдельно, когда хотела, и имела для этого свой чай и сахар, но когда пили чай в обычное время и все вместе со стариком, то распоряжалась, наливала и поила всех Степанида.

Требование Сережки, сказанное наскоро, ее даже удивило; она вдруг и не поняла в чем дело.

— Что мелешь, какие я тебе ключи отдам? — спросила она.

— Да от чаю-сахара, Матрена Карповна требует; хочет чай заварить и все сготовить для тятеньки и для батюшек.

— Да что она, с ума, что ли, сошла; тятенька вон сзади идет, батюшки когда еще придут... Что она?

— Тятенька, чу, им приказал, что ты долго не придешь, а он тотчас воротится, как деревню обойдут...

— Да как я тебе ключи дам, у меня все ключи вместе... Что она...

— Так что же, не дашь, что ли?

— Пошел прочь... Скажи ей, дуре, не дам ключей. Пускай подождет, пока сама приду.

— Ну, я так и скажу...

— Так и скажи...

Степанида тотчас же поняла, что это первое вторжение в ее права, первый приступ к борьбе, которую она давно предчувствовала, давно ожидала.

Она задавала себе вопрос, хорошо ли она сделала, что отец будет ждать и сидеть из-за нее без чаю. Но, во-первых, Матрена, если б захотела, могла бы напоить его своим чаем; во-вторых, как же в самом деле она может доверить свои ключи Сережке. Разве отдать их отцу? И она уже хотела было попросить, чтобы подозвали к ней отца; но что если он отдаст ключи Матрене, а та после не захочет возвратить их? Отец, по своему пристрастию к ней, пожалуй, не решится настаивать, и так Степанида будет совсем вытеснена из хозяйства в родительском доме.

Пока Степанида думала и раздумывала об этом, крестный ход обошел вокруг всю деревню, и Терентий Савельич поворотил домой.

«Ну, будь что будет!» — подумала Степанида, но была в сильной тревоге, и эта тревога тем более увеличивалась, чем ближе подходило время возвращения домой.

Она предчувствовала что-то недоброе.

Переднее крыльцо в доме Терентия Савельича было отперто и парадные комнаты открыты, ради праздника и приема батюшки с причтом. В обыкновенное время и его бы, впрочем, приняли через заднее крыльцо и в задних жилых комнатах.

В сенях лежала рогожа, о которую Степанида Терентьевна без церемонии попросила дьячков вытереть ноги. Дьячки, обшаркавши предварительно свои запыленные сапоги о траву, теперь, по указанию Степаниды, вновь вытирали их о рогожу. Священник и дьякон поняли, что предостережение Степаниды относилось и к ним, но из деликатности было обращено к лицам подчиненным, и также шаркали ногами по рогоже.

— Опрятность соблюдаете,— проговорил при этом батюшка.— Это похвально...

— Без этого нельзя! — подтвердил старый дьячок.— Праздничное дело!

— Порядок... первее всего,— разъяснил дьякон, обмахивая запылившиеся сапоги собственным клетчатым носовым платком.

— Пропылились наскрозь... Вишь ты,— прибавил с своей стороны и пономарь, не только вытиравший ноги, но отряхнувший кстати и полы своего длинного суконного сюртука.

Из сеней, представлявших собою длинный коридор, деливший дом пополам, дверь вела прямо в залу. Степанида отворила эту дверь и священноцерковнослужители вошли в нее в строгом порядке чиноначалия: сначала батюшка, за ним дьякон, потом дьячок и последним пономарь. Степанида вошла вслед за ними. В зале никого не было. Когда все пришедшие помолились, стоя гуськом один за другим, на образ, висевший в углу и освещенный лампадкою, священник обернулся со словами:

— Вторично, с праздником.

Степанида поспешила подойти к нему под благословение.

— Где же домохозяин и прочие члены? — спросил батюшка, благословляя Степаниду.

— Нет ли в гостиной,— поспешила Степанида заглянуть в соседнюю комнату; но и там было также пусто.

— Сейчас, пойду позову тятеньку, — проговорила смущенно Степанида, отвечая поклонами на поздравление с праздником прочих гостей.— Прошу покорнейше, батюшка, пожалуйте в гостиную... отец дьякон... Я сейчас, извините...

Степанида скрылась. Гости остались в некотором недоумении: сначала мельком взглянули друг на друга, потом занялись приведением в порядок своих волос и одежды и осмотром комнаты. Комната была большая, светлая; стены, оклеенные обоями, голы, окна без занавесок, около стен в порядке стояли грубой работы массивные красного дерева стулья с каменными на ощупь подушками, обитыми синей шерстяной материей, и между ними несколько ломберных столов; все было чисто, светло, налакировано до зеркальности, но везде голо, пусто. Священник сначала сел было на самый дальний от входа стул и стал смотреть в окно, в то время как дьякон задумчиво ходил от дверей до половины комна-

ты, при каждом шаге наклоняясь всем туловищем вперед и размашисто приподнимая ногу, которую потом тихо, едва слышно опускал на пол, а дьячки в нерешительной позе стояли около стульев у стен, оглядываясь на них, но не садясь. Потом священник вдруг как-то порывисто снялся со стула и, держась одною рукою с высоко приподнятым локтем за бороду, а другою придерживая полу рясы, с озабоченным, устремленным вперед взглядом, мерным размашистым шагом перешел в гостиную и сел там на диване. Дьякон, взглянув на священника, на несколько мгновений остановился на том месте, с которого он до сир пор оборачивался назад, но на этот раз не поворотился, а подошел к дверям в гостиную и стал в них, смотря вопросительно на священника. Тот смотрел на него молча и судорожно перебирал пальцами свою бороду. Дьячки, вновь оглянувшись на стулья, задом подвинулись к ним и сели, расставив ноги, на которые положили свои руки; они оба устремили недоумевающие взгляды на дьякона. Дьякон между тем переступил порог и подвинулся на два шага к священнику.

— Чудесно! — проговорил он, не переставая смотреть на батюшку,— даже и приуготовления нет никакого!... Чудно!...

Он склонил набок голову, прижав крепко к телу локти, и развел руками.

Дьячки, услыша эти слова, уныло посмотрели друг на друга и оба, точно по команде, начали откашливаться и сморкаться, посматривая на входную дверь. Понятно, почему гости находились в таком недоумении: бывало, в зале их встречали не только хозяева, но и готовая уже закуска на одном столе и кипящий самовар на другом; бывало, Степанида живо приносила графины с водкой к закуске, и пока хозяин потчевал у одного стола, дочь заваривала уже чай на другом.

— Никогда этого не бывало... Никогда! — продолжал дьякон, садясь против священника на кресле у окна.— Понять этого нельзя даже... Этакой раз!

Священник упорно молчал. Дьякон от нечего делать обозревал гостиную; но и здесь не оказывалось ничего достойного примечания: стоял массивный безобразный диван красного дерева, с прямою спинкою и загнутыми наружу боками; перед ним стол красного дерева на толстой тумбе, по бокам кресла; против дивана, в простен-

ке, зеркало, и опять в углу икона с зажженною лампадкой,— больше ничего, даже скатерти на столе не было, а одна клеенка с изображениями замков и башен. Дьякон заинтересовался клеенкой, встал, подошел, потыкал в нее пальцем, поцарапал ногтем, наклонился, рассмотрел узоры, отворотился, и опять тем же шагом с раскачиванием всего туловища возвратился к прежнему месту и сел.

Священник нетерпеливо и с недовольным лицом повернулся на диване.

— Недоумеваю! — приподнявши плечи и разводя руками, заметил дьякон.

Он был старожил в селе Нагорном, а батюшка, человек новый, всего года два переведенный сюда из другого села, и потому дьякон считал себя как бы нравственно обязанным руководить отца иерея в известных случаях сношений с прихожанами и споспешествовать ему своею опытностью и знанием местных условий и особенностей.

Дьякон был человек лет за 50, высокий и коренастый, но несколько согнутый вечною работой и заботой о многочисленном семействе своем, держал себя так, как будто к чему-то прислушивался и чего-то ждал. Он считал себя человеком, который умудрен житейским опытом, но непонят, не оценен и не вознагражден; тем не менее он всю жизнь стремился услужить и извлечь пользу.

Священник отец Андрей, в противоположность ему, был человек еще не старый, лет 35, ростом малый, но властолюбивый, гордый и взыскательный. Его тяготила претензия дьякона руководить и споспешествовать ему. Он думал, что понимает людей и обстоятельства сразу лучше, чем дьякон после продолжительных наблюдений. Он желал единолично влиять на свой приход, и очень негодовал на постоянное вмешательство дьякона во все дела и во все приходские отношения. Он употреблял все меры, чтобы уединиться от дьякона, но тот смотрел в оба и всюду совал свой нос, усердствовал везде, где его не спрашивали, и при этом забывал даже должное чиноподчинение. Но дьякон в то же время держал себя столь почтительно, раболепно и услужливо, что отец Андрей никак не мог найти достаточного повода накинуться на него и сделать ему должное внушение о чиноподчинении.

В настоящем случае дьякон считал себя особенно за-

интригованным. Он всегда рекомендовал отцу Андрею Степаниду Терентьевну, как богатую и приверженную к церкви девицу, притом же благонадежного возраста, которой следует оказывать всякое внимание, любезность и поощрение, тем более, что она может иметь влияние на отца, скупого и доселе мало склонного к церкви. Он внушил отцу Андрею, что с тех пор, как Степанида избрала путь добродетели и благочестия, дом Терентия Савельича сделался и гостеприимен, и угостителен, и нескуден на подаяния, что вся сила в этом доме, следовательно, в ней одной... И вдруг этакой неожиданный афронт: в такой праздник и даже скатерти нет на столе и никакого приуготовления.

— Недоумеваю! — вновь повторил дьякон, смотря на отца Андрея, точно виноватый.

— Одно невежество, больше ничего! — проговорил отец Андрей сердито.

— Нет, ведь что чудно: никакого даже приуготовления... Никогда этого не бывало... Вот что удивительно! — оправдывался дьякон.

Но в это время быстро хлопнула дверь из сеней в залу и, прежде чем дькон успел заглянуть туда, послышался голос Ивана Терентьича:

— Здравствуйте, отцы... И вас также с праздником... А батюшка, отец Андрей?...

— В гостиной ожидают,— поспешил ответить дьячок.

Иван Терентьич поспешно направился в гостиную и подошел под благословение отца Андрея.

— С праздником,— церемонно и ядовито проговорил священник.

— Не осудите, батюшка, пождать маненько пришлось... Отцу дьякону! — Он подал ему руку.

— Просим садиться... Сейчас все будет... Кавардачок махонькой вышел...

— Не насчет ли чьей хвори... недуга какого?— заботливо переспросил дьякон.

— Нет, там у тятеньки с сестрой вышло... Характерна очень, и тятеньку, и нас всех, да вот и вас доселевой поры без чаю и безо всего оставила... И ключей не отдала — посылали... Осерчал тятенька... маненечко... Да это ничего... Сейчас все будет... Насилу ключи-то отобрали, не дает...

— Не дает? — переспросил отец Андрей с язвительной улыбкой.

— Не дает! — повторил дьякон почти с испугом.

— Не дает, уперлась... Характерна очень... Тятенька-то слово, а она десять...

— Можно ли было это сдумать! — с грустью протянул дьякон и даже глаза в землю опустил.

— Да, вот тятенька-то и говорит: ты, говорит, молитвой занимаешься, по богомольям бегаешь, а этому не научилась, отцу уважение оказывать... детское послушание...

— Что же, Терентий-то Савельич так и не выйдет совсем? — спросил священник.

— Нет, выйдет... Оскорбел маненечко... Ну, стар человек, конечно... Меня вот и послал вперед...

— Да, почтение к родителям — это главная заповедь, надо помнить и исполнять,— внушительно заметил отец Андрей.

— Что же это они долго не несут... Я сейчас мигом поверну... Обождите, батюшка, отец дьякон...

Иван Терентьич вскочил и убежал.

Он видимо был в возбужденном состоянии, но не опечален.

— Тс-тс-тс...— пропустил дьякон, размахивая головою.— Этакой раз... Сдумать невозможно.

Он видимо был смущен и не глядел на отца Андрея, который, напротив, язвительно посмеивался. Дьякон мысленно искал выхода из неприятного и притом неожиданного положения.

— Даже ключи отобрали,— продолжал он, как бы размышляя вслух.— Значит, теперь Матрена будет за хозяйку...

Вдруг он поднял глаза на отца Андрея и стал говорить потихоньку, оглядываясь:

— Вам, как духовному отцу, надо о примирении озаботиться... Надо примирить, непременно надо, отец Андрей. Матрена малоопытна, Матрена и для нас хуже будет. Вы постарайтесь, отец Андрей, я вам тоже буду споспешествовать... Мы вдвоем можем...

— Ты бы, дьякон,— вдруг перебил его отец Андрей,— ты бы детей своих лучше учил, а не меня, потому я сам имею свой собственный рассудок и наук этих слышать не желаю...

— Я ведь для блага,— оправдывался озадаченный дьякон.

— Я вас не спрашиваю... Мне довольно неприятно эти примеры от тебя слышать... Я по сану моему сам могу другим примеры преподавать...

— Для совместного... Для обоюдной пользы советую,— лепетал дьякон.

— И советов не желаю... Мне твоих советов не нужно... Довольно я их слышал, а полезного мало извлек... Суешься ты всюду, во всякую дыру, и везде вязнешь...

— Да чем же ты, отец Андрей, обиждаешься-то?... Я, кажется, ничего обидного... Дело общее, приходское... Все мы от одного прихода питаемся. Тебе хорошо и нам хорошо, нам хорошо и тебе хорошо. Тут обиды нет никакой... никому... Я здесь тридцать лет в одном приходе, при мне все эти богатые дома произошли...

— Ну, ладно, ладно, ты еще тридцать проживешь, а все же я у тебя на помочах ходить не намерен и слушать твоих предложений не желаю...

— Да ведь от одной паствы-то питаемся... отец Андрей... Что ты очень-то гордыбачишь,— поднял голос и дьякон.

— Если ты...— что-то хотел возразить строго отец Андрей, но в это время растворилась дверь, зазвенела посуда, и священник замолчал, а дьякон отошел, опечаленный, к месту, которое занимал прежде.

VII

В залу вошел Иван Терентьич, неся в руках большой поднос, на котором стояли тарелки с хлебом, с изрезанной говядиной, с огурцами, с соленой рыбой, тоже накрошенной и политой хреном, с бубликами, с пряниками, сотовым медом и изюмом. Сзади него шла Матрена с бутылкой под мышкой и с двумя графинами в руках; за ней тетка Анфиса с чайным прибором и скатертью. Последняя была мрачна, сердита и ни на кого не смотрела.

— С праздником, Матрена Карповна! — приветствовали ее дьячки, поднявшись со своих мест и весело осклабляясь.

— Покорно благодарю, и вас также,— отвечала Матрена, ставя графины и бутылку на стол в зале, и прошла в гостиную.

— Ну, ну, стели проворнее, тетка Анфиса,— торопил Иван Терентьич, стоя с подносом у одного стола в зале.

Тетка Анфиса молча разостлала скатерть на одном столе, потом на другом и ушла вон, не взглянувши даже на дьячков. Иван Терентьич уже сам расставлял графины, закуски и чайный прибор.

Матрена Карповна между тем беседовала в гостиной с отцом Андреем.

— Уж вы нас не обессудьте, отец Андрей,— говорила она,— такой случай вышел... Да вот там сейчас все сготовят, припасают... Тоже, чай, умаялись, обедня да ход крестный...

— Да, есть немножко, утомился,— отвечал отец Андрей.— А вы не ходили вокруг полей-то?

— Нетути, я тяжела на ногу-то, сыра... У меня и маменька этакая же была, тоже сырая, я в нее... Да и что, приятности большой нет, духота, пыль, только и всего.

— Для бога, для души,— вмешался дьякон.

— Ну, это ведь кому как придется... Пожалуй, еще возропчешь, что устала, да мысли пойдут не те... вот тогда только и будет... И сама-то устанешь, и для души-то не припасешь... Тоже вот, помню, в городу, бывало, как в девках еще жила... тоже эти крестные ходы... Ну, тогда, известно в девках, и на ногу полегче была, ходила завсегда, так тоже не знаю как сказать... насчет души-то... И рада бы иной раз помолилась, так приказные уж очень одолевали... Никак было невозможно... Только грех один!

— Это верно,— заметил отец Андрей,— уж лучше не ходить, чем с неподобными мыслями...

— Да нет ведь, мало того, а щиплются... Как где в тесноте, так и берегись, непременно ущипнет... Из них, из этих приказных, есть бедовые...

— Ну, здесь-то нет приказных,— смеялся отец Андрей.— Насчет этого безопасно.

Смеялся из угождения и дьякон.

— Ну, и здесь... Вот сестрица уж богомолка, ходила, а пришла, с тятенькой расстроилась... Какое в этом удовольствие?

— Да, сказывал Иван. Это неприятно...

— Да как же, уж молиться хочешь, так надо свой характер сокращать, а она, напротив того, и все против меня... А я разве виновата? Тятенька послал, поди, говорит, приготовь все, потому попы придут, а что я приготовлю? У нее все заперто, она в ключах-то ходит.. Послала к ней за ключами,— не дает... И тятенька-то до сяковой поры без чаю... Ну, известно, неприятно. Пришла, стал говорить, а она пуще того да все против меня, такие наметки кидала, чего на свете не бывает. Тятенька и распалился, и ключи отнял от нее, мне передал... Что же в этом богомольи пути?... Я лучше пролежу, нежели этак-то делать...

— На всякого искушения бывают, Матрена Карповна,— вмешался опять дьякон,— всяк человек спотыкается... Не только Степанида Терентьевна, но даже святии отцы и те, во время молитвы, бдения, имели...

— Ну, вот и готово,— прервал показавшийся в гостиной Иван Терентьич,— все готово, и самовар подали. Пожалуйте, батюшка, пересмякли, чай. Отец дьякон,— пожалуй-ка.

— Да что же сам-то хозяин, неужели уж и не выйдет к нам? — спрашивал, вставая, отец Андрей.— Это даже обидно для нас... Нет, вы подите, Матрена Карповна, и позовите его... Желаю поздравить... В этакой праздник и так огорчаться... стоит ли?...

— Да ведь он хотел прийти... вот, говорит, только передышусь и приду...

— А вы сходите, почтите его старость, постарайтесь утешить его бурю душевную... Скажите, что батюшка без него и приступать не хочет... Надо старика поскорее отвлечь от мыслей, развеселить, успокоить... Что же в самом деле...

— Это верно,— согласился Иван Терентьич,— это верно, батюшка, изволишь... Поди, сходи, Матрена.

— Да, сходи-ка, а мы подождем хозяина... Что же, ждали немало, подождем и еще... Авось с голода не помрем...

Отец Андрей сел опять, а дьякон, насупившись, вопросительно смотрел на него. Дьячки в зале ужасно кашляли и сморкались.

— И чудная это, право, сестра Степанида,— говорил Иван Терентьич по уходе жены;— не велит тятеньке никого любить, никого слушаться, опричь ее... Правда, что

эти стары девки, говорят, злы живут, вот так оно и есть... Ровно мы у тятеньки не дети; нет вот,— не знай никого, знай ее одну... Хоть бы моя Матрена... Ну, что? Баба смирная, сырая... Ты ее только не трошь, она сама никого не замает, так вот нет, зрить не может: на что тятенька к ней милостив... Такова завидуща, такова завидуща, страсть!...

— За то она одна за всех за вас молитвенница,— заметил дьякон.— Вот вам что надо чувствовать, Иван Терентьич. Вы-то все не больно церкви божией привержены...

— Полно, отец дьякон, это все от одной только скуки, что замуж не вышла, что в девках сидит...

— Ну, однако же...— возразил дьякон.— Мало ли кто в девках остается, да не все выходят на один фасон... Так нельзя судить, вы это напрасно так рассуждаете...

— Да я ничего не рассуждаю, а вот что тятеньку разогорчила, себе неприятность сделала, Матрену разобидела, меня каким-то разбойником представила, что который самый христопродавец... И из-за чего все это?... Что в этом самом хорошего?... Ничего быть не может... Вот теперь сидит сама себе в кухне, ни на кого не смотрит, ни с кем говорить не хочет... И ничего собственно не случилось: взял тятенька ключи потребовал да Матрене отдал... Никто же в этом не причина... И даже сама виновата: взяла да выкинула... Нате, говорит, возьмите, подавитесь, мне ничего не нужно... И опять же, что такое это говорит?... Все не наше, все тятенькино...

— Значит, теперь уж хозяйкой в доме у вас будет Матрена Карповна? — спросил отец Андрей.

— Да что же это значит, батюшка? У нас один хозяин — тятенька, все в его руках, все мы из его рук смотрим... Какая тут хозяйка... Одни пустяки... Так это, одна ненависть,— хоть бы у сестры Степаниды... Бог ее знает...

Глаза Ивана Терентьича прыгали и бегали; взгляда его не мог поймать ни отец Андрей, ни дьякон.

— Вот, кажись, и тятенька,— проговорил он наконец, вставая.

В зале действительно слышались приветствия и шаги. В гостиную вошел Терентий Савельич в сопровождении Матрены.

— Вот и настоящий хозяин,— воскликнул отец Анд-

рей, поднимаясь и идя навстречу Терентию Савельичу с поднятой для благословения рукою.— Не хотел, не хотел приступать и к угощению без тебя... Как это возможно: этакой праздник и без самого, без хозяина... С праздником!

— Отец Андрей, пожалуй-ка... Задержали мы тебя ноне... Благослови-ка,— говорил Терентий Савельич, показывая рукою в залу и разумея стоящую в нем закуску.— Дьякон, пойдем-ка...

Он видимо уклонялся от всяких объяснений о своих домашних делах и спешил исполнить установившийся обряд праздничного угощения.

— Да, теперь можно, можно... С удовольствием! — говорил отец Андрей, следуя за хозяином в залу.

Он подошел к столу с закускою и, придерживая левою рукою рукав рясы на правой, благословил яствие и питие. Терентий Савельич поспешил налить одну рюмку и хотел поставить графин, но батюшка остановил его:

— Нет, нет, без хозяина нельзя...

— Разве уж для праздника?...

— Всенепременно.

Терентий Савельич налил и другую рюмку.

— Вторично с праздником,— сказал отец Андрей, приподнимая свою рюмку.

— Покорнейше благодарствую... Всякого благополучия...

Оба выпили. Священник крякнул, поставил рюмку и, смотря на закуску, взял вилку, приподнял ее и как бы задумался на минуту, в которую тарелку ее направить. В это время дьякон стоял сзади священника в пол-оборота к столу и меланхолически смотрел в потолок, а дьячки также стояли около стульев, опустив глаза в землю и поджав на груди руки, как будто глубоко задумавшись.

— Дьякон, пожалуй-ка... Братия, вы что же стоите?... Подходите,— обратился к ним Терентий Савельич.

И дьякон, и дьячки встрепенулись, как бы испуганные неожиданностью. Дьякон тотчас же схватился за графин, а дьячки медленно, тихо, давая дьякону время управиться, подходили к столу, ни на кого не смотря.

— С праздником, Терентий Савельич,— возгласил

дьякон.— Дай бог мир и тишину дому сему, любовь и совет всем чадам и домочадцам!

— Пей, пей... на здоровье,— проговорил Терентий Савельич сухо и нахмурившись.— Братия, приступайте же,— обратился он к дьячкам.

Отец Андрей отошел от закуски с середкой пирога на тарелке и сел к другому столу. Терентий Савельич подсел к нему.

— В голову маненечко ударило... Раскалило, видно, давича от жары,— говорил Терентий Савельич.

— Да, жарко... душно... Надо бы дождичка, надо,— отвечал отец Андрей, занимаясь пирогом.

— Отец Андрей, а по другой? — спросил хозяин, выждав, чтобы дьячки выпили и закусили, а батюшка доел середку пирога.

— Разве молодую хозяйку поздравить,— согласился отец Андрей, пожав плечами и взглянув с улыбкою на Матрену, которая сидела за чайным столом.

— Пожалуйте, перед чаем-то,— отозвалась Матрена.

Батюшка приподнялся, как-то особенно развязно и даже франтовато подошел к столу и взялся за графин.

— Только опять с хозяином... не иначе,— заметил он, наливая две рюмки.

— Вот только в голову-то бьет,— нерешительно проговорил Терентий Савельич.

— Это не вредит, это отвлекает.

— Разве что,— сказал с улыбкой старик.

— А ты как думаешь? Непременно! — со смехом подтвердил отец Андрей.

Дьячки с сочувствием засмеялись, прикрывая рукою рот, пережевывавший закуску.

— А как же Иван-то Терентьич?... Вишь ты, и притаился!... Нет, брат, выпей и ты с нами...

— Кушай, отец Андрей, мы свои люди, поспеем...

— Нет, нет, Терентий Савельич, прикажи... Как можно, за здоровье супруги! Вот я и третью налью. Ну, вкупе...

Иван Терентьич, с появлением отца державшийся в стороне, подошел и взял рюмку.

— Матрена Карповна, за ваше! — приветствовал отец Андрей и выпил. Терентий Савельич осушил свою рюмку, не говоря ни слова, только приветливо посмотрел на

Матрену и, выпивши, повеселел. Матрена Карповна кланялась.

— Что же, дьякон, братие, вы что же по другой?— потчевал старик.

Те не заставили себя просить и поспешили распорядиться сами.

— Иван Терентьич, а для уравнения с нами еще повтори,— обратился к нему дьякон.

— Нет, для меня достаточно.

— Да нельзя, братец, потому пожелаем вам обще с супругою... Иван Терентьич, не задерживай, бери, вот я налил.

Иван Терентьич быстро взял рюмку и, не дожидаясь прочих, выпил.

— Упредили! — со смехом проговорил дьякон.

— Долго копаетесь! — улыбался Иван Терентьич, закусывая.

— Как же, нельзя!.. Вот, хозяюшку молодую... Матрена Карповна, много лет здравствовать... Всякого благополучия... Деточек, матушка, деточек пора заводить, давно пора... Вот что...

— Ну их, молода еще, поспею,— отвечала Матрена.

— Нет, нужно, нужно,— настаивал дьякон.— Правду ли я говорю, Терентий Савельич?

— Да ты пей; что людей-то задерживаешь? — вместо ответа сказал ему хозяин.— Вон дьячки стоят, ждут тебя... А, может, и мы с отцом Андреем еще по третьей пройдемся.

— Как скоро, так и сейчас, Терентий Савельич, за нами дело не станет...

Дьякон, а за ним и дьячки выпили.

— Вот и чисто.

Дьякон показал опорожненную рюмку.

— Ну-ка, так подвиньтесь, вот мы с батюшкой утроим... Пойдем, отец Андрей,— говорил развеселившийся Терентий Савельич,— а ты, Матрена, уж теперь чаю наливай.

— Вот хорошо, вот повеселел, вот люблю,— ласкался дьякон к Терентию Савельичу в то время, как он наливал и пил водку со священником.

— Ладно, ладно, пейте и вы еще...

— Выпьем, выпьем, с нашим удовольствием выпьем... У ласкового хозяина и пить, и есть весело...

Дьякон пил и угощал причетников. Все повеселели, разговорились. Пили чай, но среди чаю вспоминали о закуске и не ленились подходить к ней уже без приглашения.

— Мы ведь с тобой, Терентий Савельич, ой давно хлеб-то едим... Сколько лет, ну-ка, смекни? — говорил дьякон, уже порядочно раскрасневшийся и видимо подгулявший.

— Да, да, давно,— отвечал Терентий Савельич.

— То-то давно... А мне вот и прискорбно... Вот отцу Андрею ничего, а мне прискорбно!.. Он по новости, а я, может быть, всю свою жизнь от молодых годов и вот до преклонных по этой земле хожу, мне и горько...

— Что же так тебе прискорбно и горько?...

— А то мне прискорбно, что вот не первый год мы сей день встречаем у тебя, трапезуем и веселимся в дому твоем, а никогда сего не было, что ныне...

— Да чего не было-то, чем ты недоволен? — спросил со смехом Терентий Савельич.

— Эх, брат дьякон, охмелел, неподобное говоришь,— заметил отец Андрей.

— Нет, батюшка, позвольте, не возлагайте хулы преждевременно... Не охмелел, а неподобное и в охмелении не исходит из уст моих... А вот чего не было, Терентий Савельич... Где дщерь твоя, старец, скажи мне, где боголюбивая отроковица дома сего? Чего ради не делила она с нами сего пиршества по обычаю прежних дней?... Отвещай мне.

Терентий Савельич нахмурился, Матрена надулась, у Ивана Терентьича злобно забегали глаза.

— Это не твое дело... дьякон,— проговорил Терентий Савельич сердито— Не твое дело, наше!...

Священник засуетился и поднялся с места, дьячки тоже.

— Пора и на деревню... Многие желали и ожидают,— сказал отец Андрей.— Отец дьякон, пора и хозяевам покой дать...

— Нет, позвольте, батюшка... Вы человек внове, а я...

— Отстань, довольно,— внушительно останавливал его священник.

— Позволь, отец Андрей...

— Отстань, говорю...

— Позвольте...

— Прощай, Терентий Савельич. За угощение! — перебил дьякона отец Андрей и подошел благословить хозяина, но дьякон не унимался.

— Терентий,— говорил он,— старец!... И я предстою престолу, вспомни... Не гнушайся дружеством моим. Тридцать лет я тебя знаю... Супруґу твою похранял... Младенцем ее зрел... Батюшка внове и человек хотя высокомнительный, но неопытный...

— Пойдем, отец дьякон, пойдем, не твое дело,— говорил вполголоса старый дьячок, желая захватить дьякона под руку; но тот был в пафосе, не давался и продолжал, загораживая дорогу Терентию Савельичу, который хотел идти провожать отца Андрея.

— Терентий, преложи гнев, примирися... Оскорбила она тебя,— прости!... Возврати отеческую любовь и ласку, не извергай чадо твое из сердца своего!... Примирись, говорю, прошу и умоляю... Не мое, говоришь, дело... Да, но нет у нас отца, пекущася о чадах своих: юн и малоопытен, горд и скуден любовию... А я, хотя недостойный, но...

— Да убирайся ты от меня и в сам-деле,— рассердился Терентий Савельич,— вот пристал... больно умен!... Поп и тот молчит, а он... Что она тебе на рясу, что ли, обещала?...

Иван Терентьич и Матрена злобно засмеялись. Дьякон обиделся.

— Трудом своим питаюся, беден и нищ, но не простираю рук на грабление... Богат ты, но скверны исполнен... А помнишь, что про богатого сказано: удобее велбуду...

— Ну, ну, ступай, ступай... Ишь ты, и сам-деле, за хлеб-то за соль, за мою же...

Старый дьячок, который было уже вышел вслед за священником в сени и на двор, опять воротился и теперь уже без церемонии взял дьякона за рукав.

— Пойдем, отец дьякон, чтой-то, с чем схоже... Батюшка огневается,— уговаривал он его.

— Вы перед батюшкой-то на задних лапках трепещете,— накинулся дьякон на дьячка,— а я разумом своим, и...

— Да ну, чтой-то, ну, полно... Экой, братец, ты нескладной...

И дьячок уже просто потащил дьякона из комнаты.

— Тащи, тащи его, надоел... И впрямь нескладной! — говорил Терентий Савельич.

— Помни, Терентий... тридцать пять лет... скверны исполнен,— слышались последние слова дьякона.

Дверь за ним захлопнулась.

Терентий Савельич был сильно рассержен, но в то же время смущен. Он сел к окну бледный, мрачный и некоторое время смотрел на улицу, тяжело дыша. Иван Терентьич на цыпочках вышел вон из залы. Матрена осталась за чайным столом.

— Тятенька, выкушали бы еще чайку... для рассеяния,— сказала она ласково.

— Нету, не хочу,— отвечал он, не оборачиваясь.

— Уж эти попы только, право, ну!... Ангела и того рассердят,— продолжала она.

Терентий Савельич молчал.

— Дьякон этот,— вдруг заговорил он,— он ведь не из-зла... я его знаю... Знамо, не его дело, а только что разговоры пойдут...

— Да ведь мне эти ключи нисколь не антересны, только хлопоты одни, я ей, пожалуй, назад отдам... Известно, мне только обидно за всяк час из ее рук смотреть. Я сама, слава богу, не маленькая, чтобы ей большничать надо мной... А что мне ключи... Наплевать!... Я пойду да брошу ей...

Матрена Карповна сердилась, пыхтела, отодвинула со злобой стул и привстала, намереваясь уйти из залы. Терентий Савельич встревожился.

— Матреша, Матреша, погодь, постой,— беспокойно заговорил он, оборачиваясь.— Что тебе ключи и сам-деле, ты и без того большуха была и будешь, покулева... ну, покулева ты этакая ко мне почтительная, старость мою покоишь... Ну, а умру,— все ваше будет... Только, вишь ты, у нее язык-то какой: злая она, язва... Что хорошего... И между вами свара...

— Так что, я поддамся, что ли, ей?... Ты разве захочешь, чтобы она меня мучила да тиранила,— в обиду ей отдашь... Ну, так...

— Да нет, нет, не про то я... Дам ли я тебя в обиду... А то, что нехорошо, семьей живем... а она вон какая, какие слова говорит... А ты вот что: ты уж на меня надейся, а ей покажи себя против нее... Я-то на нее сердит, я и говорить с ней не стану, а ты будто как... войди с ней

в ласку... не сейчас, не теперя... а после как... Ну, и молви: тятеньку, мол, ты расстроила из-за меня, думаешь, что я того желаю... А я, мол, вот как: упросила, мол, тятеньку-то, чтобы мне этих ключов не держать и чтобы опять все по-прежнему было... И отдай ей, отдай ключи-то... А уж на меня надейся, я вас не оставлю.

— Да разве к ней подойдешь? Она и говорить-то не захочет...

— Ну, а ты не вдруг, Матреша... А ты понемножку, исподволь... Я будто как сержусь, а ты за нее, все за нее... Она и почувствует... Ты для себя это, Матреша, постарайся, а я уж для тебя... Вот у нас все складно да ладно и пойдет...

Матрена сидела надутая и молчала, Терентий Савельич подсел к ней поближе.

— Ну, что же, Матреша, сделаешь? Ведь ты у меня добрая, разумная... Все так чудесно будет. А?

— Да чего чудесно-то?... Из-за чего мне эти комедии-то приставлять? Какая мне корысть-то?... Вот который год я с мужем живу, а не то чтобы собина какая была, а еще у золовки из-под рук гляди... Муж остолоп, слава богу, а рубля своего нет за душой... Да еще комедии приставляй, кто тебя со свету сжить рад, тому любовь да приятности показывай... Ровно малого ребенка манят: дал ключи подержать, большухой, говорит, будешь, а тут взял сейчас да и отнял... А еще золовушка попрекает, любимка, говорит, у тятеньки... Хороша любимка, нечего сказать: ни воли своей, ни денег своих, ничего нет...

— Да чего тебе надо, ну, чего тебе надо? Ну, скажи мне?...

— Ничего мне не нужно... Брошу я все, запрусь в своей горнице да и буду сидеть. Муж придет,— и я приду, муж ушел,— и я ушла, да заперлась опять... Вот и все...

— Слушай, Матреша, ты этого и не говори, не мути меня, а ты скажи мне, откройся, чего твоя душа хочет?

— Известно, кабы у меня али хошь у мужа капитал был свой, хоть маленький, все бы знал себя, что человек,— что захотел, сдумал, так и сделал...

— Да что тебе сдумать-то, что тебе сделать-то?... Али у тебя нарядов мало, али сладкого не доела, ну, чего тебе надо?...

— Да муж грозит, муж стращает... Скоро тиранить будет...

— Муж? Ванька-то?... Да как он смеет, да я его...

— Да что ты его? Коли же муж над женой не смеет?.. Разе ты, хошь бы и отец, можешь его над женой остановить?... Что ты сделаешь?

— Я-то?...

— Да... Бить, что ли, станешь? Так ты его, а он меня... Целый день за руки держать не будешь... Да и ночь-то его...

— Да только тронь он, ты мне молви только, да я его наследства лишу... Все за тебя запишу...

— Запишешь!... Да пока мне до рук-то дойдет, так меня, може, и в живых-то не будет,— заколотит в гроб... А известно, коли бы у меня теперь хоть маленькие деньги водились, и муж бы мне в глаза смотрел, видел бы, что у жены деньги есть, когда бы и поманила, и дала бы сотню, другую... Хошь бы три бы тысячи, хошь бы две бы... И сама бы, куда захотела, извела, не ходила бы просить кажинного рубля... Разе сладко это просить-то кажный раз?... А теперь вот нет, так и жди, что муж бить начнет... А как почнет бить, так и знай, что из дома убегу к матушке... И все ей расскажу, откроюсь...

— Так тебе подарить, что ли?

— Где тебе подарить? Жаден больно... На словах только...

— Я-то на словах?.. А вот коли как... Будешь ты у меня почтительна, вот поедем на ярманку в город, о казанской, тут и подарю тысячу либо две... Слышала?...

— Ну, коли подаришь, так спасибо... Хошь две тысячи, все не как теперь, не пустое место, не сухая ложка... Я и Ивану скажу, что тятенька, мол, мне две тысячи обещал подарить...

— А он их у тебя отнимет...

— Так что тебе? Муж ведь, не чужой...

— Он сопьется... с кругу...

— А тебе, небось, жалко?...

— Да кроме жалко... От дела отобьется...

— Небось, всех не отдам... Да и он парень не такой, прижимистый, небось, в тебя... А ты мне деньги подари перед ярманкой, я там на свои и нарядов накуплю, каких мне нужно... А как поедем, я и ключи отдам опять назад Степаниде... А до той поры буду все ей потрафлять, буду

все по ней и делать, и говорить... Погоди-ка, схожу погляжу, что она делает... Поди, чай, ведь сидит со зла-то не пимши, не емши...

— Да ты опять сюда приходи до обеда-то...

— Приду... Велю только тетке Анфисе все принять отсюда...

Матрена ушла, а Терентий Савельич начал ходить по комнате, потом вдруг подошел к столу с закуской и выпил одну за другою две рюмки водки. Руки его дрожали, глаза горели.

В залу через дверь из сеней вдруг просунулась голова Сережки.

— Терентий Савельич,— назвал он. Тот весь вздрогнул от неожиданности.

— Что тебе? — сердито закричал Терентий.

— Гулять...

— Чего? — переспросил Терентий, не разобрав.

— Гулять, чу, пусти...

— Пьянствовать?...

— Праздник... Все гуляют...

— А сторожить кто будет?... Налопаешься, так мне, что ли, за тебя сторожить...

— Я пришлю человека...

— Какого еще... экого же пьяницу?...

— Капитошку пришлю... Он, брат, парень трезвый...

— Какого еще Капитошку?...

— А что давеча в кучера-то охотился... Наш заводский...

— Ну, убирайся к чёрту...

— Так я уйду... гулять...

— Только смотри, чтобы сторож был ужо, и не пьяный...

— Слышь, говорю, парень — стекло, стоющий...

— Ну, ладно...

— Терентий Савельич...

— Что еще?

— Поднеси для праздника...

— Подносили тебе давича...

— Еще поднеси... На дорожку!...

— Будет с тебя, убирайся, пошел.

— Вишь ты, братец мой... Не хочешь поднести для праздника! Э-ххма!... Тут, что ли, Матрена-то Карповна?

— Чего тебе еще? Зачем тебе?

— Да ты вона какой, а она бы, может, поднесла... Как я вас давича к обедне-то катал? В лучшем виде...

— Ты уйдешь, или нет? — закричал на него Терентий Савельич.— Пошел вон!

Сережка скрылся и притворил дверь.

Имя Матрены Карповны в устах Сережки произвело особенное, неприятное впечатление на Терентия Савельича. Ему показалось, что мужичонка вспомнил о ней не без умысла. Он сел к столу, где стояли закуски, положил голову на руку и блуждающим взглядом осматривал комнату. В голове у него шумело, сердце стучало, он начинал хмелеть.

Вошла Анфиса, молча и не смотря на брата, подошла к столу и начала прибирать посуду. Терентий Савельич, который никогда не обращал внимания на сестру, никогда не думал о ней, вдруг пристально и пытливо уставился на нее. Анфиса невольно оборотила к нему свое недовольное, раздраженное лицо; Терентий быстро опустил глаза, в которых сверкнула досада и злоба. Взгляд его упал на графин с водкой, на котором лежала рука Анфисы.

— Не трожь,— проговорил он.

— Чего не трожь, водку-то, что ли?

— Не трожь, говорят,— возвысил голос Терентий.

— Не прибирать, что ли, совсем? — сердито спросила Анфиса.— Твоя же... Матрена велела.

— Пошла к чёрту... Вон! — закричал вдруг Терентий Савельич, раздражаясь.

Анфиса вздрогнула, испугалась, оставила собранную посуду и отступила от стола, но остановилась, смотря с удивлением на брата.

— Да что ты зычешь,— сказала она,— нужно мне, что ли? У меня коло печки дела-то много и без этого, ее бы дело-то; коли уж в хозяйки стала, так ей бы и прибирать... А то, вишь ты, ровно барыня, ровно господского рода; чайком попоила, а прибирать, говорит, не буду, поди ты прибирай... я, говорит, не стряпка... не судомойка... А ты зычешь... Твоя же блажь... ничья... Сам избаловал; неужто кому нужно... Нет, Степанида-то, бывало...

— Да ты что?.. Что ты? — закричал Терентий Савельич, поднимаясь на ноги во весь рост, сверкая глазами и сжимая кулаки.

— Что я? Ничего,— отвечала оробевшая Анфиса, отступая перед ним.— Мне как хотите, не мое дело.

— Вы сговорились, что ли? Да я тебя... Да я вас всех в порошок изотру... Вон!

Терентий Савельич кричал и топал ногами; лицо его исказилось от ярости. Анфиса со страхом убежала от него. Оставшись один, он опять подошел к столу, выпил несколько рюмок водки, пошатываясь, пошел в гостиную, грузно опустился на диван, несколько времени сидел, тяжело дыша и смотря бессмысленными глазами, потом свалился на бок и захрапел.

VIII

Гулянка была в полном разгаре. Около лавочек толпился народ, шумел, горланил, пел песни, щелкал орехи. Вся земля усыпана была скорлупой ореховой и от семечек. За часовней девки в платьях, в миткалевых перчатках, сверх которых надеты серебряные перстеньки, в платках и сетках со стеклярусом на головах, водили хороводы. Около них стояли зрителями молодые ребята в картузах, шляпах, жилетах поверх цветной рубашки, в поддевках, накинутых на одно плечо, с гармониями в руках. По всему выгону рассеялись небольшие кучки: в иных распивали купленную в складчину или кем-либо выставленную водку, в других играли в орлянку в засаленные и ободранные карты. Охмелевшие, обнявшись, бродили по всему гульбищу и по деревне, по три, по четыре человека, и целыми шеренгами, орали песни, ругались, просто кричали без всякого толка, смысла и без надобности, падали, поднимали друг друга, задевали и куражились над трезвыми. В иных кучках боролись, а в других начиналась драка. Какой-нибудь совсем одурелый от вина парень, потерявший шапку, с выпученными бессмысленными глазами, весь красный и растрепанный, вдруг врывался в спокойно стоящую толпу и начинал бесцельно толкать локтями встречного и поперечного, пока не натыкался на задорного, который сам спускал ему подзатылину, тот оборачивался, точно этого только и ждал, бац! — и пошла свалка. Пьяный находил покровителей, обиженный защитников; драку прекращали более трезвые, противников разводили в разные стороны, и

они, избитые, но довольные, расходились, ругаясь, угрожая, хохоча и запевая песни. Более степенные и богатые сидели у своих домов или ходили по гулянью в качестве зрителей, или в гости один к другому. Дети бегали взапуски, дрались, ругались, бахвалились один перед другим или, подражая старшим, водили в сторонке свои хороводы и пели песни; у каждого в штанах, в платке, в фартуке были гостинцы. Девчонки-подростки, разыгрывающие больших, серьезничали и степенничали, а мальчишки задирали их и сквернословили. Над всей гулянкой носился неопределенный гул человеческих голосов, звуков гармонии, щелканья орехов, хохота, писка, крика, нескладной песни, в воздухе слышался смешанный запах водки, дыма, пригорелого масла и медового пряника.

В сторонке от народа, но на выгоне, где была гулянка, сидели вдвоем Капитон с Сережкой. Последний был в самом довольном, веселом расположении духа, но еще крепко держался на ногах. Он обнимал и целовал Капитона.

— Я для тебя, Капитоша, что угодно,— говорил он,— потому люблю... Вот ты меня угостил... Вот и ступай... Приди, так и так, мол, Сережа без ног и гулять желает, а я замест его... и на всю ночь... Сторожить... Ха, ха, ха... Ну, и сторожи... Вот что, милый друг...

— Слушай... Так как же совсем у нее ключи-то отобрали?

— Совсем... беспременно!... Чтобы не было, говорит, потому теперь все Матрена, потому он теперь для Матрены что угодно... Ха, ха... старый черт! Ах, чтоб тебя! ..

— Да врешь...

— Ну, вот, врешь... Право слово... Я, брат, на эти дела, меня взять!... Спроси теперь на десять верст в округе, кто с кем, под каким кустом,— все знаю...

— Так теперь у Степаниды, значит, ничего и в руках-то не будет, а все у Матрены?...

— У Матрены!... Теперь тебе, если насчет Матрены, гораздо бы согласнее, только что теперича этот старик и опять же муж... Но только и у Степаниды деньжонки есть, собина, опосля матки осталось, и из одежды много всего... Старик не касается, этого не касается, и ключ у нее, потому после матери!... В собину, значит, ей!...

— Да полно, Серега, рази я для того... Я просто так,

как по душе только... Ну, мой грех, что делать, молодой парень! А не то, чтобы против денег, что ли, али так корысти какой... Понравилась девка... ну, что делать, каюсь перед тобой!...

— Отстань-ка ты, Капитоха... Милый ты мой человек, не сукрытничай ты супротив меня... Ну, что ты мне это подводишь, на что тебе тут польститься?.. Девка — жила, сухарь... Ха, ха, ха... Матрена, ну, то другое дело, по крайности, сдобная, ровно булка, а эта... Ах, отстань-ка ты мне!... Да что мне,— жалко, что ли? Не то что, а сам тебе посоветую и научу: и не жалей, выжимай из них, что больше, то лучше!... Да что? Чего смотреть-то? У них много всего, вон как разбухли, а тебе, по крайности, в пользу, ты своим домом живешь... Не все же экие бездомки, как я...

— И мы своим как-никак проживем, прокормимся; руки, ноги есть, голова на плечах, бог даст,— проживем... Не надо мне от нее ничего; а только что вот вступило в меня это, братец ты мой, сушит меня, да и на поди, никак спокою себе не найду ни днем, ни ночью!... Стоит вот супротив меня да глазищами своими нутро мое прожигает... И что, братец, чудно: с женой сплю, и все у нас с ней по любви и согласу, ничего промеж нас нет такого, там свары али неудовольства какого. А Степанида жжет вот меня, жжет да и шабаш!... Ровно приворожила она меня...

Сережка громко хохотал.

— Да чего смеешься? Верно я тебе говорю, как другу... Вот, где она, и меня туда тянет; сглянет,— сердце захолонет... Это, брат, я тебе верно говорю...

— Верно, верно, коли не врешь,— хохотал Сережка.— Ах ты, продувная ты бестия, Капитоха! Вот прожжоной-то! Ну, не отвертеться ей от тебя, не уйти... Экие-то вот на погибель-то старых девок и родятся...

Капитон старался напустить на себя скромность и смиренность, но углы губ у него поневоле вздрагивали и глаза смеялись.

— Поцелуй ты меня, шельма ты этакая,— говорил Сережка.— Отчего ведь я тебя и люблю-то: больно уж ты умен да плутоват... Объезжай, объезжай, обважживай ты ее хорошенько!...

— Вот что, пойдем-ка мы теперь, найдем гостей да Алену мою; они тут где-нибудь, пойдем ко двору... По-

потчую я тебя еще хорошенько, а как время-то будет подходить, ты и свались ровно как уж совсем, и попрошай меня, чтобы я, значит, шел да посторожил за тебя... Все оно для народа-то лучше, ровно как так, невзначай...

Приятели встали и пошли, обнявшись. Сережка затянул песню. В одном хороводе, в числе участвующих, они нашли Алену, и в числе зрителей Гаврила с женою. Только что они соединились, как Сережка заметил среди гуляющих Ивана Терентьича. Он ходил один, как совершенно посторонний человек, ни с кем не заговаривал, но многие с ним кланялись и молча уступали ему дорогу. Иван Терентьич был в сюртуке и в высоких блестящих резиновых калошах, которые он надел, несмотря на жару и страшную пыль, ради одного франтовства. Он был красен больше обыкновенного, и его плутовские глазки подернулись влагой, как у порядочно выпившего человека. Он задорно посматривал на баб и девок, но по конфузливости богатого и делового человека, чувствующего себя выше окружающей толпы, не решался ни заигрывать, ни заговаривать с ними, хотя, видимо, очень бы желал.

Сережка, завидя его, толкнул локтем Капитона.

— Смотри, наш Иван Терентьев ходит,— сказал он вполголоса и тотчас пошел, увлекая за собою и прочих, прямо на него.

— Ивану Терентьичу... Хозяину! — заговорил он пьяным голосом, снимая перед ним шапку и кланяясь.— Гуляю, Иван Терентьич.

— Гуляй, гуляй... Да смотри ужо! — проговорил он важно и снисходительно, слегка приподнимая картуз в ответ на поклоны спутников Сережки.

— А я, мотри вот... Иван Терентьич... Вот я с кем: вот Капитоха, сродник мой... Работничек ваш.

— Работники ваши, Иван Терентьич, всегдашние... С праздником, Иван Терентьич,— подобострастно кланяясь, говорил Капитон.

— А эта вот эвоная жена, Иван Терентьич,— продолжал Сережка, загораживая ему дорогу.— Вон какая баба... сродница моя... Алена Федотьевна...

— Жена моя... Иван Терентьич,— подтвердил Капитон, указывая на Алену.

Иван Терентьич не без интереса и не совсем равнодушно заглянул в веселые вызывающие глаза Алены и,

не выдержав ее взгляда, быстро оглядел ее рослую, круглую, крутобедрую фигуру,

— А это эвоные сродники... Иван Терентьич,— не унимался Сережка.— На праздник приехали, потому нельзя — сродники... Вон какие...

— Сродники мои, Иван Терентьич,— подтвердил Капитон,— своячена с мужем.

Иван Терентьич уставил глаза на смазливое жеманно-улыбающееся, модно исподлобья выглядывающее лицо Марины Федотовны, и смущенно смотрел на нее. В это время Гаврила форсисто, с вывертом, протянул к нему руку.

— Наше почтение... Позвольте познакомиться... Тоже по торговой части заимствуемся при собственном своем капитале,— бахвалисто проговорил Гаврила.

Иван Терентьич невольно подал ему руку. Неожиданность и взгляды двух красивых женщин его окончательно смутили и выбили из роли.

— Не погнушайтесь, Иван Терентьич... погоститесь с нами,— вдруг как бы по вдохновению сказал Капитон.— Не оставьте, пожалуйте... Чайку покушать... Хозяева вы наши, осчастливьте... Проси, Алена...

— Сделайте такое ваше одолжение... Погоститесь, пожалуйте,— говорила Алена, улыбаясь и смело смотря в глаза Ивана Терентьича.

— Батюшка, Иван Терентьич, осчастливь,— говорил Сережка,— потому, вы хозяева наши... Что делать-то, праздничное дело, гуляем... Вот и с Гаврилом Михайлычем...

— Что ж, не гнушайтесь, завсегда по купечеству компанию имеем... потому при собственном своем капитале,— говорил Гаврила.

Бегающими глазами взглянул Иван Терентьич на Гаврилу, жену его и Алену, опять не выдержал ее взгляда и согласился.

— Что ж, мы не гнушаемся... С моим удовольствием,— проговорил он.

Сережка был в восторге и полез было целоваться с Иваном Терентьичем, приговаривая: — вот хозяинушка... вот какие у нас хозяева!..— но Капитон остановил его.

— А ты, Серега, подь-ка, добежи, прихвати полштофика французской водки... На вот деньги,— говорил Капитон.— С чайком-то употребляете, Иван Терентьич?

— Ничего, можно...

— Да бутылочку лисабончика коли ин-возьми еще,— прибавил Капитон.— Мы такому дорогому гостю рады... от всей души! Ничего не жалко...

Через полчаса вся компания сидела в избе Капитона у стола за самоваром. Иван Терентьич, как почетный гость, сидел в переднем углу между Гаврилою и его женой, против него помещалась Алена с мужем, Сережка сидел немного в сторонке. Все пили чай: гостям хозяйка и хозяин усердно подливали в чашки французской водки. Иван Терентьич сначала старался держать себя несколько свысока и осторожно, но чем меньше оставалось в штофе водки, тем он становился разговорчивее, тем глаза его делались масленее и неотвязнее следили за Аленой. В то же время Гаврила все больше и больше бахвалился и хвастал, а Марина делалась разговорчивее и внимательнее к Ивану Терентьичу. Алена смеялась и, видимо, заигрывала с хозяйским сыном. Капитон пил мало, подобострастно прислуживал гостю и втихомолку наблюдал за ним. Сережка начинал говорить пьяный вздор и все чаще и чаще клевал носом, на что Капитон не упускал обращать внимание всей компании, и все хохотали. Скоро разговор сделался шумный, несвязный, бестолковый, говорили все вдруг и хохотали.

— Я теперича всякого человека проведу и выведу,— кричал Гаврила,— потому ума во мне палата и бестия я преестественный... Вот, коли тебе нужно приказчика, бери меня. Насчет торговой части и покупателя оплести — первый человек... Опять же у меня жена хороша... Смотри какая, Иван Терентьич, смотри какая... Хошь, велю по комнате пройтись, хошь?... Предмет, братец мой... Марина, ходи... ходи выступкой!...

— Чтой-то, право, на что похоже... Чего не выдумает! С какой это стати... встань да ходи по избе, ровно в кругу... пристало ли, с чем схоже?.. Батюшки, да не пройти, кажись, ни за что,— тараторила Марина, жеманясь, но не сердилась, в душе была довольна и улыбалась...

— Ходи,— кричал Гаврила,— для гостей пройдись...

— Не трожьте, не трожьте,— говорил Иван Терентьич, без надобности удерживая за руку Марину, отчего та тоже без надобности выгибалась и ежилась.

— Али щекотливы? — любезничал Иван Терентьич, тыкая Марину пальцем в бок.— Ревнивы значит...

Та визжала, Иван Терентьич хохотал и маслеными глазками заглядывал через самовар на Алену.

— А вы как к щекотке-то?... Тоже трогательны? — заигрывал он и с нею.

— Я, нету... Я не приимчива, не ревнива,— отвечала Алена, смеясь.

— А вот я спытаю?

— Спытайте...

Иван Терентьич хохотал, опрокинув голову назад, и, тряся своей бородкой, потирал руки. Он вышел из своего скучного дома от сердитого отца, от раздраженной молчаливой сестры, от скучной жены не без задних мыслей, и эти мысли, показалось ему, неожиданно и так приятно осуществлялись.

— Батюшка, хозяин, хозяйский ты наш сын,— лепетал Сережка, опустивши голову и качаясь всем туловищем.— Гуляем мы, ей-богу гуляем... вот, ей-богу гуляем... в лучшем виде... Э-эх... А и нет у нас такого молодца, что Ивана-то Терентьевича... Складно ли, милый человек?... Складно ли Сережка поет?... А сторожить я не пойду... перед истинным богом, не пойду...

— А, ведь, уж пора бы и идти, вона где солнышко-то,— сказал, меняя тон, Иван Терентьич.— Вот ваше пьянство-то... Хорош и сторож будешь этакой-то. Уснешь, кто же за тебя будет сторожить... пьяница!...

— Я вот на кого надеюсь... Батюшка, Капитоша, будь отец родной... посторожи... Я тебе в ножки поклонюсь...

Сережка спустился с лавки, хотел встать на колени, но повалился на пол и не мог приподнять головы.

— Вот так сторож! — взыскательно проговорил Иван Терентьич.— Пьяницы, мерзавцы!..

— Праздничное время, Иван Терентьич,— оправдывал его Капитон.

— Знамо, праздничное, братец... А все-таки... нельзя же... Как же дом без сторожа оставить, особливо сегодня?.. Народ везде пьяный... Ах, мерзавцы!.. Вишь ты, ровно мертвый... Вот его батюшка-то завтра... смотри, сгонит...

— Зачем же, Иван Терентьич. Коли в угоду твоей милости, я за него, по родству, посторожу ночку-то... Ничего,— продолжал Капитон.

— Да что же, братец мой, тебе? У тебя вон гости...

— Ничего, Иван Терентьич, не за чужого; он нам сродни приходится... Опять же у меня в дому и загулял... А гости, свои люди, не осудят...

— Ничего, что же... Поусердствуй за него... Мы ничего... Хозяйка вот останется, мы здесь с Иваном Терентьичем еще покантуем для нашего нового знакомства-дружества... А ты, молодой человек, послужи хозяину, уж куда ночь-то не шла,— говорил Гаврила.

— Да я с полным моим удовольствием, коли ежели Ивану Терентьичу в угоду, потому что же? Свой человек, хоть бы Серега, жалко!.. Вы пожалуйте, погоститесь у нас, а я пойду...

У Ивана Терентьича радостно заблистали глазки.

— Ты вот коли что, я вот тебе дам денег, потому мне совестно: ты купи вот еще сладкой водки да гостинцев, я твоих гостей угощать буду и хозяюшку твою... а ты...

— Напрасно, Иван Терентьич... Мы много и так довольны... Напрасно... Что уж это... Вы уж нас не обижайте,— отказывался Капитон.

— Уж где это водится, Иван Терентьич, чтобы гость со своими гостинцами в гости ходил,— заметила с неудовольствием и Алена.— Найдется и у нас для праздника...

— Да нет, ведь, я только что совестно... И желательно мне самому,— оправдывался Иван.

—Найдется, не сумлевайся,— фамильярно сказал и Гаврила.— Сам небогат,— у меня позаимствуется, не оставлю, по родству... А там вот теперь знакомство с вами поведут, может, и жалованьишка поприбавишь, на другую работу переведешь; уставщиком, что ли, поставишь... Все в ваших руках, ведь это мы все понимаем. Не сумлевайся, сиди... И сладкая водка найдется... Найдется все....

— Поднять бы Серегу-то, что ли. Что валяться на полу-то? — заметила Алена. Капитон помог жене оттащить Сергея в дальний угол и взвалить на лавку. Капитон живо собрался, попрощался с гостями и хотел идти.

— Ты слушай,— предупредил его Иван Терентьич,— ты там спроси у тетки Анфисы,— поужинай...

— Покорнейше благодарю. Иван Терентьич, не беспокойтесь, я сытехонек по горлышко...

— Все-таки, нельзя же... Да ты вот что...

Иван Терентьич подошел к Капитону и стал говорить вполголоса, чтобы не слыхали другие,

— Ты неравно про меня... Ты не говори, что я здеся, а ворота-то запри, скажи, на сеновал, мол, ушел спать... Я, может, тут с приятелями закачусь на всю ночь, а нет, так постучу потихоньку; ты уж послушай и отопри...

— Да уж это будьте покойны, Иван Терентьич, все исправлю, лучше не надо...

— То-то, брат, да!., А то, ведь, у меня дома-то тоже, знаешь, слыхал, чай, монастырь, тоска одна! Поди, чай, уже спать подбираются... А я тоже человек молодой, погулять хочется...

— Да как не хотеться, Иван Терентьич, до кого не доведись... Будьте покойны, гуляйте себе в удовольствие... Никто духу не услышит... Все справлю...

— Ну, прощай, Алена,— продолжал он, обращаясь к жене,— смотри же у меня, угощай гостей-то хорошенько...

— Так уж неужто... Экие-то гости не часто гостят...

Муж с женой переглянулись, и только им одним осталось понятно, что сказали друг другу их глаза, но оба незаметно улыбнулись.

Капитон ушел, а Иван Терентьич бойко подошел к хозяйке.

— А ну-ка, пощекочу,— заигрывал он,— спытаю, ревнива ли?

— А ревнива ли у тебя жена-то, Иван Терентьич?— весело отвечала Алена.— То-то бы посмотрела здесь, что ты мастеришь...

— А что? — спросил он, опуская поднятые руки.

— Ничего...

Алена улыбалась и обдала Ивана Терентьича своим смеющимся, вызывающим веселым взглядом.

— Жена у меня, чай, спать уже завалилась...

Он нерешительно смотрел на Алену, не зная, как понимать ее взгляды и речи.

— На то купчиха,— засмеялась Алена.— Пожалуй-ка еще чашечку... А за сладкой-то водкой я сейчас сбегаю, принесу.

— А ты вор-баба, я вижу,— сказал Иван Терентьич.

— Какова есть... Я баба веселая...

— Садись, Иван Терентьич, садись со мной,— звал Гаврила,— выпьем еще по чашечке... А она пущай сбегает, купит и сам-деле.

Иван Терентьич сел на лавку и смотрел на Алену, ко-

торая проворными движениями повязывала на голову платок, собираясь идти.

— Твоя-то жена красавица-красавица, ровно хлеб белый,— продолжала Алена прерванный разговор,— а мы бабы серые, черные...

И со смехом, не без кокетства, она проскользнула мимо Ивана Терентьича, опять протянувшего было руки, и выскочила из избы.

Иван Терентьич сам подлил себе в чашку с охладевшим чаем водки и выпил ее залпом.

— Балованная баба! Не то, что моя, по струнке ходит! — заметил Гаврила, кладя руку на плечо жены.— Поцелуй его... Видишь, как я дружить с тобой хочу, Иван Терентьич... Ну, целуй его...

Марина жеманилась. Иван Терентьич смутился.

— Да зачем же так?.. Что такое... Может, им совсем неприятно,— говорила она.

— А, не любишь так-то... По воле хочешь,— хохотал Гаврила.— Ну, да все это плевое дело. Пей еще, Иван Терентьич.

Попойка вновь началась. Начали пить сладкую водку, которую принесла Алена; вдруг проснулся Сережка, встал с лавки, ни слова не говоря, качаясь из стороны в сторону и еле держась на ногах, подошел к столу, сам взял штоф с водкой, налил целую чашку, выпил и опять таким же образом воротился и лег на прежнее место. Все хохотали, смотря на него, и закидывали вопросами и прибаутками, на которые он ничего не отвечал, а только тряс головой и кряхтел. Через минуту он спал бесчувственным сном.— Но недолго бодрствовали и остальные гости. Гаврила вдруг, среди несвязной болтовни, склонил голову на руки, положенные на столе, и так и уснул. Иван Терентьич, понявши, что он остался один среди женщин, бросился было к Алене, намереваясь обнять ее, но сильные руки посадили его на лавку, спиною к стене, где он и остался, распустив руки и качая совсем одуревшей головой.

— Что нам теперь с ним делать? — со смехом говорила Алена.— Вывести из избы,— тут и ляжет на улице, шагу не отойти ему, ровно как нехорошо... Да свалим его на лавку, Марина, пускай дрыхнет... Сунуть что-нибудь под пьяную-то башку... Вишь ты, рыло мокрое, тоже целоваться лезет... Погасим огонь-то да притворим

их здесь... Пущай спят честной компанией, а мы в телегу пойдем ляжем... На воле знатно...

Так и сделали.

IX

Солнце закатилось. Смеркалось. Красная заря догорала на небе. Степанида сидела на приступках крыльца, прислушиваясь к затихавшему над деревней шуму. Гулянка кончилась, но по улице бродил еще народ, слышались крики осиплых голосов, женский визг, раскатистый хохот, изысканные ругательства во всю ширину глотки, отрывки нескладной песни...

«Все люди веселятся о празднике... А я одна-то одинехонька, на всем белом свете одна...— думала про себя Степанида.— Как весь век прожила? Какую радость себе видела?.. Отец родной... так и тот в пору хошь из дома выгнать... такова я ему мила... Вона, как рявкнул кто-то, захохотал... Видно, весело!.. Кто-то за забором шепчется!.. визжит, смеется... целуются!.. Всем-то, всем-то весело, все как люди»...

Степанида провела рукою по лицу. Оно горело. Ей представлялся Капитон с его ласковой улыбкой, с его ясными, большими глазами, которые что-то говорили, что-то обещали,— радостное, светлое, от чего вся кровь кипела в ней, и сердце замирало...

«А кудри-то русые... Бывало, стоит, молится; втихомолку смотришь на него, поклонится, а кудри-то так и закроют все лицо; взмахнет головой, назад посыплются, лицо ровно просияет... Взять, ангел!... Господи, искушение! Согрешила, грешная... Отыди, окаянный... Аминь, аминь... Экие мысли идут, не думать лучше... А тоска-то какая, тоска-то... Сердечушко-то, ровно птица в клетке... Рада бы куда головушкой сунуться... В щель бы какую забиться... Разве вериги надеть, носить? На пост себя посадить, от чаю, от говядины отказаться?.. Да и пора, пора! Такие уж и года подходят, скоро тридцать стукнет... Правило на себя положу: по два часа в сутки на молитве стоять, середь ночи подниматься полунощницу править... по понедельникам понедельничать буду... На богомолье бы надо сходить куда, потрудиться... да подальше куда, хоть к Селиверсту угоднику... Живет, говорят, пользи-

тельно, особливо для души страстей утоления... Да как пойдешь теперь? Что в дому-то творится... Так нечто ты поможешь? Чем ты удержишь его, послушает нечто он меня?... Всего-то его, старика, оберут, всего разорят... Так мне-то что? Все равно, мне ничего не достанется... Еще, пожалуй, и вовсе из дома выгонит, того и жди!... Ну, так уж пускай же выгонит, тогда и пойду... Так и буду знать, что родного дома решилась, отец родной из дома выгнал... Вот, и буду странница тогда настоящая... Вериги надену, посох возьму, в черную ряску обряжусь и пойду по святым местам... Пойду, буду ходить из места в место»...

Из дверей высунулась Анфиса, кличет ужинать.

— Не пойду я, не хочу,— отвечает Степанида...

— Сам-от пришел и Матрена, сели, а Ивана-то нет, не ведаю где,— сообщила Анфиса.

— Ну, так мне-то что? Не мое дело, женино, за мужем-то ходить...

Анфиса захлопнула двери. Лицо Степаниды исказилось злобной улыбкой.

«Она, поди, и рада, что мужа-то нет, хошь бы на всю ночь провалился... Чтой-то, батюшки, злоба какая у меня на них?... Так бы, кажется... Давича-то, давича, и отец-то не больно чтобы закричал или заругался, даже тихо таково: что, говорит, отца-то без чаю до сяковой поры держишь?... Ну, коли хочешь хвост трепать, по богомольям бегать, так хошь ключи-то бы Матрене отдала, она бы все и припасла, и меня вовремя чаем напоила... А то посылала за ключами, и то не дала... Ну, мне бы и промолчать; пробурчался бы старик, отошло бы у него от сердца, так бы все и прошло... Да взглянула я на нее, а она, развалясь, сидит, рожа злая, ухмыляется да еще промолвила что-то... Я и не слыхала, правда; больно уж только обидно, горько показалось, так сердце и захолонуло... Ну, и начала их рвать, и начала точать... И что уж я говорила, и не помню; и седина-то в бороду, и ровно молодые-то они ездят, и бога-то они не боятся, людей не стыдятся... и позабыл ты, что сед человек, чем бы других разуму учить, что сам делаешь!... Вспомнилась, взглянула: он зеленый стал, она красная сидит, а у Ваньки глаза ровно уголья бегают...

— «Отдай ключи Матрене»,— заревел отец.— Чем бы в совесть войти, а я взглянула, что они этакие от

моих слов, так ровно мне радостно стало, хохотать почала... Как еще он меня не убил... Как уж я ключи-то отдала, и не помню... Вот теперь и в дому ровно чужая стала. Что пользы-то вышло? Так разве моя в том вина? Для кого я жизнь-то всю прожила, как не для батюшки?... А от него что видела? А теперь что?... Умрет, так разве я что от Ваньки увижу? Либо вон выгонит, либо живи так, как вот тетка Анфиса у нас живет... Выдал бы он меня замуж вовремя, наградил бы... не была бы и я ему ровно сучок в глазу... А теперь я что? Всю люди, как люди... А я что? В дому мне воли нет, все отобрали, да и в самой себе воли нет... И слова сказать некому, и душу выплакать не перед кем... Живи, ровно в темнице... У всех праздник, у всех веселье... А я одна сама с собой, со своим горем... У всякого своя семья, у всякого люб человек, а у меня нет никого... Вон, опять целуются... Вон... И Капитон, чай, тоже теперь с женой со своей... Ай, батюшки, опять ровно жив стоит передо мной... Батюшка ты мой, сердечный ты мой... красота ты моя писаная...»

Но это был, действительно, живой, настоящий Капитон.

Степанида не слыхала, как он вошел во двор, и не заметила, когда он вдруг остановился перед нею, точно из земли вырос.

— Степанида Терентьевна... Это я... сторожить пришел на ночь, на всю... замест Сережки...

Капитон говорил вполголоса; ему думалось, не нарочно ли сидела здесь Степанида, не его ли она поджидала.

Степанида сначала смотрела на него испуганно, во все глаза, вытянув вперед голову, потом вдруг всплеснула руками и закрыла лицо.

— Ай, ай... Он... он... Ты... Капитонушка, Капитонушка,— говорила она точно в забытьи, не отнимая рук от лица.

Капитон смело сел около нее на крылечке и обнял. Степанида вся дрожала.

— Степанида Терентьевна,— проговорил Капитон сколько мог нежнее и наклонился к ней головою так, что она почувствовала его дыхание.

— Ай, ай... Нету моей волюшки, нету моей силушки...

Она откинула руки от своего лица, порывисто обхватила его за шею и начала целовать, как исступленная, в глаза, в щеки, в губы, плача, смеясь сквозь слезы и приговаривая: «Сахарный! Золотой! Писаный!.. Вот где погибель-то моя пришла... Вот судьба-то моя»...

Капитон в первую минуту даже испугался такого необузданного порыва страсти... «Не помутилась ли она?» — мелькнуло даже у него в голове. Во всяком случае он ожидал сопротивления, ломанья, хоть из притворства, хотя из приличия, и вдруг... Он сидел несколько мгновений, как одурелый и не двигаясь, отдавши себя в полное распоряжение Степаниды.

— Не вышел бы кто?... Спят разве уж все? — прошептал он наконец, желая освободить свою голову, чтобы осмотреться по сторонам.

— А? Что? — спрашивала Степанида, не понимая его слов; опустила руки с его шеи и в изнеможении прижалась к нему.

— И ворота-то не заперты еще... Не легли, видно, спать-то...

Капитон хотел подняться на ноги. Она уцепилась руками за его кафтан.

— Куда ты? Куда?

— Надо посмотреть, Степанида Терентьевна... Ворота запереть да пойти тятеньке показаться... Обождать надо, коли все улягутся... Вся ночь тогда наша будет... А то вдруг кто выйдет, да этакое дело, меня с вами увидят,— только мне шею накостыляют да вон выгонят... Вот тогда и вся наша любовь на том решится...

Степанида из всего, что говорил Капитон, поняла только, что его могут прибить и прогнать.

— Да, да, поди, поди... ступай,— сказала она, выпуская из рук его кафтан.

— А мы лучше вот как сделаем, Степанида Терентьевна. Вы теперь ступайте в горницы, ровно как меня и не видали... А я,— мало время да и за вами, ровно сейчас пришел... Покажуся там тятеньке вашему... ну, и все такое... А как все улягутся, вы и выходите потихоньку... Я уж тут буду... Уж тогда вся ночь наша...

Капитон стоял перед Степанидой. Она сидела, опустя руки, тяжело дышала и в упор смотрела на него. Почти совсем уже стемнело, но он рассмотрел, что она была бледна, как полотно, даже губы побелели, и только чер-

ные большие глаза ее сверкали как уголья из-под черных густых бровей. По лицу и по телу ее пробегала легкая судорога. Она молчала.

— Ведь как я вас люблю-то, Степанида Терентьевна,— продолжал Капитон,— как я пристрастен-то к вам... Только и думушки, и заботушки, что об вас... Говорить-то только не смел... Любая ты моя, матушка ты моя!... Ноченьки ведь не спал все по тебе... Придешь, что ли, ужо?...

Капитон, стоя, наклонился и обнял ее за шею, приближая к ней свое лицо и смотря ей прямо в глаза. Степанида сняла его руки с своих плеч, слегка оттолкнула его и поднялась на ноги.

— Видно, судьба моя такая... Нет моей силушки... Съела меня тоска... Приду,— сказала она твердо.

— Болезная ты моя, сердечная,— кинулся было к ней Капитон, намереваясь обнять и поцеловать, но она его остановила.

— Не трожь теперь... Не замай...

И она пошла, не оглядываясь, за угол дома, на заднее крыльцо.

Капитон издали следил за ней и, переждав несколько минут, подошел к воротам, отворил и опять затворил калитку, нарочно крепко хлопнувши ею, так же шумно задвинул запор у ворот и смелым шагом пошел через заднее крыльцо в дом. Он вошел в кухню. Там сидели за столом и кончали ужин Терентий Савельич и Матрена; тетка Анфиса возилась около печки, Степанида сидела в стороне в темном углу. Все молчали. Несколько минут назад, когда Степанида вошла, Терентий Савельич нахмурился, а Матрена Карповна, стараясь придать голосу ласковый тон, сказала ей:

— Чтой-то, сестрица, не поужинаете? Поужинали бы.

Но Степанида прошла мимо и села в угол, ничего не отвечая.

Матрена мельком взглянула на свекра и прибавила, обращаясь к Степаниде:

— Хошь бы вон пирожка середочку перекусила; как же так, не емши-то...

Но и на это Степанида ни слова ей не ответила. Терентий Савельич еще больше нахмурился, Матрена язвительно улыбалась. Так и застал их Капитон. При его появлении Терентий Савельич поднял на него свои седые

сердитые брови, и Матрена повернула голову; Степанида не пошевелилась.

Капитон поклонился.

— Замест Сережки, что ли, сторожить пришел? — спросил Терентий отрывисто.

— Нечто, Терентий Савельич... Просил, послужи, говорит, по родству...

— А тот пьян?...

— Надо признаться, Терентий Савельич, праздничным делом загулял, свалился, без ног лежит...

— Пьяницы, мерзавцы! — пробормотал старик.

— Ничего, Терентий Савельич, проспится, опять вам слуга будет... А я могу послужить вашей милости замест его...

— А ты разве совсем не пьешь? — спросила Матрена Карповна.

Степанида, при звуке ее голоса, приподняла голову и посмотрела на Капитона.

— Нет, лгать не хочу, закаю не клал, испиваю временем.

— Умник, значит, с умом пьешь,— ласково сказала Матрена Карповна.

Капитон заметил, как у Степаниды в темном углу засверкали устремленные на него глаза.

— Рассудку предерживаюсь... потому нам нельзя,— ответил он скромно, но сухо.

— Ну, ступай с богом, сторожи... Да смотри, не спать у меня... Там доска есть... Колоти почаще.

— Знаем, Терентий Савельич... Не извольте беспокоиться... Всю ночь глаз не заведу... Спокойно почивайте...

— Тятенька, да ты бы хошь покормить его велел,— сказала Матрена.

— Нету, покорно благодарствую... Я сыт, доволен, поужинамши пошел... Счастливо оставаться...

Капитон, поклонившись, вышел.

— Вот какой мужик, молодой, а умный! — сказала Матрена,— в праздник — и не пьян... Вот бы кого в сторожа-то нанять заместо пьяницы Сережки.

— Этот не пойдет, он семейный... женатый,— сухо ответил Терентий.

— В кучера же язнулся...

— Думал, может, что с женой возьму али так нахо-

дом только, а жить вовсе,— дом, жену бросить,— навряд, не пойдет...

— А может?... Парень-то ловкий.

— Нету, не пойдет... Жена не пустит...

Терентий Савельич говорил о Капитоне с неудовольствием. Ему казалось, что Матрена им интересуется больше, чем следует.

«Не пойдет он к вам, не пойдет! — готова была вскрикнуть Степанида, с яростью смотря на Матрену.— Не оттого не пойдет, что жена не пустит, а я не велю... Нет, не видать тебе его,— мысленно обращалась она к Матрене.— Вишь, зубы-то разгорелись, рассмотрела тоже... ступа! Будет с тебя... И на фабрику к нам не велю ходить, на двор не велю показываться... Пускай другого места ищет, а уж тебе его не видать, нет, не дам тебе его отбивать у жены».

Тут что-то вдруг новое, какая-то тяжелая мысль, какое-то скорбное чувство появилось и мгновенно выросло в душе Степаниды.

«У жены... У жены! — думала она.— Женатый он... жена у него есть.. И прежде знала я это... И даве знала, да ровно забыла, ровно все спуталось, смешалось в голове... А я прийти обещалась... Как же это я, грешница... Нет, нет, не пойду!... Всю ночь на молитве простою... Не пойду»...

— Ванюшка-то, видно, загулял... Не придет долго,— сказал Терентий Савельич.— Пора и спать тебе, Матрена. Неужто ждать будешь? Мотри, на всю ночь загулял...

— С кем ему гулять-то? Кажись, не с кем...

— Не с кем! Поди, чай, хороводится с экими же пьяницами, как сам.... Они все так: жена молодая сиди да сиди, а он где-нибудь гуляет... Еще с девками, поди, связался... Я вот его поучу ужо... Ты, Анфиса, запри сени, да стучаться будет ночью,— не моги пускать, я услышу, сам отопру... Да и Капитошке скажи, чтобы сразу ворота не отпирал пущай повозится, пока сам услышу...

Терентий Савельич вкось посмотрел на дочь, желая узнать, какое впечатление производят на нее его слова.

— Уж и ты, тятенька,— отозвалась Матрена,— ровно невесть что... Молодой человек, захочется и погулять, не все взаперти сидеть, ровно в тюрьме... Вот и я бы рада куда сходила погоститься, да коли нет знакомства-то, так и сидишь, ровно заключенная, в четырех стенах... Не

велика приятность в молодых годах!... Не все экие святые, как сестрица Степанида... Да, правда, и года наши еще не такие, все помоложе... Э-эх, идти было спать и сам-деле... Прощайте, тятенька...

— А вот, погоди, уж сказал,— на казанскую в город поедем на ярмарку, авось и на макарьевску тебя свожу,— говорил Терентий Савельич, целуя и гладя Матрену по голове: — Зато — добрая... и зла не помнишь!...

— Я век свой добра была, и маменька меня, бывало, все пр̀остыней звала: пр̀остыня, говорит ты моя, пр̀остыня добродетельная... Да что злиться-то, себя только беспокоить... Прощайте, сестрица Степанида... Может, вам ключи от чая-сахара нужно, насчет утра, так вот, возьмите, я не корыстуюсь ими... И другие, пожалуй, все возьмите...

— Я не хозяйка... Ты хозяйка, тебе и быть при ключах,— едва в силах была выговорить Степанида. Злоба душила ее.

— Какая я хозяйка: один у нас хозяин,— тятенька. Кому велит быть в ключах, тот и будет... А мне нисколь это не лестно, только забота одна...

Степанида ничего не отвечала.

— Поди-ка, поди, Матреша, спать... Не стоит тебе с ней говорить, себя беспокоить... Не прочухалась еще она! А в ключах тебе быть, я приказываю...

— Ну, как угодно, а только что для меня все одно, я рада бы отдать...

Матрена вышла, вслед за ней ушел и Терентий Савельич, не простившись с дочерью.

Через маленькие сенцы в задней части дома были две комнаты, из которых одну занимал старик, а другую прежде занимала Степанида; с тех же пор, как брат Иван женился, уступила ему с женою. Сама Степанида зимою спала в кухне за перегородкою, летом же перемещалась в большой чулан или кладовую около кухни. Здесь стояли все ее сундуки, хранились все ее личные богатства. На одном из этих сундуков, прикрытых двумя толстыми перинами и грудою подушек, и спала летом Степанида. Сюда на летнее время она переносила и киот с образами, перед которыми подвешивала лампадку; здесь она и молилась перед отходом ко сну и утром. Днем чулан этот мог освещаться маленьким окном с железною решеткою и внутренним ставнем. Сегодня, ради

большого праздника, перед образами в чулане весь день горела лампада, а вследствие ссоры с родными, Степанида почти весь день просидела в нем.

Когда отец с невесткой ушли, она поднялась также, чтобы идти в свой чулан, но Анфиса остановила ее:

— Поужинай,— может одна-то поешь; лапша-то в печи, горячая; я нарочно не вымала...

— Не хочу я... Спать пойду...

— Все парой, все парой ходят, ровно пришитые... Даве Ванюшка-то ушел, а они до самого вечера все в паратных сидели... Боялась я взойти-то посмотреть после давешнего... И чай пили в паратных, только я самовар принесла,— велели, а что говорили,— не знаю, не слыхала.. Что у нас в дому завелось, батюшки мои! И ровно хозяйка, ровно и сам-деле что, и ходит, и помыкает: это примай, да то прибери, да это принеси!... Не знаю я без тебя... Все пошло кру́гом, все кругом пошло!... Говорила я...

Но Степанида давно уже не слушала Анфису и ушла из избы. Войдя в свой чулан, она замкнула дверь и встала на молитву. В душе ее была такая буря разнообразных ощущений: и любви, и ненависти, и ревности, и какого-то страха, и какой-то тоски, каких-то мучительных, тревожных желаний, что она в одной молитве надеялась найти и спокойствие, и разрешение путаницы мыслей и чувств. Кроме лампадки, она засветила еще свечку, взяла молитвенник, стала на колени и начала читать вечерние молитвы нарочно вслух и беспрестанно класть земные поклоны; но вдруг до слуха ее дошел стук в сторожевую доску. Она вся вздрогнула, побледнела, затрясла головой и стала читать еще громче... Но стук усиливался, рассыпался дробью, замолкал на минуту и опять раздавался с новой силой...

«Зовет, зовет»,— невольно думала Степанида, в то время как губы ее произносили молитву, и молитвенник дрожал в крепко сжатых руках. «Нет, нет, не пойду... Не надо, грех, погибель моей душе!... Не пойду... Господи, помоги, не введи во искушение»...

Она больше ничего не хотела думать, силилась не допустить никакой мысли, никакого чувства, твердя вместе с молитвою одно только слово: не пойду, не пойду!...

Она прочитала вечерние молитвы, канон, акафист, и при этом крестилась и кланялась, била головой об пол,

не поднималась с колен. Более часа прошло в этом напряженном состоянии; она утомилась, голова ее отяжелела и кружилась, ломило ноги и спину; но внутренне она как будто успокоилась.

— Теперь лягу спать, положу на голову подушку, чтобы ничего не слышать, стану читать молитву и усну... Только бы эта ночь прошла поскорее...

Она легла, закрыла голову, но сон не приходил, стук в сторожевую доску слышался и под подушкой; ей стало душно, жарко; сердце опять тоскливо заныло и невольные, нежеланные мысли лезли в голову.

«Лечь прямо на голый, холодный пол, положить под голову что-нибудь жесткое, вот и жарко не будет, и плоти смирение!» — думала Степанида и слезла со своих пуховиков. Но и это не помогло. Она еще яснее слышала призывной стук, она слышала даже шаги Капитона, обходившего вокруг дома. Сон не приходил на помощь Степаниде.

«Ждет, ждет он меня!... Зачем я обещала-то?... Да ведь я не обещала, сказала: коли силушки моей не станет... коли судьба моя такая... Нет, нет, не пойду, не поддамся... Искушение это, грех!... Вот, опять стану на молитву: легче было, как молилась. Зажечь опять свечку»...

Она села на полу, намереваясь подняться на ноги и невольно прислушиваясь.

«Чтой-то это, поет никак кто-то... Да кому же больше... Он... Как поет-то тихо, да жалобно... Батюшки, как за сердце схватило... Хоть бы ночь-то проходила скорей... Не светает ли уж, посмотреть...»

Степанида отворила ставень, которым закрывалось решетчатое окно, выходившее на двор. Темная, тихая ночь повеяла на нее через решетку окна, отрадный, свежий и благоуханный ночной воздух охватил ее горевшее лицо, а песня, жалобная песня Капитона стала слышна совсем ясно, до последнего звука, хоть он и пел ее вполголоса. Степанида уже не могла оторваться от окна; снова в душе ее поднялась прежняя буря, к которой прибавилась еще какая-то истома, какая-то и мучительная, и сладкая нега.

«Не пойду, не пойду», — твердила между тем Степанида, и так крепко уцепилась за железную решетку, точно в ней и было все ее спасение.

«Жена у него... Да, жена, вот что... Разве можно?

Двойной грех!... Лучше бы не знать его, не видать никогда... А Матрена-то как смотрела на него... Да лучше умереть, чем ей отдать... Его-то ей!... Этакую красоту-то писаную... ей! Злодейке моей!... Вот они ничего не боятся, а я чего боюсь?... Не пойду, не пойду... А даве-то я как? Что они со мной поделали?... Ох, и теперь не легче... Свет ты мой, солнышко красное!... Старуха ведь я, девка старая, перестарок... Что я ему?... Неужто любит? Никто-то меня не любил, никто... А теперь и подавно... Что я? Ни дочь, ни хозяйка в дому!... Выгонят не сегодня — завтра... Хоть радость-то увидишь... Кому меня нужно... Кому?... Не такие грехи бог прощал... Вот идет, идет... Батюшки, сюда идет, подходит... Вот, вот, вот... Батюшка ты мой, свет ты мой, судьба моя...»

Степанида, как шальная, пошатываясь, вся дрожа, неслышными шагами, держась трепещущей рукою о стену, подошла к дверям чулана, отомкнула их, так же тихо, каждую минуту останавливаясь, задыхаясь, ничего не думая, как в чаду, отворила дверь из сеней на крыльцо, сошла с него, остановилась на дворе, озираясь и прислушиваясь, и, вдруг, увидя подходящего Капитона, бросилась к нему и повисла у него на шее.

— Думал, уж не придешь,— говорил Капитон.

— Пришла, пришла... Нету силушки моей, нету...— шептала она, обнимая и целуя Капитона.

X

Еще два дня гуляла деревня Сногищево: день с гостями и последний — одна, без гостей, в отданье празднику; но мало-помалу шум затих, чад из голов повышел, глаза прояснились,— и в ткацкой Терентья Савельича и везде по избам застучали вновь станки, засновал челнок, заходили ноги по подножкам. Общего веселья, праздничной радости,— как не бывало, началась прежняя трудовая, ровная, однообразная жизнь. Деревня точно обезлюдела и оживлялась только во время обеда или в смену, когда толпа рабочих и мальчишек-цевочников шла домой из завода или из дома на фабрику. Все, по-видимому, вошло в старую колею, пошло старым порядком, но в деревне толковали и о новостях: во-первых, о том, что Капитошка вдруг попал в милость у хозяина: ни с того, ни

с сего, его, молокососа, уставщиком поставили, значит, сделали наблюдателем за другими ткачами, и жалованье положили по должности, рублей 15 на месяц; кроме того, заметили, что Терентий Савельич все реже и реже стал ходить на фабрику, все больше сидит дома; зато Иван Терентьич начал забирать волю, какой прежде не имел, но вместе с тем начал и загуливать больше и чаще прежнего; поговаривали и о том, что Иван Терентьич в иванов день ночевал в Капитоновой избе, и после того видали раза два, как он оттуда выходил, и этим обстоятельством объясняли неожиданное возвышение Капитона.

Но в этом случае народ ошибался. Дело было не совсем так. Матрена Карповна сильно заинтересовалась Капитоном и стала настоятельно требовать, чтобы его наняли в кучера. Терентий Савельич морщился, но не решился противоречить снохе. Позвали Капитона. Он пришел во время обеда, когда вся семья была в сборе и сидела за одним столом.

— Что же, ты в кучера-то хотел рядиться? Желаешь, али нет? — спросил его Терентий Савельич сухо и неласково. Степанида при этом вопросе побледнела и не могла есть от волнения.

— Нет, Терентий Савельич, какой я кучер.

— Да ведь ты сам же говорил, что охоч до лошадей и в кучера бы пошел,— вмешалась Матрена ласковым голосом и заглядывая ему в глаза.

— Да это точно что, Матрена Карповна, молвил я тогда с маху, да какой же я кучер? Дело несручное, отродясь в руках не бывало... Вот, наше дело — ткацкое, сызмальства на том деле выросли, там вот вашей милости послужить можем... сколь угодно...

— А мне бы очень хотелось тебя в кучера взять,— заигрывая глазами, настаивала Матрена.— И долго ли тебе, этакому молодцу, и привыкнуть, коли захочешь...

— Да чувствительно благодарны в этом самом... Только никак невозможно. В кучера идти, надо дома своего решиться, а человек я законный, своим домишком живу... худ ли, хорош ли... Нет уж, ослободите от этого; а вот коли милость ваша будет, Терентий Савельич, насчет ткацкого заведения, не будет ли какого местечка,— не оставьте, по гроб жизни ваш слуга буду... Кажется, не первый год служу вашей чести. Ни я вор, ни я пьяница, и в деле своем довольно знаю... Вот, Иван Терентьич

завсегда про нас, могут сказать, каков я есть мастер... Можно ли про меня что худо сказать...

— Что же, парень ты стоющий и мастер хороший! — заметил Иван Терентьич, вспомнивший в эту минуту Алену.

— Ну, ступай,— оборвал Терентий.— Ступай! Не хочешь в кучера, ну, как знаешь...

— А ты какого же местечка просишь? — вмешалась Матрена.

— Да как нам про себя места выбирать, Матрена Карповна... Это дело хозяйское... У хозяев мало ли местов... Вот, бывают уставщики... мы это дело довольно понимаем... Бывают и...

— Ну, ладно, ладно... Ступай! Вишь ты, краснобай какой,— рассердился Терентий Савельич.— Молод еще, есть постарше тебя... Пошел...

— Да ведь я ни к чему другому, Терентий Савельич... Нам бы только бедность свою как-никак справить, к тому только... Мы не как другие прочие... Мы вашей милостью довольны и служить готовы всячески; к чему приставите, в том и должны покоряться по нашей бедности. Мы не противны ни в чем... Вот про нас и Иван Терентьич никакого худа сказать не пожелает... А, впрочем, прощения просим, Терентий Савельич, не обессудь на глупом слове.

— Ну, ладно, ступай с богом,— сказал старик.

— Затем счастливо оставаться, Терентий Савельич, Матрена Карповна, Иван Терентьич...— Капитон не назвал Степаниду и даже ни разу не взглянул на нее.

— Что ты, тятенька, больно не взлюбил парня-то? — спросила Матрена после ухода Капитона.

— Что мне не взлюбить-то? Все одно.

— Да нет, и видно, что мужик хороший, добрый; вон и Иван его хвалит.

— Мужик отменный, худого ничего за ним нет, и ловкий,— подтвердил Иван.— Я тебе, батюшка, давно хотел про него молвить. В уставщики бы его можно... И приглядит, и справит... Вот, замест бы Петрухи; тот больно зашибаться стал, да и ругается,— слова не скажи.

— Так вот, тятенька, на что лучше,— поддержала Матрена.

— Так что, ставь, пожалуй, коли, если полагаешь, справит дело...

— Ну, как не справить...

На следующий день Иван Терентьич объявил Капитону, что назначением в уставщики он лично ему обязан и чтобы он это понимал, чувствовал и вперед на него надеялся; Капитон кланялся и благодарил.

Под-вечер того же дня, но до окончания еще работ на фабрике, Иван Терентьич, сторожась от людей, задами, пробрался в избу Капитона. Алена сидела по обычаю за станом, когда он вошел. Она, не поднимаясь с места и не оставляя работы, поклонилась ему; на губах ее мелькнула насмешливая улыбка.

— Нету-ти большака-то, Иван Терентьич, нету его. Чай, у вас на фабрике он,— сказала она, желая показать, что она не принимает на свой счет это неожиданное посещение.

— Знаю! Неужто не знаю? — отвечал Иван Терентьич, садясь на лавке, поближе к Алене.— Насчет его и пришел к тебе... Ну, благодари, уставщиком его сделал...

— Ну, вот, покорнейше благодарим... Сколь же жалованья-то положите?

— Пятнадцать рублей на месяц...

— Ну, немножко же.

— Будет стараться, опосля можно и прибавить... Не все вдруг...

Алена молчала и хлопала станом, не обращая никакого внимания на гостя. Иван Терентьич заглянул ей в лицо. Алена взглянула на него, не выдержала и засмеялась; но тотчас же опять сделалась серьезна.

— Что же ты ничего не говоришь? — продолжал Иван Терентьич и положил руку на ее плечо.—Я ведь это для тебя сделал, Алена...

Она движением плеча скинула его руку и наклонилась к основе,— связать порвавшуюся нитку.

— Право, Аленушка, все для тебя стараюсь, потому...

Он хотел обнять ее, но Алена оттолкнула его руки и повернулась к нему.

— Ну, что для меня-то, что стараешься-то? Велики деньги — пятнадцать рублей на месяц, на своих харчах? Этакой-то парень на точе пятнадцать-то рублей, захочет, выточит...

— Ну, не выточит, больше двенадцати не выточит ни за что...

— Так из-за трех-то рублей!... Вон на других заводах, у настоящих-то хозяев, уставщикам-то по пяти да по шести рублей на неделю кладут... А у вас много ли выйдет? Ну-ка, посчитай...

— Так, слышь ты, нельзя вдруг... тоже тятенька хозяйствует, не вовсе я... Кабы я один, так я бы для тебя не то, что пятнадцать, а, кажись, двадцати пяти бы не пожалел... Двадцать бы пять положил ему на месяц... для тебя!... Верно слово говорю не пожалел бы...

Алена засмеялась. Иван Терентьич бросился было обнимать ее.

— Постой-ка, отстань, не замай,— говорила она, спокойно отталкивая от себя поклонника.— Жидоморы вы, жидоморы! Вот что!... А туда же лезет...

— Что так? — спросил в недоумении Иван Терентьич.— Чего же тебе?...

— Ну, да как же не жидоморы... Ты поглядитко на моего Капитоху-то... Ведь ровно на картинке нарисован... Ведь мы с ним не как-нибудь, не по принуждению, а по любви, по согласию сошлись... А ты,— ну-ка, три рубля на месяц парню прибавил, не за что-нибудь, а за его же досужество, да к бабе его и лезешь... Ну, неужто я не вижу, что у тебя в глазах-то, чего тебе надо?... И от экого мужика думаешь ты бабу отбить из-за чего? Из-за трех рублей... Ну-ка, как же не жидоморы-то?...

— Так чего же ты желаешь? Ну, говори, чего желаешь... Все сделаю, потому...

— Да что, я объедок, что ли, какой? Как ты пришел да полез ко мне, так и обрадовалась... Экой какой и самделе купец миллионщик пришел... Тысячи, что ли, подарил, золотом обсыпал?...

— Что ж ты очень, и мы не кое-кто, не из последних... Все от нас кормитесь. На кого точешь-то? На нас же; и муж не от кого жалованье получает, от нас же... Значит, чей хлеб-то едите?... Что ж ты очень так важно?... Прогоню мужа с фабрики-то, будете зубами стучать... Тоже не скоро хлеб-то найдешь, поди, поищи... Да еще как где посмотрят, пожалуй, и без работы останешься... Не очень примают, коли с своего деревенского завода прогнали: значит, мол, что-нибудь... Очень уж ты нечто высоко себя понимаешь...

— Ну, высоко... А ты-то что же лезешь ко мне? Что, я тебя приманивала, что ли, зазывала? Сам пришел,

незваный... Чего же тебе от меня надо, коли ты без хлеба нас оставить похваляешься, мужа из завода выгнать хочешь? Ну, слышала я, знаю теперь... И ступай коли с богом, с чем пришел...

— Да ведь я так только, к твоему примеру... А я всей моей душой к тебе, не то что, например, обидеть, а как лучше желаю... Вот что, Аленушка!... Хоша мы и не купцы, а насчет нашего капитала ничего неизвестно. Бывает, что и у мужичка у другого кошель-то толще купеческого... Это в купцы выписаться недолго, ничего не составляет... Все дело в капитале... Ты вот полюби меня, так, может, и я тебя озолочу...

— Что мне тебя любить, у тебя своя хозяйка есть, вон какая!... А золота-то я что-то, парень, в твоих руках не видала, а люди говорят, сам из отцовского кулака смотришь; что разве воровски слизнешь да отец не доглядит, то только и твое, а собины у тебя никто не видал... А еще бахвалишься!... Ты бы свою-то крышу покрыл спервоначала, а тут бы уже и хвастал, а то — озолочу!...

Алена громко захохотала, насмешливо смотря прямо в глаза Ивану Терентьичу. Тот покраснел; лицо его перекосилось от злобы. Видно было, что Алена задела самое больное его место.

— Недолго уж, погоди, все в моих руках будет,— проговорил он, как бы забывшись, но тотчас же опомнился и поспешил поправиться.— После тятеньки-то все мне же достанется, не кому; для меня же бережет, ни для кого...

— Али полагаешь, умрет скоро? — язвительно подхватила Алена.— Ай, парень, не надейся, бывает, старики-то молодых переживают... а твой-то, поди-ка какой, не старше тебя смотрит...

— Не то, а он отдыхать хочет. После Макарья всю фабрику обещал мне на руки сдать, и теперь мало во что мешается...

— А деньги-то Степаниде отдаст, что ли? — спросила Алена, по-видимому, совершенно равнодушно.

— Ну, это больно жирно будет... Подавится! — вскричал Иван Терентьич, точно его опять задели за живое.

— Родительская воля: захочет, так отдаст; ничего не поделаешь, не отнимешь силом,— поддразнила Алена с тем же притворно-равнодушным видом.

— Ну, это еще... улита едет... Он нынче не больно к

ней, и не глядит, и не говорит... В больших в сердцах против нее: смотри, безо всего бы из дома не выгнал... Уж и ключи отобрал от нее...

— Что так?

— Так, ничего; больно язык долог да сердце горячо... С тятенькой этим не возьмешь!... Да не сумлевайся, буду богат, все мое будет!... Ты только полюби меня, Аленушка, каяться не будешь...

Иван Терентьич опять было полез с нежностями, но Алена опять остановила его.

— Да что ты и сам-деле, полюби да полюби. Было бы за что любить-то...

— Да коли ты мне против сердца встала...

— Ах, велика нелегкая... Да мне-то что за корысть?...

— И ничего мне для тебя не жалко...

— Да нечего и жалеть-то, ничего я от тебя не видала; да и есть ли что и у самого-то за душой?...

— Да что ты думаешь, у меня нету, что ли, денег?... Да хошь, принесу,— покажу... А вот на казанскую старик хотел жене пять тысяч подарить, у меня же будут... Хошь, принесу,— покажу...

— Что мне на твои деньги смотреть. Посмотрю, богаче не буду. Коли есть али будут, ну и владей на здоровье, мне-то что?...

— Да коли, слышь, желаю я для тебя... Ну, чего хошь, ну, говори, супирчик ли тебе золотой, али шаль цветную, али из одежи что? Ну, сказывай, все будет, не жалко!...

— Вот ты, Иван Терентьич, ай!... Что ты,— пришел ко мне ровно корову торговать... Я ведь мужняя жена, не солдатка какая гулящая, чтобы этак-то... Я только что баба веселая, забавная, а то бы как надо с тобой! Закричать бы караул на всю улицу да народ сбить,— вот бы и поплатился, что к чужой жене силодором лезешь, да и от твоей-то жены досталось бы тебе... Либо мужу сказать бы, так шею бы тебе накостылял... Ты думаешь, нет? Вот бы как намял, не посмотрел бы, что хозяин!... А я этого не хочу, потому я веселая... Говоришь,— любишь, у сердца держишь... Ну, так ты не этак, а вот как: ты походи за бабой-то да покланяйся, а она над тобой почванится... Подойди и с того бока, и с этого, и одним подслужись, и другим постарайся, чтобы баба-то поняла да почувствовала; может, и понравишься, может, и полю-

бит... Вот как, друг сердечный, молодцы-то подходят, а не так, как ты. Супирчик, чу, али шаль цветную подарю! Да муж-то увидит, супир-то с пальцем оторвет, а через шаль-то кости переломает...

— Ну, так что же мне, как же мне тебя улестить... Деньгами, что ли, возьмешь?...

— Ну, и дурак, хошь и в купцы записаться хочешь!... Тебя что больше учи, то ты хуже... Что же теперь, об цене торговаться будем, что ли? По полтинке уступочки просить будешь?...

— Ах ты, чтоб тебя и в сам-деле... Я с вами, бабами, мало возжался-то... речей-то ваших не знаю, да эких, как ты, и не видывал. И манит, и тянет, и крутит, и вертит! Не даром ты меня с первого раза ровно обошла. В сухоту ты меня, что ли, вогнать хочешь?

Алена захохотала.

— А что же, может, пригожей бы стал... Может, сухой-то лучше бы мне по мысли пришелся... Жиру-то, парень, таки довольно на тебе нагуляно... Маленько сбавить не мешает...

— Ну, Аленка, ну, голубка, молви. Ну, как мне на тебя потрафить?.. Вот, стала ты мне поперек сердца, так и горит, и ноет по тебе... Во сне даже снишься!...

— Вот и ладно, то и хорошо... Ну, вот, навела же я тебя на ум, заговорил путем...

— Да, путем! А сама доступиться до себя не даешь...

— А ты бы как думал? Как ты подошел, так бы к тебе на шею и броситься?... Нет, парень, погоди, я мужняя жена, да и муж-то у меня, знаешь, какой, писаной, не тебе чета!.. А ты хочешь у мужа жену отбить, так ты постарайся, походи около нее...

— Да что же мне делать-то теперь? Научи, коли, язва ты этакая... Вишь, искоры пущает; наскрозь ведь жжешь, черт!... Ты скажи мне путем, что мне сделать-то теперь для тебя?...

— Что тебе делать теперь? А вот что: ты вон какой бесстыжий, пришел чуть не середь дня к чужой жене да и сидишь у нее... Люди-то и нивесть что подумают; и самделе, богатей тоже слывешь... Никто не знает, много ли я от тебя подарков-то видела, а срам-то пойдет... Так нам вот что теперь делать надобно: ты иди домой да винись перед своей женой, а я, как муж придет, все расскажу ему про тебя, с чем ты ко мне подъезжал.

— Да что ты шутки-то шутишь...

— Какие шутки. Беспременно все переведу ему; пущай же знает, из-за чего его уставщиком сделали, каков у него хозяин молодой милостивый да ласковый...

Алена захохотала. Иван Терентьич смотрел на нее испуганными глазами и не знал, принимать ли ее слова в шутку или за правду.

— Да что ж ты это и сам-деле... Что же ты меня мутишь, путаешь... Экой дьявол баба!... Да ты полно, ты толком молви, я и пойду, знать буду,— лепетал Иван Терентьич, весь красный, поднимал нерешительно руки, протягивал их к Алене и опять опускал, улыбался и хмурился...

— Так еще тебе не толком говорят?... Как еще?... Ступай-ка, ступай... Того смотри, народ с фабрики пойдет, тогда хуже будет...

— Да как же ты говоришь?...

— Что, про мужа-то?... А вот ты и жди, что завтра будет... Коли полезет Капитоха с тобой драться али ругаться, ну, значит, все рассказала... Ну, а так пройдет, значит, ничего не молвила...

— Ну, Аленка, золото, а ты молчи, не говори... Право ведь я... Эка ведь ты баба-то! Прожженная ведь ты!... Я ведь всей душой к тебе... Право ведь отец пять тысяч обещал... Ничего для тебя не пожалею, слышишь... Ну, дай поцеловаться хоть разок...

— Ступай же, ступай, говорят... Пра нехорошо... Ведь рассержусь, все расскажу. Вона, мальчишки уж с фабрики побежали... Чего ты ждешь?... Поди через двор, там калитка у нас есть, за водой хожу... Пройди через калитку да задами, не ходи улицей-то... Нехорошо!... Поди, укажу...

Алена выпроводила Ивана Терентьича на двор и вытолкнула в калитку, которая вела на огороды. Воротясь в избу, она весело ухмылялась при воспоминании о только что ушедшем госте. Она с нетерпением ожидала мужа и, когда тот пришел, подробно и со смехом передала ему весь разговор свой с Иваном Терентьичем.

Капитон молча, с улыбкою, слушал ее, но по временам лицо его делалось озабоченно, а на некоторые обстоятельства он обратил особенное внимание и даже переспросил о них жену по нескольку раз.

— Поморушка, поморушка! — заключила Алена свой

рассказ.— Ровно он угорелый выскочил у меня, не знает, что и думать-то, не знает, что и делать-то...

— Значит, он через Матрену вытянуть думает у батьки-то,— сказал Капитон в раздумье.— Пять тысяч говорит?

— Пять тысяч, хвастал... Озолочу, говорит.

— Да не замай бы хоть сотни две али три дал на обзаведение... Ничего бы, не мешало...

— Так ты что же? Этак же хочешь, что и Гаврило с сестрой, а опосля бить...

— Вон... бить! Разве у нас не все по согласу с тобой? Ведь сказано, на два года будем гулять по согласу...

— Так неужто мне гулять... с эким!... Не хочу я с ним гулять. Рыжий да толстой, ровно маслом намазан...

— Да кто тебя неволит? Твое дело... Не хошь, не гуляй... Я говорю, взаймы бы дал сотни две али-бо три, пока что... Лошадь бы завели, телегу бы справили, все бы как люди... И около дома: крышу бы покрыли, и другое что прочее.

— Занять,— отдать надо...

— Знамо... Когда бы справились,— отдали бы...

— Да он так-то, поди, не даст, безо всего; скажет,— люби.

— А ты мани его, коли любить не хочешь... Вона как его разожгла даве, а что видел? — Ничего... Вот так и мани, так он не то что двести,— тысячи отдаст... Да что учить-то, сама знаешь как!... Вас, баб, на это взять... особливо ты...

— Ай, Капитоша, я люта была на это в девках!... Да ведь и занятно-то как! Смотришь на вас, дураков,— всякой-то по-своему: иной ровно бык лезет, глаза кровью нальются, ровно убить тебя хочет; другой с подходцем да с вывертом вокруг тебя, ровно голубь кружится, и подопрется, и песню запоет, и куражится, и куражится вокруг тебя; а иной так сразу слюни распустит, ровно курица мокрая ходит да клохчет около тебя али, ровно нищенькой, милостины просит... А ты, девка, ходишь да посматриваешь, которого захочешь, того и повернешь к себе. Только посмотри, а уж он и тут, а самой смешно, смешно, так бы вот и насмеялась прямо в рожу-то!... Да вот ведь не против всякого же, вот супротив тебя, так по-другому вышло... И не больно ты за мной ходил, и гостинцев не носил, а как увидела тебя, так сердце и село...

Вот, думаю, судьба-то где... Да уж больно ты у меня пригож, больно кудряв!...

Алена, ласкаясь к мужу, сидевшему на лавке, встала против него и обеими руками начала разглаживать его волосы на голове.

— Пригож, да не таланен,— проговорил Капитон.

— Чем не таланен?

— А денег-то нет, бедность-то наша...

— Ну, денег!... Что деньги... Было бы весело!... Мы люди молодые; поживем,— может, и денег наживем... И деньги, может, будут...

— Когда-то еще будут? Да теперь-то нет... А теперь-то бы и деньги дороги, покуль молоды; с деньгами не та бы и жизнь пошла, и веселье бы не то было. Что наша жизнь теперь? Ты дома стараешься, я на фабрике ломаюсь с утра до ночи, придешь домой-то ровно изломан весь, и язык-от не говорит, и еда на ум нейдет... А что пользы? Все из долгу не вылезаешь, все концов с концами не сводишь, все одна забота да сухота... А смотри-ка, вон купцы как живут богатые: дом у него каменный, ровно палаты царские, ездит на тройке с кучером, лошади тысячные; сама в церковь поедет,— шляпка не шляпка, салоп не салоп; пьют-едят, сколько бы душа приняла, чего бы она, матушка, только вздумала; спать захочет,— пуховиков целая гора наворочена, насилу влезет,— вот это жизнь, умирать не надо!... А почет-от какой. На фабрику выйдет,— все кланяются с трепетом, все в глаза глядят; что не по мысли,— обругал, а то и зуботычин надавал — ничего, съешь; а праздник пришел,— все господа едут к нему, кланяются, за честь считают, даром из мужиков вышел; да не то господа,— губернатор, архирей, и те мимо не проедут!... А почему? Потому деньги, уважают!... Вот тут жить весело, не даром и в жир идут, толстеют... Вот так-то бы нам с тобой пожить, Аленка, вот бы хорошо...

— Вот еще чего ты захотел...

— Так то-то и есть, не даром пословица-то говорит: не родись пригож да умен, а родись таланен да счастлив...

— А почем ты знаешь, может, и тебе такой талан бог дал; вот ткачом был, теперь уставщиком сделали, опосля, может, в приказчики попадешь. Понемножку, понемножку, лучше да больше, и разбогатеешь... Ведь никому

не заказано: как люди-то разбогатели? Все, чай, с маленького начинали?...

— Гм, разве этак когда побогатеешь... Слава богу, всех в округе-то знаем. Кто этак-то разбогател? Известно как: либо батька, либо сам бумажки фальшивые делал да переводил, либо хапнул, где случай подошел хороший, да концы спрятать умел, либо прямо сказать: доверность имел большую да хозяина обворовал... Вот все ведь как... Разве правдой разбогатеешь?... Известно уж, как забрался да вошел в силу, ну, тут и совестью кривить не из-за чего, тут и честь показать можно, и по правде жить тогда не изъянно, а еще и в пользу тебе, потому и уважения, и почтения тебе больше... А как народ-то нажимают, бедноту-то да голь, нашего-то брата? По воле, что ли, работаем? Как же! Что дадут, какую цену положат, тем и будь благодарен, да еще норовят и из твоего-то рубля, заработного-то, полтину утянуть... Эх, где уж тут по правде жить да богатеть... Тут коли подошло да урвал, ну, и таланен, и счастлив, а нет, так и сиди да свисти в кулак... Вот, что!... Давай-ка ужинать...

Алена опустила голову и задумалась, слушая мужа. Улыбка сбежала с ее губ, и веселый огонек, который постоянно освещал ее глаза, как будто вдруг потух; лицо сделалось озабоченно и серьезно.

Молча, не поднимая головы, приготовила она ужинать; молча они поели и легли спать.

XI

На другой день Иван Терентьич недоверчиво и робко посматривал на Капитона при встрече с ним на фабрике; но Капитон так почтительно поклонился ему и так подобострастно смотрел ему в глаза, что Иван Терентьич успокоился совершенно. На душе у него сделалось весело, и он почувствовал к Капитону большое дружелюбие и даже доверие. Он подошел к нему.

— Ну, что, Капитон, привыкаешь к делу? — спросил он его, намекая на новую обязанность, которая состояла в том, что Капитон должен был ходить от стана к стану из тридцати данных в его заведывание, осматривать точу, делать замечания ткачам, приводить в порядок и исправлять, где что нужно.

— Дело наше небольшое, Иван Терентьич, опять же дело знакомое, и привыкать не к чему,— отвечал Капитон.— Бог милостив, и не с этаким бы делом справились. Одно, что жалованием пообидели маненько...

— Ну, а ты старайся, погоди... Не все вдруг! — торопливо и вполголоса говорил Иван Терентьич.— Вот погоди, может, тятенька всю фабрику мне сдаст, обещал, тогда все в моих руках будет. Будешь стараться, может, еще приказчиком сделаю.

— Грамоты-то, письма-то у меня нет в руках, Иван Терентьич, вот мое горе... Как без грамоты в приказчиках быть, никак невозможно...

— Да, да... Вот это плохо дело!... Э-эх-ма, без грамоты плохо...

— Да я выучусь, Иван Терентьич, ты не сумлевайся... Вот только ты дай мне слободу, чтобы когда с фабрики отойти; у меня человечек есть на примете, обучусь у него живо... Для твоей милости слуга буду...

— Это отчего же, можно, только ты мне молви, когда тебе...

— А ты все-таки, Иван Терентьич, положи мне хошь по пяти рублей на неделю, а то что пятнадцать рублей на месяц... Обидно...

— Да я бы рад радостью, да ведь тятенька; тоже, поди, с ним не сладишь...

— А ты постарайся...

— Да я постараюсь. А ты вот что, брат: тятенька завтра с женой в город едут и Сережку с собой берут, так ты бы посторожил опять за него...

— Сколь угодно, Иван Терентьич... Для вашей милости рад стараться...

— Так я так и скажу ужо и тятеньке, что ты сторожить будешь... А я уж для тебя постараюсь и насчет прибавки...

— Ну, вот покорнейше благодарю,— хоть в надежде буду. Нашему брату и пять рублей деньги большие, хоть жене шубу справлю али что другое: тоже и она человек молодой, понарядней хочется...

Капитон упорно посмотрел в глаза Ивану Терентьичу.

Тот не выдержал его взгляда, смутился и хотел отойти.

— Так постарайся насчет прибавки-то, Иван Терентьич,— сказал ему вслед Капитон.

— Ладно, ладно,— торопливо проговорил Иван Терентьич, уходя.

Разговор этот происходил под стук нескольких десятков станов, и его никто не слыхал. Капитон с совершенно спокойным и серьезным лицом обратился к своему делу. Иван Терентьич куда-то исчез.

После обеда, в то время, когда Терентий Савельич обыкновенно ложился отдохнуть, на фабрику пошла погулять Матрена Карповна, видевшая, как муж ушел куда-то со двора. Она редко появлялась на фабрике, и потому приход ее обратил на себя внимание. Рабочие останавливали работу, вставали и кланялись. Матрена Карповна спросила вслух о муже, показывая вид, что искала его; но ей ответили, что его нет в этой палате, нет ли в другой, либо не ушел ли в сушильню. Степенно и важно отвечая на поклоны, она проходила мимо рабочих, останавливаясь у иных станов, смотрела на работу, разговаривала с уставщиком. Поэтому, нисколько не было странно, что во второй палате, где уставщиком был Капитон, она заговорила с ним.

— Ты знаешь ли, по чьей милости тебя уставщиком-то сделали? — спросила она его, между прочим, жеманно поводя на него глазами.

— Как не знать, Матрена Карповна, завсегда должен бога молить за Ивана Терентьича. Стало быть, его слово было за меня перед Терентьем Савельичем, завсегда могу это чувствовать...

— Ан вот и не он... Тятенька бы из-за его слов ни за что не послушался... Благодарить бы тебе кого другого...

— Кого же другого, Матрена Карповна?... Кого же нам благодарить, окроме одного бога да хозяина? Его хлеб едим, стало быть, хозяина одного и благодарить нам приходится... Вздумали вот человека обласкать,— и обласкали... Хошь бы вот меня. Есть, может, и постарше, да вот меня же изобрали... Ну, и дай бог здоровья...

— Вот то-то и есть,— если бы не я, не быть бы тебе и уставщиком... Все это через меня сталось...

— Вот истинно не знал, Матрена Карповна... И не сдумал бы... За что этакое ваше ко мне великодушие должен я чувствовать?... Ну, покорнейше вас благодарю; завсегда должен я теперь припадать к вашим стопам.

— То-то, а вот я в кучера звала,— не пошел; а, мо-

жет, в кучерах-то бы еще лучше тебе через меня было. Вот завтра на ярмарку бы в город поехали...

Матрена Карповна в продолжение всего этого разговора заигрывала глазами с Капитоном.

— Да уж что делать... Кабы знать да ведать вперед, так я бы, кажись, для вашей милости... что угодно...

Говоря эти слова, Капитон заметил, что рабочие обратили внимание на продолжительность разговора его с молодой хозяйкой и посматривали на них с улыбками и двусмысленно.

«А пущай,— подумал он,— мне это не в укор».

— Только что, Матрена Карповна,— продолжал он, уже не с одним подобострастием глядя на Матрену,— коли такое ваше ко мне расположение, мне так в своем месте, здесь, на фабрике, гораздо превосходнее, нечем в кучерах, потому здесь я при своем деле, а в кучерах, пожалуй, еще тятеньке чем не потрафил бы. А милости ваши и неоставление я завсегда должен чувствовать...

— Надейся на вас,— как-то двусмысленно проговорила Матрена Карповна.

— Спытайте, Матрена Карповна.

— А вот я посмотрю...

И заметивши, наконец, что рабочие смотрят на них, Матрена Карповна сконфузилась, потом надулась и пошла прочь от Капитона.

— И без кучеров могу завсегда чувствовать, Матрена Карповна, не сумлевайтесь,— успел сказать ей Капитон.

Матрена Карповна ушла с фабрики, раскрасневшаяся, с сияющими глазками.

Такою ее встретила на дворе Степанида, злобно, исподлобья взглянула на нее и побледнела.

— Что она с тобой, парень, больно уж ничто? — спросил Капитона со смехом один из рабочих.

— Все насчет точи расспрашивала,— отвечал Капитон спокойно.

— Насчет точи,— засмеялся другой,— толкуй... На что жуков-те пущала?...

— Каких жуков?

— А глазьми-те...

— Тебе бы надо зеньки-то другие вставить: смотрика, сколь ниток перервал... Не видишь, какую редь пустил,— строго заметил Капитон, указывая на миткаль.—

Смотрел бы лучше в работу, чем зубы-то скалить! — Капитон перешел к другим станам.

— Ишь, мы, братец, как ноне,— проговорил ткач.

— Форс выпущает... из себя,— отозвался другой.— Собьем!... Не больно очень...

Капитон ходил, присматривая за ткачами, а в голове его шла большая, посторонняя делу работа. Он не мог не понять, что Матрена Карповна с ним заигрывает.

«А что, если бы! — думал он.— Где выгоднее и где согласнее?.. Со Степанидой дело сделано, с этой согласнее: никому невдомек, да никому и не нужно... Только что с того будет,— неизвестно. Еще есть ли у нее что... С Матреной бы выгоднее: вон, говорят, деньги старик-от дает, да только теперь беда с ней: тут и муж, и старик, а пуще всего Степанида... Со света сживут, с фабрики как раз сгонят!... Она же, дура, нашла место, при всех рабочих... Конечно, что мне теперь Иван Терентьич,— наплевать, ну, и старику глаза отвести как-никак можно, а вот Степанида... эту не проведешь... Вишь, дьявол!... Погодить бы мне... Ну, да увидим...»

По окончании работ Капитон пошел через хозяйский двор, желая встретить Сережку, с которым нужно было ему поговорить.

Рабочие обыкновенно уходили через другие ворота. Двор хозяина был отделен от фабричного двора забором, в котором была калитка, днем всегда отворенная. Через эту калитку Капитон заметил Степаниду, которая стояла на своем дворе и, очевидно, поджидала его. Она была взволнована, глаза ее горели; но она проходила мимо Капитона, показывая вид, как будто не замечает его. Капитон низко и почтительно поклонился хозяйской дочери. Степанида едва кивнула и, медленно проходя мимо, проговорила, не поворачивая к нему головы:

— Сегодня беспременно приди. Калитку в заводе отопру... Слышишь?...

— Беспременно: сторожить буду замест Сережки,— отвечал Капитон.

Степанида ушла в одну из хозяйственных надворных построек, точно туда именно она и направлялась. Капитон спокойно пошел своей дорогой. Их встречи никто не заметил, но еще на первом свидании они дали друг другу слово быть как можно осторожнее и всячески скрывать от людей свои отношения.

Капитон нашел Сережку в конюшне, он задавал корм лошадям.

— Что, или к завтрею прибираешься? — спросил Капитон.— Слышно, на ярмарку завтра собираются, в город.

— С утра, братец... На три дня, вот мы как ноне... Ну, а ты сторожить, что ли, опять?

Сережка засмеялся.

— Кучился сегодня Иван Терентьич: посторожи, говорит, замест Сережки.

— Так чего ты? с нашим, дескать, удовольствием!.. Тебе того и нужно!.. Да и лафа будет: старик с Матреной уедут, Ванюшка загуляет, Анфиса не человек. Под носом не увидит... Вот тебе первый сорт, прохлада!..

— Да что, прохлада!.. Кабы на толк дело шло, а то и не взирает... Ходи тут, пожалуй, хоть неделю да в доску колоти, только и корысти...

— Да полно ты, анафемская душа... Ну, что прибедняешься, ну, что ты меня, старого воробья, морочишь?.. Разве я не вижу?..

— Да чего видеть-то? Ничего нет... Разве бы я не сказал тебе?..

— Да, скажешь ты, иродово семя... Да из тебя клещами не вытащишь... А еще друг, еще я старался для тебя... С чего же это вдруг тебе пошло, поехало, с чего уставщиком-то сделали?

— Так с этого, что ли?.. И ты чудной!.. За это бы скорей по шеям выгнали, кабы узнали, и с фабрики-то, а не то, что...

— Ну, так с чего же? Ты коли друг, ты должен мне все по душе выложить, потому я для тебя старался... Я ведь какой человек, сам знаешь: мне ничего не нужно! Много ли мне нужно?.. Поднес мне,— вот я и доволен, а мне чтобы все на открытости, подушевно, вот как люблю!.. И постараюсь, и все для тебя сделаю, а стал таиться,— не люблю, пошел к черту!.. Уж не утаишься от меня, высмотрю, сам накрою, тогда хуже...

— Эх, Серега, так неужто?.. Уж сказано заодно... Затем и пришел, поговорить, а ты ругаешься... Что я тебе стану сказывать про Степаниду, если нет ничего?.. Хорошо дело говорить, а что пустое-то перебивать...

— Ну, так коли сказывай... Я ведь что же? Я ведь ничего... Я для тебя завсегда могу, только что сукрытно-

сти не люблю... потому, по душе... Их, чертей, чего жалеть: идет на руку, и бери, не зевай!.. Ну-ка, ну, что такое, рассказывай... Смерть люблю, как что этакое...

— Не услышали бы только нас...

— Нет, кому тут услышать... Говори, ну...

— Видишь ты, братец,— начал вполголоса Капитон,— Ванюшка за моей Оленкой примахивается, вот он это мне и старается, потрафляет, уставщиком сделал... А промеж того, Матрена тоже... ко мне... и глазьми, братец, это, и все такое... и на речах... Сегодня даже на завод приходила, и все, братец, со мной, и все в ту сторону говорила: чувствуй, значит, и понимай!.. Даже рабочие приметили...

— Ну, что ж, тебе это лучше не надо,— засмеялся Сережка,— он к твоей, а ты к ней... Тут уж они, значит, оба в твоих руках, бери, что хошь. Прекрасное дело!.. Ай да Капитоха!.. Нас не оставьте.— Сережка весь осклабился от удовольствия.

— А ты постой... Первое дело, старик за ней призирает... в оба, чай, глаза, старый черт, смотрит... Тут держи шапку крепко... Второе дело: говоришь,— бери!... Да было бы что брать-то, у них, у самих ничего нет... Ванюшка хвастает, тятенька, говорит, обещает фабрику мне сдать, я тебя приказчиком сделаю: да, жди, надейся, сдаст жидомор, как же!.. А между прочим, если так полагать, на Степаниду, так уж тут и не думай насчет Матрены... Это, брат, две бабы... Тут беда, не устережишься, никак... Вот она канитель-то какая... Вот ты тут и разложи умом-то!..

— Так ты, чудак, постой... ты вот как...

— Как?

— А как... Коли тебе такая линия со всех сторон выходит, ты и дуй во все бока, которая ни на есть да выгорит... А мы помогать станем...

— Нет, что этак-то... Пустое, тут влопаешься только... Это дело нужно с рассудком... Вон Иван-то хвастал Олене: отец, говорит, жене пять тысяч обещал, все, говорит, у меня будут...

— Так чего лучше, вот и чудесно. Либо ты, либо Олена...

— Да постой... Я про Олену не знаю, она ведь у меня... кто ее знает... Заставлять я ее не стану, потому

любит она меня очень и не желает, а он, вишь ты, боров рыжий, ей не по мысли... Да нет, что тут Олена...

— Олена, брат, у тебя такая баба, первая... веселая баба!.. Она его на все корки проберет, так сделает, все отдаст, только, матушка, дай посидеть да поглядеть на тебя...

— Да нет, она не таковская... Да и что ее в наше дело, и я не желаю... Мне с ней век-то жить, не с кем... Я тому и рад, что она не желает... А вот что: даст ли еще старик-то, и у кого деньги-то будут... Вот ты поедешь с ними, ты присматривай да прислушивай... Может, что будут говорить в дороге-то... После мне это все и переведи.

— Да уж, стало быть... Это само собой говорить нечего... А только мой тебе совет: не упускай ты этого дела и насчет Матрены. Все-таки, хоть у Степаниды и есть собина, да велика ли... Ну, и ключи, слышно, ей опять отдали, да что из того, денег-то у нее нет в руках; а там, может, деньги будут...

— Дело темное,— будут, либо нет... Да и то сказать: может, мне так только помстилось, а у нее и в разуме-то нет ничего, у Матрены...

— Толкуй, помстилось... Нет, уж, брат, это видать, бабы, что кошки... То все на лавке да на полатях, а то пошла по задворкам, да по застрехам, бегать... Так и баба. Уж коли сама на завод без пути пришла да с разговорами и со всякими закомурами... Ну, значит, понимай: чего душа желает...

Сережка захохотал.

— А в дороге уж глаз не отведу от них,— продолжал он,— не сумлевайся! Разве пьян напьюсь да просплю,— не догляжу чего... Подем-ка, пора ворота запирать, отработали, чай, давно уж все разошлись...

Приятели расстались.

Капитон был вполне убежден, что после обеда, пока он был на фабрике, Иван Терентьич сидел у его жены, и не ошибся.

— Приходил, ведь, опять, сокол-то ясный,— рассказывала она мужу за ужином.

— Ну...

— Надоел до смерти, пучеглазый... Речей от него нет, только сидит, пыхтит, да потеет, да обниматься лезет... Я уж скалкой пригрозила...

— А самой, чай, любо?..

— Может, любо бы было, кабы кто другой, а не экой... Как его и жена-то любит... Я бы, кажись, от экого к первому бы убежала...

— От мужа-то?

— Да я бы и не пошла за такого...

— Зато богат...

— А ну его с богом и с богатством-то его.... По мне человек дорог, а с ним вон сидишь, да тронет тебя, так индо тошнит... Так бы и плюнула в харю-то: красный, да пухлый, рожа ровно маслом вымазана, ни повадки, ни на речах... Ну, что в нем? — тошнехонько смотреть-то... Что мне в его деньгах, хоть бы и были-то?

— А что, али показывал?..

— Нет, а только хвастал опять: тысячи не пожалею, говорит, только полюби...

— А ты что же?

— Я-то?..

— Да.

— Я полюбила...

Алена взглянула на мужа и весело засмеялась. Капитон тоже улыбнулся и в глазах его засветилась ласка к жене.

— Дура, тысяча рублей, деньги какие, ты и не видывала!..

— Да мне и не сосчитать. Не тебя же звать на расчет. Али молвить: приноси, мол, мужу, он сосчитает...

Алена опять весело засмеялась и, кончивши ужин, подсела к мужу и обняла его.

— Нет, вот что, Капитон Абрамыч, мил сердечный друг, коли больно он будет приставать, у нас до драки дело дойдет... Он вон ведь какой: думает и впрямь, что он купец, денег обещал, так он уж и хозяин... То робел, а теперь так и лезет!.. А он озолоти меня, так мне не надо из-за тебя ни его, никого!..

— Нет, ты все-таки его сразу-то не отваживай, потому, как бы ни было,— хозяин. Осерчает, и меня прогнать может... Пущай его ходит, места не просидит и к тебе ничего не пристанет... А между прочим, если что подарит, что же такое, бери, у них много, а у нас нет ничего...

— Небось, так даром ничего не даст..

— Ну, так и сам ни с чем уйдет... А не говорил он, дал старик-от Матрене пять тысяч, обещал показать-то?

— Нет, ничего не говорил...

— А ты попытай его... Завтра мне идти сторожить туда на три дня: старик-от с Матреной в город едут и Сережку берут, просили меня посторожить... Смотри, к тебе Иван-то опять подкатится без меня,— так ты его и повыспроси.

— Вот тебе-на, на целых три дня... Так я, коли, баушку Маремьяну к себе погоститься позову на это время.

— Что, али боишься одна-то?

— Не то боюсь, а все поваднее, чем одной-то сидеть; опять же ночное время, всяко бывает...

— Он при Маремьяне-то, пожалуй, и не пойдет к тебе...

— Ну, а мне и того лучше... Не надо мне его, пса.

— Твое дело, как хочешь... А только ежели бы ты у него тысячу-то рублей, да безо всякого... Куда бы хорошо!.. Тысяча рублей — большие деньги: сами бы торговать зачали, никому бы кланяться не стали, зажили бы мы с тобой, Оленка...

— Ну, а как он деньгами-то совсем меня перетянет к себе?

— Как совсем?

— А так, полюблю его, да и сбегу от тебя.

—Так разе можно от живого мужа сбежать?.. Да и куда он тебя денет?.. Опять же и закона нет: от живого мужа... Вытребуем!.. Погулять по молодости лет, это куда ни шло! А уж жить мужу с женой вместе, уж, брат, не развенчаешь!.. Божеский предел,— вот что!..

— А вон Наталья сбежала же от Евграфа, да и живет по купцам, а он с теткой живет...

— Так то совсем другое: то муж сживал, сам Евграф... А я тебя сживать не стану, потому мы, благодарим создателя, живем в согласе, лучше не надо...

— Так разве тебе сладка будет экая жена, гулящая, что из-за денег?.. Да ты и сам меня не взлюбишь, бить почнешь да гонять от себя...

— А ведь вон же Гаврило живет с Мариной...

— Ну, уж и жизнь, правда что... Я бы от этакой жизни, кажись, извелась... Что что на ней полушелковое-то платье, а муж пьянствует, да бьет, да срамит, все люди пальцами показывают да судят...

— Завиствуют...

— Ну, я завидовать не стану... Нету, нет... Нет, роди-

менький, я веселый человек, пошутить, языком побить, поиграть,— пожалуй, сколь угодно; ну, и денег даст — возьму, ежели безо всякого, а так,— человек сдурел, дарит... Особливо ежели деньги большие: как не взять, на полу не валяются!.. Возьму с радостью, знамо, тебе отдам... И то скажу тебе: может статься не знаю, встреться человек такой, пригожей тебя, да прикинься ко мне покрепче, может бы и попутал нечистый, и согрешила бы... Не знаю; чего не знаю, так не знаю, лгать не хочу!.. А чтобы так-то, ты мне денег дай, хоть и супротивен, а я тебя любить буду... Нет, нет, нет, родименький, так я не пойду!.. Не таковское у меня сердце!.. И не думай.

— Да я и не думаю, и не желаю того... А и я тебе скажу: кабы этакой-то прикинулся, что пригожей меня, да ты бы к нему со всем-то расположением против меня, ну, так, может, и живы бы оба от меня не ушли, ни он, ни ты... Вот что!..

— А как же гулять-то говорил по согласу на два года...

— То другое, то по согласу; опять же это одно баловство... Побаловался, да и из головы вон!.. Пойдем-ка спать...

Алена с любовью охватила руками шею мужа и повисла на ней.

XII

После роковой безумной ночи в иванов день Степанида на несколько дней совсем переменилась: она как будто вдруг помолодела, даже похорошела, глаза стали смотреть веселее и приветливее, лоб разгладился, суровое выражение исчезло с лица, легкий румянец показался на щеках. Она сделалась уступчивее, снисходительнее к людям, не конфузила и не вызывала взглядом Матрену, покорно обращалась и даже заговаривала с отцом. Все домашние думали, что она струсила, испугалась родительского гнева и смирилась. Старик был внутренне очень рад, потому что в глубине души любил и уважал одну только Степаниду и дорожил ее мнением, хотя и не признавался себе в том; он очень желал восстановить прежние с нею отношения и не раз подговаривал, чтобы Матрена отдала поскорее Степаниде ключи; он заботил-

ся об этом тем более, что Матрена и по лени своей, и по неуменью не могла так предупреждать все желания и удовлетворять привычке Терентия Савельича, как делала это Степанида, жившая с ним с детства.

Матрена Карповна, напомнивши не раз старику его обещание, принесла наконец ключи к Степаниде и просила их взять назад, Степанида взяла беспрекословно и не без удовольствия. Но по мере того, как мир в семье установлялся, светлое состояние души Степаниды омрачалось. В ней явились укоры совести в содеянном грехе, болезненное сознание утраченной чистоты, той гордой независимости и чувства подвига, которые до сих пор утешали и возвышали Степаниду в собственных ее глазах; ко всему этому примешалось мучительное ревнивое чувство за Капитона и вопросы о том: любит ли он ее действительно. Степанида не могла без внутренней боли вспомнить, что она полюбила и отдалась женатому, который никогда не может ей принадлежать весь, который, вероятно, любит не меньше, чем ее, свою молодую жену, по крайней мере любил прежде, и опять возвратится к ней, когда захочет разойтись со Степанидой. Она страшно ревновала его к жене, и с тех пор, как это чувство явилось и созрело в ней, она не знала покоя ни днем, ни ночью, кроме тех часов, которые проводила с ним наедине и в которые она отдавалась своей страсти с безумием тридцатилетней девушки, полюбившей в первый раз. Но они и редко виделись: надо было принимать большие предосторожности, потому что Степанида не хотела допустить до посредничества Сережку, несмотря на то что за него ручался Капитон. Для того чтобы видеться с ним, Степанида должна была пробираться ночью, мимо бодрствовавшего Сережки, на заводский двор, неслышно отпирать калитку и проскользать в нее.

Пустить Капитона на двор было опасно, потому что цепная собака, привязанная на заводском дворе, была чутка и зла и не пропустила бы его без лая, хотя Капитон в последнее время и старался прикармливать ее, каждый раз кидая кусок, когда проходил мимо ее конуры на завод и с него. Но и в эти немногие и короткие свидания Степаниде казалось, что Капитон к ней холоден, что, по крайней мере, он не относится к ней с такой же страстью, как она к нему; она успела уже попрекнуть его тем, что он женат и любит жену свою больше ее. Ка-

питон отвечал ей на это, что, кабы не любил, не подставлял бы своей головы под беду, не уходил бы к ней от жены; но что у него забот много, бедность, во всем недостатки, да и устает больно от работы день-деньской с утра до ночи.

— Это не как ты, Степанида Терентьевна,— говорил он,— мое — не твое дело: встала, умылась, богу помолилась, чаю напилась да поела, вот и работа вся; нет, тут спину-то ломаешь, ломаешь, ходишь, ходишь, маешься день-то-деньской — пристанешь, ни до чего!..

Степанида еще не могла вникнуть в настоящий смысл этих слов, но они ее несколько успокаивали, по крайней мере на время.

Но вот, во время известного разговора о найме Капитона в кучера, она заметила, что Матрена Карповна интересуется Капитоном. Она это прежде только предчувствовала, теперь убедилась. Вся злоба против Матрены поднялась у нее со дна души, чувство ревности нашло другой исход: она видела пред собою соперницу, презираемую, ничтожную, не имеющую никаких прав на Капитона и тем более дерзкую, ненавистную. Она обрадовалась, когда Капитон отказался идти в кучера, она следила за каждым словом, взглядом, жестом Капитона и Матрены во время разговора за обедом, и была недовольна, зачем Капитон вежлив и почтителен с нею, у ней мутилось в глазах от злобы, когда она подметила выражение глаз, с которым Матрена говорила с Капитоном; она едва удержалась, чтобы не сказать ей колкость, когда она поддерживала ходатайство мужа перед отцом за Капитона, и сильно негодовала, когда узнала, что Капитона сделали уставщиком почти по милости Матрены. Она дала себе слово следить за ней, наблюдать за каждым ее шагом, чтобы узнать ее намерения и помешать сближению с Капитоном. И она видела, как Матрена, выждав время, когда отец лег спать, а Иван Терентьич ушел со двора, пошла на завод. Ей было ясно, зачем она пошла туда, и страшно мучилась Степанида все то время, пока Матрена была на заводе; она даже несколько раз подходила к заводу, поднималась до половины лестницы, стояла на ней, затаив дыхание и прислушиваясь, но ничего, кроме стука станов, не слыхала, и снова уходила и где-нибудь пряталась, высматривая, как кошка за добычей. Она была страшна и жалка в эту минуту:

глаза ее ввалились и горели, щеки осунулись, лицо было страшно бледно, губы пересохли. И она видела, как Матрена вышла из фабрики — раскрасневшаяся, улыбающаяся, довольная, оживленная; если бы в эту минуту Степанида превратилась в дикого зверя, она сделала бы скачок, перегрызла шею и пила кровь из Матрены; но, и оставаясь человеком, она едва удержалась на месте, едва не бросилась на нее, она вся дрожала, пальцы ее судорожно сжимались, точно когти у кошки. Почти в таком же волнении была она, когда дожидалась и встретила Капитона, но уже могла владеть собой. Ответ Капитона, что он будет сторожить, мысль, что впереди у них три ночи, несколько успокоила ее, но до свидания, до объяснения с ним, предстояло прожить еще целые сутки. Степанида прожила их в страшном напряжении. Она не спала всю ночь накануне отъезда родных, прислушиваясь к малейшему шороху, боясь, не назначила ли Матрена свидания Капитону; она с замиранием сердца, с неуверенной радостью, смотрела, как Терентий Савельич с Матреной сели в тарантас и выехали за ворота, и почувствовала необычное облегчение, когда сознала, что три дня не будет видеть Матрены, не будет бояться ее встречи и разговора с Капитоном. Несколько минут после их отъезда она была совершенно спокойна, пока не подумала, что через три дня весь ужас ее внутреннего состояния может возвратиться к ней с прежней силой и болью. Она вся сосредоточилась на ожидании предстоящей ночи и свидания, думала о том, что скажет Капитону, как будет выпытывать всю его душу, все, что он таит от нее, что она от него потребует в доказательство его любви и верности. Все эти мысли ее были смутны, несвязны, неясны, но она была полна ими и не понимала ничего остального. Отвечала невпопад на какой-то вопрос брата, который два раза переспросил у нее об одном и том же, потом плюнул и ушел; не слыхала и не отвечала ничего на воркотню Анфисы, которая дала себе, после отъезда брата, полную свободу, говорила без умолку и бранилась, не стесняясь; она не знала, ела ли что за обедом, пила ли чай, но она высидела весь обед, разливала и поила чаем брата и Анфису.

По окончании работ на фабрике, в кухню вошел Иван Терентьич вместе с Капитоном и сказал Анфисе, что он будет ужинать вместе с ними, так как остается сторо-

жить ночью вместо Сережки. Степанида и ждала, и не ждала Капитона к ужину, но когда он вошел, то увидели бы, если бы было кому смотреть, что она вся вспыхнула и задрожала, а на поклон Капитона даже и не ответила, но вскочила и вышла из кухни, чтобы скрыть смущение и несколько совладать с собой. К счастью, все это заметил один только Капитон и втихомолку самодовольно усмехнулся. Он не догадался, впрочем, что происходило в душе Степаниды, и смущение ее объяснил только радостью при его появлении.

Капитон стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иван Терентьич находился в возбужденном состоянии и ходил по избе, потирая руки.

— Тетка Анфиса, давай, давай скорее ужинать,— говорил он.

— Что так больно очень скоро понадобилось? — огрызнулась Анфиса.— Поспеешь...

— Чего поспеешь... Надо человеку-то поесть с работы, да опять ведь сторожить пойдет: не с тобой ему здесь сидеть...

— Ну, погоди вот... Что уж так... а, батюшки!.. Больно проворен...

— Садись-ка, Капитон, что стоишь,— обратился к нему Иван Терентьич, сам садясь на лавку.

— Ничего, не устал,— отвечал Капитон, выбирая место, где бы сесть.

— Да вот садись сюда к столу, вместе поужинаем. Чины-то бросить надо... Садись вот сюда.

Иван Терентьич показал место возле себя. Капитон сел.

— Да где Степанида-то, куда ушла?... Водочки бы вынула, мы с ним пропустим по маленькой перед ужином-то... Выпьем ведь, Капитон, а?...

— Да ничего, Иван Терентьич, можно и без этого, мы непривычны... Для меня не беспокойся...

— Какое тут беспокойство, никакого нет... Степанида! — кликнул Иван Терентьич, подходя к тем дверям, в которые та ушла.

Степанида вошла.

— Достань водки,— сказал ей Иван.

Она молча вышла и через минуту принесла графин и рюмку. Иван Терентьич тотчас налил.

— Выпей-ка,— сказал он Капитону.

— Уж не знаю, Иван Терентьич, пить ли...

— Пей, пей, полно... И я с тобой выпью...

— Да тебе как!... Ты рад без батьки-то,— бормотала про себя Анфиса.

— Не заспаться бы как,— продолжал отговариваться Капитон,— караулить ведь надо...

— С одной-то, полно-ка... Ничего! — уговаривал Иван Терентьич.

Капитон выпил. Иван Терентьич вслед за ним.

— Не дает тетка варева̀, да и шабаш,— проговорил он.— Мы коли вот что: выпьем по другой.

— Полно зенки-то наливать,— обратилась к нему Анфиса.— Вишь, обрадовался, что батька-то уехал...

— Да что, я не хозяин, что ли, в своем дому? — освирепел вдруг и закричал на нее Иван.— Тебя кто спрашивает, ты мне что за указ? Ты что такое здесь? — Стряпуха, ну, вот и давай нам ужинать, а это не твое дело... Вишь ты, всякая с ученьем своим, довольно уж я учен, будет!... Пей, Капитон.

— Право, засплюсь, Иван Терентьич, я слаб к этому, к вину...

— Ну, вот вздор... Ну, уснешь, эка невидаль!... Ворота запрем... Я сам в дому не буду спать, на сеновал пойду...

— Не на сеновал, а за ворота пойдешь ты на всю ночь, по кабакам шляться... да допивать,— не утерпела и пробурчала Анфиса, ставя на стол чашку с горячим.

— Ну, что там еще... Ну да, уйду, и на всю ночь уйду, по кабакам буду шляться... А тебе что?... На твои, что ли?... Старая кочерга... Ну, пей же, говорят... Вон варево подала.

— Ну, уж коли не взыскивай, Иван Терентьич, если засплюсь,— сказал Капитон и выпил.

— Ну, вот еще, разговаривать... Сам хозяин подносит, не кто...

Он налил себе, выпил и принялся хлебать горячее.

— Степанида, ты что же не ужинаешь?... Садись...

— Ужинайте, ужинайте, мы после,— отвечала Степанида из темного угла, откуда она не хотела выйти, чтобы как не обнаружить своего волнения, и откуда ей было удобно смотреть на Капитона.

Иван Терентьич не настаивал. Он ел торопливо, очевидно желая поскорее освободиться; но после горячего

опять попотчевал Капитона; тот отказался наотрез, чем Степанида осталась очень довольна, зато сам хозяин выпил две рюмки одну за другой, обозвавши Капитона бабой.

— Ну, пойдем,— сказал Иван Терентьич, когда ужин был кончен.— Запирайтесь тут, я не приду, на воле буду спать,— обратился он к женщинам, выходя.

Благодаря за ужин и прощаясь, Капитон успел подмигнуть Степаниде.

— Ты не заспись же и сам-деле... Стучи. Тоже одни бабы в дому останемся,— сказала Анфиса.

— Не беспокойся, баушка Анфиса, как в тот раз, так и теперь, все единственно, всю ночь глаз не заведу; хошь поверку сделай, Степанида Терентьевна, выйди да окликни, сейчас отзовусь... Будьте спокойны...

Капитон поклонился и вышел.

— Вот надежа-сынок... Надейся! — бормотала Анфиса.— Только бы добраться ему, все размотает... Да и поделом старому... Вишь, что выдумал, греховодник... при старости лет по ярмаркам гулять с молодой снохой!... Тебе сынок-от вотрет очки, погоди... Все пропьет, все!... Еще кричит: хозяин, говорит, я... Да, хорош хозяин!.. Оба вы хороши!.. Нечего, ровно в аду, ровно в смоле киплю кипучей... Где ляжешь-то, Степанида?

— Известно где: без тятеньки завсегда в его упокое сплю...

— Ключ-то тебе от горницы оставил?

— Мне.

— Ладно, хошь не этому, а то он бы пьяный-то и сундук сломал да деньги вытащил... Ты запрись в горнице-то.

— Неужто уж, само собой, запрусь... А что?

— Да я про Ваньку-то, не напился бы да не пришел... Пожалуй, в башку-то вступит, не вздумал бы к отцу в сундук слазить...

— Небось, у меня не слазит.

Степанида отказалась от ужина, но пробыла с теткой, помогая ей прибираться, до тех пор, пока та не стала укладываться спать. Тогда Степанида взяла свечку и пошла в комнату отца. Проходя по коридору, она с удовольствием услышала сильный стук в сторожевую доску.

Через несколько времени Степанида через переднее крыльцо вышла на двор. Капитон тотчас же встретил ее.

— Где брат? — спросила она.

— Ушел со двора, сказал, что не будет дома ночевать, а и придет, да не вдруг отопру,— так скажу, что заспался с двух рюмок. Я даве нарочно к тому и молвил..,

— Ну, так вот что, пойдем в горницу... Тетка теперь ночью ни за что из кухни не выйдет, да и спит она крепко.

Они вошли в комнату Терентия Савельича, крайнюю от входа с парадного крыльца. В ней горела свечка, оставленная Степанидою. В комнате стоял большой сундук, около него другой,— поменьше, окованный железными полосами, на котором лежали перины и подушки,— постель старика; у другой стенки шкап со стеклами на комоде с медными ручками; за стеклами шкапа виднелось серебро и разная посуда; у окна простой стол и стул, на столе счеты; по стенам навешана разная одежа, в одном углу набитый чем-то мешок,— больше в комнате ничего не было.

Степанида была сосредоточена и неласкова.

— Садись,— сказала она Капитону, указывая ему на стул, и сама присела на кровать.

— Что ты сегодня ничто какая,— сказал Капитон.

— Какая?

— Да неласковая, невеселая, ровно и не рада, а я ждал-ждал, не знал, как дождаться экого золотого времечка... Ну-ка, ничего не бойся, во всем доме одни...

Он потянулся было к ней с объятиями, Степанида его остановила, хотя сама вся дрожала.

— Ты скажи мне перво, что у тебя с Матреной?...

— Как что?

— Не ври, говори всю правду... Все, все мне расскажи, как перед истинным богом: есть у вас с ней что, али ничего?

Капитон отвечал не вдруг, он что-то соображал; Степанида засверкала глазами.

— Не лги, не обманывай!... Все равно не поверю, сердцем слышу, изболело оно у меня... Говори всю правду...

Лицо ее передернулось судорогой, точно от острой физической боли.

— Изволь, скажу я тебе всю правду,— отвечал, наконец, Капитон.— Ничего у меня нет с ней теперь, а захочу,— будет...

— Как будет?... А я-то что же?

Голос Степаниды дрожал.

— И ты будешь, и она будет...

— Да что ты? Есть ли на тебе крест-то? Да что же я-то, я-то на смех тебе, что ли, далася?

— Какой смех, Степанида Терентьевна, этими делами разве смеются... Захочу я или нет, это еще дело темное, а я только к тому, что от нее вижу к себе и ласку, и пристрастие большое, и по глазам вижу, и по речам ее вижу. Вот и в кучера меня зовет, и в должность меня посадила, и прибавку обещала выхлопотать... А я человек бедный, нашему брату это лестно... Вот я и говорю, что коли ежели захотеть только, так будет... Посмотрела бы ты, как она вчера на заводе округ меня, даже вся разгорелась, так и дышет; не чувствуешь, говорит, ты моего об тебе попечения, а я, говорит, к тебе всей моей душой, и все для тебя могу сделать, осчастливить, говорит, могу, бедность твою покрыть могу и даже богатым человеком сделаю... Вот ведь она как.

Степанида слушала, уставивши на Капитона широко открытые глаза, и тяжело дышала. На лице ее выступили багровые пятна, горло сдавила судорога, нижняя скула дрожала, и зубы стучали, как в лихорадке.

— Мерзавка,— шептала она хриплым голосом, едва выговаривая слова.— Мерзавка!... А ты же что, ты?...

— Что же я... Я сказал, что должен чувствовать ее благодеяния и завсегда готов стараться и угождать всей моей душой, потому как же мне не чувствовать...

— Так вот ты как говорил с ней... Так-то! — Степанида вдруг зарыдала.

— Так неужто ты думаешь,— продолжала она,— что я дам тебе гулять с ней?... Да знаешь ли ты, что со мной бывает, как я вижу только, что она глядит на тебя или заговаривает с тобой, а что было, пока она на заводе-то была?... Ведь я все вижу, каждый шаг ее знаю, что ей в голову-то только попадет, так я все чувствую... нутром своим чувствую.... горит во мне все, ноет, ровно червь точит!... А ты, ехидный человек, говоришь, что ты и со мной будешь, и с ней будешь... Что же я-то такое, как же ты меня-то понимаешь?.. Что же я, гулящая, что ли, какая?

К каждому на шею, что ли, кидаюсь зря? Так, что ли, ты обо мне полагаешь?...

— Никогда я этого не могу подумать, как довольно мне все известно, Степанида Терентьевна... А вот я как вас понимаю: свят вы человек, Степанида Терентьевна, непорочная вы девица, за людей молитвенница!... И очень я это чувствую и понимаю...

— Да, чувствуешь ты это... как же!.. Кабы ты чувствовал да понимал, сколько я муки из-за тебя перетерпела, сколько слез перед иконами пролила за свой грех... Может, грешники в аду так не мучаются, как я мучилась... Кабы вправду ты понимал да чувствовал, так не говорил бы того, что будешь и с ней и со мной...

— Так то дело совсем другое... Наше дело с тобой, Стешенька, особь статья, наше дело любовное, от сердечного, от самого... приятства... Вот как! Разве я и самделе идол какой, не понимаю этого?... Ведь я все понимаю и чувствую. Непорочная ты девица, соблюдала ты себя в честности много годов, никого ты не знала и знать не хотела, а вот захватило тебя за сердце и потянуло ко мне!... А я-то что же?... Я то же самое, разбери-ка: человек я женатый, молодой, жена у меня молодая, чего и в мыслях никогда не было, а вот тоже тянет к тебе да и шабаш... Я и так, я и сяк, как бы подальше да к сторонке от тебя, нет, ровно приворожоный,— куда ты, туда и я, стану — ты, и лягу — ты перед глазьми... Что поделаешь... Не устоял, все мы грешники! — Так тут наше дело от сердца, по любви сошлись по нашей, неразлучной... И ничего мне от тебя не надо, ничего я не желаю, люби ты только меня... жалей... при сердце содержи... Вот! А там, хошь бы с Матреной,— то дело иное, там бедность моя непокрытая,— вот что!... Хочется как-никак получше-то, чтобы не век без крыши сидеть, без одежи ходить... Вот ведь что ест-то меня, друг ты мой сердечный, Стешенька!... Кабы я богат был али один сам по себе, ну, так мне на все наплевать; окромя твоей души ничего не надобно... А то ведь бедность-то бедностью, да опять же и жена... Та тоже тоскует через меня... Ты думаешь, она не чувствует, что ли, насчет тебя? Чувствует!... Ты сама знаешь по себе, от женщины возможно ли насчет этого дела супрятаться... Ни за что не супрячешься, ваша сестра по духу слышит!... Ну, так вот и хочется, и думаешь сам про себя: хоть деньгами-то,

одежой, да всяким удовольствием ее уважить... Все она лучше сидит дома, и спокойнее ей, и легче... Вот что ведь думается... Вот и об Матрене иной раз помстится: первое дело, молодого хозяина жена и у старика при сердце, не уважь-ка ей, так и с завода, пожалуй, долой; вот и иди, побирайся, да и тебя-то не увидишь; а другое дело,— сделаешь ей уважение, она тебя может как не оставить-то, сам богат будешь,— вот как, человеком может обделать!... А ведь ты нужды-то не знаешь, какова она есть... Вот на что лучше, сидел бы около тебя да прохлаждался, уж на что лучше, радостней, а там, на сердце-то, гложет, гребтится: и того нет, и этого недостало... Вот только поэтому и думаешь когда о Матрене-то, а то что в ней, кузов, кузов и есть!..

— Слушай, Капитоша, коли только в этом, так брось ты Матрену, наплюй на нее... Еще, пока отец жив, у нее ничего нет своего, а у меня своя собина есть: у меня деньгами шестьсот рублей скоплено, у меня одежи много после матушки, перстеньки есть, серьги золотые, другое-прочее,— коли будешь любить ты меня одну, никого больше, все тебе отдам... Куда мне!.. Теперь вся моя жизнь в тебе, так я в себе чувствую, и ничего мне не нужно, ничто немило, нерадостно, окромя тебя... Коли уж одолел супостат мою душу, помутил мою чистоту, коли уж не побоялась я греха для тебя, так и вся я твоя; бери все, ничего мне не надо, только люби ты меня, тешь ты меня одну своими речами сладкими, взорами своими приятными... Брось ты эту Матрену, чтобы и духу, и слуху ее не было, чтобы и в помышлении твоем она не осталася, плюнь ты на нее, как на гадину скверную, как на червя ползучего... Ну, побожися мне, поклянися, что и смотреть на нее не станешь, и ласкового слова не скажешь, что обругаешь, оборвешь, в рожу ее паскудную наплюешь, коли приставать будет... Ну, побожись, да и бери все, что есть у меня, все бери, ничего мне не нужно!.. Вон ведь ты какой, ровно андел писаный, вон оченьки твои ясные, веселые, кудельки твои витые, уста твои сахарные... Ну, побожись же, побожись поскорее!.. Обругай, осрами ее, паскудную... Ну, утешь же меня, ну, красота моя, жемчуг мой самоцветный!..

Степанида была в экстазе. Она обнимала Капитона, прижималась к нему, гладила его лицо своими руками и заглядывала ему в глаза, ожидая ответа.

Капитон торжествовал; он чувствовал, что достигал цели скорее, чем ожидал и надеялся; лицо его сияло радостью и внутренним самодовольствием, но он старался быть сдержан и спокоен, чтобы получше оградить себя и обеспечить себе будущее.

— Побожиться не веща, Стешенька, побожиться долго ли, всякой побожится... Я и без божбы все для тебя сделаю, не надо мне этой Матрены и звания; к одной к тебе все мое сердце... Все можно сделать, что тебе требуется, что душе твоей любо; а ты вот что подумай: а как меня сгонят с завода-то, тут что будет?..

— Ну, и пускай сгонят... и лучше!... Я тебя нигде не оставлю... Где ты будешь, там и я; ты думаешь, мне родной дом, что ли, дорог? И без того он мне опостыл, а теперь с тобой-то ничего мне не жалко... Ты уйдешь, и я уйду и буду жить где-нибудь возле тебя... Не говори, не говори об этом ни об чем; что будет, то будет... Люби ты только меня, не люби больше никого, никого...

Капитон понял, что в настоящую минуту он не добьется от Степаниды никаких рассудительных речей, и замолчал. Но через несколько времени, когда Степанида поуспокоилась, он опять возвратился к прерванному разговору.

— А ты знаешь ли, Стеша,— сказал он,— что тятенька твой обещал Матрене?...

— Не поминай ты об ней, не говори со мной...

— Да ты постой, не о том... Тут дело другое... Денег он ей обещал подарить... да и денег-то много... не одну тысячу... Слышала ли ты это?

— Нет. не слыхала... А ты от кого узнал?...

— Да уж я-то узнал верно, от самого Ивана...

— От них станется,— проговорила Степанида, заинтересовываясь новостью и сосредоточивая на ней внимание.— Как же ты от него это узнал? К чему он говорил тебе?

— Да не мне он говорил, а жене моей... Мне хвалился только, что старик фабрику ему скоро сдаст, приказчиком обещал меня сделать тогда...

И Капитон рассказал ей об отношениях Ивана к своей жене и о том, что он поручил Сережке наблюдать в городе за хозяевами.

— А только я жене настрого наказал,— заключил он,— чтобы она выведать от Ивана все выведала и день-

ги бы велела себе показать, точно ли ему Матрена отдаст, но чтобы гроша медного от него не брала, потому я так понимаю, что эти деньги все равно, что ворованные. Старик ваш из ума выживать стал, у него теперь эта подлая будет выманивать, он все денежки свои рассорит, а в них твоя часть есть. Родительница-то твоя покойная, слышно, свой капитал в приданое принесла, с него и тятенька пошел, а теперь он все твои деньги сыну да снохе отдаст, как же так?... Это бы тебе надо подумать да рассудить, Степанида Терентьевна...

— А вот мое какое рассуждение: кабы дал мне тятенька тысяч пять, так отступилась бы я от всего и из дома ушла, таково здесь стало хорошо... Не глядели бы глаза, что делается...

— Да что же пять тысяч... Пять тысяч не деньги, коли, может, тебе двадцать или тридцать следует... Ты бы поговорила с тятенькой-то, посчиталась бы...

— Говорить — только ссору заводить, а считаться начать, так и с пустыми руками из дому уйдешь,— выгонят, только и будет У меня сказок никаких нет, сколько у матушки было денег, как я с ним считаться буду?.. Знает ли, нет ли,— вот только отец дьякон: он давно здесь служит и матушку еще в молодых знал... Его разве спросить?.. Да нет, нечего и дела завязывать, после и не распутаешься... Теперь Матрена забрала его в руки, что хочет, то и делает...

— Здеся денежки-то полеживают?— спросил Капитон, хищным взглядом указывая на окованный сундук.

— В нем... Завсегда спит на нем, а без него я... Тетка-то Анфиса правду говорит, что сторожиться нужно, как бы Иван без него в сундук-то не залез... Уж на то пошло, пожалуй, и того дождемся...

— Ну, тут не скоро залезет, замок-от здоров,— говорил Капитон, наклоняясь к сундуку и рассматривая его спереди и сзади...

В это время послышался стук в ворота. Капитон испуганно переглянулся со Степанидой и быстро выскочил из комнаты в коридор и на крыльцо Степанида поспешно заперла за ним дверь изнутри.

— Кто тут?— окликнул Капитон, неспешно подойдя к воротам, в которые продолжали стучать.

— Отопри,— отвечал сердитый, хриплый голос.

Капитон узнал Ивана Терентьича и отпер калитку.

— Что ты, оглох, что ли?— сердито накинулся на Капитона Иван, проходя калитку.— Стучал, стучал, насилу достучался...

Иван был совсем пьян и, стоя перед Капитоном, покачивался из стороны в сторону.

— Где ты был? Дрыхнул, верно, а хозяин ко... ку...лаки отбил — возился,— приставал он к Капитону.

Тот молчал.

— Тебя спрашивают, где был?...

— Где быть-то?... Известно, здесь, на дворе.

— Спал, стало быть...

— Ну, что же, маненечко вздремнул!. Виноват...

— Вздремнул!.. Виноват!.. Сторожа, черти!... Ты должен... Коли, ежели ты... ты сторож... Вздремнул!...

— Да ведь сам же даве поднес... Говорил: засплюсь, не надо... Сам велел выпить.

— Молчать... Разражу...

— Полно-ка, полно, Иван Терентьич, не шуми, поди ложись спать... Что больно гневен пришел? Где эк намочился?.. Не хотел дома-то ночевать, я тебя и не ждал... Откуда теперь?

— А тебе что?... Ты... что ты думаешь?... Я посмотрю, что ли?.... Я тебя со света сживу... Пошел вон... И с фабрики долой, вот я как!.. Что ты думаешь? Боюсь я, что ли, тебя... Вон...

Иван Терентьич вошел в страшную ярость и лез к Капитону с кулаками. Тот мигом смекнул, что Иван потерпел какой-нибудь афронт от Алены и вследствие этого бесится. Внутренне он был очень доволен при таком предположении, тем более, что после объяснения со Степанидой не боялся даже удаления с фабрики; напротив, теперь он мог извлечь из этого даже выгоды; быстро сообразивши все это, Капитон хотел было сгрубить молодому хозяину, даже обругать его, но, как человек осторожный, удержался.

— Что же ты, Иван Терентьич, беспокоишься,— отвечал он.— Чего тебе меня бояться? Знамо, вы наши хозяева... Уйти, я должен уйти, коли ежели не в угоду тебе; а только что я, кажись, ничего не сгрубил против тебя...

— Пошел вон... Пошел... сейчас, чтобы духу твоего не было. Я вам покажу!...

— Уйти недолго, Иван Терентьич, уйти я уйду, только чтобы после чего не вышло... Кто же сторожить-то будет?

— Не твое дело... Я сам... сам буду... сторожить.

Иван присел на крыльцо, к которому хмель подтолкнул его, присел и опустил голову; шапка свалилась с него.

— Ну, коли сам хочешь сторожить, на что лучше... Сам хозяин... Ну, так запирай, я пойду... И я радехонек, пойду, завалюсь к жене под бочок...

— Погоди!... К жене... К какой жене?...

— Известно к какой, к своей законной, не к чужой же идти...

— А, твоя Оленка...

Иван Терентьич хотел что-то сказать, но остановился.

— Что, моя Оленка первый сорт баба... Таких баб немного... И ростом, и дородством, и на речах, всем взяла,— говорил Капитон.— Ну, так прощения просим, я коли-ин пойду домой...

— Постой, Капитоха... Постой... Ты... Ты чего же?... Я ведь так только... Ничего... Сторожи знай, ничего... Вишь ты, я ведь во хмелю... Стой-ка, поди сядь вот, сядь, посиди... Поговорим...

— Вот... То со света сжить хотел, то поговори с ним.

— Слышь, отстань... Так я, обидно!... А ты слушай, Капитоха... А ты разе любишь Оленку?..

— Само собой, как же не любить свою собственную, законную... да еще экую бабу... Никак невозможно...

— Да, брат Капитоха, никак невозможно... потому... твоя Олена — а-ах... Кабы, кажется, мне этакую жену... не отошел бы!...

— Чтой-то... Да твоя Матрена Карповна много лучше...

— Моя-то лучше... Алены-то?... Не хошь ли, давай поменяемся...

Капитон засмеялся.

— Да нечто женами можно меняться? Кабы можно было, я бы, пожалуй, поменялся... Не отдашь ведь сам...

— Я-то?... Сколько угодно... Капитошка, слушай... Хошь другом быть?... Сказывай, могу я тебя облагодетельствовать, али нет?— Сказывай...

— Это ваше дело, Иван Терентьич, захошь, так и облагодетельствуешь, ваше дело хозяйское...

Капитон услышал за дверями парадного крыльца тихий шорох и догадался, что Степанида подслушивает их разговор.

— А я желаю,— продолжал Иван,— потому... ах!... Матрена!... Что мне Матрена?... Пущай, я позволяю!... У меня сказано: пущай... Но ежели только теперича не будет денег... Ну, шабаш!... Потому я что такое?... А я желаю быть хозяином, потому... мне самому за тридцать... мне надоело из рук смотреть... Матрена что мне... наплевать!... Матрена будет в своем месте, а мне чтобы капитал...

— Да на что тебе капитал-то теперь, Иван Терентьич?.. Ты один у тятеньки, умрет, все твое будет.

— А я теперь желаю... Что я все так-то буду?... Нет, шалишь... А Стешка выманит!... Разве не выманит, что-ли?.. Вон ключ-то от горницы ей оставили, а не мне... Ей верит... Ну, постой же, погоди!... Вот сказал: в город поедете, мне чтобы непременно тысячу, а она только пятьдесят вынесла... Так разве бы я пустил?... Не пустил бы... только что... эх, одно дело...

— Так куда тебе больше?— В три-то дня не пропьешь и пятидесяти...

— Эх, сказал бы я тебе... Слушай, Капитоха, побожись...

— Чему побожись?...

— Побожись... Пойдем заодно,— облагодетельствую!.. А станешь напротив, со света сживу... Хошь?

— Да в чем?...

— Чтобы все заодно... Чтобы ни в чем: что я, то и ты...

— Да ну, ладно, побожиться недолго... Что мне супротив тебя идти? Мне гораздо же превосходнее заодно, по-крайности, я от тебя добро видел, а от старика я ничего не видал.

— Ну, вот, ну, ладно... Желаю я тебя облагодетельствовать, тысячу подарю... только чтобы уж...

— Спасибо, да где возьмешь-то?...

— Я тебе сказываю, что ежели... он обманет, денег не даст... Ну!... Погоди до макарьевской... коли меня пошлет... Нынче получка большая будет,— своя рука владыка... А сам поедет получать, меня дома оставит, ну, другое будет...

— Что же другое?...

— У нас будут деньги, молчи только... Он мне из-за Матрены ничего не поделает... Я сам выведу, как ежели что... А уж деньги будут...

— Полно-ка, полно, Иван Терентьич, мелешь ты

спьяна-то, ровно как и сам не ведаешь что... Шел бы лучше спать... Пойдем-ка, отведу на сено, в сарай...

Капитон взял под руку и стал приподнимать Ивана Терентьича.

— Нет, друг, я не спьяна, я с горя,— говорил Иван, идя возле Капитона и наваливаясь на него всею тяжестью тела.

— С какого горя? — Никакого горя у тебя нет.

— У меня-то?...

— А ты иди, иди... Ну, там ляжешь, а я возле тебя посижу, и поговорим.

— Нет, брат, у меня горей много... а пуще всего одно... Да только сказать нельзя...

— Коли хошь по-дружески, так уж все говори... Ну, ложись... Об чем горе-то, об Матрене, что ли?

— Что мне Матрена,— бормотал Иван, ворочаясь на сене.— Возьми ты ее даром, коли люба.. Капитоша, друг, побожился ты мне... Сказано,— заодно!. Возьми Матрену... Тысячу рублей дам!... Сгубила меня, совсем высушила твоя Алена... Вот как,— погоди только, две дам... Ты меня не бей, Капитоша, друг... Что же, я по чести!... Возьми, я говорю, тысячу... Она говорит: отдай, говорит, мужу... попытай!.. Вот она у тебя какая... Я думал на смех, осердился даве... Я тебе по дружбе, Капитоша... что же?... Теперь нет, а уж будут... Сундук вскрою, а достану... Капитоша, ты побожился... Что? Не ругаешься?... А я ходить к ней буду, ты подожди, я отдам... Старуху привела, сидит... тронуться не дала... Вот она как разжигает... Капитоша, не прибьешь?... А?...

— Да ну, ну, ладно... спи... За деньги кто же бьет...

— Я, брат, отдам, верь слову, отдам... А я спать не желаю... Горько мне... вот как, до слез!... Что я живу?... Что она меня тиранит?... Змея она, а я всем сердцем... Ты ей молви, я без обмана... Глазища-то у нее... Ай, батюшки, тошнехонько!...

Иван Терентьич заплакал, хотел подняться на ноги, но не мог и в горьких слезах уснул, говоря что-то такое, чего уж и понять было нельзя,

Капитон вышел из сарая, затворил и припер за собою дверь. На лице его играла насмешливая, торжествующая улыбка.

— «Так или этак, а, видно, тут мой талан, и от рук не уйдет»,— думал он, идя по двору к дому.

На крыльце поджидала его Степанида. Он увидел ее и подошел.

— Что, уснул?— спросила она.

— Уснул.

— А проснется?

— Вдруг не выйдет: я заложил ворота-то, стучаться будет... Услышим... Да где проснуться...

— Скоро светать будет, войди пока на часок.

Они оба опять вошли в отцовскую комнату.

— Он обокрасть, знать, тятеньку-то собирается... Я слушала.

— Коли слушала, так и говорить нечего, а я хотел было тебе рассказать.

— Надо ведь тятеньке-то сказать.

— Как же ты скажешь? Где слышала, как?... Пожалуй, разбор пойдет... А ты лучше бы о себе-то одумала; останешься без гроша...

— А что же мне делать-то?

— А ты вот что, Стеша, ты уж молчи теперь, дай я посмотрю да одумаю, что будет делать надо, тогда и столкуемся... Благо проболтался, так уж теперь из-под моих глаз не уйдет. Слышала, мне тысячу, а уж после и две обещал...

— Слышала, да за что же?— Не разобрала я...

Капитон усмехнулся.

— За жену, жену у меня торгует; полюбилась очень.

— Твоя жена?

— Ну да, а то чья же...

Глаза Степаниды засверкали.

— Что же ты?

— Что?...

— Что сказал-то ему?...

— Да что же пьяному отвечать, разве он помнится.

— А если трезвый будет да опять заговорит...

— О чем?

— Да об этом... Об жене твоей...

Степанида с усилием выговорила эти слова.

— Ну, так что же?...

— Ты согласишься? — задыхаясь, шёпотом спросила Степанида и опустила глаза перед открытым пытливым взглядом Капитона.

— Да что я, христопродавец, что ли, чтобы женой

торговать,— отвечал Капитон с достоинством.— Она, чай, у меня законная, самому нужна...

Степанида изменилась в лице.

— Так ты ее любишь, жалеешь?

— Так неужто нет?... Чай, закон...

— А я-то что же?

— Разве это одна стать, Степанида Терентьевна? Жена завсегда при мне, с ней век вековать, а ты вот сегодня любишь, а завтра вон выгонишь. К кому я пойду тогда? К жене же...

— Нет, нет,— порывисто вскрикнула Степанида, обнимая Капитона,— не отстать мне от тебя, не разлюбить тебя... Душой я за тебя заложилась. Только, батюшка ты мой, не покидай ты меня, не меняй ни на кого... Я остудная девка, запропащая, я от бога отступилась, от всего отступлюсь, коли ты одну меня любить будешь... Только непереносно моему сердцу, как вздумаю я, что ты еще кого другого любишь, опричь меня... Не люби ты никого, батюшка, сердечный мой...

— Так ведь то жена, Степанида Терентьевна, не кто иная... Как же быть-то... Рассуди-ка ты...

— Так ты это от меня да к ней?.. Со мной ночь, а с ней десять!... Ой, нет моей силушки, изведусь я совсем!... Хоть бы уйти, убежать, что ли, куда с тобой, чтобы люди нас не знали, не ведали, чтобы мне одной только на тебя смотреть, чтобы не было промеж нас разлучницы...

— Да! Уйти, убежать,— легко сказать!... Известно, по сердцу-то бы, пожалуй, и я убег бы с тобой, и жену бы покинул, не пожалел бы, да чем бы жить-то стали?... Далеко уехать да чтобы люди не нашли, на то денег много нужно, не пятьсот рублей...

— Так неужто ты, золото мое, голубь мой, сердечный ты мой, так неужто ты убег бы со мной и кинул бы все, кабы можно было?... Неужто так бы и стал только с одной со мной жить?... Разве любишь ты меня, жалеешь и вправду?...

— Да что же я, из-за чего же и взаправду я сошелся с тобой? Из-за корысти, что ли? Так этак-то бы мне складнее около Матрены Карповны походить, али вон жену продать...

Степанида опять бросилась к Капитону с неистовыми ласками, но он остановил ее.

— Вона, светает, того смотри, Анфиса встанет... А мне

на двор идти пора. А ты вот что лучше, побывай, поговори с дьяконом, сколько твоих денег у тятеньки, а тут подумаем, как их у него достать... А коли достанем, так с денежками-то нам куда хочешь, дорога широкая. Заедем туда, где нас век не найдут... Прощай-ка пока, Стеша... Пора...

— Батюшка, голубчик мой, о чем я тебя попрошу: не ходи ты сегодня домой, отдыхай здесь, спи у нас, чтобы я на тебя насмотрелась, чтобы я нагляделась да надумалась. Ровно ты мой совсем, ровно никого у тебя, окромя меня... Ты бы спал, а я бы ходила мимо да посматривала... Не ходи, родной ты мой, потешь ты меня...

— Пожалуй, да ведь что же, легче ли тебе будет-то? Я не пойду,— жена придет сюда... Ведь не выгнать же ее, к мужу придет... Разве легче тебе будет, как с ней у тебя на глазах буду сидеть...

— Ох, тошнехонько мне, ох, тошнехонько, и то не легче... Нет, нету, не надо, видеть я ее не смогу, все сердечушко переболит у меня...

— То-то и есть, а я лучше на одну минутку сбегаю, и люди увидят, что жену пошел проведать; да не засижусь, не бойся. Порасспрошу только про Ивана...

Капитон вырвался из объятий Степаниды Терентьевны, вышел на двор и начал очень усердно колотить в доску. Под этот стук проснулась Анфиса и, взглянувши в окно, подумала: «Вот так сторож этот, не как Сережка. Тот с полуночи спит, а этот, подика-сь по коих пор все стучит...» Днем Капитон сбегал домой и узнал от Алены, что накануне вечером пришел к ней Иван Терентьич под хмельком, принес сластей и полштофа сладкой водки, которую один всю и выпил. Алена сласти ела, а водки не отведывала, как он ни упрашивал. Очень был Иван недоволен, что застал у Алены бабушку Маремьяну.

«А я-то,— рассказывала она,— ровно не примечаю да так с ним повадно, да ласково, да глазами-то его задорю, а самой смешно, смешно! Вот так уж весело было!...» Но баушка задремала, а Иван сильно охмелел и начал опять приставать и деньги уж прямо предлагал за любовь. Алена сначала дурила, прикидывалась, как будто колеблется, и довела Ивана почти до исступления...

— Да ты сколько же дашь мне?— спросила она его наконец.

— А сколько хочешь?

— Тысячу.

— И тысячу дам.

— Ну, так вот что,— сказала Алена,— ты поди домой,— там у вас Капитон сторожит, ты ему и отдай деньги и скажи, за что даешь. Коли он возьмет да придет сказать, что получил, ну, тогда и я подумаю.

Иван полез было целоваться силой, но сильная Алена, даже без помощи баушки, вытолкала Ивана на крыльцо и заперла у него под носом двери, а потом высунулась к нему в окно и опять повторила то же насчет денег.

Иван озлился, выругался и постращал, что сгонит Капитона с фабрики. Капитон был очень доволен и, уходя из дома, сказал жене:

— Опять сегодня придет, опять так же мушкарь его... Погоди, Аленка, будет и на нашей улице праздник, потерпи только. Может, и я не без талана... А коли больно по мысли тот, так, пожалуй...

— Отстань-ка ты!.. Ровно сало прогорклое... отрыгается,— сдумать-то!...

Капитон весело засмеялся.

XIII

После поездки в город, на ярмарку, в семье Терентия Савельича видимо происходило что-то неладное: никто не говорил друг с другом, никто не смотрел другому прямо в глаза; казалось, что каждый член семьи не доверял, опасался и подозрительно присматривал за всеми остальными. Терентий Савельич как будто потерял всякую власть и обаяние главы семьи: он держал себя крайне неровно, то становился тих и ласков, даже как будто заискивал, то вдруг делался без причины и не в меру раздражителен, придирчив, ругался и шумел на весь дом; человек вообще трезвый, он начал пить и нередко напивался допьяна.

Приехал Терентий Савельич из города веселый и благодушный, а Матрена Карповна совсем счастливая, потому что накупила себе разных нарядов и даже новую шляпку, с пером и целым огородом цветов. Забывая о своих не совсем дружелюбных отношениях к Степаниде, она, как только увидала ее, начала рассказывать о своих покупках и показывать их. Степанида молчала и злобно

слушала невестку и смотрела на ее покупки. Она не понимала, что Матрена в эту минуту действовала без всякой задней мысли, не хотела ни подразнить, ни обидеть ее, и поддавалась только непреодолимой в иных женщинах страсти к нарядам и разговорам о них; но Степанида видела в этом особое и ехидство, и бесстыдство со стороны Матрены. В голове ее мелькала мысль, что этими нарядами Матрена надеется скорее соблазнить Капитона, что перед ней женщина, которая не только разрушила ее спокойствие в семейной жизни, но готова отнять и новое ее сокровище: ее любовь, первую и, вероятно, последнюю, греховную, сокрушающую ее совесть, непрочную, может быть, мимолетную и тем более дорогую. Чем больше тараторила Матрена, тем сильнее закипала в Степаниде злоба и ненависть против нее, но пока Степанида сдерживалась еще и молчала.

В это время Терентий Савельич, желавший приласкать всех домашних и купивший гостинцев не только для дочери, но даже для Анфисы, подошел к Степаниде со свертком в руке.

— А это вот тебе, Степанида,— говорил он, подавая сверток.— На-ка... Ты не думай, мы и о тебе не забыли, а выбирала-то Матрена. Глянь-ка, какую знатную материю подобрала для тебя... Темненькая, по годам по твоим, а в узор... Знатно!... Погляди-ка.

Степаниду ужасно укололи слова и самый подарок отца. Она побледнела, задрожала и не брала подарка.

— Что же ты не берешь?.. Уж я знаю, что по мысли будет... Как бегала, хлопотала, все выбирала для тебя... На-ка вот, бери...

— Напрасно, тятенька, куда уж мне... Не по годам рядиться...

Лицо Степаниды искривилось.

— Уж отдай и это ей,— продолжала она, отодвигая сверток в сторону Матрены,— по крайности, уж одно к одному, все ей!...

— Да то ей, а то для тебя собственно,— говорил Терентий Савельич, хмурясь и нерешительно взглядывая на дочь.

— Да ко мне это и не пойдет, с какой стати?— вмешалась Матрена спроста.— Я для себя поцветнее выбирала, помоложе, а это ровно по тебе, куда хочешь... темненькое!... Посмотри-ка...

И Матрена начала развертывать материю.

— Ну, так спрячь, коли молода носить такое, побереги, как состареешься... Ты запаслива, а ведь не век же молода будешь, когда-нибудь состареешься и ты... А я не возьму, мне не надо!...

— Почему так?— мрачно спросил Терентий Савельич.

— Да и что же ты гордыбачишь,— подхватила Матрена,— ведь это не от меня, это тебе от тятеньки гостинец, я только выбирала... Правда, что не стоило бы хлопотать-то... А себе я сама накупила, на свои...

— То-то ты без всего пришла, да вдруг больно богата стала, а у меня и от своего капитала да ничего нет...

Проговоривши эти слова, Степанида быстро повернулась и, не взглянувши на отца, вышла вон из кухни, где происходил этот разговор.

Терентий Савельич стоял несколько секунд молча, насупившись и сжав кулаки.

Он не поднимал глаз и ничего не отвечал на бранную трескотню Матрены, которою она разразилась вслед Степаниде.

— Прибери,— сказал он, наконец, Матрене, указывая на непринятый подарок.

— Вот еще, стану я прибирать... Больно много воли дал!... Поучил бы хорошенько, так лучше было бы, а то с ней лаской, а она...

— Отстань,— проговорил Терентий Савельич.

— Чего отстань... Не стану я прибирать за ней, наплевала бы я... Пускай валяется!

Терентий Савельич молча свернул опять материю и взял ее к себе под руку.

— А это вот тебе,— сказал он, кидая через стол на лавку, в сторону Анфисы, другой сверток.

— Чего?— переспросила та сердито, не понявши, чего от нее требуют.

— Тебе вон гостинец от меня,— сказал Терентий, кивая головой на брошенный сверток и намереваясь уйти.

Анфиса не привыкла к такому вниманию. Она знала, что должна в свое время получать ситцу на сарафаны и миткалю на рубашки, но это должно быть не теперь, и вдруг гостинец ей.

— С чего это?— только и нашлась она сказать, с не-

доумением глядя то на брата, то на сверток.— Почто мне-то?...

— Дура,— промычал Терентий и вышел, хлопнув дверью.

Анфиса, однако, взяла с лавки сверток, развернула,— оказался платок. Она рассматривала его и качала головой.

Матрена, собиравшая и увязывавшая свои покупки, наблюдала за нею.

— Что, али и тебя подучила, али и ты не возьмешь?— спросила она.

— Чего меня учить-то?... Меня учить нечего,— огрызнулась Анфиса, встряхивая и бережно складывая платок.— А чего николи, ни в жизнь не бывало так, как тут... Поневоле скажешь...

И Анфиса опять качала головой, рассматривая сложенный уже платок.

— Поди, чай, рубля два стоит...

— Два с четвертью... Разве нехорош?

— Чего худого... этакой платок!.. Худ ли платок... Гм... Чего николи не бывало...

— Мало ли чего у вас не бывало... Жили мужики мужиками от этаких капиталов, а я вот по-другому поведу.

— Тебе как не повести, ты поведешь!... Не жили без тебя тоже... Хуже было, да... Вишь, девка, порядки тоже завела хорошие... Нечего сказать, хороши!— шептала про себя Анфиса, пряча платок в коробку, стоявшую под лавкой.

В это время вошел Иван Терентьич. Матрена поторопилась рассказать ему о выходке Степаниды, разумеется, с прикрасами.

— По шее бы ее из дому, самое лучшее,— кратко выразился он, выслушав жену.

— Это кого? Степаниду-то, что ли,— вмешалась Анфиса.

— Да, да и тебя с ней,— отвечал Иван Терентьич.— Свет бы был без вас в доме.

— Нет, вот как бы старик-от прежний был, так тебя бы след ему отдуть на обе корки, а не ежели нас со Степанидой гнать,— возразила Анфиса.— Вот сказать бы отцу-то, как зенки-то без него наливал... Еже-день, еже-день...

— Чего?— прикрикнул Иван Терентьич и тотчас же

по невольному побуждению оглянулся, нет ли в кухне отца, не услышал бы он.

— Ничего, проехали,— сказала Анфиса и начала свою обычную несвязную воркотню.

— То-то проехали!.. Ты свое дело знай, а не мое... Тебя кормят да поят, так ты это чувствуй, не в свое дело не суйся... Зенки наливал... Ну, так что?.. Ну, наливал. Не на твои ли?... Я знаю вас, вы бы рады со Степанидой-то нас всех со свету сжить, да нет еще, погоди; еще тятенька-то нас больше послушает... А будешь много разговаривать, не думай, духу твоего не будет здесь... Вот что...

Матрена хотела было показывать мужу свои покупки, но он отказался и помог ей снести их в свою комнату.

— Ну, что? — спросил он шёпотом, когда они были там вдвоем.

— Что?

— Много ли дал?

— А вот что на покупки только извела... только и дал.

— Отстань врать...

— Чего врать...

— Смотри ты у меня.

— Чего смотри?

— А вот чего...

Иван Терентьич показал кулак, свирепо глядя на жену.

— Так что ты меня убить, что ли, хочешь,— почти закричала Матрена, с умыслом возвышая голос.

— Тс... не ори, еще не бьют,— продолжал Иван Терентьич шёпотом.— Ты не думай, я не больно посмотрю, не прежнее время... А коли ежели тебя муж отпускает с тем,— денег достать, так ты что же это?... Из-за тряпок-то я, что ли? А?... Ты как это думаешь?...

— Да коли не дает, так что же мне? Подписать, говорит, подпишу под тебя, а денег в руки не дам. Ванька, говорит, сопьется... А ты и то вон,— что Анфиса-то говорит...

— Оттого и пью, и пить буду... и бить тебя стану... оттого, что ни воли, ни денег нет. Что я за человек на свете?...

— Да мне-то что же делать... и сам-деле?...

Матрена начала хныкать.

— Молчать, говорят, пока цела... Когда же хотел подписать-то? Много ли?

— Умру, все, говорит, тогда его будет, а тебе, говорит, да Степаниде подпишу, чтобы у вас свой капитал был... тысячи по две...

— А так, на руки, ничего и не дал?... Правду говори... дьявол!...

— Да что ты... Вправду закричу... Что ты буркалы-то пялишь, индо страсть... Сейчас зареву, так рявкну на весь дом!

— Сколько же дал? Скажи же...

— Да я ведь тебе дала пятьдесят, ну, и у меня пятьдесят было, вот только и все...

— Врешь, спрятала. Ведь обыщу всю...

— Да обыскивай, коли, ей-богу, нет... Батюшки, смерть моя, чтой-то это... Обещал тысячу, а дал сто... Коли, говорит, опять нужда будет, попроси,— опять дам... Считай, говорит, все равно, что у себя... А всех, говорит, не отдам, потому он у тебя отымет... Ведь я и эти-то потихоньку тебе дала: он не велел, с тем и давал. Ему, говорит, зачем? Ему не нужно, все равно только пропьет...

— Ну, ладно же, помни это... А только ежели ты мне денег еще не достанешь, у нас с тобой другой разговор будет... Помни! Это чтобы он тебе только сто рублей подарил, ни за что не поверю. Что ты, солдатка, что ли какая?...

— Да что ты и сам-деле, что ты обо мне полагаешь?..

— Ничего я не полагаю и думать не хочу, а коли ежели такое тятенькино расположение, так ты там как хочешь, а чтобы мне тысяча была... Слышала ты это от меня, говорил я тебе, приказывал?...

— Что же, сам ты говорил, тятеньке всячески угождай,— я и старалась, с твоих же слов... А коли не дает денег, так что же мне делать? Погоди, говорит, все ваши будут.

— Давно уж я это слышу, много доволен, надоело уж мне... А коли-ежели он этого не чувствует, я таких делов наделаю, что он сам у меня спокается... А насчет фабрики что говорил?

— А вот, говорит, на макарьевскую съезжу, получку сам получу, а тут, говорит, и фабрику ему сдам.

— Без денег-то?

— Денег-то, говорит, вам отдай, так вы меня, ста-

рика, из дому выгоните, со свету сживете!... Нет, чу, денег не дам, а пущай хозяйствует, старается, на оборот сколько нужно отпускать стану, и барыши его, а денег из рук не выпущу. Покуль деньги у меня в руках, только и почтения от вас видеть... Вон он что говорит.

— А ты что же ему?...

— А я что же?... Я, известно,— тятенька, я говорю, мы на тебя в надежде, что ты нас не оставишь...

— Только и всего?...

— А что же?... Сам говорил: как можно тятеньке подражай... всячески... я и...

— Дура, черт...

— Ну, так как быть-то... Уж какова есть...

— Да ты мне дурочкой-то не прикидывайся, я тоже тебя знаю... Ты то помни, что ведь тебе со мной жить-то, не с кем...

— Так а я-то что же?... Я то и потрафляю... Вот и фабрику тебе сдаст, хозяином будешь, а через кого? Все через меня...

— Так нет у тебя денег?

— Да нету, нет... Глазам лопнуть, нет!...

— Ну, так вот что: ты все эти деньги, кои обещал, вытребуй от него... И слышать ничего не хочу, чтобы безо всякого!... А будет спрашивать, на что? Скажи: что же, мол, за подарки такие, что дал да назад взял, пущай, дескать, деньги мои, так у меня лежат... А станет говорить, муж отнимет... Скажи: я, дескать, ему не покажу, и знать он про то не будет... Слышишь?...

— Ну, а не отдаст?...

— А ты ему все супротив, все супротив, покуль отдаст...

— А, ну, коли он осерчает, да сам на здор пойдет... И завод-то тебе не сдаст?...

— Ну, там видно будет, еще посчитаемся. Ты помни, что я тебе сказал-то, а там увидим.

Иван Терентьич вышел, а Матрена несколько мгновений прислушалась, потом, оставшись одна, заперла дверь на крюк, перекрестилась, сняла платье и дрожащими руками начала вырывать подкладку под лифом. Она вынула из-под этой подкладки сверток и, вздрогнувши всем телом, оглядываясь назад и прислушиваясь, полуразвернула его: там были серии и ассигнации. Полюбовавшись на них, Матрена опять торопливо завернула

красную чайную бумагу, в которой они лежали, прикрыла ее обеими руками и задумалась· куда же спрятать? В сундуке, в комоде,— опасно, муж может каждую минуту взять ключи, отпереть и найти. Зашить в какое платье? Долго ли до греха, невзначай как тронет, нащупает. На кровати под пуховики запихать? Нет, страшно, вдруг как-нибудь переправлять велит при себе... Матрену и в жар, и в озноб кидало. Тятеньке отдать на сохранение?... Нет, как же это, одумается, пожалуй, и не отдаст опять-то, присвоит... Под пол разве опустить, в щель? А после-то как же достанешь... Вот куда, вот, вдруг с радостью надумала Матрена, в салоп зашью, за подкладку; время летнее, салоп висит да висит; сушить когда перебивать, — сама стану, никому не дам... А там видно будет.

Матрена тотчас же приступила к этой работе, так как салоп висел тут же в ее комнате.

Пока все это происходило в доме Терентия Савельича, на дворе шел разговор между Сережкой и Капитоном, который явился помогать ему убирать лошадей.

— Ну, что же, как они, Серега?— спрашивал Капитон.

— Да что, парень, нагляделся я, поморушка... Обрядятся это, да по ярмарке-то и ходят, и ходят... из лавки в лавку, из лавки в лавку... Смерть!... А то возьмут да на извозчике: и туда, и сюда... Да все-то вместе, все-то парой... В комедию, говорит, свози,— он сейчас и в комедию... Вот, брат, сейчас умереть... Смех!.., А чаю этого лопали, бесперечь, бесперечь... И сейчас — конфетов... Вот тюрик купит, страсть!.. И мне давали. На, говорит, поешь,— не едал, чай... А тут сейчас наливок сладких, заедок всяких,— и спать... Вот, брат, я тебе говорю, страсть!... Уж нагляделся я... Деньжищ этих он что извел, так, кажется... и неведомо сколько!.., Ну, и меня ничего, и сама, и он, и поднесут, и поднесут... это все как следует, не могу сказать... Что же, мне что?... Прямо сказать, мне наплевать, ихнее дело..; А только что ничего, и мне хорошо было...

— Ну, а насчет разговора-то ихнего, подслушал? Что они промеж собой-то, насчет денег не было ли чего?...

— Мало ли чего было, всего не расскажешь, а уж только вот что: денег он ей дал, это верно... Много ли, мало ли, а подарил, потому и к дому подъезжали, слы-

шал, разговаривали: смотри же, говорит старый-то, где у тебя? Не увидел бы, а то отнимет... Далеко, говорит, не увидит, небось... Смотри же, говорит, не сказывай ему ни под каким видом... Не скажу, говорит, ни в жизнь... А то, говорит, дай лучше я спрячу,— целей будет, твое же останется, не возьму... Ничего, говорит, и у меня, далеко больно доставать!... Ну, стало быть, об деньгах, денег дал...

Капитон нашел возможность видеться со Степанидой и все это передал ей; а Матрена жаловалась Терентию Савельичу на мужа, который, по ее словам, ровно кто ему дохнул про деньги, все приставал к ней, выпытывал и стращал, и бить собирался, и тиранить ее обещал, коли она ему у отца денег не выпросит, а про эти она заперлась,— хоть режь ее, не сказала бы.

— Отступился бы ты от него, тятенька, для меня, сдал бы хоть поскорее завод-то ему, пускай бы уж хозяйствовал, как знал,— заключила она.

— Терентий Савельич ничего не ответил, но как-то мрачно посмотрел на Матрену, ушел от нее, опустя голову, и напился пьян.

С тех пор и пошла уже очевидная разладица в семье Терентия Савельича.

XIV

В один из ближайших праздников Степанида из церкви, от обедни, зашла к дьякону. У него был небольшой домик в три окна, состоявший из большой избы и холодной горницы через сени. Дьякон был вдовец и имел огромное семейство; жил тесно, бедно и скупо, в постоянной нужде и заботе о прокормлении, одежде и обучении своих ребятишек; но не упал духом, не спился, не сделался мизантропом, напротив, сохранил веру в людей, любил дать благой совет, поделиться своею опытностью, был наклонен к восторженности и умилению.

Степаниду Терентьевну он очень любил и уважал за ее усердие к церкви, за ее скромное девство, за ее благоразумие и степенность. Он безусловно верил в ее чистоту, душевную и телесную, и смотрел на нее как на подвижницу, особенно когда она делала какое-нибудь приношение в церковь или служителям ее. Он встретил ее

почтительно и радостно и попросил в горницу, объяснив, что там будет попрохладнее, а в избе очень душно от печки, от мух и от ребят. Но и в этой горнице стоял спертый и вонючий воздух, и здесь мухи тучами летали и сидели по стенам и окнам. В горнице стоял простой белый стол, шкап, кровать, на которой кучею навалены были подушки в ситцевых наволочках, разное тряпье и рвань.

— Милости прошу, милости прошу, дорогая гостья... Сейчас самоварчик, сейчас.

И, усадивши гостью, дьякон рванулся вон, чтобы распорядиться насчет самовара.

— Не беспокойся, отец дьякон,— остановила было его Степанида, но дьякон даже обиделся...

— Как это возможно... возможно ли это?... Имею, имею, и сам о праздниках, после литургии, всегда за обычай — вкушаю, а тем паче гостья такая для меня....

— Да ведь я поговорить с тобой, отец дьякон, побеседовать...

— Рад, рад, рад, но тем наипаче... Сейчас, сейчас, распоряжение отдам и поговорим, побеседуем...

Он отворил уже дверь и наклонился, чтобы выйти, но остановился и проговорил:

— А за чашкой чаю что же может быть того приятнее... Я полагаю уже и готов.

Он вышел и через минуту принес сам кипящий уже самовар, а из шкапа вынул чайник, две чашки с разными блюдечками, стклянку с чаем и белую фарфоровую сахарницу без крышки с кусками сахара. Заваривши щепотку чая и поставивши чайник на самовар, он подсел к Степаниде.

— Пускай понастоится,— сказал он, намекая на чай. — Ну, что же, как у вас дела? Что тятенька?

— Ничего, — неопределенно отвечала Степанида.

— Слышно, в город ездили?

— Ездили.

— На ярмарку?

— Да.

— С Матреной Карповной?

— С ней.

— Гм... Да, да!.. Ну, что же делать... Тебя неваживали... Да ты бы и сама не поехала... Разве помолиться поехала бы?... И что так вдруг надумал?

— Повеселить Матрену захотел... Ну, и поехал...

— Да, да... Ну, конечно!.. Ну, и что же, съездили и возвратились, все благополучно?

— Ничего.

— Да, а вот в храме божием редко их видно... Ну, не осуждай!... Ты за всех одна умолишь, помолчим. Ну, а как вы-то, — примирились? Ключи-то отдал?

— Ключи опять у меня.

— Я тогда ему говорю: эй, Терентий, примирись... Конечно, отец Андрей гордый человек, завистливый, не допустил тогда меня всего высказать... Но я сказал достаточно... И родительницу твою помянул...

— А ты, отец дьякон, помнишь ее, чай, хорошо?

Степанида поспешила воспользоваться удобным поводом, чтобы остановить разговор на этой теме.

— Марфу-то Васильевну? Маменьку-то твою? Как же мне не помнить? Возьми ты то: венчал — я, при крещении детей — я, хоронил — я... Можно сказать, при мне расцвела, при мне и увяла... Сырой была человек, но добрый, обходительный, только с обличья Иван больше по ней, ты больше по отцу пошла...

— Да вот и родни никакой после маменьки не осталось, и поговорить, и порасспросить не у кого... Сама малолетком после нее осталась.

— Да, да, это огорчительно... Пожалуй-ка, чашечку... Памятовать о родительнице и поминать во блаженном успении надо, надо... душеспасительно!.. Для души полезно! Сказано... Да что тебя учить, сама довольно знаешь насчет писания... Я поминаю за каждой проскомидией... неукоснительно... Там как отец Андрей... это его дело, а я поминаю... Да, любвеобильная была женщина, тихая... обходительная!.. А тучная была покойница, сырая... Ведь и Иван Терентьич тоже сырой человек...

— А как она, отец дьякон, из бедненьких она была взята, или из зажиточных?

— Как можно, как можно... Из хорошего семейства была... Ведь, тятенька твой, как тебе сказать, ловкий он смолоду был, а капиталов у него не было... Он в роде как приказчик, или чище тебе сказать: товаришко от них забирал да вот по базарам, по ярмаркам и перебивал; красным товаром тятенька-то родительницы твоей, дедушка выходит твой, красным товаром они занимались, вот эти коробочники, а то и на возах: там ситцы, платки, драпы разные по деревням развозили... Дедушка-то умер,

Марфа Васильевна сиротой осталась, уж немолодая тоже была, а маменька ее женщина слабая, больная; вот тятенька твой тут и счастье свое нашел... Он еще тогда крепостной был, на маменькин капитал и от господ выкупился, не одну, сказывают, тысячу заплатил... А тут вот эта бумажина в ход большой пошла. Он все это дело, красный товар, прикончил, да завод и завел, здесь, значит, у себя на родине... Точей стал заниматься... Вот и пошел в гору, бог благословил начинание...

— Значит, он на маменькин капитал фабрику-то начал?..

— Всенепременно... Там были у него, может, и свои какие-нибудь... тоже около порядочного дела был, через руки тоже не мало переходило... А все-таки без маменькиных денег где бы ему такое дело осилить; пущай хоть не с большого начал, не как теперь, а все же и заведение завел, и все такое... Еще чашечку, Степанида Терентьевна.

— Нет уж, благодарю покорно... Пора и домой...

— Побеседуй, посиди... В кои-то веки пожаловала... Ну, еще чашечку, одну, больше утруждать не стану... Вот пожалуй-ка... Да, как же, как же, капитал немалый, надо полагать, был у маменьки твоей... Ведь вот наслышка была, она тебе перед смертью отказывала не одну тысячу... Да и я помню, была эта разговорка, сказывали: смотри, говорит, Терентий Савельич, Стеше в приданое береги из моих денег, две ли, три ли тысячи сказывали, — вот не помню... Ну, да тогда тоже думали, что дочь одна, человек в силу пошел, он не этакое ей приданое выдаст... А ты вот у нас и совсем в отроковицах осталась, во христовы невесты себя обрекла... Что ж, не хуже, не хуже, Степанида Терентьевна... Трудно оно, отяготительно, зато богу угодно!.. Венец себе приуготовляешь... нетленный!

Степанида не знала, куда девать глаза, и торопливо, вся красная, допивала чай с блюдечка. Она чувствовала и стыд, и ужас, и какую-то мучительную тоску; слезы застилали ей глаза. Если бы в эту минуту перед нею сидел не дьякон, а духовный отец ее, она тут же покаялась бы в грехе своем; но перед дьяконом не приносят покаяния, и потому она собирала всю силу воли, чтобы скрыть то, что происходило в душе ее. Однако дьякон заметил ее волнение, навернувшиеся слезы, но объяснил все это посвоему.

— Да, знаю и понимаю, Степанида Терентьевна, сколь это тебе прискорбно и обидно... Терпишь, несешь свой крест безропотно, а тебя же и притесняют, и оскорбляют. И кто же? самые наиблизкие, присные!.. Что делать, что делать!.. Не сокрушайся, терпи, не зде мзда твоя!... Известно, кабы маменька твоя жива была, не то бы было... А что, али опять что не в перенос? Расскажи, поговорим, посоветуем сообща.

— Да нет, отец дьякон, особливого ничего нет... Все то же... Правда, что оттирает меня от тятеньки Матрена, всячески оттирает. И противно душе моей смотреть на все это... Кажется, кабы тятенька наградил меня по милости своей сколько ему угодно, ушла бы я от них из дому, построила бы келейку где возле церкви да и жила бы для бога, в тишине и в спокое, либо по святым бы местам пошла странствовать...

— Зачем же от своей церкви далеко уходить?.. А ты к нам, на монастыре бы и место тебе отвели, живи да спасайся... Разве что отец Андрей, а то я и причетники с радостью бы тебе местечко уступили,— живи с богом!.. А нет, я у себя на огороде с душевным удовольствием местечко дам, тебе немного нужно, пожалуй бы,— стройся, ребятишек бы моих не оставила, вось...

— Да нет, ведь, отец дьякон, не отпустит тятенька; я, ведь, это так только к разговору.

— Разве мне побывать, поговорить с ним, посовестить, может быть и уговорю, и наградит, и отпустит; а я то бы рад: настоящая бы у нас ктиторша при храме поселилась... Я, пожалуй, побываю...

— Нет уж, отец дьякон, ты не беспокойся, это тятеньку только хуже растревожит... Я вот посмотрю, да подумаю, сама, может, как не подойду ли? А уж тогда разве, после меня, коли увижу, так опять приду, попрошу тебя...

— Что же, что же!.. Я с моим благожеланием, когда время приспеет, только скажи — побываю и поговорю с ним.

— Ну, а теперь прощай, пока, отец дьякон, засиделась я у тебя... На утешительном слове благодарю,— Степанида встала.

— А ты не сокрушайся... а искуси себя, и коли очень тебе прискорбно будет, не в перенос, то этой благой мысли не покидай,— проси награждения и ко мне, в огород, коли отцы на монастыре места не дадут... Да нет, быть

того не может, примут тебя все с радостью, как излюбленную дщерь церкви... Эта благая мысль свыше к тебе низошла. Уж коли от мира отрекаешься, так чего лучше возле церкви основаться... Только ты смотри, в монастырь куда не надумай, не соблазняйся, суетная там жизнь!.. То ли дело возле своей родной церкви, и родительница твоя здесь покоится... Близ праха родительницы искать спасения душевного будешь — на что лучше...

Дьякон продолжал говорить, провожая Степаниду через сени, с лестницы и даже на улице. Степанида испугалась даже того увлечения, с которым он ухватился за мысль ее, высказанную ею без цели и умысла, а только под влиянием минутного впечатления. Расставаясь с дьяконом, она вновь просила его, чтоб он не начинал об ней никакого разговора с отцом, пока она сама не попросит его об этом.

«Нет,— думала Степанида, идя дорогою одна,— нет, теперь уж не то. Хоть бы даже и отпустил тятенька и наградил меня, не жить мне здесь, а куда-нибудь подальше, подальше, чтобы и слуха обо мне не было... Что я теперь, разве прежняя? Прежде-то я всем прямо в глаза смотрела, ни бояться, ни стыдиться мне было нечего, все мне кланялись, уважали меня, иные грешницу, меня, чуть не святой почитали... А теперь какова я стала? Что бы было, кабы узнали все про все, как бы смотреть на меня стали? Не то что кланяться, а на смех бы подняли, пальцами бы показывать стали... Попустил ты, господи, попутать меня лукавому... И из-за чего я греху поддалась, из-за какой радости?.. Стыд да тоска одна, ровно ночь темная кругом, только и солнышко мое всходит, как он придет и сидит со мной, и то пока не вспомню, что он женат, что жена у него есть, что он любит ее. А вспомню и опять ровно из рая в ад, во тьму кромешную... А грех-то? а ответ-то на страшном суде, а муки-то вечные?.. Батюшки мои, что же мне с собой делать?.. Бросить бы его, убежать бы куда, чтобы не ворочаться, не видеть и не слышать о нем... Да куда я от него уйду, коли здесь вот он, перед глазами стоит, кажинный час, минуту каждую... И в сердечушке, и в думушке — все он один!.. Не уйти мне от него, никуда не забежать, нигде от него не спрятаться. И уйду, убегу, замучит он меня тоской, воротит к себе; ворочусь, а он тогда, может, и знаться со мной не захочет, без меня совсем к жене или к Матрене повернется...

Ой, батюшки, святые угодники, умолите вы за меня, грешницу, отступницу, не властна я в себе, только и житья мне, что с ним!.. И не дам я, никому его не дам... Уж все равно пропадать во грехе нераскаянном, уж убежать от людского стыда-срама, схорониться где, так уж не одной, а с ним, отнять его и от жены и от всего бела света!.. Ушла бы я, убежала с ним за тридевять земель, заперла бы его в каменных стенах, одна бы осталась с ним, стала бы сторожить от чужого приворотного глаза, никого бы не припустила к нему, из своих бы рук кормила-поила, ровно нянька за малым ребенком ходила бы за ним!.. Вот бы была жизнь... пускай бы и грешная, душепогибельная, да уж по крайности во всей бы радости, а не как теперь — с мукой, с завистью, что нет часу, минуты спокойной, ровно змея к сердцу присосалася»...

Степанида до такой степени была поглощена своими мыслями, сосредоточена в своих чувствах, что не заметила даже Капитона, который на половине дороги, в перелеске, поджидал ее; она даже вскрикнула от испуга, когда он окликнул ее.

— Ну, что?— спросил он, подходя к ней.

— Ай, испугал ты меня; а, это ты, Капитонушка, батюшка мой, свет ты мой ясный...

Степанида, забывшись, бросилась на шею к Капитону.

— Чтой-то, чтой-то ты, Стеша... Ну, кто вывернется, да увидят, долго ли... Дело дорожное, думаем одни, а вдруг люди...

Капитон отвел от себя руки Степаниды.

— Да, все люди, везде люди. Нет нам с тобой места, и ночью-то ровно воры какие видимся... Али жены боишься?.. А то, может, Матрены?

— Да и жены боюсь, и Матрены боюсь, и всякого человека бояться надо, сама знаешь, потому как застанут нас, так и любви нашей конец.

— А почто конец?.. Я все шла про тебя, про нас обоих думала... Пущай же коли узнают, а мы убежим с тобой, убежим туда, где нас никто не сыщет; будем вдвоем жить,— вот-те и конец..

— Да погоди, это все по ряду будет... Ты скажи перво, что дьякон-то сказал?

— Что он сказал? Ничего доподлинно он не знает, окромя того, что наказывала маменька тятеньке наградить меня... А я вот что надумала, слушай-ка ты меня,

Капитоша: паду я тятеньке к ногам, буду награды просить, что хочу жить одна старочкой, возле церкви божией. Дьякон зовет к себе на монастырь, построюсь там келейкой, деньги на церковь отдам и буду грехи наши замаливать... Ладно ли я надумала, Капитонушка, хорошо ли?

— На что уж лучше... А я-то причем же останусь? Меня, значит, по боку? и любовь твоя, полагать надо, такова долга? Ну, спасибо, что сказала, по крайности знать буду... Меня вот вчера еще Матрена Карповна спрашивала, где грибов больше растет... Счастливо оставаться, Степанида Терентьевна, на ласке вашей покорнейше благодарю.

Капитон сделал движение, как будто хотел уйти прочь. Степанида схватила его за руку.

— Ты это что же такое говоришь?

— То самое, что и вы, Степанида Терентьевна; насильно мил не будешь. Вы от меня хотите в келейку запереться, ну, и я, значит, должен в свое место уходить, значит — неугоден стал...

— Ну, так что же мне делать-то, ну, говори... Не то неугоден, а жить я без тебя не могу, весь свет мой в тебе, только нет мне радости, пока ты на глазах у Матрены, а еще того злее мое горе, как подумаю, что ты с женой живешь... Ну, так сказывай, что мне делать, чтобы я одна у тебя была, чтобы ты никого, окромя меня, не знал, не видел?.. Люблю я тебя, желанный мой, без ума, без разума, без стыда, без совести, страшного греха непокаянного не боюсь из-за тебя, только бы ты одну меня знал, никто бы другой не владал тобой... Ну, учи же... приказывай... все сделаю!...

— Все сделаешь, Степанида Терентьевна? Говори крепко, без обмана и без оглядки.

— Да на убойство разве только рука не поднимется, коли просить будешь, а то мало разве чего не сделаю для тебя...

— На убойство, боже сохрани и слов этаких говорить, не то, что думать... А вот мой тебе совет: проси у тятеньки, чтобы наградил тебя и отпустил на все четыре стороны, по богомольям ли там, скажешь, ходить, али в монастырь какой дальний, али просто особняком чтобы жить тебе... Вот, коли отпустит да наградит хорошо, сейчас мы с тобой вниз по матушке по Волге... Такие

есть места укромные, что никто нас не разыщет, не разведает... Ну, а не наградит, тогда другое придумаем... Не уйти же в самом-деле с пустыми руками, чтобы с голоду помирать, не покинуть же все свое Ивану да Матрене... Вот мой совет, а там как хочешь...

— Так и сделаю.

— Верно?

— А ты будешь ли любить-то меня?

— Небось, жены не возьму с собой, да и Матрена здесь останется. Эх, Степанида Терентьевна, еще спрашиваешь; разве на экия дела кто пойдет без любви? Ведь в одну петлю-то лезем. Подумай-ка...

— Теперь тятенька сердит на меня, не глядит и не говорит... Стану ему угождать всячески, а как увижу, что гнев отходит, так и заговорю с ним об этом.

— Ну, ладно... Одначе, Стеша, ты ступай вперед, а я пойду в сторону, как бы кто не накрыл... Прощай, счастливо.

— А когда увидимся?

— Да выходи хошь сегодня: я ждать буду там, в Ямках... На двор не пойду к вам, опасно,— Сережка бы не увидал...

— Жди!..— И они расстались.

XV

Разлад в семье Терентия Савельича продолжался. Иван ссорился с женою, та жаловалась отцу, старик напивался пьян и придирался к Ивану, который подчас огрызался и даже грубил ему, каждый раз намекая на то, что он до 30 лет ровно несмысленый малолеток живет: ни своей воли, ни своей копейки нет у него, и жена-то точно не его, а чужая.

Однажды, выведенный из терпения, Терентий Савельич бросился на сына с поднятыми кулаками, но Иван сразу остановил его фразой, заранее, как видно, приготовленной на этот случай.

— Бей, бей,— закричал он,— ты меня, а я ее; ты раз, а я два, за каждый раз по два отдам.

Матрена при этом подняла визг. Старик отступился и ушел.

В другой раз, при подобной стычке, Терентий Савельич прямо спросил сына:

— Да чего тебе надо, ирод ты неблагодарный, чего у тебя нет?

— Да ничего у меня нет... Чего надо? Всего мне нужно: первое дело денег.

— Денег... Деньги-то сам наживи.

— Да с чего я наживу-то?.. Что у меня есть в руках?

— Уж отступлюсь, погоди, вот, после макарьевской все дела тебе сдам и фабрику, и все... Подавись ты... Вижу я, что тебе отца-то со света сжить хочется поскорее...

— Что мне в фабрике-то, без денег И опять же, я сживать тебя не желаю, это ты напрасно... Оставляй ее за собой, а выдай мне деньгами, я свое дело заведу.

— Ничего ты не заведешь... Дать тебе деньги в руки,— все равно, что в печь бросить... Поспеешь еще как помру... Недоволен этим моим благословением из теплых рук... Ну, так пока жив, ничего тебе не будет. Жди, как жид, покамест сдохну...

— Да я, тятенька, что же?.. Я твоей смерти не желаю,— говорил Иван, смягчая тон из боязни окончательно поссориться с отцом.— Я и на той твоей милости доволен, что фабрику обещаешь сдать. Я только к тому, что без денег какие же я дела могу делать... Ты хошь бы тысячи две-три мне теперь выдал, перед макарьевской, я бы уже и стал приспосабливать к делу сам, что мне нужно... Я вот только к чему, а то известно, вся твоя власть, воля родительская...

— На макарьевску поедем, получу получку, сведу тебя со всеми, кредитуйся, и денег дам на задатки, а потом и веди дело, орудуй сам, я на покое останусь, пора уж мне... Ну, довольно с тебя этого?..

Матрена Карповна при этих словах отца внушительно смотрела на мужа.

— Что же, тятенька, я завсегда доволен твоими милостями,— сказал Иван.— Коли уж такое твое расположение, так я должен это чувствовать и благодарить... Вся твоя власть родительская... А только что известно, без денег как же возможно, как тут дело вести.

Терентий Савельич слушал эти слова сына, насупившись. Он ожидал не такого впечатления от своего обещания, он думал, что сын, по малой мере, бросится к нему в ноги, раскается в прежних выходках, признает

безмерность родительской любви и благодеяния и поклянется в вечной покорности, благодарности и послушании перед отцом.

— Вижу я, вижу тебя насквозь,— проговорил Терентий Савельич с видимым озлоблением.— Ты, кабы можно было, все бы забрал у отца из рук, безо всего бы его оставил, да, пожалуй, и из дому выгнал...

— Чтой-то ты, тятенька, говоришь,— вмешалась Матрена,— можно ли это только подумать...

— Напрасно это,— подхватил Иван.

— Эхма, вижу я, вижу... Все понимаю и чувствую.

— Напрасно, тятенька, только себя беспокоишь,— повторил Иван, побуждаемый взглядом жены.

Терентий Савельич внутренне упрекал себя, что поторопился высказать обещание, но в то же время подумал, что он все-таки устроит дело так, что сын останется у него в руках.

— Да ладно, ладно,— сказал он сквозь зубы,— там видно будет, какое у тебя к родителю почтение.

Степанида, присутствовавшая при этом разговоре, не верила своим ушам. «Вот, всего оберут.— думала она,— брат фабрику захватит, а Матрена деньги будет выуживать у него... Да еще Иван напутает, да долгов наделает, а после тятенька плати...»

Она решилась немедленно переговорить с отцом о своем деле и, улучивши первую минуту когда отец был один, подошла к нему. В последнее время она очень угождала ему отступилась от Матрены, даже старалась быть с нею ласкова, сколько могла; отец был очень этим обрадован, и с своей стороны смягчил тон и начал говорить с нею. Терентий, не отдавая себе в том отчета, не только уважал, но стыдился и даже побаивался дочери.

— Тятенька, я к тебе,— сказала Степанида.

— Что тебе?

— Отпусти меня.

— Куда?

— Совсем отпусти...

— Как совсем?

— Так... Наградил бы ты меня из теплых рук, сколько милость твоя будет, да и отпустил бы совсем, из дома...

— Что такое значит? — переспросил Терентий Савельич, меняясь в лице и хмурясь.

— Да что же, тятенька, Ивану ты фабрику сдаешь, Матрена большничать будет, а я пошла бы куда к своему месту, келейку бы построила себе, где мне бог на душу положит, да стала бы молиться об грехах об своих...

— Молись дома, кто тебе мешает?...

— Какая уж молитва дома, один грех. Нет, уж ты меня ослободи.. Я бы по богомольям пошла, может, куда далеко бы зашла... Где бы мне по мысли, там бы и пристала...

— Да коли помолиться хошь сходить,— сходи, я тебя не держу... И за нас помолишься,— проговорил Терентий, опуская глаза.

— Нет, тятенька, я бы уж совсем ушла... от греха...

— От греха?... От какого греха?... Что за грех такой?...

В глазах Терентия Савельича вспыхнул гнев, но он все-таки не мог взглянуть на дочь в упор.

— Как же не грех, тятенька... Уж в миру жить, от греха не уйдешь: тому не угодишь, другого осудишь, третьему поперек скажешь, а одна-то я живу, никого не вижу, ничего не знаю, сама за себя только и перед богом отвечать буду...

— И теперь с тебя за чужие грехи не спросится... Живи себе смирно да тихо, ни до кого не касайся, и тебя никто не тронет... Вот, и от греха отойдешь... Помолиться хошь сходить,— ступай, я говорю, хошь,— на месяц, хошь,— на два. А это пустое нечего говорить,— совсем...

— Нет, уж я так, тятенька, положила; ты меня вовсе отпусти..

И Степанида поклонилась отцу в ноги.

— Я вот как, тятенька, я не из зла из какого-нибудь... Я сама по себе, милости твоей прошу...

Терентий Савельич тронулся.

— Как же ты отца-то хочешь покинуть,— сказал он ласково.— Кто же покоить меня будет, старость мою соблюдать? Я к тебе привычен...

— Кажись, я уж тебе послужила, тятенька; пущай кто помоложе меня походят теперь за тобой да послужат...

— Я, ведь, с тебя воли не снимаю: хочешь большничать,— большничай, хочешь помолиться сходить, ну, сдай

все на время Матрене, а придешь, воротишься,— опять все примешь... Я, ведь, хошь и обещал Ивану сдать фабрику, да я, ведь все же своей воли не сниму, из своих рук не выпущу... все я голова буду, никто...

— И не выпускай, тятенька, не выпускай, богом тебя прошу... Потуда и поживешь, покуль из своих рук не выпустишь, а отдашься в чужие руки,— все прахом пойдет, все сгинет, что ни копил... Иван, хоть и брат мне, и сын тебе, а ненадежен он, вот я тебе, как перед богом, говорю, поверь ты мне... У него не то в голове...

Терентий Савельич подошел к двери, приотворил ее, заглянул в сени, захлопнул опять и проговорил со вздохом:

— Разве я не вижу и сам... Я сам все вижу и понимаю... А ты еще уйти хочешь... Я только на тебя и надеялся... Пока сам на ногах да с руками, так авось в обиду не дамся, а состареюсь совсем, тут кто меня побережет без тебя?.. Вот на макарьевскую отъехать, на кого дом оставить, как тебя не будет?... Теперь тебе и на богомолье идти нельзя, пока с макарьевской не воротимся; иди, вот, весной,— на тот год, али по осени... А о том, что ты надумала, я и говорить-то не хочу. С чем это схоже, чтоб ты вовсе из родительского дома ушла?.. Тут и невесть что скажут... Нет, это пустое... Ты, Степанида, не бойся, я тебя не обижу, я тоже чувствую, кто мне всю жизнь свою служил... Ты от меня обижена не будешь, не сумлевайся. Там, что мать тебе отказывала, то малость, а я и от себя тебе припишу... Каков я ни на есть, а я в себе душу имею, не сумлевайся...

— Уж ты бы мне теперь, тятенька, что по милости твоей, да отпустил бы меня...

— Ну, ты это оставь... Не говори, я и слушать не хочу... Не будоражь меня, не серди... Ты то думай: вот скоро макарьевска, вперед один поеду, получку получу, ворочусь, деньги здесь оставлю, а тут опять с Ванюшкой поеду... Кто дома останется?... Неужто Анфисе на сбережение деньги-то отдавать... Ты вот что думай... Нету, Степанида, это ты и в помышлении не моги иметь, чтобы вовсе уйти от меня... Чего быть никогда невозможно! Была дочерью покорливой, так будь до конца... Каков я ни есть грешник, а все ты моя плоть, завсегда я это чувствую, не сумлевайся... Ступай-ка с богом в свое место...

Степанида попробовала было настаивать на своей

просьбе, но Терентий Савельич ничего слушать не хотел, махал руками и начинал сердиться. Степанида не хотела с ним ссориться и ушла, ничего не добившись.

При первом же свидании с Капитоном она передала ему весь свой разговор с отцом. Капитон внимательно и сосредоточенно слушал; лицо его ничего не выражало и оставалось совершенно равнодушно. Степанида, напротив, казалась очень взволнованною и чувствовала себя как бы виноватою перед Капитоном; она оправдывалась и ласкалась к нему.

— Ну, что же мне делать-то, голубчик ты мой, сам ты подумай... Силой, ведь, не возьмешь, а так уйти, и старика-то мне жалко, да и чем мы жить будем?...

— Да, ведь, я, Степанида Терентьевна, что же?... Я, ведь, ничего; как сама хочешь, а для меня все одно... Мне и так хорошо. Это вот ты только сумлеваешься насчет жены моей да Матрены...

— Не поминай ты их, Капитонушка, не поминай их, сердечный... Ну, скажи ты мне, что одну меня жалеешь, что не надо тебе никого, окромя меня, и я думать не буду, и тосковать перестану...

— Да, ведь, сказать, Стеша, немудрено... Молвить долго ли, и все можно, что угодно, да какая путь-то из этого слова выйдет? Все уж как-никак, а знаешь, что с женой живу, не прогнать же мне ее, не извести и сам-деле... А опять же — Матрена, вон она так и лезет ко мне, так и ловит, где бы только повстречаться да поговорить... А говорить почнет, так глаза-то так заводит, ровно ее огнем поджаривают... Я, известно, такой вид делаю, словно мне и невдомек, а ты-то, вон, ведь, и не веришь, сумлеваешься...

У Степаниды глаза засверкали.

— Слушай, Капитоша,— говорила она, задыхаясь от злобы,— сделай ты так: замани ты ее куда ни на есть да и скажи мне, а я тятеньку и наведу, пущай же он посмотрит, какова она есть... Сделай так, Капитоша, сделай, сахарный...

— Ладно, а опосля того что же будет? Меня с фабрики прогонят, больше ничего и не будет,— и вся корысть-радость в том останется...

— Ну, так что, пущай прогонят, мне легче будет, а уж ее-то бы я сразу смирила.

— Да, тебе хорошо говорить, а мне-то каково? Прогонят, так чем же я жить-то буду?

— Я тебя не оставлю, все свои деньги тебе отдам... Вот, хочешь, в тот же раз, как опять увидимся, хошь, все тебе вынесу... Мне без тебя ничего не мило... Сделай ты мне это, утешь ты меня, успокой ты мою душу... Ведь, дурёха она, непропёка, дерево, ведь, и не белая она, веснущатая, ведь, только что набелена, нарумянена...

Капитон усмехнулся.

— Да мне это все единственно... Какая бы она ни была!... Разве я очень антересуюсь, что ли? Ведь, это тебе только так мстится насчет ее...

— Ну, так вот ты и сделай это для меня, коли любишь, коли жалеешь меня, коли не надо тебе ее...

— Сделать это надо с умом и пождавши, не вдруг... Только будет ли путь-то из этого?... А я так думаю, что не будет... Терентий Савельич шум поднимет, меня с фабрики сгонят... Жена узнает, люди на смех поднимут... И житья мне здесь не будет, придется куда вовсе уйти... А по-моему, так вот как... Коли больно несносно тебе насчет Матрены, так я так отойду,— добрым порядком, ровно как на другую фабрику, али вот свояк у меня есть богатый, так торговать с ним... А там видно будет... Может, как от отца упросишься,— и мне тогда сподручнее убежать-то с тобой... Только ты, смотри, не разлюби меня...

— Я-то, я-то?... Всю-то свою душу тебе отдала, и себя в грех окунула, и всю свою собину тебе отдам,— да разлюблю я тебя!.. Нету, нет, чего быть никогда не может... Да каким это побытом, да как тому статься, чтобы я тебя разлюбила?..

— Да долго ли? Вон из глаз, вон и из сердца... Может быть, ты и с завода-то меня сбиваешь, что уж сердце у тебя отходить от меня стало. Ваше женское сердце переменчиво...

— Полно-ка, Капитонушка, не греши перед богом... Уж, кажется, я, грешница, и об боге-то забыла из-за тебя... Нет, уж мое сердце не отойдет от тебя ни в жизнь; а я так думаю, пропадать мне из-за моего сердца... Ничто мне теперь не мило, ничего ненадобно окромя тебя, ни на что бы глаза не смотрели. С тобой я — так горит мое сердечко, перегорает, а нет тебя, так и пуще того: где ты да с кем ты, да что ты, да думаешь ли, да жале-

ешь ли обо мне?... Только и есть!... Как бы ты-то меня эк любил...

— А я-то как же, и я то же самое. Так меня к тебе и тянет... Вот Матрена подманивает, жена ревет, что по ночам пропадаю, стращает, загуляю, говорит, сама, а я все к тебе, да к тебе... Вот, с завода, говоришь уйди — и с завода уйду, не посмотрю, что дома есть нечего будет; говоришь: жену брось, убежим куда совсем,— и на то согласен... Как же еще любить-то, Стеша?...

Степанида бросилась целовать и обнимать Капитона.

— Так смотри же, Стеша,— не забыл, уходя, напомнить Капитон,— я все по-твоему сделаю: и уйти уйду, и Матрена на бобах останется, только, придет время, и ты меня слушай да и теперь-то пока не заставь с голодухи по-волчьи выть... Ведь мы что заработаем, тем только и сыты...

На следующую ночь Степанида вынесла пачку ассигнаций и подала их Капитону.

— Чтой-то это? — спросил он, точно не понимая, в чем дело.

— Собина моя, возьми, спрячь скорее...

— Да ты не больно ли уж много, на что же вдруг-то?

— А разве не все равно, что мои, то твои... Что у меня, то у тебя лежат, все единственно... Сколь нужно — изведи, а то спрячь, вось пригодятся. Ведь уж как-никак, хошь после макарьевской, а выпрошусь же я у отца, убежим мы с тобой... Сколь ни думаю, а не прожить мне так...

— Ах, ты, болезная моя, ах, ты, сердечный друг, вот уж видать, что любишь... Все, что ни скопила, все и принесла?

— Все,— отвечала Степанида, обнимая Капитона.

— Вот душа-то... Тут ведь, чай, денег-то не мало?...

— Не посчитала я теперь, а было у меня припрятано сот пять, кажись. Ох, все равно мне, ничего мне не надо, любил бы ты меня, не забыл бы, не бросил бы...

— Не бойся, Степанида, не бойся, не таков я есть человек... Другой бы парень, дала ему эстолько денег, только бы его и видела, а я не таков... Не возьму я всех этих денег, не надо мне... Лучше спрячь ты их опять к себе, а мне дай что на прожиток только... А изойдут, опять дашь...

И Капитон развернул было пачки и силился при

мерцающем свете звезд рассмотреть бумажки; но Степанида завернула их опять у него же в руках и положила ему за пазуху.

— Отстань, Капитоша, не говори о том больше. Разве ты не мой, а я не твоя?... Брось ты это... Говори ты лучше про любовь про свою, про грех наш, про то, как мы жить с тобой будем, как бы нам не расставаться-то с тобой... Вот про что думай да целуй ты меня, обнимай крепче, выжимай ты из меня всю мою тоску-заботушку... Вот твои куделечки, вот твои глазаньки ясные, вот уста твои сахарные...

Степанида брала своими руками голову Капитона, поворачивала к себе лицо его и, как безумная, впивалась в него своими глазами, из которых лились целые потоки жгучей страсти.

Капитон более уже не поминал об деньгах, они так и остались у него за пазухой; он только от времени до времени ощупывал их локтем.

«Кончать с ней, али нет?» — думал Капитон, возвращаясь домой с этого свидания и доставая из-за пазухи пачку ассигнаций. «Пятьсот рублей — деньги не малые!... Ну-ка поди, на заводе-то заработай сэстолько»...

Капитон усмехнулся.

«Ну, уж только и девка!.. Вот прильнула!.. Это что угодно, душу за тебя заложит... Али уж будет? В беду бы не попасть!... Теперь и с этими деньгами можно за дело за какое взяться, коли ежели с умом... А все канитель пойдет одна; если теперь лошадь купить, сбрую справить, около дома тоже обрядить, крышу покрыть, то,— другое, немного же останется,— не расторгуешься... Нет, уж линия пошла, так надо за нее держаться куда ни вывезет... Матрена, та хошь дура, да та жадна, она будет мекать, как бы на рубашках да на жилетках отъехать; опять же тут от Степаниды не увернешься, поймает, тогда беда... На Ивана тоже надежда плоха: первое, что все-таки из-за старика будет, все не вполне сам по себе хозяин, да и опять же все через Алену... А кто ее знает... Нет, это не к линии... Нет, уж надо держаться за свою, за разлапушку; тут можно делом повернуть, как хочешь... Так али этак, а с умом можно сорвать всячески... Подожду до макарьевской, перед ней и отойду, а пока что,— распалять ее стану, сначала Матреной, а тут женой, ей все равно не в перенос... Видать, что на все

пойдет, сделает... Эх, сударыня, сударыня, Степанида Терентьевна, горячее твое сердце, приимчивое, а все не с тобой мне век вековать, не та судьба нам показана... До кого ни доведись, никто своего счастья не чурается... Может, с таким таланом я на свет родился, попытать все надо... А коли талан, так пятьсот — не деньги... Может, мне судьба писана тысячником быть, капиталами ворочать... Разве не бывает?... Нет, попытать надо, буду ждать до последнего... что будет...»

В те ночи, когда Капитон ходил на свидание со Степанидой, он ложился спать один в сарае и оттуда уходил и возвращался потихоньку. Замечала это Алена или нет,— он не знал, но она никогда не спрашивала его и не разговаривала с ним об его отлучках из дома. Капитон стал думать, что ему делать с полученными деньгами? — Сказать ли про них жене и отдать ей на сохранение, или припрятать куда до времени и ничего не говорить.

«По душе-то бы я ей сказал, пожалуй, и нарядов ей накупил, гуляй себе, радуйся да знай, как муж любит да жалует... А кто ее знает, как еще она... Станет пытать да расспрашивать... Правда, она веселая у меня и рядиться любит, да ничто стала ноне какая подчас притоманная, ничего не говорит, а про Степаниду и не заикается... Кто ее знает, пожалуй, и ей в сердце вступит, что и Степаниде же: брось, скажет, отстань... Тут после вожжайся с ней, придется ругаться али драться вовсе... Кто их знает, бабы-то, они не то, что мужики, не обстоятельны они; сегодня смеется только, что хошь делай, а завтра, как узнает делом, так грызть почнет... Поди ж ты, вон Ивана не подпускает же к себе... Нет, лучше ей и духу этого не подавать теперь... Опять же теперь и тратиться не годится: люди заприметят, откуда, дескать? Разговоры пойдут... Нет, надо припрятать куда да обождать. И около дома ничего не стану приправлять, разве только лошадь купить нужно... Лошадь беспременно нужно завести и телегу справить для всякого случая... А вот что: схожу к Гавриле и выклянчаю хошь рублей пятьдесят, коли даст, а то сколько ни на есть, взаймы, на лошадь, мол... Это верно.. И людям невдомек, на занятые купил...»

Остановившись на этой мысли, Капитон потихоньку пробрался в сарай, где спал, заперся изнутри, вынул и

отложил одну бумажку на расход, а остальные опять тщательно завернул, приподнял крайнюю половицу из накатника, положил на переклад сверток с деньгами и снова закрыл его половицей; а затем перетаскал на то место несколько охапок сена, лег на него и заснул.

XVI

Наступила нижегородская ярмарка. Терентий Савельич объявил домашним, что он вперед поедет один, обделает дела, потом воротится, возьмет с собою сына и Матрену и поедет опять. Он сначала хотел было взять с собою Матрену, но зная, что у него в руках будут большие деньги и боясь, что она станет опять выпрашивать у него, рассудил, что покойнее будет съездить сначала одному и привезти деньги в целости домой. Объявляя о своем решении, он боялся, что встретит большое неудовольствие со стороны Матрены, но она осталась, видимо, даже довольна. Старик не знал, что она рассчитывала в его отсутствие сблизиться с Капитоном, который начинал сильно интересовать ее.

— Что же, тятенька, поезжай; уж известно, лучше сначала дела обделай, а после уж и знать так будем, что погулять едем на ярмарку,— заметила она благодушно.— Чай, недолго, ведь проездишь?

— Нет, чего долго, недели в полторы либо в две вернусь, а если что, паче чаяния, так и скорее.

— Так что же, поезжай, макарьевска-то еще, слава богу, только начин... Только ты поезжай скорей...

Терентий Савельич был несколько удивлен, но и обрадован, таким неожиданным благоразумием своей снохи. Зато Степанида совсем иначе взглянула на это благоразумие: она сразу, женским инстинктом, поняла намерение Матрены; у нее захолонуло сердце, и она внутренне дала себе слово удвоить свою бдительность и надзор за невесткой.

— У меня не увернешься из глаз, напрасно думаешь,— чуть не сказала она вслух, кидая недобрые взгляды на Матрену.

Капитон еще не ушел с фабрики, хотя уже и пустил слух, что, может быть, отойдет, так как свояк зовет его торговать сообща; он предупредил Степаниду, что уйдет

после макарьевской, когда Терентий Савельич воротится с ярмарки. Степанида не раз замечала, что Матрена повадилась гулять на заводский двор, заходила часто и на завод, встречалась не раз с Капитоном и на улице в то время, как он шел на фабрику или с фабрики, и сердце ее разрывалось от ревности. Она не могла поймать и уличить Капитона в том, что он нарочно забегает на глаза Матрены, заигрывает или любезничает с нею, но тем не менее видела, что Матрена преследует его, и что Капитон оттягивает свой уход с фабрики без убедительной для нее причины, и подозревала его.

Не раз, во время ночных свиданий, которые продолжались по-прежнему, она высказывала ему свои подозрения и свои мучения, но Капитон только посмеивался и умел на время успокоить ее.

— Да отчего же ты не отходишь, ведь, отойти совсем обещался? — пристала к нему раз Степанида.

— Чудная ты этакая, да с чего я уйду теперь? Ведь, уйти, надо же мне хошь вид казать, что места ищу или место другое вышло; ведь, дома же жить нельзя будет, что скажут тогда люди? А уйду из деревни, так как же мы видаться-то будем?.. Что, али уж я надокучил тебе, так по крайности ты мне не надокучила... Далеко ли макарьевска-то?.. А все-то уедут, так то ли нам будет не житье, никто тогда не помешает... Ну-ка, подумай! Подожди уж маненько-то, сократи свое сердце-то... Вот воротятся все с макарьевской, я тотчас и отойду, и дам тебе срок на неделю: коли упросишься от отца, так уйдем мы с тобой, а не упросишься, ну, делать нечего, придется мне куда в другое место идти...

— Не останусь я, уйду, уйду и я с тобой...

— Ну, это видать будет... А теперь-то тебе нечего думать о мазаной роже...

— Мазаная, мазаная, голубчик мой, Капитонушка, правда твоя, что мазаная она...

— Ну, так вот то-то и есть...

Такие разговоры успокаивали Степаниду опять до нового подозрения. Теперь, ввиду того что Матрена останется целые две недели одна, без надзора отца, который все-таки ее стеснял, подозрения и ревность Степаниды возбудились с новой силой. Она даже хотела было вмешаться в разговор и советовать отцу, чтобы он

взял Матрену с собой, но какое-то сложное чувство, в котором была и совестливость, и стыд, и омерзение, не дало ей открыть рта.

— Все равно, у меня не увернешься,— повторяла она мысленно.

Иван тоже молчал. Он думал, не удастся ли ему как в отсутствие отца сделать какой-нибудь оборот, добыть денег и купить любовь непреклонной Алены, которая и шутила, и смеялась, и заигрывала, кажись, а в руки до сих пор не давалась и только подсмеивалась над его хвастовством и пустым карманом.

Таким образом Терентий Савельич собрался и уехал на ярмарку, без возражений и сопровождаемый довольными лицами. Но две недели его отсутствия не принесли никому ожидаемого удовольствия: все разочаровались в своих надеждах. Матрена очень было ретиво принялась за осуществление своего намерения и при первой же встрече намекнула Капитону, что теперь, без тятеньки, каждый день вечером будет ходить гулять в лес, и сегодня пойдет. Хотя Капитон и не дал определенного обещания прийти и отыгрывался шуточками, но Матрена все-таки перед вечером пошла со двора, надеясь встретить догадливого красавца.

Бдительная Степанида тотчас же догадалась об ее намерении и нагнала ее в ту минуту, как она выходила за ворота.

— Погулять, что ли, сестрица? — спросила она ее равнодушным и по возможности ласковым голосом.

— Да, было... да не знаю,— уклончиво и с неудовольствием отвечала Матрена.

— Пойдем-ка, и я погуляю с тобой.

— Чтой-то никогда не ходила, а теперь вдруг гулять вздумала?

— Погода-то больно хороша...

— Да ты ни на какую погоду глядя не гуляла...

— При тятеньке-то и ты не гуляла, а вот без него сдумала же,— ласково, но язвительно отыгрывалась Степанида.

— Так что же, ты меня досматривать, что ли, хочешь? — огрызнулась Матрена.

— Какой досмотр! Я просто так, пойдем, мол, вместе... Разве ты за чем нехорошим пошла, что тебя досматривать надо...

Голос Степаниды несколько дрожал, несмотря на то, что она старалась говорить шутливо и ласково.

— А тебе что за дело до меня? — Ответ, что ли, я буду тебе давать, зачем да куда пошла...

— Да что ты осержаешься? Я, ведь, не с чего-нибудь, а от одного добра, пойдем, мол, вместе погуляем.

— А я, может, не хочу по одной-то дороге с тобой идти?

— Да что ты, Матрена, дорога-то широка, слава богу,— обеим места хватит... Да с чего ты обижаешься-то? Я, ведь, не знала, что у тебя на уме, я так спроста.

Степанида язвительно улыбнулась.

— Ничего у меня нет на уме,— ответила Матрена, одумавшись,— а я и гулять-то совсем не хочу.

— Да иди, иди... Я не пойду за тобой,— говорила Степанида, и в то же время думала: «у меня не уйдешь из глаз!..»

— Кабы я знала,— продолжала она вслух,— я бы и звания не взяла говорить-то с тобой... Что мне за дело, я не досмотрщица и сам-деле... Иди с богом, куда тебе надо...

— Никуда мне не надо Вот, похожу коло дома, да и пойду спать... Вот и все.

— Вот, осердилась неведомо на что,— продолжала Степанида, усаживаясь на лавочку за воротами.— Вот тятенька-то говорит: будь с ней ласкова да повадлива... Вот и ласкова с ней, а она вон как...

Степанида говорила так, что эти слова Матрена слышала. Она, злая, ходила невдалеке взад и вперед по улице, размышляя, идти или нет к лесу, но не решилась, и рассерженная вдруг круто повернула и ушла назад во двор, крепко хлопнувши калиткой.

Степанида проводила ее злым взглядом и насмешливой улыбкой, но тотчас же радость торжества сменилась в ее душе беспокойством и тоскою.

«Неужто уж они успели сговориться, и она на свидание шла,— думала она.— Экая я: лучше бы мне притаиться да потихоньку за ней следом идти,— вот бы и накрыла... А тут бы я что делать-то стала?.. Батюшки, да неужто же это и вправду?.. Ведь он сегодня же ко мне обещал прийти... Да что же он был бы за человек!.. Экая я, экая, не догадалася, подсмотреть бы... А, ведь, я бы ее, пожалуй, придушила... Может, бог меня отвел от греха...

А, может, и вправду она только так вышла погулять, а свариться со мной стала так, из-за своего ндрава да из ненависти ко мне... Ой, нет, что-то тут неладно... Нет, не изжить мне этак-то, я из сил выбьюся, в голове-то у меня треск идет, а в сердце-то ровно смола кипит горючая... Нет, надо услать его... Этак-то в аду легче...»

Два дня прошло с отъезда Терентия Савельича, и во все эти два дня Степанида не знала ни сна, ни покоя; днем она ни на минуту не выпускала из виду Матрену, ночи совсем не спала, прислушиваясь, не пойдет ли она из своей горницы. Она вся горела в огне, когда видела, что в полдень сегодня Матрена встретилась и разговаривала с Капитоном, а о чем,— расслышать не могла. Степанида похудела, осунулась в эти два дня и едва держалась на ногах; но у нее достало еще страсти и энергии следить за Матреной во весь остаток этого дня, внутренне торжествовать при виде ее неудовольствия от неудачной прогулки и в то же время переносить муки ревности. Дождавшись, когда все в доме уснули, она прокралась на условленное свидание. Увидя Капитона, она вцепилась в его плечи дрожащими руками.

— Сказывай, перво, о чем вы с ней говорили? — спросила она.

— С кем?...

— Ну, сам знаешь, с той, с подлой...

— С Матреной-то, что ли?

— Говори скорей, правду говори, не тирань ты меня...

— Вот, не приведи бог!... Ну, а не скажу? Али не то скажу, тут что будет? — говорил Капитон не то шутя, не то с досадой.

— Так вы сговаривались, сговаривались?

Ногти Степаниды впивались, без ее ведома, в плечо Капитона.

— Да отстань ты и вправду, ведь, больно... Что ты, Стеша, и сам-деле,— говорил Капитон, освобождаясь из рук Степаниды.— Ты говори с умом, а не этак, ровно...

— Измучилась я, измучилась... Истиранил ты меня,— говорила Степанида и вдруг зарыдала.

— Да с чего, глупая? С чего?

— Обманываешь ты меня, сговаривались вы, а теперь не сказываешь...

— Да ты спросила бы путем-то, так я бы тебе давно сказал...

— Коли разлюбил ты меня да хочешь гулять с той, с подлой, так лучше и не говори, и не сказывай... Я две ночи не спала, два дня ровно чумная хожу, все за ней да за тобой приглядывала .. Не обмануть вам меня, не провести!.

— Вот то-то и есть, лучше бы не доглядывала, а спала бы себе всласть, пока не со мной, веселее бы была, а я бы тебе все равно все рассказал... Экая ты чудная!.. Ведь, уж давно тебе сказано, что она гоняется за мной, ведь, я не таюсь от тебя, да только тебя-то на нее не променяю... Вот и сегодня встретились и спрашивает· все ли говорит, здоров? — Слава, мол, богу, Матрена Карповна.— Неужто, говорит, все на заводе? Теперь старого хозяина нет, чай, когда и гулять ходишь? — Некогда, мол, нам гулять-то.— А я так вот, говорит, теперь без тятеньки кажинный день вечерами буду в лес ходить, в Ямки.— Что же, мол, грибов, что ли, по ночам-то искать будете? — смеюсь я.— Что, говорит, найду: гриб попадется,— и гриб сниму.— Счастливого, мол, успеха желаю... Поклонился да и пошел прочь. Вот и все

— А не обещал ты ей, что приду, мол,— не сговаривались?

— Ни слова тебе не утаил, все до слова, как было, сказываю.

— А зачем ты с ней эти шутки шутишь, смотришь на нее да посмеиваешься?

— Так что же мне ругаться, что ли с хозяйской-то женой? Сама ты рассуди...

— Нет, батюшка, нет, Капитошенька, не в перенос мне это, без огня я сгорю... Прошу я тебя, уйди ты, отпросись, уйди с завода хоть на недельку, пока тятеньки нет... За каким-нибудь делом скажись да и отпросись у Ивана... Пожалей ты меня... Уж пускай же лучше тебя я не буду видеть неделю, чем мне в этаком огне гореть .. Что ж, говори, уйдешь на неделю?.. Уйдешь?. Сделаешь ты мне это?..

Капитон минуту подумал и обещал. Степанида обрадовалась и точно ожила. Она обнимала и целовала Капитона, просила у него прощения, сама не зная в чем, благодарила за то, что слушается ее.

— Да уж я все для тебя сделаю, во всем послушаюсь,— сказал он на прощанье,— только, смотри, и ты слушайся меня, как время придет.

На другой день он пришел к Ивану Терентьичу в дом, нарочно во время обеда, и в присутствии Степаниды выпросился у него на неделю, чтобы побывать у свояка по нужному делу. Иван Терентьич с удовольствием, даже с радостью отпустил его, надеясь воспользоваться его отсутствием; зато Матрена была очень недовольна. Степанида вдвойне торжествовала.

Иван Терентьич, полный сладкими надеждами, живо обработал дело: он запродал одному из соседних фабрикантов несколько сотен штук миткаля за бесценок и с тем, чтобы отпустить его, по требованию, из склада на макарьевской ярмарке. Отпуск прямо из палатки со двора был не совсем удобен, потому что мог быть замечен и Степанидою, и рабочими, а на ярмарке представлялось легче изловчиться и обмануть отца. Притом же отец обещал сдать фабрику Ивану,— при развязке можно было опереться и на этот резон; да вообще Иван Терентьич, обуреваемый страстью, мало и думал о будущем, а хлопотал лишь о том, чтобы поскорее и побольше получить в задаток наличными, в чем и успел. Узнавши, что Капитон ушел из деревни, Иван Терентьич, с туго набитым бумажником в кармане нового праздничного сюртука, в бархатной пестрой жилетке, при часах, отправился подвечер к Алене, потный и масленый более обыкновенного.

Он застал Алену не в духе. В последнее время она была недовольна мужем; она не умела рассуждать, не сумела бы и объяснить причины этого неудовольствия, но только чувствовала его. Ей не нравились частые ночные отлучки мужа, которые не ускользнули от ее глаз; ее тяготила какая-то таинственность, которая окружала действия и намерения мужа; она видела, что он что-то замышляет, к чему-то готовится, о чем ясно и определенно не высказывает; ей казалось даже, что он как будто стал в последнее время и не так ласков и приветлив к ней, как бывало. Капитон сказал ей, что намерен отойти от Терентия Савельича, но не объяснил хорошенько, какая тому причина, а надежды на Гаврила Михайлыча, конечно, были в ее глазах вздором, придуманным Капитоном для людей посторонних. Теперь вдруг эта неожиданная отлучка на целую неделю для свидания с Гаврилой, заем у него денег и покупка лошади также остались загадочны и неприятны для Алены, и тем еще

неприятнее, что Капитон, прощаясь, перед уходом сказал ей:

— Смотри, Аленка, вось, и я не бесталанный... Уж хуже не будет, а, может, заживем и не в этакой избе, может, и свое заведение будет...

Больше он ничего не объяснил, но словами этими не утешил и не успокоил Алену; она ничего ему не сказала, но подумала: «смотри, не угоди куда в другое место!..» Она не высказала этой мысли вслух, потому что взгляд Капитона был весел, ясен и покоен, а она любила его и огорчить боялась. Оставшись одна, Алена сердилась на себя, зачем не остерегла мужа и не выспросила его хорошенько о том, что он затевает.

«А и то сказать,— думала она,— пожалуй выспрашивай, не таков человек, не скажет, ничего от него не выведаешь... Уж вот, на что любил меня, уж знаю, что любил,— славу богу, живем, поперек слова не было, а тут вдруг выдумал: будем, говорит, гулять по согласу... Я-то дура думала шутки шутит... А он, вон, то и дело по ночам стал пропадать... Неужто это со Степанидой? Ну, уж сахар, нечего сказать!... Да мне бы наплевать и то... Не жалко,— вовсе меня не променяет... А вот только не попался бы в чем, в беду в какую... Больно уж ничто сулит много, а все, чай, на разбой не пойдет и с подборником тоже, а и пошел бы, так не попадется... Не таков, кажись, парень, а все опасно...»

В таких мыслях застал Алену Иван Терентьич.

«Вот нелегкая опять принесла... Пословица-то говорится: сокол с места, ворона на место!» — подумала Алена, встречая гостя.

— Рада ли гостю, Алена Федотовна, али нет?— сказал Иван Терентьич, форсисто раскланиваясь и самоуверенно усаживаясь около хозяйки.

Алена посмотрела на него.

— А ты и есть ровно в гости вырядился сегодня,— сказала она.

— Что же такое? Для тебя!...

— Для меня?.. А мне что в одежде-то твоей... Не праздник, ведь, сегодня, гостей нет, смотреть на тебя некому...

— Ты посмотри...

— Узоры, парень... да! — отвечала Алена, не поворачивая головы.

— Да ты посмотри хорошенько...

Алена взглянула на гостя, он ей показался противен по обыкновению, но еще смешнее прежнего. В другой раз она расхохоталась бы ему в лицо, но теперь она была не в духе.

— Ну, вижу,— проговорила она сухо,— не в первой, ведь, мне на тебя любоваться-то, насмотрелась, кажется...

— Да что ты сегодня какая?... По муже, что ли, тоскуешь?.

— Так неужто по тебе?.. Ты вон тут как тут, наш атлас нейдет от нас... Шел, чай, думал: вот мужа нет, надену я новый сертук да жилет цветной, то-то приду обрадуется, так на шею и кинется.

Алена злобно и презрительно усмехнулась.

— Думал, ведь, небось, признайся...

— А хотя бы и так, что же в том, обида, что ли, для вас какая?

— Знамо, обида! Что ты ко мне пристал, с чего повадился, что тебе от меня нужно?

— Знамо, чего нужно... Кабы я не от любви, а то я от всего моего сердца... Кабы я полагал, что из-за одного того, что сертук новый, ну, известно, тогда, может, и обидно для вас, а то мне ничего не жалко для тебя, только полюби... Ты знаешь ли, с чем я пришел-то, из-за чего я смотреть-то на себя велю?.. Ты посмотри-ка хорошенько-то...

Иван Терентьич указал красным пальцем на свой оттопырившийся боковой карман.

— Видишь ты это?

Алена смотрела на него с недоумением и насмешкой, и ей ужасно хотелось сказать ему: «Ах ты чучело гороховое!», но она сказала другое.

— Индо смех меня берет... Что ты это подводишь-то, не разберу я никак...

— А вот что: все ты надо мной насмешку делала, что сулю-то я много, а у самого в кармане алтына нет... Ну, так вот, смотри...

Иван Терентьич оглянулся по сторонам, вытащил из кармана бумажник и развернул его. Толстые пачки некрупных ассигнаций высовывали оттуда свои излохмаченные края...

Иван Терентьич очень был доволен тем, что получил

расчет за проданный товар мелкими бумажками, что увеличивало толщину пачек, и надеялся произвести эффект большим количеством ассигнаций. Он не ошибся в этом отношении: эффект был произведен. Алена никогда не видала такой массы денег, невольно загляделась на них и также невольно протянула руку и провела ею по концам ассигнаций...

— Ай, парень, сколько у тебя, и сам-деле, денег-то,— проговорила она.— Сколько тут?... Тысяча, али больше?...

— Больше,— отвечал Иван Терентьич, складывая и пряча бумажник в карман.— Ну, хочешь, все твои будут, все тебе отдам? — продолжал он, устремляя на нее радостные, масляные глаза и протягивая к ней руки.

«Уж не сговорились ли они с Капитоном,— мелькнуло в голове Алены,— не нарочно ли он ушел, чтобы этот тем временем деньгами сманил меня?..»

— Отдай, пожалуй, я возьму, ничего,— проговорила она вслух,— коли ежели только твои, не чужие...

— Какие чужие!... Отец меня отделил, все заведение на меня сдал... Теперь я хозяин полный!.. Полюби только, могу осчастливить. Мало этих, опосля еще дам, озолочу, осчастливлю.. Через тебя и мужа человеком сделаю,— вот как я тебя полюбил!.. Аленушка, сердце мое, краля моя, все ты мое нутро изожгла...

Иван Терентьич обхватил Алену руками; но она быстро освободилась и сильно оттолкнула его.

— Что ты, погоди еще... Еще денег-то, ведь, не отдал...

— Да я дам денег, не бойся, только ты будешь ли любить-то меня?...

— Да уж коли деньги возьму, так как же не любить-то?... Тогда я у тебя ровно купленая буду... Только, постой, ты мне вот что скажи: если муж-то, Капитон мой, узнает про это...

— Да ты про него не сумлевайся... Я его ублаготворю, я его в приказчики возьму, он и виду не сделает, что знает...

— Так, значит, вы с ним насчет меня переговаривали?...

— Было всего... Да уж я тебе говорю, ничего... Насчет этого не сумлевайся...

— За сколько же вы сторговались-то?...

— Так разве уж так.. из рубля в рубль... Ну, сказал,— не оставлю ничего не пожалею... Эх, да полно, Аленушка, ты люби только меня.. На, вот, возьми, возьми одну пачку... Ну, хошь две.. Тут, ведь. много, ай много денег... А опосля опять, опять дам...

— Нет, Иван Терентьич, это не порядок, этак нельзя... Надо делать по чести! Я баба глупая, бестолковая, бессчетная...

— Ты-то? Да ты всякого проведешь и выведешь...

— Ну, какая ни есть, постой-ка, не об том... А вот как надо: ты мне деньги отдай, авось муж воротится, ты и приходи при нем; я ему денежки вынесу при тебе, пускай он их сосчитает... Коли скажет: так точно, верно... в расчете, значит... ну, уж ты тогда и ходи ко мне, все равно как к другой жене. Та, значит, законная, а эта купленная... И я уж так и буду знать, и перед мужем мне не страшно, и он не в обиде от меня...

Иван Терентьич сидел перед Аленой и смотрел на нее, выпуча дурацкие глаза, точно он только что с крыши свалился. Алена усмехнулась.

— Что ты, ровно оголтелый, смотришь на меня? Разве я не дело говорю, не по совести?...

— Ну, а если...— заговорил, наконец, Иван, собираясь с мыслями.

— А если ты обсчитал меня,— перебила его Алена,— или мужу цена мала покажется, ну, тогда еще прибавишь, уж это ваше дело...

— А до тех пор что же?..

— А до тех пор... Ну, что же делать? До тех пор, пока муж воротится, подожди, потерпи... С одной своей, законной, пока поживи... Я без мужа на такое дело не пойду, это, ведь, не что-нибудь; я и овцы без мужа-то не продам, не токмо себя...

Алена внутренне хохотала и забавлялась своей ролью, но говорила как будто серьезно. Она, может быть, и не выдержала бы этой своей роли, если бы ей не помогало какое-то чувство обиды на мужа и отвращения к Ивану.

— Да что ты смеешься, что ли, надо мной? Что я тебе дался, и сам-деле,— закричал вдруг Иван Терентьич.— Ведь истиранила ты меня совсем, змея ты, а не баба... Ведь извелся я совсем из-за тебя... Чувствуешь ли ты это?... Ведь уж коли на то пошло...

И Иван Терентьич вдруг, как зверь, бросился на Алену, но тотчас же и струсил, как только она, сопротивляясь, закричала: караул! Он отступился от нее и, едва переводя дух, красный, растерянный стоял среди избы, озираясь и не зная, что делать, и не успел еще он опомниться, как озлобленная и оскорбленная Алена налетела на него с попавшимся под руку поленом.

— А коли ты этак-то, так я тебя вот как, вот как,— проговорила она, взмахивая и опуская полено на толстые плечи и бока Ивана Терентьича.

— Ой, ой... Стой! Убьешь! Черт! Что ты, сумасшедшая,— кричал Иван Терентьич, мгновенно охлажденный в своих страстных порывах и обращаясь в бегство, даже без картуза.

— Еще пойду да хозяйке твоей расскажу, что делаешь,— кричала ему вслед Алена,— а отец приедет и отцу пожалуюсь... Ты этак не моги... Вишь ты, купец какой...

Иван Терентьич постоял несколько времени на дворе, потер ушибленные места, поежился, выругался, отер слезы, выступившие на глазах от физической боли и от досады, и хотел было уходить, как вспомнил, что картуз его остался в избе. Он воротился, робко приотворил двери и, не входя в избу, сказал:

— Дай, по крайности, картуз-от...

— На, вот,— отвечала Алена, просовывая к нему через дверь руку с картузом.

— Я ведь это... с тоски, ни с чего больше... Ты не обижайся, не говори никому,— сказал Иван Терентьич.

— Ну, ступай, ступай... Коли ежели ты Капитошку моего не обидишь,— шито-крыто будет; а чуть чем притеснишь его, так и знай, и до Матрены дойду, и до старика дойду,— все расскажу, на всю деревню осрамлю... Этак не делают, коли ежели ты господин купец... сам себя почитаешь...

Алена захлопнула двери в избу. Иван Терентьич потоптался за нею, что-то подумал, что-то хотел сказать или сделать, но ни на что не решился и ощупью стал пробираться вон из темных сеней.

Алена села к столу, подперлась рукой и потом вдруг навзрыд заплакала. О чем? Она сама бы не сумела сказать.

XVII

Капитон воротился домой и привел новокупленную лошадь. Он надеялся обрадовать этой покупкой жену, но она отнеслась к нему равнодушно и встретила мужа не с той беззаветной веселостью, которая составляла ее особенность и до сих пор никогда не покидала ее. Она была сосредоточена и холодна с мужем. Капитон это заметил.

— Что ты какая?... Не поделалось ли чего? — спросил он, наконец, жену.

Алена точно как будто и ждала только этого вопроса..

— Скажи ты мне, по совести, как перед истинным богом,— порывисто оборотилась она к Капитону,— подсылал ты ко мне с деньгами Ваньку Скоробогатого, али он так сам по себе пристает ко мне?

— С какими деньгами?... Я ничего не знаю.

— Нет, да ты мне всю правду открой, не таись. Сторговался ты, что ли, с ним во мне?

— Да что ты, оглашенная?... Я не пойму, что ты и говоришь-то... Как сторговался в тебе?... У него и денег-то нет...

— Стало, кабы были, так продал бы... За сколь же?

Глаза Алены засветились недобрым огнем.

— Да ты, Аленка, в уме, али нет? Болезна ты мне, али нет, как ты полагаешь? Что я денег-то желаю, так для себя одного, что ли, не думаю об тебе-то, как полагаешь? Не у сердца ты у меня, не в думке, кажинный час, кажинную минуту? Не с тобой мне век вековать, не с тобой добром-горем делиться, не с тобой детей выводить? Что ты, окстись. Христопродавец я, что ли, жену продавать?... Что христа жиды продали, что закон свой продать, разве не все равно... Ну, по воле бы ты, по своей, по доброй, сгулялась с кем ни на есть, ну, то дело десятое: ровно и не вижу, и не знаю, потому соглас промежду нас был такой на два года... А чтобы я своим законом, благословленной своей, да торговать стал, за деньги нудить ее, да может ли это статься?... Как ты этакое дело обо мне сдумала-то?... Мне даже в большую обиду от тебя слышать....

По мере того как Капитон говорил, брови Алены расправлялись, лоб разглаживался, веселая радостная

улыбка сквозила в глазах, играла на губах ее; при последних словах Капитона она уже висела у него на шее и ласково приговаривала. Она тотчас же весело и со смехом рассказала Капитону о всех подробностях последнего посещения Ивана Терентьича. Капитон тоже смеялся, слушая рассказ жены, но, когда она говорила о больших деньгах, которые она видела у Ивана и которые он отдавал ей, в глазах Капитона мелькнула какая-то тень, и он невольно опустил их, думая про себя: «А еще бы лучше, кабы деньги-то взяла, а опосля уж и поленом, еще бы складнее было!»

— Но отколь он сэстолько денег взял? — проговорил вслух Капитон.— Смотри, что-нибудь смошенничал без отца... У него ничего не было, я наверно знаю, и отец не оставлял ему... Да уж доберусь, разузнаю... А много?

— Ах, Капитошка, сэстолько денег, сэстолько... Я и не видывала... Кажись, кабы нам столько, всю бы жизнь прожили, горя не узнали...

— То-то и есть... Вот они, деньги-то, что значит,— сказал Капитон как-то неопределенно, поднимаясь с лавки и освобождая свою шею от рук Алены.

— Пойти, сходить на завод, показаться да побалакать с ребятами.

— Ты Ивана-то увидишь, не замай его, не ругайся, ровно не знаешь ничего, я обещала; да и будет с него, досталось и от меня... А, может, он и вправду еще приказчиком тебя сделает...

Капитон остановился на ходу; заметно было, что в голове его пробежала новая мысль.

— Кабы гулять с ним стала, так сделал бы,— сказал он.— А уж теперь нечего и думать о том... а вернее так считать, что я уж теперь и на заводе не останусь, придется вовсе отойти... Как бы то ни было, каков ни на есть, а все хозяин; он этого век не забудет.

Алена встрепенулась и обеспокоилась. Она подумала, что повредила мужу, и слышала в его словах если не прямой упрек, то скрытое неудовольствие.

— Я, ведь, Капитоша, не полагала этого. Уж больно мне досадно стало на рыжего пса... Да нету, он не посмеет тебя тронуть ничем, я ему сказала, коли чуть что, так и жене, и отцу все про него доведу...

— Ну так что? Пожалуй, доводи, а сжить-то он все-таки меня сживет, потому дома, промеж собой, пору-

гаются, а хозяином-то на заводе все он останется... Да наплевать, ты про то не думай, не только свету в окошке, что они одни, найдем дело и без них... Ты только молчи да не мешай мне, делай, что велю, а то бог милослив: он не выдаст, свинья не съест... Вот погоди маленько, уж теперь недолго: либо пан, либо пал...

— Больно ты ноне закомуристо все говоришь, Капитоша, а что в головушке сидит у тебя, не знаю...

— Знать тебе не надо, не твоего это ума дело... Только знай одно: сиди смирно да мужа слушайся...

— Боюсь я больно, в беду бы какую ты не попал... Ничто сердце болит у меня иной раз...

— Не сумлевайся, не попаду. На то и щука в море, чтобы карась не дремал...

С этими словами Капитон ушел на фабрику. Ивана Терентьича он не застал на ней, и из разговора с рабочими и с Сережкой узнал, что молодой хозяин несколько дней шибко загулял и мало дома живет, а все куда-то ездит. Слышно, гуляет со старшим приказчиком купца Крашенинникова.

— И, стало-быть, есть меж ими какие-нибудь дела,— соображали рабочие,— потому тот мазурик большой руки, даром время провождать и пьянствовать с нашим не станет, а в чем-нибудь либо облопошить хочет его, либо уж облопошил... Вот старик-от воротится, доберется до дела, тогда все видать будет, а что-то есть, не без того...

— А я, брат Серега, от вас в уход,— говорил Капитон.

— Как в уход?

— Так, отхожу... Ты знаешь ли, какая канитель без меня вышла?.. Ванюшка к Алене моей без меня забрался, а она его поленом отдула...

— Отдула?

— Да еще как, в лучшем виде, говорит... Дула, говорит, не глядя, куда ни попало...

— То-то, братец ты мой, одиново он чуть не весь день спал, да все на сеновале, никуда и не сходил... Неможется, говорит; только меня за водкой посылал, и жрать ему туда носил... Стало быть, вот оно, с эвтого самого угощения... Ха, ха, ха!.. Ай да Аленка!.. С того раза он и закатился-то, значит, с горя... Вот раз!.. Что же она, чудная, хошь бы ногу, что ли, ему перешибла,

али бо рожу-то искровянила хорошенько, чтобы метка-то была... Лучше бы!.. Ишь ты, не догадалась же...

— Так разе с умысла? Ведь не по выбору била, а куда, значит, попало, потому с сердцов она...

— Ну, жалко, не пришлось по толстой-то роже... Полено, братец, оно... Такую бы, шишку важную наварила!.. Страсть!.. А по буркалам так вот бы морда-то затекла вот как!..

И Сережка с увлечением показал растопыренными перед своим лицом пальцами, как бы затекла морда у Ивана Терентьича.

— Ах ты, волк тебя режь... Поди же ты... по каким делам пошел... Ну, Иван!.. Так ты с этого отходить-то хочешь?.. Думаешь, теснить почнет, что ли?..

— Да, само собой, уж это безотменно... Какая тут будет приятность; выгонит, так нечто возьмешь с него, а я лучше сам уйду, безо всякого... Да и наплевать; вон сват Гаврило подговаривался, чтобы, говорит, нам с тобой вместе какое дело затеять; у меня, говорит, деньги, а ты парень ловкий... Деньги, братец, дал на лошадь, купил, привел, знатной гнедко попался... Приходи, посмотри...

— А как же здесь-то, Капитоха, приятельница-то,— так и покинешь?..

— Да что приятельница?.. Нет, брат, видно, ничего не поделаешь... хошь три года ходи за ней... Не рука, не в ту сторону смотрит... Зачерствела...

— Заматерела! — подтвердил Сережка со смехом.— Ну, брат Капитошка, а я полагал, ты это дело легкой рукой обладишь, надеялся я на тебя вот как!..

— Нет, не рука... Да черт с ней... Вот с Матреной бы скорей можно...

— Так что же?..

— Да я было уж и налаживал, примечал, чай?.. Да вот теперь эта оказия с Ванюшкой-то... Никак невозможно, надо бросить...

— Эх, брат Капитошка, плохо твое дело... А может, еще и обойдется... Если с Матреной-то, так она тебя поддержит...

— Ну, что она тут сделает?.. Опять же старик, ты то думай. Заикнись она только за меня, разве он не догадается?.. Еще скорей прогонит...

— Да, это верно... Эко горе...

— Нет, уж я так положил: прощайте, ребята, не поминайте лихом каков-таков был у вас Капитон Обожжухин...

— Жалко, брат, тебя, Капитоха...

— Что делать-то?.. Ничего не поделаешь... А может, парень, еще и лучше... От греха!.. Вот сейчас пойду в горницу, увижу Матрену али Степаниду и скажу, что отойти желаю... Пущай они перво ему скажут, чтобы знал, а коли будут больно приставать, что да почему? так так прямо и брякну...

— Полно?

— А что мне? По крайности посмотрю, что от них будет?..

— Да, ведь, запрется?..

— Да, знамо, запрется, свидетелей нет, а пущай же, однако, глаза-то ему промоют... Не больно тоже скусно покажется... А, может быть, еще старику скажут, так и мою руку возьмет, на зло ему звать меня будет, чтобы остался... Тогда посмотрю...

— Это дело... Ну, так ступай... Источный ты парень, Капитошка... Удача!.. Жалко мне тебя будет, коли уйдешь.

— Что делать-то...

Капитон смело и бойко пошел в хозяйский дом и вошел в кухню. К его удовольствию, там была и Степанида и Матрена. Обе они смутились при его неожиданном появлении: Степанида побледнела, а Матрена вспыхнула.

— Чего тебе? — спросила Анфиса, в то время как Капитон, по обычаю, молился на образ и кланялся.

— Иван Терентьича нету-ти?

— Его нету,— поторопилась ответить Матрена первая, пользуясь случаем отворотить свое раскрасневшееся лицо от Степаниды и желая скрыть от нее свое смущение.— На что тебе Ивана Терентьича? — продолжала она притворно сухо и даже свысока.

— Да вот за хлеб, за соль пришел поблагодарить да расчета попросить, отходить хочу,— так же сухо отвечал Капитон. Степанида невольно вздрогнула и вскользь посмотрела на Капитона. Лицо его было серьезно и даже сердито.

— Почему так отходить хочешь? — торопливо и даже испуганно спросила Матрена.

— Потому... никак жить невозможно... Очень обидно...

— Жалованьем, что ли, недоволен? — продолжала допрашивать Матрена.

— Да оно пускай бы жалованье... Конечно, и жалованье наше небольшое, в других местах не сэстолько получают... А окромя того... нам несходно оставаться...

— Может, тебе прибавят жалованья, — говорила Матрена, не спускавшая глаз с Капитона, и под влиянием неосуществившихся желаний забывшая даже о присутствии Степаниды.

— Да хоша бы пообещали прибавить, нам все-таки никак оставаться невозможно... потому иной раз, пожалуй, и не снесешь... тогда до греха!.. Мы, хошь бедные, а тоже люди... совесть тоже свою имеем...

Степанида прислушивалась с большим напряжением; она видела, что случилось что-то неожиданное и ей неизвестное. Она готова была спросить Капитона, но боялась, что ей изменит голос, и теперь даже была довольна, что вместо нее расспрашивала Матрена.

— Да про что ты говоришь? — настаивала та.— Кто тебя обидел? Расскажи путем.

— Не знаю, как уж и говорить-то про этакое дело,— уклончиво и сердито отвечал Капитон,— а только что так обидно, что, может, бога благодарить надо, что дома-то его нет, что под горячую руку не попался...

— Да кто?

— А Иван Терентьич... Ну...— Капитон сделал вид, как будто он проговорился против воли.

— Как Иван Терентьич?... Что он тебе сделал?

Все напрягли внимание, все ждали ответа Капитона; даже Анфиса подошла к нему и, подпершись рукою под щеку, смотрела на него; но Капитон молчал, сердито отворотясь в сторону, хмурился и судорожно перебирал пальцами по сибирке.

— Да скажи же, что такое?— настаивала Матрена.— Скажи, не бойся...

— Мне его бояться нечего,— грубо отвечал Капитон,— бояться ли, нет ли, ему меня...

И он опять отворотился и стал смотреть в сторону.

Любопытство, недоумение и тревога женщин еще более усилились.

— Так скажи же, ин, скажи, парень, все, как есть, — вмешалась даже Анфиса. — Что такое он еще начудил?

Анфиса даже руку положила на плечо Капитона и заглядывала ему в глаза.

— Зазорно и поминать-то, баушка Анфиса, вот что!— отвечал Капитон.

— Батюшки мои! Господи, помилуй... Станется от него, все станется от беспутного... У нас все не как у людей,— говорила Анфиса.— Да что такое, однако, молви же, парень...

— Да, ведь, тебя и в деревне целую неделю не было? — робко спрашивала совсем перетрусившая Матрена.

— Оттого-то он и надумал, оттого к ней и полез, что меня-то дома не было... Кабы я-то дома был, небось, не посмел бы, я бы не этак бока-то ему изломал, может, жив бы не ушел от меня...

— Да к кому он полез, к кому к ней? Говори уж все,— приставала Анфиса.

— К кому, к ней?.. Знамо, к жене моей, к законной... Вот он что сделал!.. Баба осталась одна, мужа дома нет, так он силом, силодором... Разве это возможно, разве это показано, к законной бабе насильничать... За это каторга бывает... Вот что...

Капитон теперь смотрел уже прямо и гневно на всех своих собеседниц. Все они смутились и притихли, опустивши глаза.

— Он что думал? — продолжал Капитон, горячась,— что у него денег много, так он что захочет, то и сделает... Принес целый бумажник, набил деньгами, чужую жену сманивать: вот, говорит, сколько хочешь бери... Думал, так и набросится баба... Нет, врешь, мы хошь и бедны, а нам своя честь дороже, нам чужих денег не нужно... Баба моя говорит: убирайся, говорит, ты со своими деньгами, озолоти,— ничего ты от меня не увидишь, коли нет моего сердца к тебе, потому я мужняя жена и живу я с ним все слава богу, лучше его про меня нет и ни на кого я его не променяю, и денег, говорит, мне твоих не нужно... Так он что же? Насильничать стал... Насилу баба отбилась... Так разве я это могу стерпеть? Я ему сам башку снесу, коли ежели попадется... Оттого, от греха, и уйти хочу...

Матрена Карповна и перетрусила, и оскорбилась за самую себя. Она сидела совсем сконфуженная и одурелая, распустя губы. Анфиса что-то бормотала, качала головой и разводила руками. В душе Степаниды поднялась целая буря, но не по поводу поступка брата, а по иным впечатлениям: в ней забушевала ревность к жене Капитона.

«Так, стало быть, он вон как любит ее,— думала она,— готов место бросить из-за нее, готов с хозяином драться, готов убить человека, который ухаживает за его женой... А обо мне, обо мне и не думает...»

— А, может быть, твоя жена сама его приманила к себе,— вдруг заговорила она, злобно смотря на Капитона,— может, даже и гуляла с ним да застали, так отвод только этот делает?..

На бледном лице Степаниды выступили красные пятна, голос ее звучал неровно и неприятно, точно выходил из надтреснутого горла. Она заговорила, повинуясь неодолимому желанию уязвить ненавистную для нее в ту минуту жену Капитона, да и его самого. Капитон сразу это понял, но не изменил себе.

— Нет, Степанида Терентьевна,— отвечал он,— не тебе бы это говорить, не мне бы слушать... Тут не отвод, коли она поленом его от себя проводила... Этак не приманивают, коли человек деньги принес, деньгами потчует, а она его поленом так отдубасила, что, не в примету ли вам, он целый день на сеновале пролежал да простонал...

— Было, было, батюшка, было,— подхватила Анфиса.— Как же, помните, и обед, и ужин Сережка туда ему носил...

— Так вот то-то и есть; с кем гуляют, того поленом не провожают...

Степанида опустила голову.

— Да как же она говорит, полон денег бумажник приносил, а у него и денег-то нет,— догадалась Матрена и обрадовалась этой своей догадке.— Как же это она говорит? А я наверно знаю, что у него нет таких денег...

— А я знаю, что есть,— вмешалась Анфиса,— сама видела у пьяного и Степаниде показывала... А где он взял сэстолько — этого уж не знаю... Разве ты дала,— мимоходом уколола она Матрену.

— А у меня какие деньги-то, мне откуда взять!? — окрысилась на нее Матрена.

— Ну, так уж не знаю. Видно, отец дал... Гм...

И Анфиса продолжала уж что-то вполголоса для одной себя.

— Так вот по этому самому я и отхожу... От греха ухожу,— продолжал Капитон,— потому я человек горячий, как рассержусь, так тут всяко бывает... Опять же у меня и другое место есть на примете... Вот мне бы только расчет получить, там есть несколько... Не потрудишься ли, Степанида Терентьевна, поспрошать братца-то, да сама бы и отдала мне... А с ним мне говорить не приходится, я в себе неволен... Коли можно, так отдала бы, я зайду хошь ужо к вечеру.

— Хорошо, заходи,— отвечала Степанида, не поднимая головы и не смотря на него.

— Так прощенья просим, счастливо оставаться... За хлеб, за соль, Степанида Терентьевна, Матрена Карповна, баушка Анфиса...

Капитон поклонился всем поочередно. Степанида быстро взглянула на него и во взгляде Капитона прочла нужный ей ответ; Матрена даже и головы не приподняла и не ответила на поклон Капитона: очень уж она была сконфужена и огорчена; только одна тетка Анфиса с особенным благодушием проводила Капитона ласковыми словами:

— Прощай, паренек, прощай, сердечный... Жалко парня-то, отходит... Всех-то вот хороших рабочих разгоняем... А какой сторож-от, первый сторож!.. Никогда нам экого не нажить... Где нажить экого!.. У нас разе как у людей, что ли?.. Как же... Ровно в аду!..

После ухода Капитона Матрена Карповна быстро снялась с места и скрылась в свою горницу, где прежде всего ощупала висевший в шкапе салоп и, убедившись, что деньги ее целы, залезла на постель и принялась было плакать о своей обиде, но скоро уснула; а Степанида долго-долго сидела на одном и том же месте и сосредоточенно думала. По судорожному передергиванию бровей и шейных мышц, по багровым малежам на лице можно было видеть, что думы ее не из спокойных. Она молчала. Зато Анфиса говорила, не умолкая, и думала, что Степанида ее слушает.

XVIII

В тот же самый день получена была телеграмма от Терентия Савельича, которою он уведомлял, что дела на ярмарке идут хорошо, приказывал сыну немедленно приезжать к нему на смену, одному без Матрены; подразумевалось, что Терентий Савельич, оставивши сына на ярмарке, при товаре, сам приедет домой, устроит дела, какие ему нужно, и вновь поедет на ярмарку вместе со снохою. Иван Терентьич был очень доволен таким распоряжением, дававшим ему надежду обделать дело и скрыть концы в отсутствие отца. Он тотчас же поскакал к Крашенинникову, чтобы обо всем условиться и затем немедленно ехать в Нижний: из ближайшего города пароход отходил на рассвете, и он надеялся попасть на него, выехавши из дома вечером. Во время его поездки к Крашенинникову и приходил Капитон отказываться от места.

Когда Иван Терентьич воротился домой, чтобы собраться в дорогу и тотчас же уехать, на него немедленно накинулась Матрена с упреками за его ночные похождения. Иван Терентьич, хотя был ошеломлен неожиданностью, но он знал бы, как управиться с женою, что ей ответить и чем заставить замолчать, но в резерве он видел Степаниду, которая стояла тоже во всеоружии, готовая к нападению. Иван Терентьич схватился за свой спешный отъезд, как за якорь спасения, чтобы отделаться от всяких объяснений.

— Никогда этого не было, все враки, одни выдумки... Срыв, видно, хотел сорвать... Где свидетели, где?... Только что мне некогда, — ехать надо, а то бы я поговорил с ним, — отделывался Иван Терентьич.

— А деньги-то откуда у тебя этакие взялись?—нападала Степанида. — Тятенька, кажись, тебе не оставлял?

— Какие деньги? Кто видел? Ты, что ли, видела?— защищался Иван Терентьич.

— А ты думаешь не видела?... Видела, да и не одна я, и тетка Анфиса видела... Помнишь, в бесчувствии-то приехал, на крыльце-то упал, еще тетка Анфиса тащила тебя, бумажник-то и выпал из кармана. Как еще тебя не обобрали?.. Мы развертывали бумажник-то,— полным-полнехонек...

— Ну, так что, может, это и деньги-то не мои... А коли и мои, так кому какое дело?.. Что я, малолеток, что ли? Что вы по чужим-то карманам лазите... Некогда мне только, что ехать пора, а то бы я поговорил с вами...

— С нами-то разговариваешь; как-то ты с тятенькой-то заговоришь, как узнает все про все?..

— Да тебе как... Ты рада тятеньку сомущать супротив меня!.. Кабы твоя воля была, ты бы из дома-то меня выжила бы, все бы себе одной забрала... Знаю я тебя. Ты, а не я у отцовского-то сундука, тебе ключи-то верят... Да пущай ты, а то и дура-то моя туда же, напротив мне...

— Кабы ты путный был, не говорил бы ты этих слов... А кто за тобой сызмальства-то ходил, кто замест матери для тебя был?...

— Ну да ладно, ладно, слыхали мы это все... Отступитесь вы, — мне не до того теперь; еще на пароход не поспею из-за ваших разговоров... После все видать будет, а теперь мне некогда...

Иван Терентьич ушел из дома, торопил запрягать лошадей, сбегал без всякой надобности на фабрику, чтобы только укрыться до отъезда от женщин, и как только лошади были готовы, вскочил в тележку и уехал, почти не простившись с женою. Внутренне он сильно был смущен и не столько открытием неудачного ухаживания за Аленой, сколько тем, что у него видели деньги, но, как легкомысленный плут, не хотел думать о последствиях и надеялся на авось...

«Коли ежели до отца дойдет,— рассуждал он,— ну, так что?—Скажу: сам обещал фабрику сдать, я для будущего оборота... А коли ежели очень станет напирать... скажет: и фабрику тебе не сдам... Ну, тогда через Матрену... Теперь не прежнее время... Возьмем свое...»

У первого же кабака он остановился и приехал в город совсем пьяный, но на пароход не опоздал и крепко уснул на палубе под шум и говор толпы, свист пара и клокотанье воды под колесами.

Капитон только предлог выдумал о получении расчета, чтобы прийти к Степаниде и условиться о свидании. Она это сразу поняла и умела встретиться с ним у себя в доме хоть не надолго, но без свидетелей.

— Иван в Нижний едет, некогда с ним поговорить о твоем расчете-то,— заговорила она.

— Да разве я для того... Когда выйдешь-то? — спросил он, оглядываясь.

— Сегодня нельзя, суббота... А завтра...

Под праздник Степанида никогда не назначала Капитону свиданий.

— Ну, ладно... Да оно и лучше не сейчас-то, а то опасно, жена примечать стала... Так приходи...

Капитон ушел, а Степанида стояла и думала: «Жена! опять он об жене!.. Ровно ножом резнул, напомнил об ней... Любит он ее, любит больше меня!.. Эх, не велела я ему сегодня приходить, мучься до завтра, все бы уж равно; видно, не отмолить мне моего греха, кипеть в смоле горячей... Господи, помилуй!.. Экая я грешница, окаянная, нераскаянная! Мысли-то какие у меня!.. Отступился ты от меня, господи!.. Нет, схожу хошь в церковь завтра, помолюсь, во что господь ни поставит...»

Степанида на следующий день пошла в церковь, но, как нарочно, сошлась на дороге, около самого села, с Аленой, — так что и в церковь пришлось им войти почти вместе. Алена не была богомольна и в церковь ходила только по большим праздникам, но последнее время она часто думала о Степаниде, подозревая мужа в связи с нею, и в этот раз пошла нарочно, чтобы посмотреть на нее. Она не ревновала мужа к Степаниде, не думала, чтобы он мог полюбить ее больше, чем ее, да и не была вполне уверена, что они в связи, хотя и сильно это подозревала, но ее тянуло какое-то непобедимое любопытство взглянуть на свою предполагаемую или действительную соперницу. Допрашивать мужа об его отношениях к Степаниде ей не хотелось, да, пожалуй, он не сказал бы правды, а если бы и сказал, так Алене было бы неприятно это слышать; а лучше, думала она, я сама посмотрю на нее: как взгляну, так по глазам все узнаю; у нас, баб, на этот счет глаз вострый.

И вот соперницы встретились. Степанида знала Алену, как всех в деревне, но прежде никогда не обращала на нее особого внимания; а со времени связи с Капитоном не встречалась с нею. Сердце ее страшно замерло и забилось, когда глаза их встретились; она чувствовала, что побледнела. Алена поклонилась ей и смотрела на нее смело и с улыбкой. Степанида не выдержала этого взгля-

да и отворотилась, но улыбку Алены заметила. Эта улыбка была не злая и слегка насмешливая, она была даже веселая и как будто выражала мысль Алены: «ну, теперь и спрашивать нечего,— сама вижу... А не красна же ты, девка, позавидовать нечему!...» Но Степанида растолковала эту улыбку иначе: «она все знает; погубитель мой, видно, все ей сказал; она смеется надо мной; может, и он с ней вместе смеется... Кабы она думала, что он любит меня, не так бы она смотрела, — зло бы в ней сидело против меня...».

Алена, случайно или с умыслом, встала в церкви почти рядом с Степанидой, и последняя, вследствие этого соседства, почти вовсе не могла молиться: кровь кипела в ней, мысли, совсем посторонние молитве, не оставляли ее голову, она чувствовала ревность, злобу, обиду, ненависть к Алене, и в то же время ее мучило неодолимое желание смотреть на свою соперницу, разглядеть ее хорошенько, заметить все ее недостатки, отгадать все, что она чувствует и думает. Степанида нарочно подвинулась несколько назад, чтобы Алена была впереди, и чтобы таким образом ей удобнее было смотреть на нее, незаметно для посторонних. Она, казалось, хотела пронзить Алену своим взглядом, и та несколько раз, по какому-то бессознательному побуждению, оборачивалась к ней и тоже взглядывала на нее, но в эти мгновения Степанида быстро крестилась и кланялась в землю, хотя каждый раз ей казалось, что на губах Алены была та же самоуверенная и насмешливая улыбка, и, конечно, над нею, над нею, старой девкой, перестаркой, которая вздумала оттягать у нее такого мужа, молодца и красавца.

«А сама-то ты, что же, много лучше меня? — думала Степанида, поднимаясь после поклона на ноги и вновь устремляя глаза на Алену. — Да, тельна, высока, статна и рожа гладкая, веселая... А вон рябинки, рябинки... Около носа-то рябинки, небольшие, а есть, есть!.. А глаза-то хуже моих. Помню, я, как еще махонькая была, так говорили, что у меня ровно стрелы, — и вострые, и умные... А у нее глаза не умные, веселые, а не умные... распутные глаза, — вот какие! Да, да! И не чаю, чтобы умна была, а так, — гулящая баба... Не поверю я теперь ни за что, чтобы она не сама Ивана заманивала... Заманивала, заманивала наверно, и гуляла, чай, с ним, да увидала день-

ги, стала просить, а он не дал, вот и будто силодором залез... Сама не хотела, так как бы он в избу-то попал? И в избу бы не пустила, и дороги бы к ней не знал... Да, вот, не догадалась же я тогда все это сказать Капитону, да вот ужо, погоди, все скажу... все... Ну, тебе нечем передо мной посмеяться: я бы от этакого мужа ни на кого и смотреть-то не стала... не то, чтобы близко к себе подпускать... Я, коли уж согрешила, полюбила парня, так я за него душу заложу, да!... И ничего мне не надо, и в огонь, и в воду пойду из-за него, а ты нет, у тебя, чай, не то в голове. Вон как вырядилась, вон как, ровно я не знаю, что у вас ни гроша за душой... Не на Ванькины ли еще деньги-то, не он ли надарил... Вот так жена! Дружок рядит, а муженек любуется... Так неужто он и взаправду на нее любуется, а обо мне и не думает? Неужто он только ее и любит, а меня так только?... Нет, погоди еще, погоди, так не уступлю, не отдам. Я не даром из-за него душу свою погубила, чистоту свою ему отдала, на адские муки себя обрекла... Погоди еще, погоди... Не верти головой-то, не смейся, не радуйся!.. Господи, батюшка, не погуби ты меня, не покарай окаянную, не дай умереть без покаяния... Вкусила я прелести греховной, не соблюла себя, уловил меня окаянный в сети свои, и нет моей силушки, нет моей волюшки; не выбиться мне из них, не изжить мне без него: он от меня, и дух вон из меня!.. Раны мои осмердеша во мне, в бездне греховной валяюсь... в грехах утопаю... и не выбиться, не спастися мне... Все замолю, все запощу, вериги надену, власяницей плоть свою измозжу, только не дай умереть без времени и без покаяния, а теперь не дай отнять его у меня... Господи, грешная, недостойная, о чем прошу, о чем молю?...»

И Степанида прижимала горячий лоб свой к холодным кирпичам пола церковного, оставалась в таком положении до тех пор, пока кровь не приливала к голове и не начинала стучать в виски; но когда поднималась на ноги и глаза ее встречали Алену, снова поток тех же мыслей и чувств кружился в ее голове и сердце.

Так прошла вся обедня; Степанида не слыхала ее, не видала ничего кругом себя, кроме одной Алены, которую он чувствовала теперь своим врагом и питала уже к ней неопределенную злобную ненависть.

По окончании обедни Алена, собираясь уходить из церкви, повернулась нарочно в сторону Степаниды, же-

лая еще раз взглянуть на нее, и та же улыбка играла на ее губах; но эта улыбка тотчас же сбежала с лица Алены, как только глаза ее встретились с глазами Степаниды: теперь эта последняя смотрела на нее прямо и в упор такими страшными глазами, в них было столько злого огня и ненависти, что теперь Алена не выдержала и быстро от нее отвернулась и пошла из церкви.

— Ага, ага,— чуть не сказала ей вслед Степанида.— Что? Кто больше любит? Кто? Я или ты? Я про это думала, гадала про это... Ждала, чтобы ты посмотрела и думала: кто скорей отворотится, тот и любит меньше, тому и не владеть им... Ты отвернулась, ты... а я вот нет, нет!... И будет мой, одна я владеть им буду!...

Народ выходил из церкви, но Степанида оставалась на своем месте, не желая столкнуться с Аленой. К ней подошел дьякон и подал ей просвиру.

— Покорно вас благодарю, — отвечала она, по привычке целуя просвиру и завертывая ее в платок.

— Здорова ли, Степанида Терентьевна? — спросил дьякон, смотря на нее пристально.

— Ничего, слава богу, — ответила Степанида, стараясь собрать мысли и успокоиться.

— Больно в лице-то ты нечто?... Так даже вид такой... неблагоприятный... Словно, сказать так, опосля болезни...

— Да, я так тут маленько прихворнула, не то чтобы в лежку, а так... головой бьюсь...

— Конечно... конечно,— сказал дьякон со вздохом,— больше от неприятностев эти болезни наши все... Тятенька-то еще не воротился?... Когда ожидаете?...

— Вчера брат Иван уехал, а завтра, а либо во вторник и тятенька должен воротиться.

— Уехал Иван-то?...

— Вчера...

— Так... Зашла бы ты ко мне,— сказал дьякон таинственно,— словечко у меня есть до тебя... Я, признаться, даже сам намеревался посетить дом ваш...

— Так что же, милости прошу.

— Да нет, у меня лучше, спокойнее...

Дьякон оглянулся.

— Потому дело такое... щекотливое. Ты отправляйся помаленьку ко мне, я сейчас разоблачусь и сию минуту... Подожди маленько там...

— Так я здесь подожду вас...

— Да нет, тут вон отец Андрей и прочие... причетники... Я бы не желал, потому могут помешать, а дело такое, секретное... вас, вашего дома касающее...

— Хорошо, так я пойду к тебе, подожду там...

— Да, подожди...

Степанида ожидала дьякона с стесненным сердцем. «Не про нее ли он что узнал?» — думалось ей. Она знала, что духовенство в селах прежде других узнает все тайное и тщательно скрываемое, что делается в околотке. Она обдумывала, как ей повести себя, если дело касается действительно ее. Но дьякон скоро явился и, с таинственным видом уведя ее в горницу, неоднократно отворив предварительно двери и посмотрев, не подслушивает ли их кто, хотя у него в доме, кроме ребятишек и глухой работницы, никого не было, объявил Степаниде, что до сведения его дошло, будто бы Иван Терентьич, в отсутствие отца и тайно от него, запродал купцу Крашенинникову на несколько тысяч товара совсем за бесценок, и что Терентий Савельич от этой продажи может понести большие убытки.

— Верно ли, не знаю, за что купил, за то и продаю,— заключил дьякон,— но, памятуя добродетель дома вашего, желаю предупредить...

«Вот они, деньги-то откуда»,— подумала Степанида и сказала вслух:

— Спасибо, отец дьякон, как тятенька приедет, так и скажу...

— Да, только, если провралось, чтобы на меня претензии не было, потому я из одного доброжелательства к дому вашему...

— Да само собой, отец дьякон, покорно тебя благодарю, что предупредил...

— Да, да!.. Да, ныне вот молодые люди как... на что покушаются, на собственное свое, надо так сказать, на собственные достатки!..

— Ах-ха-ха... — Дьякон вздохнул глубоко и болезненно.

— Ну, а я говорил с обществом,— продолжал он, меняя тон.— Все с превеликим даже удовольствием желают тебя и место отводят на монастыре, но я предпочитаю: поселяйся у меня на огороде, покойнее будет для тебя... Говорила ли с тятенькой?...

— Говорила, да не отпускает из дома... Нет, уж я, отец дьякон, решила, после макарьевской уйду на богомолье...

— Куда и надолго ли?

— Да сколько походится... А ворочусь, тогда что бог сделает...

— Ну, что же, и то богоугодно, только не забывай родины... родины не забывай... и родного храма своего, в нем же благодать дара господня прияла... Мы здесь без тебя стоскуемся... осиротеем... А вот что, Степанида Терентьевна, тятеньки-то нет, попросить его нельзя, а невозможно ли штучку миткалишка ребятишкам на рубашонки... Не разорит, полагаю?

— Я думаю, можно, отец дьякон.

— Да, пожалуйста... потому совсем даже обносились, а для вас это не составит расчета...

— Хорошо, я похлопочу...

— Да, пожалуйста... Оченно, говорят, ноне дела хороши на ярманке... Особливо, сказывают, на ваш товар...

Степанида стала прощаться, дьякон вскользь упомянул о чае, но не настаивал и, провожая Степаниду, на крыльце, вновь напомнил о миткале.

— Что тятеньку тревожить из этакого вздора, и сама можешь распорядиться... Да, пожалуйста,— сказал он и вздохнул.

XIX

Степанида очень равнодушно выслушала сообщение дьякона, которым он надеялся поразить ее. Она ни о чем не могла и не хотела думать, кроме Капитона. Когда, наконец, ночью она увидела его, то прямо спросила:

— Ты говорил что про меня жене?... Про любовь про нашу?..

— Разве это возможно?... Скажи-ка, так она такой сполох подымет, святых вон выноси... Она и тебе-то бы прохода не дала, глаза бы выцарапала...

— А ничего она не знает?

— Наверняк не знает, а сумлевается, потому примечает...

— С чего?

— А тоскую вот когда...

— Как тоскуешь?... Об чем?

— Знамо об чем, по тебе... Иной раз долго не видимся, и возьмет тоска, ходишь притоманный, думаешь... Ничего тебе не надо, ничто не веселит, даже еда на ум нейдет... А она приставать начнет, ластится, так даже еще хуже... Только и помышления, что ты... Ну, она и примечает...

— Батюшка ты мой, свет ты мой, так, ведь, это ровно со мной,— говорила Степанида обнимая Капитона, и даже зарыдала от радости,— Так неужто ты так меня жалеешь?...

— Так, ведь, уж давно тебе сказано,— нетерпеливо проговорил Капитон, которому в эту минуту Степанида была противна.

— Так неужто ты меня больше жены своей жалеешь?

— А вот я тебе что скажу· не знаю я, кого больше жалею, а либо ты уйдешь со мной скорей,— убежишь, либо я откажусь от тебя и стану с одной женой жить, потому я из силы вон вышел... Истомила ты меня..

— Радость ты моя, золотой ты мой, да хошь сейчас убежим; все брошу, пойду за тобой хошь на край света белого...

— Ну, ладно, а с чем бежать-то,— припасла?...

— Да чего нужно? Заберу все...

— Да ничего не нужно, окромя денег, только денег много нужно; на эти не убежишь, что дала...

— Где же мне взять-то больше? Отец не дает, а у меня нету больше ничего...

— То-то и есть, вот вы все бабы так: люблю, жалею, а как до дела, так и нет ничего... Тут канительничать нечего, а делать, так делать... У отца есть твои деньги еще от матери, они в обороте у него были, сколько теперь их накопилось, может и не знамо сколько, тысяч двадцать али более... А ты вот от своих денег без гроша сидишь, да еще вот и счастья своего должна решиться... Сдумай ты сама, молви мне: просила ты у него своих денег,— ведь просила?...

— Просила, Капитошенька, просила, земно кланялась...

— Ну, что же, ведь, не отдал, тебя не отпустил?

— Жалко ему меня... Не на кого ему положиться-то, окромя меня... Поживи, говорит, успокой мою старость,

а опосля меня все твое тебе останется... На одну, говорит, я тебя полагаюсь...

— Полно ты! Просто, с деньгами жаль расстаться... И никого ему не надо, окромя Матрены... Живи, живи с ним, работай на них, пока надобно, да пока по шее не прогнали... И не видать тебе своих денежек никогда...

— Так что же мне делать-то, сердечный мой? Ну, научи меня, посоветуй...

— А вот что делать: коли люб я тебе, коли надобен, коли хочешь в любви со мной жить и не хочешь дать заесть свой век вовсе, так ждать да надеяться на отца нечего; а надо коротким манером взять свои деньги да и уйти...

— И рада бы взять, да как их взять?

— А вот как: где у отца деньги лежат? Ведь, в том сундуке?

— В нем, в самом...

— А ключи где от него, с собой возит, али дома покидает, куда едет?

— Нету, где с собой возить, ключи большие... Три ключа: один нутреной, два висячих... Завсегда они заперты у него в другом сундуке, а от того сундука ключ в шкафном комоде, за косой доской заперт; а вот уж от закосой доски ключик небольшой, махонькой,— он завсегда на себе носит... Окромя меня никто и не знает, где он эти ключи прячет, навряд ли даже и Иван с Матреной знают... Сторожек он очень насчет денег...

— А какой ключ у комода-то?... Подобрать нельзя ли?... У тебя, чай, ключев-то много, попытала бы?...

— Как, попытать? — спросила Степанида, вздрагивая и опуская руки, которыми она обнимала шею Капитона.— На что же это, Капит... на что попытать-то?...

— Да что ты, малый ребенок, что ли?.. Знамо зачем... Коли ключ подберешь подходящий, комод можно отпереть и ключ от сундука вынуть, в коем те ключи лежат... Ну, а уж тут отперла железный сундук, отсчитала свои деньги, взяла да и в путь...

— Так, ведь, это как же?... Ведь, это, стало быть, с подборником ходить... ведь, это, стало быть, украсть надо? — Степанида едва выговаривала слова. Голова у нее кружилась, сердце замирало.

— Разве кто свои деньги берет, тот ворует?... Ведь ты свои деньги возьмешь,— не его...

— Да я не знаю, сколь и денег-то моих...

— А кто в том виноват? Он же... Ну, и бери больше... Не разоришь, небось... Хошь и половину, что ни есть, возьмешь, так все еще у него много останется и на беспутство его, и на Ванькино пьянство. Не возьмешь ты, все равно Ванька с Матреной выудят у него, а ты не при чем останешься.

— Да как же, Капитошенька, я не знаю, как это... Не грешно ли будет?.. Ровно как я на отца родного руку подниму... Совесть-то меня замучит .. заест ..

— Ну, а коли такова твоя совесть, что свои деньги взять страшно, так и разговаривать нечего, и все дело надо отставить, и мне с тобой, видно, попрощаться да к жене ворочаться... Будем жить по-старому: ты с тятенькой да с братцем, с невестушкой, а я с женой богоданной, Аленой Федотовной... Ну, что делать-то? Потоскую, а авось не помру, отвыкну и от тебя; жена у меня тоже не кое-какая... Вон люди из-за нее как еще убиваются... Ну, прощенья просим, Степанида Терентьевна, на любви, ласке вашей благодарим...

Капитон сделал движение, намереваясь привстать с места, но Степанида уцепилась за него обеими руками.

— Погоди, не говори ты этак-то, погоди..

— Чего годить-то, Степанида Терентьевна? .. Я, ведь, не для ради пустых разговоров ходил к вам... Я от любви сердца... Я жену хотел опокинуть для вас... в чужие дальние стороны, в пределы, в самые хотел для любви вашей закопать себя... Родины своей, друзей-приятелев своих, всех сродников своих решиться... На все шел по любви по моей крайней, пристрастной... А вам того не угодно... Ну, что же делать!... Насильно мил не будешь... Проживу и с женой...

— Ай, да не говори ты... Уж я ли тебя не люблю?!... Души своей для тебя не жалею... Убежим так, убежим хоть сейчас... А то, ведь, страшно мне...

— Пустых речей, Степанида Терентьевна, говорить нам с вами не приходится, да и не к чему... Который человек любит да жалеет, тому ничего не страшно для любви для своей... И на все он пойдет... Вот я? То ли жена за мной не присматривает, а изымать все не может, и следа моего не найдет... Велела ты мне с фабрики уйти, много не думал,— тотчас ушел... Может, смекнула ты и сама, что Иванов подход к жене я для резона

только принял... Без твоего приказа не отошел бы и с Иваном управился бы по-другому... Не велела ты сама с Матреной якшаться,— сразу отрезал, а, может быть, через то счастья своего не получил... Она бы меня, знаю, что не оставила, потому для нее и тятенька больше, нечем для тебя, сделает: повинуется ей... Ну, да я на то не смотрел; люб человек велит, то я и делаю, на него надеюся... А вот пришло, видно, время и покаяться, любовь-то она ваша выходит до случая... Эх, что тут говорить, Степанида Терентьевна... Прощай, ну... оставайся с богом, не поминай лихом, какова была душа, каков человек тебя любил изо всего своего сердца!

— Ай, да нет!.. Да постой!.. Да не то ты говоришь... И я все желаю все сделаю... Не пущу я тебя от себя, на край света белого забегу за тобой.. Ничего мне не надо, окромя тебя... Да подумай ты, а ну, я не подберу ключа-то? Тут как?...

— Так велика беда: загнул гвоздь крюком,— тот же ключ... Какой угодно замок отпереть можно...

— Ну, а как услышат, Тут Матрена рядом спит, через стену... А замок-от в железном сундуке ровно с музыкой; тятенька коли отпирает его, так он трынкает, да таково громко.. раза по три· трын, трын... Ну, услышат?..

— Так, ведь, не теперь, а вот когда старик с Матреной уедут в ярманку; останешься только ты да Анфиса, а та, сама ты говорила, как уснет, так хоть в барабаны бей,— ничего не услышит... Кому же услыхать-то?..

— Не знаю я не знаю... Капитошенька, не сердись ты, дай мне подумать.. Может быть, я и... И страшно-то мне, и перед богом, кажись, грешно.. И с тятенькой-то что будет...

— Про тятеньку-то ты не говори, коло него Матрена останется... Тебя, что ли, ему нужно? Мало еще тебя он обижал да притеснял... Ему только денег твоих жаль, а об тебе-то он и не думает... Ну, а ты ему письмо припиши да и оставь в сундуке-то· так, мол, и так, тятенька, твоего, мол, ничего я не взяла, а взяла только свои, что мне на половину следует и по маменькиному завещанию... Довольно, мол, я послужила тебе, а теперь хочу сама для себя пожить...

— Нет, Капитошенька, не написать мне этого, не написать, рука не поднимется...

— Ну, как хочешь, твое дело... А подумать — подумай, срока тебе дам довольно... Как ждете, когда отецот приедет?

— Да ждем завтра...

— А опять когда уедет??

— Да думаю так, что скоро; не уехал бы на другой день, особливо как узнает что Иван тут набедил... Вот опять горе старику... Ох, батюшки мои...

— А что такое?

Степанида рассказала, что слышала от дьякона.

— Ну, так вот и лучше не надо,— сказал Капитон.— Как только приедет ты ему все тотчас и расскажи, да и торопи его, чтобы ехал скорей на ярманку... А как он уедет, так ты на другую же ночь доставай деньги и выходи в Ямки... Я тебя там буду ждать, знаешь,— коло мостику на полянке... Теперь я, чтобы отвод сделать, словно моего и духу тут нет, завтра же уеду в волость, пачпорт выправлять, скажу, что по делам свояка в разные города поеду... Из волости и домой не заеду, прощусь будто совсем, а сам у свояка поживу... И через три дня кажинную ночь буду выезжать, на лошади, в Ямки, и буду ждать тебя... Вот тебе и срок... Коли выйдешь, и с деньгами, так сейчас мы с тобой и в дорожку, заедем куда подальше, лошадь с телегой продадим али и так бросим, да и поедем в Москву али и в самой Питер, а оттуда куда по рассуждению... Либо за море поедем, либо в турецкую землю, Там, слыхал я, сказывают, много нашего народа на всей на слободе живет, и взять их оттуда никак нельзя, потому другое царство и нам не подвластно... Вот тогда и заживем, Стешенька, разлапушка моя... Заживем ровно в раю... Сторона там, рассказывают, невпример нашей: кедры ливанские растут, трава исот такая, сладкая, виноград и всякие разные фрукты... Я от одного солдатика слыхал, бывал он там, и дорогу мне рассказывал: в город Одест, говорит, поезжай, а там в Царьград, а там, говорит, уж всякий покажет... уж там не наша земля, турецкая...

— А ну, изымают, Капитоша?

— Как же это могут нас изымать?.. Кто же знает, в которую сторону мы поехали? Всякой подумает скорей, что на макарьевску ударились, вниз по Волге, а мы, напротив, поедем к Питеру... Нет, только ты обделай хорошенько, чтобы до утра не хватились; а утром уж мы где

будем-то, лови нас, ровно ветра в поле... Ну, вот и все, и весь тебе сказ... Так по рукам, что ли? Лады?.. Жить вместе и умирать вместе? Так, что ли, лапушка ты моя Стешенька, душа ты моя чистая, пространная?..

Капитон обнимал и ласкал Степаниду.

— Ох, ох... Да уж, видно, тому и быть... Не расстаться мне с тобой, не жить мне без тебя... Все равно погубила душу одинова, гибнуть до конца...

— А состареемся, молиться станем... каяться...

— Да, да простит ли нас бог-то? Помилует ли?..

— Что же не простить-то?... Он, батюшка, милостив ко всякому... А мы что?... Мы не душегубцы какие, не разбойники... От одной мы своей любви несокрушимой страдаем... Так ли, умоленая ты моя?..

— Говоришь-то ты, милый мой, ровно песни поешь, ровно в музыку играешь... И все бы слушала тебя,— сыто не наслушаешься... Эко солнышко мне господь послал тебя теплое, душу-то ты мою греешь, сердце-то ты мое растопил совсем!... Говоришь ты мне ласково, любовно,— ровно медом кормишь... Так я вся и таю, и таю; ровно душа от тела отделяется, ровно легость какая во мне, ни рук, ни ног под собой не слышу, ни тела своего грешного!..

После многих подобных взаимных ласк и нежностей влюбленные заметили утреннюю зарю и стали прощаться.

— Ну, так помни уговор,— сказал Капитон, уходя,— либо в останный раз сегодня мы прохлаждались с тобой, любовью нашей тешились, либо долго еще, пока веку нашего молодого хватит, гулять нам с тобой на просторе, безо всякого страха, без опаски. Помни же, коли отец уедет в три дня, в ту же ночь выходи, ждать буду... только с деньгами, а без денег придешь... на себя пеняй... Ну, сердце мое, ну, утеха моя, ну, прощай покулева...

Капитон отошел было уже несколько шагов, но Степанида нагнала его и остановила.

— А об жене ты не будешь тосковать, как уедем? — спросила она.

— Да уж сказано, нет. Уедем — и не помяну... Ну, а известно, коли дело наше с тобой разойдется, да здесь останусь, так уж с ней жить буду..., само собой... законная!.. Уходи-ка домой, пора...

Он ушел, а Степанида стояла неподвижно и смотрела вслед ему до тех пор, пока он не скрылся в утреннем тумане.

XX

Не на другой день, как ожидали, а на третий день Терентий Савельич приехал домой, веселый и ласковый. Он несколько раз облобызал Матрену, поцеловал Степаниду и пошутил даже с Анфисой, что очень редко бывало; но его сразу поразили какое-то смущение, молчаливость и унылость Матрены, бледность лица и особенная серьезность и в то же время рассеянность Степаниды.

Тотчас подали самовар. Степанида начала приготовлять чай.

— Как бог дал дела? — спросила Степанида, чтобы говорить что-нибудь.

— Дела слава богу... Нынче ярманка была невпример... Денег много, платежи хорошие и сроки небольшие... Кабы Ивану на тот год так дело начать, на что бы лучше...

Последние слова Терентий Савельич нарочно проговорил, чтобы потешить Матрену, намекая на то, что он не забыл своего обещания передать заведение сыну; но при имени Ивана Матрена вся вспыхнула и опустила голову, вместо того чтобы улыбнуться отцу, как он ожидал.

— А Ивана-то дождался на ярмарке? — спросила Степанида.

— Как же, целых два дня при мне был, при нем последнюю получку получил да и поехал,— отвечал Терентий и вновь заметил, что при вопросе Степаниды Матрена быстро вскинула на нее и так же быстро опустила глаза, в которых видно было сильное беспокойство. Степанида при этом оставалась серьезна и мрачна.

— Я его там при товаре оставил: кой запродан,— сдать, а кой нет, так велел ждать до меня, держать в цене... Цены ноне стоят хорошие; думаем, не поднимутся ли... А вот я денька два-три отдохну, да мы с тобой, Матреша, и опять поедем...

Матрена насильно улыбнулась, но ничего не сказала.

— Дня через два или три хочешь ехать, тятенька? — переспросила Степанида.

— Да... А что?

— Ничего, я так,— торопливо отвечала Степанида и побледнела еще больше.

— А что, Иван, видно, шибко кутил здесь без меня? — спросил Терентий Савельич, не обращаясь ни к кому особенно.

Степанида ничего не отвечала, только сжала губы, а Матрена робко и вопросительно взглянула на Степаниду.

— Приехал он на ярманку-то,— продолжал Терентий Савельич,— рожа такая у него, ровно распитая, красная... Я даже спросил.— Так, с ветру, говорит, должно... Что, пьянствовал?

Степанида молчала.

— Испивал, а не так, кажись, чтобы уж очень,— отвечала Матрена.

— Ты не покрывай его, уж я сам его знаю довольно,— сказал Терентий.

— Я не покрываю... Что мне покрывать, я чего не скажу, другие скажут,— возразила Матрена.

Ей очень хотелось бы пожаловаться отцу на поведение Ивана относительно его любовных похождений, но в то же время она боялась говорить о деньгах, которые видела у Ивана, чтобы не рассердить отца, и считала луч ше рассказать ему обо всем наедине и в той форме, как покажется удобнее. Присутствие Степаниды стесняло ее.

— Да он не буянил ли над тобой, без меня, пьяный? — спросил Терентий, обращаясь к Матрене.

— Нет, буянить — не буянил... даже не изругался ни разу...

И успокоившись, что Степанида молчит, она начала с отцом посторонний разговор об ярмарке и развеселилась.

Терентий Савельич тоже успокоился.

Степанида решилась рассказать отцу все тотчас же, как он отопьет чай, но также наедине, и потому, как только он ушел в свою комнату, она пошла вслед за ним; Терентий Савельич, только что снявший сюртук и выгружавший карманы штанов, сердито оглянулся и хотел даже прикрикнуть, что входят без спроса, но остановился, когда заметил, что Степанида не только вошла, но и запирает дверь на крюк. Он тотчас же сообразил, что она хочет ему сообщить что-нибудь особенное. Повернувшись к отцу, она заметила на столе большую пачку радужных

ассигнаций, перевязанную бечевкою, которую отец, как видно, только что вынул из кармана. Она невольно вздрогнула и поторопилась отвести глаза в сторону.

— Что тебе? — спросил Терентий Савельич, поворачиваясь спиною к столу и загораживая его собою.

— Мне нужно сказать тебе, тятенька... Дело такое... не ждет...

— Что такое? — испуганно спросил Терентий Савельич.— Говори скорее.

Степанида рассказала отцу все, что слышала от дьякона, не утаила и того, что видела сама большие деньги у Ивана; но о любовных похождениях его умолчала. Она предоставляла об этом говорить Матрене, если та найдет нужным, а у нее даже язык не проговорил бы имени Капитона с глаза на глаз с отцом.

Терентий Савельич сел, слушая дочь. Пот выступил у него на лбу. Он тяжело дышал и смотрел на дочь испуганными глазами.

— Что же это он, разбойник, ведь, он разорит меня?.. То-то я замечал, на дню-то раз пять прибегал к нему в палатку приказчик Крашенинникова... Ах, он разбойник, ах, он...

Терентий Савельич разразился ругательствами.

— Что же теперь делать-то? Ведь, он, смотри, без меня спустит ему товар-от... Там ищи да свищи... Ах, он такой-сякой, ах...

И снова ругательства.

— Не лучше ли бы, тятенька, ехать опять поскорей, на ярманку... Может, еще захватишь, и не успеет сдать-то...

— Где, чай, захватить,— не захватишь, долго ли сдать... А надо, надо ехать поскорее опять...

— Потому, тятенька, он тебя ждет дня через три, ну и не торопится, успею, мол, а ты как раз и нагрянешь...

— Да, да, верно... Сегодня же поеду... Вот в ночь и поеду... Вот сынок! Отец-от копил, копил, а он что делает... Ах, ты, боже мой... Да этот Крашенинниковский приказчик плут, он и рад... Положим, права не имеет продавать... фабрика моя и товар мой, и доверенности у него нет на продажу... Да поди — ищи, судись с ним... Ах ты, ах!.. Вот радовался, получил нынче даже старые долги, безнадежные иные, и те заплатили... Тысяч больше двадцати привез (Степанида при этих словах вспыхнула, по-

том побледнела и опустила глаза). Думал, вот теперь слава богу, долги собрал, капитал воротил, пущай сын делом орудует, а я на отдых... А сынок-от вон как, вон что делает, в своем-то же добре... Да сколько хошь он продал-то, не слыхать ли?

— Да доподлинно неизвестно, а сказывают, не одну тысячу... Это, стало быть, у него задаток был, что ли?..

Терентий Савельич схватил себя за голову.

— Да что же, тятенька, ты не убивайся; сам приедешь, может, все дело поправишь...

— Надо ехать!.. Сегодня же ехать... Поди, скажи, чтобы Матрена готовилась, собиралась, и лошадям бы овса задали... Пущай Сережка едет с нами, на серых поеду... А вы уж ночь-то как-нибудь и одни... Еще захвачу пароходы-то... Да приди сюда опять, поможешь мне деньги переверить да разобрать. Я при том разбойнике их и из кармана не вынимал, не показывал ему... Ах ты, создатель милостивый!.. Вот сынок, вот!..

Степанида поспешила передать приказания отца. Когда она потом разбирала и считала с отцом деньги, которые он привез, руки ее дрожали, лицо было покрыто красными пятнами, глаза у нее застилало туманом, сквозь который она едва разбирала ассигнации.

Отец при ней отпер денежный сундук и стал укладывать деньги. Степанида, придерживая крышку сундука, следила за движениями отца, смотрела внутрь сундука. Там лежали мешочки с звонкой монетой, золото и серебро сквозило сквозь ткань ряднины; лежали колонки серий, пачки банковых билетов, связки ассигнаций: последних было немного. К ним укладывал Терентий Савельич и привезенные ассигнации.

— Вот хотел съездить завтра в город, купить в банке билетов,— говорил Терентий Савельич,— вот и того не удастся, будут теперь лежать деньги без проценту... Ах, ты, разбойник ты этакой!..

— Да давай я, тятенька, съезжу, куплю...

— А ты разе сумеешь?

— Как потолкуешь, так чего не уметь...

— А тебя обсчитают?

— Чего обсчитать? Не обсчитают, может, не бессчетная я...

Терентий Савельич мгновение подумал как бы в нерешимости.

— А как у тебя отнимут?

— Кому отнять-то? Не маленькая, днем поеду... У нас разбойников нет...

— Да нет, ровно как нескладно... Девка, 'экие деньги... Нет, нет... Где тебе?.. Пущай уж так, ничего... Нет...

У Терентия Савельича дрожали руки. Он торопливо стал запирать сундук.

«Не верит он, не верит мне»,— мелькнуло в голове Степаниды. Она отошла от сундука и смотрела, как отец запирал его и прятал ключи.

Степанида уже пробовала множество своих ключей. Один из них приходился к ящику комода, в который отец запирал теперь ключ от сундука; она знала, что ей легко будет взять деньги, сколько вздумает, но ей легче было бы уйти с теми деньгами, которые отец передал бы ей из рук в руки... Теперь она предвидела необходимость длинной и мучительной процедуры отпиранья замков и ее подирал мороз по коже от одной этой мысли. Она стояла неподвижно, бледная как полотно, широко раскрывши свои большие глаза, неподвижно устремленные в одну точку.

— Ну, что же, теперь поужинать, да и ехать... Поди-ка, готова ли Матрена-то,— сказал ей отец.— Да вели тетке собирать ужин...

Степанида наполовину не поняла, что сказал отец, и медленно вышла. Она вся сгорбилась, точно ей навалили на плечи тяжелый камень. В душе была смертельная тоска.

Терентий Савельич ни слова не говорил с Матреной за ужином, а та также не решалась с ним заговаривать, даже не спросила о причине такого быстрого отъезда. Она догадывалась, что виновницей его была Степанида, что-нибудь наговорившая отцу, и надеялась отмстить ей впоследствии.

После ужина они уехали. Матрена даже и не простилась со Степанидой.

XXI

Выслушивая последние распоряжения отца, прощаясь с ним и провожая его, Степанида ни слова не говорила, смотрела в землю и чувствовала, как давило ей

горло и слезы подступали к глазам. Она думала о том, что видит отца в последний раз, воображала, что с ним будет, когда, воротясь, он не найдет не только дочери, но и... денег... Неужели она это сделает, неужели у нее поднимется рука, и совесть позволит ей обмануть, обокрасть старика, который, по-видимому, верит ей, сколько может, верит ей одной во всем доме, а следовательно,— и на всем белом свете?.. Степанида не отвечала себе прямо на эти вопросы, боялась ответить, но чувствовала, что в душе ее есть какая-то другая воля, кроме ее собственной, и что она сделает то, что эта воля ей прикажет... Ей было тяжело и грустно, и жалко отца, и болезненно тянуло к нему.

Терентий Савельич, со всеми попрощавшись, уже влез в тарантас, перекрестился и сказал: трогай! — как вдруг Степанида подбежала, вскочила на подножку и, охвативши рукой шею отца, проговорила дрожащим голосом, чуть не со слезами: «Прощай, тятенька!» Терентий Савельич был удивлен таким непривычным заявлением ласки со стороны дочери и, растерявшись, обнял ее обеими руками и проговорил: «Прощай, прощай!.. что ты? Бог с тобой, прощай!.. Скоро увидимся!..» Он поцеловал дочь, и Степанида соскочила с подножки тронувшегося экипажа вся в слезах... Терентий Савельич беспокойно оглянулся на нее и опять перекрестился.

Тарантас выехал за ворота, поворотил за угол и скрылся. Степанида стояла и бессознательно вытирала руками слезы на лице.

— Что больно скоро скрутился? Али что поделалось? — окликнула ее Анфиса, тоже провожавшая уезжавших.

Степанида вздрогнула, опомнилась и мгновенно овладела собою. Слезы ее тотчас же иссякли.

— Да, Иван набедил, сплутовал,— проговорила она.

— Что же ревешь-то?

— Ничего... Я так только... Тятеньку жалко, всего его оберут,— оправдывалась Степанида.

— И оберут, и оберут... И поделом, старый греховодник!.. Ишь ты, ревет, больно нужно... Разве он чувствует?.. Богу бы молился, нечем... Лучше бы было!.. А то они видят, что у него в голове-то не то, чувствуют, что вожжи-то распустил,— вот и блажат, вольничают...

Степанида, чтобы отделаться от Анфисы, пошла за-

творять и запирать ворота. Уже совсем смеркалось, последние отблески вечерней зари потухали на небе.

— Что же мы, так без сторожа сегодня ночью-то и останемся? — спросила Анфиса.

— Ничего, я не буду спать ночью-то, а завтра Сережка воротится...

— Да как так без мужика в доме одни мы две девки останемся... Опасно... Вот бы парня-то того кликнуть,— Капитоху; он, может, посторожил бы ночь-то...

Степанида вздрогнула.

— Разве не знаешь, что он отошел от нас... Пойдет ли он сторожить теперь, что ему за охота?.. Да его никак и в деревне-то нет, сказывали, ушел куда-то на другое место... Да не бойся ты ничего, спи... Слышишь, я всю ночь не усну, сама сторожить стану...

— Бесстрашная ты, девка... Я бы, кажись, ни в жизнь, смерть боюсь по ночам.

— А я вот не боюсь: надену шубу, спущу с цепи Шарика да и прохожу всю ночь, из дому да на двор, да вокруг дома...

— Да про тебя что говорить, ты умолила у бога-то... Поди, всякий псалом на память помнишь... Тебе не страшно, отчитаешься....

Ночи начинались уже длинные, темные, холодные, почти осенние. Август месяц был на исходе, и потому было очень естественно, что Степанида запасалась на ночь шубой. Анфиса пошла в кухню, а Степанида в свой чулан. Здесь она зажгла лампаду перед иконами и встала на колени.

Она хотела молиться, просить поддержки во внутренней борьбе, вразумления, но только говорила слова молитв и не могла сосредоточить на них свои мысли, которые как будто под гнетом какой неодолимой силы вертелись около одного представления: как она пойдет в горницу отца, будет отпирать сундуки, вынимать деньги, как побежит из дому, увидит его, пойдет с ним далеко-далеко, навсегда, чтобы никогда, никогда не видать больше ни родины, ни родного отца, ни этого дома, ни этих икон... «Благословление маменьки возьму с собой беспременно... вот оно, в золотой ризе... Пречистая!.. Прости ты меня, владычица, помилуй... прости меня, грешницу!.. Уж с тобой-то я не расстанусь... А из одежи брать ли что?.. Хошь перемену одну надо бы взять... Эка я не

спросила его... Да все равно, купим и там... Вот шубу надену... беспременно надо... ночи пошли студеные... Батюшки, да неужто я это сделаю?.. А как же он-то без меня, а мне-то как же жить без него? Свои только возьму, а тятенькиных не трону... Сколько моих-то?.. Ох, создатель мой милостивый, пречистая, прости ты меня грешницу... Тридцать лет я жила, радости не знала... вот и радость пришла,— да какая? С горем пополам, с грехом великим... Скоро ли Анфиса-то уляжется... Как бы она не приметила... Что тогда будет?.. Где ей приметить!.. Идти на двор да посматривать, когда огонь погасит, тогда погодя и в горницу идти, припасти... Куда я их положу, много, ведь, их, вона каки пачки... Толстые... В платок завяжу... Так неужто все брать, что привез?.. Нет, не возьму всех, половину возьму... А Капитоша-то?.. А Иван с Матреной все равно оберут... Ведь, еще у него много-много останется... Вон, сколь в сундуке-то: золото, серебро, серии, билеты,— так кучи, кучи!.. А золото-то в мешках светится... Нет, не возьму и того, что привез, оставлю половину... Будет с нас, будет...»

По сеням послышались шаги. Степаниду бросило в озноб, по телу выступил холодный пот, точно ее застали на месте преступления. Дверь в чулан тихонько приотворилась; в нее сначала заглянула, потом вошла Анфиса.

— Молишься ты, девка,— сказала она, входя,— и я пришла: не прочитаешь ли вечерние?.. Хоть бы маненько рожу-то окстить... При самих-то не угожаю, так и сунешься без молитвы иной раз.. А теперь вот хошь и попросплю завтра, не гребтится... Не почитаешь ли?.. Почитай-ка, я бы помолилась с тобой...

Степанида, сначала испугавшаяся, успокоилась и даже рада была, что пришла Анфиса: с одной стороны, это доказывало, что еще роковое время не пришло, с другой,— появление тетки освобождало ее от невольных мыслей и впечатлений, давивших ее, как кошмар. Не пропустила Степанида без внимания и того, что, постоявши на молитве, Анфиса еще крепче уснет и дольше проспит завтра, следовательно, дольше не узнает, что она ушла. Степанида охотно согласилась и начала читать вслух и медленно молитвы на сон грядущим. Она читала и прислушивалась, как Анфиса сзади ее шептала что-то, вздыхала, крестилась, кланялась, опять вздыхала, опять кла-

нялась... Но шум, производимый этими движениями, становился все реже и реже.

Перед окончанием молитвы Степанида оглянулась: Анфиса стояла, закрывши глаза, и дремала, покачиваясь головою вперед. Когда она совсем кончила и остановилась, Анфиса вздрогнула, пошатнулась и, поспешно зашептавши что-то, начала класть кресты и поклоны. Потом улыбнулась, взглянув на Степаниду сонными глазами.

— Умаялась, вздремнула, грешница... Эка ты читать мастерица, все бы слушала... У-ух! Батюшки мои, согрешила грешница, так и качает... Спасибо, родима... Пойду теперь спать... А ты неужто так и не ляжешь?

— Нет, не лягу... На двор пойду. Шарика еще надо отвязать...

— Ну, ступай... Христос над тобой... О-о-х... Эка зевается... Прощай...

— Прощай, тетушка Анфиса,— проговорила Степанида каким-то особенным голосом и хотела подойти и обнять, поцеловать старуху, но не решилась: — это было бы уж необычайно и подозрительно... Она проводила только ее грустным взглядом.

Степанида надела шубу и вышла через переднее крыльцо на двор. Ночь была темная, холодная, ни месяца, ни звездочки, в воздухе тянуло сыростью и неприятным осенним холодом.

«Уж не ждет ли? — подумалось Степаниде.— Милый мой, сердечный, и ему, чай, тоже не легко со своей стороной расставаться, тоже дом, жена... Жена, жена!..»

Ее кольнуло в сердце. Она заботливо стала смотреть в окно кухни: там огня уже не было, и Анфиса, вероятно, теперь забралась на горячую печь и уснула. Степанида стала прислушиваться. Тишина стояла кругом мертвая. В деревне все спало, тихо, беззвучно, только налетавший от времени до времени ветер шумел, скользя по крыше дома, упираясь в высокий забор, силясь отворить запертые крепко ворота, да Шарик на соседнем дворе тихо повизгивал, бряча своею цепью и почесываясь. Степанида несколько времени посидела на приступках крыльца.

«Пора! — сказала она себе.— Как ни думай, а, видно, тому быть... Ждет, чай, уж давно!..»

Степанида тихо приотворила дверь на парадное

крыльцо, вошла в сени и в комнату отца. Здесь было совсем темно, и Степаниде сделалось вдруг страшно, так страшно, что зубы застучали, и она не в силах была одолеть этого страха. Дрожащей рукой начала она шаркать о стену заблаговременно приготовленные спички, но они ломались или гасли, едва вспыхивая; наконец, одна загорелась и зажгла свечку. У Степаниды дрожали ноги, она не могла стоять и села. Глаза ее невольно остановились и как бы приковались к денежному сундуку. Внутренняя дрожь продолжалась, руки и ноги дрожали, зубы стучали, как в лихорадке. Степанида ощупала рукою карман: в нем лежала связка ключей.

«Который? — подумала Степанида.— Я не заметила его тогда, только примерила».— И она вынула эту связку из кармана и смотрела на нее, держа перед собою в дрожавшей руке.

От этих ключей взгляд ее перешел на отцовский тулуп.

«А вот дверь-то и позабыла запереть,— мелькнуло у нее в голове.— А надо, на всякий случай».

Она подошла и с трудом замкнула крюк на петлю.

Затем, ничего не думая, почти не сознавая, что делает, она подошла к комоду под шкапом со стеклянными дверьми и начала прикладывать к замочной скважине ключи, которые оставались у нее в руке. И один, и другой, и третий ключ не приходились...

«Вот, может, и никоторый не придется... А гвоздем... Где же гвоздем? Где я его возьму теперь?... Опять же загнуть нужно... Да я и не умею, мне не отпереть... Вот и нельзя, вот и не будет, ничего не будет... А он-то, онто... будет ждать, ждать... Рассветет... Клясть будет меня, рассердится, бросит, к жене пойдет: у него жена красивая, красивая... Рябинки есть, а статная, а глаза... Ах, вот и пришелся!... Вот... Нет, не отпирает, не отопрет, только так вошел... Вот отпер...»

Степанида быстро откинула косую доску, отодвинула один ящик, порылась в нем, нашла ключ, торопливо оборотилась с ним к сундуку, на котором лежали пуховики, быстро и с силой откинула их, отперла сундук, открыла, достала из него два больших ключа и подошла с ними к денежному железному сундуку. В эту минуту она была похожа на сумасшедшую: смертельная, синяя бледность покрывала ее лицо, глаза вышли из орбит и

горели фосфорическим блеском, взгляд блуждал и не выражал ничего, а как будто смотрел внутрь ее, губы были крепко сжаты, но судорожно подергивались, капли холодного пота выступили на лбу. Степанида отперла и вынула висячие замки, потом вложила ключ во внутренний замок, с болезненным напряжением повернула его... Трынь... раздалось сухо и резко во всю комнату. Степанида выпустила из рук ключ и задрожала всем телом. Она прислушивалась, но звуки умерли в тишине, и эта тишина нарушалась только дыханием и сердцебиением Степаниды. Она повернула ключ другой, третий раз, каждый раз останавливаясь и прислушиваясь, и наконец порывисто открыла крышку сундука... Затем все ее движения были резки, быстры, порывисты и даже неосторожны; она переставила свечку так, чтобы ей было видно внутрь сундука, разостлала носовой платок и, не смотря в сундук, стала вынимать из него пачку за пачкой, укладывая на платок...

«Сколько увяжется в платок, столько и возьму»,— думала она и продолжала вынимать пачки ассигнаций, не смотря на них, отворотясь от сундука. Наконец она взглянула на платок, попробовала свести концы его между собою сверх пачек...

— Едва сходятся, довольно!...

Она также порывисто и быстро начала закрывать крышку сундука, запирать замки, прятать на прежнее место ключи. Наконец все было кончено. Оставалось завязать платок с деньгами, взять его, потушить свечку и... бежать.

Степанида провела рукою по лбу: он был весь мокрый, даже волосы прилипали на висках, руки ее бессильно опустились, она с трудом переводила дух. Но медлить некогда, он ждет, ночь уходит!... Она собралась с силами, увязала платок, схватила его, затушила свечку, даже сжала тлевшую светильню пальцами, не чувствуя ожога, и спешно пошла вон из горницы отца.

«Запереть ее или нет? — подумала она.— Лучше запереть, а то кто-нибудь уже, как пропаду, войдет, украдет что».

Степанида заперла двери и положила ключи к себе в карман.

Тихо, как кошка, пробралась она на крыльцо, на двор, к воротам; отперла калитку, без шума отворила и

затворила ее за собою и спешным шагом, держа крепко в руках узел с деньгами, пошла к Ямкам. Теперь она ничего не боялась, не стыдилась, не жалела; она вся сосредоточилась в одном желании — скорее встретить Капитона.

Он давно уже ждал ее на условленном месте, стоя и похаживая около своей лошади, заложенной в телегу. Он завидел издали темное, быстро двигавшееся по дороге пятно, отгадал в нем Степаниду и пошел навстречу ей.

— Ты? — спросил он ее еще за несколько шагов.

— Я, я,— отвечала Степанида, задыхаясь и протягивая к Капитону руку с намерением обнять его.

— А достала?

— Вот...

И она указала на узел, который держала в другой руке.

— Молодец, Стеша, ну, теперь покатим. Пойдем скорее к лошади...

— Как бежала-то, как торопилась-то,— говорила Степанида, следуя за Капитоном.— Думаю: ждет он меня...

— Ждал и есть... Много ли взяла?

— Не знаю уж!.. Вот! Брала, сколь уложится...

Подошли к телеге.

— Погоди-ка, я сяду перво в телегу-то да вожжи возьму, а то гнедко-то пуглив, подхватывает вдруг... Пожалуй понесет,— говорил Капитон, влезая в телегу.— Ну, где деньги-то? Давай, да и полезай сама.

Степанида протянула к нему узел, который Капитон взял и положил на дно телеги. Потом она, держась руками за край телеги, поставила ногу на ступицу колеса и приподнялась было уже, чтобы занести другую ногу в телегу, как вдруг сильный толчок в грудь опрокинул ее навзничь, и в то же мгновение Капитон крикнул, лошадь хватила с места и понесла.

Степанида как ни была ушиблена и оглушена падением, но быстро вскочила и побежала вслед за телегой.

— Стой, стой, погоди! — кричала она, но только несколько мгновений слышала крики Капитона, которыми он понукал лошадь, топот ее копыт, стук колес и громыханье телеги, видела мелькающий вдали силуэт милого человека, его телеги и лошади, затем все затихло, все скрылось. Но Степанида бежала еще и тогда, задыха-

ясь, плача и крича что-то бессвязное диким прерывистым голосом. Наконец у нее помутилось в глазах, стеснило дыхание, ноги отказывались двигаться; невыразимая тоска, ужас охватили ее душу, какие-то отрывки мыслей, чувств проносились через голову, сердце... И вдруг все спуталось, смешалось: мысли, чувства, дыхание оборвалось,— Степанида упала без чувств.

XXII

Начинал брезжиться утренний свет, когда Степанида опомнилась. Она приподнялась, опираясь на руку, огляделась кругом и первая мысль ее была: во сне или наяву все это случилось?... Она лежала на проселочной дороге, изрытой колеями; по сторонам ее тянулся смешанный березовый и осиновый лес, листья которого начинали уже сильно желтеть и опадать; холодный ветер пробегал по вершинам деревьев, качал их и шумел в листве; птицы начинали пробуждаться и пиликали, перелетая с ветки на ветку; небо было облачное, сумрачное, какое-то серое; вдали по дороге стлался туман...

«Так, значит, это был не сон, это все случилось наяву. Вот, по этой дороге бежала она, догоняя Капитона, здесь она упала, не нагнавши обманщика, потерявши за один раз все: и свою любовь, и свои надежды, и радость, и счастье жизни... Зачем она не умерла? Зачем опомнилась и припомнила все, все, до малейшей подробности, до последнего ощущения, до мелькания во тьме удаляющейся телеги, до последнего звука Капитонова голоса, понукавшего лошадь? О, какой это был страшный голос, как он болезненно отзывался в ее сердце, каким ужасом и бешенством наполнял он ее душу!.. Это был не его голос, не голос Капитона: это был крик разбойника, грабителя, душегубца... Но она бежала за этим голосом, она гналась за ним долго-долго, пока не потеряла силы и сознания... Что было бы, если бы она нагнала его тогда, понявши вдруг, сразу, что он никогда не любил ее, что он только притворялся, обманывал, смеялся над нею... Смеялся, смеялся!... Ему только деньги были нужны, а не она, старая, некрасивая, безумная девка... Как бы она вцепилась в него, ухватила бы за шею... да, за шею!.. и душила бы его, душила, изменщика, грабите-

ля... Да, не пожалела бы, нет, нет, не пожалела бы, даром что любит... Любит?... Батюшки мои, господи, ведь, и теперь еще люблю я его, даром, что он разбойник, грабитель, обманщик!... А он, он?... Он с женой будет жить-пировать на мои ворованные денежки, с женой молодой, красивой... Смеяться будут надо мной... и он, и она будут смеяться... Ой, господи, вот где мне казнь-то, вот где смерть-то моя!... Ой, сердечушко, ой, тошнехонько!... Злодей, мучитель, посмотрел бы ты на меня, заглянул бы ты в душу-то ко мне: похолонуло бы у тебя у самого на сердце, волос бы дыбом встал, коли в тебе есть душа крещеная... Не этак ли в аду-то мучатся? Вот она где геена-то огненная, вот она здесь, у меня в груди, коло сердца... Ой, измучилась, ой, тошнехонько!... Изведись, разорвись, мое сердечушко, рассыпься в порох мое тело грешное, расступись, мать-сыра земля, прими ты меня, прими в себя, засыпь ты меня песками сыпучими, прорости скрозь меня травушкой, чтобы и звания и духу моего не было... Чтобы и люди не помянули, не вспомнили, ровно и не было грешницы... Грешница, грешница великая!... И плоть свою и душу свою погубила, всем, всем согрешила: и словом, и делом, и помыслом.. И блудница я непотребная и фарисейка-обманщица: не токмо людей, бога обманывала, пред иконами святыми, на молитве во храме божием, пред престолом господним греховными помыслами блазнилася, и воровка я, хищница, родного отца обворовала, с подборником ходила, как тать в нощи... У родного-то, кровного своего!... Как я ему на глаза-то покажусь, что скажу, что вымолвлю? Верил, скажет, в дочку, надеялся на нее одну, а она что?... Ведь это хуже воровства,— разбоя: вор-то чужого грабит, а я своего. До чего дошла, родителя своего кровного обворовала!... Свое, учил, возьмешь, не чужое, свое, для тебя же копленое, береженое... Вот лукавые-то речи его!... Не сам ли это искуситель во образе, не навождение ли это бесовское? Этакие-то речи сладкие, этакие-то очи чистые, ясные, этакой лик светлый, ангельский... Ангельский, ангельский!... Грешница, окаянная, богохульная, святыми словами его улещала, ангелом называла, идолом его себе делала, поклонялась ему, любуясь на красоту его телесную, а в душе-то что не видела: там мрак и ужас, змеи и скорпии, ложь и соблазн всяческий.. Попустил, господи, в тридцать лет попустил ты мне пасть

в бездну греховную... Обольститель, погубитель ты мой, неужто совесть в тебе есть, неужто сердце у тебя, а не змея в груди положена?.. Ведь любила я тебя, как любила! Больше отца, больше всего света белого, больше себя самой... Чего бы, чего я для тебя не сделала? А ты что, ты что сделал со мной?... Что мне теперь делать, куда идти, как на белый свет смотреть? Ой, батюшки, ой смерть моя!... Погоди, злодей, изведу я тебя, не смеяться тебе надо мной, не тешиться добром ворованным, совесть твоя продажная, прелесть твоя бесовская... Уж коли ты меня погубил, и я тебя погублю... Слез-то вот нет у меня, нет, не думай... Думаешь, плачу я теперь да убиваюсь... Рада бы я и сама, да нет их, нет, все выгорели, вот только в груди кипит, у сердца, вот где, видно, слезы-то мои перекипают, там, в нутре... Погоди еще, умолю я у бога сердце себе каменное, нежалостливое, чтобы коли нож возьму,— рука бы не дрогнула, коли яду достану да корчить тебя будет у меня на глазах,— воды бы тебе не подать испить... Вот какое сердце себе вымолю!.. И будешь ты лежать передо мной, в крови плавать, либо по земле ползать-корчиться, а я буду стоять да спрашивать: таково ли тебе сладко, как ты мне сделал?... Батюшки, мутится у меня в голове, не помню я, никак ничего не распутаю, а тоска-то, тоска лютая, смертная... Идти, что ли, ин куда?... Пойдут ли ноги-то? Пойдут! Найду еще его, свое вымещу... Погоди... А она-то стоит ровно дразнится, ухмыляется, потешается надо мной... Это она, жена его... Вот она!... Сообща вы с ним... Ну, один и конец вам будет... Погодите, не смейтесь еще, придумаю... Вот я иду, иду... Приду к вам, доберусь до вас, погодите...»

Степанида шла по направлению к своей деревне, почти бессознательно, по инстинкту, ничего не замечая вокруг себя. Солнце начинало всходить и освещало ее высокую фигуру. Она страшно изменилась за эту ночь: похудела, пожелтела, лицо осунулось, глаза ввалились, сделались больше и дико сверкали из черных впадин, губы, совсем сухие и синие, шевелились без звука. Она шла медленной, неровной походкой, то ускоряя, то замедляя шаги, и часто бессознательно хваталась рукою за грудь.

В деревне только что просыпались: струйки дыма вились из некоторых труб над домами, скрипели ворота,

отворялись и выпускали скотину на пастьбу; меланхолически выходили из ворот коровы и, мыча, оглядывались в ту сторону, откуда слышалось покрикиванье пастуха и щелканье его кнута, как бы ожидали, скоро ли хлестнет их этот кнут; кучей, толкаясь и вперегонку одна перед другой, выскакивали овцы, шмыгая под ногами коров, блеяли и, кидаясь то в одну сторону, то в другую, останавливались вдруг, как бы в недоумении, посредине улицы; мальчишка-подпасок забегал вперед и, без надобности крича и щелкая кнутом, гнал скотину совсем не туда, куда следовало. На улице народа еще не было, изредка лишь вслед за скотиной выглядывали из-за ворот заспанные, неумытые лица хозяек, прикрывавших зевающий со сна рот и почесывавших спину. Дом Терентия Савельича был почти на самом краю деревни, и потому Степанида ни с кем не встретилась. Она остановилась у ворот своего дома и стала усиленно смотреть вдоль улицы по направлению к дому Капитона: он не был виден, но Степанида старалась отгадать тот дымок, который выходит из его трубы.

«Что, если сейчас идти туда? — думала она.— Неужто он дома?.. А нет, так сказать разве жене, сказать этой проклятой все да и броситься на нее?... Задушить, что ли, ее?... Она здоровая, сильная, чай... Я теперь сильнее, я всех сильнее. Я и его смогу теперь... Сила ведь со зла бывает; он меня обидел, не я его, он радостен, а я в горе, я зла... Я смогу... Али подождать, да вдруг... ровно кошка на мышь... ровно?...»

В эту минуту Анфиса отворила ворота, чтобы выпустить коров, и увидала Степаниду.

— Вон ты где,— сказала она,— а я подумала, чтой-то это калитка-то отперта, неужто, мол, она ушла спать, а калитку-то забыла запереть... Вчера, кажись, запирали... Даже так индо не ведаю, что и подумать... Неужто не сыпала всю ночь?

Степанида ничего не отвечала.

Анфиса пристально вгляделась в нее и даже вздрогнула от испуга.

— Да что ты, Стешенька, что ты какая? Спужалась, что ли, чего?... Матушки мои, стрепаная вся, плат-то сбился, простоволосая... И волосья-то, ровно драл кто, путаные... Что ты, девка, христос над тобой?.. Притка, что ли, вступила в тебя... Господи, помилуй!... Господи

Исусе!... Степанида, а Стешенька... А, батюшки!... Очкнись, очурайся...

Голос Анфисы привел Степаниду в себя.

Она сознала, что пришла к себе домой, что ей не надо возбуждать подозрения, что, напротив, она должна скрывать до времени все, что случилось с нею, что она сделала; но все эти мысли и ощущения были смутны и неопределенны.

— Я... ничего... что?... Я ничего,— проговорила она,— и прошла мимо Анфисы на двор.

Поравнявшись с парадным крыльцом, она вдруг вспомнила тот первый вечер, когда она отдалась Капитону, невольно остановилась и села на то самое место, где она сидела тогда. Через сердце ее вместе с этим воспоминанием мгновенно пролетело чувство умиления, вызвавшее несколько слезинок на глаза, но тотчас же острое, жгучее горе высушило эти слезы и сдавило ей грудь: настоящее несчастье встало перед нею во всем своем ужасе. Она сидела неподвижно, как статуя, опустив вниз голову, уставив в землю воспаленные глаза.

Анфиса растерялась и перепугалась так, что не знала, что делать, топталась на месте, боялась даже подойти и заговорить со Степанидой. Наконец она собралась с духом и сообразила: «Кто-нибудь кинул, переступила,— не иначе»,— думала Анфиса.

— Пойдем, святой водой спрысну,— говорила она,— пойдем, под пречистую положу, ладаном окурю тебя... Пойдем, под маменькино благословенье уложу, полегчает, беспременно... и покроплю...

Степанида вздрогнула. Она вспомнила, что второпях, в волнении, ночью забыла взять с собой образ, которым благословила ее мать и который она обещала взять с собою.

«Вот и воротила она меня, вот и воротила к себе»,— думала Степанида и, объятая вдруг религиозным страхом и сокрушением, быстро встала и пошла на заднее крыльцо и к себе в чулан. Он был отперт. Анфиса, идя вслед за Степанидой, несколько раз покушалась поддержать ее под руку, но Степанида шла вперед так скоро и уверенно, что услуги старухи были лишние. Зато, войдя в чулан, где еще теплилась лампада перед иконами, Степанида почти бросилась на пол и зарыдала с такими воплями, что Анфиса со страха сама не устояла

на ногах и присела на какой-то сундук, вся съежившись.

Долго рыдала и стонала Степанида, произнося какие-то несвязные слова, из которых Анфиса ничего не могла разобрать, но, наконец, вспомнила, что она хотела спрыснуть и окурить племянницу. Тихонько выползла она из чулана, боясь помешать Степаниде, прошла в кухню, отыскала богоявленскую воду, налила в чашку, но никак не могла отыскать ладану. Когда она воротилась в чулан с чашкою в руках, Степанида уже не лежала, а сидела на полу и тихо плакала. Анфиса осторожно подошла к ней.

— Не изопьешь ли богоявленской воды? — спросила она, поднося чашку к лицу Степаниды.

Та молча взялась за чашку.

— Перекстись, матушка, перекстись.

Степанида перекрестилась и с жадностью выпила воду.

— Ну вот, и слава богу, вот и слава богу,— говорила старуха.— Не приляжешь ли теперь? Прилегла бы,— продолжала она, беря Степаниду под руку.

Та молча повиновалась.

— Дай, шубу-то сниму, дай сниму...

Анфиса раздела ее, уложила на постель и прикрыла белым платком.

«Эх, ладан-то куда я задевала,— думала Анфиса,— вот бы окурить теперь, и все бы как рукой сняло».

Степанида лежала молча и неподвижно.

Она не спала, но и не бодрствовала, она совершенно обессилела от нравственных потрясений, от бессонной ночи и физической усталости; и мысли, и чувства несвязной вереницей проходили через ее голову и сердце, но чувство острой боли притупилось на время; слезы тихо струились по ее лицу.

— Экой грех, экой грех,— шептала про себя Анфиса.— И кто это, кто? Кому нужно? А положено, наверно положено было... Либо привиделось что... Вот даром богомольщица... Да я говорю, где бабе ночью, можно ли... Вот не боюсь-то ничего... Да... Как ночью не бояться, как можно... особливо бабьим делом... Долго ли спужаться... А отчего все? Все оттого, непутевые... вот отчего!... Что ускакал, ровно оглашенный, одних баб в дому оставил?.. Иван!.. Для Ивана торопится!... Не Иван!... Матренка

тут всему корень,— вот!.. Как пришла в дом, так и пошло, так и пошло...

Видя, что Степанида лежит тихо, Анфиса продолжала свою воркотню уже в кухне.

XXIII

Придерживая ногами узел с деньгами и от времени до времени ощупывая его левою рукою, Капитон держал в правой руке вожжи и, беспрестанно ими подергивая, гнал лошадь, что было в ней силы. Он долго слышал за собою отчаянный вопль Степаниды, которая, в течение нескольких мгновений, казалось ему, нагоняет его, потом стала отставать, но все-таки бежала за ним, наконец, скрылась из вида. В действительности, или только в воображении, но этот дикий отчаянный крик обманутой им женщины преследовал его на пространстве нескольких верст, которые проскакал Капитон по лесу. Чтобы заглушить этот голос, пугавший его, он, забывши всякую осторожность и желая поскорее угнать, сам кричал беспрестанно на лошадь и, нащупывая около себя арапник, беспощадно бил им своего гнедка. Он потерял самообладание и не думал о направлении, в котором ехал, предоставив лошади самой выбирать пересекавшиеся в лесу дорожки, он заботился только об одном, чтобы увеличить расстояние между собою и Степанидой... Вдруг он выскакал на поле, лес остался сзади; Капитон невольно приостановил лошадь и стал прислушиваться.

Все было тихо кругом, только фыркала и отдувалась замученная лошадь; ни страшного крика, ни топота преследования не было слышно сзади. Капитон вздохнул глубоко во всю грудь и стал соображать местность, в которую попал. Немного нужно было времени, чтобы узнать, что он выехал на собственное свое деревенское поле, что он повернул с настоящей дороги на зимник, по которому крестьяне его деревни ездят в лес за дровами, и, вместо того чтобы скакать дальше от деревни, как намеревался, он незаметно для самого себя воротился к ней.

— Что же теперь делать?...

Замысел Капитона нечаянно и неожиданно осуществился лучше и проще, чем он рассчитывал и предпола-

гал. Капитон думал, что ему придется поездить со Степанидой хоть месяц, неделю, хоть два-три дня, пока он успеет отделаться от нее, т. е. или выманить, или украсть у сонной, или просто отнять при случае деньги и потом бросить ее. Он выправил себе паспорт на другой же день после свидания со Степанидой и распространял слух, что, может быть, уедет со сватом Гаврилой или один, по его поручению, на макарьевскую ярмарку. Из предосторожности, последние дни перед задуманным бегством он не выходил даже из дома на улицу, лежал на полатях, а жене велел сказывать, что его вовсе нет и в деревне; в то же время через ту же Алену он мог знать все, что делается на заводе и в доме Скоробогатого. Да ему одно только и нужно было знать, когда приедет и вновь уедет на ярмарку Терентий Савельич.

Алена посмеивалась над мужем, что он прячется от людей, хотя и была довольна тем, что видит его сама каждую минуту, и полушутливо, полусерьезно, с внутренним беспокойством спрашивала, не набедил ли уж он чего, что на белый свет боится показаться? Капитон на это также шутливо отвечал, что авось, может быть, скоро надолго уедет, так последние деньки нужно и на женку насмотреться, налюбоваться.

В тот вечер, как тарантас Терентия Савельича проехал по улице деревни, увозя его с Матреной на ярмарку, Капитон пораньше поужинал, накормил лошадь и, как только совсем стемнело, заложил телегу, простился с женой и уехал, не раз повторивши ей, чтобы она, в случае чего, говорила, что он уехал еще три дня назад.

— А ты меня скоро не жди,— сказал он ей.— Я, может, закачусь надолго.

— Да куда ты, Капитошка, и что ты надумал, хошь бы молвил, хошь бы я знала?...

— Молчи и не спрашивай, покуль сам не скажу... Не сумлевайся, худа не будет, будет все хорошее... Пожди только да слушайся, делай, как говорю...

— Да ты не сбеги у меня совсем,— не то шутила, не то вправду говорила Алена; лицо ее было озабоченно и улыбка принужденная.

— Ну, ты не дело не говори, чего быть никогда не может... А вот что: на-ка вот, возьми денег побольше, на случай долго проезжу.

Капитон вынул из штанов новый кошель, которого

еще Алена у него не видала, и к великому ее удивлению вытащил оттуда большую пачку ассигнаций.

— Откуда сэстоль у тебя денег-то?...

— Ну-ка, теперь мне некогда; на вот, получай... Вот пять, десять, двадцать пять... Будет тебе на месяц?... Будет, чай, да, может, и скорей ворочусь...

Алена задумчиво и с видимым неудовольствием брала деньги.

— Да ты не сомневайся, Аленка, не ворованные, свои собственные...

Алена покачала головой.

— Ай, боюсь я, запутаешься ты, попадешься... Не пропади совсем из-за этих денег... Родной, не погуби ты себя...

— Эх, да отстань... уж будь в надежде: не об двух головах, слава богу,— понимаем... Вот что, выдь-ка потихоньку да дойди до проулка, посмотри, нет ли людей кого?... Мне желательно так уехать, чтобы никому не в примету...

Алена еще больше смутилась, но беспрекословно исполнила приказание мужа.

Через несколько времени он тихо вывел из ворот лошадь и выехал из деревни задами, никем незамеченный.

И вот теперь с находчивостью настоящего вора, разрешив неожиданно быстро и просто свою задачу, Капитон в ту же ночь стоял на поле, в двух верстах от своей деревни, в раздумьи: что делать? Как ловчее спрятать концы? — «Ехать к Гаврилу Михайлычу, оставить у него лошадь с просьбой переправить ее к жене, а самому на макарьевскую? Хорошо бы тем, что в случае Степанида расскажет, отвод бы был,— что гостил и ночевал эту ночь у свата. Гаврила Михайлыч не выдаст, покажет что угодно, только придется поплатиться, да и не мало, и весь век у него в руках будешь... Нет, это неподходяще. Ехать разве прямо в город, лошадь продать, сесть на пароход да в Нижну, на ярмарку, прямиком, али в другое место куда, да денег-то много, опасно, пожалуй, заприметят как — сонного оберут или убьют, да и в случае обыска — все на лицо... Нет и это неподходящее.. Перво нужно деньги спрятать, экое место по карманам носить не приходится, а где лучше спрятать, как не у себя в дому, да и гнедко, ровно дорогу показывает, прямо к дому выскакал. Умная лошадь, счастливая, кормить тебя, хо-

лить, беречь буду, вот растолстеешь, ровно купец... Погоди... Да, да, домой,— решил Капитон,— спрячу деньги хорошенько, а там знать не знаю, ведать не ведаю, только бы денег не нашли, а свидетелей нет, говорить все можно... Говори, пожалуй, что хошь... Если хоть и посадят, и подержат, все же выпустят, а я с деньгами, а из-за экого дела и посидеть можно... Сколько-то их тут... Коли крупные бумажки, так аи много...»

Рассуждая таким образом, Капитон пробирался полями в деревню, опять проехал задами, никого не встретя, и, оставивши лошадь у ворот, сам с узлом денег в руках, озираясь по сторонам и вздрагивая от опасения быть кем-нибудь замеченным, стал тихонько стучать в оконную раму. Алена спала крепко и не сразу услышала этот стук, а и услышавши его, несколько испугалась и не решалась откликнуться. Кто бы мог стучаться к ней в такое позднее время? Но стук продолжался упорно и все усиливался. Алена молча подкралась к окну и из-за косяка старалась рассмотреть, кто стучится. Ночь была темна, но она разглядела мужскую фигуру, похожую на мужа, но не мог же быть это он... С Капитоном, между тем, начиналась лихорадка от боязни и нетерпения, и он начал стучать сильнее, наконец, решился вполголоса назвать жену по имени.

— Батюшки, он, он и есть,— сказала Алена и, сама не зная чего, страшно испугалась.

Она поспешно отодвинула оконце.

— Ты, Капитон? — спросила она дрожащим голосом.

— Я, я, отпирай скорей ворота... да огня не вздувай... Потихоньку...

Алена, вся дрожа, в одной рубашке, бросилась на двор, отложила засов, осторожно отворила ворота. Капитон тотчас же ввел под уздцы лошадь.

— Выглянь-ка, нет ли кого на улице,— сказал он,— да запирай скорей ворота.

Страх Алены еще больше усилился. Она вышла за ворота, посмотрела и направо и налево: никого не было видно, все кругом спало и безмолвствовало.

Она сказала об этом мужу и стала запирать ворота.

— Ну, слава богу... Отпрягай-ка лошадь скорей да ставь к месту, а я в избу пойду... Да где у нас там заступ был?.. Свечку-то и серенки нашарю, чай, и сам...

— Зачем тебе заступ?

— Да ну, говори, Алена, чтой-то, не до того!... Брось коли лошадь, после отложишь, поди за мной...

Весь этот разговор происходил шёпотом, взволнованными, дрожащими голосами. Капитон и вслед за ним Алена вошли в избу. У последней дрожали руки и ноги.

— Подай мне, перво, свечку да спичек... Да подай в руки, сама не зажигай...

Алена машинально и безмолвно подала.

Капитон по ее прикосновению заметил, как она дрожит.

— Эк тебя... Ничего, не бойся... Все хорошо,— сказал Капитон, успокаивая жену, и полез в голбец.— Снеси же мне сюда заступ да чугун и сковороду,— продолжал он, скрываясь в яме.

Там он зажег свечку и осмотрелся: в голбце стояла кадка с солеными огурцами, кадка из-под кисленицы, которая вся уже вышла, и две кринки с молоком. Потом глаза его обратились к узлу с деньгами, он ощупывал его жадными руками.

— Ну, скоро ли ты? — крикнул он на суетившуюся вверху Алену.

— Ничего не найду... не помнюсь,— отвечала она.— На вот те чугун-то, а заступ-то... где он... кто его знает... не впамять никак...

Алена подала Капитону чугун и сковородку, не сходя вниз, через двери. Капитон поставил чугун на кадку, около него свечку и развязал, наконец, платок... У него замерло сердце и даже закружилось в глазах, когда он взглянул на большие пачки денег: тут были красивые радужные, новенькие, блестящие, глянцевитые; были зеленые серии, значение и цену которых Капитон тоже знал, живя около денег; были и двадцатипятирублевые в толстых, должно быть тысячных, пачках. Все они были перевязаны вдоль и поперек бечевочками.

Он начал выкладывать их одну за другою в чугун и считать: «раз, две, три, пять, восемь, десять, двенадцать, семнадцать... Неужто все по тысяче?.. Не все, чай, взяла, где все?... У него, говорят, сотни тысяч... Да, ведь, и это капитал, и я теперь богат, счастлив на всю жизнь... Повести дело с умом, вдвое, втрое, вдесятеро будет, завод будет свой, почести, поклоны, знать какая, спокой дорогой!... Не ломай спину, не работай, не кланяйся, мне кланяться будут... Богат буду, нищую братию не оставлю,

в новом приделе иконостас вызолочу, в часовню на тифинскую и на праздник ризы серебряные, золоченые сделаю... Бог счастье посылает, не надо забывать, надо чувствовать... Архиерея буду звать в гости... Очень разбогатею, может, еще новую церковь выстрою... Богадельню для преклонных стариц открою... на десять али на двадцать?... Ну, перво и на десять... Я сам из бедности, я не как другие, я народ нажимать не буду, я должен чувствовать. Ты мне сработай что следует, а вот тебе расчет верный, правильный, без обмана... Исправник-то мне, чай, руку будет подавать... Еще как подаст-то, за счастье почтет... Потому деньги!... Грамоте выучиться нужно, нужно беспременно... Хошь немножко, чуточку... а нужно... Да я пойму живо, я дошлый... умный!.. мне долго ли?»

— На вот заступ-то, нашла,— оборвала вдруг Алена мечты мужа, просовывая к нему в яму заступ.

Ее мучило любопытство, она хотела бы посмотреть, что он делает там, внизу, и в то же время какой-то беспредметный страх останавливал ее.

«Уж лучше не знать, не видать»,— думала она.

— Да сойди сама сюда,— позвал ее Капитон.

Алена спустилась в голбец.

— Посмотри-ка,— сказал Капитон, приподнимая свечку над чугуном.— Смотри сюда.

— Деньги,— промолвила Алена, бледнея.

— Да, денежки... Да ты смотри сколько: семнадцать пачек, в каждой по тысяче, а, может, больше... Вот, говорил, подожди... Ну, вот... богаты теперь...

Капитон взглянул на жену, ожидая выражения радости, но она стояла бледная и безмолвная.

— Да ты не думай, не ворованые, дареные...

— Сэстолько-то? — промолвила Алена.

— Да, сэстолько; еще совесть имел, а то и больше было бы...

— Сам не воровал, так на тебя, может, уворовано...

— Да ты... пустого не говори,— возразил Капитон, хмурясь.— Все по любви, по согласу было... Эти деньги собственные...

— Знаю я, чьи они... Скоробогатого.... Степанида украла, тебе передала,— мрачно проговорила Алена.

— Кто тебе сказал? — почти вскрикнул Капитон.

— Сердце молвило,— отрывисто отвечала Алена, оставаясь по-прежнему мрачной, печальной.

— Ну, так что, разве тебе не все равно, — возразил Капитон, отворачиваясь от жены и берясь за заступ.— Ты коли жена верная, мужу желанная, так ты радоваться должна, потому у нас с тобой все заодно, неделенное... Не для одного себя,— и для тебя хлопотал, на всю на жизнь на нашу... А ты что же это?..

— Боюсь я, беды бы не вышло какой... Вот чего я боюсь...

— Не бойся, свидетелей не было, никто не видал. Окромя тебя, ни один человек не знает... Ты разве выдашь мужа?...

— Не доказчица я, а не в радость мне нечто эти деньги...

— Ну, это так только ты, перепугалась, что невзначай... После слюбится... Поди-ка, прибери лошадь-то, а я пока здесь управлюсь...

Алена ушла, а Капитон начал рыть яму в земляном полу голбца. Вырывши, он опустил в нее чугун, вновь пересмотрел и пересчитал пачки ассигнаций, уложил их порядком, прикрыл сверху чугун сковородой, вновь засыпал яму, тщательно утоптал ее ногами, сравнял и поставил на это место кадку с огурцами...

«Ну, теперь хошь и обыск будут делать, не найдут... В голову не придет»,— думал Капитон, смотря на место, скрывшее его богатство, и вытирая платком Степаниды пот на лбу.

— А это надо сжечь в печке,— проговорил он, взглянув нечаянно на платок и вспомнив, чей он.— Сейчас же сжечь, вот и все концы в воду.

Он вылез из голбца, взглянул в окно. Утренняя заря уж показалась на небе. Тщательно очистив заступ от остатков прилипшей к нему земли, он вытер его платком Степаниды и засунул под лавку; потом подошел к печке, открыл заслонку и вьюшку, запихал платок в середину лежавших в печи поленьев и сам растопил печь.

Он смотрел, пока затлелся и сгорел платок.

— Что-то теперь она поделывает?— вспомнил вдруг Капитон и полез на полати отдыхать после тревожной ночи.

XXIV

Спал Капитон долго, но беспокойно и часто просыпался, приподнимал голову и прислушивался или смотрел вниз на жену. Алена, скучная и сосредоточенная, хлопотала около печки, прибиралась в избе. Веселость совсем пропала в ее глазах, исчезла с ее прежде всегда беззаботно улыбавшегося лица; какая-то новая, беспокойная мысль, новое, неприятное чувство отражалось теперь на ее лице, сдвинуло ее брови, провело морщину на лбу и сделало складку около губ.

«Вот чудная баба, — думал Капитон, втихомолку посматривая на нее.— Чем бы радоваться, а она вон как... Ровно какое горе пришло...»

И он сердито натягивал на голову кафтан, стараясь опять уснуть.

Управившись по хозяйству, Алена села по обычаю за стан. Под стук его проснулся Капитон и слез с полатей. На полевые работы она не ходила, так как Капитон, не имея лошади и работая постоянно на фабрике, еще с весны сдал свой полевой участок одному из крестьян.

Когда муж, умывшись и помолившись, сел на лавку, Алена, не переставая ткать, спросила его, не хочет ли он поесть.

— Да, нечто, пожалуй,— лениво отвечал Капитон.— А лучше бы чайку я испил...

Алена тотчас же молча поднялась, чтобы приготовить завтрак и поставить самовар.

— Аленка,— остановил ее Капитон с заискивающею улыбкою.— Вот это все скоро похерим... Ничего не нужно будет...

— Чего не нужно будет?— спросила Алена, равнодушно взглядывая на мужа.

— А вот этой всей канители.— Он указал на стан.— Не надо будет ломаться целые дни коло стана, не будешь босая ходить по подножкам с утра до ночи... Что ни на есть получше выдумаем... А то и так хорошо: встала, чаю напилась, вырядилась, да и ходи гуляй, ничего не знай...

— Стоскуюсь я так-то, не в привычку,— проговорила Алена сухо, отходя от мужа.

Капитон рассердился на жену и отворотился.

«И сунуло меня показывать ей деньги... Ишь ты какая... И не поймешь с чего. То сряду хохочет, все нипочем, а теперь вдруг и с деньгами, и то, значит, брошено: само собой уж с ней одной буду... а она затуманилась... Чуден народ — бабы!.. Ну, да ничего, обойдется... Испужалась, известно... не мужской разум!.. Да, да и не всяк из нашего брата сумеет этакое дело оборудовать, как я... так гладко... Поди-ка, с которой стороны присунешься? Кто знает? Кто видел?.. Мало ли что она выдумает: без свидетелей-то кто ей поверит...»

И Капитон увлекся вновь соображениями и мечтами о будущем. С женою разговор у него не вязался, и веселость не возвращалась на лицо Алены. Накормивши и напоивши мужа чаем, она опять села за стан, а Капитон вновь залез на полати досыпать. Обед прошел также скучно и молчаливо. Обоим елось плохо.

После обеда Капитон сел к окну. Он обдумал уже все: как ему держать себя, что говорить в случае допроса, сколько времени скрывать присутствие денег и с какого дела начать, чтобы не казалось странно его быстрое обогащение. Мысль его стала теперь чаще и чаще останавливаться на Степаниде. Ему хотелось узнать поскорее, что с нею сделалось после того, как он ускакал от нее в лесу, и что намерена она предпринять теперь. Он подумывал уже сходить на завод, чтобы узнать, нет ли там каких слухов или разговоров, или лучше подождать вечера, когда рабочие будут расходиться с фабрики, и тогда выйти на улицу и вступить в разговор. Среди этих размышлений он увидел лошадей Терентия Савельича, шагом возвращающихся домой из города, и Сережку внутри тарантаса. Капитон открыл окно и высунулся, чтобы кликнуть Сережку, но тот сам заворотил лошадей к его дому, намереваясь проведать Алену.

— А ты разве дома?— спросил Сережка, останавливая лошадей и приподнимаясь в тарантасе.

— Сегодня только пришел... вот сейчас,— ответил Капитон.

— Что, нанялся где, али нет?...

— Нет еще, вот со сватом Гаврилой ладимся, тот примает меня... А ты, али из города?

— Нечто... Отвозил своих голубей... Уехали, брат, парочкой... опять... Да ничто, промеж их не тот лад...

— А что?

— Да Ванюшка, стало-быть, в плутне в какой попался... По разговорке-то по ихней выходит... Старик-от осерчал: вот, говорит, фабрику-то отдать просила ему, как я отдам?.. А та нюнит, ругается, ревет. Все это, говорит, одни Стешкины наговоры... А в чем, братец,— не дослыхал... впрошепт все они промеж себя.

— Заходи вось, вечерком, приберешься... Потолкуем, поднесу...

— Ладно... А Алена-то тута?...

— Вона, здесь точет...

— А ты?— вполголоса спросил Сережка, подмигивая и кивая с плутовской гримасой на дом Терентья Савельича.

Капитон молча потряс головой.

— Ладно, побываю,—сказал Сережка вслух.—Лошадей управлю, поем да и приду... Не жравши, ведь, еще... Дал, старый-то жид, гривенник: поешь, говорит... купи калачей на дорогу... Ну, я его, само собой, и пропил... так не жравши и ехал... Зато всю дорогу спал... Приду... Ну, трогай, эх вы... каменные печи.

Сережка пустил лошадей вскачь, но перед хозяйским домом опять поехал шагом.

Вечером он пришел к Капитону, который поджидал его на улице, и рассказал ему, что со Степанидой сею ночь ничто поделалось: сидит как истукан, ровно ничего не понимает, и речей от нее никаких нет, а сама вся выжелтела, одни зенки светятся, индо страх — ужасть берет смотреть... Тетка Анфиса полагает, что не иначе, как али что ей привиделось ночью, сама сторожила она, али было положено, а она переступила...

— Ты не подложил ли чего, парень, для приворота, что не дается на лад?.. А?.. Сказывай другу-то,— не то шутил, не то серьезно говорил Сережка.

— Вота, знахарь, что ли, я какой?... Да меня три дня и дома-то не было... Сам ты ее видел, али нет?...

— Ну, как же, знамо сам... Старик-от наказывал, скажи, говорит, Степаниде, что, может, товара потребуется выслать в ярманку, так припишу, говорит, а либо по этому, ну, вот... по тилиграфу... пришлю... Чтобы как можно постаралась тогда... Ну, я все это ей и отлепортовал, и поклоны справил...

— Ну, что же?...

— Ну, что, сказываю тебе: ничего не говорит, смотрит во все глаза, как статуй... да и баста...

— А ест, еду-то принимает?— расспрашивал Капитон.

— Этого, паря, не знаю, не спросил тетки-то Анфисы... Да и расспрашивать-то много как-то несручно: сама ведь тут сидит в кухне... Хошь и не понимает, а все, ровно как думается... кто ее знает... Я вот только, что старуха-то болтала...

— Ты не говори об ней ничего при Алене,— заметил Капитон, ведя Сережку в избу.

— А что?

— Да что, сдурела моя баба совсем, тоскует. Ты, говорит, живешь с ней, все к ней бегаешь. Вот уходил-то я...

Сережка захохотал.

— Сумнительны они насчет этого... не любят!... Чего жалко?!

Сережку Капитон угостил в полное его удовольствие, и он воротился домой поздно.

Тетка Анфиса уже ворчала, ожидая его с ужином.

— Куда запропал?— накинулась она на него, когда он вошел в кухню заявиться.— Что хозяина старого нет, так ты и шататься, рад, что с шеи сбыли... Мне до тебя ли тут, с ужином-то ждать...

— Да ты не хлопочи, тетка Анфиса, что очень так уж...— возражал Сережка.— Я свое дело знаю, к своему времю пришел; лошади у меня накормлены, ворота заперты, вот и я весь тут, что ты очень!... Мы завсегда в исправности...

— Да, в исправности! Зенки-то уж успел налить... На вот, лопай коли, все холодное... остыло все... Пьяница... кабацкая затычка!..

— Пьяницей мы никогда не обзывались, такова и фамилья у нас не... А что к сродственнику для скуки зашел, давно не видались... это невпример... Что ж такое... Мы к своему времю,— вот!..

— К сродственнику... Один у тебя сродственник — кабак горький... В него ты и бегал... Никакого у тебя сродственника нет...

— Ну, нет, напрасно... не кабак, а Капитон Абрамыч Обожжухин, извольте справку сделать... Не из ближних, а по баушке Парасковье внучатный племяш при-

ходится мне... У него и займовался для скуки времени,— вот что...

— И врешь, его и дома-то нет...

— Ан вот и дома, сегодня народился опять, при своем собственном дому находится... Вот ты, тетка Анфиса... и не в самую справедливость говоришь...

— Да ну тебя и взаправду, мокрое рыло, нужно мне очень с тобой разговаривать... Ешь да пошел в свое место, сторожи... Хорош будет сторож с пьяных-то глаз...

Перебраниваясь, ни тетка Анфиса, ни Сережка не заметили, какое впечатление имя Капитона произвело на безмолвно сидевшую в углу Степаниду. Она задрожала всем телом, выпрямилась и вся обратилась во внимание.

«Так он здесь, дома, с ней, с женой, он к ней привез, ей отдал деньги»,— думала она, и целый ряд мучительных воспоминаний и представлений потянулся в ее душе.

Весь день Степанида была в каком-то тупом, угнетенном состоянии духа. Мысли ее путались и не принимали определенной формы, сердце как будто не билось в груди, а мучительно ныло. Она напрасно усиливалась что-то предпринять, на что-то решиться, и ни на чем не останавливалась, ничего не могла обдумать; ее разрушенная любовь, ненависть, злоба, ревность, чувство преступления, которое она совершила, жалость к отцу, предчувствие его страданий, его гнева, страх перед ним,— все путалось и мешалось в неясных, отрывочных, бесформенных впечатлениях. Степанида страдала невыносимо, но каким-то тупым, неопределенным страданием. Теперь вновь при этом роковом имени чувство боли сделалось острое, и мысль получила определенное направление. Степанида вдруг встала с своего места, на котором почти неподвижно просидела весь день.

— Я спать пойду, тетка Анфиса,— сказала она.

— Ах, родная, али отошло? — обрадовалась старуха.— Ну, ступай с богом. Я приду, лягу с тобой...

— Не нужно, зачем, я и одна усну...

— А чтобы опять чего боже сохрани...

— Нет, ничего... Я пойду помолюсь да и лягу одна... Ты ложись здесь...

— Ну, как хошь, как хошь... Ну, вот слава тебе, господи,!.. Ну, помолись, Стешенька, помолись, а я было уж как испугалась...

Степанида ушла к себе в чулан, не дослушавши речей старухи. Она решилась на что-то вдруг, мгновенно. Придя в чулан, она долго молилась, стоя на коленях, с каким-то исступлением, била себя в грудь, билась лбом об пол. Потом встала, взяла что-то с полки, положила в карман, прислушалась, вышла неслышными шагами в сени, на двор и на улицу. Она направилась к дому Капитона.

В деревне уже не было огней, которые по времени года начали уже зажигать, не было огня и в доме Капитона. Степанида никого не встретила на улице; все уже спали. Ночь была темная. Как тень, скользила Степанида под окнами изб, подошла к избе Капитона, посмотрела на нее спереди, потом пошла вдоль боковой стены. В том углу, к которому примыкал двор, она ощупала рукою стену, нашла щель между углом и столбом забора, попробовала просунуть руку, — проходит. Она нащупала сухую солому. Тогда Степанида вынула из кармана то, что взяла с собою: это был огарок свечки и коробочка спичек. Дрожащею рукою шаркнула она одну из них, блеснул огонек, она зажгла свечку, просунула с нею руку в щель к соломе: что-то затрещало, руке сделалось горячо, потянуло запахом дыма. Степанида торопливо вынула еще несколько спичек и бросила туда же. Треск усилился, запах дыма стал слышнее. Степанида сунула туда всю коробочку спичек и бросилась бежать назад к своему дому. Она бежала, не оглядываясь, изо всех сил, но в конце улицы остановилась и обернулась: ей показалось, что темное облако поднималось к небу от того места, где она была за минуту. Она вновь бросилась бежать, проскочила в свои ворота, забыв запереть калитку, и, вся дрожа, задыхаясь, вбежала в свой чулан и прижалась в нем в угол.

Через несколько минут в деревне поднялся страшный шум, небо осветилось заревом, свет которого проникал и в окошечко чулана Степаниды. Она слышала, как кто-то пробежал по двору, как стукнула калитка, как затем опять кто-то пробежал и начал стучать в задние двери, как они с шумом отворились, послышались голоса Анфисы и Сережки, беготня, хлопанье две-

рей. В чулане у нее становилось все светлее и светлее. Вдруг распахнулись двери к ней в чулан, вбежала Анфиса.

— Стеша, Стеша, пожар, вставай, не пужайся, далеко, деревня горит,— кричала Анфиса.

А Степанида все стояла в углу, дрожала и крепко прижималась к стене, стараясь спрятаться.

— Да где же ты? Али встала? — говорила Анфиса, озираясь, и увидела ее в углу — Испужалась, испужалась... Я так и знала. Не бойся, далеко, ничего, бог милостив Ветра нет, не дойдет до нас...

И Анфиса опять убежала от нее. Степанида осталась одна. Зарево становилось все краснее, крик усиливался, превращался в какой-то дикий гул, близко, близко где-то прогромыхала телега с пустой, должно быть, бочкой... Степаниду неодолимо потянуло взглянуть на пожар поближе. Она вышла на двор, за ворота, на улицу

Недалеко от дома стояла Анфиса, кому-то что-то кричала и махала руками; около нее никого не было, ее никто не слышал. Впереди по улице к огню бежал народ, и навстречу ему от огня тоже бежал народ.

— Куда ты, постой, куда ты? — закричала Анфиса, увидя Степаниду, и вцепилась в ее рукав. — Не ходи туда... Дом-то пустой... Сережка-то убег, разбойник... Никого в доме-то нет...

Но Степанида шла вперед, ничего не отвечая, и Анфиса невольно шла за нею, держась за ее рукав. Не доходя горевшей Капитоновой избы, они остановились в толпе баб и ребятишек, растрепанных, косматых, перепуганных, ревущих. Капитонова изба горела как свечка; на нее все только смотрели, на соседних крышах сидели мужики и ломали их. Из соседних изб выносили пожитки: бабы тащили лавки, ведра, ухваты, несли на голове пустую кадку и сразу кидали ее, она рассыпалась. Высоко поднимается красная, кровавая снизу, черная кверху туча над избой Капитона, огненные языки лижут стены, стропила, отрываются и летят вверх в темную тучу. Сквозь уцелевшее стекло в раме видно, что горит и внутри, а вот и стекло треснуло, зазвенело, новая тучка дыма вместе с огнем вылетела из окна. Кто-то как сумасшедший бегает вокруг избы,

подбегает к окну и хочет заглянуть в него, его оттаскивают, — это Капитон, бледный, страшный, растерянный. К нему подбегает баба в одной рубашке, волосы распущены, сбиты копной, сама вся в саже, безобразная, смешная, — это Алена. У Степаниды огонь отражается в глазах, лицо кривится в злую, торжествующую улыбку. Она страшнее всех здесь, но на нее никто не смотрит. Около нее что-то говорит и кричит Анфиса, кричат и другие, — она ничего не слышит...

— Батюшки, Прохорова изба занимается... Воды, воды, — кричат неистовые голоса.

С тесовой крыши Прохоровой избы, вместе с оторванными щепами, досками, летят вниз несколько мужиков, чуть не охваченных огнем.

— Ваньку тащите, Ваньку тащите, батюшки, — кричит чей-то рыдающий, страшный, пронзающий сердце, голос.

Степанида теряет из вида Капитона и Алену, смотрит на Прохорову избу, холод пробегает по ее спине, охватывает всю грудь, она вся съеживается, горбится, глаза делаются мутными, волосы на голове как будто двигаются, поднимаются.

«Не попусти, господи, не попусти!» — шепчет она без звука одними губами.

— Воды, еще воды, отстоим, ничего, — вырезывается из гаму один чей-то голос.

Крыша на доме Капитона проваливается с треском, одни передние стропила стоят еще, с одной стороны черные, с другой — точно выложенные красным золотом. В них направляются два багра и опрокидывают наружу. Народ отскакивает с криками.

— Пойдем-ка, пойдем и сам-деле... Дом-то, ведь, пустой... Теперь бог милостив... Дальше не пойдет, — говорит Анфиса и тянет за рукав Степаниду. Та повинуется и идет за ней.

К утру на месте Капитоновой избы — груда обгорелых бревен, из середины которых торчит дымовая труба печи.

Соседние дома стоят со взломанными крышами, опаленными стенами и разбитыми стеклами в окнах.

Капитон усиленно растаскивает бревна и по горячему еще пеплу пробирается к тому месту, где был голбец; находит яму, всю заваленную дымящимися голов-

нями. Со страхом смотрит он в нее и озирается по сторонам, раскидывая головни.

Под ними он видит груду сморщенных, обугленных, растрескавшихся огурцов, прикрывших собою и защитивших его клад. Он просовывает руку под эту кучу: земля под нею сырая.

«Что, взяла?» — злобно, но весело думает Капитон, смотря в ту сторону, где стоит дом Терентия Савельича.

Алена сидит усталая и печальная в избе у добрых людей.

— Эка на вас напасть,— говорят добрые люди.— Как это да с чего это? Трубки, кажись, не курит... Эко горе! Долго вам не справиться... Еще благодарить бога — сами-то выскочили, да без ветру, а то бы всей деревне не сдобровать... Еще милослив к нам создатель-батюшка.

— Как можно, как можно... велика милость божья!.. Кабы ветер, всю бы деревню высадило! — соглашаются другие.

Алена ничего не говорит и не объясняет своих подозрений, в которых сама не сомневается.

На следующий день Капитон с женою уехали в соседнюю деревню к родным.

— И этакой удача-парень, — не унывает, веселехонек! — говорили после его отъезда. — Другой бы выл, а он ничего: бог, говорит, милослив, как-нибудь справимся. А она, так вот нет, она приуныла. Ну, знамо, бабье дело, жалко своего.

**
*

Через неделю после пожара стон стоял в доме Терентия Савельича. Воротясь с ярмарки, он открыл пропажу денег. Старик ревел, метался, рвал на себе волосы, кричал и топал над Степанидой. Она стояла перед ним молча, как немая. Иван ругался, Матрена ревела.

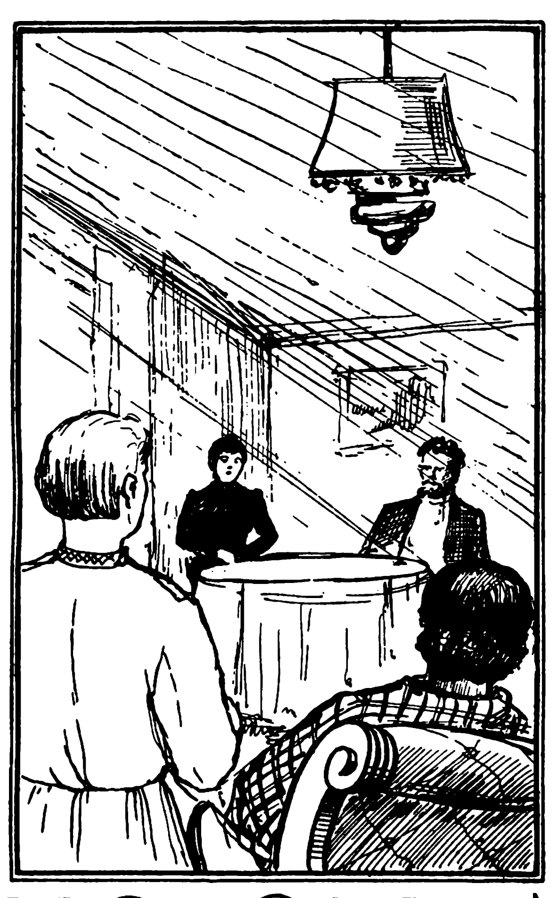
— Да скажешь ли ты мне хоть слово одно, ведьма ты прокл... — вскричал, наконец, выйдя из себя, Терентий Савельич и бросился на дочь. Толчком в голову он сшиб с нее платок. Степанида была совсем седая...

У Терентия Савельича опустились руки.

***

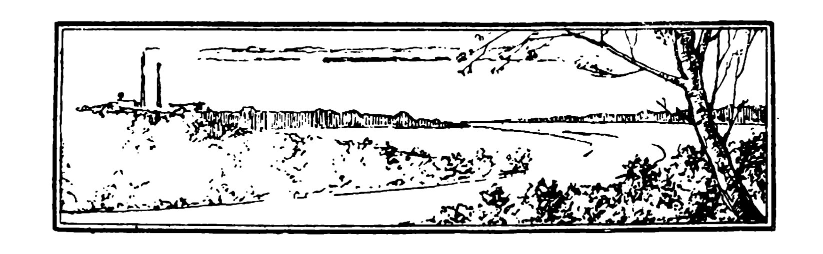
Много лет после того, ежедневно, во время службы в церкви села Нагорного, можно было видеть на коленях, у задней стены церковной, старую, желтую, всю в черном, смиренную и всегда безмолвную Степаниду.





МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

С недовольным и печальным лицом сидел в своей избе, на лавке, старый сутуловатый мужик, Герасим Дмитрич, и вопросительно, пристально вглядывался в лицо стоявшего перед ним сына Федора, высокого, статного парня, некрасивого, но с умными, задумчивыми глазами.

— Как же так, Федюха, — говорил старик. — Разве это порядок: двадцать тебе годков, весь ты парень собрался как следует, в полном виде, невесту я тебе приискал хорошую, стоющую, а ты так сразу и упираться вздумал.

— Уволь, батюшка, освободи, — отвечал тихо, но решительно Федор.

— Да что уволь: это уж я слышал... С чего ты упираешься-то? С чего дурь-то эта в тебе?.. Невеста, что ли, не по мысли?.. Так ты и не видал ее путем, а ты съезди, да посмотри перво...

— Все одно, батюшка, хошь и съезжу... Это мне не судьба — уволь...

— Да что же, у тебя другая, что ли, на примете?..

Федор видимо замялся, как будто собираясь что-то сказать, поднял было глаза на отца, но опять опустил их и молчал.

— Коли есть, так скажи: какая-такая?.. Удумаем вместе: как и что...

— Нет еще никакой, а так... не желаю еще... Дай погулять, обожди...

— Да чего ждать?.. Вишь ты, не желаю!.. Мир-от не

спрашивает — желаешь али нет, а розник-то наваливает — не ждет... Без бабы-то не больно складно: одни не управимся, опять же и я стар стал. Бабу приведешь, все лишняя работница в дому прибудет, все легче...

— Ты, батюшка, отпросись у миру: с тебя, по годам, твой розник снимут, а моим управляй... А меня не вяжи к дому — отпусти в люди: я заработаю, все подати заплачу — и оброк, и подушные, и за себя, и за тебя...

— Да куда же ты это пойдешь?..

— Я найду место: по фабрикам пойду али в город... Я грамотный, опять же мастерство у меня в руках... Место найду... В плотники — и то в артель примут, не сгонят...

— Так ты все ж таки перво обзаконь себя: женись, а тут, пожалуй, ин иди с богом, коли тебя от земли отбивает, а так надеешься, что лучше будет: больше заработаешь. Хошь, по-моему, на что бы лучше коло своего оселка, коло своей земли: жили и мы, век-от от земли питалися, слава богу, не проживали, а наживали... Можно бы и тебе, кажется... Ну, да коли свой родной угол надокучил, к родной земле не тянет, ну, я неволить не стану: бог с тобой, походи, поломай спину, помни бока на чужих людях, а только что все надо себя в порядок перво произвести... Вот женись, а после и ступай: поищи, попробуй счастья... По крайности я буду знать, что хошь жена тебя к дому тянуть будет, не загуляешься...

— Я не загуляюсь и так... А женюсь, тогда надо с женой жить: уже тогда непочто и в люди идти... Нет, ты меня, батюшка, уволь, освободи... Я тебе не в грубость: ты у нас не таков родитель, и я не таковский сын, а я божески тебя прошу: не замай меня пока, не нудь, дай срок.

Федор низко поклонился отцу.

— И хошь бы ты мне молвил причину-то твою... Причина-то твоя какая?.. Вина ты не пьешь, баловства за тобой али компанства какого распутного не примечал, да и не чаю этого — не такой ты, кажется, парень... Что ж в тебе за здор вышел?.. И сам я вижу: понурой ходишь, притуманился, не что есть у тебя на душе, а что? — не знаю... Думал — с годов это в тебе, что пора в законе тебе быть, и невесту было присмотрел, и то не так... А какая же-нибудь причина в тебе да есть?..

— Да одна во мне причина: хочу на чужих людях пожить, счастья поискать, ума понабраться... Что земля?.. Земля от меня не уйдет, а пока молод, надо на стороне попытаться: может, и счастье свое найду. Я от своего родного дома, батюшка, не отрекаюсь: в него же буду промышлять, что заработаю — тебе же принесу. Ты меня, батюшка, отпусти: я бы вот пошел к Федоту Семенычу зашел, сестру повидал. Федот-то Семеныч давно обещал мне работки похлопотать, а нет — на фабрику схожу, попытаюсь: там завсегда работа есть... Пусти, батюшка, теперь самое время работы искать...

Герасим Дмитрич вздохнул.

— И к учителю, чай, побываешь? — спросил он.

Федор быстро и пытливо взглянул на отца.

— Что же?.. И к учителю побываю: отчего же? — отвечал он как-то нерешительно. — Я от него, окроме одного хорошего, ничего не видал.

— Не он ли тебе это в голову-то надул, чтобы по чужим людям шляться от своего родного дома? Не он ли сбивает тебя?

— Ничего он, батюшка, не сбивает, — твердо уже возражал Федор. — От него одна наука да ум: как что в книжках писано. Он худому не научит — не бойся... И Федот Семеныч довольно его знает и одобряет: человек тихой, не пьющий, умной, от него есть чему заняться... Смотри-ка, ребятенки как его любят, так и рвутся к нему, безотбойно на книжках сидят.

— Ах, уж эвти книжки... Жили мы и без них... Уж не знаю, не согрешил ли я, что и грамоте-то тебя обучил... Вот начал в книжках-то читать и дома не сидится, и от земли отбиваешься, а, может, без грамоты-то темный бы остался, как и мы грешные, держался бы лучше дома: не забирался бы высоко-то...

— Да куда же я, батюшка, высоко забираюсь?.. Ничего высокого нет. Это ведь у нас только, в нашем краю, мужик привык так, что все в своем месте сидит, а вон в книжках-то сказывается: из иных мест целыми уездами на заработки уходят: кто в Петербург в самый, кто в хлебные места, кто со своим промыслом, с мастерством, а кто по торговой части; бывает, большие капиталы наживают. Да вот и у нас: мало ли народа стало на фабрики ходить, наниматься...

— То-то, то-то, не было этого у нас допреж того:

жили да поживали, как бог укажет, на своих местах; где кто родился, тут и питался... Кто какое ремесло имел, производствовал дома помаленьку... А нынче вон на фабрики побежали, не сидится дома-то...

— Значит, корыстней: промыслить больше могут, нечем дома.

— Ну, еще бог весть велика ли корысть-то: внове дело-то, посмотрим еще... А баловства-то уж будет беспременно, потому артельно, грудно, а народ все молодой на фабрику-то бежит... Да поди, чай, кабаки да трактиры, водка да чаи: вот они, заработки-то, куда и уйдут...

— Ну, я, батюшка, к кабакам не преклонен... А так думаю, что вот хошь бы я: ну, что я буду дома сидеть? Дал мне бог талант этот в руках... и в голове у меня довольно, всяких затей много... Ну, что я, какое дело себе около дома найду: фонарь разве когда соседу сделаю али шкапчик какой, али резь по дому пустишь, кто закажет, да и то больше за грош либо за спасибо сработаешь... А вон и учитель, Василий Якимыч: у тебя, говорит, Федя, большие механические способности есть, только бы тебе место где подходящее найти; большие, говорит, деньги можешь заработывать... Как же, батюшка, не поискать себе работы-то?.. И в писании сказано: таланта не велено зарывать в землю, что от бога дано... Вот уж не мало я сижу, жду, не навернется ли этакой человек, чтобы работку дал, да нет вот... Ну, стало, нужно походить, поискать... И тянет меня, и ровно мне кто говорит: поди да поищи, само не придет... Вот оттого и забота моя, и причина моя, что ты говоришь, вся в том... Вот ты меня освободи хошь на год, на два: похожу, не найду, — к тебе же приду тогда, никуда... Тогда и жени, пожалуй: не перестареюсь еще, время не уйдет. Увижу, что на стороне не много чего хорошего и стану уж дома жить безотходно, с землей ворочаться.. Опять же буду на слуху, далеко не уйду, и к тебе наведываться стану...

— Да по мне пожалуй, бог с тобой, не изведись только али не избалуйся...

Глаза у Федора радостно засверкали, довольная улыбка осветила лицо.

В эту минуту в избу вошел старший, давно женатый, сын Герасима.

— Вот, Иван, — сказал ему старик, указывая на Федора: — просится на сторону, работы искать... Думаю отпустить, чтобы после не жалился: пускай поест чужого хлеба, авось после свой слаще покажется.

— А как же, женить хотели? — заметил Иван, человек неразговорчивый, сосредоточенный.

— Да вот отпрашивается: дайте, говорит, годок-другой на людях пожить, счастья поискать... А что зарабатывать будет, в дом обещается отдавать...

— Знамо, в дом... куда же?.. В дому нужды много...

— Я думаю отпустить... Бог с ним... Пущай!..

— Как знаете... Что же: пущай походит... Може, и в сам-деле работу подходящую найдет, — он грамотный и сручен, только бы не забаловался да деньги не прогуливал, а с полосой как-нибудь справимся и без него...

— Ну, так с богом, коли... Собирайся, — решил старик.

Сборы Федора были очень непродолжительны и несложны. Не больше, как через час после беседы с отцом, связав вместе поддевку, сапоги и небольшой мешочек, в котором лежали чистая рубашка и штаны, и все это перекинув через плечо, Федор уже шагал по дороге к деревне Ступино. Он шел весело и беззаботно, с радостным лицом, с уверенным взглядом, точно впереди его ждало верное счастье, была видна заветная цель, к которой он давно стремился; а между тем впереди у него не было ничего ни определенного, ни верного. Так летит весною и осенью перелетная птица, гонимая инстинктом, не зная, что найдет впереди, где совьет свое гнездо.

Много было разных побуждений, заставлявших Федора проситься из дома, но теперь он весь был полон только чувством свободы, молодой силы, выпущенной в первый раз на волю, и надеждами — надеждами без конца.

II

Начиналась осень. Дорога шла по знакомым, родным для Федора местам: проходила среди выжатых хлебных полей, по которым врассыпную, свободно, бродили стада, кое-где виднелись еще узкие полоски недожатого

овса, побурелого, растрепанного, прилегшего к земле, или торчали изредка, как бы забытые, потемневшие полоски ярового хлеба; извивалась она по топкому кочковатому прибережью речки, обросшей елошником, в которой Федор знал каждый бочаг, каждую глубь, под каждым камнем ловил в детстве раков; вздымалась она по глинистому скользкому косогору и уходила в лес, который стоял теперь какой-то скучный, безмолвный, с пожелтевшими, сухими и опадающими листьями: весь этот лес до последнего дерева, до самой маленькой полянки был знаком Федору, он знал, где весною родится земляника, в какой овражине засел малинник, где теперь в осеннее время начинает краснеть брусёна, знал, в каком месте, под каким деревом родится всякий гриб; целые участки леса выросли из молодежника на его глазах, вместе с ним самим...

Все было родное, все знакомое и милое по дороге, которою шел Федор, но он ни на что не смотрел и ничего не видел. Сзади его осталась родная деревня, родная семья, в которых он родился и вырос, которых любил много и сильно, но не о них он думал, не к ним летела его мысль, не их образы рисовались перед ним: мысль его была впереди, и с иными дорогими лицами связывал он свое будущее, свои мечты и надежды. В воображении его возникал то образ красивого, совсем седого старика с печальным лицом, со строгим взглядом, но этот взгляд смотрел на него ласково, приветливо, печальное лицо прояснялось улыбкою — это был старый друг его, Федот Семеныч; то вместо него являлось болезненное, худое, желтое лицо другого друга, молодого, учителя Василия Якимыча, резко обозначались на этом лице большие черные глаза, то ярко вспыхивавшие, то вдруг потухавшие; чаще других мелькал перед Федором красивый женский образ и каждый раз, как он являлся, точно тисками сжималось его сердце, и кровь бросалась в лицо...

Федор шел прежде всего в деревню Ступино к Федоту Семенычу, за сына которого была выдана несколько лет назад его родная сестра, Анна. Федот Семеныч несколько лет сряду сидел волостным старшиной, был старик лет под 70, пользовался общим уважением, но был несчастлив в своей семье. Единственный сын его, Кирилла, муж сестры Федора, был уличен в краже, за-

подозрен даже в поджоге, от которого сгорела половина деревни и дом отца. Его судили: в поджоге не оказалось достаточных улик, но за воровство он был приговорен к тюрьме. В то время, как Кирилла находился под судом, Федор жил у Федота Семеныча. Старик, считавший родного сына потерянным для себя, привязался к Федору, полюбил его всей силой оскорбленного, обманутого в кровной привязанности сердца.

Федору было тогда еще только 18 лет, как он поселился у Федота Семеныча. Это был юноша тихий, конфузливый, но необыкновенно впечатлительный, с любознательным умом, с замечательными способностями к механическим работам; его серьезность, любовь к усидчивому, одинокому труду, вместе с какой-то особенной врожденной деликатностью, составляли совершенную противоположность с наклонностями Кириллы. В Федоре Федот Семеныч находил именно то, что он хотел бы видеть в своем родном сыне, и чего в последнем не было. Эти желанные свойства и достоинства Федора сначала даже оскорбляли старика, как бы вечный упрек, постоянное напоминание о недостатках родного сына. В первое время жизни с Федором он нередко чувствовал невольное раздражение против него; ему хотелось думать, что юноша притворяется, фарисействует перед ним, чтобы порисоваться своими добродетелями насчет его родного заблудшего сына.

Старая Федосья Осиповна, жена Федота Семеныча, безумно любившая и избаловавшая Кириллу, так и остановилась на чувстве предубеждения и недоброжелательства к Федору. Она охотно подчинилась этому инстинктивному чувству и упорно держалась за него: несмотря на то, что Федор жил у нее в доме не только как родной гость, но и как человек совершенно необходимый, пришедший в горькую, тяжелую минуту оказать безвозмездную помощь и возможное содействие, — он помогал строить дом, работал в поле и заведовал хозяйством — она постоянно была им недовольна, ворчала, придиралась к нему, искала случая показать пренебрежение, оскорбить его.

Федор отмалчивался, отчасти потому, что многого не замечал, отчасти из снисходительности к больной, несчастной, огорченной матери-старухе; но незаслуженное гонение, поднятое на Федора Федосьею Осиповною,

устыдило и образумило Федота Семеныча: он не только поборол в себе предубеждение к Федору, не только старался быть к нему беспристрастным, но стал больше и больше сближаться с юношей, полюбил и привязался к нему как к сыну.

Федор был выучен грамоте, страстно любил читать, с благоговением смотрел на печатную книжку и безусловно верил в печатную премудрость; но, под влиянием практического направления сначала своей семьи, а потом Федота Семеныча искал в книгах только практических указаний и советов. Правда, и книжный запас, из которого Федор мог обогащать свой ум знаниями, был очень скуден: у себя, дома, он довольствовался кое-каким вздором, который доставал случайно, да и читать мог только по праздникам, в совершенно свободное от работы время; а у Федота Семеныча к его услугам были получаемые в волостном правлении «Губернские ведомости» и книжки, присылаемые разными благотворительными обществами и комитетами для народного чтения и народных школ. Просил Федот Семеныч у местного сельского священника, чтобы он снабжал Федора книжками, но батюшка мог дать ему только проповеди местного владыки, два старых академических календаря да несколько разрозненных экземпляров «Трудов вольного экономического общества» и журнала, издаваемого духовным ведомством. Самый большой интерес и наибольшую для себя пользу Федор находил, читая смесь в «Губернских ведомостях» и в «Трудах», где сообщались разные средства и рекомендовались разные общедоступные способы относительно земледелия, скотоводства, вообще домохозяйства. Все это Федя старался запоминать, много пробовал применять и испытать на деле; но все это мало его удовлетворяло: в уме его возникала масса вопросов, которые оставались неразрешенными. Федот Семеныч, несмотря на весь свой ум, на всю свою опытность, не умел ответить на многие вопросы Федюши или отвечал неясно, неопределенно, общими местами. Федор, при всей своей вере в ум, мудрость и опытность старика, чувствовал и понимал, что знания его очень ограничены и что можно даже оскорбить его, обращаясь к нему с некоторыми вопросами.

Таким образом Федор жил сам в себе, и прирожденная ему сосредоточенность мало-помалу развивалась в

какую-то мечтательность, соединенную с внутренним недовольством. Без сомнения, с годами, под влиянием ежедневных забот и трудов для добывания насущного хлеба, вся эта бесплодная раздраженная пытливость ума затихла бы и заглохла, а практическое направление взяло бы верх, и вышел бы из Феди умный, толковый мужик, может быть, искусный, поражающий изобретательностью, ловкостью и сметливостью ремесленник, замкнутый, молчаливый, сосредоточенный, с угрюмым недовольным лицом...

Но Феде суждена была иная судьба... Случайно он познакомился с учителем волостной школы Василием Якимычем и в нем нашел того человека, которого, ему казалось, он так давно искал и который раскрыл перед ним целый новый мир мыслей, впечатлений, потребностей.

Василий Якимыч был то, что называется неудачный человек; он весь состоял из противоречий и увлечений, из восторженных порывов, которые вели за собою быстрое разочарование, охлаждение и недовольство, из беспредметного влечения к добру, доходившего до готовности на самопожертвование, и капризного бесцельного эгоизма, соединенного с недовольством всем окружающим без всяких определенных требований от жизни; из способности на временный упорный труд, который сменялся апатией и ленью. Василий Якимыч был сын бедной вдовы чиновницы, учился в гимназии хорошо и при этом зарабатывал себе небольшие деньги грошовыми уроками, но в предпоследнем классе, без всякой видимой причины, вдруг заленился, перессорился с учителями и гимназическим начальством и, не кончивши курса, к ужасу матери, вдруг вышел из гимназии; целые полгода жил жизнью чернорабочего, поддерживал свое существование самою грубою, непривычною, тяжелою работою; потом вдруг задался мыслью сделаться доктором, засел за книги, начал приготовляться к вступительному экзамену в медицинскую академию, выдержал его и поступил, но здесь он не пробыл и года, сухость и точность медицинской науки скоро утомили его, он перешел в университет на словесный факультет. Сначала он здесь увлекся своим предметом, серьезно работал, много читал, но вдруг остановился на мысли о непрактичности и неприменимости к жизни приобретаемых зна-

ний — и перешел в технологический институт. Но и тут дело не пошло на лад: вместо химии, он увлекся социальными вопросами и политической экономией, не выдержал экзамена, остался на другой год в курсе, запутался в одной истории и, только благодаря случайности, отделался тем, что должен был выйти из института. Он пробовал было опять сойти в самые низы чернорабочей силы, но здоровье не выдержало: у него заболела грудь, начался кашель, появились признаки чахотки.

Он добрался до своей родной губернии и с большими хлопотами добился должности сельского учителя. Непосредственность, простота крестьянской среды, восприимчивый детский мир, некоторое преувеличение важности принятого им на себя труда сельского учителя вначале очень увлекли его: он со свойственною ему порывистостью, жаром и энергиею отдался учительским обязанностям, развивая их до таких размеров, в которых им оставались недовольны и начальство, и даже родители его учеников. Василий Якимыч не выдержал столкновения с властью, с родительским невежеством и грубостью; борьба с ними показалась ему скоро бесцельною и бесплодною; энергия и увлечение его пропали; он превратился в обыденного — честного, добросовестного, но равнодушного учителя. Впрочем, дети любили его и охотно у него учились. Василий Якимыч скучал и начал тяготиться своею деятельностью; между тем здоровье его ухудшалось с каждым годом, в нем начала развиваться раздражительность...

Федя познакомился с ним еще в ту пору, когда Василий Якимыч был, так сказать, в экстазе своей учительской деятельности, когда он высоко ставил свое дело, верил в его многоплодную полезность и готов был отдаться ему до самопожертвования. Его заинтересовала в то время любознательность и пытливость Федора, он был поражен его способностью к механическим работам, словом — он увлекся им, как увлекался всем новым, задался задачей развить его ум, облагородить чувства, дать широкое и правильное миросозерцание, которого, впрочем, и сам не имел, мечтал отшлифовать алмаз, который нашел в грубой первобытной форме, создать человека-деятеля вне условных школьных приемов обучения, которые, по его мнению, только мешали правильному, самостоятельному и оригинальному развитию и

губили людей оригинальных, как казалось ему, — погубили и его самого. С энтузиазмом принялся он передавать Феде без разбора все, что знал сам, также без разбора и последовательности давал ему читать все, что имел под руками. Само собою разумеется, что Федюша сразу и безусловно был очарован своим наставником, всею душою подчинился ему и скоро стал смотреть на него, как верующий смотрит на оракула; но первое время, под наплывом массы новый идей, новых сведений, быстрого разрешения многих вопросов, он ходил, как в чаду, был возбужден до лихорадки; не имея возможности отдавать все время днем чтению, он просиживал целые ночи за книгами, все праздничные дни и ночи проводил он у своего учителя в беседах, в чтении, в разъяснениях прочитанного; но, по мере того, как он читал и узнавал, жажда знания не притуплялась, усиливалась, многие вопросы, казавшиеся разъясненными, вставали с новой жгучестью неясности, неопределенности; доходило до того, что уже и ответы наставника отзывались общими местами или красивым, иногда восторженным, иногда диалектическим набором слов, оставлявшим в душе вопрошавшего тот же прежний сумрак, прежнюю мучительную неясность и неопределенность. Восторг первых, неожиданных откровений проходил, в душе поднималась прежняя тоска неудовлетворенности, недовольства. Федя видимо изменился, похудел, побледнел, в глазах светился лихорадочный огонек.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы в сердце Федора, неожиданно для него самого, не заговорило новое чувство, которое подействовало на его воспаленный мозг как спасительное, отвлекающее. Сам того не сознавая, он влюбился. Если бы в то время его спросили, как это случилось, откуда, зачем и почему явилось в нем это новое чувство, что оно значит и должно ли оно быть или нет? — он не понял бы ни одного из этих вопросов и не сумел бы ответить ни на один из них. А дело совершилось весьма просто: у того же Василия Якимыча он встретился с девушкою, пришедшей к учителю переговорить о своем брате, ученике, который прежде времени перестал посещать школу. Она явилась по поручению матери, держала себя с учителем грубо и говорила глупости, доказывая, что нечего мальчишке баловаться, бегать и сидеть в училище, когда в доме

бедность, пить-есть нечего, пора подходит летняя, а мальчишка в силе, может и в подпаски наняться, в дом лишний десяток рублей принести, да и со своего хлеба долой: все лишний кусок в дому соблюдется.

— Не все нам с матушкой одним промышлять: пускай и он помогает! — заключила она.

— Да ведь ему бы только еще одну зиму в школу походить, так он совсем бы выучился и писать, и читать,— возражал учитель.— А ведь если перестанет ходить теперь, он все и позабудет: зимой снова придется начинать.

— Ну, так все одно: и всему выучится, а после все позабудет,— возражала девушка. Да что и в читаньи-то вашем? За него разе деньги платят, что ли? И все-то ученье — одно баловство, да одеже, обуви трепка—только и есть... Идут из школы-то, толкаются да таскаются, горланят да по льду катаются — обувку дерут... Матушка говорит: только что староста с господского наказа наобещал с три короба, что коли в школу в эту поступит да выучится, так и невесть что будет... А все пустое: выслужиться перед посредником да перед волостным захотелось, что с деревни много ребят в ученье загнал, а все каких больше нажимал: вот что нас же, сирот, да которые послабже... Небось, которые побогаче да позубастей, те не послушались, не пустили своих...

Учитель попробовал было еще убеждать, но возражения были в таком же роде, и убеждения его нисколько не подействовали.

— Этакая красавица и этакая дурища! — проговорил Василий Якимыч, когда девушка ушла.

И в первый еще раз Федор согласился со своим учителем только вполовину: согласился, что красавица, но не согласился, что дура.

— Говорит она с чужих слов, что ей велено сказать, да и не так, чтобы уж совсем не было ни толку, ни складу в ее словах... А подумаешь, так, пожалуй, есть даже и правда в ее резонах: в сам-деле, иной бедняк, хоть и выучится читать и писать, так забудет, ему не удосужиться и в книгу-то заглянуть, да другой и книги-то всю жизнь в глаза не увидит...

Вот какие мысли мелькали в голове Федора по поводу замечания учителя о девушке. И он почти не слушал целого трактата, который развивал перед ним Василий

Якимыч о том, как современное положение крестьянства препятствует развитию в нем грамотности и как было бы необходимо, полезно и справедливо, если бы общество или даже само правительство оказывало содействие и помощь тем бедным семьям, в которых чувствительна потеря труда учащегося мальчика, и какие бы следовало принять меры, чтобы выучившиеся в школе могли сохранить и употребить с пользою для себя приобретаемые в школе знания и т. д. Ничего этого не слыхал Федор, хотя учитель говорил очень горячо и убедительно, но тем не менее он сумел выспросить: из какой деревни ученик, брат девушки, как его зовут, а кстати и какие у него способности и пр. Он очень скоро воспользовался мимоходом добытыми сведениями и начал кстати и не кстати проходить и проезжать через деревню Онучино, где жила красавица Параня, добился того, что встретился с ней, заговорил, познакомился и сблизился... Ее-то глаза чаще всего мелькали в воображении Федора, когда он торопливо уходил из родного дома и шел искать счастья на чужих людях... Эти глаза и образ Парани заставляли ускоренно биться и замирать его сердце, они как будто манили его вперед и заставляли быстрее двигаться его ноги, они вызывали румянец на его щеки, улыбку на губы и веселый оживленный блеск в глазах. Он шел, не слыша под собою ног, не замечая дороги, и мысль его невольно сама собою проходила по всем подробностям его знакомства с Параней, вызывая одно воспоминание за другим и как бы давая ему возможность вновь пережить все минувшие уже события с их впечатлениями... Все, все до мельчайших подробностей вставало в памяти Федора.

III

Вот однажды, после неоднократных неудачных путешествий в Онучино, Федя вдруг неожиданно нагнал на дороге Параню, которая шла с каким-то мальчиком. Вся кровь бросилась в голову и покрыла горячим румянцем лицо Федюши, когда он узнал ее. Он был от природы очень конфузлив, особенно с женским полом, никогда не участвовал в играх и хороводах, никогда не заговаривал и не заигрывал с девушками, на что были

так ловки и смелы другие деревенские парни. Он несколько времени шел нерешительно сзади Парани, не сводя с нее глаз, но поспешно опускал их, когда она случайно оглядывалась назад, не решался ни поровняться, ни опередить ее; сердце в нем билось и замирало так сильно, что он не раз останавливался, чтобы перевести дух. И вдруг, точно подтолкнутый кем-то, не отдавая себе отчета в том, что делает, Федя подошел и поклонился, не смотря на Параню.

— Здравствуйте! — едва проговорили его пересохшие губы.

— Здравствуй! — бойко отвечала Параня, окидывая его своими большими глазами с ног до головы.

— Я вас сразу признал еще издалека,— продолжал он, нерешительно, точно на солнышко, поднимая на Параню свои глаза.— А вы, чай, меня не признали?..

— Ровно как негде видала, а признать, нет, не признаю...

— А к учителю-то, к Василию Якимычу, вы тогда приходили насчет брата... Я там был у него... Видел...

— А-а... А вы сами-то кто же будете, откуда?

— Я из Чернушек, да я теперь живу по родству, у старшины Федота Семеныча... Вот близехонько. всего верст с пять отсюда, в Ступине.

— Знаю, знаю... Ну, как не знать... А вот мы из Онучина, здешние, вон деревню видать...

— Я знаю, что вы из Онучина... Я давно знаю...

— Да почем вам знать? — начала было спрашивать Параня и остановилась, взглянув на Федю и заметив его смущение.

— Я завсегда тут хожу... завсегда думаю,— лепетал Федор не поднимая глаз и не сознавая, что он говорит.

— Что же вам ходить-то тут? Дорога, что ли, вам тут куда? — спрашивала бойкая Параня, сама чувствуя какое-то невольное смущение, когда глаза ее встретились с глазами Федора.

Федор хотел что-то сказать, но, заметив устремленный на него внимательный взгляд мальчика, шедшего рядом с Параней, остановился и сказал совсем не то, что хотел.

— Это братец вам будет? — спросил он.

— Да, вот в подпасках он у нас в Колосове, а у нас завтра праздник, так матушка и посылала денег попро-

сить, а он за мной увязался, выпросился там у пастуха-то... на праздник... Да добрый пастух-от, добрый, отпустил,— только бы, говорит, опосля старался, скотины не просыпал...

— Это насчет его тогда вы приходили к Василию-то Якимычу, учителю?..

— Вот насчет его... Он у нас один, баловень...

— А жалко, что вы его из школы-то взяли, без грамоты оставите... Поучился бы еще, грамотный бы был...

— Да что в ней, в грамоте: в школу-то ходил, только одежу трепал, а вот теперь к делу приставили, так и денежки стал зарабатывать...

— Велики ли эти деньги да и дело такое последнее... в подпасках, да в пастухах. А грамоте выучился, на другое бы дело попал и денег бы стал больше зарабатывать...

— Вы, знать, грамотный?..

— Я грамотный...

— Ну, вы так и говорите, а вот мы неграмотные, мы по-другому толкуем... А вы, что же, много денег промышляете через грамоту-то?..

— Я еще при отце живу, не сам по себе: что заставляют — делаю... А и кроме денег, от грамоты человек много умнее делается, потому книги читает, а в книгах все прописано, из книги можно всего набраться...

— Хорошо, может, вам подошлось: отец богат, работника держите, делать-то нечего, и читаете... А как кому есть нечего, каков кусок хлеба — и тот надо своими руками промыслить, так туто некогда в книжках читать,— с голоду помрешь... Знамо, ученый человек то ли дело, да коли нечем взяться, так как тут быть?.. Вон мы с матушкой на сиротском положении живем и полосы-то не держим: что заработаем, то и поедим, так до ученья ли уж тут?.. Рады-рады, что дождались паренька, что в годы вошел: хошь несколько промыслит на себя... Кабы в ученье-то брали да платили за него, что он промыслить может... ну так тут, пожалуй, учись... с полным бы удовольствием... Хошь глупые, неученые, а тоже понимаем: грамотный человек завсегда больше получить может: он и в писаря пойдет, и к купцу в приказчики наймется... Там жалованья большие платят... Да силы нет, так как поднимешься?..

— Это все правда ваша... Вот жалко только, что у

него дело-то такое, что он в подпасках живет, а то бы я стал ходить, пожалуй... обучал бы его... Ничего бы не взял, даром...

Федя проговорил это и сконфузился: в голове его мелькнула мысль: что она подумает? С чего это, незнакомый человек, навязываюсь?..

Но у Парани блеснула другая мысль: вишь ты, подъезжает!.. Это он ради меня... Видно, заприметил, приглянулась... В знать взойти хочет с нами... И зарделся — вон как!.. Беспременно так!..

— Что это... с какой вам стати беспокоить себя для нас? — проговорила она не без кокетства...

— Никакого тут беспокойства нет, с моим полным удовольствием... даже бы за счастье счел,— говорил Федор.— Потому мы друг дружке помогать должны: вон Василий Якимыч тоже как для меня старается — книги дает, толкует, все равно, что обучает меня, и ничего не берет. Так и я должен для другого кого постараться...

— Не из-за чего вам для нас стараться-то...

— Не то, что не из-за чего, а я ото всей моей души: можно даже и так сделать, что пускай он опять в училище к Василию Якимычу ходит, а я вашей матушке могу внести, что он в подпасках-то получает...

— Ай, да что вы,— больно богаты, что ли?

— Никакого особливого богатства нет, а что этакие-то деньги завсегда праздниками могу заработать на своем мастерстве... Поди, чай, рублей за десять в лето отдали?..

— За одиннадцать... Да вот уж рубля четыре забрали... Да нет, уж это, что вы говорите, никак даже и понять невозможно... И знати-то промеж нас никакой нет... Я даже не знаю, как и звать-то вас?..

— Меня-то Федором зовут... Да ведь и я-то не знаю, как вас звать...

— Вот так чудесно! — засмеялась Параня, и так хорошо, так весело заблестели ее белые ровные зубки.— Говорим, говорим, а как и зваться друг дружку не спросим... Вот так прекрасно!..

— Скажитеся, как?

— Параней меня... Парасковьей...

— А по батюшке?

— По батюшке — Михайлова.

— А матушку вашу как звать?

— Матушку Дарьей Тихоновной.

— Барыней ее прозывают,— вмешался молчавший до сих пор мальчик, брат Парани.

— Барыней? Отчего же так?

— А оттого, что она лицом была больно пригожа, бела, да и повадка у нее такая расторопная да важная, ровно у барыни у какой... Вот отчего! — объясняла Параня.

— Вы, значит, по ней вышли,— любезничал Федя и сам на себя удивился и сконфузился, что проговорил такие слова.

— Ну, уж какова есть,— кокетничала Параня, улыбаясь.— Вот будьте знакомы... На праздниках приходите гулять к нам: у нас на деревне весело празднуют, народу много сходится, хороводы водят... Посмотрите на наших девушек, поиграйте: у нас есть не экие, как я... получше...

— Не может этого быть! — с горячностью возразил Федя, пожирая глазами Параню.

— А вот вы поглядите... Вот парни у нас так сердитые, особливо к чужестранным: тотчас бока намнут, коли чужой к ихной девке больно прилипать начнет... Вы в хороводах-то, придете, не больно с девушками-то заигрывайте, с нашими...

— Я и в хороводах-то никогда не хаживал, и играть не люблю... Коли и приду, так только чтобы на вас посмотреть, потому — как тогда встрелся, так и не знаю, что со мной сталося: только и думушки, что про вас... А парней я ваших не боюсь: со мной тоже пускай не связываются... Сам не зачну, да и в обиду не дамся... Да и не с чего им ко мне пристать... Не то играть,— и смотреть-то я ни на кого не хочу, окромя вас, хошь бы никого и на свете-то не было...

— Вона, избушка-то наша... Пришли... До увиданья коли... Приходи, вось, на праздник-то погулять...

И Параня, точно огнем опаливши Федю своим ласковым взглядом, мгновенно оставила его среди дороги и порхнула в калитку соседней избы так скоро, что Федя не успел даже и попрощаться, как бы хотел. Он стоял некоторое время среди улицы, точно ошеломленный,— не мог отвести глаз от избушки, в которую скрылась Параня, и насилу-насилу пришел в себя и понял, что стоять дураком среди деревенской улицы и глазеть на

одно и то же место — нехорошо и подозрительно. Он пошел вперед, вполне счастливый, полный таким новым, хорошим чувством, какого еще никогда не испытывал.

IV

Вот и другая картина встает в воображении Феди — так ясно, точно совершается перед глазами.

В Онучине праздник. Водят хороводы, поют песни. Федя стоит в незнакомой толпе, сзади одного круга, в котором, держась за руки с другими девушками и парнями, ходит Параня. Он не может отвести от нее глаз, следит за каждым ее движением, за каждым взглядом, — ничего не видит и не слышит, кроме нее, а сердце так и колотится, так и замирает в груди... И давно уже он, кажется, стоит и ждет, когда Параня взглянет на него, узнает его, может быть, улыбнется,— может быть, поклонится; но она ходит по кругу такая скромная, такая степенная, точно и не та бойкая, смелая Параня, которую он видел у учителя, с которой встретился и разговаривал недавно: теперь пошепчется разве только с подругами, улыбнется, метнет быстрый взгляд в сторону из-под длинных ресниц и опять прикроет ими свои светлые, лукавые глазки. Не один раз казалось Феде, что Параня как будто взглядывала и на него: его кидало от этого взгляда в жар, он краснел, как рак, и рука его тянулась к шапке, чтобы поспешить поклоном, но Параня быстро отводила глаза и как будто не признавала его или не обращала на него внимания. Не раз в хороводе, распевая песни или заплетая и расплетая плетень, проходила она мимо самого его, даже задевала локтем: Федя весь трепетал, снова брался рукою за шапку, собирался что-то сказать — даже как будто шептал: «здравствуйте!.. узнали ли?» — но или за песней она не слыхала его слов, или губы Феди только шевелились, не произнося никакого звука. Федя внутренне проклинал свою робость, свою нерешительность, мялся на месте,— сердце его начинало болезненно ныть, тосковать... А когда иной парень не совсем осторожно брал Параню за руку или, играя, обнимал ее, Федя готов был броситься и поколотить его... Он видел, что Параня занимает собою не его одного, что почти все молодые ребята

вьются около нее, как шмели, и заигрывают с нею: всякий норовит стать с нею рядом, взять ее за руку, сказать ей что-нибудь смешное или ласковое, обратить на себя ее внимание; в играх то и дело она у всех на виду и на выборе,—и это еще больше смущало и мучило его...

«Неужели тем дело и кончится, что я тогда на дороге поговорил с ней, а теперь только поглазел на нее издали? — думал про себя Федя: — неужели она так и не признает меня, а я так и уйду домой, слова с ней не перемолвивши? Нет, уж надо как-нибудь подойти да окликнуть, что ли,— напомянуть про себя... Ну, а как не признает?.. Да и как подойдешь?.. Кругом народ, — ребята эти все вяжутся за ней... Хошь бы в сторонку маленько отошла, так уж к одной-то бы я подошел... заговорил бы...»

Но Параня или не признавала его, или не хотела показать, что узнала. Игры сменялись одна другими: водили хороводы, заплетали плетень, ходили стена на стену, играли в соседей, а Федя все не находил случая ни поклониться, ни поздороваться и заговорить с Параней, и топтался, точно шальной, на одном и том же месте.

Вдруг Параня отделилась от толпы играющих, пошла в сторону, проходя мимо Феди, быстро, незаметно, с лукавой усмешкой взглянула на него и затем побежала по направлению к своей избе. Федя смотрел ей вслед, а когда она скрылась за дверями крылечка, печально опустил в землю глаза и, поддерживая обеими руками стягивавший его поверх поддевки красный кушак, стоял в нерешительности и думал, что же ему делать теперь? Стоять ли тут и ждать, когда она опять придет, или идти к дому ей навстречу?.. А неизвестно еще и выйдет ли она опять на гулянку: может быть, и вовсе дома останется... Или уж нечего, видно, ждать, а идти домой?.. Видать, что она признала, да ждет, чтобы сам подошел, поклонился, поздоровался да заговорил, — а похоже и на то, что заговоришь с ней, а она насмех поднимет, прикинется, что незнаемый человек пристает, с ребятами, пожалуй, нарочно стравит со своими: лукава уж больно, ничто смотрит, ухмыляется... И грустно Феде, и досадно на Параню, — и еще досаднее на себя за свою робость, неумелость... Ничего он не мог придумать, ни на что не решался и в тоске бессознательно пошел медленными шагами по тому направле-

нию, в каком убежала Параня. Он поравнялся с ее избою, остановился, робко посмотрел на нее — и то не прямо, а показывая вид, что глядит через крышу на небо, помялся, потоптался опять на месте и сделал уже несколько шагов дальше, когда заметил, что с крылечка Параниной избы спустился ее брат и направляется к нему. Федя сразу почувствовал, догадался, что мальчик идет именно к нему, но по какому-то особенному побуждению — не то недоверия, не то осторожности — пошел быстро вперед, не показывая вида, что заметил мальчика. Тот скоро догнал его.

— Здравствуй,— сказал мальчишка, заглядывая в лицо Феде.

— Здравствуй, — отвечал он.

— Ты что же, куда идешь?

— Домой...

— Разве уж нагулялся?..

— Нагулялся... Будет...

— Подь к нам, в избу...

— Почто?..

— Почто? — переспросил мальчик. — Посиди, погостись у нас... Тоже праздник и у нас; чем ни на есть попотчуем.

— Да ты как зовешь-то меня?

— Как?..

— Тебя послал, что ли, кто?.. Али ты так, сам-собой?..

— Я сам собой...

— Так как же я пойду-то к вам?.. Ты разве большой в дому-то?.. Пожалуй, и тебя-то прогонят со мной...

— Ну, вот... Не прогонят...

— Да у вас кто там в избе-то?..

— Да теперь никого... Был дядя Финаген... пьяный... Погостился да ушел к соседям... Одна мамка с Паранькой сидят... Подем...

— Постой... Да что же они дома-то сидят?.. Почто Параня-то не гуляет?

— Гуляла... Сичас пришла... Сидят, тебя ждут... Подем, говорят...

— Так, стало, они тебя и послали звать-то меня? — спросил Федя, вдруг оживившись и весь вспыхнув.

— Уж послали — не послали, да подем, говорят... Погости у нас...

— Да как же я пойду: меня мать-то твоя и не знает вовсе?..

— Знает,— в окно видела, как ты супротив избы-то нашей стоял... Уж подем, говорят...

Федя больше не расспрашивал. Он сообразил, что Параня подучила маленького брата позвать его, как своего знакомого, а сама хочет остаться в стороне и скрыть, что заметила его, — что он полюбился ей.

«Для того, видно, она и из круга-то убежала, чтобы братишку подослать ко мне», — думал Федя, и сердце его ожило и радостно билось и замирало. Так у него хорошо и весело было на душе в ту минуту, когда он шел в избу Парани, как после, кажется, и не бывало. Так он любил в это время Паранина брата, что, кажется, душу бы за него отдал, — и такой он ему казался и умный, и смышленый, и добрый. Кабы не на улице было, — так бы он его и обнял, и расцеловал бы.

— Как звать-то тебя? — догадался, наконец, спросить его Федя.

— Николка...

— Надо тебе учиться, Николаша, надо... Что в подпасках, какой путь?..

— А вот отпасу, тогда опять к Василь Якимычу.

— Непременно... Я тебя уж устрою... определю...

— Придели... И мамка говорит: добро бы добрый человек нашелся — поддержал бы нас в нужде...

Наклонившись, вошел Федя в дверь маленькой темной, сиротской избушки, в которой жила Параня с матерью, но когда поднял голову, точно солнышком осветил и опалил его ласковый, приветливый взгляд светлых Параниных глаз и ее лукавая улыбка. Он не помнит дальнейших подробностей этого свидания в убогом жилище, которое казалось ему лучше, богаче и красивее всякого сказочного дворца, не помнит, о чем говорил с матерью, чем его угощали, как он вызвался учить грамоте Параню и уплатить матери деньги, которые Николка должен был получить от пастушни, с тем, чтобы он бросил должность подпаска и ходил опять в школу, — он видел и сознавал тогда, вспоминает и теперь только то полное счастье, невыразимое блаженство, то внутреннее довольство, которое испытывал, сидя рядом с Параней, встречая ее ласковый взгляд и улыбку, принимая из ее рук какое-то угощение, слушая

ее приветливые речи... Помнит и то, как вдруг у него сжалось сердце, потемнело в глазах, сделалось тошно и скучно, когда подруги вызвали Параню из ее избы опять на гулянку, и он остался в избе один с матерью: точно в самом деле вдруг закатилось солнышко, которое согревало и светило ему, и он остался впотьмах. Тогда только он рассмотрел, в какой бедной лачуге жила Параня, какая нищета и недостатки окружали ее: он рассмотрел закоптелый низкий потолок, грязный с дырами пол, заметил, что сидит на узенькой лавке, перед маленьким покоробившимся столом, на котором стоял штоф с водкой, лежало на блюдце несколько кренделей, полубелый пирог с кашей, какие-то грязные пряники и гнилые орехи; два маленькие окошечка плохо освещали хату.

Николка убежал из избы еще раньше, тотчас как привел Федю, и теперь он сидел с одной матерью Парани. Она была очень любезна с гостем, старалась его угощать и поддержать разговор, но Федя, без Парани, не мог ничего ни есть, ни пить, и беседа не вязалась. Мать Парани успела, однако, расспросить его обо всем, что касалось его семьи, дома, достатков, родства и пр. Наконец, Федя стал собираться уходить.

— Что же мало погостили? — спросила Дарья Тихоновна.— Покушайте еще чего-нибудь. Да выкушай водочки, полно...

Федя отказался.

— Али к молодым робятам да девкам тянет?.. И то сказать: со мной тебе поседки-то невеселы... На гулянку, что ли, опять пойдете?

— Уж не знаю, как... К домам пора, кажись: не рано уж...

— Так уж как же мне с Николашкой-то? Посылать его опять к пастуху-то, аль нет?..

— Нет, нет, Дарья Тихоновна, в школу посылайте, а я вот завтра эти шесть целковых вам принесу...

— То-то, то-то, Федор Герасимыч, мне бы перед пастухом-то тоже не сконфузиться бы... Взять-то я его возьму, а после, как у нас ничего не выйдет, без денежек-то я останусь: придется опять по деревням ходить да местечка ему искать... Пожалуй, и не возьмут никуда, да и срамота одна будет. Уж вы меня не обманите...

— Как это можно: беспременно вскорости принесу...
— Вот тоже кафтанишко ему обещали, рубаху да портки от деревни-то... Опять же и нови тоже дают: ржицы, ячменцу... А нам для сиротства это дорого стоит... Уж придется ото всего этого отказаться...
— Так у меня рублей с двенадцать есть денег-то своих собственных... Я вам все, пожалуй, принесу... Вот вы его и обошьете...
— Вот так уж дружка бог дал... Вот так уж сердце доброе, не корыстное... Как уж вас и благодарить-то, не знаю... Кабы маненько помоложе была, разлизала бы молодца: тоже, бывало, и я не из последних слыла; как еще гонялись-то! Только поцелуй — душу иной отдаст!.. Ну, да уж вот завтра придешь, да нас этак утешишь, велю Параньке поцеловать... Ишь ты, еще краснеет... ровно девка красная... А оставь-ка одних!.. А вот что, паренек милый, не ходи ты теперь и вправду на гулянку, а и пойдешь, не лезь на людях к Параньке... Тут все около нее увиваются, отбою нет, а ты чужестранный, да заприметят, что ты к ней, а она к тебе льнет — тотчас бока намнут, повредят еще как... Срамота-то срамотой и на нее огласка, а еще кто знает, что промеж вас будет... А придешь ты к нам буднем, придешь тихо, смирно, прямо в избу: хошь и приметят, так кому какое дело? Да опять же у матери на глазах... Так не ходи, Федор Герасимыч, а пойдешь — виду не давай, с Паранькой не заигрывай... Я ведь баба-то бывалая, на своем веку много всего видела, — и худого, и хорошего; из-за меня промеж мужиков тоже свары бывали, да еще какие... Так ты меня слушай... У меня и Параньке одна наука: ты их всех подпускай к себе, только не больно близко, и одному перед другим ходу не давай, а пускай они крутятся да грызутся около тебя, промеж собой... Здесь ведь какой народ: кто получше-то, позажиточнее, так смотрят, как бы так девку-то красивую обойти на кривых, а невест-то ищут: нет ли где около сундука с деньгами, хоть бы и корявую какую — все равно, лишь бы с деньгами; а галь-то перекатная, — пожалуй, хоть сейчас сватов пришлют, и присылали, да нет, — моя Паранька не из таковских: будет уж, я сама в бедности-то намаялась, знаю; тоже не хуже ее была, да за бедного попала — всю жизнь вот и маюсь... Ну, приходи же... Ждать будем...

Федя не утерпел и зашел на гулянку; но не подходил к Паране, и только издали поглядел на нее. Она тоже, как и давеча, не показывала даже виду, что замечает его...

V

Федя пришел домой в этот день точно в каком чаду, точно отуманенный или опоенный каким зельем: он не мог путем говорить, отвечал невпопад, поторопился уйти спать, но не мог уснуть и лежал чуть не до свету с открытыми глазами и с неотступной мыслью, что он завтра опять пойдет в Онучино, увидит Параню, будет сидеть с ней, разговаривать и, может быть... поцелует ее... Пошутила или вправду обещала это Дарья Тихоновна?.. И какая она, эта Дарья Тихоновна, добрая, чудесная и умная, и ласковая, и открытая... И какие она хорошие советы дает дочери: и в сам-деле, пускай их грызутся около нее, только бы она никого к себе не подпускала... И разве кто-нибудь из них годится ей в мужья?.. Всех он их видел... Разве ей этакого мужа надо?.. А какого?.. Вот когда он ее выучит грамоте, а сам разбогатеет... он непременно разбогатеет!.. Вот тогда!.. И зачем они такие бедные... ах, какие бедные! Лошади нет... Коровка-то еще есть ли?.. Все им отдам, все, что есть... И что после буду зарабатывать, все им отдавать... Долго ждать, пока разбогатею... А теперь, пожалуй, и ее мать не отдаст, да и мой отец упрется: тоже деньги любит, тоже побогаче для меня ищет... Чего доброго, и Федот Семеныч будет против того, чтобы я женился на ней... Разве попытать, сказать ему?.. Нет, нет, и думать нечего... Никому не скажу... Да еще, пожалуй, и она-то сама не пойдет за меня... Что я-то такое? Что за богач? В чужом дому живу, своего — ничего... Еще и полюбит ли она меня?.. А вот завтра... завтра пойду, отнесу... Может, Дарья Тихоновна и не пошутила, а вправду... Завтра все видно будет, только бы дожить...

И это завтра, наконец, наступило. Федя сосчитал свои деньги. Их оказалось даже больше двенадцати рублей: он копил их давно уже, собираясь, по совету Василия Якимыча, сделать модель какой-то машины, которая складывалась в голове Феди. Теперь он положил их в карман, чтобы с радостью отдать для другой цели. Упра-

вивши, не с обычною аккуратностью, все работы по дому, вскоре после обеда он ушел опять в Онучино. Там еще справляли по домам праздник, но гулянки уже не было, и деревенская улица была пуста.

Федя, никем не замеченный, вошел в избу Дарьи Тихоновны, но у нее были гости. Два пьяные, молодые еще, мужика сидели перед столом по сторонам хозяйки и, одною рукою обнявши ее, а другою размахивая, покачиваясь и притоптывая, пели веселую песню. На столе валялся опрокинутый штоф, какие-то объедки и виднелись следы пролитого или расплесканного питья. Хозяйка сидела между ними красненькая, подпевала и, как показалось Феде, тоже была чересчур весела. Он остановился у дверей не без смущения и оглянул избу: ни Парани, ни Николки в ней не было. За песней и топаньем Федю не сразу заметили, и он стоял некоторое время, не зная, что делать: поздороваться ли с хозяйкой, или уйти. С удивлением он смотрел, как то один гость, то другой, среди пения, целовали хозяйку и целовались друг с другом, причем Дарья Тихоновна только посмеивалась да слегка отстранялась. Наконец, она увидела Федю и засуетилась.

— Ах, гость дорогой!.. Пустите вы, черти пьяные!.. Вот оглашенные!..

С трудом вырвалась она из рук своих гостей и подбежала к Феде, поправляя несколько сдвинутый на голове платок.

— Не ждали сегодня, не чаяли... Здравствуйте, Федор Герасимыч... А у меня вон... свояки сошлись... праздник догуливают...

— Кто такой? — перебил ее громким пьяным голосом один из свояков.

— Какой такой человек... незнамый? — подхватил другой, колотя кулаком по столу.— Вон!.. Чтобы не было...

— Молчите вы, оглашенные! — кинулась к ним Дарья Тихоновна.— К Николке моему... от учителя... Насчет науки... Николка-то убежал... Поди на улице где,— продолжала она, снова перебегая к Феде и видимо смущенная.— Подь, родной, Федор Герасимыч, пройди по улице-то: где-нибудь увидишь его... Николку-то... Увидишь, возьми его с собой, приводи сюда...

Она торопливо старалась почти вытолкнуть Федю за порог дверей и отвлечь его внимание от пьяных гостей, которые продолжали шуметь.

— Ты походи, Федор Герасимыч, по улице-то,— говорила она ему уже на крыльце, затворивши за собою дверь в избу,— а я пока выживу от себя пьяниц-то... Ворвались, оголтелые... Что поделаешь,— праздник!.. Опять же в родстве: никак нельзя... А они вон какие!.. Того смотри, тотчас и в драку... Неспокойны, пьяные-то... Ты пройдись, батюшка, раз-другой по улке-то и Николку-то найдешь, а, может, и Паранька тебя увидит: где-нибудь сидит с девками... Увидит, тоже прибежит... А я их живым манером выживу...

Дарья Тихоновна говорила все это несвязно, торопясь воротиться в избу, где оставленные гости шумели и звали ее.

Федю смутила и озадачила вся эта сцена, но он не мог долго задумываться над нею: все его мысли были направлены к Паране. Он думал только о ней, искал только ее одну и глазами, и сердцем. Идя вдоль улицы, он решал для себя вопрос: как ему быть, если встретится с Параней или увидит ее сидящею где-нибудь с подругами: кланяться ли ему с нею, или пройти, как незнакомому? Но его вывел из затруднения Николка. Он вдруг явился перед ним, точно из земли вырос. Оказалось, что он играл на задворках с ребятами и, когда Федя проходил мимо одного проулка, увидел его, узнал и подбежал.

— Куда же ты идешь? — спросил он Федю.

Тот объяснил и рассказал, что застал у матери гостей и что она почти выпроводила его.

— Кто это? Здешние, что ли? — спросил он Николку.— Сродственники ваши?

— Каки сродственники!.. Так, гулящие они... Здешние: Иван да Кузьма... Дружки они мамкины... Завсегда у нас гуляют... Когда один по одному ходят, а когда и вдвоем... Иной раз раздерутся, а другой и ничего, оба вместе сидят,— пьют да песни поют...

— А Параня... Парасковья-то Михайловна где же? — дрогнувшим голосом спросил Федя.

— А она, поди, где-нибудь с девками... Уж коли те придут к мамке, Параньке дома не сидеть...

— Отчего?

— Мамка завсегда уж нас обоих с ней гоняет вон из избы... потому — безобразят... и к Параньке лезут... С ними ничего не поделаешь!.. Так уж который придет, да коли пьяный, Паранька и сама тотчас уйдет... к суседям...

У Феди захватило дух.

— Так зачем же их мамка-то пущает?.. Она бы прогнала их...

— Да как их прогонишь?.. Наше сиротское дело, а они тоже носят: не с пустыми руками ходят... Иван-от особливо: он богатый был, только прожился, сказывают, промотался вовсе... У жены-то, чу, шубу пропил, вправду ли, нет ли — сказывают...

— Разве он женатый?

— Так неужто?.. Оба женатые... Пущай Иван-то одинокий, а Кузьма-то — тот детный... Жена-то, сказывают, бьет его...

Николка усмехнулся.

— А у тебя тятька-то давно помер?

— Давно... Я не помню... Он из дворовых, сказывают, высажен... Хворой, чу, был, недолго пожил... И мамка-то ведь за господами жила в девках-то... Их обвенчали да и высадили сюда... в деревню...

— Вот я деньги-то принес... Будешь ли учиться-то? Станешь ли в училище-то ходить?..

— Стану. Отчего не ходить... Все лучше, чем в подпасках-то... У нас Василий Якимыч добрый: ни дерется, ни что... А обучусь, тогда в писаря можно, али по торговой части... А вон Паранька-то, вон, с девками да с парнями на завалинке сидят... Позвать, что ли, ее?

— Позови... Нет, постой... Ты вот что... Пойдем назад, к вам на избу: может, те ушли... Ты посмотри: коли те ушли, тогда я войду, а ты тогда сбегай, позови сестру-то; про меня-то ничего не говори, а скажи, что мамка зовет...

— Ну, ладно...

В избе оставалась уже одна Дарья Тихоновна, которая успела даже уничтожить на столе признаки происходившей попойки и выставила остатки праздничного угощения: крендели и пряники. Она поджидала Федю и видимо старалась придать лицу своему солидное и степенное выражение.

— Вот в какую компанию попал было, Федор Герасимыч... Что поделаешь: праздник,— гуляют!.. Мужика в доме нет, дело сиротское, не выгонишь... Любо ли, не любо ли — терпи: сродниками признаются... Насилу спровадила, насилу уговорила уйти-то... Колобродят, да и на поди!.. Садись-ка, гость дорогой!.. Уж никак не чаяла, что сегодня пожалуешь... Что Параньки-то не встретил, не видал?

— Видал... издальки... А я вот насчет денег-то, чтобы вас успокоить... для Николахи, чтобы опять в ученье-то его...

— Ах, покорнейше благодарю... Вот уж истинно благодетеля бог дал... Видать, что человек настоящий, добрый, а не на словах на одних... Позабавься, батюшка, отведай чего-нибудь, нашего-то сиротского угощения... Не обессудьте... Вот хоть пряничков... Покушай, милый...

Она усердно навязывала ему тарелку с пряниками, и он, из приличия, взял несколько штук.

— Вот ведь бедность-то наша: чайком бы надо угостить дорогого гостя, а у меня и самовара-то нет... Был и самоварчик-то, да от нужды продала... Да, вот жизнь-то моя какая!.. А ведь на чаю выросла: как же... в господском дому, при господах, в горницах выросла!.. И теперь еще барыней кличут... Да барыней бы мне и быть, кабы не злые люди... Так меня молодой барин любил, так любил!.. Быть бы мне барыней, да уж, видно, такова моя судьба горькая... Ведь и Параня-то моя барской крови-то, не простой... Уж сказать тебе, не солгать... по всей, по душе... Да этого и не спрячешь: по виду видать, что не мужицкой крови, али не простой... В догадку ли вам это, Федор Герасимович, ну-ка, скажи по правде?..

Феде было очень неловко и тяжело при этих рассказах: ему вспомнился вдруг учитель Василий Якимыч, его горячие речи о личном человеческом достоинстве, об общественных отношениях, о незаслуженных привилегиях, о злоупотреблениях ими, и многое, многое, что ему самому приходило в голову, волновало и возбуждало его молодую мысль и сердце. Он не хотел отвечать на вопрос Дарьи Тихоновны, но она опять повторила его.

— Нет, да ты правду мне скажи: неужто ты так и думал, что она из нашего простого рода?.. Неужто тебе так ничего и не вступало в голову?

— Для меня это все равно,— проговорил Федя, нахмурившись, почти сердито.

— Да разве в нашем роду экие красавицы бывают?.. Посмотри-ка, обойди всю деревню, есть ли хоть одна супротив ее?..

— Да ведь вот вы сами же говорите, что красивее ее были, а из нашего же ведь рода, из мужицкого, чай, не из барского?..

— А кто знает? А почем знать? Может, я только не знаю, а у нас, бывало, во дворе, при господах, всего много случалось... И неразберимое дело, что было... А отчего дворовая всегда в отличку от простой бабы деревенской?.. От этого самого... от крови!..

Федя еще больше насупился, так что Дарья Тихоновна, несмотря на свое возбужденное состояние, заметила это и спохватилась.

— Али вы господ-то не любите?.. Знаю я, нынешние молодцы из крестьянства, особливо грамотные да ученые, сами себя высоко понимают... То и хорошо, что говорить!.. А только что и промеж господ хорошие есть люди... не все худые... Ведь и в крестьянстве-то этаких, как вы, не много... Вот и умный, и степенный, и непьющий, и добрый... Вон какого бог уродил!... А много ли этаких-то?.. А все больше либо буян, либо пьяница, либо озорник какой... Известно, кабы этаких побольше, как вы... и мужички бы тогда в ход пошли... Что это, Паранька-то долго не идет?.. Вам со мной, с одной, скучно водиться-то... Поди, чай, бежал только и думал, чтобы как Параньку повидать?... Не чаяла я, не чаяла, что сегодня придете: не пустила бы ее из дома...

Федя сконфузился.

— Нет, ведь я только, чтобы насчет денег поскорей... как Николахе завтра идти бы надо в Колосово... Вот получите... Я принес...

Феде, в надежде на получение обещанного вчера вознаграждения, хотелось было отдать эти деньги непременно в присутствии Парани, но не вышло: он не сумел этого сделать и внутренне сердился на себя. Он опечалился еще более, когда Параня вошла в избу тотчас после того, как Дарья Тихоновна, получа деньги, рассыпалась в благодарностях, прослезилась и, в припадке чувствительности, даже расцеловала Федю и уже успела спрятать деньги. Появление Парани дало разговору

другой оборот: мать спросила ее, где она была, рассказала со смехом, каких пьяных гостей застал у нее Федя, а о деньгах и обещанной за них награде даже и не упомянула, точно забыла совсем или считала Федю вполне вознагражденным, а свою ласку достаточно заменившею ту, о которой юноша мечтал всю ночь. Параня принесла с собою опять ясное солнышко, но несбывшаяся надежда томила Федю и не давала места тому полному счастью, той радости и блаженству, которое он испытывал накануне. Может быть, этот поцелуй при свидетелях, не добровольный, а по приказу, и притом, как бы купленный, не доставил бы Феде такого наслаждения, какого он ожидал, но все-таки он ожидал его и терзался, что надежда его не осуществилась, сердился на мать и еще больше на себя самого.

Вообще весь этот день был как-то неудачен и не оправдал ожиданий Феди. Сцена, которую он застал, и потом беседа с матерью произвели на него тяжелое, неприятное, какое-то гнетущее впечатление. Параня была тоже как будто скучна, не показала радости при свидании с ним, смотрела равнодушно, не кокетничала, была неразговорчива: Федя не встречал тех вызывающих взглядов и улыбок, которые накануне заставляли бить такую тревогу его сердце; ему показалось даже, что Параня была как будто печальна и недовольна. Дарья Тихоновна, напротив, была очень весела, не в меру ласкова и надоедала своей болтовней, точно на этот раз мать с дочерью обменялись ролями. От всего этого в душу Феди забиралась какая-то тоска, недовольство: он сидел молча, опустя голову, и чувствовал, что был очень скучным собеседником. Он и домой ушел в тот день такой расстроенный и печальный, точно с ним случилось какое несчастье. Его не утешало даже и настойчивое, неоднократно повторенное приглашение: заходить почаще.

VI

Тяжело было Феде пережить несколько дней до нового свидания с Параней. Он не решался идти в скором времени, чтобы не обратить внимания домашних и посторонних: робкое чувство, которое он испытывал, требовало тайны, пряталось на дно души, стыдилось пока-

зываться на чужие глаза. В тот день, когда Феде казалось можно уже идти в Онучино, не возбуждая подозрений, он дома все-таки сказал, что идет в село к учителю, хотя его никто никогда не спрашивал, куда он отлучается.

И Федя, действительно, задумал сначала забежать для вида к Василию Якимычу на несколько минут, хотя это ему было вовсе не по дороге.

— Что давно тебя не видно? — спросил учитель.

— Да вот все за делами,— отвечал Федя.

— За какими делами-то? — с какой-то особенной, странной улыбкой переспросил Василий Якимыч.

— А как же, мало ли в дому дела?.. К пашне припасаемся... Пахать скоро приниматься надо...

— Али в Онучине землю в аренду снял?

— Как в Онучине? — отозвался Федя, краснея.

Учитель, смотревший на него, захохотал.

— Ах, ты, чудак, чудак!.. Признавайся: втюрился, что ли?

— Я... ничего! — глупо и растерянно возразил юноша.

Учитель захохотал еще громче. Федю покоробило от этого смеха.

— Да над чем же... вы?.. Что я погулять-то сходил в Онучино о празднике?..

— Полно ты мне хитрить!... Признавайся, говорю, лучше!... Ведь я все узнал...

— Да что вы узнали?... Ничего нет...

— Как ничего нет?.. Я думал, он тихий, робкий... женского сословия боится, а он оказывается ходок по этой части, хоть и тихоня..

— Да что вы, Василий Якимыч!.. Право же ничего не было...

— Ну, не было, так будет... Да ты что же? Не конфузься очень-то... Это ничего... Подури, коли блажь нашла!... Только не давай себя очень болванить-то, а то, пожалуй, обобрать-то оберут, да еще дураком сделают...

— Да что же вы узнали такое?.. Скажите же мне...

— Да как что, братец? Все узнал... Прихожу как-то в школу: мальчишек теперь уж мало ходит, один по одному каждый день убывают, так и тает класс, точно снег весной... Недаром же и тепло стало... А тут смотрю — прибылой: вышел было и опять появился; взяли в подпаски, обругали еще меня тогда, что я этим ученьем

только бедняков притесняю, а тут вдруг опять в школу поступает... Да еще какой?.. что ни на есть самый нищеплет, Николка из Онучина... Что за чудеса такие!.. «Да ведь тебя, спрашиваю, в подпаски хотели отдать?» — «Отдавали,— говорит,— да опять взяли».— «С чего же это так? Али не погодился?» — «Нет, чтобы доучился поскорее...» — «Да ведь у вас дома есть нечего: оттого тебя и взяли из училища, и в пастухи хотели отдать?...» — «Теперь, — сказывает,— у нас благодетель проявился: обещался всю семью прокормить, только бы я учился...» Фу ты, чёрт, думаю, откуда этакая благодать... Что у нас за пропагандист такой явился?.. Заинтересовало это меня... Начал выпытывать мальчишку и допытался: вот кто у нас этот благодетель и пропагандист — Федор Герасимыч!.. Признаться сказать: сначала-то я даже в умиление пришел, хотел, как увижу тебя, на шею броситься... А после, как вспомнил, что там эта сестренка быстроглазая есть,— правда, хорошенькая, чёрт ее дери!.. Да еще разузнал кое-что... Ну, поостыл от восторгов... А все-таки похвально: по крайней мере, хоть мальчишка грамоте выучится, хоть не совсем даром деньги брошены... И что это, однако, наша жизнь за лужа такая грязная, омут какой-то вонючий,— заговорил вдруг Василий Якимыч желчным тоном: — чтобы мальчишке обучиться грамоте, нужно, чтобы у него была сестра красивая и чтобы нашелся на нее охотник с деньгами...

— Да вы что же думаете,— порывисто перебил его Федя.— Я ведь не из чего-нибудь... Я ведь только чтобы учился Николка... Вы напрасно думаете: они не такие... И я не из-за того совсем...

— Ах, уж ты мне только не рисуйся... Терпеть этого не могу... Видите: бескорыстным благодетелем хочется остаться!.. А что уж тут финтить, говори на чистоту!.. Ведь не будь у Николки красивой сестры да не вздумай ты к ней примазаться,— тебе бы и в голову не пришло тратить, может быть, последние деньги на его ученье... и не подумал бы!.. А ты все же лучше других: хоть и про себя хлопочешь, да в то же время и другому пользу хочешь сделать... А что они не такие-то, так это уж, брат, ты врешь... Я справки наводил, расспрашивал: матка-то гулена известная, все ее знают кругом... Ну, значит, и дочка...

— Нет, Василий Якимыч, нет, неправда! — с азартом прервал его Федя,— и вдруг вспомнил сцену, которую видел в избе Дарьи Тихоновны.— Я не знаю про мать... а дочь — нет, она честная девушка, скромная!.. Она не такая, это неправда!..

— Да ты уж, брат, не в невесты ли себе прочишь ее?... Не надумал ли жениться на ней? — спросил учитель.

— Я не знаю... Я ничего не думал... А только что...

В голосе Феди слышались слезы.

— Федор... Чудак!.. Да ты и вправду, видно, втюрился в нее... Ты признайся мне: неужто и в самом деле ты не так только, а и жениться бы на ней не прочь?..

— Ах, не спрашивайте вы меня, Василий Якимыч... Ничего я не знаю... Ничего и не думал... Только не ругайте вы ее, не срамите... Тошно мне, тяжело... вот как!... Ей-богу!..

Федя не удержался, заплакал и выбежал от учителя, не простившись с ним.

На улице он спрятался за угол какого-то здания и плакал долго и навзрыд, не сознавая о чем, не думая о причине этих слез. Проплакавшись, он уже не мог идти опять к Василию Якимычу даже для того, чтобы хоть попрощаться с ним, но скорым шагом, чуть не бегом, пошел в Онучино.

С замиранием сердца, с чувством какого-то безотчетного страха, точно перед бедою, подходил Федя к дому Дарьи Тихоновны. В избе он встретил одну только Параню; матери не было.

Девушка радостно вскрикнула, увидевши его.

— Ах, насилу-то пришел... А уж мы ждали, ждали... Глаза даже все просмотрели, ждамши,—говорила она.— Садитесь, гости будете... Чтой-то вы долго не шли к нам?...

Федя не мог унять замирание сердца, теперь радостное, не мог собраться с силами, чтобы заговорить, а стоял и смотрел на Параню с таким восторгом, с таким упоением, что показался ей странным, даже смешным.

— Ай, да чтой-то вы какой,— сказала она, едва удерживаясь от смеха.— Ровно без языка.. Что не говорите ничего? Садитесь, мол, гости будете... То не шел, а теперь вон какой... Ровно глумные...

Но, вглядевшись пристальнее в глаза Феди, Параня вдруг покраснела, потупилась, смущенно отошла от Феди и уселась на лавку подальше от него.

— Маменька с Николкой по грибы пошли: сморчки отошли, стройки, сказывают, прошибаться стали,— проговорила она, чтобы прекратить молчание.

— А вы что же не пошли? — спросил Федя.

— Кабы пошла, так и избу бы запереть... Тогда бы и вы пришли, только бы замку поклониться...

— А вы разве меня ждали?

— Почем я знала, когда вы придете... Как ждать-то? Кабы сказали тогда, в тот день приду, так и ждали бы... А не охоча я за этими грибами-то ходить: гриб-то пустой — строек... Кабы за белыми... вот то — другое дело... Охотно и брать...

— Значит, не ждали. А вы как же сказали, что все глаза проглядели, ждамши.

— Знамо глядишь... Как же не смотреть-то, коли глаза есть... На то и глаза... А вы вон даве вошли, глаза-то уставили, а ровно и не видите ничего... С попыхов, что ли, вы это с каких?... Бежали, что ли, неведомо от кого?..

Параня фыркнула и закрылась передником.

— Вам смешно, а мне, может быть, не до того было... Бежал к вам точно, запыхался, да и увидел — и дух совсем захватило...

— С чего это?..

— С чего?.. А с радости, что вас увидал!..

— Велика радость!.. Я не писаная какая!.. Эких много...

— Нет, писаная... И таких нету других... а не то — много!..

— Чего же вы не шли-то долго?

— А вам что до меня?.. Вам, чай, все равно... И не вспомянули, чай?..

— Ну, вот все об одном-то... Не буду вам все одно да одно сказывать...

— Вам все равно, а я тот раз ушел, ровно свет у меня от глаз закрылся, да так всю неделю и маялся... Заела меня тоска...

— С чего так?..

— Известно с чего... По вас...

— Вона!.. Послушай вас, вы наговорите!..

— Я что ни говорю, у меня все одно, и все из самого сердца... А вы раз так, а другой — по-другому...

— Ничего не по-другому, а все одно...

— Что же одно-то?..

— А у вас что?

— У меня? А вот что: как сегодня, так и вчера, как увидел вас, так и по сейчас,— только и думушки, и заботушки, что вы одни... И лягу — думаю, и встану — думаю, и во сне на глазах стоите... И нет мне лучше, нет мне краше...

— А я-то как же? Я-то как же? — перебила его Параня и еще подальше отодвинулась от Феди.

— А вы?.. Вы вот как: сегодня взглянули — ровно солнышком осветили, на другорядь — и не смотрит, и не признает, сегодня — говорите и сладко, и ласково, а завтра — в беседе-то сидите, ровно вам и скучно, и противно, и говорить-то с человеком охоты нет...

— Так разве так я?..

— Так, так точно...

— Так мне этак и след, потому мы девушки: на нас смотрят, осуждают... С вас никто не спросит, а с нас спрашивают... Поди-ка, поведи себя без береженья, так и ославят... Ваш же брат, первые — ославят... После и жениха путного не найдешь: так в девках и засидишься...

— Кабы полюбили человека какого, не стали бы этак делать, потому это ему одна мука: никак не применишься...

— Любить-то нам, девкам, не приходится, потому один обман бывает... А вот выйдет девка замуж, станет бабой, тут и любить станет...

— Да ведь как же ему жениться, коли он не знает, любит его девка или нет... Ему и жениться нельзя...

— А пускай смотрит: на то и глаза... Плоха та девка, что сама на него вешается... Я ведь понимаю, насчет чего вы это заводите, что сегодня так, а завтра по-другому: что я тогда на гулянке-то виду не дала, что вас признала... А как же мне было?.. Вы человек незнаемый, чужестранный, и сама-то я однова только вас видела да стала бы я с вами играть да в хоровод зазывать, так все бы наши девки и парни-то и невесть что опосля того распустили бы про меня... Вот что!.. Да и вы-то бы сами то же сдумали...

— Нет, это я так и понимал!.. А вот в останный-то раз, как я был, ровно вы и не рады были, что я пришел...

— Не рада и есть: маменька была не в себе, у нас в дому гостей застали... Разве девушке это лестно... Я сама насмерть этих гостей не люблю... Да что делать, коли нужда наша заставляет? Мы на сиротском положении живем; матушка с маленькими с нами осталась: надо было поднять, выкормить... Да и теперь пить, есть, одеться нужно...

— Так неужто правда, что...— начал было Федя, но вдруг остановился и сконфузился.

— Что, что правда?..

— Нет, я так... не о том...

— Матушка завсегда говорит: я чужого не возьму, не украду и в мир с кошелем не ходила, и на миру не сумятница!.. А кому какое дело, как я живу сама про себя: шуму от меня, беспокойства никому никакого нет... Что женатые к ней ходят да носят, так она не виновата: видно, жены за мужьями смотреть не умеют да при своем дому держать... Не ко мне, говорит, так в другое место убегут, еще хуже дом разорят... А уж что говорить: не больно сладко так жить-то, да делать нечего... Тоже иной раз пьяные-то подерутся и пошумят — всяко бывает...

Феде сделалось очень тяжело и больно на сердце от этих речей.

— Да ведь живут же люди и без этого: работают, промышляют,— и кормятся, и семьи поднимают...

— Да чем мамонке промышлять-то здесь, в деревне? Она никакой полевой работы не знает, отроду не жинала... Только и есть, что вот пошить когда на попадью да поповен, так разве придется два платья в год — на этом не разживешься!.. В чужие люди, в работницы идти — с малыми ребятами никто не возьмет, а раздать нас по людям матушке пожалелось... Ну, а подрастать стали, теперь и особливо матушке не хочется уйти от своей избы да и от нас: вот и перебиваемся...

— А как же вы-то, Парасковья Михайловна!.. Вы-то как же?..

— Что я?.. Насчет чего это?..

— А насчет... всего... Тоже, чай, чем-нибудь для дома стараетесь?.. К чему-нибудь да приучены же?.. Какую ни на есть работу знаете?

— А какая моя работа?.. Сначала с братишкой возилась... А тут, как он на ноги встал, я по мужикам в няньках жила, из хлеба да из одежи... Годков тринадцати барыня одна небогатая выпросила было меня у мамоньки в услужение к себе, обещала всему научить... И ничего,— не обижала меня, нечего сказать, житье мне было неплохое, и ученья никакого не было: больше все на посылушках да на побегушках,— то подай да в этом прислужи... зимой в комнатах, а летом больше все около птицы... Чулки, правда, выучила вязать: обвязывала ее... навязала и неведомо сколько,— поди, чай, и теперь мою работу носит! Прожила я у нее года с полтора, а тут матушка опять взяла к себе: корысти-то, говорит, от этого житья не много, а того смотри — избалуешься одна, пропадешь ни за грош· подрастать очень уж я стала... А лучше же, говорит, я тебе жениха приищу достаточного да выдам замуж... За бедного, говорит, ни за что не отдам... Да вот богатые-то не больно сватаются: голую-то тоже никому не нужно да и к крестьянской работе, знают, не сручна... Так-то вон, подъезжает вашего брата много, сколь угодно... И такие есть лодыри: проходу не дают!.. А чтобы по-хорошему, по закону, из-под святого венца... были и такие... да нам не подходящие...

— А какие же?..

— Да какие?.. Либо самому есть нечего, либо пьяницы пропойные, либо вдовцы детные... Да ведь и те: придут да спрашивают: одежа какая есть ли, да что делать умею?.. Мамонька, спасибо, их скоро спроваживала, теперь уж узнали, давно и сватов не засылают...

— Парасковья Михайловна... Паранюшка... скажите мне всю правду,— заговорил Федя нерешительным дрожащим голосом: — неужто же нет у вас вовсе человека такого... по мысли, по сердцу... чтобы и вы к нему, и он к вам?.. Ведь этакая вы... кажись, тут бы душу самую заложил, из жил бы потянулся... Ни на кого бы не посмотрел... никого бы не послушал!.. Неужто нет во всей округе ни одного парня, чтобы по сердцу вам... и он бы желание имел, и вы... и в законный брак?.. Ведь такой другой нету, как вы!.. Как, чай, и из ваших ребят не найтись: видит тоже... А вы-то?.. Неужто ни к кому нет у вас сердца?.. Скажите вы мне...

— А вам что?.. Зачем вам?..

— Нет, скажите вы мне. Откройтесь... Мне нужно!..

— Да зачем вам?.. Почто я буду сказывать... про всякое?..

— Нужно мне!.. Очень нужно!.. Нет вас лучше на белом свете... И коли нет у вас никого... коли вы никому не обещалися... никого не любите... Скажите вы мне всю правду... без утайки, без обману... Скажите, Паранюшка...

Федя порывисто пододвинулся к Паране.

— Вишь ты какой... пытает, ровно поп!.. Да на что вам?.. А вот, не скажу...

— Вот мне зачем... Я вот ни на одну девку и не сматривал, и не говаривал ни с... одной... И не любил я их, и стыдился... С вами вот только... и сам не знаю, как... И не прожить мне без вас никак... Вот что... Ну, скажитесь же вы мне: ни с кем у вас ничего не было, не любитесь?.. Паранюшка, перед богом прошу: развяжите вы мне душу... признайтеся...

— Ну-ка, отстаньте и вправду... Вот пристал: запытал совсем!.. Стану я ему все рассказывать!.. Ну, хоть бы и был, так что же из того?.. Кому какое дело?..

— Был? — вскрикнул Федя и вдруг побледнел, как полотно, и, точно кем оттолкнутый, невольно отодвинулся от Парани.

Та смотрела на него с удивлением.

— Так вам-то что же? Не вам изъян... Был ли, нет ли — мое дело, ничье...— говорила Параня.

Федя сидел перед нею, не смотря на нее, опустя вниз голову. Капли пота струились по его холодному лбу, в висках стучало. Сердце у него точно кто сжал тисками, так ему было больно.

— Видишь ты: даже сомлел весь! — проговорила Параня с улыбкой.— А, может, и не было ничего, может, и парня такого не бывало?..

Федя поднял робкий, почти умоляющий взгляд на ее улыбающееся лицо.

— Нет, да вы мне всю правду скажите... Не тирань ты меня, Параня...

— Да что вам?.. Экой привередливый какой!.. Что вам-то?..

— А вот что мне... Коли никого ты не любишь, ничего у тебя ни с кем не было... Видишь ты: хоть я и при отце живу, и батюшка, пожалуй, не даст мне благословенья на тебе жениться... Да, может, я и не богат про

тебя... и твоя мать тебя за меня не пустит... Но коли ты мне пообещаешься, я сручен ко всему, пойду в люди, промыслить сумею... И деньги у меня будут... Я не пропаду, сделаюсь человеком — я знаю... Только ты пообещайся мне да подожди годик-другой... Мы хоть не бедные и в достатках: у нас и дом, и хлеба, и скота всякого довольно... да все в батюшкиных руках, да у старшего брата... я меньшой... И батюшка тоже работницу будет мне искать, чтобы и в дому и в поле работала... да я не посмотрю ни на кого и никому не поклонюсь: все сам про себя промыслю, только пообещайся мне да дай срок... Вот, Параня, коли люб я тебе... да вправду нет у тебя никого... А коли есть...

— Да нету, нет... отступись!..

— А, может, было?... Параня, признайся, не обманывай лучше...

Лицо Феди опять изображало внутреннее страдание и страх.

— Да нет же... отстань!.. Пошутила только я... Спытать захотелось тебя... Разве я не вижу?.. Давно вижу...

— Так я разве люб тебе, по душе пришелся?.. — вскричал Федя и вдруг бросился, обнял и стал целовать Параню, точно сумасшедший. Та с большими усилиями освободилась из его рук и отошла от него с притворной досадой, приглаживая волосы и поправляя на себе платье.

— Вишь ты, оглашенный: разве так-то можно?.. Ты еще не жених ведь, чай... Ну, кто в окно заглянул бы, что подумают... Ровно чумной, право!..

Она открыла окно и просунула через него свое раскрасневшееся лицо.

Федя некоторое время сидел неподвижно, ничего не понимая, не сознавая, кроме счастья, которое широкою струею наполняло его сердце.

— Параня, подь сюда,— проговорил он, наконец.

— Да как же... так и пошла!.. Больно ты прыток: ничего не видя, уж... Вдругорядь тронешь — из избы прогоню!..

— Не трону больше... коли не велишь...

— А теперь я, нечто, велела?..

— Мне Дарья Тихоновна еще преж того обещала,— пошутил Федя.

— Ну, так с нее и спрашивай... Знаю, брат, я: она

мне говорила, да я не больно люблю по заказу-то: нечто взял тогда, ушел ни с чем... А с силодору-то еще и подавно... Насмерть не люблю!.. Еще про людей спрашивает, а сам что делает... Вот этакой привяжется: что тут девка сделает, коли один на один?..

— Так ведь я ни с чего-нибудь: я с радости, что думал: любишь... Ну, не сердись, Параня... Слышь: в первый и в последний раз... до самой свадьбы не трону!..

— Свадьба-то еще на воде вилами писана...

— Это, может, у тебя, а у меня на сердце припечатана... Да поди, говорят, сядь сюда... Поговорим...

— Об чем еще говорить-то? — спросила Параня, садясь в стороне от Феди.

— А ведь ты же мне не обещалась еще, что подождешь-то меня?..

— Буду ждать, а тебя женят...

— Ну, нет уж, ты об этом не думай: и преж того я бы не дался по неволе женить-то, а теперь и подавно!..

— Ну, так меня матушка выдаст...

— А ты не ходи... Ныне не прежнее время: и вашу сестру, девку, нельзя насильно выдать...

— Хорошо говорить-то... А как не пойдешь? Пить, есть нечего, а тут посватается какой вольготный жених, матушка велит идти: как не пойдешь-то?...

— Так отдаст ли она тебя мне теперь?

— Не знаю... Навряд ли... особливо коли отец твой не наградит тебя и не отделит... В дом к вам не пустит, да я и сама не пойду... Вот разве, что ты у старшины живешь, и в родстве он с вами, разве он сам приедет да пообещает, что наградит тебя... и дом тебе особливый поставит... Ну, тогда, может, отдаст... И то не знаю...

— Мне не хотелось никому говорить-то, никем одолжаться... Да у старшины, Федота Семеныча, своя семья... Где ему меня награждать...

— Ну, так как же быть-то...

— Я бы сам себе все промыслил, только бы ты меня подождала, коли любишь...

— Да я подождать — подожду, коли никто не навяжется, да жить будет чем...

— Уж я сам недоем, недосплю, а вас не покину: буду всячески поддерживать, только дайте мне опериться-то... Говорить ли мне Дарье-то Тихоновне про наши лады?..

— Нет, лучше не говори... Она ведь думала, ты богатый, что так деньгами-то кидаешь: тогда, ничего не видя, на ученье-то Николке дал...

— Я тогда останные отдал...

— Да чем ты думаешь промышлять-то?.. Не пустые ли то разговоры только?...

— Нет, не пустые!.. У меня мастерство есть в руках насчет строительной части и машин разных... Только бы меня вот из дома пустили, а тут доберусь до купцов, на фабриках: буду знать, что делать,— у меня из рук ничего не вывалится... Уж только подожди, золото мое, Параня, буду я тебе жених и муж не кое-какой... Тогда и Дарья Тихоновна мной не побрезгает... А это я ей скажу, чтобы она во всякой нужде, когда деньги будут нужны, чтобы мне кучилась безо всякого сумнения... Это я ей молвлю...

— Это молви, пожалуй...

— Ну, так так, Параня, золото ты мое, сердце ты мое, красота ты моя писаная, моя ты будешь?.. Ни за кого не пойдешь, окроме меня?.. Будешь ли ты меня любить-то, как я тебя?..

— Да, вот еще как ты-то меня любишь: я посмотрю... Все вы на язык-то города берете: вас послушай только...

— Параня!.. Да вот как: прогони ты меня даве или вправду скажи, что другой тебе люб... уж не знаю, сжить ли мне... Как даве это сказала про другого-то парня, так, веришь ли, света белого не взвидел, а за сердце-то ровно кто ухватил когтями да и дерет вон из груди... Лучше бы, невпример легче, кабы мне каленым железом тело жгли, нечем это слышать!.. А каково мое сердце к тебе: так вели мне сейчас... ну, что хошь, вели — все сделаю...

— О-о?..

— Право, ей богу!.. Ну вели, попробуй...

Но Параня не успела ответить: в избу вошла ее мать, и разговор прервался.

VII

Среди своих воспоминаний Федя и не заметил, как дошел до перекрестка. Впереди у него лежали две дороги: одна привела бы его в Онучино, другая — была в Ступи-

но, где жил Федот Семеныч. Он шел из дома прямо к последнему, но образ Парани так ясно встал теперь перед ним, так манил его к себе, что он невольно пошел по дороге в Онучино.

«Вот не ждет, вот не чает!.. Вот обрадуется!.. — думал он идя, а у самого сердце так и прыгало в груди, так и подталкивало его ускорять шаг, бежать скорее вперед.— Уж сколько времени не видались-то?.. Что-то она, моя голубка, поделывает, что подумывает обо мне?.. Ну-ка, без мала два месяца ни слуха, ни духа, ни весточки никакой... Никак из дома было не согласно уйти: ничего не придумаешь, куда сказаться-то... Это не то, что у Федота Семеныча жил: шел куда хотел,— никто не спросит, куда да зачем, сам ровно большой... У нас дома не украдешься: и батюшка, и брат все на работе,— и ты с ними стой об руку... И в праздник пошел гулять, так спросят: куда, да скоро ли воротишься?.. Ну-ка — два месяца!.. А что я им тот раз — только два рубля и принес... Поди-ка, чай, подошли, бьются, нуждаются!.. Обещал поддерживать, а денег и у самого-то нет... С чем придешь-то?.. Попросят: что скажешь?»

Федя остановился и оглянулся. «Солнце опустилось уже низко: придешь в Онучино к самому закату, а тут ночь... не ночевать же у Парани — нескладно!.. А придешь к Федоту Семенычу ночью,— пожалуй, после с домашними переведаются: как так, где был?.. Пускай, я теперь вольный казак,— отпущен на все четыре стороны, а все нескладно: спрашивать станут... Да и надо сначала с Федотом Семенычем повидаться: что скажет, что посоветует, может,— не даст ли еще помоги какой, что обещал... Тогда и к ним идти будет вольготнее... И пойду с утра, весь день просижу у них!..»

Федя вздохнул и решился перейти на дорогу в Ступино. Он оглянулся назад: недолго, кажись, шел, а перекресток был уже далеко позади.

«Вот бы как добежал — одним духом, одной минутой!»— подумал он, снова вздыхая и сворачивая в поле, чтобы перейти прямиком на другую дорогу. Лицо его затуманилось; голова опустилась; он шел уже медленным, ровным шагом. Мысль его перешла к Федоту Семенычу, к последним дням пребывания у него. Раз он возвращался домой из Онучина, счастливый, довольный, полный одною думою о Паране. Все шло хорошо и радостно, Па-

раня, видимо, любила его, считала женихом и готова была терпеливо ждать того времени, когда ему можно будет жениться на ней. Дарья Тихоновна всегда встречала его приветливо, очевидно, считала своим, почти родным, не стесняясь говорила о своих нуждах, не стесняясь принимала от него гостинцы и деньги: а он-то как был счастлив, когда мог услужить матери своей возлюбленной Парани!... Правда, мудрено ему было доставать деньги: надо было выдумывать работу, работать по ночам и по праздникам; но и работа эта никогда не была ему так легка и приятна, как теперь,— для известной, определенной цели. В этот раз Параня сама, втихомолку, так, чтобы не видала мать, без его просьбы, поцеловала его, и Дарья Тихоновна также потихоньку от дочери призналась ему, что ей крайность в пяти рублях. Федя дал слово, что принесет через неделю, и теперь обдумывал, как бы и на чем выработать ему эти деньги, и что делать, если к назначенному им сроку денег не будет.

«Уж хоть займу, а принесу беспременно. Слово свое сдержать надо»,— думал Федя.

Он шел уже улицей своей деревни и приближался к дому Федота Семеныча, как вдруг столкнулся с сестрою Анной, которая была замужем за сыном Федота Семеныча, Кириллой. Анна была расстроена; глаза ее заплаканы; в руках она что-то держала и прятала под накинутой на плечи верхней одеждой.

— Куда ты это, Анна? — окликнул ее Федя.

— Ах, батюшка, Фединька, что у нас наделалось-то!... Мой-от воротился, пришел...

— Кто? Кирилла?

— Да, воротился, да никакой нехороший, пьяный... И не узнаешь его.

Анна заплакала.

— Что же ты ревешь-то?

— Да как не реветь!.. Почитай, три года не видала его... Пришел — чем бы путем поздороваться да поговорить, а он... Мы с матушкой увидали его, не вспомнились, заголосили, бросились к нему... Ну, он с матушкой еще и туда, и сюда, хошь не как она,— не больно ласково, а все ничего... А меня... батюшка, Фединька!.. Не то обнять али поздороваться с женой, а начал ругать да срамить... да скверно, скверно таково!.. Не жена, говорит, ты мне, а супротивница: не то, что в беде прикрыть,

а еще сама людей на меня навела, в тюрьму упрятала... Помнишь, как он бегал-то тогда да в лесу прятался, а мир заставил меня вести да показывать его: где он прячется-то... Вот он теперь с этого самого... Да и в остроге, говорит, сидел, много ли жена об муже порадела: и в глаза не видал, куска не принашивала... Так чужие люди не оставляют, оделяют, а обо мне и свои кровные, и жена позабыла... Я было кинулась ему в ноги, завопила: батюшка, мол, Кирюшенька, не моя то воля — родительска... Как я к тебе пойду, коли ты за сто верст сидел, а родитель идти не приказывал?.. Не своей волей живу: сама подначальная... Прости ты меня, христа-ради, прости мою вину перед тобой подневольную!.. Знаешь ведь ты, батюшка, Techинька: сколько раз я молила, просила батюшку-свекра,— пусти побывать, мужа проведать в остроге, слезьми просила — знаешь! А что же мне делать, коли батюшка-свекор у нас такой: и думать, говорит, не моги! Коли, говорит, сам себя под казнь подвел, коли суд ему это присудил — в казамате сидеть, так пускай и высидит, чтобы в науку ему и напредки было, чтобы не думал он, что и отец ему мирволит... Ну, что мне было делать: не убегом же убежать... Да хоть бы и убежала, что бы я без денег-то поделала: какую ему помощь?.. И до города-то бы не добралась... Все это ему стою на коленках, воплю да докладываю... Может бы и смиловался, и простил... да надо было тут матушке словцо подсказать: «до тебя ли, говорит, им было, батюшка, они тут с Федянкой хозяевами жили,— что хотели, то и делали...» Как вскочит он с этих ее слов, да начал бить меня... Знаю, говорит, я все знаю, что вы с Федянкой старика в руки совсем забрали... Вы думали: уж вовсе меня заперли, одни царствовать, величаться осталися, ан, вот, нет — воротился!.. Будет уж мне под началом жить, из-под чужой руки глядеть, теперь поживите под моим началом... Не то вам с Федянкой, старику теперь не уважу!.. Будет уж, довольно!..

— Да где же старик-от сам? Федот-то Семеныч?

— Нет его, не бывал еще... Уехал в волость да и не бывал до сей поры... Видно, за делами... Федя, уж я не знаю, как тебе-то быть, хоть бы и домой не ходить, пока до Федота Семеныча, а то он прибьет тебя, иссрамит, вон выгонит...

— Ну, еще прибить-то как придется... А гнать ему

меня нечего, я и сам уйду... Опять же я не у него живу,— у Федота Семеныча...

— Да срам, батюшка, срам: драка промеж вас выйдет, бунт... Хорошее ли дело... Ты хошь бы уж не казался: в сарай, что ли, али куда ушел до Федота-то Семеныча... Вот и теперь-то пьяненек уж: не столь сам, сколь вино в нем бушует... А послал, велел купить еще полштофа... Вот и бегу, й посудину несу... Не знаю, как и в кабак-от войти,— стыдобушка, не бывала я отродясь, а не смею, боюсь не идти-то...

— Федот Семеныч осердится, узнает, что ходила... Знаешь: не любит этого, смерть... не ходи...

— Да как, Федянушка, нейти-то?.. Боюсь... Убьет!.. Посмотрел бы ты на него: какой он стал!.. Впрямь, что острожник: худой да черный, немытый, рваный... злой никакой!.. И жалко-то мне его, и страшно... Не столь мне больно, что плюх надавал, сколь видеть его этакого...

— А все ж тебе в кабак идти не приходится... В нашем роду этого не бывало, чтобы бабы за водкой в кабак бегали... И что ты ему принесешь водки? И без того, говоришь, пьян, бушует... А тут еще напьется... что будет?.. что он наделает?..

— Да что же мне делать-то, Федя?.. Кричит ведь на весь дом: водки подай, а то все разнесу... Матушка сейчас денег дает, посылает меня, и он приказывает... Как же я мужа не послушаю, особливо теперь, коли я перед ним виновата?.. Да мне, кажись, в избу-то не войти без водки...

— Да пойдем со мной, уж я в обиду не дам, либо спрячься, не приходи вовсе домой до Федота Семеныча...

— Чтой-то, Федя... Жене ли от мужа прятаться?.. Да и где же вам, хоть тебе, хоть батюшке, меня от мужа ухоронить... Раз оборонишь, вдругорядь зато вдвое достанется... Нету, родной, мне с мужем-то ведь век жить... От мужа никто жену не оборонит... не спрячет... Нет, уж что будет, а я побегу. А вот ты-то как?.. У вас с ним так беспременно здор выдет...

— Так вот, коли, что мы сделаем... Ты посиди здесь где, подожди, а я, давай, сбегаю за водкой, да после вместе и пойдем, точно так сошлися по дороге. А уж все же я тебя в кабак не пущу.

— Нет, уж где мне тут сидеть: и я с тобой пойду,

только ты в кабак-от взойди да водки-то купи, а я около подожду.

На этом согласились и пошли вместе.

В Ступине не было кабака, надо было идти версты за полторы в другую деревню, и Анна почти бежала туда и назад, увлекая за собою брата: она торопилась поскорее исполнить приказание мужа.

Когда они возвращались домой, Федота Семеныча все еще не было.

Робко, со штофом в руках, входила Анна в избу, в сопровождении брата. Кирилла лежал на лавке; в головах у него сидела Федосья Осиповна, перебирала руками его волосы и что-то тихо ему рассказывала. Федя остановился за полуотворенными дверями, желая узнать, как встретит муж жену и что между ними будет.

— А-а! — вскричал Кирилла, увидя жену.— Что, принесла ли?

— Принесла, принесла,— торопливо отвечала Анна.

— Что долго? Сказал: бегом...

— И то бегом, Кирилла Федотыч: бегом бегала...

— Ну, подавай, что ли, скорей... да закуски...

— Чего закуски-то прикажешь?..

— Чего? Всего... всего подавай, что есть... Вы здесь жрали мое с братцем-то своим, не жалели, а я на антониевой пище сидел... Всего подавай, живо!.. Я вас, погоди.. ублаготворю всех!.. Поблагодарю за все, про все... Вишь, ты,— думали, издохну... Нет, пришел... Погодите у меня, дайте срок... Ну же, ворочайся!..

Анна суетилась молча и дрожащими руками, не смея взглянуть на мужа, ставила на стол хлеб, солонку, молоко и все, что осталось в печи от обеда...

— Яишенку не толкнуть ли? — спросила она робким голосом.— Али, может, самоварчик поставить?..

— Давно бы, кажется, пора... Чай, тут чайничали, самоварничали, с братцем-то, ежедень... Ишь ты, хозяина какого, строителя, к моему добру привела!.. Много ли переправила в Чернушки-то?.. Чай, возами возили: там ртов-то много, есть кому жрать... Одних племянников прокормить, так сколь нужно... Ай да жена!.. Вот мужу радельщица!.. Погоди ты у меня!.. Будешь помнить... Как ты смела в моем дому брата хозяином делать?..

Кирилла застучал кулаком по столу. Глаза его злобно следили за Анной, и с каждым стаканом водки, кото-

рый он проглатывал, злость эта, по-видимому, возрастала. Федосья Осиповна, очевидно, во все время отсутствия Анны жаловалась Кирилле на нее и на Федю и теперь со злорадной старческой улыбкой ядовито посматривала на нее.

— Я тебя спрашиваю,— приставал Кирилла к жене, возвышая голос: — кто тебе позволил моим добром распоряжаться? Матушку ото всего оттерли, ключи отобрали, не давали ей мне гроша послать, чужого человека в дом хозяином пустили, сама с ним таскала, к родным переправляла... Что молчишь?.. Отвечай, коли спрашиваю... подлая ты этакая!..

Кирилла с угрожающим жестом поднялся с лавки.

Федя больше не мог сдерживать себя и вошел в избу.

Кирилла остановился, увидя его. Они молча несколько секунд смотрели друг на друга: Кирилла злобно и нахально, Федя, — стараясь сохранить спокойствие и победить внутреннее волнение.

— Ах, хозяин!..— с хохотом проговорил, наконец, Кирилла, не двигаясь с места.

— Здравствуй, Кирилла Федотыч... С прибытием...— говорил Федя и протянул было руку, чтобы поздороваться, но тотчас же опустил ее.

— Не обессудьте, хозяин господин,— говорил Кирилла: — что без вашего позволения в дом вошел и вот угощение получаю... Прохожий человек, чужестранный, острожный житель... Позвольте пристать, ночку переночевать, господин хозяин!.. Не лишите вашего покровительства, не оставьте без крова, без призора, не прикажите на улицу, как собаку паршивую, выгнать... А, господин хозяин?..

Федя не мог выносить вызывающего нахального взгляда Кириллы, давно отворотился от него, но, все еще сохраняя внешнее спокойствие, сел в стороне на лавку. Он взглянул на сестру и видел, как она была бледна и дрожала.

— Какой же я хозяин? — спокойно отвечал Федя.— Здесь хозяин Федот Семеныч, твой родитель, а я только работник у него... Что он мне прикажет, то делаю: служу ему...

— Вот как! — сказал Кирилла, несколько озадаченный спокойствием Феди, и притворно захохотал.— Теперь уж и не хозяин... Поджал хвост-от!..

— Какой уж работник! Что говорить-то! — вмешалась Федосья Осиповна.— И амбар у него на руках, и все ключи у него... Идет, куда хочет, берет, что знает... Получай, что выдаст... из милости...

— Это, Федосья Осиповна, опять же все от Федота Семеныча: приказал ключи взять — возьму, что скажет выдать — выдам... А вам грех сказать, чтобы я вам непочтенье какое показывал... Что я, что сестра, всегда во всем с вашего спроса...

— Да, спрашивали вы!.. Может, и спрашивали, коли знаете, что у меня воли-то ни на что нет, а все в ваших руках... Этот спрос-от хуже ругани... Надсмешка одна!.. Сами знаете: как его взяли тогда, а ты поступил, так я и отказалась ото всего...

— Так это ваша же добрая воля была... а не наша вина... А что я, что сестра, никогда тебе ни в чем не супротивничали, Федосья Осиповна... Это грех тебе и сказать...

— Так, стало-быть, коли ты работник в моем дому,— вмешался опять Кирилла,— так ты должен мне служить... Что же ты сидишь передо мной? Ты встань да служи: вот самовар скорей наставляй да подавай мне во всем отчет...

— Самовар я тебе наставлю с моим удовольствием и послужу, потому ты несчастный человек, опять же с дороги, устал... А отчет-то, уж коли спрашивать станет, я настоящему хозяину подам, от коего поставлен, а не тебе...

— Так ты не думаешь ли, что ты и теперь, при мне, здесь будешь начальствовать да распоряжаться?.. А?.. Тебе, чай, хорошо здесь было около чужого-то сусека?.. Ну, брат, я не дам тебе командовать, шалишь... Мне про себя нужно...

— И без тебя я ничего не командовал, и при тебе мне нелестно... Жил потому, что сродственники: Федота Семеныча да сестру было жалко... Вот только потому!.. А что это ты говоришь про чужой-то сусек, так я не нуждаюсь: у нас своего довольно, и по чужим сусекам я лазить несвычен... Напрасны твои слова... и в обиду их себе даже не принимаю, потому не пристали они ко мне... Сказал бы я тебе больше в ответ, Кирилла Федотыч, только что бог с тобой: старым не попрекают...

— Что старым? Что старым? Что ты такое можешь со мной говорить?.. Тебя, вон, в чужом дому хозяином сделали, ко всему припустили, а я при отце жил, ровно из чужой семьи, ни в чем воли не имел, своей копейки за душой не было... Вором ты меня попрекаешь... Ну, вор!.. А от кого вор?.. От своего же родного отца... Он меня вором сделал!.. Он!.. Меня суд судил... Сам защитник на суде говорил, что я от отца пропадаю, что он не по закону со мной поступал: женатый я был человек, а в своем дому не хозяин, все из-под отцовской руки смотрел... копейки медной на гулянку своей не имел... А ты что же мне за судья такой?.. Что ты меня попрекать-то вздумал?.. Откуда ты взялся? Кто тебя к моему дому приставил?.. Я здесь хозяин... а не ты!.. Что ты в сам-деле... ты ступай вон, а не то я тебе бока намну, а твою родную сестру со света сживу... Вон, говорят!..

Кирилла поднялся на ноги в угрожающей позе.

Федя тоже встал и чувствовал, что ему надо сделать над собою большое усилие, чтобы избежать драки: кровь в нем кипела и то приливала к сердцу, то кидалась в голову.

— Не куражься, Кирилла! — говорил он неровным голосом.— Я тебя не боюсь и бока намять тебе не удастся: еще неизвестно кто кого... А только что я сраму этого, драки, в дому Федота Семеныча не желаю: я и так уйду... Не думай, мне нелестно... только что ты напрасно сестру обижаешь, она ни в чем не виновата, и бить ее без пути грешно, хоть она и жена тебе... Я уйти уйду, завтра же уйду, вот только бы Федот Семеныч приехал, а только что я тебя просьбой и честью прошу: ты сестру Анну у меня не трогай, не бей... Она человек смирный, ни в чем перед тобой не причинна... За что ее обижать?..

— А-а, не любишь?.. Нарочно бить буду: с тем и ступай... Слышал? Вот нарочно, без всякого, на зло тебе колотить стану... Я тебя, подхалиму проклятого, насмерть невзлюбил еще и запрежде... Весь род ваш подлый, окаянный!.. Потихоня, смиренник краснорожий!.. Вишь, рожу-то отъел на моих хлебах!.. Вот нарочно у тебя на глазах колотить ее начну...

— Ну, ты слушай, Кирилла Федотыч, ты не похваляйся этак-то... Я свою кровь в обиду не дам... Я тебе сказываю: просьбой прошу,— не тронь жены, а будешь

обижать — худо будет!.. Федосья Осиповна, не вели ты ему...

— Да не то, что не вели! — вскричал Кирилла.— А всю ее измозжу, в клочки изорву... Вот тебе!.. Вот тебе!.. Вот смотри, потихоня ты подлый... При тебе вот изувечу, как душа моя желает...

Кирилла с поднятыми кулаками пошел к Анне, которая стояла ни жива, ни мертва, прижавшись в уголок, и, покорно опустивши голову, точно жертва, ждала своей участи. Тут Федя не помнит, что с ним сделалось: как он бросился на Кириллу, долго ли он с ним боролся; но когда он пришел в себя, то увидел под собою стонущего, окровавленного Кириллу, почувствовал свои волосы в окостеневших старческих пальцах Федосьи Осиповны, которая не плакала, а как-то злобно визжала, всхлипывала и изо всех сил тащила его за волосы, откуда-то, точно издалека, слышался ему неясный, хриплый голос Федота Семеныча. Когда Федя освободил свою голову из рук старухи и поднялся на ноги, он как в тумане рассмотрел опрокинутый стол, разбитую посуду, плачущую на скамье Анну и высокую фигуру Федота Семеныча, который стоял среди избы с испуганным, изумленным лицом. Федя не слыхал, как подъехал и вошел в избу Федот Семеныч.

— Что такое? Что случилось?.. Федя, Федя! — кричал Федот Семеныч.— Кто это? С кем ты?..

В избе было темно. Федосья Осиповна выла, Анна навзрыд плакала, Федя едва переводил дух и не мог проговорить слова. Федот Семеныч наклонился к лежащему на полу человеку, который стал подниматься, и рассмотревши его, отскочил чуть не с ужасом.

— Сын!.. Кирилла! — не вскричал, а как-то простонал Федот Семеныч и размахнул в стороны руками, как бы ища за что ухватиться. Он чувствовал, что ноги у него дрожат и подгибаются. Пошатываясь, дотащился он до лавки и рухнулся на нее.

Кирилла приподнялся на руке, дико, злобно огляделся и сел на полу, где лежал. Лицо его было окровавлено; он провел по нему рукою, посмотрел на кровь, приставшую к ладони, и протянул ее к отцу.

— Здравствуй, родитель-батюшка... Рад ли сыну?.. Вона как встречаешь его в своем дому родительском... С первого прихода бьют, увечат... Смотри, любуйся!.. В остро-

ге сидел сын-то: там не били, не кровянили, а вот в родительский дом пришел, угощенье первое получил!.. Смотри-ка...

Он мазнул себя по лицу другою рукою и также окровавил ее и показывал отцу.

— Вот, на что лучше... Угостили!.. Спасибо, родитель-батюшка!... Мало тебе, что до острога сына довел... В каторгу бы ведь нужно по-настоящему, потому поджигатель!.. Так тебе и хотелось, да не удалось: спасибо, чужие люди защитили... Так вот теперь в остроге отсидел, не извелся вовсе, не издох там, жив воротился, так дома, видно, родитель-батюшка до гробового конца довести хочет... Мало, что родному сыну, женатому, никакой воли в дому не было, а чужому, со стороны, весь дом и мать под начал отдал, еще и убить, видно, сына-то подговорил... Как, дескать, вернется, так и доканать его до конца... Кормил-поил на моих-то хлебах, откармливал нарочно борова, чтобы в силу вошел, а я ведь на казенных харчах-то был, изнурел, обессилел... Где мне с ним теперь бороться... Да вот бог не привел еще, не потрафил в конец-то: промахнулся... Еще бы, еще бы маленько за глотку-то подержал — и пар бы вон... Спасибо, родитель, как не благодарить: постарался для сына!.. Только бы слово сказать миру,— от всякого бы судаответа ослободили, а он сам репорт посылает, жену против сына-то подучает, чтобы выдала, да еще братца жениного в дом берет, все ему препоручает, только бы сына родного извести, как воротится...

— За что, господи, за что такое твое наказание мне грешному! — всплеснувши руками, вскричал Федот Семеныч и с воплем опустил голову на руки.

Федя всей душой сочувствовал старику и жалел его: он понимал, что происходит у него в душе, подошел к нему, но не находил слов в утешение; он сознавал себя как бы виноватым перед ним, готов был бы на все, чтобы успокоить старика, но не знал, что делать.

— Федот Семеныч!.. Федот Семеныч! — лепетал он едва слышно, наклоняясь к нему, трогая его то за плечо, то за локоть.— Полно!.. Ну, полно!..

Минутная вспышка злобы против Кириллы улеглась уже в душе Феди: ему было стыдно и даже жалко его в первые минуты, когда он рассмотрел кровь на его лице; но злобные слова и ругательства Кириллы над отцом

опять возбудили в душе его ненависть и отвращение к нему.

— Перестань ты, бесстыдник,— обратился он к Кирилле: — замолчи!.. Бог тебя покарает в конец за отца... Не он тебя, а ты его изживаешь!.. Не тронул бы я тебя, кабы ты не надругался над сестрой, да не кинулся бить ее напрасно... Покорись лучше отцу-то... Дай его душеньке покой... А мне не надо твоего ничего... Не думай!.. Завтра же уйду...

Кирилла отвечал ему на это одними ругательствами и, когда Анна подошла было, чтобы помочь ему подняться с полу, изо-всей силы ударил ее в грудь.

Анна застонала.

Федот Семеныч вдруг поднялся на ноги.

— Одно мне осталось,— сказал он, сурово обращаясь к сыну:— проклясть тебя, да не возьму я этого греха на душу... Думал — исправит тебя тюрьма, а ты еще хуже стал... Правда, что на каторге бы тебе след быть по твоему делу: хошь суд тебя и оправдал, а ведь знаю, что ты деревню-то спалил... Ну, да видно господь ждет еще от тебя исправления... Воли тебе не было, воли нужно: ну, вот получай, бери вот дом, скот, все хозяйство... Живи... Я тебе мешать не стану, только и жить с тобой не хочу... Федя, где у тебя ключи?.. Брось их ему да проводи меня: я в волость пока поеду, там поживу хошь у писаря, либо у батюшки, отца духовного... на селе... Дадут мне место... Только слушай: если ты будешь жену обижать и придет она, мне пожалуется, или совсем в корень дом станешь разорять своим непотребством, помни: приговор возьму у мира — на поселение тебя сослать, коли жив буду... Пойдем, Федя... Прощай, бог с тобой!.. Не дай бог тебе столь горя от твоих детей видеть, сколь я от тебя... Опомнишься, покаешься, приходи — прощу... Зла у меня против тебя нет... А жить я с тобой больше не буду... Ух, господи, поддержи!.. Прощайте...

Федот Семеныч вышел на двор, на улицу и сел там на завалинку, пока Федя запрягал лошадь.

К нему прибежала Анна и без слов с воплями повалилась ему в ноги.

— Ну, ступай, Анюшка, ступай к мужу,— говорил Федот Семеныч.— Потрафляй ему сколь можешь, а, смотри, из сил выбьешься — приходи, скажи... Может, бог даст, и в сам-деле: на своей воле будет жить и оду-

мается, оправится... человеком сделается... Может, и в сам-деле я, грешник, мешал ему своим взыском да спросом... Нынче вон какой молодой-то народ: на себя надеются, волю почуяли: что их круче, то они больше в задор!.. Умнее нас, стариков, много!... Ну, пусть и волю спытает... А уж не управится, так на себя пеняй... Ну, ступай же, ступай, Анюша, подь к мужу, подь!.. Прощай... Не замайте меня, не трожьте!..

VIII

Собираясь провожать Федота Семеныча в волость, Федя думал, что ему придется утешать, ободрять и успокаивать старика, и был весьма удивлен его спокойствием и даже как будто веселостью.

Федот Семеныч спокойно расспросил его о всех подробностях возвращения сына и потом перевел разговор на Федю.

— Спасибо, Федюша, спасибо, милый,— говорил он,— послужил ты мне, как сын родной... Никогда твоей послуги не забуду: во всякой час приходи ко мне, ровно к отцу али к брату... Переночуй сегодня со мной, а уж завтра с богом — к отцу ступай... Что ты делать-то будешь: дома станешь жить, али пойдешь куда?..

— Не знаю еще вот, как батюшка, отпустит ли... Известно, что буду проситься... Что же, они без меня управятся, а я со своим мастерством на стороне бы, может, больше заработал...

— Поди, чай, не захочется свату отпустить тебя...

— Буду проситься... Что же и держать-то меня без пути... может, счастья моего лишать...

— Да ведь кто его знает, где оно счастье-то,— сказал Федот Семеныч и вздохнул.— Человек думает: так вот ему будет больно хорошо, ан глядит: хорошего-то и нет... Вперед никак не узнаешь...

— Так то-то и есть, Федот Семеныч: и батюшке-то не приходится меня держать поневоле, потому и он не знает, где мне будет лучше... А пускай же уж я сам себе счастья буду искать, тогда ни на кого и не пожалуюсь: худо ли, хорошо ли — сам про себя припас!..

— А, поди, у отца-то намеренье женить тебя поскорее да мужиком сделать... Чай, уж и невесту присмо-

трел... Да ведь и пора, Федя!.. Это ведь он только для меня делал, что не трогал тебя, а ведь уж пора бы женить-то тебя...

— Я не женюсь...

— Как не женишься!.. Что же ты, так болтаться хочешь?..

— Женюсь, коли сам невесту найду по душе, по сердцу, а то и не надо...

— Так разве тебе, молодому парню, досмотреть так девку, как отец досмотрит: у вас, молодых робят, известно — только бы с рожи видна была, то по вам и девка, а вам до всего не дойти... как отец, старик, дойдет... Пускай ты парень смирный, не видал я, чтобы за девками-то бегал, а ведь есть такие соколы, что он на первой встречной женится... А уж ведь после не развенчаешь...

— А это как же, Федот Семеныч, коли отец выберет невесту, да жениху-то не по мысли... Неужто и жениться, а после век плакаться?.. Нет, по-мне, кому с кем жить, те сами друг дружку и выбирай... И для стариков-то лучше: по крайности, жаловаться на них не будут,— сам себя вини, коли чего недосмотрел...

— Да, да, вот все они нынче так,— говорил Федот Семеныч, отвечая на свою собственную мысль: — не хотим помочей, не хотим указки... Сами до всего дойдем, сами с бою возьмем, сами за себя и ответим... Вот уж и смирный парень, и хороший, лучше не надо, а тоже говорит... Нет,— видать, наши порядки не годятся про новый народ... Другие заводить нужно... Нужно! Что же, робятки, делайте по-своему, по-новому, делайте, только чтобы к хорошему шло, не к худому...

Федю ужасно потянуло раскрыть перед Федотом Семенычем всю свою душу, рассказать про свою любовь и просить его участия и помощи... Но в чем помощи?.. Чтобы он уговорил отца согласиться на его брак с Параней?.. Но для этого нужно рассказать все, что узнал, заметил и сообразил о матери Парани — язык не поворотится говорить об этом, а не сказать, сами узнают, скажут: вот же и выбрал!.. Будут смеяться, срамить и не только мать, но и дочь!.. Пожалуй, еще нарочно расстроят все дело, будут думать, что нужно расстроить для сыновнего добра... Нет, лучше воздержаться, не говорить ничего, да и не ко времени заводить теперь о себе раз-

говор: старик, видимо, страдал и бодрился только для вида.

— Федот Семеныч,— спросил Федя после некоторого молчания, в продолжение которого старик глубоко задумался: — неужто ты так совсем дом-от свой и бросишь?..

— А как же бы по-твоему? Что же мне делать нужно?.. Ну, говори... Посоветуй....

— Где мне вам советовать: вы сами лучше знаете... я так только...

— Нет, ничего, а ты скажи мне по душе: как бы по-твоему, по-молодому, что бы мне делать с сыном?... Говори, ничего...

— Да уж коли вы задумали его большим в дому сделать, все ему предоставить, так уж пускай бы он хозяйничал... Он у вас один, вы при должности... так и след ему хозяйствовать заместо вас... Только не складнее ли вам в дому остаться?.. Все бы он сколько-нибудь совестился при вас, а, может, и совсем бы образумился... Опять же и Анне было бы легче около вас... Да и перед людьми не так срамно, а то теперь что народ-то про него подумает?.. Деревню сжег, в остроге сидел, а воротился — отца из дома выгнал... Бояться будут его, отшатнутся все: поневоле будет пить да буянить...

— Так, по-твоему, мне надо жить с ним, смотреть на все его распутства да ждать, когда и вправду из дома по шее меня выгонит...

— Как это можно!.. Где ему вас выгнать из своего дома!... Он теперь с отчаянности бушует, может, даже от стыда: не знает, чем взять... куда деться... А увидит, что дали вы ему волю, сделали хозяином, не со зла, не из досады, а как были вы отец, так и остались... А по вас и сторонние люди будут на него смотреть не как на отпетого, на разбойника, что отца из дома выжил... Как же ему не очувствоваться?.. Очувствуется!.. А уйдете вы от него вовсе, и будет он, ровно дикой зверь в берлоге, сидеть да огрызаться на всех... Доброго из этого ничего не выйдет — ни ему, ни людям...

Федот Семеныч ничего не отвечал на эти слова, но понурился и глубоко задумался.

Федя догадывался, что в душе его происходит какая-то борьба,— и не смел прерывать его думы.

— Нет, Федя, стар я... Не по силам мне ломать себя... И ни в чем я не виноват перед сыном: окромя до-

бра, я ничего ему не делал и не желал... Он меня обидел, а не я его... Что я ему воли не давал, к хозяйству не припускал,— так разве он такой был человек, чтобы на него положиться да полную волю дать?.. А что суду его отдал, не вступился за него, не откупался... не хлопотал, чтобы концы спрятать... ну, в этом уж пусть судит меня бог да добрые люди, а мне душой не покривить... Как он хочет!.. Пущай гневается!.. Он думает, я ему первый злодей, а сколько я муки перетерпел, сколько горя я из-за него узнал,— того не чувствует... и что значит родительское сердце: каково тяжело от родного детища, от единого детища отрекаться,— ему это не в понятие... Ну, да бог с ним!.. Зла у меня в душе против него нет нисколько: все бы я ему простил и все забыл, кабы он пришел не этак, не с дракой да с буянством, а хоть бы маленько в чувство пришел да стыд имел... Не погнушался бы я им, что сын из острога вышел: суд судил, наказал,— все равно, что огнем выжег... очистил... Нечего старое поминать!.. И я бы не токмо не попрекнул, не попомнил, а и людям бы не дал слова сказать супротив него... Ну, а уж коли так-то он, так и мне нечего больше делать: на, вот, возьми, сынок, все мое,— пользуйся, живи с богом, как знаешь... А я,— коли не отцом, а злодеем меня считаешь,— мешать тебе не стану,— уйду..., как-нибудь проживу!..

— Да как же вы одни, Федот Семеныч, жить будете?

— А так же вот и буду... Попрошу у батюшки на монастыре, около церкви, местечка, избушку поставлю, келейку... да и стану жить... Трехлетье отсижу в старшинах, а тут хошь в церковные сторожа пойду... Послужил на людей,— надо и богу послужить: мне жить немного осталось... А только вот перед богом говорю: если Кирилла не опомнится, будет опять беспутничать, мотать да жену тиранить,— сердце не дрогнет: надоумлю мир, чтобы приговор дали на поселенье его сослать... Это уж, значит, пропащий совсем человек, вредный... Только и себе, и обществу на беду жить будет... Пускай же пропадает один,— людей не сомущает!.. Эх, Федя, Федя, не говори ты больше ничего, не надрывай моего сердца!.. Дай бог тебе никогда такого горя не знать, что у меня на сердце живет...

Федот Семеныч опустил голову. У Феди щемило

сердце от жалости к старику: ему хотелось бы что-нибудь сделать, как-нибудь утешить его.

Они молча подъезжали к волостному правлению. Была уже ночь. В селе все спали.

— Ты подъезжай-ка прямо к волости... Постучимся в окно... Сторож услышит,— отопрет... Мы в самой волости ночуем, писаря и будить не велим: незачем... А завтра уж посмотрю, подумаю: куда мне пристроиться пока...

— А мне не ехать ли, Федот Семеныч, домой?.. Первое, что лошадь отвести к месту: все равно — завтра нужно же ее отсылать... Да и мне надо тоже все порядком Кирилле сдать, что у меня на руках было, чтобы после чего не вышло: я не желаю этого... Ну, и ночь-то переночую там,— посмотрю, что у них делается... Если бушует, так я и в избу не покажусь: где-нибудь в сарае просплю... А завтра одежу какую свою заберу, да и тебе, может, что нужно? Заодно бы и привез... Попрощался бы с вами, коли не нужен больше, да и домой,— а нужен, так как прикажешь... По мне все равно...

— Поезжай, поезжай и в сам-деле... Дело ты говоришь... Сдай там ему али Федосье,— все, все сдай... Мне ничего не нужно, ничего не вози,— ни синя-пороха: пускай все им остается... Вот только одежу привези, потому — нельзя, неравно ехать куда понадобится... А больше мне ничего ненадобно,— так и скажи!.. Денег там немного,— все здесь, в жалованьи лежат: почитай, за целый год не брал,— да денег я им и не дам... Пускай сам наживает: есть с чего наживать,— в дому теперь всякое заведение есть... Спасибо тебе, Федюха... При тебе все завелось... Поезжай, родной... Эх, жалко мне тебя,— ровно к родному сыну привык... А не при чем мне тебя больше держать, да и пора тебе к отцу... Спасибо, Федя, спасибо,— по гроб жизни твоей службы не забуду!.. Помни: какая нужда,— иди ко мне, ровно к отцу родному..,

— Да я завтра еще побываю, Федот Семеныч...

— Да, да, побывай... Ну, поезжай с богом...

Федя не без умысла выпросился назад в Ступино. У него явилась мысль и надежда как-нибудь поправить дело,— помирить отца с сыном. Он не хотел высказывать своей надежды Федоту Семенычу, потому что и сам в ней не был уверен, да и боялся, что старик воспротивится его намерению.

IX

Все было тихо в доме Федота Семеныча, когда Федя возвратился назад и подъехал к воротам. Огня в доме не было видно. Ворота оказались запертыми. Лошадь нетерпеливо фыркала и рвалась к воротам. Федя медленно вылезал из телеги, раздумывая, как ему вызвать из избы сестру, не разбудив остальных, но оказалось, что Анна не спит. Услыша стук колес и фырканье лошади у ворот, она тотчас же отперла их и стала потихоньку отворять.

— Али угомонился, уснул? — спросил Федя сестру, и та тотчас же поняла, что он спрашивает про мужа,

— Спит, спит... И матушка уснула около него.

— А ты что же?

— А мне не спится... Я ровно ждала тебя,— на мост-то вышла да сунулась... Слышу, стучит: неужто, мол, он едет?.. А ты и есть... А что батюшка-то свекор?.,

— Он остался в волости.

— Вовсе?

— Вовсе.

— Эко горе наше... Господи, батюшка! Веди, Федя, лошадь-то, да потихоньку.., Не поднялся бы опять... Я помогу отложить-то...

Анна весь разговор вела вполголоса, почти шёпотом,

— А что, буянил без нас,— шибко?..

— Нету, как уехали, притих...

— И тебя не трогал?..

— Ни даже, нет, ничего, только отворачивался,— не глядит, не смотрит и не говорит ничего со мной... Гневается!... Я так и не... Боялась и подойти-то...

— Как же он?., Все с Федосьей Осиповной, что ли, разговаривал?.. О чем говорили-то?..

— И с ней мало говорил... Сначала-то все похвалялся против тебя да грозил ничто... А тут ключи увидал на столе... ухмыляться стал: возьмет их да положит, подержит в руках-то — да бросит... А после того взял да в карман к себе и убрал... Видать, рад он ключам-то... А матушка-то, бог с ней, говорит ему в ухо-то: «Не то бы, говорит, тебе досталося,— не тому бы, говорит, за этими ключами быть... Пусто, батюшка, у нас нынче, не как прежде!..» Бог с ней, не это бы ей надо говорить!.. Да правда, что он мало что и слышал-то: очень уж охмелел...

Я вижу: сидит да качается... Взяла, постлала ему постилку, подушку принесла... Не изволишь ли, мол, лечь, Кирилла Федотыч?.. Соснул бы с дорожки-то... Как он глянет на меня,— сердито-сердито. «Откуда,— говорит,— я пришел-то?.. С какой дорожки?.. Острожник я,— из острога...» Так сердце у меня и упало... Не знала, что и делать... Тут матушка подошла, толкнула меня от него, подхватила его под руку да и повела к постилке... Он так и свалился в чем был, не разумшись... Матушка села около него, а мне махнула, чтобы вон шла... Я ушла в сени, заревела... А он так, видно, и уснул... Давно уж тихо у них в избе-то: видно, и матушка легла, уснула...

— Ложись и ты... Есть ли чем обогнуться-то?.. На вот кафтан мой да ложись в телегу хоть; а я на сено пойду...

— Я, Федюша, думаю завтра, чуть свет, баньку ему истопить, чтобы, как встал, в баньку бы ему сходить...

— Так что же... Это хорошо,— так и сделай: как проснется, так ему и скажи, что, мол, баньку про тебя изготовила... Это ты хорошо выдумала!..

— А ты почто же, Федюша, вернулся?

— А я, чтобы все ему сдать, что у меня на руках было, чтобы во всем отчет был у меня полный перед ним... Да одежу свою забрать и попрощаться с вами... И Федот Семеныч велел его одежу к нему привезти...

— А батюшка-то уж так к нам и не приедет николи?.. Вправду жить с нами не хочет?...

— Кабы вот уговорить как Кириллу-то, чтобы он сходил, повинился да попросил отца-то,— так, может, бы он и вернулся... А так не пойдет ни за что... Вот кабы Федосья Осиповна с ним поговорила...

— Нет, Федюша, на матушку нечего полагаться... Она ровно ума рехнулась, как пришел Кирилла Федотыч: все про старое-то ему поминает да все жалуется на всех... Не согрешить бы, а она, кажись, больше его сомущает только... Разве уж мне как, времечко переждав, выбрать да подойти, без матушки... Ну, прибьет, так прибьет,— а, может, и...

— Попытайся... добре бы... Много бы лучше для всех для вас было, а особливо для тебя, кабы старик-от воротился...

— Как можно!.. Уж что говорить!.. Не веду уж, как мы без него и жить-то будем...

— Ну, а ты ложись пока... Утро вечера мудренее: завтра увидим...

**
*

На следующее утро Федя встал рано: солнышко еще не показывалось, и дневной свет едва начинал брезжиться, но Анны уже не было на мосту, где она легла спать, а отпертая калитка показывала, что она ушла со двора. Федя догадался, что сестра ушла топить баню, и, сообразивши, что одной ей трудно натаскать воды, наколоть и наносить дров, тотчас пошел помогать ей; но предварительно поднялся в сени и прислушался у дверей избы: оттуда не доходило никакого звука, стало быть,— и Кирилла, и старуха еще спали.

Когда Федя подошел к бане, которая стояла за огородом на берегу речки, Анна собиралась колоть дрова, которые были уже принесены ею и брошены около дверей бани.

— Дай-ка, дай, я наколю, а ты таскай воду,— сказал Федя, беря из рук сестры топор.

— Да ничего, я и сама наколю... Воды-то уж я натаскала... Что больно рано поднялся? — спросила Анна.

— Все не раньше тебя... А ты, видно, не спала ночь-то вовсе?..

— Не спалось, Фединька, не спалось и есть... Только глаза заведу, ровно что почудится, а сердце так и зайдется... Слушаю, слушаю: ничего не слыхать, все тихо... Так ворочалась, ворочалась, да и сдумала: чем валяться попусту, пойду, мол, стоплю баньку-то пораньше... Все лучше...

— Так бери пока дров-то, растапливай, а я еще поколю, припасу тебе... Наши-то спят, я слушал: может, к самому вставанью изгодишь баньку-то ему, то и хорошо!..

Деревня стала просыпаться, и дым, не в урочное время поднимавшийся из бани старшины, привлек внимание. Мужики посолиднее посмотрели только издали и, увидя около бани Федора, успокоились, что не пожар, и принялись за свое дело, не пускаясь в дальнейшие расспросы; но бабенки, а за ними и молодые парни не утерпели и подбежали к самому Феде порасспросить, почесать языки.

— А мы думали, уж не занимается ли у вас баня-то... Испугались, страсть! — тараторили бабы.— Ан, видно, про гостя нежданого топишь баньку-то?., Слышно, воротился Кирилла-то Федотыч...

— Видели его наши: проходил... Сказывают, исхудал, черный, стриженый... оборвался весь!

— Да как можно не исхудать?..— Тут исхудаешь: не в гостях гостил!... Тоже там в духоте сиди, да когда поел, а когда и не емши. Трудно, сказывают.

— Думали и не пустят его вовсе, а вот пустили же...

— Отсидел свое, так что держать-то. То бывает на поселение, а это в остроге... Уж с поселения не пускают, а в остроге... что же? Отсидел свое, и ступай с богом на все четыре стороны...

— Прежде, сказывают, не пускали: как попал, так и угонят...

— Прежде не те права были... теперь права другие... Вот ежели за убийство али тоже поджог сделал да уличили...— ну, тогда уж сошлют вовсе, на каторгу...

— То хуже?

— Ну, как можно: острог — тот в городу, а каторга — она в Сибири самой... Там в кандалах, под землей, так и сиди...

— А в остроге-то нечто без кандалов?... И в остроге в кандалах... тоже...

— Так то убийцы али грабители которые...

— И который тоже ежели деревню спалил... тоже...

— Так Кирилла-то разве не...— заговорила было одна из баб, но спохватилась и не кончила.

— Кирилла в поджоге оправили... Виноватым не признали,— проговорил Федя, который до сих пор молча слушал болтовню баб, а теперь, набравши охапку дров, намеревался скрыться от них в бане.

Но соседки заглянули вслед ему в баню и, увидевши там Анну, обрадовались и затараторили еще больше.

— Ах, Анна Герасимовна... воротился, чуть... Ну, слава богу!.. Проздравляем!..

— Про него, видно, баньку-то обихаживаешь?.. А мы напужались, думали... смотрим: дым...

— Обрадовалась, чай?..

— Как не обрадоваться, матка... Тоже больше двух годов не видала... Муж ведь, тоже... Ну, дай бог, дай бог...

— Сказывают: вовсе, чу, воротился... боле не возьмут...

— Кабы на поселение... то другое дело, сказывают... А то отсидел, чу, ну, и ступай с богом...

— Извелся, чай, он там?.. Исхудал, сказывают: и не признаешь...

— Ну, как не известись: посиди-ка, девка, два-то годка... скажешься...

Бабы сыпали вопросами и замечаниями, точно горохом. Анна не отвечала да не успела бы отвечать, если бы и хотела: соседки сами тотчас же и разрешали для себя свои вопросы; но вдруг одна из баб спросила Анну:

— Да что у вас за сумятение вечор было, ровно драка какая?.. Я шла под окнами, слышала...

При этом вопросе все затихли и притаили дыхание, не сводя глаз с Анны.

— Ничего не было: никакого сумятения не было,— отвечала Анна неохотно.

— А как они со стариком-то?..

— Что со стариком?.. Ничего...

— Что же он больно скоро уехал-то?.. Слышно было колокольчик-от, как домой приехал, а тут, сказывают, не в долгих и опять уехал, на своей, с Федянкой... с Федором Герасимычем...

— Дело у него нужное в волости было,— вмешался Федя, замечая смущение сестры.

— Разве что дело,— настаивали неугомонные бабы.— Да больно уж скоро... Ничего дома-то не побыл... Кажись бы, два года с сыном родным не видался...

— Разве вы не знаете Федота-то Семеныча?— возразил опять Федя.— У него, коли дело есть, он уж не промешкает, все бросит да поедет...

— Да уж это Федот Семеныч!.. Про него что говорить... Он уж... что про то говорить!.. То-то! А мы думали, не осерчал ли он, что, может, Кирилла Федотыч пьяненек был... ну, знамо, с радости... за водкой-то ты бегала... Может, мол, не согрубил ли что ему Кирилла-то Федотыч... Он, старик, ведь не любит насмерть этой водки-то... Может, мол, что сказал, а тот не уберегся — ответил в сердце... Посварились, мол... Ну, вот старик-от дому решился... ушел!..

«Все-то знают, все знают, все пронюхали!..— думал про себя Федя, слушая болтовню баб.— Наверняк, что

под окнами стояли, сплетки экие, подглядывали да подслушивали...»

— Так ничего с родителем-то? Все по-доброму, по-хорошему?.. Ну, так слава богу!.. Да уж, кажется, коли этому отцу не уважить, что Федот Семеныч, так уж что тут пути будет...

— Уж, сказать, радельщик, не токма для сына, а всему миру раделец... Теперь, кажется, наши мужики за него, за Федота Семеныча, душу-то заложат, не то что... Ну крутенек, правда, крутенек, так ведь все за правду...

— Да что крутенек! Экие ли бывают!.. Другой душу-то из тебя выжмет, ничего и не поделаешь... А за Федотом Семенычем мужики вон толкуют, живем ровно за каменной стеной... Как экому отцу не уважишь!..

— То-то, мол, а то как это можно: отступился, чу, и от дома-то, болтают... Из дому-то бежал, чу, как сынок воротился... Как, я говорю,— то может быть, с чем то схоже... И большак мой тоже.

— Да не то твой большак, все мы тоже... Не может того статься... А вот оно все враки вышли... пустяки!..

— Знамо, пустяки! — отозвался Федя.— Разве вы, бабы, что путное скажете промеж себя?.. Так перемываете бока-то людям да путаете — сами не знаете что... Ну-ка, Анна, кутать пора баню-то... Пустите-ка, бабы, я затворю двери-то...

Федя, чтобы отделаться от докучных допросчиц, вышел из бани, отстранил баб и затворил двери, но они еще не хотели расходиться.

— Ну, а ты, Федян, как же, останешься тут жить али домой уйдешь?.. Что уж тебе тут делать-то, коли молодой хозяин домой пришел... А? Как ты-то?..

— Ах, бабы, бабы! — огрызнулся уже Федя, рассердившись.— Да что у вас, неужто своего дела нет, об чужом-то вас забота съела?.. Поди-ка, у иных ведь, чай, коровы еще не доены, а вы толчетесь здесь да в чужое дело путаетесь... Мы-то еще сами ничего не знаем, подумать промеж себя не успели, а вы уж пытаете да судачите... Пустите-ка, мне еще вот дров нужно наколоть, прибавить: некогда мне бобы-то разводить с вами... Подите, судитесь сами промеж себя, а мне не мешайте...

И Федя, поворотясь к бабам спиной, принялся за ра-

боту. Тетки поворчали, потоптались еще несколько минут на месте и стали расходиться.

— Слушай-ка, Анна,— сказал ей Федя, когда они остались одни.— Как я думал, так и есть: не сдобровать Кирилле, коли Федот Семеныч теперь дом бросит... Слышала, что бабы-то говорят теперь же, еще ничего не видя. А узнают все, мир на Кириллу опрокинется... Ведь все помнят, что он деревню спалил: и злятся на него, и боятся, будут сторониться и попрекать, а он обозлится, запьет али еще хуже что почнет делать... Его мир либо совсем со света сживет, либо на что недоброе наведет; надо непременно как-нибудь уговорить мужа, чтобы он покорился, съездил к отцу, повинился да просил бы его, чтоб тот воротился и жил с вами...

— Не знаю, как, батюшка, сделать-то, Growинька... Боюсь и подступиться-то к нему... Да и не послушает он меня: прежде хоть маленько слушался, жили ведь мы ладно с ним, а вот теперь в два-то года отвык от меня... Прежде ведь он не дрался, а поди-ка, вон, теперь,— как пришел, так и прибил... Согрешила я, грешная, послушалась тогда, народ-то подвела под него... Неужто бы уж я не желала, чтобы батюшка жил с нами, да не знаю, как взяться, подойти-то боюсь... Вон он какой стал... ровно и не он!.. Научи, родной как быть-то...

— Да уж я попытаю счастья, сам поговорю с ним... что будет... Ты поди сторожи, как проснется в баню зови, а выпарится — самовар наставь, чаем его потчуй, пускай он отдохнет, духом-то отойдет а я пока не покажусь ему... Ты про меня и не говори ничего.. А я вдруг подойду к нему Поди же...

Анна побежала в избу, а Федя сел за баней так, чтобы его не было видно из деревни, а ему можно было наблюдать за Кириллом, когда он пойдет из дома Он ждал недолго: на тропинке между огородами, которая вела к бане, показался Кирилла, в сопровождении Федосьи Осиповны, которая шла рядом с ним, и Анны, которая робко следовала за ними сзади. У Кирилла лицо было сумрачное, измятое, но не злое.

— На же, Кирилла Федотыч, рубаху-то да веничек,— услышал, притаившийся за стеною, Федя робкий голос Анны,— а я, пока паришься, самоварчик, побегу, наставлю...

— Да водка есть ли, смотри, и яичницу толкни... при-

готовы! — отозвался Кирилла, и в голосе его не слышалось злобы против жены, хотя не было слышно и ласки.

— А я, хошь ли, попарю тебя? А? — спросила Федосья Осиповна.— Не попарить ли? А? Кирюшенька?

— Нету, матушка... Я сам...

— Ну, как хочешь, а сдумаешь, так кликни: я тут посижу, в передбаннике, подожду тебя... Да хорошо ли еще она баню-то истопила?.. Дай-ка я войду переж, посмотрю... Пожалуй, с угаром не скутала ли: от нее станется...

— Ну, где, чай, с угаром, чтой-то... Она ведь не о двух головах...

— Да, надейся на них!.. Нет, лучше я сама-то взгляну...

Федя слышал, как отворилась дверь в баню и как затем вышла из нее Федосья Осиповна и уселась в передбаннике. что-то ворча про себя. Вскоре затем за стеной послышалось шипенье воды, подданной на каменку, веселое кряхтенье Кириллы и хлест веника. Федя потихоньку выбрался из засады и по задам бань вышел к деревне так, чтобы его не видала Федосья Осиповна.

«И что это сделалось со старухой,— думал Федя сам с собою: — совсем из-за своей любви к сыну ума рехнулась: так и мутит, так и мутит его против Анны. Не пойти ли, не поговорить ли с ней сначала? Да, нет, пути не будет: ей теперь никого не нужно, кроме своего Кирюшеньки, она радешенька, что одна с ним осталась, о старике-то и не вздумает, а меня увидит, еще хуже: подумает с умыслом каким... Да и и не любит она меня, особливо после вчерашнего случая!»

Федей овладело неясное для него самого, но какое-то страстное желание во что бы то ни стало примирить отца с сыном; он чувствовал, что готов ради этого на всякое унижение, на самопожертвование. Зачем это было для него так нужно — он не думал и не отдавал себе отчета, но внутреннее неясное чувство говорило ему, что он сделает этим какое-то большое добро. Он прошел в дом, застал Анну в больших хлопотах около печки и самовара и принялся помогать ей.

— Не спрашивал про отца али про меня? — спросил он сестру.

— Нету, нет, ничего...

— Ну и ладно...

— Ничего, Федюша, даже ничего!.. Ровно как ему

это по мысли, что я баньку-то приготовила про него: вот это, говорит, ладно, хорошо!.. Сейчас и пошел... А у меня уж и рубаха, и веник припасены были, думала: пойду с ним, прислужусь, да матушка увязалась... И что за чудо за такое: не подпускает она меня к нему, да и на поди!.. Никогда я слова напротив ей не сказала, а она теперь на меня... ровно я клятая какая. Удумать не знаю как: что это с ней сталося...

Федя промолчал.

— Вот водки-то он велел припасти,— заговорила Анна.

— Ну, так что делать-то... Есть ли водка-то?

— Есть еще, осталось от вчерашнего... Боюсь я, Федя, опять бы он?.. Выпьет-то... чего бы не было?..

— Ну, так как быть-то... Надо терпеть... Хозяин!.. Напротив не пойдешь... Надо как-никак уговаривать совестью: силом ничего не поделаешь...

— Знамо совестью... Где уж силом...

— Вот подождем, посмотрим, что будет...

Перед возвращением Кириллы из бани Федя вышел из избы и вошел в нее вновь уже тогда, когда Кирилла, выпивши водки, закусывал ее яичницей, шипевшей перед ним на сковородке. Лицо его было видимо весело и довольно: баня как будто смыла с него вместе с грязью тюремного заключения и то озлобленное, мрачное выражение, которое делало его страшным и отталкивающим. Федя с внутренним удовольствием заметил, что в ту минуту, как он входил, Кирилла о чем-то спрашивал жену, и та, стоя перед ним, отвечала с радостной, сияющей улыбкой; Федосья Осиповна сидела рядом с сыном и смотрела на него с таким выражением, точно боялась, что его сию минуту отнимут у нее.

Увидя Федю, Кирилла вдруг нахмурился и опустил ложку, которую нес было ко рту; все довольство и веселость мгновенно исчезли с его лица; рука, которой он держал ложку, дрожала.

— Что еще нужно? — спросил Кирилла сдавленным голосом, прежде чем Федя успел сказать слово.

— Пришел, Кирилла Федотыч, сдать тебе все, как следует, что у меня на руках было,— отвечал Федя, стоя у дверей.— Вчера ты требовал от меня отчета как с работника, я не так отвечал тебе, потому не знал, что будет... А теперь Федот Семеныч весь дом тебе препору-

чил, так сними у меня с рук, что было, как след новому хозяину... а меня уж домой уволь...

Кирилла напряженно смотрел на Федю, не сводя глаз, точно хотел проникнуть в глубину его души. Вдруг лицо его исказилось, и черные глаза вспыхнули недобрым огнем.

— Да что ты, подлец... шутки шутить надо мной пришел?..— закричал он, бессознательно ища рукою на столе какого-нибудь орудия защиты.— Ты меня вчера пьяного избил, так думаешь, и сегодня опять удастся... Да я тебе башку размозжу!.. Что ты лезешь ко мне надругаться?..

Кирилла поднялся на ноги и, заметя на стене около себя большой железный ключ от амбара, висевший на крючке, схватился за него. Женщины в испуге вскрикнули.

— Погоди, Кирилла Федотыч, выслушай сначала, не беспокойся: не надругаться я пришел, а как быть работник к хозяину... Федот Семеныч приказал мне все сдать тебе с рук на руки... Ключи от амбара ты получил, да есть ведь, лежит, что и не заперто: вон сбруя, колеса, орудье разное,— мало ли чего. Все же надо, чтобы ты в порядке принял от меня и все осмотрел: и скот, и корм, все как следует... чтобы после и на меня поклепу не было, что того не уберег да не сдал... я же домой ухожу... А что вчерась промеж нас было в горячке, так забудь, прости меня... Я ненароком, не со зла, а и сам не знаю, как вышло... Прости, христа ради!... Я не то, что насмех, а вот до земли тебе кланяюсь.. Посмотри...

Федя действительно низко поклонился ему и дотронулся рукою до полу.

— Да что ты фокусы-то эти разводишь,— сказал Кирилла, садясь и все еще недоверчиво посматривая на Федю: — то ты драться сымаешься, то работником себя зовешь, у притолоки стоишь да кланяешься... Какой же ты работник, коли ты Аннин брат, шурин мой?.. А сдать бы все, коли батюшка мне препоручает, он бы сам и сдал, без тебя...

— Оттого и драться вчера сымался, что шурин я твой... Не надо бы мне вступаться промеж мужа с женой... да что делать: кровь! Не утерпел, горько показалось, что напрасно сестру обижаешь... А не надо бы, каюсь в том и прощенья прошу!.. А Федот Семеныч сам

меня прислал к тебе: он приехать не желает; так думает, что он тебе неприятен и что ты в отца его не почитаешь... И велел мне опять тебе сказать, что он тебе отдает: и дом, и скот, и хлеб, и сбрую, все, что есть в дому... Велел себе только свою одежу прислать, а больше ему ничего не нужно... Все тебе оставляет...

— А сам-от как же?.. Где же жить-то будет?... к вам, что ли, поедет?.. Вы, чай, рады, зазываете... Твоя, что ли, выдумка-то это?.. Ты, что ли, его подбил!.. Ты ведь ему заместо сына-то стал?.. Ты вон какой хороший: не пьешь, не куришь, тихоня-мученик, свят муж, а я-то?.. Я острожник каторжный, где ему со мной жить!..

Кирилла порывисто, дрожащей рукой налил стакан вина и выпил его с жадностью.

— А вот мне что говорил насчет этого Федот Семеныч: ты послушай. Жить, говорит, мне осталось немного и хочу пожить для бога, выстрою келью около церкви, на монастыре, и буду жить в ней... А я тебе скажу, Кирилла Федотыч, коли поверишь истинному богу, что он не то что гнушается тобой, а без души тебя жалеет и ушел только для того, чтобы тебе полную волю дать и ни в чем не мешать, и думает, что ты его не любишь.. А хочешь ты, чтобы он жил с тобой,— поезжай, покажи покорность, поклонись да попроси, богом тебе божусь, тотчас воротится и станет жить с тобой, только бобылем — ровно на покое, а вступаться ни во что не станет... Это я тебе верно говорю, как перед богом, по душе!.. А ты меня прости, не держи ты у себя ничего на сердце против меня... Ну, была ошибка моя, забудь... Мало ли что промеж сродственников бывает...

— Так что же ты стоя-то?.. Коли ты сродственник, так садись, поди... Вот чайку, поди, испей с нами... Водки-то все еще не пьешь али только при людях притворяешься?..

— Слушай, Кирюша, облегчи ты мою душу совсем: скажи, что простил ты меня и что на душе у тебя ничего нет против меня... так сяду и гостем, и сродственником буду считаться... А что я тебе говорил — все верно!..

— Да ну тебя, и в сам-деле не все ругаться... Садись, что ли... Я ведь острожник, каторжник, ты меня побил, да мне же и кланяешься, прощенья просишь!.. Кто тебя знает, либо уж ты Иуда христопродавец, либо в сам-деле уж свят муж... Садись, говорят!.. Попьем чайку...

— Так поздороваемся перво, как следует...

— Слушай, Федюха,— сказал Кирилла,— коли ты вправду мне друг, а не из хитрости из одной, выпей ты водки со мной, хошь рюмку одну... А не выпьешь... мазура, значит, ты... Убирайся к черту!..

— Не пью я, сам знаешь, а чтобы доказать тебе... давай, выпью рюмку... Изволь...

Федя выпил и закашлялся. Кирилла был очень доволен и весело смеялся...

— Вот люблю, вот спасибо! — вскричал он, встал и обнял Федю. Потом они взглянули друг другу в глаза и поцеловались. Федя почувствовал вдруг прилив необыкновенной радости и какой-то нежности к Кирилле, точно он спас его от неминучей погибели. Анна тихо, радостно плакала. Федосья Осиповна не могла себе отдать отчета, что такое случилось, и лицо ее изображало больше всего испуг и недоумение.

— Теперь ты мне вот что скажи,— начал опять Кирилла,— только всю правду скажи: точно батюшка помирится и воротится к нам, и волю мне даст, коли поеду я к нему, покорюсь да попрошу его?..

— Уж истинно тебе говорю, Кирюша... не из своего ума, а с его слов. Любит ведь он тебя, жалеет, желает все тебе предоставить и полную волю дать... Сам мне говорил... Вот богом тебе клянусь!.. А помиритесь да переедет он к тебе, на что уж лучше... И для тебя будет покойнее, и перед людьми незазорно... А воли он с тебя не снимет... Уж это верно!..

— Ну, коли так, я много думать да разговаривать не люблю... Садись, попьем чайку, а тут поедем за батюшкой... Наливай, Анна, живей.

Через полчаса после этого, к удивлению всей деревни, Федя вместе с Кириллом, в дружной беседе, ехали в одной телеге по направлению к селу. Там, у волостного правления они остановились, и Кирилла попросил Федю идти вперед, предупредить о нем отца и устроить так, чтобы свидание их было без посторонних свидетелей.

Федя застал Федота Семеныча одного. Он сидел у стола, подперши голову рукою. Лицо его было уныло и мрачно; оно не оживилось и при появлении Федора.

— Здравствуй, Федя,— проговорил он как-то безучастно.— Что, привез мою одежу?

— Привез, Федот Семеныч.

— Ну, что у них там?.. Не опять ли драка?

— Ничего, все славу богу: не то что драка, а мы с Кириллом помирились и расцеловались, как быть следует братьям...

— Полно, ну?.. Неужто очувствовался?

— Он здесь, Федот Семеныч... Приехал со мной прощения у вас просить... Ждет: позволите ли войти ему...

— Когда же сыну бывает заказано идти к отцу?... Пускай идет...

Федот Семеныч говорил, по-видимому, спокойно, но лицо и глаза его радостно оживились. Феде показалось даже, что он как будто вздрогнул всем телом и невольно поднялся на ноги. Федя поспешил позвать Кириллу и намеревался было пустить его одного, но Федот Семеныч вскричал ему вслед:

— Кликни его да и сам приходи с ним... Пускай при тебе...

Кирилла, войдя в правление, бросился отцу в ноги и, не поднимаясь с колен, проговорил сдавленным голосом:

— Прости меня, батюшка... Положи гнев на милость!..

— Не гневен я на тебя, а скорбен тобой,— отвечал Федот Семеныч.— Всегда ты был у меня у сердца, а если я что и делал не по мысли тебе, так, думал, для твоего же добра... Скажи ты мне только, Кирилла: из совести ты ко мне пришел, али из-за чего другого?...

— Из совести, из одной, батюшка,— отвечал Кирилла, смотря в землю и не поднимая головы.

— Коли из совести, так, значит, мне и говорить больше ничего не приходится: совесть твоя все тебе скажет... всю вину твою передо мной... Ну, бог с тобой, все тебе прощаю!.. Поди, обнимемся...

Кирилла быстро встал и обнял отца.

У Федота Семеныча падали из глаз слезы на голову сына, руки его дрожали.

— Вот когда... сына нашел... Ах, Кирилла, Кирилла! — говорил он прерывающимся голосом.— Будь ты хошь последние-то годы... старость-то мою успокой...

— Успокою, батюшка!.. Уж коли не гневаешься, простил, так уж отмени, что вчера говорил: пожалуй, поедем домой... Живи с нами...

Федот Семеныч некоторое время молчал, как бы собирался с духом.

— Слушай, Кирилла,— заговорил он, наконец.— Ты передо мной покаялся, и я покаюсь перед тобой: из такой же молодой головы, как твоя, пришло и в мою седую голову; не я ли сам виноват в тебе, что держал тебя под рукою, не давал тебе полной воли?.. Коли виноват я в том, так хочу свою вину поправить... Все тебе предоставляю: будь ты полным хозяином в доме, распоряжайся всем, делай все, как сам знаешь... Я ни во что мешаться не стану и, что не по-моему будешь затевать,— посоветую, коли хочешь, а останавливать не стану... А, может, не лучше ли, чтобы я и вовсе из дома ушел, как хотел?.. Сказывай, прямо по совести...

— Нет, батюшка, как можно, чтобы родитель из дома ушел... И совесть моя не позволяет того, да и что люди скажут?... На милости твоей благодарю, что все мне предоставляешь, а только что нет, не оставь, пожалуй, живи с нами... Затем больше и пришел... просить тебя... Мы тебя успокоим, а ты нас наставленьем своим не оставь!...

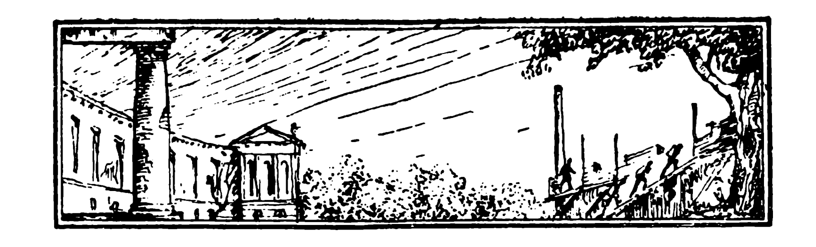
У Федота Семеныча просияло лицо.

— Ну, коли так, спасибо,— проговорил он весело и опять обнял сына.— Вот, Федя, и у меня праздник!... Теперь уж я и тебя сегодня-то не пущу. Погости денек-другой у нас — на радостях.

Веселые и довольные все трое возвращались они в Ступино. У ворот их встретила Анна, приняла лошадь, ввела ее под уздцы во двор, а потом кинулась со слезами в ноги Федоту Семенычу, потом мужу, потом брату. Зато Федосья Осиповна встретила их в избе без всякого заявления радости, с тем же выражением недоумения и испуга, которое точно замерло у нее на лице с минуты совершившегося на ее глазах примирения Кириллы с Федей.

Через два дня Федор собрался уходить домой. На душе у него было тяжело, потому что он не мог добыть обещанных Дарье Тихоновне денег и не знал, как ему показаться к ней без них; но на его счастье Федот Семеныч, прощаясь, сунул ему в руку пятирублевую бумажку и требовал, чтобы он непременно взял ее. Федя тотчас же отнес ее к Дарье Тихоновне и был безмерно рад, что мог исполнить ее просьбу... С ним прощались там и провожали его с большой любовью и лаской...

Но с тех пор прошло уже два месяца... Как-то встретят теперь?..



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

На околице деревни Ступино Федя встретил знакомого мужика из этой деревни.

— Федору Герасимычу! — сказал тот, приподнимая шапку.— Али к нам?.. Сестру проведать нечто?...

— Да, побывать...

— Доброе дело... Побывай!.. Проведай!.. Дело хорошее... понаведайся!..

Тон, с которым были сказаны эти слова, показался Федору недобрым, подозрительным. Он приостановился.

— Все ли у них благополучно? Все ли здоровы?.. Давно слуху-то не было от них к нам... Здоровы ли живут?..

— Да, кажись, ничего, здоровы... Анну-то я видел сегодня в поле: допахивала...

— Как Анну?.. Сама пахала? — переспросил Федя.— Разве... Да разве у них еще не посеяно?..

— Да видать, что нет... Знать, допахивала, кончала сегодня... Сама, сама пахала... Сам видел...

У Феди замер на языке вопрос: как же это — баба мужицкую работу справляла? Что же Кирилла-то делает?.. Но вместо этого он промолвил только:

— Запоздали они ноне... Запоздали!.. Везде уж обсеялись...

— Как теперь не обсеяться... Время самое уж... отошло... Ты проведай, проведай сестру-то... Доброе дело!..

Опять Феде почудилось в тоне мужика что-то неладное и нерадостное, но он не хотел пытать и расспрашивать о своих родных у постороннего человека и, попро-

щавшись, пошел было вперед, но остановился и окликнул уходящего мужика вопросом:

— А Федот-то Семеныч дома?

— Не ведаю доподлинно-то,— отвечал мужик.— Мало он дома-то водится... Кажись, дома был...

— Строится он,— закричал мужик, отойдя уже много шагов вперед и вдруг снова оборачиваясь.

— Кто? — спросил Федя.

— А Федот Семеныч... Как же, строится!.. Новы срубы ставит... На огороде... Подь, увидишь...

«Что за притча такая? — раздумывал Федя, невольно прибавляя шагу.— Что-нибудь у них да неладно...»

В избе Федор застал Анну одну. Она очень ему обрадовалась и порывисто бросилась к нему на шею.

— Ах, батюшка, Федянушка... Откуда тебя бог принес?.. Ровно с неба свалился, нежданно-негаданно... Садись, батюшка, садись, родимый...

— Никого нет в избе-то, никого... Я одна... одна я! — продолжала она, заметя, что брат осматривается и ищет глазами: нет ли кого еще из домашних.

— Да где же все?..

— А матушка-то в горнице: они там теперь живут с батюшкой... Батюшка-то на огороде... Там у него плотничают, так он назирает... А Кирилла Федотыч... не знаю, где он... Никуда ушел... Не сказался... Я пойду батюшке-то скажу, что ты пришел...

— Не надо, погоди... Дай, поговорим пока одни... Я и дорогой слышал, что строится Федот-от Семеныч... Чтой-то это он? С чего это вздумал?

— А не знаю, Федянушка... Так сдумалось ему: пущай, говорит, у меня своя избушка будет, коло пчел... А вы здесь хозяйствуйте, как знаете...

— Ну, а как у них с Кириллой-то, ничего... Никакой ссоры али неудовольствия?..

— Нет, кажись, ничего, все слава богу,— отвечала Анна как-то нерешительно и оглядываясь на входные двери.

— И у вас с ним все благополучно? Ничего? Не обижает тебя?..

— Нет, Федянушка, ничего... Не пожалуюсь... Все благополучно... Все славу богу... Да не хошь ли поесть с дорожки-то?.. Вот самоварчик бы ведь надо наставить про тебя...

— Нет, ничего не надо... Вот, перво к Федоту Семеньічу схожу, поздороваюся... А что это вы запоздали сеять-то нынче?... Сказывали, будто ты вчера еще только допахивала...

— Да, запоздали, запоздали ноне маленько.

— Какое маленько: в людях до успеньева дня засеялись... Отчего же это так вы?..

— Да так вот, все за делами: успех не взял... То, да другое, так и не поспели...

— А сама, сказывают, допахивала-то..

— Сама, сама, Федя... Что же?.. Ведь не орать: пахать-то невпример проще... За сохой-то ходи да держись только: лошадь сама научит...

— А сеял-то кто же? Неужто и сеяла сама?...

— Нету, Федюша, где самой! Не умею я, дура, сеять-то... не умею... Сеял-то сам Кирилла Федотыч... Он сеял...

— Все сам сеял?..

— Кое он, а то успех не брал: соседа просила... Помог, спасибо!.. Да, право, Федян, поел бы чего... Не хошь ли?..

По уклончивости, торопливости ответов Анны, по робкому оглядыванью на дверь Федя понял, что сестра боится сказать что-нибудь невпопад, что могли подслушать и услышать за дверями. Очевидно, она тяготилась расспросами Федора и боялась, чтобы их разговора не подслушала Федосья Осиповна, которую отделяли от избы только одни узкие сени. Федя встал, чтобы идти.

— Куда же ты? — испуганно спросила его Анна.

— А к Федоту Семенычу пойду, на огород...

— А... Ну, да, ступай, ступай, батюшка, он там... А я уж думала... Да ты как, нароком к нам али куда по пути шел да зашел?..

— И по пути, и нароком... Я ведь отпросился у батюшки вовсе... В люди иду, работы искать...

— Ну-у!.. На долго ли же?

— Да как поживется... али пока домой не потребуют: какую работу найду, сколько промышлять буду... не знаю еще ничего...

— Вот ты как, Федюша!.. Уйдешь от нас, батюшка!.. И не увидишь тебя!.. Что же это дома-то тебе надокучило?.. Кажись бы, у нас с тятенькой жить ничего, вольготно... Обиды никакой нет... Что же ты это, родимый

мой?.. От своего родного дома в чужи люди надумал?.. А?..

— Так, хочу счастья поискать в людях... Дома-то еще наживусь...

— Ну-у... Вот ты что надумал!.. Не с кем будет и посоветовать, и горе огоревать без тебя...

Анна расчувствовалась было и щеку подперла рукой, но вдруг опять, точно чего испугалась, спохватилась и пошла вперед брата отворять ему дверь...

— Так погостишь, чай, у нас сколько-нибудь? — спросила она, провожая брата, уже в сенях.

— Ночку переночую, а утре уж пойду... Да вот, что еще Федот Семеныч скажет...

Сзади избы Федота Семеныча узкой полосой тянулся его огород. Около двора шли гряды с капустой, огурцами, морковью а в другом конце стояло несколько тычин с хмелем, росла старая развесистая береза и несколько рябин, покрытых гроздьями красных ягод; тут же, по забору, расставлены были и колоды с пчелами. На луговине, отделявшей гряды от пасеки, между березой и рябинами, стояла, почти совсем уже отстроенная и покрытая, маленькая избушка, которой не было прежде. Это новое жилье, которое строил Федот Семеныч, казалось совсем сиротской кельей: с низенькой дверью, с двумя маленькими окнами. Внутри избушки слышался стук топора.

«Неужели старик в этой лачуге жить хочет из-за своего дома, светлого, просторного?»,— думал Федя.

Он отворил дверь. В избушке, сидя на простом чурбане, Федот Семеныч обтесывал какую-то плашку. Он был в одной рубахе, сидел сгорбившись и не имел того сановитого вида, которым отличался, бывало, не только среди рядовых мужиков, но и среди других старшин. Феде показалось, что он за последнее время сильно постарел и опустился.

При входе Феди он поднял голову. Лицо его, перед тем задумчивое, печальное, оживилось.

— Ах, дружище, какими судьбами? — сказал старик, откладывая в сторону топор.— Вот спасибо!.. Рад я тебе!.. Сватушка здоров ли?..

— Слава богу, кланяться приказал вам, Федот Семеныч. А вы что это, плотничаете сами?..

— Да вот, брат Федя, задумал себе келью особливую устроить... Хотел сначала около церкви, на ограде построиться, да раздумал: точно уж очень на показ людям, что вот, мол, спасаться человек хочет... Ну, да и от своих далеко... А вправду тебе сказать, греха не потаить: больше того — пчелки пожалелось!.. Привык я к ней, люблю очень, стосковался бы без нее, а уж на ограде ее не заведешь... А здесь, смотри-ка, как у меня будет важно: посмотрел в окошечко — вон они все у меня на глазах: и рой, коли время придет, не отлетит уж у меня от рук, не уйдет... Все в глазах!.. Вот к избушке-то еще закутку приделаю теплую, омшаник: туда их на зиму прятать... И тут завсегда на глазах будут: недалеко ходить-то, за стеной только будут...

— Так неужто вы и зиму тут будете жить?

— А что же? Чудесно! Разве плохо? Смотри-ка... Изба-то будет теплая, потому не высока, а печь большая: тепла будет довольно... Вон, полатки сделал. Переваливайся с печи на полати... А очень взопреешь — вон лавки какие широкие... На лавке проклажайся сколь хочешь!.. Вот тут иконы поставлю... как быть следует... Неугасимую заведу: пускай горит за грехи мои!.. Ведь то любо: и лавки, и голбец, и полатки, и для образов киот,— все, почитай, сам сделал, своими руками... Только доски мне плотник выстрогал, а то все сам... Ты думал, я топором-то уж вовсе не умею али отвык совсем?.. Нет, вот смотри: кое-как, а все приладил, как быть следует... Правда, пословица-то говорится: старый — что малый... Вот ведь что лавку сколотил али голбец? — пустое, а мне любо, что сам... своими руками... Так-то, друг!.. Вот мне в старшинах сидеть только до зимы осталось... Как выйду, так у меня и угол свой есть: запрусь здесь, ровно монах али скитник какой, и буду жить один, подальше от людей да от греха... Да уж и пора, давно пора!..

— Да что же вам за охота из-за своего дома, из-за родной семьи, да одному жить?.. Федосья Осиповна, слава богу, здравствует. Кирилла с Анной при вас... Все бы, кажется, лучше со всеми вместе...

— А ты, Федюша, со мной не хитри и душой не криви... Ты умный, и все наши домашние порядки знаешь... Старуха, коли захочет со мной жить, так и здесь будет: места станет про обоих; только она не пойдет от сына, хошь бы и лучше было, кабы ушла... Ну, а уж сыну дал

я волю, как хочет, все ему сдал, так нечего ему и мешать...

— А что же, Федот Семеныч, разве у вас с Кириллой-то опять не лады, али вам что не по мысли делает?..

— Нету, да ведь я ни во что не вхожу и не смотрю... Коли спросит что, ну, скажу, а то нет, молчу... Уж ведь сам ты говорил, что коли волю, так надо полную волю дать и не мешать: пускай сам, как хочет и как умеет... Помнишь, говорил!.. Ну, вот тогда мне твое слово и запало: не оттого ли, мол, и все наше горе вышло, что я ему ни в чем спуску не давал, все докучал?.. Вот теперь уж ни во что и не вступаюсь: как хочет!.. Он ничего, не грубиянит со мной, не спорит, а только что вижу: мешаем мы друг другу... То гость к нему придет, мне не по мысли, то погулять ему хочется, а у меня на глазах опасится... Ну, и бежит из дома, жену одну покидает, хозяйство бросает... То и сам я не утерплю когда, скажу что — вижу ему не по мысли... Перетерпеть бы, смолчать, что ни видишь, да иной раз, по старости лет, что ли, али почему, и не вытерпишь... Так уж лучше от греха подальше!.. Вот Анну твою жалко!.. Жалко бабу!.. Хорошая она, добрая жена, а тяжеленько ей!.. И не столь через мужа, нет, а больше через мать.. Вижу, баба из сил бьется, угождает старухе, а все не может потрафить: к печке ее не подпускает, а как что не спорится али не делается, по старости ее лет, та же Анна виновата... Пробовал унимать свою-то — хуже только!.. Да, хорошо, кабы мне старуху-то свою от них уманить, много бы лучше Анне было!.. Он ведь не злой, Кирилла... Нет!.. Беспутен он только, разбалован!.. Одни-то бы, может, ужились лучше: как-нибудь обломались бы друг об друга... Ну, да что говорить: теперь это дело ихное... Мое дело в сторонку отойти да не мешать... Лучше, как ничего не видишь и не знаешь!..

Федот Семеныч невольно глубоко вздохнул. Видно было, что он делал над собой усилие: не все высказывал, что думал, знал и чувствовал.

— Ну, да что тут толковать: ты сам умен, день проживешь — все увидишь,— промолвил Федот Семеныч.— Расскажи-ка лучше, как вы поживаете.., Что ты об себе-то одумал? Невесту не высватал ли?..

— Нету, Федот Семеныч... Я отпросился у батюшки... Пустил меня, спасибо, вовсе: работы на стороне поис-

кать... Вот нароком и к вам зашел: попрощаться да наставления твоего попросить...

— Да что ты сам-то надумал? Куда хочешь идти-то?..

— Намерение мое — идти на заводы; около купцов работки поискать, по моему ремеслу.

— Это резь-то резать?..

— Да, и постолярничать что... Всякую бы вещь, кажись, сделал, только покажи... Вот разве инструмента только нет у меня... всякого.. А если бы у меня инструмент всякий был, кажется, ничто бы от рук не отбилось... Вот шкатулки с секретом знаю делать, только дерев у меня никаких нет, а без дерев никак нельзя... Ну, что одна береза... А купцы имеют состояние: всяких дерев накупить могут... А главная причина,— как к механике у меня пристрастие большое: к машинам бы как попасть желательно.., Вот около машин бы как на фабрике пристроиться!..

— Около машин!.. Это дело!.. Вот что... Есть у меня один знакомый купец... Попытаться разве к нему?.. Сегодня уж ты переночуй у нас, а завтра я съезжу с тобой к нему... По крайности, поговорю про тебя да попрошу: все, чай, лучше, чем так один, незнаемый, рядиться придешь... Самому-то собой хвалиться несподручно... Ну, а я-то уж знаю, что про тебя сказать... Вот, коли хочешь...

— Уж на что этого лучше, Федот Семеныч: не оставьте, пособите... Известно, коли уж вы съездите да поговорите, так купец, особливо коли знакомый, тотчас возьмет меня...

— Ну, не больно, брат... Купцы такой народ, он на слово-то и отцу родному не поверит: он смотрит на человека-то по делу, а не по словам... Взять-то он возьмет всякого рабочего, коли только он ему надобен... Ну, да уж и выжмет из него все... Разве что этот — благоприятель мой большой... Принимает меня завсегда... И сам человек добрый, благотворительный человек!.. Вот попытаемся утре... Съездим!.. Да что мы здесь сидим — у пустого-то места... Пойдем в дом... Тебе, чай, с сестрой, повидаться хочется, да и поесть надо с дороги?..

— Я с сестрой уж виделся, Федот Семеныч...

— Так что же она?.. Поди, чай, ничем не угостила, и самоварчика, чай, не наставила... Пойдем, пойдем!.. Кирилла-то, поди, нет дома, шатается где-нибудь, а хозяйствует-то ноне мать. Анюха-то, чай, не смеет и само-

вара-то поставить про тебя... Чудное дело: невзлюбила, братец, тебя моя старуха!.. И за что, сама не знает... Да нет, нехорошо, нехорошо ноне у меня в дому... Правда, не у меня, у сына!.. Я ноне все молчу!.. Уж ни во что не вступаюсь, и не говорю ни слова!.. Вот только тебя-то увидел, обрадовался, язык у меня ровно развязался, а то я нынче в молчальники поступил: как домой приехал, так и речей у меня нет... А только нехорошо... нехорошо!.. Все не по мысли мне, не по-моему!.. Ну, да уж дал волю, так как хотят, не мое дело... А все-таки ты мой гость!.. Я своего гостя угостить могу, как следует...

— Да вы не беспокойтесь, Федот Семеныч... Я ничего не хочу...

— Ну, уж, брат, нет... Ты меня не обижай... У меня все свое... Я не поклонюся... Я своим тебя угощать стану, не сыновниным... Я ведь еще не на чужих хлебах живу... Слава богу, свое имею!.. Сами звали меня жить-то к себе!.. Сами просили, а я могу прожить и один... Ты у меня гость дорогой, я тебя люблю!.. Они должны всячески почитать тебя...

Федя с грустью прислушивался и смотрел на Федота Семеныча. Он не узнавал его: откуда взялась в нем старческая болтливость, плохо скрываемая бессильная раздражительность и недовольство, какая-то жалобная и жалкая нота в тоне его голоса, откуда это в старике, полгода назад бодром, сильном, молчаливом и решительном?..

Даже по внешности он сильно изменился, опустился и постарел: голова не держалась так высоко, глаза не смотрели так прямо, спина согнулась, изменилась походка, как будто даже ростом он стал ниже прежнего...

II

— Что же ты это, Анюха, самовар-то и не поставила про брата... А?.. Ах, ты, бесстыдница экая! — говорил Федот Семеныч, войдя в избу.

— Да он не велел, батюшка...

— Да что его слушать... Это хозяйское дело, а не гостево: хозяева должны угощать, а гость только угощение принимать... Ставь-ка, ставь скорей!.. А я пойду, велю Федосье чай заварить да нас напоить... А сама не захо-

чет, ты разольешь... Вот я сейчас схожу... Мать-то в горнице, чай, сидит?

— Да, надо быть, там,— отвечала Анна.

— А Кирюшки все нет?..

— Нет, еще не бывал...

— Ах, шатун, шатун... Право, шатун! — проговорил Федот Семеныч, по-видимому, добродушно, но с вздохом, и вышел из избы.

— Да что, Кирюха-то, видно, опять стал зашибаться? — спросил Федя, обращаясь к Анне, которая хлопотала с самоваром.

— Да ведь не по всяк день, Федя, нету!.. Средка разве когда!.. А то ведь он и работает, и дома сидит...

— Да что ты от меня скрываешься, правду-то не говоришь, Анна?.. Говори теперь: они там, старики, разговаривают промеж собой, не услышат, говори!..

Анна взглянула на брата, потом повернула голову к двери, как бы прислушалась, затем быстро бросилась к нему на шею и проговорила ему на ухо:

— Ах, много бы говорить-то нужно, Фединька, рассказать бы тебе все, душеньку отвести, да долго говорить-то... да и боюсь!.. А больше на бога надеюсь: авось господь на путь истинный наставит... А плохо, Фединька, плохо!.. И зашибаться стал, и гуляет, и из дома тащит на сторону, таском тащит... Нишкни, батюшка, нишкни!.. Идут, кажись?..

И Анна опять отскочила от Федора к печке и к самовару. В избу вошел Федот Семеныч, неся в руках чайник и чашки. Лицо его было мрачно; он был, видимо, взволнован; руки его дрожали.

— На-ка, Анна, бери,— проговорил он отрывисто.— Уж до чего дожил, господи, что своя жена слушаться не хочет... Старая старуха — и та воли захотела!..

Федот Семеныч злобно усмехнулся.

— Уж пускай бы сама не шла, а то чаю вздумала не давать... Моего-то же чаю, да не дает... Чудеса! Ей богу!.. Рехнулась она у меня... Знаю, говорит, для кого этот чай... Живет и без него!.. Дура, право, дура!..

— От преклонности лет это ихних...— успокаивал его Федя.

За чаем, который разливала Анна, в беседе о будущем Феди, Федот Семеныч развеселился, как будто забыл о всем, что его тревожило, и стал опять похож на

прежнего. Но вдруг он заметил, что Анна наливала только для них чай, а сама не пила.

— Анна, отчего же ты не пьешь? — спросил он.

— Ну, батюшка, кушайте сами... Я не хочу...

— Почто врешь: не хочу?! Пей, пей... Отчего не пьешь?..

— Да ну, я после... Кушайте перво сами-то... Вот останется,— и я напьюсь...

— Да врешь.. Я знаю, что у тебя в голове: ты свекрови боишься, что попрекать станет... Не бойся: мой чай-то, не ваш!.. Я на свои деньги покупал... Я потчую!.. Пей же, говорят, сейчас, вместе с нами!..

— Не сходить ли мне, батюшка, лучше сначала матушку попотчевать?..

— Не надо, не надо, пустяки!.. Я сам звал!.. Не пошла, так какого ей еще зова... И пойдешь, так уйдешь ни с чем, либо шугнет да обругает... Что ты думаешь: разве я ваших делов не вижу?.. Что молчу-то?.. Не думай, я все вижу, все прижимки ее против тебя вижу... Пытал и усовещевать, и бранить ее, дуру... Что с ней поделаешь!..

— Знаю и я, батюшка, что ты мой радельщик... По тебе только и живу...

У Анны навернулись слезы, голос задрожал; много бы ей хотелось сказать, но она опять спохватилась, замолчала и невольно взглянула в сторону двери. На этот раз это было кстати, потому что дверь открылась и в ней показался Кирилла в сопровождении матери. У Федосьи Осиповны выражение лица было таково, точно она сейчас сказала или хотела сказать сыну:

— Посмотри-ка ты, свет ты мой ясный, что они без тебя делают, каких гостей привечают, какие пиры сводят!.. А мать без тебя в стороне, в загоне!..

Кирилла был навеселе и в хорошем расположении духа: если мать и успела ему шепнуть такие речи, которые выражали ее глаза и лицо, то они не произвели, по-видимому, на сына никакого впечатления.

— А, гость дорогой, Федор Герасимыч... Сколько лет, сколько зим! — проговорил он, радушно протягивая руку поднявшемуся с места Феде.

— Здравствуйте, Федосья Осиповна,— обратился с своей стороны Федя, почтительно кланяясь старухе, ко-

торая что-то пробормотала в ответ и с язвительной гримасой умышленно низко поклонилась ему.

Анна уступила было свекрови свое место, но та отворотилась и с недовольным, обиженным лицом уселась в сторону, в уголок, нарочно подальше от стола, на котором пили чай.

Федот Семеныч молча и исподлобья смотрел на всю эту сцену.

— Садись, садись, Федор Герасимыч... Дай-ка и мне, Анна, чайку-то,— говорил между тем Кирилла, избегая встретиться со взглядом отца.— Матушка, а что же ты-то? Подвигайся: места про всех будет... Испей и ты чайку-то с нами...

— Нет, уж покорно благодарю... Где уж мне чаи распивать... Непривычна я!.. Я и так посижу!..

— Анна, да чай-то, может, спили, так можно свеженького заварить,— продолжал между тем Кирилла, не слушая слов матери.

— Не знаю, как сказать... Кажись, не больно жидок еще,— робко отвечала Анна, в нерешимости стоя около своего места.— Матушка, вот бы села... да разливала бы... Вот... пожалуй, садись, матушка!..

— Полно-ка, уж полно... Не манежничай!.. Хозяйка, так хозяйкой и сиди!.. Сама пей и гостей угащивай... А мы и в кути просидим! Нам и так хорошо, и без чаю!.. Век-от прожили, не больно набалованы чаями-то... Это вы привычны чайничать-то, молодые!.. Вы и чайничайте!..

— Полно, матушка... Это напрасный разговор,— резко заметил Кирилла.— Вон чай-от жидок: поди-ка, принеси еще да подсыпли...

Федосья Осиповна несколько мгновений помялась, что-то пробормотала, но не могла ослушаться сына: встала и пошла в свою светелку за чаем. Федот Семеныч глубоко вздохнул и сердито крякнул.

— Ну, как живешь-поживаешь, Федя? — спросил Кирилла.

— Да понемножку...

— Что больно давно не заглядывал к нам?.. Ровно и дорогу забыл...

— Да все за делами: никак нельзя было...

— Да уж эти дела, брат, ноне... Беда!.. Замяли вовсе!... Лето никакое нескладное: дожди от работы вовсе

отбивали... Да и мы нынче без работника, батюшка не посоветовал нанимать... А одних никак успех не брал... И до сяковой поры яровые снопы еще в поле...

— Да и овес-то не дожат,— заметил Федот Семеныч не без язвительности.

— Ну, то что: самая малость... Не стоит его и жать-то: совсем осекся, без зерна.... Одна солома, и ту серпом не ухватишь... А только нам без работника никак невозможно!.. Ты как хочешь, батюшка, а только я работника найму...

— Что мне?.. Твое дело!.. Я бы в твои года и не с этакой работой управился, а ты как знаешь!.. Я давно сказал, что ни во что ввязываться не буду... И не ввязываюсь!.. Спросишь — посоветую, а там твое рассуждение...

— Да и преж того у нас завсегда батраки бывали,— вмешалась Федосья Осиповна, которая разливала уже чай. Воротясь из своей горницы, она подошла молча к столу, не смотря и точно не замечая Анны, плечом своим оттолкнула ее и заняла перед самоваром ее место.

— Завсегда батраки у нас жили,— повторила она.— Известно, бабье дело я одна управляла, не ходила по соседям кланяться да помочи просить, а на мужичью работу всегда батрака нанимали...

— Так разве та у нас прежде запашка-то была? — возразил Федот Семеныч с заметным раздражением.— Я, бывало, и пашни, и лугов наймовал, по осьми чередов зиму прокармливал, а в пастушню-то и по двенадцати сгоняли... По три лошади, бывало, держал да по пяти коров в зиму, окромя овец... А ноне сколь?.. Одна лошадка да две коровы — вот и все!... А земля-то на одно тягло!.. Так к этому-то работника нанимать, чужого человека хлебом кормить?.. Что же сами-то делать будут?.. Эх, да... язык мой, враг мой!..

— Так что же, ведь и Кирюше не заказано земли-то нанять али скотинки-то прибавить, коли с деньгами собьется!..

— Это я, батюшка, беспременно,— подтвердил уверенно Кирилла.— Что на одном тягле сидеть? Недалеко уедешь, пожалуй, и не прокормишься... Это непременно земли нужно будет принанять и скотину прибавить... А с одной своей полосы, особливо при нонешнем урожае, не только хлеба продать, а, право, не прокормишься...

Кирилла взглядывал на Федю, как бы вызывал его на поддержку своих слов, но тот сидел, опустя глаза в землю, и упорно молчал.

— Вдвоем не чаешь прокормиться,— отвечал Федот Семеныч,— а еще третий рот хочешь нанимать — работника... Как же люди-то вон на одном тягле сидят, муж с женой да четверо детей, сам-шесть, значит... Вот хоть Максимка!.. да прокармливается же, по миру не сбирает... Да вот, недалеко ходить — у Герасима Дмитрича: восемь али девять ртов-то к обеду-то садятся, тоже земли на два тягла держит, а хлеба остается своего и овса еще каждый год продает рублей на тридцать: сам сказывал...

— Вот сравнил,— возразила Федосья Осиповна: — там, слава богу, трое работников-то, да четвертый подросток... А у нас один, он и у косули, он и с косой!.. А едим-то тоже не двое, а четверо... Опять же у нас, не как у рядового мужика, тоже пришлый народ бывает... Без угощения тоже не уходят...

— Ну, пускай нас с тобой на зиму не считают, а меня-то уж и вовсе... Я вот еще недельку — другую, да и в свою хату переберусь: там стану жить...

— Что же, батюшка, я этому нежелателен,— отозвался Кирилла.— Даже в большое огорчение это принимаю. Я, кажется, ничем против тебя не согрубил, а стараюсь, как бы угодить, чтобы тебе нас так опокинуть, ровно грубиянов каких... Это я даже в большую обиду должен принять себе, точно я и вправду хлеба про вас али тепла в избе, что ли, жалею... Это вы, батюшка, напрасно только меня обижаете!..

Кирилла говорил это как будто искренне, от сердца.

— Знаю, брат, что ни хлеба, ни тепла тебе не жалко... А только так думаю, что нам обоим складнее будет, что хошь и на одном усаде, да в разных избах жить будем... Так полагаю: друг другу мешать меньше будем,— и тебе свободней, и мне покойнее... Я вот уж стар стал, все не по мне, да не по-моему, а вы по-молодому, может, лучше сделаете... Вот и надо мне отойти, а особливо бы вот матери... Куда бы хорошо было для вас, кабы она оставила вас в спокое, а жила бы со мной!..

— Разве вот невестка из своей избы погонит,— отвечала Федосья Осиповна,— может, ей я помешала, а от сына еще, слава богу, ничего не слыхала, не гонит матери из дома... Окромя почтения, от него ничего не вижу...

У Федосьи Осиповны дрожал голос: она готова была и плакать, и браниться.

— Да я, помилуйте, матушка... батюшка... я не того желаю... а чтобы жили вы с нами завсегда, а не то гнать... Я и сдумать этого не могу! — говорил Кирилла.

— Да никто не гонит... Что пустое говорить! — возражал Федот Семеныч.— Это мать твоя так только, с бабьего разума... Не то, что гнать, а коли бы даже просили вы, кланялись, чтобы остались мы,— и тут нужно уйти... для вашего же спокою!.. Ну, что промеж мужем с женой нам, старикам, валандаться?.. Мутить только вас?.. Жить будем не в другой деревне, а тут же: посоветовать захотите — придете, соскучите по нас — побываете, мы соскучимся — к вам придем... На что бы лучше!.. Поссоритесь когда промеж себя — одни-то скорей и разберетесь, скорей и помиритесь: никто не подожжет, никто ни за которого не вступится.. Хорошо будете жить — слава богу, порадуемся на вас, а худо что сделаете — опять же некого винить, окромя себя... И мы у вас невиноватые останемся... Вот как по-моему!.. Я-то уж уйду, я так порешил!.. А и тебе бы надо, Федосья, так же рассудить, коли бы по-матерински, да по-умному-то... Больше бы и добра, и пути для них было, кабы ушла от них. Я и слыхал, и сам видал на своем веку довольно, что нет того хуже, как мать, мужнина ли, женина ли, завсегда между молодыми мужем да женой сутолочится... Много из-за нее и ссоры, и вздору бывает... Не к тебе одной это говорится.. а только и ты не из ряду вон.

Федосья Осиповна, наконец, не выдержала и разразилась слезами.

— Да что ты и сам-деле? — заголосила она.— Мучил-мучил, командровал-командровал век-от веченской,— да и на старости лет, последние-то, может, дни покою не даешь,— мушкарить меня хочешь!.. Не пойду, пока Кирюша сам в шею не выгонит!.. Одна он у меня моя кровь, да я бы ушла от него, бросила,— так вот, ни с того, ни с сего, с бухты-барахты!.. Худа ли я, хороша ли,— а все мать!.. Все я знаю, что никто столь его не пожалеет и не побережет, сколь я... Ничего я к его худу не сделаю и другим сделать не дам... Может, и хороша у него жена, да у нее вон сродственники есть — и отец и братья, а я у Кирюшеньки одна!.. Я отступлюсь, так кто за него встанет?.. Не моги ты этого и думать: не уйду, пока сын не

выгонит,— вот тебе и весь сказ!.. Я знаю, кто тебя подбивает на это!... Ну, а уж меня не перехитрят...

— Дура, право, дура! — со вздохом проговорил Федот Семеныч.

— Даром дура, а ты умен... А нет, уж не перехитрят меня... Вот к тебе приживальщик-то пришел: вот возьми его, живи с ним,— показывала она на Федю.— Он рад будет... Может, затем и пришел... А я еще из своего дома не пойду, пока мне место есть...

— Я, Федосья Осиповна, в чужие люди иду,— на фабрику поступаю,— сказал Федя.

— Ну, родимый, куда хочешь поступай: мне до тебя дела нет... Только отца с сыном не расстраивай... жену против мужа не подучай,— вот что!..

— Ах, глумная, ах, глумная! — говорил Федот Семеныч, покачивая головой.— Заткни хошь глотку-то, помолчи, образумься маненько... Всегда-то была не умна, а теперь уж остатки одурела.

— Ну, какова есть, а все ж таки скажу!..

— Это точно, матушка,— перебил ее Кирилла.— Ну, что пустое говорить, совсем которое неследующее...

— Так вот ты как, Федор Герасимыч,— продолжал он, обращаясь к Феде: — на фабрику надумал, а я и не знал этого... На которую же?

— Да не знаю еще... Вот как бог приведет... Вот Федот Семеныч хочет помочь: обещает завтра съездить со мной к знакомому купцу... похлопотать насчет местечка...

— Это к кому же, батюшка? — поинтересовался Кирилла.

— К Кошатникову хочу... К Кузьме Иванычу...

— А-а, что новое заведение открыл... Слыхал!.. Что же, давай бог!.. Иным на фабриках счастливит, особливо коли в приказчики как выбиться... даже большие деньги наживают!.. Я бы сам с удовольствием к купцам пошел бы служить, кабы дом было на кого опокинуть, а то что здесь: что наживешь, окромя горба в спину?.. Наша жизнь, мужицкая, самая последняя... особливо для нас, для грамотных, кто мало-мальски понимает... Ну, серый мужик, тому нечего больше делать — пускай за косулей ходит да землю дерет,— а нам-то!.. Тебе вот хорошо подошлося: не женат еще, дома отец с братом останутся... вольный казак!.. А мне вот никак нельзя... А пошел бы... Что здесь? Что что грамоте обучен? Куда она? Ковыряй-

ся век в земле... Так ни за грош и пропадешь!.. И чудесная жизнь там, сказывают, на фабриках: жалованье платят хорошее, все на уроках,— отстоял свое, а там и гуляй... Нынче много ребят и от нас стало ходить... Да я еще вот посмотрю: может, и я надумаю,— пойду на фабрику...

— И опять не дело говоришь, Кирилла... У него мастерство в руках: он с ним и идет, а ты с чем пойдешь?.. Ну, в приказчики еще взяли бы... Ну, туда-сюда... Да разве сразу возьмут? А грамота-то для рядового фабричного столь же надобна, что и мужику: у стана ли стоять, миткаль ли полоскать, в красильной ли ворочаться, али дрова под машину подкладывать: тут твоя грамота не потребуется... Да с твоим характером ты от фабрики-то не то что нажиться,— гроша медного домой не принесешь: все там останется!..

— Отчего так, батюшка?

— А оттого, сынок!.. Сам знаешь... Сердце у тебя не такое, чтобы денежки наживать, а особливо, где артель велика... Что говорить-то: сам знаешь!.. Подем, Федюша, в новую стройку... Полежим там пока до ужина... Анна натаскает нам сена... Да положи, Анна, кафтаны... Там и ночевать будем... Так-то уснем — пречудесно!.. В новой-то стройке дух больно хорош... вольный!..

— Пойдемте, Федот Семеныч...

— Завтра с утра-то мне в волость нужно... Вместе и поедем. Пока я дела справлю, ты с учителем поводишься... Он про тебя наведывался... А тут и к купцу поедем.

Когда Федот Семеныч с Федей и Анной вышли из избы, Федосья Осиповна вполголоса сказала сыну:

— Вот все так: свой никуда не годится... Чем бы родному сыну порадеть и сам-деле около купцов-то,— он про чужака старается... А слышал ты, Кирюша, насчет того, чтобы и я-то от тебя ушла?.. Это она... Анна подбивает!.. Уж как бог свят!.. Я ее насквозь вижу, зелье!.. Чай, поди, здесь одни-то были и на тебя, и на меня — и братцу-то и свекру напевала-напевала... А уж этот тихоня, Федька, завсегда исподтишка... Ровно добра желает, а сам старика против тебя наущает... У-у, варвар! Рожа твоя клятая, подхалимья!.. Кажется, бы так и изорвала в клочья своими руками!.. Вишь, сегодня, при нем, старик-от совсем другой: никакой злой, сердитый... видать, что

подущен!.. Видишь-ты: все он хорош, а ты, родной сын, никуда не годишься... ни к какому делу!..

Кирилла, облокотившись на стол, подперши голову рукою, смотрел неопределенно куда-то вдаль и рассеянно слушал мать. Наконец, он быстро поднял голову и тряхнул кудрями.

— Да вы что хотите говорите и думайте про меня.. Судачьте на все руки!.. А только что не сжить мне дома рядовым мужиком... Разве это жизнь?.. Изо дня в день, из году в год — все одно и то же... Ломай спину, мозоль руки, подати плати да думай, как бы концы с концами свести, чтобы с голоду не помереть!.. А работа-то эта, полевая — дьявольская: солнце тебя печет, дождь мочит, руки-ноги извертишь все, изломаешься, спинушка не разгибается!.. А какие барыши-то?.. Только что разве прокормишься да подати заплатишь, а там и опять нет ничего, опять сначала начинай...

— Так как же быть-то, Кирюша?.. Не ты один, и все так живут... Еще мы-то, благодарить бога, получше людей живем: у нас и запасец всякий есть... Смотри-ка, сколь одежи одной... Ведь все твое, батюшка: отец ничего не хочет брать...

— Да, велика ваша одежа: всю-то продать, так ста рублей напросишься...

— Что же делать-то, Кирюшенька... Были у отца деньги скопленные, тысячи с две было, что больше — да все на мир извел... Есть и теперь, знаю,— скопил маленько, да вот боюсь, что этот пройда, Федька, и те выпросит... Уж как боюсь, а чует мое сердце, что выпросит... А он даст... Наш-от!.. Своему не даст, а чужому отдаст, только подбейся умеючи... Ох, мое горюшко!.. Меня-то нынче не слушает, да вот еще особливо жить хочет на собину: деньги-то эти проживать... Чем бы в дому с сыном жить да денежки, кои сберег, сыну оставить, один-то будет жить — все и проживет... Не знаю уж, как быть-то, Кирюшенька!..

— А так и быть, что уйду я от вас... Живите здесь, как знаете, хозяйствуйте... А я вот, как отец из старшин выйдет, возьму годовой паспорт да и уйду...

— Чтой-то, Кирюшенька... Как же ты уйдешь от своёго дома, от жены, от своей?..

— Вот еще нещечко-то помянула... Вот тоже пожалею!.. То-то любушку мне на шею навязали... Экая, поду-

маешь, краля писаная!.. Другой экой, пожалуй, не выищешь... Изойди белый свет — не выищешь!..

— Ну, что же делать-то, Кирюшенька... Известно, не похвалишь, а какова бы ни была, все же законная...

— Да, законная!.. Что, я выкланивал да вымаливал, что ли, у вас, чтобы вы женили меня на ней?.. Сами женили, меня и не спросили...

— Известно, уж это отец...

— Так то-то и есть!.. А, может быть, я бы теперь какую себе приискал сам-от, кабы вы мне этот жернов на шею не повесили... Известно, тогда мальчишка был, ничего не понимал: хошь на козе бы женили, так все равно, только бы волю дали... А теперь, как посмотрел да посравнил,— так не то что ради ее, дома оставаться, а, кажется бы, от нее на край света забежал... от законной-то своей!.. И уйду беспременно: ты так и знай, только не моги говорить никому до время, а то все равно: не остановишь, только рассердишь!..

— Да не скажу, батюшка, коли не велишь, только куда же это уйти-то хочешь и почто?..

— Куда попаду — и сам еще не знаю, а пойду счастья да денег искать... И на фабрики толкнусь, и по торговой части попробую... Может, до самого Питера дойду... Авось, бог милостив, не хуже людей!.. Это батюшка только думает, что я никуда не гожуся... Землю пахать я точно что не хочу и не стану... А дай-ка мне дело настоящее, оборотистое: небойсь, почище всякого обмозгуем; всякому Федьке нос утрем: даром он механик!.. Я, вон, в остроге сидел,— уж какой народ прожженный округ меня был, а, небойсь, дураком не считали, а ко мне же за советом шли... И на письме... даже прокурору прошения писал!.. Ты этого не понимаешь... Меня даже смотритель побаивался, потому — я и против него права узнал... Коли счастье будет, на дело попаду,— так, небойсь, наживу деньги и без отца: пускай он с Федькой возится, а я сам про себя промыслю, кланяться ему не стану...

— Знаю, батюшка, знаю, Кирюшенька, что ты у меня на все горазд... Да как же ты меня-то, сироту, покинешь,— как я-то без тебя останусь, горемычная?..

— Так и останешься: будешь жить с Анной да хозяйствовать... Я уйду,— и отец будет с вами жить... Это он

только из-за меня не хочет в дому жить вместе со мной, а без меня будет...

— Батюшка, да Анна-то без тебя меня заест, со света сживет... Смотри, опять этого позовут: что ему тогда у купцов жить, он на готовый-то хлеб тотчас прибежит... Опять вдвоем-то — да не то: вдвоем, и все втроем — старик-от ведь с ними же заодно... Опять втроем примутся надо мной командровать... Нет, Кирюшенька, не сжить мне с ними без тебя!.. Ты как-никак, а возьми и меня к себе: я хошь постряпаю да помою на тебя... Хошь ты на глазах у меня будешь..

— Это, матушка, ты пустое говоришь: и сам-то я не знаю куда еще попаду, а тебя с собой брать...

Возвращение в избу Анны прервало разговор. Кирилла встал, надел шапку и ушел. Федосья Осиповна остановила всхлипывания, которые было уже начались, утерла слезы и, не оборачиваясь лицом к Анне, молча вышла из избы вслед за сыном.

III

Анна вопросительно, с недоумением посмотрела на уходящих мужа и свекровь, неопределенно покачала головой, вздохнула и принялась убирать со стола. Федот Семеныч велел припасти ужинать и повестить, как будет готово, а между тем муж выскочил из избы, как только она вошла, слова ей не сказавши, не взглянувши даже на нее; она не успела даже и спросить его: будет ли ужинать и ждать ли его, или нет. Свекровь тоже ушла, видимо отворачиваясь и не желая с нею говорить. Она не посмела даже и рта разинуть перед нею, чтобы спросить — какие ее будут приказания.

«Неужто уж они так дуются, что Федя-то пришел? — думала бедная Анна.— Что же мне теперь делать-то? Идти спросить матушку насчет ужина: толком не ответит, а изругать, иссрамить ни за что, ни про что — это уж изругает и иссрамит!.. Да еще сама же жаловаться будет, что насильно влезла к ней в горницу да нагрубила. А не спросясь ее припасать к ужину — опять беда: скажет — самовольничаю, в хозяйки лезу мимо ее, от печки отбиваю... Да и как не спросясь-то?.. Не велит она, ни боже сохрани, в печку лазить без нее: хошь бы

и старик приказал, поди — скажись ей перво... Что за напасть, батюшки!.. Экая моя жизнь пошла горемычная!. Федю бы надо кормить давно: тоже не близко пробежал, с утра не евши, только на одном чаю, а как сунешься к печке без нее?»

Рассуждая таким образом, Анна убрала со стола самовар и чайную посуду, медленно встряхнула и разостлала скатерть, поставила солонку, положила хлеб, ножи, ложки, но до печки и горшков дотронуться не решилась.

— Нет, уж, видно, надо покориться: идти сказать ей, что батюшка велел ужин припасать, уж пускай выругает — все лучше, уж что будет... А не пойду к печке, пойду позову отца: как сам хочет.

Робко подошла Анна к дверям светелки и не вдруг решилась отворить их. Но прислушалась — там было тихо.

— Матушка, а матушка! — окликнула Анна, приотворяя дверь горницы и не входя в нее, а только просовывая голову.

Ответа не было. Анна опять окликнула старуху и увидела, что она лежит на кровати, плачет и стонет.

«Что-то за чудо: уж не занедужилось ли ей, старухе!» — подумала Анна и, забывши даже свой страх и опасение колкостей и брани, вошла в светелку и подошла к кровати.

— Чтой-то, матушка, недужится, что ли, тебе, родима? — спросила она ее с участием.— А, матушка?..

Старуха повернула к ней свое заплаканное лицо: на мгновение на нем показалось обычное при разговоре с Анной кислое, недовольное и враждебное выражение, но оно тотчас же заменилось искренней печалью.

— Дура ты, дура,— проговорила она с упреком, но без злобы.— Не умела ты мужа прилучить к себе, чтобы любил...

— Что же мне делать-то, матушка, я, кажись, всей моей душой к нему,— отвечала Анна, смотря на старуху с недоумением.— Кажется, уж как мне стараться, служить, да угождать ему, уж и не знаю... Что ни прикажет, что ни сдумает — все делаю... И сама-то все думаю да желаю, как бы ему лучше сделать, угодить да потрафить,— что ему, что тебе матушка... Что мне делать-то, чтобы прилучить его к себе? Научи, родима!.. Я бы сама рада радостью!..

— Веселила бы его, разговаривала бы, привечала бы, что ли, хорошенько... Рожу-то бы мыла, волосья мазала, да повязывалась, что ли, хорошенько... Ну, где уж мне, старухе, тебя научать, коли сама не умеешь!..

— Да что же, матушка, жалобился он, что ли, на меня, говорил, что ли, что тебе?..

— Чего тут жалобиться... В омут бы головой сунулся али забег бы, говорит, куда глаза глядят: такова ты ему сладка!..

— Господи, да за что экая напасть? Чем я ему согрубила, что я ему сделала?..

Анна заплакала было, но вдруг утерла слезы, глаза ее засверкали гневом и она заговорила озлобленным голосом:

— Нет, не я тому причиной... я из сил выбилась, угождаючи ему... Мне больше нечего делать, не виновата я!.. А вот тому причина: ко вдове, бабе непутной, повадился... Оттого и жена стала нехороша и ненужна!..

— Что ты? Что ты? В уме ли, полно... С чего еще выдумала?..

— Не выдумала, а уж не один раз эти наметки слышала, да и сама примечаю... Ты только, матушка, не видишь ничего, а во всем у тебя я виновата... Вот отчего он и дома-то не живет, вот куда и несет, и везет!..

— Полно-ка, дура, всяким сплеткам верить... просто с товарищами гуляет: вот и дома не живет... Высидел два-то года, света божьего не видал: захочется и погулять... А что он у тебя и несет, и везет?.. Что ты?

— То-то, матушка... У тебя против него и глаза запечатаны... У меня-то уж нечего взять: мое-то приданое давно, еще до несчастья его, до пожара, прогулено... Да и зачем ему теперь мое добро,— своего довольно: у всего сам хозяин... Ты вот не примечаешь, а вижу, как мешки-то с рожью да с житом уходят... Скажется на мельницу, насыплет четыре мешка, а муки-то два привезет; а те-то два где?.. Да и из одежи-то его много не стало; серой поддевки нет, что серого сукна была, полушубка крытого тоже одного нет... Так это вот как? Да шалевой платок видели, сказывают, на базаре покупал: куда же дел, кому отнес? Мне не даривал... Вот, матушка, они, сплетки-то, какие: они себя в деле показывают...

—Да какая же вдова-то?.. Что за вдова такая? Кто сказывал-то?..

— Давно уж я это слышу... Вон, бабушка Пелагея проговорилась одиново: пуще всего, говорит, девка, береги мужа от непутных баб — и не то баб, а ото вдов. Выпьет парень, закутит, это насчет водки, все ничего: проспится пьяный, угар пройдет — и опять за работу примется... А вот уж как со вдовой, непутной бабой, свяжется — нет того хуже на свете!... Все она из него вымотает и от жены отворотит!... Так эта речь ее меня по сердцу, ровно ножом, полыхнула!... А тут вот, во жнитво, бабы... Вышла-то жать я рано, почитай раньше всех, да и вечером-то бабы снопы уж составили, домой идут, а я еще жну, так идут мимо, окликают: что, чу, Анна, больно стараешься, за шаль-то, что ли, мужу угожаешь? — «За какую шаль?» — спрашиваю.— «А что на базаре-то вон покупал: про тебя, чай? Тебе, чай, подарил?..» А я ни про какую шаль и не слыхивала... А тут Наташка, знаешь, Горячиха, и скалит зубы: да и выбрать-то, слышь, не умеет: шаль-то не девке, не молодой бабе носить, а вдове разве какой!.. Так у меня опять сердце и упало...

— Так какая же это вдова-то? Откуда? Наша ли здешняя которая, али из чужой деревни какой?..

— Так неужто я стану спрашивать да допытывать.. Я и виду не дала даже, ровно мне и невдомек, что они говорят... и слова не сказала...

— Ну, так вот ты какая... Как же теперь?.. И поговорить-то с ним нельзя... Если бы так попытать, ничего не скажет, только осердится, что всякий вздор принимаем... хуже только... Да и так, что не пустяк ли это и в сам деле?.. Тоже нашу сестру послушай!.. То, думаю, пустое, что кабы это было у него, не стал бы он собираться уйти отселе в город...

— Как в город? Куда?..

— Так, дурочка!.. Уйти хочет... Отчего же я и ревела-то?.. Не велел было никому сказывать, да вот уж и проговорилась... В город, говорит, уйду от вас по пачпорту... Куда, говорит, и сам не знаю, а местов буду хороших искать, чтобы нажиться да разбогатеть... Может, до Питера, чу, дойду...

— Чтой-то, батюшки... Что еще ему в голову попало...

— Уйду, говорит!.. Не мила мне своя сторона, опостылел дом, а жена опротивела... Один, говорит, уйду, а вы здесь оставайтесь, хозяйствуйте... Я вот-то даве и

заговорила, чтобы ты его как приманивала к себе, да прилучала... Думаю: он великатный такой, умный, грамотный.. Ну, а ты с рожи-то не больно приглядна, да и не нарядно ходишь, больше все об работе думаешь, ничем его собой не повеселишь, не позабавишь... Поучу, мол, ее, дуру, чтобы больше думала, как мужа к себе приворожить...

— А так, видно, матушка, приворожить, что залиться горючьими слезами, зарыться во желты пески да привалиться гробовым камнем... Вот мой, видно, приворот-то какой!... Бессчастная я на свет родилась — вот что! Сидеть бы мне лучше весь век в девках, около батюшки родимого... В тысячу бы раз слаще!.. Жила я в девках — ни попрека, ни ругани, окромя ласкового слова да спасиба не слыхивала... Не знала я, каковы слезы из очей текут; а замуж вышла — последняя стала: ни сказать, ни сделать, ни потрафить не умею, а уж слезы-то узнала; одними слезами умываюся... Вот какова моя жизнь приятная!..

Анна тихо, неутешно плакала: она высказывала свое горе, свою обиду, забывши, не думая о том, что говорила перед главным своим врагом и гонительницей; она чувствовала только свое несчастье и не питала ни малейшей злобы против Федосьи Осиповны, не хотела сделать ей никакого упрека. Старухе стало и жалко, и как будто совестно перед Анной, хотя с полной искренностью она не считала себя в чем-либо виноватою перед нею. В крестьянстве всякая почти свекровь считает своим правом, почти обязанностью, быть взыскательной и недовольной своею невесткой, требовать от нее сверх ее сил и считать ее виновницею всяких случайных непорядков в доме; внутренне почти каждая свекровь сознает и предвидит, что придет неизбежно то время, когда невестка сделается большухою в доме, ототрет ее от печки и от хозяйства, займет ее место и поставит, в свою очередь, старуху в положение бессловесной, зависимой работницы или будет терпеть ее в доме как тяжелое, неприятное бремя. В Федосье Осиповне все эти полубессознательные ощущения патриархальной жизни усиливались еще ее болезненной и ревнивой любовью к сыну; но она, по природе, была женщина добрая и прямой ненависти и злобы к Анне никогда не питала.

— Вот что, дурочка, вот что... Не реви-ка, — сказала

она почти ласково.— Больше делать нечего, что надо к гадалке ехать...

— Почто, матушка?

— А для того, что, может, она ту окаянную, злодейку твою, покажет, коли она доподлинно есть у него, а не покажет, так, может, пособит как, либо научит... может, либо отворожит от той, либо приворотец для тебя даст... Я слыхала про такую... Есть!.. Много помогает и много народа к ней прибегает!... Вот как отец уедет из дома и Кирюша отойдет, так мы с тобой вместе съездим, либо ты одна сбегай к ней... Всего-то верст пятнадцать отселе живет — в Пархачеве.

— Добре бы, матушка, дал бог,— проговорила Анна с надеждою в глазах.— Кажется бы, век за нее бога молила, как бы это поделала... А не чаю я пользы...

— Нет, делает, делает!.. Верно говорю!.. Да вот тебе, недалеко ходить: Исашку Беспятого знаешь... Тоже за солдаткой увязался, года три бегал, чуть дом не разорил, жену заколотил совсем... Да кто-то, добрый человек, и надоумь ее сходить к этой гадалке... Та ей поделала да ничто и дала: подкинь, говорит, к ней, к подлой-то, под застрех, ночью... Что ж ты думаешь?.. На ту воспа напала, всю рожу ей исковыряла... С того и Исашка от нее отстал... И теперь живут с женой... Ну, хоть не больно ладно, потому он беспутной, а все ничего, хорошо! Все лучше прежнего, хошь дом-от не зорит... Вот, беспременно, надо побывать к ней...

— Добре бы, матушка,— проговорила Анна, вытирая слезы концом платка, которым была повязана.— А вот что: ведь я за делом к тебе шла спросить: батюшка велел ужину приготовить да его позвать... Так ты сама в печку-то полезешь или мне велишь?.. Придешь, чай, ужинать-то?.

— Приду, приду... Поди, зови... Федянка-то, чай, твой и впрямь есть хочет.

Федосья Осиповна стала подниматься с постели.

— А Кирилла-то Федотыч не знаешь где?

— Не знаю, не сказался... Погляди, не сидит ли за воротами...

Но Кириллу не нашли, и за ужин семья села без него. Федот Семеныч вследствие этого был не в духе, молчал и почти ничего не ел; но в то же время он не без удивления и с удовольствием заметил, что Федосья Оси-

повна и говорила с Анной и смотрела на нее ласковее и снисходительнее.

«Неужели с моих слов очувствовалась старуха? — думал он.— Дай-то господи: совсем они бабенку смаяли».

После ужина Анна пошла проводить свекра и брата в ночлег и понесла за ними целую охапку одежи. Выбравши первую минутку, когда старик ушел молиться богу перед сном, и Федя остался наедине с сестрою, он спросил ее:

— Что ты мне такое даве заговорила про мужа... Расскажи: что у вас тут творится...

— Ах, Udединька, батюшка, непутное творится... Одно тебе молвлю: связался он со вдовой никакой: и бегает туда, и из дома тащит... Да еще сегодня слышу новенькое: и вовсе из дому хочет уйтить... Не мила я ему стала, супротивна... Преж того, хошь пьяный когда ругался, а теперь и тверезый не говорит, не смотрит... Уж убиваюсь, Фединька, на работе, из сил тянусь... Ни в чем не согрублю, поперек слова не скажу, про *эту* и не поминаю, ровно не знаю ничего... Когда будень день прогуляет, ночь дома не ночует, ни ему ни попрекну, ни батюшке, матушке слова не скажу, а еще его же покрываю... А ему все не в удовольствие: неприятна я ему!.. Ну, матушка мутит это, мутит, поддерживает его... Ну, да уж не все же от матушки... больше и от самого: преж того он лучше был, до этой самой, до вдовы...

— Да какая же это вдова?

— Не знаю, батюшка, Фединька, не знаю... Бабы наши знают, наметки дают... Ну, да как же мне их спрашивать-то про мужа: сам ты посуди!.. Да и что пути-то, коли если и узнаешь, только надсады больше... А вот как ты мне посудишь: что мне делать-то?.. Вон, матушка говорит: к гадалке, говорит, побывать нужно... Она знает такую...

— Ну, это пустяки... Ничего от этого не будет...

— Нет, бывает, Фединька! Бывает, сказывают... И приворот, и отворот дают...

— Ну, полно, Аннушка, пустое говорить... Отравить отравят, испортят человека, пожалуй, окалечат, а больше ничего от этого не будет...

— Так что же мне делать-то, Фединька?.. Обгорюй ты мое горе, обдумай ты меня, батюшка... Уж так-то мне горько, так-то обидно!.. От своей сестры так стыдобушка

на людей смотреть... Вот моя жизнь какая!.. Кажется бы, лучше он меня бил, тиранил, нечем этак-то... Скажу что,— усмехается, ровно дурь какую молвила, услужу что,— не принимает либо ровно не видит, а уж с ласковым словом чтобы подойти, приласкаться, приголубиться, так, кажется, и не посмеешь... А он сам и не сдумает... Вся душенька моя надселась... терпенья моего нет, измаялась я, Фединька... Как тут быть, что делать?... Не посудишь ли ты как, батюшка?.. Умный ты у нас уродился, с рассудком, хошь и молод... Посуди-ка мне что ни на есть...

— А вот что, по-моему...

— Что, батюшка, что?..

— Подожди, потерпи еще сколь можешь... Поговори с ним, посовести, скажи, что, мол, все знаешь... А не уймется,— возьми да и уйди к батюшке к нашему... Он тебя примет... Живи у него...

— Ай, чтой-то, Фединька?.. Как я от мужа уйду?... Где это видано?.. Да ему, может, того только и надо, чтобы я ушла-то от него... этого-то он только и желателен... Я-то уйду, а он ее, подлую, пожалуй, тотчас и в дом возьмет... После того мне и назад-то придти нельзя будет... А батюшки ведь он нонче не боится: как ему все предоставил, так и не взирает на него ни в чем: не побоится, возьмет ее, подлячку... Матушка тоже ни в чем ему не поперечит... Что же из того будет?.. Нет, Фединька, уж разве сам взашей из дома прогонит и в дом пускать не будет,— ну, тогда уйду!.. А до тех пор, как ни тяжко, а все в дому жить буду, на свое место доброй волей никого не пущу... Нет, мне это твое наученье не в силу, Фединька: не уйти мне доброй волей от своего мужа законного...

— Ну, так живи да терпи... Что же больше-то...

«Видать, к гадалке сходить, больше нечего... не пособит ли как»,— подумала, но не сказала Анна и замолчала. Разговор оборвался.

Молчал и Федя. Его мысли были около Параши. Он думал о ней и о том, что предстоящая ему назавтра поездка к купцам оттягивает на неопределенное время свидание с Параней. Ему сделалось очень грустно и тяжело.

«Что это за вдова такая?» — невольно задавал он себе этот вопрос...

— Да хоть из какой деревни-то не знаешь ли? —

вдруг спросил он Анну, неожиданно прерывая молчание.

— Кто это, Phединька?

— А вдова-то эта?

— Не знаю, Фединька... только не из нашей... Своих-то я всех знаю... Нет, к своим не ходит...

Возвращение Федота Семеныча прекратило беседу. Анна ушла. Старик скоро уснул, но Федя долго ворочался: какая-то мучительная, неясная для него самого тревога заставляла болезненно сжиматься его сердце.

IV

На другой день утром Федот Семеныч, в сопровождении Феди, подъехал на ямской паре к волостному правлению, безобразному двухэтажному зданию. В верхнем этаже его помещалось самое правление и квартира волостного писаря: в него вела снаружи крутая, почти перпендикулярная лестница; нижний этаж разделялся темным коридором, по одну сторону которого была отведена изба для училища и квартиры учителя, а с другой, насупротив, помещались сборная изба для мужиков и темная — каземат для пьяных, буйных и недоимщиков, присужденных к аресту волостною властью.

Федот Семеныч стал подниматься вверх, по лестнице, а Федя пошел в нижний этаж. Из коридора он отворил дверь в классную комнату, уставленную длинными столами и лавками. Комната эта была низкая, плохо освещалась тремя маленькими окнами и, как видно, плохо отапливалась зимою, так как даже летние месяцы не изгнали из нее запаха сырости и какой-то затхлости. Пол и стены в этой школе были так грязны, что, казалось, их не только никогда не мыли, но даже и не мели. Надо сказать правду, что эта грязь нисколько не удивила и не бросилась в глаза Феди: он смотрел на нее совершенно спокойно. В школе, по лавкам и на полу, шумно возилось несколько мальчиков: класс еще не начинался; две-три книжки валялись на столах, дети ждали учителя, которого в классе не было. Федя внимательно посмотрел на школьников. Один из них порывисто, с криком: ах, Федор Герасимыч! — бросился к нему. Это был Николка, Паранин брат. Сердце Феди замерло от радостной неожиданности.

— Здорово, Никола,— проговорил он, останавливаясь.

Прочие школьники тотчас же бойко подошли и окружили нового человека, знакомого одному из товарищей, с любопытством поглядывая на него. Видно было, что школьная ферула не была строга и не запугала детей: все они смотрели смело, весело и даже несколько самонадеянно.

— Совсем запропал, Федор Герасимыч.. Ни слуху, ни духу о тебе... Паранька-то уж совсем по тебе стосковалась,— говорил Николка.

— Паранька!.. хх... Паранька стосковалась по ем!.. хх...— загоготали дети.

Федя вспыхнул и смутился.

— Так что, черти, чего смеетесь? — огрызнулся на товарищей Николка.— Паранька-то не какая... Она сестренка моя... родная!...

Дети еще больше зашумели.

— Паранька!.. Сестренка его!.. Стосковалась! — хохотали они кругом.

Федя совсем растерялся и уже не рад был этой встрече.

— Э-э, черти, сволочь!.. Чего гогочут, сами не знают... Он ведь, чай, не чужой у нас, он у нас...— объяснял Николка.

— Отчего вы не учитесь-то?.. Где Василий-то Якимыч? — перебил его Федя, стараясь остановить и замять болтовню Николки. Но Василий Якимыч, услыша знакомый голос, давно уже молча наблюдал, через полуотворенную дверь, происходящую в классе сцену. Федя стоял к нему боком, и потому он видел его смущение, сильную краску, покрывшую его лицо, и с насмешливой улыбкой, не без некоторого даже злорадства, смотрел на Федю.

— Здесь, здесь я! — откликнулся он на вопрос Феди.— Входи сюда. А вы чего гагайкаете тут,— обратился он к детям.— Ступайте на улицу, побегайте, покамест не позову... Дайте вот только чаю напьемся...

Ребятишки с шумом шарахнулись вон из школы. Федя вошел в квартиру учителя.

Квартира эта была каморка в одно окно, отгороженная досками от той же избы, в которой помещалась и школа. В каморке стояла белая деревянная кровать,

около нее, у окна, такой же простой белый стол; у стола, с одной стороны, классная скамейка, с другой — единственный стул; по стенам были вбиты гвозди, на которых висел скудный гардероб учителя; к задней узкой стене приделано несколько полок, долженствовавших заменять посудный шкаф; большая печка, отапливавшая всю школу, одним своим боком выходила в каморку и должна была нагревать ее вместе со школой. Вот и вся учительская квартира со всем ее убранством.

Порядок и чистота, как видно, не составляли необходимой потребности учителя: пол в его комнате был так же грязен, как и в школе, на постели валялось платье, стол был завален книгами, тетрадями, табаком и папиросными окурками и тут же, на свободном углу его, стоял самовар, чайник и стакан с чаем.

— Помешал я вам, Василий Якимыч,— смущенно говорил Федя, входя.

— Чем помешал? Нисколько...

— А вы хотели, может быть, ученье начать...

— О-о, это ничего... Еще успеем: ребятишки целый день здесь толкутся около меня, с утра до вечера... А вот я так, кажется, помешал тебе действительно...

Василий Якимыч саркастически улыбнулся.

— Как помешали?.. Я к вам и шел...

— Шел-то ты, может, и ко мне — правда, давно уж не видались,— да на дороге вот встретил человечка поинтереснее меня, обрадовался, хотел расспросить,— а я и помешал... Хочешь, позову Николку сюда, одного... Расспроси уж его, что тебе надо... Переговори хоть наедине... Тоже, чай, не терпится... Видно, и зазнобушку свою давно не видал... Позвать, что ли?..

— Да нет, Василий Якимыч... Что вы все смеетесь надо мной?..

— Какое, братец, смеюсь... Нисколько!.. Напротив, я участие принимаю, помочь хочу... Вижу: давно не видались... Тоже мучился, я думаю, терзался!.. Тут случай этакой прекрасный: разузнать все, как и что, в вожделенном ли здоровьи, думает ли она, любит ли, ждет ли?.. Не позабыла ли, не забавляется ли с другим?.. Между вами ведь почта-то не ходит, не переписываетесь, полагаю... Да и предмет-то ведь неграмотный... Ну, а мальчишка, по глупости, все расскажет, ничего скрыть не сумеет, из него все можно выспросить... Право, не пре-

небрегай случаем, давай кликну мальчонка... Наговорись с ним сначала, досыта, а со мной-то и после: теперь тебе не до моих разговоров... Вот я сейчас кликну его...

Учитель встал было с кровати, на которой сидел, и пошел к дверям; но Федя его остановил.

— Да напрасно вы, Василий Якимыч... Не надо мне... не о чем мне его расспрашивать... и не хочу я...

— Ну, как хочешь... А, по-моему, напрасно: может быть, что-нибудь новенькое узнал бы, меры какие-нибудь принял... Может, и ваканция-то твоя там уж занята: незачем тебе тогда будет и хлопотать, и заботиться о ней... Почем знать!...

Федя вдруг побледнел, как полотно.

— Да вы разве слышали что? — спросил он глухим, сдавленным голосом.

Василий Якимыч взглянул на него и притворно захохотал.

— Нету, нет, успокойся: ничего не знаю, ничего не слыхал... И забыл даже, признаться, о твоей страсти... А вижу, брат, теперь, что ты тронулся порядком... Ну, что же, свататься, что ли, идешь, а меня в дружки или в посаженые хочешь звать?.. Затем и пришел?.. А? Что же, пора и в законный: чай, ведь уж двадцать стукнуло или с годом даже?... Самое время на вашу братью эту узду надевать... Родитель-то, чай, уж давно беспокоится, что парень до этаких лет дожил и не пристроен, без хомута ходит... Только как же ты его уломал, чтобы позволил тебе жениться на дочери такой особы: вы ведь больно нравственны в этом отношении, да и гонор у вас есть своего рода... Или не хочешь ли самокруткой?.. И то дело... Нынче у вас это, слава богу, в моду начало входить... Самокруткой, что ли, собрался?..

Василий Якимыч всегда имел обыкновение говорить быстро и много, а когда он увлекался какою-нибудь мыслью, то задавал вопросы и сам разрешал их, не слушая собеседника, не выжидая его ответов. При этом его некрасивое, болезненное лицо оживлялось, черные глаза сверкали, он не мог оставаться на месте и начинал быстро ходить. Федя насилу поймал паузу, чтобы вставить свое слово.

— Да нет, Василий Якимыч, совсем я не за тем к вам... Первое — давно не видался, а второе: — поговорить совсем по другому делу.

— По какому, по какому делу? — быстро спросил учитель, усаживаясь на кровать против Феди. — Да что же чаю-то? Пей чай-то... Вот стакан... Наливай сам... Я не хочу больше... Какое дело? Рассказывай.

Федя рассказал о своем намерении идти на фабрику, искать работы.

— На фабрику... Это хорошо,— заговорил опять Василий Якимыч.— На фабрике больше жизни, движения, больше ума и знания, чем по вашим норам... Там скорее не уснешь, там есть люди, можно и научиться и научить... Только нигде уж и гадости такой нет, как на фабриках; все, целые тысячи народа, работают на одного человека, набивают его карман, а сами остаются нищими и голодными или сытыми настолько, чтобы быть в силах работать... И преподлое положение, я тебе скажу: будешь простым рабочим, никогда ничего себе не наживешь, весь труд твой уйдет на хозяина, тебя будут жать, гнести, эксплуатировать, сколько могут; попадешь в надзиратели, тогда придется стать на сторону хозяина, действовать в его интересах, следовательно, притеснять и обижать рабочих... Иначе тебя прогонят... Ты по какой же части хочешь идти — в притесняемые или в притеснители?

— Никого я не желаю обижать, Василий Якимыч, и сам в обиду не хочу даться... А думается так, что на фабрике больше заработаешь, чем дома... вот и хочу счастья поискать... Около машин надо постараться как-нибудь попасть: к машинам-то у меня, сами знаете, большое пристрастие... Тотчас, кажется, все пойму...

— Да знаю, что поймешь... По твоим способностям и по твоему делу, тебе, может быть, тысячи надо бы платить, а тебя на рублях — вот как меня же — будут держать, да еще какой-нибудь дурак и мошенник умничать да ломаться над тобой будет... Вот что обидно...

— Так ведь как же быть-то, Василий Якимыч?... Знамо обидно, да что поделаешь?.. Где не так-то? Везде уж хозяин норовит повыжать побольше из рабочего человека и поломаться над ним... Что делать-то? Надо терпеть...

— Вот я в тебе этого, Федя, ненавижу... Приучили, что ли, и тебя с детства, или уж таков коренной русский человек, что у него передо всяким злом одна мысль: терпеть надо!.. Русский человек только и умеет, только тому и выучился, чтобы страстотерпцем быть... Оттого-то у нас и гадость не переводится, а господствует, оттого-то

и хорошие силы пропадают, а мелочь, ничтожество процветает, наслаждается и пользуется всякими льготами и преимуществами... Терпеть надо!.. Нет, не терпеть, а бороться, сопротивляться нужно, чтобы прочистить дорогу и себе и другим.

— Да как же бороться, как же сопротивляться-то, Василий Якимыч? Что один поделаешь?.. Да и с кем бороться?.. С хозяином, у которого, как милости, работы просишь, который платит мне за нее, кормит меня... Попробуй, заломайся перед ним, он тебя и прогонит тотчас, как пить даст... Вот и воюй в поле с ветром...

— Глупости говоришь... Совсем не то... Разумеется, один ничего не сделаешь, а ты поумнее других, будешь жить на народе, среди несчастных, угнетенных, вот и умей их привлечь к себе, растолковать, научить... Как целая-то орава, тысяча человек, заорут, что платит хозяин дешево, что работа не по деньгам, да пристращают, что все уйдут и дело бросят,— небось испугается и хозяин, будет кланяться, просить, чтобы остались, и жалованья прибавит...

— Либо станового позовет, скажет — бунтуют, да бунтовщиков перепорют: они и присмиреют... А зачинщиков, коли не в тюрьму, так с фабрики долой, а на место их охотников сколько угодно... Слыхал я про это довольно: купцы не дорожат народом. Хоть сто человек сразу сгонят, заместо их вдвое придет: только, батюшка, возьми да жалованье плати...

— Эх, брат, Федор, нет, не то... Не того я от тебя ждал!.. И ты такой же, как все, недалеко от людей ушел!.. Житейская практика и тебя заедает... Вижу, вижу: и тебе рублей захотелось... Моложе был, возмущался злом, спрашивал, отчего оно, как бы от него отделаться, как бы устроить, чтобы все люди счастливее были... А теперь о себе только и думаешь, о своем мамоне, а до людей дела нет... Станового стал бояться, богатым хочешь сделаться... Ты скажи-ка мне по совести: что у тебя в голове, для чего ты на фабрику идешь? Ведь, чай, думаешь, как бы поскорее в приказчики вылезти да денег нажить побольше?.. Я, мол, грамотный, умный, толковый, много лучше и ловчее других: тотчас вперед других выскочу!.. Да и мне что, мол, до других: своя рубашка ближе к телу!.. Да вот еще зазнобушка теперь завелась: понакоплю, мол, деньжонок, женюсь... А там хоть

трава не расти!.. Признавайся мне, по совести: так, что ли, думал? С этим, что ли, на фабрику собрался?..

Феде было и обидно, и досадно, и стыдно. Он чувствовал, что в словах учителя есть какая-то правда, какой-то основательный упрек, но в то же время и односторонность, преувеличение, словом: какая-то фальшь... Он молчал и собирался с мыслями, что̀ бы ответить ему. Он сознавался себе, что прежде, действительно, он иначе относился к словам учителя, что они поднимали в его сердце иные ощущения, точно вызывали на какой-то подвиг, на самопожертвование... И иногда он, действительно, чувствовал в себе готовность и мужество вступить в борьбу с какой бы ни было злой силой, не думая ни о ее размерах, ни о последствиях... Теперь не то: он слушал его холодно и рассудительно, в словах учителя чувствовалась ему какая-то недодуманность, легкомыслие, он относился к ним критически... В то же время Василий Якимыч проницательно заглядывал ему в душу, отгадывал его самые затаенные мысли и намерения. Федя был смущен.

— Что, брат Федор, молчишь и в глаза не смотришь? — начал опять учитель.— Видно, правду сказал, видно, понял тебя и всю твою внутреннюю обнаружил?.. Ну, что же делать!.. Не стыдись: есть много хуже тебя... Я думал, ты избранник, призван что-нибудь сделать... Ну, вижу: ошибся... Больше с тобою о таких вещах и говорить не буду... А, может быть, ты в чаду любовном, да молод очень, мальчишка еще... Подождем, увидим!.. Если придешь в себя, опомнишься, вспомнишь наши старые речи, приходи — потолкуем... Только я понять не могу: зачем ты теперь ко мне пришел? Вот ты мне это объясни...

— Как зачем, Василий Якимыч? Разве я вас не почитаю? Разве вы меня не учили, разве я мало от вас света увидел?.. Как же бы я не пришел повидаться с вами перед уходом?.. Ведь я не знаю еще, куда меня судьба приведет и надолго ли я уйду от здешних мест... Хошь вы теперь ровно как и отказываетесь от меня и не больно хорошо обо мне понимаете, и каюсь, признаюсь: ни о чем я теперь таком не думал, только о своем... ну, о любови своей — прямо вам скажу, не потаюсь!.. Но только что никогда я никому зла не желаю и не сделаю,— будет по

моей силе, завсегда помогу, ни у кого перебивать дороги не стану и никому своей совести не продам... Это верно!.. А только что... смейся ты, пожалуй, надо мной, голубчик мой, Василий Якимыч, а правду скажу: один у меня теперь свет в очах, одна думушка... Ничего мне про себя не надо: ни денег, ни корысти какой... Пусть я нищий, голодный, холодный останусь... только бы мне ее получить, своей да счастливой видеть... Ни до кого, ни до чего, ни до себя самого мне дела нет теперь, только об ней одной и думаю... Вот суди ты меня, как хочешь, смейся, срами, коли любо, а я всю правду тебе сказал!... Никому не говорил и не скажу, а вам открываюсь... Что будет со мной, что буду делать, как жить стану — ничего не знаю: добыть мне ее нужно, чтобы была она моей женой... Вот и вся моя дума!..

— Ого, брат, вижу, вижу теперь и все понимаю... Смешно-то оно — смешно мне, сам бывал в этом угаре, знаю... Ну, да уж, бог с тобой, смеяться не стану за то, что всю правду говоришь... Только в чем же дело-то?.. Отец, что ли, не позволяет?..

— Он и не согласится теперь ни за что: об этом и говорить нечего... Да я бы, пожалуй, и не посмотрел: и самокруткой, что ты же говоришь, ушел бы... А дело в том, что и она-то не пойдет, и мать ее не отдаст, пока у меня ничего нет... Она, мать, хоть и известная, и какая бы она ни была, а зря дочь замуж не выдаст: хочет, чтобы она с мужем жила, нужды не видала...

— Ну, брат Федор, смотри... Жалко мне тебя: обойдут они тебя вовсе, на всякую гадость подобьют... Да еще, чего доброго, высосут из тебя все, что можно да и в дураках оставят... Долго ждать они не станут, а подвернется кто поденежнее — и не увидишь, как из рук уйдет!.. Ну, да это ничего: пускай поучат лучше, скорей горячка пройдет, опять здоровый будешь...

— Нет, Василий Якимыч... про мать не знаю, а она не такая...

Федя говорил эти слова с увлечением, по-видимому, с полной верой, но в то же время сердце у него болезненно защемило, он сам не знал отчего.

— Да коли это, храни бог, случится...— вскричал он, бледнея, и вдруг остановился.

— Так что будет? — спросил учитель с легкой усмешкой.

— Уж не знаю, что, а только что... нехорошо что-нибудь будет...

И Федя утер рукою холодные капли пота на лбу. Глаза его сделались какие-то стеклянные, точно бессмысленные.

Василий Якимыч уже не улыбался, а смотрел на него серьезно, исподлобья.

— Эх, брат, досадно, что ты тратишь на такой вздор свою энергию,— проговорил он угрюмо.— Силы-то есть в тебе — я вижу, и пропадут задаром...

Но Федя не слыхал его слов: он смотрел куда-то бесцельно вдаль и молчал. У него не было определенных мыслей, но он как бы прислушивался к неясному болезненному предчувствию чего-то недоброго, поднявшемуся в его душе.

— Прощайте, Василий Якимыч,— проговорил он вдруг, оживляясь и тряхнув головой, точно желая освободиться от докучной тяжести.

— Куда же ты?.. Не торопись.

— И то, чай, уж надоел вам... Да и пора... Федот Семеныч, я думаю, уж ждет... Оставайтесь счастливы, Василий Якимыч... Не осудите... А того не думайте: подлости я никакой не сделаю, что бы там ни было: наставленья вашего не забуду!..

—Ну, прощай... Будь и ты счастлив... Знаю я тебя, знаю, что ты сам по себе на подлость неспособен... Да этого мало: я думал, что из тебя общественный деятель выйдет; а теперь боюсь, что эта любовь или тряпкой вовсе тебя сделает, или так пропадешь задаром... Да и выбор-то твой мне не по мысли: девка-то, кажется, только красивая, а совсем пустая, да и испорченная... Ну, да говорить теперь с тобой нельзя: ты ничему не поверишь... Вот перебесишься, тогда другое дело... Ну, а нужда будет какая,— приходи, не забывай меня... Может, не делом, так словом в чем и помогу: приятели ведь мы с тобой были.

— Ах, Василий Якимыч, кабы ты знал, как мое-то сердце к тебе... ровно к самому родному... Никому ведь я не сказываю того, что тебе сказал, только не думай ты: не такая она. Она хорошая!...

Федя, увлекаясь невольным побуждением, обнял Василия Якимыча. Тот улыбнулся и слегка отстранил его рукою,

— Ну, верю, верю!.. Дай бог!.. Чего лучше, коли хорошая, а только опять скажу: смотри в оба да помни, что на свете не одно дело: с бабой возиться да рубли сколачивать... Есть другое, получше... Не все о себе думать, надо и другим добро делать... и со злом бороться. С одним терпеньем недалеко уйдешь: на терпеливую спину всегда лишнюю ношу добрые люди накинут, а смотри-ка: брыкливой да норовистой лошади работа всегда легче... Будешь там, на фабрике,— присматривайся, прислушивайся... Увидимся, бог даст,— расскажешь... Вперед знаю: коли сам не испортишься, порядков тамошних хвалить не будешь... Ну, прощай, однако... Много бы я тебе сказал, да не время... Николку-то позвать, что ли? Может, расспросить нужно про разлапушку?.. Чай, ведь не терпится...

— Нет, нет, не надо... Прощайте, Василий Якимыч.

— Ну, как знаешь...

Василий Якимыч вышел на крыльцо вместе с Федей, чтобы кликнуть школьников, которые играли на улице возле самого правления.

— Эй, ребята, будет уж!— вскрикнул им учитель:— пора за учебу.

Мальчишки весело ринулись всей толпой к учителю.

— Что вас мало сегодня?.. Вот так школа: по спискам семьдесят человек значится, а налицо есть ли два десятка... Вот тут и делай успехи... Что вас мало? Разве разбежались куда?

— Нету-тка, все тута,— отозвались дети.— Сегодня только мы одни, сельские — да кои фатеранты здешние...

— Квартиранты,— поправил учитель:— отчего же деревенских нет?

— Да не пришли... видно, за делами... У коих вон снопы еще не сложены, а то молотят... Опять же грибы пошли: рыжиков, сказывают, слой вышел... Меня тоже дома посылали было и кузовок дали, да я забег в школу перво: так и остался здесь, не пошел уж... робят увидал...

— Так, так... То работа, то грибы, а то и просто не хотца... Родители же тому и рады... Не жди, не погонят в училище, а еще сами остановят: сиди, дитятко, дома... не ходи в му́ку в экую, в школу!..

— А нам и му́ки-то никакой нет: мы здеся рады... в школе-то... с Василь Якимычем,— проговорил быстроглазый, белокурый мальчишка.

— В школе беспример лучше, нечем дома,— подтвердил другой.— Веселее невпример. А дома спрашивают: чай, бьют, тиранят вас тамоди?.. А того не знают: какой бьют... Веселехонько!.. Дома-то скорей попадет!..

Мальчик засмеялся. Его смех подхватила и заразительно засмеялась вся толпа.

— Ну, пойдемте же, пойдемте,— сказал Василий Якимыч.— Я сегодня злой буду, сердитый... И учить-то вас не хочется, потому все равно — толку из вас не выйдет... Пока учитесь, ровно как и люди, а из школы вон, все забудете, что учитель вам говорил... либо плутовать начнете, либо... Эх, терпеть надо!... Ну, пойдемте...

Федя при последних словах учителя, смысл которых он принял на свой счет, хотел было подняться по лестнице вверх, в правление, но к нему подбежал Николка.

— Федор Герасимыч, что же, пойдешь к нашим-то?

— Не знаю еще, не знаю, попаду ли...

— Заходи... Поклонись там... Скажи: видел, мол меня... Вот в субботу и я приду... Пра, заходи... И матушка поминала: чтой-то, говорит, с ним поделалось... А Паранька — так та...

— Хорошо, хорошо, побываю,— проговорил Федя, быстро поднимаясь по лестнице, вверх, в правление.

— Кланяйся тамоди,— кричал ему вслед Николка, снизу лестницы.— Там еще у нас дружок завелся, хороший... Кажинный день ходит... с гармонией...

Федя было приостановился, точно ужаленный в самое сердце, но Николка не договорил, увлеченный толпою школьников, последовавших за учителем, присоединился к ней, Федя должен был остановиться на лестнице: так замерло и забилось его сердце.

«Что еще за новый друг?.. Ходит каждый день... Что это — к матери, или... неужто к Паране?— Федя упрекал себя, что не зашел прямо к ней.— Вот теперь когда попадешь?...»

Дорогою на фабрику он удивлял Федота Семеныча своею рассеянностью и угрюмостью.

— Что притуманился?— спрашивал Федю старик.— Али забоялся чужих людей, нового места?.. Ничего, не бойся, привыкнешь... Известно, дома лучше... Ну, да уж как быть-то: без чужих-то людей, пожалуй, того и не наживешь, не заработаешь... Она, фабрика, точно портит

людей, балует, не люблю я ее... Вон, фабричные у нас — первые недоимщики, первые забияки, пьяницы, сквернословы... Ну, да ведь не все же... Есть которые и в люди выходят, богатеют... Все от себя, от своего ума!.. Не якшайся только с пустым народом, делай свое дело да хозяину старайся угождать... Вот и хорошо будет... Вон смотри-ка и Старое село видать... Ты не бывал ведь тут... Смотри, что понастроили...

Федот Семеныч указал на видневшиеся вдали каменные постройки.

V

Старое село была старинная барская усадьба, перешедшая, как и множество других, из рук прожившегося владельца в руки разбогатевшего купца. И с этой усадьбой повторилась история ей подобных, а история эта одна и та же.

Вот большой, господский, каменный дом с проржавевшей дырявой крышей, окруженный множеством полуразвалившихся надворных и хозяйственных построек, несколько лет уже стоит необитаемый среди старинного запущенного сада — парка с заросшими дорожками и полувысохшими, заилевшими прудами. А кругом этого дома и этого парка далеко расстилаются унылые, вовсе запущенные и заросшие кустарниками или плохо обработанные поля и еще более печальные поруби — остаток прежде бывших лесов,— где торчат одни только почерневшние пни и стелется корявый можжевельник. В былое время здесь на неоглядное пространство колыхалась рожь, кудрявились и зеленели овсы, сотни подневольных тружеников сбивались сюда сблизи и издалека, съезжались и сходились взбораживать и засевать господские поля, сжинать господский хлеб. Тогда эти поля кипели жизнью, вечная муравьиная работа мужиков и баб оживляла пейзаж, которым любовались с террасы господского дома... Пейзаж украшался в то время непроглядною зеленою стеною вековых лесов, которые целые века и служили ему несменяемою рамой. В господском большом доме, в службах и парке тоже была жизнь и движение: слышалась музыка, веселый говор, смех, шумные крики, бряцание столовой посуды; в парке мель-

кали локоны, соломенные шляпы, оживленные лица, кавалькады всадников и всадниц; в службах суетилась многочисленная сытая челядь, слышалось ржание лошадей, стук выезжающих экипажей, лай псарни, звук охотничьих рогов... Иногда вся эта барская жизнь, как вихрь, врывалась в поля, наполненные тружениками-муравьями, и проносилась мимо их, обдавая комками земли и пылью, поднятою копытами лихих скакунов, поражая блеском наряда, ясностью взора, свежестью и румянцем веселых, холеных лиц. Иногда, наоборот, вся эта рабочая сила, все эти муравьи, рядились что ни на есть в лучшие кафтаны и сарафаны и сгонялись уже не в поле, а на луг, перед господскую террасу, и по господскому приказу пели, плясали, веселились, напивались пьяны и с поклонами, благодарностями, хоть не сытые, зато пьяные, возвращались домой, под свои соломенные крыши, к своему родимому батюшке — черному хлебцу.

Долго, долго шло так дело — и вдруг все изменилось: исчезла многолюдная челядь, исчезла с нею псарня, затихло ржание лихих скакунов, опустели конюшни, скотные дворы, людские, стали заваливаться крыши, заколачиваться досками выбитые окна, зарастать дорожки в парке, начали плесневеть пруды; сначала притих, а потом и совсем опустел господский дом, не отворялись в нем окна и двери на террасу, по цветникам и около стен поднялись бурьян и жгучая крапива. Опустели и поля... Сначала были заброшены дальние полевые участки, затем и из ближних засевалась только половина, да и на этой половине сеялся хлеб и убирался не во-время, и родиться стал все хуже и хуже. Тружеников-муравьев уже не сгоняли и не сбивали на работу, а кланялись и звали, сманивая рублем и полтиной, а они отвечали: «Недосужно! вот когда со своим управимся, тоды и к вам, пожалуй, коли время позволит!..» А иные стали и такие речи говорить: «Лучше бы вам это дело бросить, да нам сдать вовсе... Не господской руки это дело — пашня... А мы бы по полтинке за десятину дали кои получше, понавозней: хлебца бы два сняли, однако бы и вам и нам — в обе руки... А то что так-то, одно разоренье!.. Немец, вон, управитель у соседей машин навез, да что машиной без народа сделаешь: стоят в сарае... А хлеба-то все нет, а который и уродился, так себе дороже: вдвое дешевле на базаре купить, нечем в поле над ним ломаться... Право,

сдайте по полтинке кои подходящие — мы возьмем, и для вас гораздо превосходнее будет...»

— Ну, уж погодите, такие-сякие... Без земли-то и вы не проживете: придете, поклонитесь и по три заплатите, а не то что по полтине...

— Нам кланяться не из чего: мы в земле не нуждаемся, вон ее сколь, во все стороны, бери — была бы охота, у всех суседей наваливают... Да брать-то не с чего... Мы не от земли живем... Наша земля не такая, не родимая, не хлебная... Это которая родимая земля в низовых местах... Ну, може, бывает и по три рубля платят... А с нашей землей только плачь: холодная земля!.. Оставайтесь коли ин с богом, пашите сами, а нам не требуется... Нынче вон на заводы ступай, на фабрики: невпример больше заработаешь, чем около земли-то ломаться...

И еще убавилась господская запашка, убавилась до таких размеров, чтобы обработать ее даровым трудом, т. е. без затраты денег, а за выгон да прогон, да валежничку когда, прутышков в лесу набрать...

А задние полосы уже затянуло молодежником кустарником и всякой сорной порослью, и двигается она вперед и вперед к господской усадьбе. Вовсе опустели и затихли поля; вовсе опустели и амбары, и господский карман. А барин все барин. Хоть и уехал из деревни, и в городе живет, а денег ему всегда много требуется: в городе еще больше, чем в деревне... Пишет он в опостылую, бездоходную деревню к приказчику: «Что же, когда будет доход, когда будут деньги?.. Прежде я от хозяйства доход получал, а теперь только и знаю, что в деревню деньги посылаю: когда же этому будет конец? Это не хозяйство, а одно разоренье... Лучше уж все прикончить и скот перевести весь до конца, и запашку прекратить...»

Пишет на это и приказчик к барину: «Как вашей милости будет угодно, а только что, так сказать, что в нынешние времена совсем не из чего дохода взять: земля стала не родима, опять же и навоза в умаленьи, по причине скота; а народ стал вовсе негоден ни к чему: пьяницы, сутяжники и только норовит, как бы тебя в работе прижать и в конфуз произвести перед помещиком; заразились все фабриками и пьянством, а также ленью, и цены подняли несообразные на работу: никакого расчета не выходит по нашим землям. И так что, если вашей милости в угоду, как изволите приказывать прекратить эту

самую запашку, так чтобы только для собственного продовольствия и насчет скота своего на подстилку и прокормить, а больше точно — что выгоды никакой не будет... Насчет же хозяйственного вашего денежного дохода, как требуются для вашей милости деньги, не прикажете ли похлопотать для продажи леса: есть которые желающие из купечества и в вечное владение али на сруб, а если можно и дровами поставлять для фабрик требуется... Как вашей милости угодно, не оставьте, отпишите, а мы можем постараться всячески, потому наш предел в том положении, чтобы служить верно и праведно. В том и остаюсь верный слуга».

Пишет к барину и купец: «Которая ваша пустошь, называемая Кстово, и ту мы купить согласны в вечность али на сруб в сроки, для нас все единственно, потому для нас требуется, если подходно будет по цене. А лес у вас попорчен, порубки большие, и присмотреть за дальностью при нонешнем народе никак невозможно, потому сильно господские леса воруют и вырубают от своего недостатка и пьянства. Для нас как угодно, а как по-божески и по честности вашему высокородию доложить — через год лес весь изведут и в цене выйдет для вас большая разница. А мы покупатели настоящие, и если вам угодно, отпишите об цене и насчет условия платы денег — все подробно, и как прикажете насчет задатка, у нас денежки завсегда готовы и мы ваши покупатели с почтением. И как вашему высокородию будет угодно, так мы согласны, только выразите вашу цену без обиды, а лесок средственный и опять же попорчен: цены высокой дать никак невозможно. В том и просим вашего высокородия скорейшего и решительного вашего ответа».

И вот, вслед за уничтожением веселого, оживленного пейзажа начинает мало-помалу разрушаться и его красивая рамка: около унылых полей падают одни за другими вековечные сосны, зеленые ели, белые плакучие березы, оставляя после себя гнилые пни, голые, печальные, вытаптываемые скотом, поруби. Год от году ландшафт делается пустыннее, грустнее, и, наконец, остается одна ширь и гладь, покинутая людьми пустыня, среди которой, как зеленый оазис, красуется заброшенный, заглохший господский сад и парк, скрывающий за собой грустный вид полуразвалившейся барской усадьбы. На этот сад и парк не поднимется барская рука, несмотря на то что

помещик никогда не заглянет в свою усадьбу, несмотря ни на какие денежные соблазны, доклады и предложения приказчика и купцов. Господский сад и парк, как бы он ни был ненужен и бесполезен, всегда святыня для помещика: они дают тон всей усадьбе, они скрашивают ее в глазах мимо едущего путника и случайного посетителя, они скрывают за собою настоящее безобразие и расстройство всего хозяйства, напоминают о прежнем блеске, роскоши и богатстве; собственноручно посягнуть на эту святыню не решится ни один родовитый владелец, как бы ни были затруднительны его денежные обстоятельства,— собственноручное уничтожение этой святыни вызвало бы ропот, негодование во всех соседях-помещиках, обнаружило бы и обрисовало перед всеми окончательное и полное безденежье и нужду владельца, а этого обнаружения он боится больше, чем действительной бедности. Все валится и разрушается в усадьбе: обрушивается крыша на доме, подгнивают перекладь и проваливается пол в комнатах, рамы сгнили и стоят без стекол, от мебели остался один лом и лохмотья, в амбарах и на скотных дворах шныряют одни голодные крысы, косяки в окнах и дверях, полы и потолки в людских и флигелях давно выбраны и разворованы руками крестьян-соседей, от всей усадьбы остаются одни руины, или потрескавшиеся, пошатнувшиеся стены, а сад и парк густою, неприкосновенною стеною окружают их... Но и они дождутся своей очереди, своего рокового дня, роковой руки. Давно уже расчетливый купец сосчитал, сколько кирпича можно выбрать из запустевших барских хором, сколько бревен и сажен дров выйдет из разросшихся на свободе дерев парка и сада, какие пруды можно дешево расчистить и воду их употребить в дело, а если есть река или речка, то можно ли воспользоваться ими как движущей силой,— и все это не уйдет из его рук. Он знает: надо выждать, надо воспользоваться минутой, обстоятельствами, дождаться, когда барин проживет выкупные свидетельства, истратит все деньги, полученные за лес, когда ему нечем будет платить не только поземельные повинности, но даже и за городскую квартиру, когда кредит его будет ничтожен или вовсе утрачен... Тогда настанут последние дни и усадьбы, и парка: они перейдут непременно в руки богатого купца...

И вот объезжает новый, неродовитый владелец свою

новую покупку: велит обрывать канавами поруби и заказывает настрого: не пускать на них скота, чтобы он не вытаптывал и не объедал молодых побегов, а чтобы молодой лес рос и скорее поспевал на дрова; запрещает выгон на свои поля и луга соседних крестьянских стад или дозволяет, но за тройную против прежнего цену, взимая для удобства крестьян плату не деньгами, а работой. Точно также распоряжается и относительно тех участков, которые крестьянами распахивались: он знает, что крестьяне перед ним не заупрямятся, а если и заупрямятся, откажутся от земли вовсе, он выдержит и год, и два, съездит сотню раз к мировому, чтобы взыскать за потраву, а уж на своем поставит: придут мужики, поклонятся, он простит с удовольствием, но за упрямство цену за выгон или пашню возвысит. Пашню для себя он оставит такую, какую в состоянии сильно удобрить от своего скота и которую ему обработают крестьяне бесплатно, за выгон и пастушню.

Затем он приступает к самой усадьбе. Эти все рощи, парки, сады, барские затеи, приказывает он срезать на дрова, оставит разве небольшой палисадничек для своей прохлады, когда летним делом чайку попить. «А вот эвтот прудочек с этим сообщить вместе, чтобы большой был прудище: вода из него на фабрику пойдет, и будет в нем вода чистая, а с фабрики которая муть будет идтить, ту трубами в речку спускать: речка текучая, она все пронесет... Господские хоромы кои разобрать, кои в дело употребить, главный корпус, трехэтажный дом старого фасона, на сушилку поворотить... А себе мы новый дом выстроим в лучшем вкусе, по своему фасону!.. Ранжереи эти все долой... Захотим — новых понастроим со временем. Много получше и пообширнее будет!.. Вот в палисаднике беседок почудней беспременно надо наделать и попросторнее, чтобы с гостями летним временем было где прохлаждаться...»

Совершенно таким же порядком перешло во владение богатого купца фабриканта Кузьмы Иваныча Кошатникова господское имение — Старое село, с тою только разницей, что он же, Кузьма Иваныч, успел предварительно скупить за бесценок у помещика большую часть его лесов, принадлежащих к имению, и хранил их, как будущий источник топлива для фабрики. Оттого кругом Старого села выделялись на горизонте темные профили сбе-

реженных, теперь уже не барских, а купеческих лесов. Через год после покупки Кошатниковым — Старого села нельзя было узнать. Господский дом стоял прежде на горе, по отлогости которой спускался сад и примыкал к прибрежным лугам небольшой речки, извивавшейся прихотливыми зигзагами и видимой из дома на далекое пространство. Вид на дом с противоположного берега реки, как и вид из дома, был равно красив и привлекателен. Дом был большой, каменный, с разными затеями: с колоннами, балконами, широкими террасами, которые от второго этажа, наклонными плоскостями, спускались до самой земли и вели прямо в темные вековые аллеи; перед домом на горе раскинут был цветник и английский сад из низкорастущих кустарников, который не заслонял вида вдаль и не закрывал дома; густые рощи от дома сходили к реке и соединялись с вековым лесом, который окаймлял луга, а местами сходил к самому берегу и как бы смотрелся в воду реки. Из дома, с балконов и окон верхнего этажа, представлялась широкая картина: в одну сторону тянулось необозримое зеленое море лесов, с другой — расстилалось далеко вдаль слегка холмистое пространство, по которому, как голубая змея, извивалась речка; множество деревень, как бы нарочно для украшения картины, было разбросано в прихотливом разнообразном беспорядке; холмы то зеленели перелесками, то горели золотом поспевающего хлеба, а там вдали, на самом горизонте, белелась колокольня сельской церкви с сверкающим на солнце крестом. Дом был в развалинах, когда Кузьма Иваныч купил его, да и стоял, по его мнению, на месте неудобном для жительства: достаточно сказать, что воду к нему надо было возить бочками, да еще в высокую гору, тогда как под носом, так сказать, целая собственная река воды. И самое расположение комнат в доме ему не понравилось: везде такие большие залы да гостиные, что и приюта не найдешь, а переделывать все по-своему — не расчетливо: дешевле заново дом выстроить. Он решил его разобрать на кирпич, тем более что и жилье приходилось бы далеко от фабрики, которую, само собою, предполагалось строить как можно поближе к реке. И барский дом, может быть создание Растрелли или его учеников, был сломан, а вместо него на берегу реки выстроился белый каменный четырехугольный шкаф или комод домашнего изделия, с ярко-зеленой кры-

шей, с двумя стеклянными «галдарейками» по бокам, с двумя под ними ненужными, всегда запертыми подъездами, так как ход полагался через примыкавшие к дому ворота, разрисованные яркими красками, с двумя желтыми львами наверху. Зато дом блестел зеркальными стеклами, массивными медными запорами у рам и дверей, галдарейки пестрели разноцветными стеклами, а на тяжелых чугунных решетках, украшавших балконы, были насажены такие раззолоченные бронзовые шары и вензеля, что все вместе выходило очень внушительно в купеческом вкусе. От дома вниз, по течению реки, тянулся ряд фабричных зданий — и это расположение построек было не без практических соображений. Купец вперед знал, что фабричные нечистоты, которые для удобства будут спускаться в реку, испортят ее воду и сделают негодною к употреблению, а потому и поставил дом для жилья выше фабрики по течению реки. О том, что живущие ниже фабрики будут иметь воду испорченную, вонючую, вредную для здоровья — об этом Кузьма Иваныч не думал, как не думает никто из фабрикантов: народное здоровье, как известно, не входит в их коммерческие расчеты и соображения.

VI

Кузьма Иваныч Кошатников был один из самых сильных местных фабрикантов и считался в нескольких миллионах. Главная ткацкая фабрика его, или завод, как привыкли называть местные крестьяне, находилась верст за 30 от Старого села, в местности, где фабричная промышленность существовала уже около полустолетия. Фирма Кошатникова возникла там одна из первых. Дедушка Кузьмы Иваныча занимался выделкой кошачьих шкур, для чего он и покупал, и воровал в окрестностях котов и кошек, и заслужил через это прозвище «кошатника». Затем вдруг, ни с того, ни с сего, стал заниматься раздачею в тканье основ, получаемых с фабрики из соседнего уезда, а вскоре устроил и собственное небольшое ткацкое заведение.

Каким-то чудом он так быстро разбогател, что сын его выстроил уже громадную каменную фабрику, записался в купцы 1-ой гильдии и слыл даже за миллионера, а

внучек, продолжая и развивая дело дедушки и отца, не только уже слыл, но и действительно сделался чуть не первым богачом во всем околотке и производил обороты уже не на десятки и сотни тысяч, а на миллионы; при этом он заботливо скупал пустопорожние, преимущественно лесные дачи и сделался самым крупным землевладельцем уезда. Слава Кошатникова возрастала, имя его стало известно, и на пятьдесят верст в окружности каждый мужик произносил имя Кузьмы Иваныча если не с восторгом и благоговением, то с чувством смирения и раболепства. И не мудрено: губернатор, во время объезда губернии, никогда не проезжал мимо Кузьмы Иваныча, делал даже лишних 30 верст в сторону, чтобы заехать к нему в гости, исправник ежегодно нарочно приезжал поздравить его с днем ангела и с большими праздниками, а становой считал за особенную честь, если Кузьма Иваныч удостоивал его подать приветливо руку и кликнуть выпить водки или попариться чайком; помещики покрупнее все имели с ним денежные дела — то по продаже земель, то по поставке дров на его фабрику, а мелкопоместные так даже надоедали, особенно в последнее время, с предложением, иногда даже со слезной просьбою — купить пустошки или отрезки от крестьянского надела.

Кузьма Иваныч сознавал свое могущество и силу, но, по-видимому, не зазнавался и держал себя умеючи: без гордости и без раболепства, для всех был доступен и изо всякого умел извлечь для себя пользу. Он выходил из себя, был страшен и грозен только тогда, когда кто-нибудь посягал на его карман или нахально шел против его воли. В таких случаях он способен был на все: на унижение, на насилие, даже на расточительность, несмотря на то, что жажда наживы никогда в нем не проходила.

Кузьма Иваныч купил Старое село со специальной целью выстроить в нем новую фабрику. Много соображений руководило им в этом случае: прежде всего, имение он получил крайне дешево, затем в нем была речка, по соседству большие, заблаговременно скупленные им, лесные дачи, следовательно, дешевое топливо; обилие каменных усадебных построек обещало дешевый строительный материал; наконец, у местных крестьян не было никаких выгодных зимних промыслов, конкуренции фабрикантов тоже нет, следовательно — можно было иметь и дешевые рабочие руки.

Неопытность непривычного к фабричному делу народа не пугала его: он знал по опыту, как смышлен русский человек и как скоро он применяется ко всякому новому делу.

Фабрику эту Кузьма Иваныч намеревался впоследствии отдать одному из сыновей, а не теперь, хотя сыновья были уже взрослые.

Старший, женатый сын, по предположениям Кузьмы Иваныча, должен был получить, после его смерти, старую фабрику, которою он и теперь уже заведывал под надзором родителя, а новую фабрику, в Старом селе, Кузьма Иваныч намеревался предоставить младшему сыну, парню лет 23, еще не женатому. Вследствие такого намерения младшему сыну приказано было жить на фабрике, за всем наблюдать и ко всему присматриваться, а пока парень соберется с умом, остепенится, женится, войдет в дело и узнает все порядки, он отдан был под надзор старшей своей сестры и ее мужа, который был назначен директором и управляющим новой фабрики.

Верховный надзор и вообще распоряжение всем делом Кузьма Иваныч оставил, разумеется, в своих руках.

Распоряжаясь таким образом, Кузьма Иваныч сознавал себя великим практическим мудрецом и любовался собою. Он рассуждал таким образом: старший сын уж совсем собрался годами и женат, и детен, и дело знает хорошо; отпусти-ка его из глаз да дай особенное дело — как раз вовсе отобьется от рук, заберет волю, после и не сладишь... Зятю хоть я и не верю, а все он человек сведущий, испытанный, дело знает до тонкости: сколько лет старшим приказчиком был. Если и украдет, так не в чужой род, зато уж из-за своей собственной корысти мальчишке-сыну большой воли не даст, чтобы до всего не дошел, ну, и не обидит также очень — все-таки родной, женин брат, будущий хозяин... А главное: все при деле и все равно хозяева, а хозяин-то, пока жив, все-таки я один. Все видят и понимают, что ни для кого, как для них же хлопочу и устраиваю, когда умру,— все ихнее будет, а пока жив,— пускай дело не дробится и в одних руках остается. А то, пожалуй, распусти-ка поводья-то: один в одну сторону, другой в другую — ничего и не останется! Теперь хоть и не по мысли, что полной воли не даю, зато после слюбится!..

Подъезжая к Старому селу, Федот Семеныч забо-

тился о том: застанет ли он там на фабрике самого, т. е. Кузьму Иваныча, который проводил здесь, как на даче, только летние месяцы, а в прочее время года бывал только наездами. Старик познакомился с ним как старшина волости, в которой находились земли и леса Кузьмы Иваныча. Кошатников нередко обращался к Федоту Семенычу с жалобами на потравы и порубки, производимые крестьянами его волости. Он умел сообразить, что такой деятельный, честный и строгий старшина скорее взыщет с нарушителей его прав собственности и скорее предупредит такие нарушения на будущее время, чем всякие жалобы, разбирательства и взыскания, производимые через мировой суд, и не ошибся: все почти поземельные дела в волости Федота Семеныча кончались мировою, всегда выгодною для Кузьмы Иваныча, и не доходили до суда. Вследствие этого Кошатников обходился с Федотом Семенычем не только дружелюбно, но почти как с равным, подавал ему руку, сажал с собой, любезно беседовал и вообще показывал ему особенное расположение. Федот Семеныч, несмотря на всю свою житейскую опытность, не мог не ценить такого внимания к себе; но не этим одним подкупал его в свою пользу Кузьма Иваныч: он видел в нем не только купца-миллионера, но доброго, благотворительного человека. Он знал, что Кузьма Иваныч никогда почти не отказывал в своей помощи погорельцам и давал иногда рублей по десяти на погорелый дом, охотно ссужал крестьян деньгами, разумеется, за ручательством волостного правления, под отработ сенокосом или рубкою и возкою дров, и взимал при этом умеренные проценты тою же работой, которой крестьянин не выучился еще оценивать надлежащим образом. Преследуя крестьян за потравы или порубки, не судом, а через волость, Кузьма Иваныч объяснял это своим состраданием к крестьянской нужде, и Федот Семеныч вполне верил ему и преисполнялся еще большим уважением к умному, благодетельному купцу. И мог ли он не верить и не соглашаться, когда в таких случаях Кузьма Иваныч говорил ему:

— Ведь для меня это пустяк — эта потрава или порубка, а простить нельзя, сам подумай, Федот Семеныч. Прости ему раз, он подумает, что так сойдет и вдругорядь, а прости два, так он и совсем возмечтает; мужик ведь глуп: станет смотреть на чужую землю али на чу-

жой лес, как на свой... все вытравит и весь лес перепортит, а уж тогда расчет выходит другой. Он тогда всеми своими требухами со мной не расплатится, придется вовсе разорить его, а все своего не воротишь!.. Окромя того, это послабленье мужика только балует, в разврат его вводит: ворованный-то воз дров, али бревешко он норовит скорее продать, хоть за бесценок, чтобы концы спрятать, а даровые-то деньги его в кабак тащат: как не выпить на даровщинку?.. А легко ему стало чужим добром жить, он и работать вовсе бросит: какая ему корысть спину ломать, коли он может чужое даром взять да продать?.. Вот и разврат, и в работе домашней упадок!.. А теперь насчет судебного взыскания... Ведь знаю, что подай только мировому — вдвое, втрое с него взыщу, а в другой, в третий раз попадется — и в тюрьму угодит, пожалуй... Опричь того: потянут его к мировому-то за двадцать, либо за тридцать верст — пройди-ка да там день продежурь, у мирового-то... Вот два дни у него и пропали! А не порешил мировой дело, как мне надобно, я в съезд перенесу, тогда уж плетись-ка в город за пятьдесят верст. Мне-то ничего, мне все равно: у меня для того адвокат нанят, годовой... А ему-то каково, мужику, особливо в рабочую пору?.. Так разве мне это нужно? Разве я желаю его разорять?.. Мне бог с ним: я желаю его, дурака, только поучить, чтобы он права знал и за чужое не хватался, а сам бы промышлял, работал... За работу нынче везде деньги платят, везде добыть можно своим трудом и без воровства... Вот мне чего только нужно!.. Оттого я и стараюсь все лучше через волостное начальство кончить... Жалко только, не все волостные старшины таковы, как ты, не все свою должность понимают... Иные думают, что добро мужику делают, что правят виноватого, да защищают его в недобром деле, а того не понимают, что губят его... в разоренье ведут... Иной думает: воля-то мужицкая всякого послабленья требует,— нет, она в строгости состоит, чтобы всякой знал — что его, что чужое, и права свои соблюдал... Вот она в чем вся и воля состоит!.. Так-то, Федот Семеныч!.. Вот ты, дай бог тебе здоровья, ты не таков: ты своих не распускаешь, не балуешь, содержишь их в порядке... Тобой и они счастливы... Поди и живут, чай, исправнее других, и недоимки нет...

— Нет, как не быть, Кузьма Иваныч: есть недоимки,

потому народ всякой, разный: коему истинно, что негде и добыть...

— Ну, а все же, знаю, что меньше недоимки, чем в других волостях... И господа, значит, довольны твоею волостью, и неприятностей меньше... И мужику много покойнее... Да уж что говорить... Как тебя можно сравнить с другими старшинами!.. Одно нужно сказать: умный, рассудительный, честный человек... и порядки ведешь, как следует!.. Вот! Всегда скажу про тебя...

В силу таких отношений Федот Семеныч и надеялся, что Кузьма Иваныч не откажется принять Федю, обратит на него особенное внимание и примет под свое покровительство. К его удовольствию Кузьма Иваныч был в Старом селе.

VII

Федот Семеныч просил было доложить о себе хозяину, но его послали прямо в контору, куда был свободен доступ всякому. Федот Семеныч, однако, пошел сначала один, оставя Федю у лошади. Не совсем смело вошел он в большую пустынную комнату, с очень ограниченным количеством мебели: два длинных стола, конторка и несколько стульев составляли все ее убранство. За конторкой сидел бухгалтер и щелкал счетами; у одного стола, низко наклонясь, строчили что-то двое молодцов, а за другим, заваленным штуками ситцу, сидел сам Кузьма Иваныч и читал какие-то письма. У того же стола, облокотясь на него и видимо скучая, помещался молодой человек, младший сын Кузьмы Иваныча.

Кошатников-отец был высокий, атлетического телосложения, плотный мужчина, еще не старик по виду, хотя считал себе около 60 лет. Широкоскулое, плоское, бесцветное лицо его, с толстыми губами, с окладистой бородой, ничего бы не выражало, кроме животных наклонностей, если б не освещалось очень умными, хитрыми, проницательно смотрящими глазами. Кузьма Иваныч, несмотря на свою массивную фигуру, ходил тихо и неслышно, точно кошка, движения его были медленны и спокойны, говорил он всегда ровным, тихим, вкрадчивым голосом; разговаривая, всегда клал руку на плечо собеседника или гладил ею по его плечу и руке и смотрел

упорно, прямо в глаза, но если также прямо и упорно смотрели на него, тотчас же с видимым неудовольствием опускал свои глаза или беспокойно глядел по сторонам. Носил он всегда длинный широкий сюртук и имел обыкновение занашивать его чуть не до дыр. На голове у него всегда был один и тот же теплый черный картуз с лоснящимся, засаленным околышем. Этою неряшливостью и небрежностью костюма, при своем громадном состоянии, Кузьма Иваныч несколько рисовался. Точно по тому же побуждению он ездил всегда в старом тарантасе, без сиденья, на сене, с ситцевою подушкою за спиной, на тройке обыкновенных лошадей, хотя на конюшне у него стояли тысячные рысаки и великолепные экипажи для встречи дорогих гостей и для катанья по большим праздникам. В этом своем обычном костюме Кузьма Иваныч сидел и теперь, между тем как сын был одет поевропейски и даже франтовски.

Кузьма Иваныч был давно уже вдов, но имел большую семью: двух сыновей и четырех дочерей. Старшего сына и дочерей он едва выучил грамоте, ссылаясь на то, что и сам малограмотен, а, слава богу, родительского достояния не прожил, а еще увеличил, дела ведет не хуже всякого ученого, дураком не слывет и ото всех почтеньем пользуется. «Капиталом да умом наше купеческое дело держится, а не ученьем!»— говаривал он нередко. Но относительно младшего сына он изменил себе и подчинился какому-то новому веянию, которое распространилось одно время в купечестве и заставило даже самых упорных учить своих детей: он отдал младшего сына в коммерческое училище, но после раскаялся и взял его домой, не давши окончить курса: очень ему не понравилось, что мальчик стал говорить каким-то иным языком, начал высказывать, хоть и робко, какие-то новые, непривычные и неприятные для него взгляды и понятия. Он держал его с тех пор при себе, как малолетка, и заботливо старался, чтобы он был постоянно на фабрике и в конторе, всему учился, за всем следил и присматривал, обо всех беспорядках и злоупотреблениях, которые заметит, докладывал родителю, но никакого самостоятельного или ответственного дела ему не поручал. Книг для чтения в доме Кузьмы Иваныча не полагалось, да и чтение их считалось вредным бездельем, допускались одни только «Московские ведомости». Вследствие этого юно-

ша очень тяготился жизнью в родительском доме и страшно скучал.

Кузьма Иваныч поднял голову и увидел Федота Семеныча.

— А-а, старый приятель.., Какими судьбами?.. Здравствуй...

Он протянул руку к Федоту Семенычу. Тот поспешил подойти.

— Садись-ка, милости просим... По дельцу, что ли, какому, али так, на заведенье мое новое посмотреть?.. Кажись, ты бывал ведь у меня здесь?..

— Бывал, Кузьма Иваныч, только давненько: еще в том году... И не узнаешь: сколько с того времени понастроили... Город целый!..

— Что, брат, делать: нельзя... Вот для них стараюсь...

Кузьма Иваныч указал на сына.

— Пора бы уж на отдых, да вот семья не позволяет: трудись, говорит... Да ты знаешь ли этого сына-то у меня?..

— Нет, никогда не приводилось,— отвечал Федот Семеныч, привставая и кланяясь молодому человеку,

— Как же... Вот это младший Александра... Для него вот стараюсь, устраиваю... Александра,— обратился он к сыну, — вот тебе надо знать старика-то... Он почтенный старик... Первый старшина на весь уезд!.. У него в волости наших земель и лесов достаточно... Вот познакомься... Когда что, какое дело, мало ли бывает: не все мне самому... Вот и будешь знать... Да, познакомься...

Федот Семеныч опять привстал. Александр Кузьмич молча, лениво подал ему руку.

— Дмитрия-то Тимофеича знаешь... зятя-то моего?..

— Знаю — знаю... Видал... А так — что делов к ним не было... Не доводилось говорить...

— Как же, надо тебя и с ним познакомить... Он у меня здесь дилехтором... Как же, нужно беспременно вас познакомить: хоть заведение и не в твоей волости, а все-таки... От вас рабочий народ ходит сюда наниматься... Мало ли какие случаи бывают... Так как же по дельцу, что ли, по какому?.. Ты ведь без дела-то не поедешь... я знаю...

— По дельцу, Кузьма Иваныч... По собственному, своему... приехал попросить.

— По своему? — переспросил Кошатников не без удивления и не с особенным удовольствием.

— Хоть оно не собственно меня касающее, а примите так, что все равно как будто для меня самого сделаете...

— Что такое за дело? — переспросил Кузьма Иваныч. — Коли возможно, так отчего же...

— Паренек тут есть у меня... Правда, что в родстве он со мной, только что уж такой парень, — на редкость: и не по родству похвалить можно...

— Так! — подтвердил Кузьма Иваныч.

— Грамотный, умный, непьющий, ровно девка красная — тихой да смирный...

— Так! — опять согласился Кошатников.

— А главная причина, Кузьма Иваныч, очень уж сручен ко всему, насчет всякого изделия... И сам выдумает, и сделает, что тебе угодно... Кажется, до всякой машины дойдет и сам машины выдумывает...

— Так, так!.. Это хорошо!.. На что этого лучше... Это, значит, уж от бога ему дано!..

— Именно, что от бога!.. Так вот я и хотел попросить вас, Кузьма Иваныч, так как вы добрый и благотворительный человек, — нельзя ли его на фабрику принять... на эту?..

— Отчего не принять... С полным удовольствием!... Мы всякой народ принимаем,— и не этаких... А этакого особливо, коли еще смирный и не пьющий... Ничего, присылай, возьмем...

— До он здесь, Кузьма Иваныч... Я его с собой привез... Посмотрите его сами и порасспросите его...

— Так что же?.. Давай его сюда... Сейчас рассмотрим его: к какому делу годится, туда и определим...

— Желание бы его к машинам... Он бы там все сейчас понял...

— Ну, к машинам, так к машинам... Коли по слесарной части знает, так можно и к машинам... Известно, не в механики же ведь его сажать... А пускай перво под рукой у машиниста побудет, поприглядится... Ну, а тут и машинистом можно сделать... Где он?.. Давай его сюда...

— Я его сейчас позову...

— Позови... Да постой-ка... Эй, молодец! поди-ка добеги: Дмитрия Тимофеича покличь сюда, ко мне... да тем часом вот и его парня приведи сюда...

Писец вскочил и побежал.

— Надо же твоего парня и дилехтору показать... Еще есть ли места-то у нас при машинах... Александра, ты не знаешь: все места-то заняты у нас при машинах?..

— Само-собой, заняты: разве можно машины без людей оставить... Сколько нужно — всегда есть, только сменить можно которого, если этот сручнее будет...

— Сменить! С чего ты человека без вины обидишь? Надо вины дождаться... А, значит, уж надо будет для старика взять его парня хошь так пока... а там видать будет, куда его определить...

— Он и по столярной части знает, и резь всякую может произвести,— говорил Федот Семеныч.— Опять же и пишет хорошо... Его куда хочешь ткни: на всякое дело...

— Ну, да уж не обижу для тебя, старика,— возьмем парня... А там уж по заслугам... и жалованье положим...

— Если он точно такой способный на все, так мало ли у нас на фабрике дела,—вмешался Александр Кузьмич!— Без дела не просидит... Можно настоящее жалованье положить...

На лице Кузьмы Иваныча мелькнуло неудовольствие. Глаза его забегали.

— А я что же?.. Я и говорю: по заслугам... Как себя покажет, таково и жалованье положим... Вы, молодые, больно прытки: так бы вдруг все и взял... А ты понемножку... Надо во всяком деле с осторожкой да с оглядкой...

— Уж насчет услуги не беспокойтесь, Кузьма Иваныч... Уж знаю, что услужит...

— Да уж сказал: для тебя сделаю... Не оставим парня... Дай вот поглядеть только: какая в нем сила?..

В контору вошел зять Кошатникова и директор фабрики, Дмитрий Тимофеич Зверобоев, человек лет 45, высокий, худощавый, с бледным, до сих пор красивым еще лицом. Он был человек очень молчаливый и замкнутый, держал себя всегда скромно и в такой позе, точно прислушивался к отдаваемому приказанию; голова его почти всегда была наклонена несколько набок, и полузакрытые глаза смотрели в землю: но когда

он изредка — особенно в минуты досады и раздражения — поднимал их, взгляд его был сух и холоден, как железо, и производил неприятное впечатление. Лет 15 назад его женитьба на старшей дочери Кузьмы Иваныча наделала большой переполох в купеческом мирке.

Дмитрий Тимофеич в то время был не больше, как простой, ничтожный приказчик на фабрике Кузьмы Иваныча — правда, умный, услужливый, расторопный, но, по-видимому, очень тихий и скромный,—умел заслужить особенное доверие и расположение хозяина, но тому и в голову никогда не приходило, чтобы он мог когда-нибудь породниться с ним. Каким образом, где и когда он успел сблизиться с дочерью Кузьмы Иваныча, с девицей лет 25, — это осталось тайной для всех; но однажды она явилась к родителю, пала ему в ноги, во всем призналась и просила прикрыть грех свой святым венцом. Кузьма Иваныч чуть не сошел с ума от ярости, приколотил дочь так, что она слегла в постель, позвал потом будущего зятя, дал и ему хорошую таску и велел убираться прочь с глаз своих и вон из дома. Рассказывают, что Дмитрий Тимофеич со стоическим хладнокровием перенес это законное возмездие со стороны оскорбленного родителя, но не только не ушел из дома, но тут же, сейчас, спокойно изъяснил будущему тестю: «Напрасно изволите беспокоиться, тятенька. Лизавета Кузьминишна, окромя меня, ни за кого не пойдут, и все равно — не теперь, так после — убегом уйдут, а повенчаются со мной... А между прочим, если в девицах их долго продержите,— один конфуз можете на всю фамилию пустить от этого самого нашего несчастия... А я человек бедный, чувствительный: как был ваш верный слуга, так и останусь, а по родству, — так наипаче служить буду изо всех сил!.. И насчет приданого, по бедности своей, всем останусь доволен, что ни пожалуете... Не как другой, стоющий человек: не стану прижимать да капиталу требовать, а чем осчастливите, тем и буду доволен!.. Уж лучше благословите, тятенька, по доброй воле, тихим родительским сердцем, нечем...» — «Так ты, еще ничего не видя, уж и тятенькой меня звать... и об награждении... ах, ты!..— заголосил Кузьма Иваныч, с пеной у рта, снова накидываясь на будущего зятя.— Я тебе дам—тятенька!.. Вот тебе тятенька!.. Вот тебе награждение!.. Вот я вас урезоню обоих...» И этот натиск

Дмитрий Тимофеич перенес так же хладнокровно: вытолкнутый подзатыльниками за дверь, привел в порядок прическу, лицо и платье, но уходить из дома не думал и, как ни в чем не бывало, принялся за свое обычное дело.

Кузьма Иваныч пошумел, побесновался, но потом сам рассудил: «все равно,— лучше же, чем срам да огласку пускать на всю фамилию... Не одна она,— другие дочери есть... Пускай!... Однако же хошь капитала трогать не надо... Он же парень умный, расторопный, а по родству — правда, что еще больше будет стараться... Пускай!.. Все лучше, как сам-то, чем убегом... Разве ее усторожишь и сам-деле... А только плут, большой руки плут!.. С ним держи ухо востро...»

И желание Дмитрия Тимофеича исполнилось: родитель благословил их брак по доброй воле, тихим родительским сердцем... Сделавшись зятем Кузьмы Иваныча, членом его семьи, поселившись вместе с ним, он не изменил своего обращения с хозяином: по-прежнему исправлял то дело, которое ему было поручено,— попрежнему спрашивал приказаний, давал отчеты, вскакивал на ноги, когда тесть с ним заговаривал, и садился в его присутствии не иначе как с его дозволения. Кузьме Иванычу нравилось, что зять оказывал ему такое подобострастное уважение, не забывался и помнил, что он ничего больше, как ничтожный приказчик, взысканный только его особенными милостями. Он не верил в зятя, никогда не расставался с мыслью, что это большой, тонкий плут, но, сам того не чувствуя и не замечая, подпадал его влиянию. Увеличивая жалованье Дмитрия Тимофеича, расширяя пределы данной ему доверенности, назначая его старшим приказчиком, поручая его управлению фабрику, Кузьма Иваныч уверял самого себя, что делает все это только ради дочери и невольного родства с ним. В глубине души он даже любил зятя за его выдержку, настойчивость, ловкость и умение вести дела: через несколько лет после свадьбы он сам, даже без просьбы, объявил зятю и дочери, что выделил на ее часть известный капитал, который будет оставаться пока в общем деле, и таким образом сделал Дмитрия Тимофеича как бы пайщиком в своих коммерческих оборотах. С годами, когда у Лизаветы Кузьминишны народилось много детей, когда Дмитрий Тимо-

феич записался в гильдию и — как рассказывали — имел уже личный порядочный, хотя и скрытый пока капитал, — отношения между тестем и зятем несколько изменились: Дмитрий Тимофеич сделался спокойнее и увереннее в себе, не так раболепствовал, как прежде, позволял себе даже возражать тестю или молча делать по-своему, хотя наружно сохранял должное почтение к хозяину-миллионеру; а Кузьма Иваныч, продолжая разыгрывать роль повелителя, во многих делах ничего не предпринимал без совета зятя и даже нередко уступал ему, хотя в то же время без церемонии бранился с ним и высказывал оскорбительную подозрительность. И в образе своей жизни, в своей домашней обстановке Дмитрий Тимофеич уже не подчинялся слепо вкусам и взглядам тестя, особенно с тех пор, как поселился на новой фабрике. Он старался подражать коммерсантам новейшего фасона, а не купцам старого закала: считал нужным вести жизнь общественную, а не замкнутую, старался показаться человеком цивилизованным и не только учил детей, но даже нанял к ним гувернантку, как только они начали подрастать. В этом последнем отношении, впрочем, много повлиял Александр Кузьмич, вкусивший, хотя и немного, от столичной жизни и плодов образования: влияние это шло, разумеется, более через жену — Лизавету Кузминишну.

— Что вы, тятенька, изволили требовать меня? — спросил Дмитрий Тимофеич, входя в контору.

— А вот что, милостивый государь... Вот познакомься: благоприятель мой, старшина, хороший человек, просит, чтобы его родственника, молодого парня... расхваливает очень его, говорит — по всяким художествам мастер... чтобы взять его на фабрику... Этот, что ли, парень-то твой? — спросил Кузьма Иваныч, указывая пальцем на только что вошедшего Федю.

— Он самый, — отвечал Федот Семеныч.

— Ну-ка, подойди сюда, молодец, поближе, — приказал Кузьма Иваныч.

Федя подошел.

— Сказывай правду: водку пьешь?..

— Не пивал от роду, — бойко отвечал Федя.

— Ну, научишься...

— Нет, не научусь, — смело настаивал Федя.

— Ну, а табачище куришь.
— Нет, не курю.
— И в карты не играешь?
— Не умею...
— Ну, молодец!... Ровно красная девка... не пьет, не курит и в карты не играет!... Коли долго так продержишься, пожалуй, деньги наживешь... Вот старик-от твой просит, чтобы на фабрику тебя взять...
— Не оставьте. Примите, Кузьма Иваныч...
— Ну, а в какое же ты дело желаешь поступить?... Что ты умеешь-то?...
— Да куда определите... И топором могу, и по столярной части... и резьбу если угодно... Сам рисунки делаю...
— На словах-то ты боек, захватист... А все надо посмотреть: каков на деле... Нам на фабрику ткачи больше требуются... Умеешь ли?...
— Да ведь у вас машинная точа... Слыхал я от людей: тут уменье небольшое нужно... Привычка только нужна, сноровка... Да нет, в ткачи-то бы мне не желательно... А вот к машинам, кабы ваша милость была...
— Около машин топором нечего делать, — заметил Дмитрий Тимофеич. — Тут нужно, чтобы слесарь был, слесарную часть знал...
— Были бы инструменты, а то слесарная часть не мудреная: все сделать можно... Я потому к машинам прошусь, что у меня пристрастие к этому... Я сам коечто выдумал, сам и модели делал... Я какую угодно машину соображу, разберу и соберу опять... Часы у Федота Семеныча в волости стояли... я и те разобрал, починил и опять собрал... Идут теперь...
— Это правда, точно,— подтвердил Федот Семеныч.
— Какие же ты машины выдумывал? — спросил Александр Кузьмич.
— Разные... Насчет мельниц, маслобоек и другие...
— Да ты уж не в механики ли просишься? — спросил Дмитрий Тимофеич.— Так ведь для этого, брат, надо экзамен выдержать... Паровая машина ведь не то, что часы... Тут надо чертеж понять, чтобы ею распоряжаться. А ты видал ли когда и паровики-то?..
— Хошь я, правда, что не видал, а чертеж я пони-

маю... По физике знаю, хошь сейчас все расскажу и нарисую: как что действует...

— Как по физике? — переспросил Александр Кузьмич. — Разве ты физику знаешь? учился?...

— Учиться не учился... А физику я всю читал и понял...

— Где же ты взял?

— Тут у нашего учителя... Только что я — не подумайте — я не в главные механики прошусь... А так бы желательно к машинам поступить: в подручные к механику или как уж вам заблагорассудится...

— Механиком у нас называется, кто всеми машинами на фабрике заправляет, а те, что за машинами наблюдают, починивают, если нужно, смазывают, в порядке содержат — то машинисты, — объяснил Александр Кузьмич.

— Вот меня хоть бы в такие-то сначала...

— Есть ли у нас места-то? — спросил Кузьма Иваныч зятя.

— Машинистов комплект полный: местов нет... Да ведь надо же и посмотреть на него сначала... Коли угодно взять, так рабочим его простым к машинам... Пускай сначала присмотрится и себя покажет... А там увидим, какой в нем толк... У нас вон и по столярной части —говорит, умеет — дела довольно, найдется и для него...

— Ну, да уж это твое дело: к какому там делу его приставишь...

— Ну, так ладно, — обратился он к Феде, — приму тебя, парень... Смотри, работай честно и верно, вот что уж тебя дилехтор заставит... К чему приставит, то и делай, старайся... не ленись...

— Уж я стараться буду, Кузьма Иваныч... Изо всех сил буду стараться... Какое же положение-то мне будет?... Жалованье-то какое положите?...

— О, брат!.. Ты, я вижу, из горячих да из бойких!.. Ничего не видя, уж спрашивает хозяина: какое ему будет положение?.. Еще работы-то своей не показал, а уж об жалованьи хозяина допрашивает... Кабы не для старика, так я бы с тобой и разговаривать-то не стал... Ты не думаешь ли и сам-деле, что нужен больно с физикой-то своей?... А коли принимают, так и будь доволен... Бога благодари!.. А жалованье какое положат, то

и получай... Слышал?.. Ну, то-то, вперед знай, как с хозяином разговаривать!.. Физику-то ты читал, а этого не вычитал: как с хозяином разговаривать надо, так хошь бы людей поспрошал...

— Извините его, Кузьма Иваныч, — вступился Федот Семеныч.— Молод еще, неопытен!.. Покорно благодарю, что принимаете: вы не обидите...

— Вот еще!.. Эку дрянь мне очень обижать нужно... А знамо молод: оттого и внушаю... Вижу, света не видал, людей не понимает... Как быть деревня... Ну, бог с тобой, ступай!.. Научишься, вось, людей разбирать: к кому с чем подойти и как разговаривать... Вот теперь к дилектору обращайся... Ступай...

Федя был сконфужен и смущен: он видел, что Кузьма Иваныч рассердился, что он что-то такое сказал или сделал неладное, но что именно — не мог сразу уяснить себе и опечаленный пошел к дверям.

Федот Семеныч тоже был смущен и несколько даже обижен и стоял перед Кузьмой Иванычем, опустя глаза в землю. Тот заметил это.

— Нельзя на них без острастки,— обратился он к Федоту Семенычу, когда дверь за Федею затворилась.

— Я знаю их, зазнаются, молокососы, особливо вот этакие, которых бог умом да талантом наградил! Мечтают о себе и невесть что... И черт ему не брат... А вот огорошишь его — он и поймет, притихнет!..

— Он смирный парень, Кузьма Иваныч... Никогда поперек слова не скажет... Так это он молвил, спроста...

— Ну, вперед наука... Ты его возьми там, Дмитрий Тимофеич, пристрой, как знаешь... А жалованье положи на первое время рублев двенадцать в месяц... Вон для старика... А там увидим...

— А насчет харчей как?...

— Харчи, знамо, его... Где же нам возиться...

— Слушаю, тятенька...

На Александра Кузьмича последняя сцена и последние распоряжения отца, видимо, произвели неприятное впечатление, но он ничего не сказал и вышел вслед за зятем.

— Ну, прощай, старик... Вот привелось и мне для тебя сделать,— говорил Кузьма Иваныч, расставаясь с Федотом Семенычем. — Уж не кланяйся, не проси... Не оставлю, не оставлю парня твоего, только бы старался

да не избаловался здесь... На фабрике народ всякой... Наставляй его хорошенько...

Федот Семеныч кланялся и благодарил, но вышел из конторы не вполне довольный.

VIII

Федя остановился у крыльца конторы в ожидании Федота Семеныча. Невеселые думы толпились у него в голове. Он невольно вспоминал и соображал все, что прежде слышал о купцах и их отношениях к рабочим.

«Это еще хваленый... Кузьма Иваныч!.. Еще и пришел я к нему с дружком, с Федотом Семенычем... Ну, за что обидел, за что облаял?.. Неужто нельзя уж и об жалованьи спросить?... Как же рабочему человеку не знать вперед, сколько заработать может?... Ведь я же к нему не христа ради прошусь... Я на него работать буду... Ну, коли не с ним рядиться надо было, так бы и сказать просто... Зачем же кричать да лаяться-то?.. Иной раз, пожалуй, и не стерпишь, коли ни в чем не виноват, а он кричать станет да ругаться».

Мимо него прошел Дмитрий Тимофеич, пытливо, пристально взглянул на него исподлобья, но, прежде чем Федя, так же прямо на него смотревший, успел сообразить, что, может быть, нужно снять шапку и поклониться, директор фабрики быстро повернулся и пошел прочь, ни слова ему не сказавши. Федя вопросительно смотрел ему вслед и видел, как сновавшие по фабричному двору работники, встречаясь с директором, проворно снимали свои шапки и подобострастно ему кланялись. Вдруг его кто-то окликнул, не назвавши по имени. Он оглянулся. На крыльце стоял Александр Кузьмич.

— Ты как будешь по имени? — спросил он его.

— Федор.

— А прозвище, фамилия есть у тебя какая?

— Нет, фамилии нет никакой...

— Надо тебе прозванье взять какое-нибудь... У нас, на фабрике, Федоров много... Ты из какой деревни?

— Из Чернушек.

— Ну, так вот и прозывайся Чернушкин.

— А вы кто же будете? — спросил в свою очередь Федя.

— Я хозяйский сын, Александр Кузьмич... Тятенька говорит, что эта и фабрика, и имение будут мои, он мне их после себя предоставит...

— Стало быть, вы теперь заправляете ей, когда без тятеньки...

— И заправляю, и нет... Присматриваю за всем, а директором-то вот зять наш Дмитрий Тимофеич... Вот что прошел... У нас тятенька не любит никому воли давать: до всего сам доходит... Что же ты пропустил Дмитрия-то Тимофеича, не подошел к нему, как он проходил мимо?.. Ведь тятенька велел тебе к нему идти...

— Да не знаю как... Не сдогадался вдруг-то... Думал: не время...

— Пойдем со мной на фабрику: я тебя к нему сведу...

— Покорно благодарю, Александра Кузьмич... Пойдем...

Они пошли.

— Тятенька велел тебе двенадцать рублей положить на первое время, на твоих харчах... Ну, немного это, да ничего: потерпи... Покажешь себя, да коли надобен будешь, прибавят скоро...

— Маленько это... Правда, что маленько... Тоже прохарчишь сколько.

— Да ничего, поступай... Прибавят!.. Уж говорю тебе, что прибавят!.. Они и все так: коли видят, что человек нужный, всегда норовят сначала нажать...

Федя с удивлением, вопросительно взглянул на хозяйского сына.

— Ты чего смотришь, удивляешься, что я так-то говорю?.. Я, брат, люблю прямо, открыто... не как они...

— А за что же тятенька ваш рассердился на меня, когда я про жалованье спросил?... Неужто уж у вас рабочему человеку и рядиться нельзя, а получай, что дадут?...

— У нас с рабочими вперед никогда не рядятся, а платят всем ровно, смотря по работе: месячным — помесячно, а штучным — от штуки, сколько кто выткал... Плата назначается по цене товара: коли упадет цена, ну, и плату убавят, а коли бойко товар с рук идет и по хорошей цене, тогда немножко и плату повысят... А тятенька рассердился на тебя и за то, что ты о жало-

ванье вперед спросил, а еще больше за то, что с ним стал об этом разговаривать: на это у нас контора, приказчики да директор есть... Он коли с рабочим сам да еще с шуткой и ласково заговорил, так за великое счастье считать надо: стоять, молчать да кланяться, либо отвечать только, о чем спросит... Он ведь у нас большой командир на фабрике, что твой губернатор в губернии...

Александр Кузьмич улыбнулся и продолжал:

— Он тебе этакое благодеяние делает: до себя тебя допустил, сам с тобой разговаривает, расспрашивает, обещает на фабрику принять, а ты еще вздумал о жаловании его спрашивать, торговаться... Вот он и огневался... Да еще счастлив, что вовсе не прогнал, велел принять... Видно, еще старика твоего уважил: другого бы прогнал...

— А про него, про родителя вашего, слава идет, что милостивый, ласковый...

— Да он милостив и ласков, когда ему надобно или когда сам захочет и пока не рассердят... Он тебя не обидит, только уж смотри ему в глаза да угождай... чего он хочет — угадывай!.. Ну, да что об этом толковать... Ты вот мне лучше что скажи: неужто ты и вправду один всю физику прошел?..

— Уж не знаю, всю ли... Наука, говорят, эта большая... А книжку, которую учитель давал, всю прочитал...

— И все понял?

— Насчет вот машин все понял: тут чертежи приложены, и все объяснено... А что уж очень мудрено, непонятно,— учителя спрашивал: он, спасибо, толковал... Он и по механике мне много объяснял...

— Да как же ты?.. Тут ведь нужно сначала арифметику, алгебру пройти, а ты ведь их не знаешь, не учился...

— Четыре-то правила он мне в один вечер объяснил: я сразу понял, а тут сам по книжке добирался... И арифметику знаю... Вот алгебры не знаю... Говорил мне и об ней Василий Якимыч, и показывал немножко... только немножко... А так чтобы всю... нет, ее не проходил, не знаю... А надо непременно бы и об ней книжку достать да прочитать!.. Да все времени нет... А точно, что надо бы ее узнать!.. Вот и в физике, и в механике я все больше на догадку брал, а так, чтобы доподлинно дойти и

все растолковать и доказать, я не могу... Понимать-то я все понимаю, и сделать сделаю, иное и начерчу, и объясню: как и почему; а вот иное только в голове держу и сам для себя ровно как понимаю, а рассказать не могу... Вот по механической части... когда что придумываю... машину там какую али что... там какое колесо пустить или шестерню, или рычаг, или передачу: вижу, что хорошо будет и в пользу пойдет... сделаю и выходит, а почему так, чтобы вперед все, по математике, обдумать, рассчитать — этого не могу... Известно, как бы сызмальства в ученье отдали в училище да все бы по порядку пройти... много бы лучше было...

— Отчего же тебя не отдали?

— Известно отчего мужицких детей в училище не отдают: то от глупости, от невежества, а больше от нужды... Денег нет, учить не на что...

— Да вот, кто от нужды не учится, оттого, что денег нет, а мне не дали учиться оттого, что денег много...

— Как, разве вы не учены?..

— Учился с грехом пополам, а доучиться-то тоже не дали... Дома будто бы нужен... дело делать!.. А на дело ходи только да смотри... а в руки не дают... Тоска смертная!.. А что это за учитель такой, про которого ты говорил?...

Федя рассказал про Василия Якимыча подробно и с энтузиазмом.

— Вот бы его сюда... Школу бы при фабрике открыть да жалованье хорошее дать... Жил бы человек и сам хорошо, и для людей бы пользу делал!.. А то срам сказать: у нас теперь две фабрики... На обеих-то около тысячи человек одних детей работает, а ни на одной школы нет...

— Что же вы не устроите?..

— Да как я устрою?.. Раз я заикнулся было тятеньке насчет школы-то, так после и сам не рад был... Недели две не говорил и не смотрел на меня... Кажется, через это, да еще через другие мои слова и из училища-то взял меня...

— Да что же так? Отчего?

— А оттого: говорит, ученье только портит людей, разного вздора им в головы набивает, гордыми их делает, либо пустозвонами, а от настоящего дела, которое хлеб дает, отбивает... А для простонародья грамота, го-

ворит, совсем не годится и вовсе никуда ненадобна, потому, будто, в школах мальчишки только балуются, разлениваются, из грамотных все пьяницы, бездельники и мошенники выходят... Один, говорит, разве на сто человек путный выйдет, так из-за одного не стоит школы заводить, да такой захочет и без школы, читать-то да писать выучиться... у первого дьячка... Вот он что говорит!.. А к тому еще и денег ему жалко на это изводить. Со школы-то в карман себе ничего не выручишь, а только на нее же из кармана вынимай...

— Ну, уж велики ли это и деньги для вас, Александра Кузьмич...

— Да кабы я-то был хозяин, я давно бы уж открыл школу... Сдал бы он фабрику мне, я бы многое по-другому повел... У меня бы и рабочему народу много лучше было... Да что делать? воля-то не моя... Меня не спросят да и скажу — не послушают!.. Дмитрий Тимофеич тоже сам подначальный человек, по-тятенькиному должен делать, да вряд ли бы он и сам по себе стал по-другому делать... У него тоже одно в голове: как бы подешевле да посходнее что сделать и побольше барыша выгадать, а о других, сторонних людях, заботы мало... Эх, кабы тятенька сдал мне совсем теперь эту фабрику, я бы знал, что делать!..

— Подождите, Александр Кузьмич, придет и ваше время, будете и вы хозяином... Тогда уж... Видать по всему, что вы редкостный человек и душа у вас золотая... С вашим капиталом да с вашими мыслями вы много добра народу сделаете...

— Не знаю, сделаю ли... Точно, что я добрый и открытый... Вот понравился ты мне, сам не знаю почему, я тебе тотчас всю свою душу выложил... И мысли у меня точно хорошие, хоть правду сказать, не сам я их выдумал, а были в Питере промеж нас люди: было чего послушать, чему поучиться... Вот такие же, как твой учитель, только, пожалуй, еще поученее его... Много я от них хорошего наслушался!.. И правду сказать: болит у меня сердце смотреть на все, что у нас делается и как мы живем... А все тоже думаю, что ничего мне хорошего сделать не удастся...

— Отчего же?...

— А первое: оттого, что людей нет, никто не поддержит, не поможет, а один в поле не воин... А второе: нету

у меня характера, смелости нет... Запуган, что ли, я с малолетства — не знаю, а только вот я до сих пор, за двадцать с лишком лет, тятеньки боюсь... И ничего мне одному не затеять: за людьми, на доброе, кажись, всюду пойду, а чтобы других за собой вести или одному идти против всех, напролом,— нет, не знаю... не сумею!.. А ведь в нашем фабричном деле,— иди заодно со всеми,— со своим братом фабрикантом, то-есть, а то беда: такой шум, гвалт поднимут, разорят, со света сживут!.. У нас все один по одному... все заодно и одинаких порядков держатся... Это бывает, что один у другого хороших мастеров сманивает... А уж насчет рядового рабочего у всех заодно: и жалованье, и штрафы, и взыски, и все другие порядки, все на одном держится: как бы поменьше платить да подешевле работа обошлась... Все друг за другом следят, все один про другого всё знают... И боже сохрани, если бы кто выискался да новые порядки стал заводить, от которых рабочим лучше, а хозяину хуже,— все встанут против него!.. Что хочешь делай: пей, мотай, разоряйся как хочешь, никто не помешает... А если бы кто плату поднял или рабочих часов убавил, или другое что в пользу рабочих выдумал... ну, уж этого не простят!.. Правда, что эта наша фабрика в стороне, поблизости других нет: здесь бы еще легче что хорошенькое завести... Да нет, не удастся!..

Александр Кузьмич махнул рукой и печально понурил голову.

— Полноте, Александра Кузьмич, не прошла бы только ваша добрая воля да охота... Мысли эти в себе держите... А придет ваше время — все сделаете...

— То-то, не прошла бы охота... А она пройдет!.. Знаю, что пройдет!.. Я здесь со своими мыслями один-одинехонек, точно в лесу, даром что тысяча человек народу кругом... Вот скоро два года, как меня из училища взяли... И сам чувствую, что я много уж переменился и мысли эти все реже и реже в голову приходят... Да и с кем здесь поговоришь, посоветуешься?.. Об тятеньке и старшем брате и говорить нечего... Зять с сестрой в другую сторону тоже смотрят... Приказчики все прощалыги: тятеньке да зятю потрафить норовят, да об кармане своем думают... И народ кругом дикой, грубой, либо мазура прожженая... К тычкам да ругательствам все приучены, да, кроме своего дела, и знать не хотят и не пой-

мут ничего... Есть, правда, одна барышня, детей у зятя — племянников — учит, с ней еще можно душу отвести, поговорить... Ученая, начитанная... и знает, и читает много!.. А все-таки женщина!.. Да и говорить-то с ней надо с оглядкой, чтоб не подумали чего, а то как раз ее-то из дома прогонят ни за что, ни про что... Вот так один-одинешенек и живешь... не живешь, а киснешь!.. Так и чувствуешь, что день за днем все тебе постылеет, и все хорошее в тебе опускается, пропадает... Да вот еще того и жду, что женят на какой-нибудь толстухе богатой, а тут новая родня на тебя насядет... Вот и все твои замыслы хорошие к черту!..

— Как женят, Александра Кузьмич?.. У вас, чай, не как в мужицком роду, да нынче и у нас уж редко неволят жениться-то, а у вас, чай, и подавно: не захотите, так кто вас женит?...

— Да еще как женят-то!.. Велит тятенька, а то скажет: всякого наследства лишу, коли не послушаешься.. Вот и женишься, хоть и невеста не больно по мысли будет!.. У нас тятенька, коли уж что задумал да захотел, так сделает по-своему, как ему надо... Никого не пожалеет!..

— Да доведись до меня, так я лучше бы ото всего отказался, чем дал себя женить поневоле... Чтой-то, Александр Кузьмич!.. Нынче вон и девок-то, так не всякую поневоле замуж выдашь: и те стали свои права узнавать да упираться...

— Тебе хорошо говорить: ото всего бы отказался!.. Ты и получил-то бы немного, да и сам на себя надеешься: своими руками заработаешь, может быть, еще больше... А тут каких капиталов лишишься, да и на себя-то понадеяться нельзя: что я без денег поделаю? Ни к чему я не приучен, ничего не умею, ничего не знаю!.. Не в приказчики же мне идти, да никто не возьмет, а и возьмут, так разве только насмех да напоказ, что вот, мол, у меня Кошатникова сын в приказчиках служит... А тут все-таки думается, что как деньги в руках будут и воля своя, так и людям добро какое-нибудь сделаешь... Нет, в нашем положении без денег никак нельзя: в деньгах родился, в деньгах и жить нужно, а без денег хуже последнего человека сделаешься... Мы если и людьми кажемся и для людей что-нибудь делаем, так не сами собой, а только через свои деньги!.. Женят, брат, женят!..

Найдет тятенька невесту подходящую и женит!.. Да я и упираться не буду, потому, по крайней мере, после того уж какое-нибудь отдельное дело даст, а, может быть, и всю фабрику препоручит: у нас женатому человеку всегда больше веры дается, да и женины родные будут поддерживать, требовать, чтобы не все из отцовской руки зять смотрел, а и свое имел собственное...

— Чудеса это вы мне рассказываете! — раздумчиво проговорил Федя...

— Нет, не то чудеса, а вот чудо: встретил я тебя в первый раз и точно меня что к тебе потянуло, сразу всю свою душу тебе открыл... Даже самому удивительно!.. Не знаю ведь я тебя совсем, а точно с давнишним приятелем разговариваю...

— На том благодарю вас, Александра Кузьмич... У меня у самого к вам сразу сердце легло...

— Нет, ты мне давеча понравился, что бойко, без униженья и поклонов, ты с тятенькой разговаривал... Признаться тебе сказать: любо мне было и то, что он, вижу, сердится... уж я знаю его!.. А ты точно и внимания не обращаешь, говоришь свое да прямо в глаза ему смотришь... Он этого насмерть не любит!.. Я сам его боюсь, а люблю, как он натыкается на людей, что его не боятся!.. Да и это вот еще меня больше потянуло к тебе, что ты до всего самоучкой дошел: и машины выдумываешь, и физику всю сам прошел, без училища... И старик-от этот твой славный и как тебя расхваливал!.. А слушай, Федор, я тебе скажу по секрету: у нас механик плохой, чухна какой-то, наши давно толкуют, что нужно механика переменить, и коли ты все хорошенько поймешь и с машиной управляться выучишься... увидят они это: тебя наверно сделают механиком... Только ты молчи, ничего не говори и виду не показывай, что я тебе сказал... Я видел, что и отец, и зять рады тебе, а жалованьем нажать на первое время все-таки хотят: вот мне досадно и стало... Я и пошел за тобой, чтобы тебя поддержать... Да вот как разговорились!..

Вся эта беседа между молодыми людьми, начавшаяся дорогой по фабричному двору к главному корпусу, где находилась особенная контора и кабинет директора, продолжалась в этом кабинете, где они сидели в ожидании прихода Дмитрия Тимофеича, занятого на фабри-

ке. Эта небольшая комнатка, в которую, кроме директора, имел право входа только Александр Кузьмич, помещалась в нижнем этаже, окна ее выходили на фабричный двор и были открыты. При последних словах молодого Кошатникова снаружи у одного из окон послышался женский голос, звавший Дмитрия Тимофеича. Александр Кузьмич быстро подбежал к окну.

— Я пошла гулять с детьми... Лизавета Кузьминишна велела зайти сказать Дмитрию Тимофеичу... Его нет, что ли, тут? — спрашивал женский голос.

— Нет... А вам что же велено сказать?.. Да заходите сюда: он сейчас придет.

— Да вы думаете важное, что ли, что?.. Это и вы можете передать ему, оно и вас касается: что обедать будут сегодня пораньше получасом, так чтобы не опаздывали — приходили...

— Почему же так?..

— Ну, уж этого я не знаю... Кажется, дело в воздушном пироге,— опасаются, чтобы не сел или не перешел... А впрочем — досконально не знаю...

— Да все равно, вы заходите сюда...

— Зачем?

— Потолкуем... Я вам покажу, познакомлю с одним человечком.

— С каким?..

— Уж с хорошим... Заходите...

— Я с детьми...

— Тем лучше...

— Да!.. На случай подозрений и следствия: не было ли предварительной стачки... на рандеву... и как оно состоялось?.. Хорошо, зайду...

Послышался бойкий женский смех. Александр Кузьмич отошел от окна к Феде.

— Это та самая барышня, про которую я говорил тебе... Она гувернантка, учительница у детей Дмитрия Тимофеича, у моих племянников. Я хочу тебе ее показать, познакомить вас... Она говорит, что ужасно простой народ любит, и старается сближаться с ним и изучать его...

Федя ни слова не сказал и конфузливо одернул на на себе поддевку.

В комнату быстро вбежала девушка лет за 20, высокая, худая, некрасивая, но с очень добрыми, смело смот-

рящими глазами, с бойкими, несколько резкими движениями.

— Ну, здравствуйте,— говорила она, входя.— Я свидетелей оставила у подъезда: что с ними таскаться, скучно!.. Да я и сама на минутку... Ну, что же?.. С кем вы хотели меня познакомить?..

Она оглянула комнату и остановила глаза на Феде.

— А вот с ним,— отвечал Александр Кузьмич, указывая на Федора.— Самоучка механик, машины выдумывает... Физику изучил сам, без учителя... Поступает к нам на фабрику...

Федя покраснел и неловко, конфузливо поклонился.

— Здравствуйте,— проговорила барышня и порывистым движением, по-мужски, протянула ему руку. Федя нерешительно подал свою.

— Будьте знакомы... Вы, пожалуйста, не стесняйтесь меня,— говорила гувернантка, не выпуская руку Феди и крепко сжимая ее.— Не думайте, что я барышня... Я такая же работница, как и вы, также своими мозгами, своим трудом промышляю себе хлеб насущный... Мы с вами не то, что вот эти господа.— Она указала на Александра Кузьмича и продолжала: — Они ведь паразиты, чужеядные, живут чужим трудом... У них хоть и туго набиты мешки, хоть они и задыхаются от жира, а все-таки сила в нас, в пролетариях, а не в них... Вы знаете, что значит пролетарий, пролетариат?..

— Слыхал...

— Ну, так вы согласны, что сила не в деньгах, а в рабочих руках, не в капитале, а в труде?.. К сожалению, эта мысль до сих пор еще не проникла в массу, и потому деньги и капитал до сих пор господствуют и управляют; но для нас-то с вами, передовых людей из рабочих, она должна быть понятна и должна поддерживать и ободрять нас... Вы согласны со мной?..

— Об этом надо говорить много и обстоятельно,— уклончиво ответил Федя.

Гувернантка усмехнулась.

— О, сейчас по ответу видно холодную, методическую, математическую голову!.. Я вас сразу определила себе... Но это, конечно, не значит, что вы со мной не согласны... А поговорить обстоятельно я, конечно, очень желаю и когда-нибудь найдем время, только не теперь... Я знаю, что вот даже Александр Кузьмич, который по

общественному положению должен бы стоять в оппозиции к нам, держится моего мнения... За это ему честь и слава!.. А все-таки мы с вами можем быть больше товарищи, чем с ним, потому что мы труженики, а он — паразит, белоручка!.. И он тогда только сравняется с нами, когда начнет свою службу народу, нам, труженикам-рабочим, о которой он пока только мечтает... Однако мне пора, господа... Вы здесь будете жить на фабрике?

— Да, здесь...

— А как же вас зовут?

— Федор Чернушкин,— ответил за него Александр Кузьмич,— а их — Алена Николавна.

— Да, именно: Алена, а не Елена... Елена — барышня, а Алена — работница; я не хочу быть барышней!.. Если вам нужны будут книги, обращайтесь ко мне... У меня есть и Милль, и Бокль, и Дарвин... Все, что хотите... А если читаете на иностранных языках, так есть Ренан, Маркс, Лассаль, Конт... Есть и из новейших... по секрету!.. Дам и их, только надо очень осторожно!.. Александр Кузьмич, что бы сказал ваш тятенька, если бы узнал и понял: какие горючие материалы, какие ужасы хранятся в его доме... какие идеи в голове воспитательницы его внучат!..

Алена Николавна засмеялась. Кошатников улыбался.

— Ну, однако, прощайте, господа... Меня мои птенцы ждут... Еще, надеюсь, найдем время сойтись и потолковать... А толковать, я вижу, нам много еще придется!.. Хоть Александр Кузьмич и рекомендует вас,— обратилась она к Феде, подавая ему руку,— но ведь он еще юноша, способный к увлечению: мне нужно самой вас позондировать и, может быть, во многом поспорить и наставить на путь истинный...

— Он рассказывал,— заметил Кошатников,— что у него приятель — учитель в ихнем селе, который развивал и влиял на него... касался всех вопросов... Как видно, тоже из передовых...

— Как зовут? — спросила гувернантка.

— Василий Якимыч...

— Нет, фамилия?

— Проскуров.

— Не слыхала... Из семинаристов или из университетских?..

— Он был в разных училищах,— отвечал Федя.— И в университете был, и в доктора хотел идти... И еще в институте... И простым рабочим был: кулье таскал...

— А-а... Это интересно!.. Надо бы с ним сойтись...

— Вот впоследствии, через него,— сказал Александр Кузьмич, указывая на Федю.

— Непременно, непременно... Чем больше людей, тем лучше!.. Мы здесь с Александром Кузьмичом точно в зверинце заперты... Вот я полгода уже живу здесь, а еще только первого настоящего человека он мне показывает — вас!.. А то все или звери, или несчастные, полулюди, которым не втолкуешь никакой человеческой идеи... А нужно, нужно действовать, втолковывать... для их же блага... Людей, людей нужно больше!.. Одна, да еще под таким надзором, при такой обстановке, как моя, ничего не сделаешь, а дайте мне товарищей, настоящих людей... о, тогда много можно сделать пользы!.. Можно и этих несчастных превратить в людей!.. Трудно, тяжело,— я это знаю, но возможно! Вот где нужна и мудрость змеи, и кротость голубя!.. Служить народу, жить, работать для его блага, для его счастья,— какая задача может быть выше этой?.. И, со своей стороны, я готова на эту службу: это цель моей жизни, мое призвание!.. Вы знаете, Александр Кузьмич!.. Спасибо вам, что показали нового товарища... Давайте, давайте сюда и вашего учителя... Однако, прощайте... Если нужно будет каких книг, вот скажите Александру Кузьмичу, я через него перешлю к вам...

При последних словах отворилась дверь и в ней показался Дмитрий Тимофеич. Он не мог скрыть изумления и неудовольствия при встрече с гувернанткой и даже невольно приостановился у дверей. Алена Николавна нисколько не смутилась и, оборвавши свою речь, быстро пошла к нему навстречу.

— Я зашла сюда по поручению Лизаветы Кузьминишны. Она просила сказать вам, чтобы пораньше приходили обедать...

— Разве ей некого было, кроме вас, послать с этим? — спросил Дмитрий Тимофеич, искоса поглядывая на шурина и Федю.

— Я шла гулять с детьми, она и просила зайти по дороге...

— Хорошо-с... А где же дети?..

— Я их оставила у крыльца... Я забежала только на одну секунду... Я сейчас иду к ним...

— Да-с, пожалуйте... Детей не следовает оставлять одних: к тому вы приставлены... за ними назирать!..

— Да ведь Лиза же их просила зайти,— вмешался Александр Кузьмич.

— Слышу-с я это... Очень хорошо-с, придем... Я только насчет детей... Сшалить могут как неблагородно без вас: я только к тому...

— Так ведь я же и иду к ним... Странно, право! — проговорила Алена Николавна с недовольным видом и вышла.

— Тебе что надо здесь? — круто оборотился Дмитрий Тимофеич к Феде, проводив гувернантку глазами.— Зачем ты сюда залез?..

— Это я его привел, чтобы подождал тебя, братец,— отвечал за Федю Александр Кузьмич.— Тятенька велел ему к тебе идти... Надо же ему сказать: куда ему вставать на работу и когда?..

— Что же так очень скоро нужно?.. Мог бы, кажется, и подождать...

— Да он и ждал...

— Что здесь, братец, за место ему ждать... На лестнице бы мог подождать али там у крыльца, у конторы...

— Ну, уж это я виноват: кликнул его сюда... Захотелось поговорить с ним, расспросить его обо всем... К чему же ты его, братец, приставишь теперь?..

— К машине тятенька говорил, и он просился... Да там теперь народ в полном комплекте... Нечего ему делать будет: не зря же ему шататься... А пока место откроется, он по столярной части хвалился, что знает, так пускай рамы пригоняет в новую стройку... А там видать будет... Столяр же запил у нас... Пускай поработает пока за него... Вот!..

— Мне куда прикажете: все одно,— проговорил Федя.

— Значит, в мастерской ему и жить можно?..

— Пускай живет: места не жалко, только чтобы харчи свои...

— А ведь столяр-то у нас, кажется, поштучно работает?..

— Так что же, братец... С тем такая ряда... А этот месячным поступил, пускай помесячно и работает... Мы совесть его посмотрим: сколько он сделает для хозяина-то...

— Буду стараться, Дмитрий Тимофеич, сколь можно... Не прогуляю!..

— Ну, уж ладно... Слыхали мы это довольно... Ступай к конторе, жди там меня... Когда зайду, распоряжение сделаю насчет тебя... А с завтрева на работу встанешь... Ступай.

Федя поклонился и вышел на фабричный двор, совершенно отуманенный разнообразными впечатлениями дня: окрик милостивого и благотворительного Кузьмы Иваныча, видимое, ничем не заслуженное нерасположение директора фабрики, неожиданная приязнь, откровенность и покровительство хозяйского сына, знакомство и странные речи барышни-гувернантки, несбывшиеся расчеты на немедленный хороший заработок и большие надежды в будущем, не оставлявшая его ни на минуту тоска о Паране и желание поскорее ее видеть,— и в то же время сознание необходимости отложить это свидание до ближайшего праздника,— все это действовало на душу юноши точно тяжелый кошмар, под тяжестью которого он как будто потерял и волю, и свободу, и полное сознание. Он чувствовал, что сразу попал в какую-то новую колею жизни, что как будто у него разорвалась связь со всем прошедшим, дорогим и милым, а будущее, которое уже невозвратно захватило его, казалось таким неясным и туманным, и страшным... Он был в таком состоянии, что хотел бы убежать без оглядки с этой фабрики, куда так манили его радужные надежды, но чувствовал, что не может уже уйти, что как бы прикован к ней какими-то невидимыми цепями... Страшная тоска и смущение напали на него, когда он шел по фабричному двору к конторе, а непривычные для его слуха и глаз шум, гам, суетня и движение фабричной жизни еще усиливали это смущение... Недалеко от конторы он встретил Федота Семеныча, который поджидал его.

— Чтой-то с тобой?.. Обидели, что ли, тебя али вовсе отказали? — спросил его старик, участливо вглядываясь в него.

— Нету, никто не обидел... Велели оставаться: принимают...

— А что же?

— Так это, с непривычки, видно: больно здесь людно и шумно, и хлопотно...

— Да, уж, брат, не как у нас в деревне... Здесь что твой город!.. Да вон мне и самому больно не по мысли иное что показалось... Пока ждал, так ходил я, посматривал: новая фабрика, а уж около нее три кабака да два трактира... Поговорил: жалуются рабочие, что заработки малы, плохо хозяева платят, а в кабаки то и дело народ шныряет, в трактирах песни горланят, на гармонии играют... Что ж он из этих заработков малых, после этих трактиров, домой-то принесет!.. Не поискать ли, Федя, другого места?.. Не погодить ли? Не подумать ли?

— Нет уж, Федот Семеныч, что же, надо попытать первого счастья!.. Что ходить да искать?.. Спасибо, дай бог вам здоровья и за эти хлопоты. Без вас бы и того не было!..

— Да нет, брат, я не того ждал... Не по мысли мне, не показался мне сегодня Кузьма Иваныч...

— Зато сынок у него... душевный, золотой парень!..

И Федя рассказал о своей беседе с Александром Кузьмичом, о его ласке, доброте и обещаниях. Федот Семеныч очень этим заинтересовался и просил подробно рассказать обо всем, что и как говорили с хозяйским сыном. Федя исполнил его желание, но почему-то вовсе умолчал о встрече и знакомстве своем с хозяйской гувернанткой.

— Ну, так оставайся ин, Федя... Бог милостив!.. Правда, что свет не без добрых людей!.. Может быть, и в самом деле, твоя судьба и твое счастье здесь показаны... Посылай поклоны... Да на вот возьми на первое обзаведенье: денег-то, чай, в умаленьи у тебя...

— Полно, Федот Семеныч, мне уж и совестно брать-то, право,— говорил Федя, отстраняя рукою красненькую бумажку, которую подавал ему Федот Семеныч.

— Ничего, возьми... ты не пропьешь, не прогуляешь, знаю, а припрячешь: на нужду когда и будет... Может, будешь и много получать, а все вспомнишь, что в первой нужде твоей моя копейка выручила, а мне-то и любо, больше ничего и не нужно... Твоя послуга не того бы

стоила, да знаю, больше не возьмешь, так хошь этим утешь,— не откажись, возьми...

Федя благодарил старика и в то же время думал о Паране и радовался, что он придет к ней не с пустыми руками.

С грустным, тяжелым чувством провожал Федя Федота Семеныча и долго смотрел ему вслед, в ту сторону, где жила и, может быть, ждала его Параня...

— Ехать бы давеча вместе с ним... Выдумать предлог какой, отпроситься бы дня на два и зайти бы... зайти в Онучино... Хоть бы взглянуть, хоть бы узнать!..

Но Федот Семеныч давно скрылся... Федя вздохнул и огляделся кругом. Навстречу ему шел в контору Дмитрий Тимофеич и, подходя, искоса и недружелюбно смотрел на Федю. Тот в свою очередь вопросительно смотрел на него.

— Все вас поджидал,— сказал Федя, когда директор поравнялся с ним.

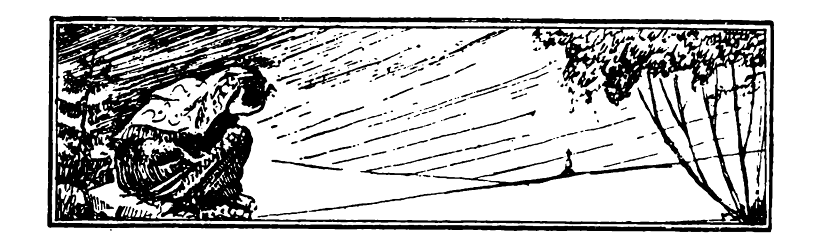
— А ты, дуралей, знай, что когда с директором встречаешься, так шапку-то загодя снимай, да не смей без дела заговаривать... А коли ты это с важности да с зазнайства шапки-то не ломишь, так убирайся к черту!.. Много этакой дряни у нас и без тебя!.. Нам смирных нужно да уважительных... Слышал?..

Дмитрий Тимофеич оглянулся и сурово посмотрел на Федю.

— Извините... Я не знал,— бормотал сконфуженный юноша, берясь за шапку.

— То-то, не знал!.. Так знай!.. Давеча прошел,— он точно и не видит... И теперь — встретился нос к носу,— шапчонки не ломит да еще заговаривает, точно со своим братом... Уж, кажется, даве дал оклик Кузьма Иваныч: надо бы понять... А он ровно и нипочем... Смотри, парень: нам таких не надо!.. Будь смирен и почтителен!.. Стой тут, жди как кликну.

Дмитрий Тимофеич скрылся за дверью конторы, Федя остановился у крыльца. В душе его кипела горькая обида и досада... Он сделал было даже движение уйти совсем, но... вспомнил Параню,— и остался.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В доме Федота Семеныча дела шли по-прежнему неладно: Кирилла почти не работал, часто пропадал куда-то из дома, нередко возвращался пьяный, вообще был мрачен, молчалив и озлоблен; с женой почти не говорил, отворачивался от нее, и на ее робкие вопросы отвечал или бранью, или насмешкой. После известного разговора с матерью, когда он признался ей в своей нелюбви к жене и в намерении уйти из дома, он уклонялся и от беседы с Федосьею Осиповной, от ее ласк и материнских нежных забот: из некоторых намеков старухи он заметил, что если она не знает ничего определенного об его новых отношениях и намерениях, то, по крайней мере, что-то подозревает, желает выспросить его и повлиять на него в пользу жены. Кирилла заметил также, что старуха-мать стала снисходительнее и ласковее к Анне и даже раза два вступилась за нее, когда он к ней придирался. Это сердило Кириллу и он стал избегать матери, что очень ее огорчало и мучило. Она твердила Анне, что надо непременно поскорее сходить к знахарке, но нужно было это сделать, разумеется, так, чтобы не знал ни муж, ни Федот Семеныч. В ближайшее воскресенье выпало такое благоприятное время: Федот Семеныч уехал дня на два по делам волости, а Кирилла, тотчас после его отъезда, собрался уходить из дома и на вопрос матери: придет ли обедать? — отвечал, чтобы не ждали ни обедать, ни ужинать...

— Куда же ты это, Кирюшенька, пропадешь на целый день? — спросила было мать.

— Да что я, малолеток, что ли, сказываться вам? — огрызнулся Кирилла.—Куда вздумается, туда и пойду... Не с вами ли сидеть да бобы разводить?.. То-то любо, подумаешь!..

И он ушел, хлопнувши за собой дверью.

И мать, и жена заметили, что он жирно намазал маслом волосы на голове, долго расчесывал их перед зеркальцем, надев новую ситцевую рубашку, хорошую поддевку и новые сапоги.

Они переглянулись между собой, когда дверь за ним захлопнулась, и некоторое время, молча грустно поглядывая одна на другую, прислушивались к шагам Кириллы на мосту и по лесенке крыльца.

— Опять, видно, к своей пошел... к подлой,— вздохнувши, проговорила Анна, когда не стало слышно шагов мужа.— Ах, ты, господи, господи!.. Опять, поди, что-нибудь понес к ней... Давно ли овес обмолотили, уж весь, почитай, продал, а где денежки — не вижу... Ах, горе наше, горе!..

— Сходи, дурочка, к гадалке... Сходи, говорю... Вот теперь ни его, ни отца целый день не будет, никто не хватится... Сбегала бы тем часом сичас,— говорила Федосья Осиповна.

— Да с чем я, матушка, пойду?.. К гадалке с пустыми руками не пойдешь, а у меня медной копейки нет...

— Дам я тебе, дурочка, дам... Две двугривенных дам, только сходи... Погадает,— только одну двугривенну дай, а скажет что в пользу али снадобья даст, и другую отдай... Целковый-рупь обещай, коли попросит, только бы дала да пользу сделала,— и рубля не пожалею, дам... А то еще маслица да яичек захвати,— подашь, как придешь, чтобы ее поманить-то, чтобы гадала-то хорошенько... Собирайся да поди, говорю...

— Больно мне страшно да и стыдно никак... Где ее найдешь, как взойдешь, что скажешь?.. Срамотушка!..

— То-то, дурочка... А ты спроси меня как... Порхачево знаешь?.. Иди прямо в Порхачево, а придешь: спроси гадалку Арину,— укажут... Станут спрашивать: почто нужно? Скажи: пропажа в дому сделалась... Она и на пропажу раскладывает... А к ней придешь, поклонись пониже, да на поклон-то подай перво, что принесешь, да попроси погадать... А станет пытать: о чем?.. Ну и скажи о судьбе своей и все свое горе открой,ниче-

го не таи... С ней таиться нечего... Все равно ей карта все покажет: они таки люди, им видно!.. Узнает она, кто такая, так проси отворота, а не узнает, не покажет карта: на себя приворота проси...

— А не грешно, матушка?..

— Кабы ты девка была али на чужого человека приворота просила, то грех, и я бы тебя не посылала, а ты об своем законе тужишь, мужа воротить хочешь... Какой тут грех, дурочка!.. Разве бы я стала посылать тебя, коли бы грешно-то было?.. Чай, я сама крещеная: греха-то боюсь не меньше тебя... Ступай-ка, ступай скорей, без сумления, пока время есть...

— До Порхачева-то ведь, матушка, верст пятнадцать, что больше: туда да назад боле тридцати будет.. Пешая то я скоро ли сбегаю: ближе ночи не ворочусь... А как он придет, а меня нет...

— Так что же? И того лучше: лошадь-то дома... Лошадь возьми, заложи да и поезжай... Вот!.. И того лучше: на лошади съезди... Дай карьке-то овсеца, да и сама бы перекусила...

— Ну, уж мне и кусок-от в горло нейдет... Вот карьке разве овсеца дать и вправду пока,— отвечала Анна и стала поспешно собираться.

Опустя глаза, стараясь смотреть в сторону, проезжала Анна через свою деревню: она боялась, что кто-нибудь из соседок остановит ее, станет расспрашивать куда поехала, и она не сумеет ответить так, чтобы не возбудить подозрение, не обратить особенного внимания на свою поездку. С жгучим, тоскливым любопытством, с надеждою и невольным страхом въезжала она в Порхачево. У первой встречной бабы Анна спросила: где живет у них гадалка.

— Гадалка-то?.. Есть, есть такая,— отвечала баба.— Живет точно... и гадает... Сказывают, отгадывает, точно... Тебе погадать, что ли?..

— Нечто...

— Сказывали тебе, что ли, про нее?..

— Нечто.

— Это, стало быть, тетку Арину тебе нужно, Арину Панкратьевну... Так ли тебе сказывали,— ту?..

— Сказывали только, что в Порхачеве, у вас живет... Гадает, чу...

— Ну, есть, есть... Это она самая и есть... Тетка Ари-

на... Больше никакой другой нет: одна она у нас гадает... Бывает, сказывают, сходится больно хорошо... Сама-то я не гадывала, не доваживалось, а от людей слыхала: одобряют, благодарят... А у тебя что же, несчастьице, что ли, повстречалось?..

— Да... В горницу лазили... одежду унесли.

— Эко дело, матка... Ну, так поезжай к ней, к тетке Арине... К ней прямо поезжай: она все тебе скажет... А много одежи-то унесли?

— Да порядком...

— Ночью, видать?...

— Да, ночью...

— Как? Через окно али как?

— Окно взломали,— нерешительно лгала Анна.

— А собак-то разве нет у вас?.. Неужто не лаяли?.. Али не слыхали, заспали?..

— Видно, заспали...

— Эка, девка... Бывает, матка, бывает... Вон намедни, не то у нас, грешных: церковь божию в Заболотье обокрали, железно окно — и то выворотили да влезли... И сторож есть, и часы, говорит, выходил ночью, бил, а не слыхал... Много, чу, сказывают, унесли денег из сундука... Так тебе к Арине Панкратьевне, к ней самой... Она те все скажет... Оченно ее благодарят...

— В коем же дому она живет-то?..

— А вот ее изба-то: на проулке-то... На самом на проулке... Вон видать... Вот это самый ее дом и есть... К нему прямо и поезжай...

— Покорно благодарю...

— Не на чем, чтой-то... Вот, она самая тут и живет... тетка Арина... К ней прямо и поезжай... Хоть у ворот лошадь-то покинь, а то у крыльца привяжи — все равно... Как же... гадает, гадает... Ступай к ней...

Анна еще раз поблагодарила словоохотливую бабу и поехала по ее указанию. Она остановилась у крыльца небольшой, но прочной и исправной избы.

Поднимаясь по лесенке на крылечко, Анна чувствовала, что от волнения у нее захватывало дыхание, дрожали руки и ноги. В сенях ее встретила благообразная, степенная женщина, с умными, проницательными глазами, одетая в темное платье и повязанная черным платком.

— Милости просим, матушка... Милости просим, по-

жалуй сюда,— приветливо говорила она, отворяя дверь в избу и освещая темные сени.— Входи, небось... Не сумневайся,— продолжала она успокоительным тоном, заметя смущение Анны.— Вижу: горе твое великое, несчастье твое тяжкое... Садись-ка, отдохни... Вот водицы испей, а после и об деле твоем поговорим... На-ка, испей... Моя вода в пользу тебе пойдет: с молитвой, на заре, из-за трех рек, с четвертой черпана, с молитвой и про тебя налита... Пей на доброе здоровье... От этой воды и недугам бывает облегчение, и вражий дух ее не любит... Отведай-ка со крестом, с молитвой...

Анна перекрестилась и выпила.

— Вижу я: страх на тебя напал и смятение... Может, сумнение есть у тебя супротив меня, не думай: все с молитвой творю, для добра, не для худа... Худа от меня добрым людям не живет, а бывает, сами люди худа себе наживают, которые люди неблагодарные, облыжные, злоковарные, что придут — кланяются, помочи просят, слезьми обливаются, а сделаешь им,— добра не помнят, да еще хулу и поношение изрыгают... Ты не такая: по глазам, по лику человека я вижу!.. Ну, только говори мне всю правду: в чем твое горе, ничего от меня не скрывай... чтобы вся душа твоя налицо была...

— Все, матушка, расскажу, Арина Панкратьевна... Так тебя звать-то? — говорила Анна.

— Я самая...

— Вот прими перво гостинчик от моей бедности... Не обессудь... Да помоги моему горю...

— Ну, в чем же твое горе-несчастье?.. Сказывай,— спрашивала Арина, спокойно принимая приношение Анны и откладывая его в сторону.— Хоть и знаю я твое горе и без твоего сказу, да мне душа твоя нужна чистая, открытая... Сказывай...

Анна со слезами рассказала о всех своих семейных отношениях, о нелюбви мужа и слухах относительно его связи со вдовою. Арина Панкратьевна очень ловкими вопросами поддерживала и направляла этот рассказ.

— Ну, что же ты, чего же ты хочешь? О чем просить будешь меня? — спросила она, выслушав Анну.

— Погадай ты мне, матушка, Арина Панкратьевна: не покажут ли карты мою злодейку, да нельзя ли как отворотить его от нее, чтобы не ходил он к ней, знаться бы перестал, а ко мне бы всем сердцем поворотился...

— Погадать — я погадаю, и что карта скажет,— ничего не потаю, все тебе открою... Только ведь я не вольна в карте: что хочет она, то и показывает; мое дело только карту понять да рассказать по ней... Коли покажет карта твою злодейку — твое счастье, а нет — не жалуйся... А только вперед тебе скажу: навряд ли покажет... Больно поздно ты пришла, много времени запустила,— огряз больно твой-то, заматерел: теперь если и дать что, не сразу его проймет,— может, не один раз придется тебе побывать ко мне да снадобья брать: от раза навряд ли поможет... А вот погоди,— попытаем: что карта скажет...

Арина Панкратьевна слазила в голбец и вынесла оттуда завернутую в тряпицу колоду карт; но прежде, чем приступила к гаданью, вышла и заперла двери из сеней на крыльцо.

— Беда нынче народ-то какой стал,— говорила она, возвращаясь и присаживаясь к столу,— опасаться надо нынче и добро-то делать людям... Вот и карты в голбец прячу, и запираюся... Охо-хо-хо!.. Ну, слушай, что тебе карта скажет...

Арина Панкратьевна видела в картах все то, что узнала уже от Анны,— и Анна слушала ее с напряженным вниманием и принимала ее слова как откровение, как разоблачение неведомой для нее тайны. То и дело она вздыхала и кивала головой в знак согласия или приговаривала: «Так, так, матушка, истинно так! Правда это настоящая! Такова моя судьба горькая! Все самую истинную правду карта показывает!..»

— Да, есть у него кралечка-зазнобушка,— есть!.. Вот все коло него выходит, как ни кидаю,— говорила, между прочим, Арина Панкратьевна.

— А какая она, матушка, какая,— не видать?..

— Из себя, надо быть, дородная, румяная; глаза юркие, зазывистые; речь бойкая, веселая... И живет не так, чтобы очень далеко от вас: недалеко — и неблизко же... И смотри-ка ты: не он один увивается около нее... Есть и еще... И тянутся они, борются: кто кого перешибет,— деньгами... И несет он, твой-от, несет ей, тащит,— а и много!..

— Уж как не много! Почитай, вовсе дом разорил,— соглашалась Анна со вздохом.— А узнаю я ее коли-нибудь,— увижу?..

— Узнаешь... В долгих ли,— не могу сказать, не видно, а узнаешь беспременно... От некоторого человека узнаешь: вот около тебя человек стоит,— вот видишь? — Он тебе все и скажет... А вот когда узнаешь, приходи ко мне: тогда и поделать можно будет,— заключила Арина Панкратьевна, смешивая карты.

— А теперь разве нельзя? — робко и грустно спросила Анна.— Не оставь, матушка, помоги... Вот прими за труды твои... Не обессудь.

Анна подала ей два двугривенных.

— Жалко мне тебя, бабочка, только трудного ты дела от меня просишь: сказываю тебе, глубоко это в него посажено,— не скоро выгонишь... Теперь, коли ему дать, больно тяжко ему будет: пожалуй, и не снесет...

— Ну, так нет, ему не надо, матушка... Не надо!.. Ей бы как... Нельзя ли?...

— И беспременно нужно ее отворотить... Когда узнаешь ее, приходи тогда... Может, поделаем...

— Матушка Арина Панкратьевна, я рубля не пожалею...

— Твое дело, милая душа, не рублевое... Кабы за рубль-то этакие дела делать, так не из чего и пачкаться, не из чего, при нонешнем народе, и себе заботу делать...

— Сколько же, матушка, прикажешь?.. Только бы силы хватило... Кажется, ничего не пожалею...

— Я цены никогда не уставляю: всякой по силе по своей благодарит... А только что одно скажу: для добрых я добра, для скупых — скупа... Сама я училась у человечка: не даром и мне это досталось... Вот тоже добродетельный был человек, много людям добра делал, от всяких болезней пользовал,— а не зря же: проймет кто его деньгами,— сделает, начисто поможет, выпользует... Ну, а кто поскупится, благодарности своей не покажет в полное его удовольствие,— по тому и пользу получает... Милая душа, ведь ноне не прежнее время, и мы-то платимся!.. Ты как думаешь?.. Нынче вон и староста придет, —попотчуй, говорит: ты гадаешь, людей пользуешь, воров показываешь... краденое находишь... А нынче, говорит, это настрого заказано, чтобы ни-ни, ни боже мой,— эвтим не заниматься... Угощай, говорит, а то донесу,— суду представлю!.. А тут с тем же сотский идет... Волостные — и те наведываются... да пристрастки делают... И всех угощай... Да довольно тебе сказать: вон, простые ре-

бята деревенские, молокососы,— и те становым стращают...— и те могарыча просят... Вот нынче какой народ-от стал отчаянный да завистливый!.. Жить-то не дают, добро-то делать мешают! Хоть совсем дело бросай и людей от себя отганивай... Да и бросила бы, коли бы не сиротство мое да не нужно было семью кормить, а то — две дочки у меня, а полосы нет, на сиротском положении живу: надо прокормиться, обуться, одеться... Да и народа-то жалко,— безотбойно лезут, ревут, просят: у того лошадь свели, деньги, одежу украли,— матушка, покажи; другому недужится, попортили добрые люди,— нельзя ли как снять, попользовать; а иной,— вот как и ты же,— с горем со своим, с большим, идет: то с женой, то с мужем нелады; то сведи, то разведи — просят... Ну, как не помочь, коли знаешь да умеешь?.. Думаешь себе: отказать,— и перед богом-то грешно! Ведь не с кем,— со врагом борешься!.. Иные думают, по глупости по своей, что мы со врагом-супостатом заодно, а я тебе скажу: нет, врагу-то неприятнее меня, потому — я супротив него со крестом да молитвой... Да и молитва молитве розь: в иной одни слова, а в другой — другие; надо знать, которые слова против которого действуют... Пожалуй, зря-то читай, которая не следует,— он не испугается; а уж против моей ему не устоять,— сдастся, потому — его от нее больней огня жжет, сердце у него выжигает!.. Такие есть слова тяжкие, что и саму-то трясет, как их сказываешь!.. Ну, да уж нечего делать: взялась людям служить, так поднимаешь это на себя, терпишь... борешься с ним, себя не жалеешь!.. Так-то, милая!.. Так было бы из-за чего все это терпеть-то!..

— Матушка, Арина Панкратьевна, ты меня не обессудь: теперь-то нет со мной ничего... А вот опять приеду к тебе, так уж ничего не пожалею: последнюю одежонку испродам да приду к твоей милости, поклонюся,— только не оставь, помоги...

— Приезжай, приезжай... Вот как узнаешь ее, так и приезжай...

— А узнаю я ее, матушка?...

— Уж сказано тебе, что узнаешь: от которого человека не думаешь, не гадаешь, от того все и узнаешь...

— Так покорно тебя благодарю за неоставление твое... И отойдет это все от него, от моего-то? Можно все

разделать с той-то, подлой, чтобы не знал он ее, не ходил бы к ней?..

— Об этом уж вперед не загадывай, а молись богу да на меня надейся... Помни мои речи: я не из тех, что слова на ветер бросают... Каждое мое слово к делу идет...

— Помню, помню, матушка... Не забуду... Покорно тебе благодарствую. Ровно легче мне стало: так на душе будто полегчало... И сама не знаю отчего: от речей, что ли, от твоих?..

— Как ты воды моей отведала, так тебе и легче стало... А слова мои сами по себе...

— Верно, верно, матушка!.. Дай бог тебе здоровья и всякого благополучия... Прощай, Арина Панкратьевна... Уж я теперь поеду к дому: тоже не близко место... Прощай, родная...

Анна ехала домой действительно успокоенная, полная надежды, что Арина Панкратьевна непременно возвратит ей мужа. Она думала о том, как бы только узнать ей поскорее разлучницу, и соображала, кто бы это мог быть тот человек, который нежданно-негаданно откроет ей тайну Кириллы.

«Только бы уж ее-то узнать, а уж отвороту-то я выпрошу у Арины Панкратьевны,— думала она дорогой.— Уж ничего не пожалею, а деньгами ее пройму: десять, так десять,— пятнадцать, так пятнадцать; шубу продам суконную, а ее ублаготворю, только бы сделала... Все равно разоряет же он дом на ту, а я, покрайности, для добра же... Шуба-то дело наживное, а как он вовсе-то уйдет из дома, то хуже будет... Кто ж бы этот человечик был такой?.. Не спросила я, дура: молод или стар? Мужик или баба?.. Да нет: человечик! сказала: стало — мужик...».

Анна никак не ожидала, что случай приготовлял ей торжественное подтверждение знахарства Арины Панкратьевны, что она встретит этого человечка еще дорогой и узнает, кто ее разлучница, не доезжая еще до дома...

II

Федя работал на фабрике, в столярной мастерской, и хотя надежда его попасть в машинное отделение не осуществилась сразу, но он не был особенно недоволен

своим положением. Он работал и жил один, вдали от шума и многолюдства фабричного, что вполне совпадало с его нравственным настроением: стругая, долбя, склеивая, он думал постоянно о Паране, и за этими думами скучная, однообразная работа кипела в его руках. Изредка заходил взглянуть на его работу Дмитрий Тимофеич, и хотя никогда не хвалил ничего, но не хулил и не бранился, а главное скоро уходил из мастерской, не забывая, впрочем, никогда проговорить: «Поторапливаться, поспешать нужно... копаешься!..» Федя понимал, что работой его доволен строптивый и нерасположенный к нему за что-то директор, и если говорит эти последние слова, так только для очистки совести, а, может быть, и с целью вызвать Федю на возражения, за которые, конечно, бы ему досталось. По совету Александра Кузьмича, он старался заслужить если не расположение, то снисходительность со стороны директора, и потому или молчал на его слова, или скромно говорил: «Постараюсь, Дмитрий Тимофеич!» На что этот последний всегда приговаривал:

— То-то, постараюсь!.. Старанья-то большого не видно: на словах вы только! Поштучно нанять,— жалованья бы не заработал!..

Федя очень хорошо понимал, что его работа обходится гораздо дешевле, чем платили мастеру, который работал поштучно, и однажды заикнулся было:

— Позвольте поштучно работать, Дмитрий Тимофеич?

Но тот сурово взглянул на него и прикрикнул:

— Пять раз, что ли, с тобой переряживаться: то помесячно просился, а теперь поштучно?..

Уходя, он сердито хлопнул дверью.

— За что невзлюбил меня Дмитрий Тимофеич? — спрашивал Федя у Александра Кузьмича.

— Да не то, что невзлюбил, а он прокуратит над тобой, ломается,— отвечал тот.— Не по мысли ему, что ты прямо к тятеньке прошел мимо него, и он тебя сам приказал взять... Ну, да и то: хвалили тебя очень да и сам видит, что ты не чета другим рабочим: и умен, и грамотен, и книги разные читал: они этого насмерть не любят!.. Полагают, что ты зазнайка, много о себе думаешь... А для нас, дескать, все равно, каков бы ты ни был: как другие рабочие, так и ты от нас кормишься, жалованье

получаешь... Значит, ты меня уважай, а мне тебя уважать не приходится!.. К тому же, вот ты порядков-то наших не знал, в шапке перед ним стоял, заговаривал точно с равным... Я с ним о тебе говорил, он так тебя и понимает, что в тебе форса много, уважительности нет никакой: посбить, говорит, надо спеси с него... Нам, говорит, рабочие нужны, а не физика его!.. Уж лучше бы ты не говорил им, что физику знаешь: покоя она им не дает... За нее больше тебя и пропекает... Известно: невежество!.. Сами ничего не знают, не понимают,— еле пишет... Вот и обижается, что простой рабочий умнее и больше его знает... Другое дело, как бы ты прямо в механики или в колеровщики поступил, да много знал, ну, это им нужно, тут бы они тебя уважали... А то простой рабочий, да еще с физикой и механикой!.. Как его не осадить?... Непременно надо осаживать, чтобы не зазнавался!.. Разбалованы мы больно... У нас ведь, брат, просто: и зуботычину, и трясоволочку рабочий съест,— обижаться не смеет... Да не то хозяин или директор: приказчик надругается,— и то молчи, а то с фабрики долой... Ну, да наплевать!.. Не обращай на них внимания!.. Главное: молчи, чтобы ни говорили, как бы ни ломались... Придет время,— и за тобой будут ухаживать!..

— Да ведь хорошо молчать, Александр Кузьмич, пока терпится... А как не стерпишь?.. Я вот смирный был завсегда, так меня и дома почитали... А, кажется, тронька меня, ударь, особливо без дела, да, кажется, ни за что не снести, кто бы там ни был...

— Вот он это по глазам у тебя видит... Этого-то он и не любит!.. По-ихному так: коли он деньги тебе платит, так он все над тобой делать может: нанялся — продался!.. А то ступай с богом: вовсе тебя не нужно, каков бы ты ни был... Вот коли узнают в тебе этакой задор, ни за что тебя приказчиком не сделают: у нас хоть воруй, мошенничай, да, главное дело, угождай, молчи и кланяйся... Вот тогда, пожалуй, пойдешь в люди!.. Ты знаешь ли: там, на старой фабрике, у нас сосед есть, фабрикант, тоже богатый... Так у него самый любимый приказчик жалованье большое получает и доверием пользуется, хоть известный плутяга. И хозяин знает, что он его обворовывает... А чем держится, как ты думаешь?.. Хозяин-то зашибается, а как очень переложит, так на него ярость находит: непременно надо ему кого-нибудь бить и тира-

нить... Вот вся семья к нему этого приказчика и подсылает, он над ним и ломается, ругает, срамит, бьет его, за волосы дерет, в рожу плюет... А тот не то обижаться, а точно за великую ласку себе принимает: поучи, говорит, батюшка, Никандра Тихоныч, от кого и науку принять, как не от вас, сильных людей, кого и бить, коли не нас, дураков... Вот какой подлец!.. И, говорят, уж большой капитал наворовал от хозяина... Вот у нас какие люди в ход идут!...

Александр Кузьмич часто забегал в мастерскую к Феде и иногда засиживался в беседе с ним, а иной раз, когда разговор не вязался, он сидел молча и бесцельно смотрел, как Федя строгал доску, распиливал ее или связывал какую-нибудь раму.

— Неужто тебе, Федор, не скучно за этой работой? — спросил он его однажды.

— Отчего скучно? За работой никогда не скучно,— отвечал тот.— Вот кабы без работы куда заперли, вот тут стосковался бы хуже, с ума бы, кажется, сошел...

— Да ведь работа работе рознь... Тут все одно и то же: думать-то не о чем...

— Как же не о чем: примериваешь, прилаживаешь, смотришь, чтобы и верно, и чисто было... Обо всем надо подумать... А бывает, правда, что руки сами делают, а ты в голове-то переберешь в то время и бог знает что, обо всем передумаешь... Не видишь, как и время идет...

— Я вот смотрю да дивлюсь на рабочих на фабрике: стоит он у ткацкого стана целый день, машина за него точет, а он только смотрит, где бы нитка не порвалась да путанка не вышла... И все одно и то же... Кажется, час постоять,— умер бы с тоски... А они ничего — веселы!.. И пускай бы жалованье хорошее получали, а то гроши какие-то... Бедность, едят чёрт знает что, в лохмотьях все, а все нипочем,— веселехоньки!.. А я вот и сыт, и одет, и заботы нет никакой, а брожу по фабрике-то точно тень: там постою, посмотрю, в другом месте постою, в контору зайду, смерть — тоска!..

— Оттого, что без дела, работы нет по мысли. Ведь и за другими надзирать — тоже работа: известно — поскучнее, чем самому делать, а все ж таки работа... Вон у вас десятники ходят, за ткачами смотрят, тоже дело делают, плату за него получают и скуки тоже не знают...

Надо, чтобы дело, которое делаешь, впрок шло, пользу приносило,— тогда не скучно...

— Вот и я то же думаю: оттого мне и не мило все, что я не сам по себе, а из-за чужой воли хожу да смотрю... Кабы выдумать себе такое дело, чтобы никто не мешал, не ввязывался, а сам бы себе полный хозяин... Вот бы хорошо! И затеваем мы одно такое дельце с Аленой Николавной... Хотим где-нибудь на деревне, потихоньку от тятеньки, школу завести для ребят, а, пожалуй, и для взрослых,— по праздникам... Приходи, кто хочет,— учись!.. Как ты думаешь?..

— А что же, это доброе дело... Уж как бы было хорошо, если бы сделали!..

— Право. Тут по ближним деревням наши фабричные ребятишки живут на квартирах: стали бы бегать, учиться в смены... Нанял бы я большую избу и учителя... А по воскресеньям воскресную бы школу сделали для взрослых, я бы сам стал учить, а когда можно,— Алена Николавна. И ты не хочешь ли?..

— Да я бы с радостью...

— И я так думаю, что если тятенька узнает, браниться станет, я уж не послушаю... не брошу этого дела... Да, может, очень и браниться-то не будет, потому я на свои деньги сделаю... У меня есть положение от него,— триста рублей в месяц: на эти деньги можно школу содержать... Пускай же Алена Николавна не смеется, что я паразит, на чужой счет живу и все для себя, а для людей ничего не делаю,— вот пускай же увидит, что и я могу делать!.. Так ты будешь с нами учить по воскресеньям?..

— С моим полным удовольствием...

— А учителем-то мы думаем твоего позвать учителя, переманить... Я ему хорошее жалованье положу и квартиру найму на свой счет...

— Уж не знаю, пойдет ли?...

— А ты поговори с ним... Ты вот что, Федор: в это воскресенье, когда тятенька и Дмитрий Тимофеич с сестрой лягут после обеда спать, мы сойдемся где-нибудь на совещание... И Алена Николавна придет... Мы и потолкуем...

— Я в это воскресенье-то хотел домой побывать,— проговорил Федя и весь вспыхнул.

— Ну, поспеешь еще сходить... В то воскресенье сходишь... А это дело такое, нужное... Надо непременно по-

скорее сообща перетолковать и согласиться... Нет, уж ты этот раз останься...

— Да разве ты без меня не...

— Нет, уж нет, чтобы и ты был непременно... Все сообща.. По крайней мере, доброе дело затеваем, не что другое... Нужно и насчет учителя столковаться, а после ты с ним и повидаешься, переговоришь... Этого откладывать нельзя... Я решился поскорее...

Тяжело было Феде отказаться от мечты повидать в ближайшее воскресенье Параню, но дело, затеваемое Александром Кузьмичом, казалось ему очень важным; при этом он вспомнил слова Василия Якимыча о себялюбии, о равнодушии к общественной пользе,— и ему показалось совестно отказаться. Скрепя сердце, через силу, он обещал остаться на это воскресенье на фабрике.

Условились, чтобы Федя пришел к Александру Кузьмичу часу в третьем пополудни. Федя шел на совещание мрачный: хотя он остался и лишил себя удовольствия, о котором давно мечтал, ради доброго дела, хотя он совершил, казалось ему, подвиг самоотвержения, но внутренне он не был доволен собою, страшно тосковал весь день, думая о Паране, и находил, что Александр Кузьмич мог бы обойтись на этот раз и без него. Анализируя себя, он с досадой задавал себе даже такой вопрос: не потому ли я только остался, что хозяйский сын мне велел?.. Кабы другой кто просил для того же дела, пожалуй, не послушал бы, как бы-нибудь отказался, отговорился!.. И что за совещание такое?.. Разве нельзя без него? Ну, надумали и сделали... Школу открыть, о чем тут совещаться! Коли деньги есть, нанял избу просторную да оповестил ребятишек: идите учиться, кто хочет, денег брать не будут: даром!.. Вот и все!.. Да был бы учитель хороший!.. И зачем я им на это совещанье?.. Вот разве насчет Василья Якимыча? Так сказали бы, что ему передать, я бы пересказал... А вот теперь: целую неделю опять сиди, а там Параня... бог ее знает, что с ней там делается... Хорошо, как дело из всего этого выйдет хорошее, доброе!.. А как так,— только одни разговоры?...

Не без робости вошел Федя в ворота хозяйского дома и был рад, что не встретил никого на дворе, проходя к крыльцу, через которое должен был войти в комнаты, занимаемые Александром Кузьмичом. Будущему владельцу фабрики была отведена для его жительства чуть

не целая половина нижнего этажа. Во втором этаже жил Дмитрий Тимофеич; там же помещался и Кузьма Иваныч, когда приезжал в Старое село. Комнаты, которые занимал Александр Кузьмич, хотя были тесно заставлены новомодной мебелью, выписанною из Москвы, казались совсем необитаемыми и смотрели как-то неприветливо, мрачно и скучно. Молодой хозяин действительно и не жил почти в них: целый день он проводил или на фабрике, или наверху, у сестры, а в своем отделении только ночевал или уходил сюда, чтобы почитать, когда навертывалась книга, и покурить потихоньку, так как курение табаку в доме Кузьмы Иваныча было воспрещено и для Александра Кузьмича составляло удовольствие запретное. Кузьма Иваныч, хотя не был раскольником, но держался старины, крестился большим, то есть двуперстным крестом и охотнее посещал единоверческую церковь, чем православную, хотя вообще не был особенно богомолен. Для спанья и для куренья Александр Кузьмич выбрал себе самую заднюю комнату, которая одна и была обитаема: через остальные он только проходил, никогда почти не останавливаясь в них. В настоящем случае, впрочем, Александр Кузьмич принимал своих гостей в одной из парадных комнат. Федю он заметил из окна, когда тот пробирался по двору, и встретил его еще в сенях.

— Иди, иди сюда, за мной,— сказал он ему.

Федя был несколько смущен роскошной обстановкой комнат, чрез которые проходил вслед за хозяином: он никогда еще не видал ничего подобного.

— Это вы куда же меня ведете? — спросил он вполголоса, проходя вторую комнату.

— К себе, к себе... Тут никого нет, кроме меня... Это мои комнаты...

— Все ваши?.. Во всех одни живете?..

— Да... А что?..

— Ничего... Больно уж много... Скучно, чай, одним-то?.. Сколько покоев, а одни...

— Да я и не живу почти в них, занимаю только одну комнатку... А так вот — отвели мне это отделение: вот, говорят, твои комнаты... Ну, мои и считаются...

— Да куда сэстолько одному... Тоска возьмет!.. Вот бы где школу-то завести: просторно бы, хоть сто человек вдруг соберись — не тесно...

— А вот все женить-то меня собираются, для того и комнат столько отвели... Неравно, дескать, женим, так вот и квартира ему с молодой женой.

Александр Кузьмич обратился к Феде и как-то печально усмехнулся. Федя промолчал.

Они вошли в комнату, где уже сидел один гость,— новое, незнакомое Феде лицо.

— Вот он, Захар Яковлич, механик-то наш, что я вам говорил,— сказал Александр Кузьмич, указывая на Федю.

Гость промычал что-то и, не вставая с места, протянул Федору руку. Федя с любопытством оглядел его. Это был угрюмый, хмурый, с длинными кудлатыми волосами, смуглый, худощавый молодой человек, в затасканном коротеньком пиджаке, который был надет прямо на красную шерстяную рубашку, выпущенную сверх брюк; на ногах у него были высокие, до колен, грязные, нечищенные сапоги. Он сидел на кресле, сгорбившись и уткнувши подбородок в ладонь левой руки, которая упиралась локтем в колено.

— Из барских или из казенных? — спросил он отрывисто, уставившись глазами в Федора и не переменяя позы, в которой сидел.

— Как — из барских?..— Нынче барских нет,— отвечал Федя, оглядываясь и выбирая место, где бы сесть или хоть стать в сторонке.

— Как нет?.. А временнообязанные чьи же?..

— Нет, мы на выкупе: собственники...

— Собственники! — усмехнулся гость.— Ну, значит, господские: господину становому и господину исправнику обязаны служить и повиноваться...

— Правда, правда! — сказал Александр Кузьмич, усмехаясь.— Садись, Федя... Садись вот хоть сюда... Что ж ты стоишь-то?..

— А вы кто же будете? — спросил Федя, неловко усаживаясь на мягкое эластическое кресло.

— Жеребячьей породы!.. Дьячков сын! — резко отвечал молодой человек.

— Из какого же села? — добродушно спросил Федя.

— Они студент... университетский... Вот кто! — подсказал Александр Кузьмич.

В это время послышались спешные шаги в соседней комнате,— и хозяин бросился туда.

— Насилу, насилу вырвалась,— послышался женский голос.— Ну, уж племяннички у вас, Александр Кузьмич: и видно, что будущие монополисты — эксплуататоры... Ни на минуту свободы и отдыха не дадут: забавляй их, занимай беспрестанно... Да ведь требуют, приказывают... Чёрт знает что такое... Насилу отделалась...

С этими словами в комнату, где сидели Федя и студент, вошла гувернантка Дмитрия Тимофеича, Алена Николавна, в сопровождении хозяина.

— А, старый знакомый, здравствуйте! — сказала она, увидя Федю и протягивая ему руку.— Ну, как поживаете?..

— Да ничего-с,— отвечал Федя, стоя перед нею.

— А что же, прочитали, что я вам присылала с Александром Кузьмичом?..

— Прочитал.

— Что, батюшка, каково?.. А?.. Что вы скажете?..

— Не знаю уж, как и сказать... Неужели уж все это правда?..

Алена Николавна засмеялась.

— Ах, юноша!.. Спрашивает: правда ли?.. Вас, видно, еще жизнь мало учила или вы неспособны наблюдать, или вы ретроград?.. Да вы посмотрите вокруг себя: что тут делается?.. Не только все правда, что вы там прочитали, но это только капля того зла, той мерзости, среди которых мы живем... О, еще с вами нужно много, много толковать! Я вам дам еще одну вещь,— прочитайте и подумайте... Да подумайте хорошенько, обсудите все!.. Нет, батюшка, тут нужно не такими вопросами задаваться: правда ли?.. А нужно действовать, нужно принимать меры решительные, энергические...

Разговаривая с Федей, Алена Николавна беспрестанно взглядывала на студента. Александр Кузьмич стоявший около нее, в ожидании когда она кончит разговор с Федей, заметил эти взгляды и прервал разговор, указывая на своего незнакомого для нее гостя.

— — Вот, Алена Николавна,— сказал он,— позвольте познакомить: студент из Петербурга... Захар Яковлич Промптов.

— А, земляк!.. Здравствуйте... Очень рада!..

Алена Николавна протянула руку.

— Мое почтение,— проговорил Промптов, неуклюже

привстав с кресла и как-то вбок кланяясь; затем опять уселся в прежней позе.

Алена Николавна поместилась около него.

— Медик? — спросила она его.

— Нет.

— Ну, так естественник?

— Почему вы думаете?..

Алена Николавна несколько затруднилась ответом.

— Так.. Куда же нынче идти, как не на естественный?.. Или по медицине, или на естественный...

— Не резон! — проговорил Промптов.

— Да, конечно... По крайней мере, реальные знания,— не метафизика!.. Естественник всегда может приложить свои знания к делу, принести пользу...

— Никакой... И знания у нас не такие, чтобы к делу прикладывать: зубрим классификации да и шабаш, а дай первую траву, что каждый мужик знает,— без атласа не определим... Так и во всем... Все вздор!.. А вы что: из институток?..

— Нет, слава богу, нет... Не институтка! — торопливо и с некоторым раздражением отвечала Алена Николавна.— Я кончила в гимназии...

— Ну, это маленько получше. Там уроки тверже учат...

— Я после того два года на лекции ходила...

— Это на педагогические курсы, что ли?..

— Нет... Там узко, односторонне: я ходила на все публичные лекции...

— По клубам, значит... Там читают хорошо,— проговорил Промптов как-то неопределенно, не то серьезно, не то с насмешкой, поглаживая свою бороду снизу от шеи вверх и закрывая ею лицо.

Алена Николавна вспыхнула.

— Вы смеетесь, что ли?.. Там все знаменитости читали... Я всех их слушала...

— Зачем смеяться... Я не смеюсь...

— Я в Петербурге во многих кружках была... Знаю всех... Отчего нигде вас не встречала? — спросила гувернантка тоже не без язвительности.

— Не приходилось, значит: до нашего не дошли...

— Однако, Александр Кузьмич, мы сошлись сюда для совещания... Надеюсь, что мы здесь все единомыслящи и можем говорить свободно?..

— Само собой, Алена Николавна,— отвечал Кошатников.— Я вам не успел сказать: Захар Яковлич привез мне письмо из Петербурга от таких людей... которых вы знаете... Я вам рассказывал, какие это люди!.. Они пишут, что это самый уважаемый человек, и просят меня во всем ему доверяться, если только я сам не переменился... А вы знаете, переменился ли я... Захар Яковлич неожиданно пришел ко мне, но я нарочно просил их остаться: думал, что они могут хороший совет дать нам в нашем деле.

— Это вы, барышня, на мой счет, что ли, сомневаетесь?.. Не сомневайтесь! — сказал Промптов.

— Я вас только об одном попрошу: не называть меня барышней, потому что я этого ненавижу... Кажется, я на барышню непохожа!.. Вы, конечно, меня мало знаете... Ну, так знайте, что я предана идее, может быть, больше, чем вы... И вы напрасно меня оскорбляете...

— Зачем оскорблять... Оскорблять не полагается никого... Вы не сердитесь!.. Сами вы первая меня заподозрили... Это вам только отместка...

— Ну, значит, мир! — с удовольствием вскрикнула Алена Николавна, протягивая руку Промптову.— Я добрая и сердиться долго не умею!.. Однако начнемте, господа: я того и жду, что меня хватятся и будут искать или что дети разбудят Лизавету Кузьминишну. Вот вы бы пожили в моей шкуре: совсем в осадном положении живу и под надзором полиции... Свободного шага сделать нельзя!..

Последние слова были с заискивающею улыбкою обращены к Промптову.

Тот великодушно промолчал.

— Ну-с, Александр Кузьмич, так приступайте,— обратилась она к хозяину. Молодой Кошатников сел поближе к своим гостям, откашлялся и с видимым смущением, конфузясь, начал говорить, обращаясь преимущественно к студенту:

— Вот видите ли, Захар Яковлич, что мы надумали... Как вы найдете?.. Желая послужить для общества... и принести пользу... Мы вот богаты, живем в роскоши, имеем большие барыши все через рабочих, а они бедствуют и необразованы. Надумали мы открыть для них школу... я на свои собственные средства, потому тятень-

ка у меня против всех этих школ, но только нужно сделать так, чтобы...

— Вы, я вижу, стесняетесь, Александр Кузьмич, говорить про ваши семейные отношения,— перебила его гувернантка.— Позвольте я объясню, как человек посторонний... Вот, видите, в чем дело: здесь, в семействе и на фабрике, две партии: одна ретроградная и обскурантная,— это тятенька и его зять, у которого я живу в гувернантках, с их сателитами, другая — прогрессивная и либеральная, к которой принадлежим пока только мы трое: вот я, Александр Кузьмич и он, Чернушкин... Вы понимаете, что на стороне первой капитал, власть и сила, употребляемые исключительно с эгоистической, эксплуататорской целью... А при этом, разумеется, и крайнее невежество, и вражда к просвещению и развитию массы. Отец Александра Кузьмича и слышать не хочет об устройстве школы для фабричных, а вы понимаете, что она необходима прежде всего... Вот мы и надумали, на личные средства Александра Кузьмича и без ведома его отца, открыть в одной из соседних деревень постоянную школу для детей и воскресную для взрослых рабочих... В последней мы будем учить все трое, а в постоянные учителя имеем в виду пригласить одного сельского учителя... из очень развитых и передового... С ним усилится и наша партия... Вот мы и собрались, чтобы потолковать, как это все оборудовать, наметить цель и программу...

— Позвольте,— остановил Промптов.— Все это очень прекрасно и похвально, только в сущности, я вижу, выйдет один вздор...

— Как вздор? Как вздор?.. Что вы такое говорите?— загорячилась Алена Николавна.— Я никак не ожидала, чтобы вы...

— Погодите же,— перервал ее Промптов.— Разве вы не знаете, что на открытие школы нужно получить разрешение?.. А если откроете без разрешения, то ее скоропостижно и прихлопнут, закроют... Да, пожалуй, и вас ко Иисусу потянут...

— Вы забываете одно, что здесь глухая деревня... Что о существовании школы власти узнают разве через год... А год слишком большой срок, чтобы научить грамоте сотни две рабочих... А это уже порядочная колония первых пионеров!.. От них через год выучатся еще двести человек... Вот вам и почва: сейте тогда! Притом на пер-

все время мы будем очень осторожны... А потом, если бы и пришлось пострадать, так что же?.. С радостью!.. По крайней мере за доброе дело... А фундамент все-таки будет положен....

—И ни почвы вы не приготовите, никакого фундамента не заложите, потому что почва-то никуда негодная, совсем непроизводительная... Ее нужно выветрить предварительно, только не такими мерами... Да не только год, месяца не продержится ваша затея... Первый ближайший поп донесет... Сами мужики пойдут на вас жаловаться...

— Ох, что вы такое говорите! — вскричала Алена Николавна.— Да вы отрицаете народ, вы не верите в него...

— Не верю...

— Как не верите?

— Так и не верю... Народ любит и идет только за тем, кто держит над ним палку и бьет его, а кто его любит и идет к нему с добром, того он сам бьет...

— Вы меня удивляете... Я не слыхала никогда ничего подобного от людей, которые...

— Мало ли вы чего не слыхали!.. На публичных лекциях об этом не читают...

— Вы напрасно остроумничаете... Я уже, кажется, вам говорила, что бывала во многих кружках и до сих пор нахожусь в сношениях...

— Мало ли какие есть кружки: в иных чай пьют и разговоры разговаривают, в других пиво дуют и дебатируют... Толк-то один и тот же... Дело, барынька, нужно, а не разговоры...

— Да я не вижу, барин, чтобы и вы какое-нибудь дело указывали! — вскричала Алена Николавна, уже совсем рассерженная.— Да разве школа — не дело?... Вот в ваших словах, так, кроме разговоров, я действительно ничего не вижу!.. Почва непроизводительна, никуда не годная, школа — вздор; нужны особенные меры: так какие же?.. Скажите!.. Ведь, чтобы говорить народу об ассоциациях, о рабочих союзах и о прочем, нужно, я думаю, его подготовить, чтобы он мог понимать, что ему говорят, а для этого нужно его учить или нет?.. Как вы думаете?..

— Думаю, что с этакими подготовителями и учителями он и через двести лет будет стоять на том же месте, где и теперь стоит...

— Да вы отрицаете даже прогресс... Так выскажите же ваши принципы, ваш profession de foi... Мы говорим с вами откровенно, нисколько не остерегаясь и не стесняясь... Скажите же нам, какие ваши идеи, принципы, цели и намерения...

— Это ради чего же я вам буду докладывать?.. Это для празднословия-то?.. Если я буду вам говорить, так разве тогда, когда вы придете меня слушать и слушаться... Когда вы решитесь и обяжетесь делать то, что вам укажут и прикажут... Когда вы согласитесь войти в организацию крепкую, строго обдуманную, хорошо управляемую и могучую, где никакие дебаты и празднословие невозможны, а требуется одно дело для действительной, несомненной, а не мечтательной общей пользы... Когда вы вырастете и окрепнете духом для такого дела, тогда сам Промптов или другой, такой же, как он, найдет вас и скажет вам это дело, пожалуй — объяснит и идеи, и принципы, и намерения... Я вам скажу, что в вас есть задатки и вы до этого дойдете, но теперь еще рано... А теперь пока устраивайте вашу школу: от нечего делать и это дело!..

Произнося этот монолог, Промптов точно преобразился: он выпрямился, гордо поднял голову, глаза его смотрели сурово, строго и горели огнем фанатика, все лицо его выражало решительную, непреклонную волю. Алена Николавна совсем притихла и смотрела на него чуть не со страхом и благоговением: она вдруг смирилась, почувствовавши силу, точно капризный конь в руках сильного и искусного наездника. С невольной робостью и уже прямо со страхом смотрел на него Александр Кузьмич, с любопытством и недоумением Федя. Промптов встал.

— Прощайте-ка,— сказал он, обращаясь к Александру Кузьмичу.— Я вам, кажись, мешаю только... Что ж ответить: будут деньги или нет?..

— Будут, будут,— отвечал поспешно Александр Кузьмич.

— Ну, ладно... Прощайте покамест. Вы на меня не сердитесь,— обратился он круто к Алене Николавне,— я вижу в вас хорошего человека, способного на настоящее дело... И если я говорил грубо и сурово, так, во-первых, у меня такая дурацкая манера, да и опротивели эти подлые вежливости, а, во-вторых, все ваши затеи и ваша

борьба кажутся мне ребячеством и шалостью... А все-таки и школа, если вам удастся ее устроить, дело в сущности хорошее, хоть и маленькое; для начала и оно не мешает!..

— Так вы советуете открывать ее? — почти в один голос спросили Алена Николавна и Александр Кузьмич.

— Если хоть двух-трех лишних чтецов выучите, и то заслуга... Прощайте, господа...

Промптов кивнул головой всем присутствующим и, не подавая никому руки, пошел вон из комнаты. Александр Кузьмич пошел его провожать.

— Что вы про него думаете? — спросила Алена Николавна у Феди, оставшись с ним наедине.

— А бог его знает,— отвечал Федя неопределенно.

— Но в нем видна большая сила и воля... Воля страшная!.. Этот человек на все пойдет.

— Мало он говорил-то, все больше загадками...

Воротился Александр Кузьмич, возбужденный и взволнованный.

— Вот человек-то! — говорил он.— Черт ему не брат!.. Даже тяжело и страшно с ним как-то... Вот уж этот за какое дело возьмется, так видно, что сделает!..

— А, должно быть, они что-то большое и серьезное затевают,— проговорила Алена Николавна.

— Да, да... Он мне и до вас намекал... И в письме пишут, только неясно... А школу-то и уходя опять советовал открыть...

— Вы мне после расскажете подробно про него и про всех ваших петербургских знакомых,— просила Алена Николавна.— А теперь нам надо же решить поскорее про школу: того и жду, что меня будут искать.

Снова началось совещание, результатом которого было поручение Феде переговорить с Василием Якимычем, а между тем Александру Кузьмичу приискать помещение для школы и квартиры учителя в ближайшей деревне. Алена Николавна, а также и Федя должны были распространять между рабочими мысль о необходимости учиться самим и заставлять учиться детей и подготовлять их к открытию, в скором времени, школы, против воли и желания главного хозяина и директора фабрики.

Федя ушел с этого совещания возбужденный, с отуманенной головой и недовольный. Масса неразрешенных вопросов толпилась в его голове; он чувствовал какую-то

неудовлетворенность, какую-то досаду и на себя, и на окружающих, что-то было неясное, странное, точно умышленно запутанное в таком простом и хорошем деле, как открытие школы; он не умел объяснить себе в чем именно, но чувствовал какую-то фальшь, притворство; точно все они, участвовавшие в разговоре, играли комедию, а между тем он верил в искренность Александра Кузьмича, в желание сделать добро со стороны Алены Николавны. О доброте последней он уже слышал от многих на фабрике: она ласкала грязных ребятишек, раздавала им свое белье, лечила и давала денег на лекарства больным. Больше всего смущал его Промптов: как можно высказывать такое презрение к народу, такое недоверие к нему, и с таким энтузиазмом предпринимать что-либо во имя общей пользы? Он сравнивал его с Василием Якимычем, находил между ними некоторое сходство, но и большую разницу: в учителе было тоже недовольство окружающим, раздражение и озлобленность, но не было и тени того спокойствия, самоуверенности и энтузиазма. В стремлениях и желаниях Василия Якимыча была какая-то неопределенность, неясность; Промптов говорил загадками, что-то скрывал, но видно было, что у него была ясная и определенная задача и цель.

Василий Якимыч старался доказать, объяснить, увлечь своими доводами и советами, этот говорил мало, ничего не доказывал, но говорил так, как будто имел право требовать и приказывать. Почему же?.. Кто ему дал это право?..

III

Наконец, настал давно ожидаемый праздник, в который Федя надеялся увидеть Параню. Как только пошабашили на фабрике, Федя отправился в путь, несмотря на то, что время шло уже к вечеру; ускоренным шагом он надеялся добежать до Онучина еще до ночи, застать Параню с матерью неспящими, повидать ее хоть минуту, и, смотря по приему и обстоятельствам, остаться ночевать у них, либо идти к Василию Якимычу, с тем, чтобы на другой день опять придти к Паране.

Уже совсем стемнело, когда Федя подходил к Онучину, но, к его удовольствию, в окнах избушек еще мель-

кали огоньки. И нетерпение, и радость, и какая-то беспричинная тревога наполняли сердце Феди: оно билось так сильно, точно хотело выскочить из груди. У него захватывало дыхание. Юноша должен был останавливаться на минуту, чтобы перевести дух. На улице деревни было совсем безлюдно и тихо, лаяли только из подворотен собаки. Вот, наконец, и избушка Парани.

Окна ее изнутри были чем-то завешены, но через занавески светился огонек, хотя и нельзя было видеть, что делается в избе. Но там еще не спали. Слышались голоса, смех. Федя остановился в нерешимости: входить или нет в избу. Вот мужской голос запел веселую, непристойную песню; ее прерывал женский хохот. Федя весь задрожал: голос певца показался ему знакомым. И неужели Параня слушает эту песню и хохочет вместе с матерью? А, кажется, слышался и ее смех: вряд ли Федя обманется и не узнает ее смеха,— такого серебряного, такого, бывало, радостного для него... Но вдруг песня оборвалась женским визгом: это взвизгнула Параня, наверно она!.. И среди этого визга... почудилось ли Феде, или вправду... как будто слышались поцелуи... Что там делается?.. Холодный пот выступил на лбу у Федора. Он рванулся к воротам, толкнул калитку, но она была заперта изнутри. Федя вновь подошел к окну с намерением постучаться и требовать, чтобы отперли ворота и впустили его, и поднял было уже руку, но остановился; в избе шла как будто перебранка, слышался топот ног, как будто один толкал другого, скрипнула дверь избы, огонь или потух, или его вынесли в сени. Федя замер в нерешимости, в ожидании, что будет дальше. Послышались голоса на дворе, шаги к воротам, из подворотни мелькнул свет: Федя сообразил, что провожают гостя, что свеча вынесена на мост, чтобы осветить двор. Он притаился за углом избы. Ночь была осенняя, темная: Федя надеялся, что его не рассмотрят, и стоял неподвижно, прислушиваясь. Щелкнула щеколда, отворилась калитка.

— Ну, ступай же, ступай,— говорила Дарья Тихоновна ласковым голосом.— Право, ну, спать пора... Ну, что под праздник колобродишь до полуночи... Ступай же, говорят... Завтра лучше днем приходи...

— Да, знамо, приду,— отвечал мужской голос, и в нем Федя тотчас же узнал голос Кириллы.

Вся кровь бросилась в голову юноши.

— Вот сердце-то вещун! — мелькнуло у него в голове.— Недаром тоска смертная была... Так ведь разве он к ней? Ведь не к ней!.. К матери, ко вдове!..

— Ты слушь-ка, повыдь-ка сюда, повыдь,— продолжал Кирилла, переступая подворотню.

— Ну, что еще? — спрашивала Дарья Тихоновна, выходя на улицу и притворяя за собой калитку.

— Я знаю ведь, подлая, отчего ты меня гонишь,— говорил Кирилла вполголоса.

— Да известно отчего: завтра праздник... Добрые люди давно спать ложатся... Нет на тебя дня-то...

— Нет, врешь, не оттого... А из-за Параньки!..

— Ну, известное дело, хоть бы и из-за нее... Девке спать хочется, а ты сидишь, да еще лезешь к ней, заигрываешь...

— Врешь, не хочется ей спать. Она сама рада... А ты зачем сторожишь нас, минутки не дашь посидеть одним?..

— Куда тебя одного пустить! Ты вон и при мне-то силом целовать лезешь в обнимку... Разве это дело?..

— Нет, не силом, а тебе завидно, что она сама ко мне всей душой, вот что тебя мутит...

— Так что ты, прокаженный, и к матке, и к дочке, что ли, хошь ходить... Перекстись!.. Будет с тебя греха-то и этого. Ты ведь женатый!.. Черт!..

— Так что, что женатый?.. Не твое дело?.. Ты думаешь, я из-за тебя, что ли, хожу к тебе чуть не ежедень да весь дом перетаскал сюда... Про тебя-то будет бы и шалевого платка да штофа водки... А тут дело такое пришло ко мне, смертное!.. Житья нет без нее... Вот тебе, сказываю!..

— Поди-ка, поди... Вишь ты, что еще выдумал!.. Рыло-то намочил... Пьяница!.. Забрало его, не помнит, что говорит!..

— Нет, помнит он, знает, что говорит... А слушай, Дарья: смерть моя пришла... Ни жить, ни быть без нее!.. Что хошь, спрашивай,— все отдам, весь дом изведу, только ты мне ее предоставь... Ну, хоть не мешай ты мне!.. Дай волю!..

— Да что ты, бахвал, что ты о себе полагаешь?.. По твоему ли рылу Паранька?.. Да ты сам-от продайся, и с женой-то, и с домом-то со всем, так ты пальца Паранькинова-то не стоишь... Да и не полагай: и смотреть-то она на тебя не захочет...

— Ну, уж это мое дело, захочет или нет... А ты сама не бахваться, а вот что думай: коли ты не уважишь меня, мы с ней сбежим потихоньку... Долго ли, коротко ли, а уж сманю я ее. Вот тебе сказываю!.. И духу нашего не услышишь... А нет, разбоем пойду: силой выкраду, а уж будет моя!.. А ты лучше подушевно делай, чтобы и тебе не голодать век... Я вот что надумал: распродам все, денег будет у меня достаточно... И поедем все вместе втроем куда ни на есть, в отдальную сторону жить... Торговать станем, разбогатеем... Почитать тебя стану...

— Убирайся ты и вправду... Что ты дуру, что ли, нашел? Испугать али обойти меня хочешь?.. Видала, брат, я на своем веку много эких бахвалов-то!.. Не испугаешь меня и на кривой-то не объедешь!.. Кабы у тебя тысячи в кармане-то были да вынял бы ты их и мне в руки отдал... ну, мы бы еще с тобой поговорили... А этак-то?.. Ступай-ка, проваливай!.. Вишь ты, он меня чем манит: уедем да торговать станем на два алтына, богатеть будем... Да ты сначала расторгуйся, да тут и приезжай за нами купцом да в карете... Вот мы с тобой и поедем тогда!.. Вишь ты!.. Пошел!..

Дарья Тихоновна хлопнула калиткой перед носом Кириллы и защелкнула ее. Кирилла торкнулся было в нее, но одумался и ушел. В избе Дарьи Тихоновны между тем погас огонь и все затихло.

Федя стоял некоторое время точно одурелый. Холодный пот капал с его лба, руки и ноги дрожали, в голове был какой-то туман. Он не мог связать двух мыслей. Ему хотелось и плакать, и броситься вслед за Кириллой, чтобы избить или задушить его, хотелось поскорее войти в дом, чтобы видеть Параню и с первого взгляда узнать, виновата ли она перед ним, чтобы обругать Дарью Тихоновну, высказать ей все свое презрение и негодование... Но сначала он не мог двинуться с места, не мог ни на что решиться, потом пошел было вслед за Кириллой, но, отойдя несколько шагов, снова воротился к избе Парани и бессмысленно смотрел на темные окна. Также полубессознательно, не отдавая себе ясного отчета в том, что делает, он постучал в окно. Ответа не было. Он постучал опять, с большей силой. Кто-то с воркотней подошел к окну, и Федя услышал голос Дарьи Тихоновны:

— Чего еще нужно? Ступай, говорят, домой... Полуночник!.. Сказано: не пущу... Чего галашишься?.. Дерев-

ню, что ли, хочешь взбаламутить?.. Хошь все стучись, не пущу... и с полатей не слезу... Ишь ты, собака!.. Право, пес!..

Федя понял, что эти слова относились к Кирилле, и хотел было откликнуться, сказать, что это не Кирилла, а он, но из сдавленного спазмою горла вылетел только неопределенный глухой звук; пересохший язык не мог вымолвить слова. Слезы душили его.

«Нет, лучше уж до завтра...— подумал Федя.— Теперь мне ничего не сказать, да и они спать легли... А завтра посмотрю... Может, и его там встречу... Бог с тобой, Параня, бог с тобой!..»

Юноша присел на завалинку у избы Дарьи Тихоновны, закрыл лицо руками и тихо зарыдал, вздрагивая всем телом.

В деревне уже все огни погасли, все кругом спало, темная осенняя ночь без луны, без звездочки на небе, непроглядною тьмою покрыла землю, когда Федя, не успокоенный, но несколько облегченный слезами, поднялся на ноги и, почти ощупью, на память, пошел по направлению к селу. Он решился идти к учителю, разбудить его, если бы даже тот спал, и попросить ночлега. Село было ближе к Онучину, чем Ступино, да он и боялся теперь, не повидавшись предварительно с Параней, встретиться с Кириллой; кроме того, ему нужно было видеть Василия Якимыча по известному делу. Он мог сказать ему, что пришел прямо с фабрики и потому запоздал, а завтра уйти пораньше под предлогом свидания с Федотом Семенычем и сестрою и необходимости к ночи воротиться на фабрику. Он желал скрыть от Василия Якимыча все, что сейчас видел и слышал, все, что выстрадал, и потому, подходя к селу, старался успокоиться, удалить от себя мысль о Паране и сосредоточиться на затеваемом деле и данном ему поручении. Федя знал, что Василий Якимыч будет очень доволен, если увидит, что ученик его интересуется общественными делами больше, чем своими личными.

«Да и чего я, в самом деле, очень уж так к сердцу принял,— успокаивал себя Федя: — ведь это Кирюшка хвастал, и Дарья Тихоновна нехорошие слова говорила, а Параня, может быть, тут ни при чем, ни душой, ни телом не виновата... Так только мне горько сделалось, что я не с тем шел, не того ждал: думал,— увидит, обрадует-

ся... А тут этот проклятый... А зачем же она смеялась на его песню, это ее, ее смех я слышал... Уж меня сердце не обманет!.. И он целовал ее... Я это чувствовал!.. Хоть она и завизжала, да это что... Кабы не захотела, не посмел бы он и подступиться... Да и не сидела бы она с ними, ушла бы!.. Разве мать велела?.. От нее станется!.. А ведь при других же она ей не велит быть... Значит, сама захотела?.. Ах, господи, что же это будет? Что мне делать теперь?..»

И снова, снова мысли Феди, против его воли, возвращались к Паране. Он шел и терзался, вздыхал, сжимал с бешенством кулаки, не раз готов был вновь зарыдать и посылал проклятия Кирилле и матери Парани.

Но вот и волостное правление. В одном окошечке его, в нижнем этаже, светился огонек. Это было окно квартиры учителя: значит, не спит еще. Федя вспомнил, что Василий Якимыч любил засиживаться по ночам, читая книгу или просто ходя из угла в угол с папироскою в руке; завтра же праздник, следовательно, ученья не будет, и Василью Якимычу можно спать хоть до обеда. Федя, сообразя это, остановился, чтобы собраться с духом и притвориться спокойным.

— Надо ему все рассказать: и про Александра Кузьмича, и про барышню, и про студента, и какие у нас разговоры, какие замыслы... Он обрадуется, что я попал к таким людям и что меня не взлюбил директор, и что я не заодно с главным хозяином, не в особенной милости у него, и понимаю, что это за человек, как он только себе желает и не думает о рабочих, презирает и притесняет их... Да, да, пускай же он не говорит, что я только для себя, что у меня в голове одна нажива, да... Об ней, о Паране,— я и виду не подам... А будет спрашивать, скажу: не видел, ничего не знаю.. Что ему за дело до нее?.. Зачем ему знать?..

Федя подошел к освещенному окну и заглянул в него. Комната Василия Якимыча была наполнена густым табачным дымом, сальная свеча тускло мерцала в этом дыму, стоя у изголовья постели, на которой навзничь лежал сам хозяин. За спинкою кровати не было видно его самого, но видна была рука с дымящейся папироской, которую Василий Якимыч то и дело подносил ко рту, выпуская затем целые облака дыма.

«Видно, что-нибудь нехорошо у него, чем-нибудь рас-

строен! — подумал Федя.— Всегда он так, как что не по нем: либо бегает взад да вперед, либо лежит навзничь да курит папироску за папироской...»

Федя осторожно постучал в окно. Василий Якимыч порывисто вскочил, нервно осмотрелся, прислушался и подошел к окну; застеняя рукою свечу, он старался разглядеть, кто был на улице, у него под окном.

— Это я, я, Василий Якимыч... Федя!.. Отоприте, пустите меня!..

— Федя! — с удивлением и как будто даже с радостью вскрикнул учитель.— Поди на крыльцо, сейчас отопру.

— Друг любезный!.. Какими это судьбами в этакое время?.. Откуда ты? — спрашивал Василий Якимыч, встречая своего гостя.

— Прямо с фабрики.. Нарочно к вам, Василий Якимыч, повидаться захотелось... Тоже идти не близко: вышел вечером, запоздал... Уж не обессудьте, не выгоньте, дайте переночевать...

— Что ты, братец... Да я тебе радехонек... Только не случилось ли чего с тобой: лицо-то у тебя что-то такое... невеселое?..

— Нет, ничего... С устатку, должно быть: поспешал, шел очень скоро... Верно оттого... А вот у вас так, видно, что-нибудь не ладно... Расстройство какое-нибудь... неприятность... Я к вам применился... Да и из лица вижу перемену большую...

Василий Якимыч, действительно, имел такой вид, точно пережил какую тяжкую болезнь: похудел, осунулся, лицо потемнело, глаза были желтые.

— Э, брат, жить не дают нашему брату! — вскричал он с раздражением.— Хороша ли, сладка ли наша жизнь на пятнадцать рублей жалованья в месяц, с работой с утра до вечера?.. Так и то отнять хотят, и этого лишить надо человека... Пускай издыхает на улице, как собака... Делаешь дело свое честно, желаешь добра искренне, не жалеешь себя для людей... Зачем? Кто тебя просит? Разве это нужно?.. Умей стоять на вытяжку, руки держи по швам, молчи, не возражай, когда какой-нибудь идиот глупости тебе говорит и глупостей требует,— вот что нужно! Вот в чем должна быть твоя служба обществу, твой долг!.. Лучше ничего не делай, лучше в два года не выучивай детей читать, лучше пьянствуй, играй в карты,

беспутничай, обирай с детей грибы и ворованные яйца, как делают другие, чем нарушать программу, учить детей тому, что не показано, развивать их головы, толковать о добре и чести... А главное дело: помни кто ты, какой ты червяк на белом свете, как легко тебя раздавить, уничтожить, и потому трепещи, унижайся, не смей рассуждать и думать, а не то что возражать и разговаривать!.. Ну, скажи, Федя, скажи по совести, не боясь меня обидеть: выучивались ли у меня сколько-нибудь толковые дети читать и писать в три-четыре месяца?..

— Да как же не выучивались: я сам видел скольких мальчиков...

— Ну, дальше: любили ли мои дети школу, привязывались ли ко мне, возбуждалась ли в них любознательность, лезли ли они ко мне наперебой с вопросами о том, о другом, о третьем,— с такими вопросами, на которые учитель обязан, не имеет права не ответить, если он не пошляк, не идиот и понимает свои обязанности?.. Ну, скажи по совести...

— Да что говорить, Василий Якимыч... Это не то, что я... каждый, мало-мальски толковый, неграмотный мужик скажет... Сколько раз мне приводилось слышать: удивлялись только, как к вам дети рвутся в школу, как они вас любят и как вам не надоест целые дни возиться с ними...

— Так это все верно, значит!.. Ну, а слыхал ли ты, чтобы я учил детей подлости, неуважению к их бедным неграмотным родителям, к правде, к закону?.. Чтобы я внушал им дух непокорности, самоуверенности, зазнайства, чтобы я развращал их детскую душу неверием и кощунством над тем, что для них святыня?.. Ну, обвиняй меня в этом, если можешь, если есть у тебя хоть какой-нибудь к этому повод... Не совестись, говори прямо...

— Как же я буду вас обвинять, Василий Якимыч, коли этого никогда не было... Кто же это может сказать?..

— Ну, вот видишь?.. А я все это делал, во всем этом я обвинен!.. Я привязывал к себе детей для того, чтобы развращать их, они плохо знают священную историю, которой не я их учу, потому, что я отвлекал их внимание своими рассказами и объяснениями, не входившими в программу, они были невнимательны, шаловливы и не-

послушны в классе священника потому, что я их так настраивал, они редко ходят в церковь не потому, что разбегаются на праздники по домам и что их не посылают в церковь родители, которые и сами не ходят, а потому, что я внушил им дух неверия и неуважения к религии... Это ребятишкам-то,— десяти-одиннадцати лет!... Они не умели показать ни страха, ни раболепства, ни благоговения к особе г. посетителя школы, а отвечали ему на все его вопросы бойко, смело, весело, как и следует детям... Значит, учитель внушает им неуважение к начальству — и прочее, и прочее... Господи, говорю, да ведь это дети, и притом дети деревенские, мужицкие, разве они могут понимать, что такое школьное начальство, которое они видят раз в год, и разве они знают, как нужно себя держать с ним? «Должны понимать и знать... И вот это настоящая ваша обязанность — внушить и растолковать им». Да, наконец, говорю, это тоже не входит в мою программу, как сельского учителя!.. За это окрик, дерзость: «*Ты* начинаешь, кажется, грубить... *ты* забываешься!.. Помни, с кем говоришь!..» Да, разве есть человеческая возможность ни за что, ни про что оскорбления выслушивать?.. Ну, и говорю: как же вы требуете вежливости от крестьянских детей, когда не знаете ее сами? Побледнел, затрясся. «А-а, вот каков!..» Уж тут ни *ты*, ни *вы* не сказал!.. «Хорош наставник! Хорош руководитель детей!..» И вот, брат Федя, велено убираться отсюда: последние дни в школе,— через неделю уж не застал бы меня здесь!.. И ведь главное-то, что обидно... Не то, что глупец и негодяй тебя не понял, оскорбил и лишает куска хлеба и любимого, единственного дела, к которому считал себя способным... Ну, тут можно еще и самого себя обвинить: зачем не гибок, не уступчив, не терпелив?.. Что делать: с волками жить, по-волчьи и выть!.. Не убежишь за тридевять земель, когда пить-есть нечего!.. А то, главное, досадно, что — как после узнал,— хоть бы и сподличал, и унизился, все бы равно было: у нашего попа жениного брата из семинарии за неспособность к риторике, что ли, исключили,— и мое место вперед еще ему было обещано... Вот что обидно и горько...

— Не горюйте, Василий Якимыч! — вскричал Федя,— я к вам с добрыми вестями пришел... Есть для вас место,— много получше здешнего будет!..

И Федя торопливо рассказал Василию Якимычу о предложении молодого Кошатникова.

Лицо учителя мгновенно оживилось.

— Вот, брат, это действительно радость для меня!.. Спасибо, Федя!.. И в самую критическую минуту!.. Да попасть в школу порядочного честного человека — это моя давнишняя мечта!.. Дело не подневольное, устроенное не ради корысти или официальности, но из чистого побуждения сделать добро... Да тут душу положить можно!.. Не то, что за такое жалованье, а меня только кормите да наготу чем-нибудь прикройте — я и тут бы пошел... Нет, еще, слава богу, есть, видно, люди на Руси!.. И как ты счастливо попал, Федя, в хорошую колею, к хорошему человеку!.. Ну, расскажи же, расскажи мне подробно, что это за человек, кто его окружает, как ты живешь, что там делается,— все, все расскажи подробно... Это что-то неожиданно счастливое, желанное!.. Рассказывай... Да погоди, согреем мы самовар,— давай на радостях чай пить... Или спать, может, хочешь? Так ложись на мою постель... Я спать совсем не хочу...

Но Федя также не хотел спать. Приятели обоюдными силами согрели самовар и уселись за него; удовольствие Василия Якимыча облегчило и душу Феди; он повеселел и подробно рассказывал о всем, что с ним было на фабрике, до последнего совещания включительно.

— Да, брат Федя, это, может быть, жизнь!.. Это не здешнее прозябание!.. Там видна возможность борьбы, возможность прямого добра!.. И этот Промптов!... Да, это загадка, но я ее, кажется, понимаю... Что же?.. Во всяком деле есть низшие действующие и высшие — регулирующие силы... А в этом деле, в деле народного блага, они равны по значению, потому что одинаково необходимы и полезны... Еще бог знает, что выше: быть ли непосредственно чернорабочим, как я, или направлять чужую деятельность? Тут еще могут быть увлечения, ошибки, деспотизм: а там — непосредственное добро и самопожертвование... И как я рад, Федя, за тебя, если бы ты знал!.. Теперь я попрошу у тебя извинения в моих прежних словах и предположениях: нет, я вижу, ты не таков, ты не пойдешь по опасной дороге... Ты прямо примыкаешь к честной стороне и становишься в оппозицию к одной темной, невежественной силе... Значит, я могу с гордостью сказать, что мое семя упало в тебе не на

бесплодную почву!.. Ну, а что же твоя любовь?.. Скажи-ка ты мне...

Разговора об этом Федя боялся больше всего; но вопрос Проскурова застал его врасплох: он побледнел, опустил глаза, и лицо его вдруг отуманилось. Напрасно он искал в голове подходящего ответа, который сразу устранил бы дальнейшие расспросы; он ничего не мог придумать и молчал.

— Что, али что-нибудь недоброе узнал? Ах, вот еще обрадуй: скажи, что эта дурь... ну, право, дурь, Федя... свалилась с тебя... Ну, что же молчишь? Ведь мы с тобой друзья! С кем другим, а со мной-то тебе грех и стыдно скрытничать... Выкладывай скорее все, что есть на душе... В эту минуту я сумею и выслушать, и понять тебя,— и, может быть, добрый совет дать или утешить...

— Вы смеетесь надо мной... Вы думаете, что это так только,— говорил Федя, который и сам почувствовал потребность высказаться, поделиться и чувством своим, и горем.— Вы не знаете ее хорошенько и дурно думаете о ней, а она... Это все мать!.. А мне тяжело, когда вы смеетесь или браните ее...

— Значит, не прошло еще... Ну, ну, говори, даю тебе слово, что ни смеяться, ни бранить ее не стану... Рассказывай все, коли хочешь, коли тебя это облегчит... Выслушаю как друга... А не хочешь говорить,— не надо, не сказывай!.. Мне только жалко тебя: все кажется, что тебя обманывают и что ты, вместо дела, на пустяки, на мерзость душу свою отдаешь. . Вот только почему спрашиваю, а то как хочешь... Твое дело!.

— Нет, я хочу сказать... Мне больше некому, как вам... Вы послушайте и посоветуйте мне, только не смейтесь и не браните ее, зря. Я ведь.. Все ведь я по-прежнему к ней, как и был . Нет, кажется, еще больше...

Федю опять душили слезы,— опять все прежние впечатления поднялись в его душе.

— Да, ну, ну, рассказывай,— полно уж, горе-голова!..

Несвязно, прерывисто, то бледнея, то краснея, рассказывал Федя всю историю своей любви, но когда дошел до последних событий, до случайно подслушанного им цинического разговора Кириллы с Дарьей Тихоновной, в душе его, среди злобного раздражения против этих двух лиц, вдруг поднялось чувство жалости к Паране, вместе с упреком самому себе, что он в ней усум-

нился, что он оскорбил ее напрасным подозрением и даже высказал это подозрение стороннему человеку. Он поспешил предупредить какой-либо вывод, какое-либо замечание со стороны Проскурова насчет Парани.

— Да нет, нет, Василий Якимыч, вы и не думайте, и не судите ее по этому... Тут она ни в чем не виновата: это все матка ее, да этот... Кирюшка... Она, Параня, не такая!.. Верно вам говорю, не такая!.. А вы лучше надоумьте меня, посоветуйте: что мне делать? как быть?.. Уйду я на фабрику, видать мне их часто нельзя, а он тут... этот Кирилла наш... Он отчаянный,— он на все пойдет!.. Что тут сделать?.. Вы говорили: как другу, расскажи мне все... Вот посоветуйте же мне... Я придумать ничего не могу, а что думаю,— все не дело... А только что мне не сжить без нее...

— Советовать-то, брат, тут мудрено, хоть я, правда, и сам напросился... Да я думал, надеялся, что у тебя глаза открылись и что мне придется только утешить тебя да помочь совсем эту обузу с плеч спихнуть... Кабы ты стряхнул с себя эту блажь, совсем бы ты был теперь человек настоящий... и годился бы на всякое дело... Ну, да нет,— видно, время еще не пришло!.. Так вот что: не будь же хоть бабой, поди к ним да и скажи прямо, что ты видел и слышал... И потребуй, что ли, там, чтобы его не пускали,— чтобы или ты, или он... Хоть, по крайней мере, увидишь, что они об тебе думают... Уж доведи, по крайности, дело до конца...

— А ну как мать скажет мне: убирайся! Тебя никто не спрашивает в наше дело мешаться!.. Я, мол, и знать-то тебя не хочу...

— Да денег-то ты несешь им?

— Да много ли денег!.. Что это!..

— Все-таки, значит, несешь... И вперед принести пообещаешь... Ну, так не бойся,— не скажут!.. Вот кабы без денег пришел,— то другое дело: пожалуй, и прогнали бы...

— Эх, Василий Якимыч, вы все про это... Да нет же, любит меня Параня, она обещалась ждать меня, ни за кого замуж не идти, кроме меня... Вон, и Николка говорил, что она все поминает меня... Я ведь два месяца слишком у них не бывал,— ни вести об себе не посылал, ни денег... Они, может, думают, что я и совсем от них отстал.. Нет, мне бы как только Кирюшку от них отлучить...

— Так скажи про него жене и отцу... Вот!.. Уж, брат, тут, если бабе скажешь,— усторожит!.. А отец старшина, и матку-то Паранину припугнет, потому— она подарки от Кирилла принимает, дом их разоряет...

Федя задумался и молчал. По лицу его видно было, что он рассеянно слушал Василия Якимыча, и что если он высказывался и просил совета, так только для того, чтобы говорить и думать вслух о своем недуге. Проскуров понял, что никакие советы его тут неуместны, что Федя поступит так или иначе, смотря по обстоятельствам и минутному побуждению...

— Ты только вот что помни, Федя,— сказал он ему,— что тебе стыдно отдаваться совсем этой любовной блажи, что у человека есть дело и обязанности, которым он должен служить, какие бы там у него ни были личные заботы и печали... А об этом я больше с тобой и говорить не хочу: мне и противно, и досадно становится... Ты не слюняй какой-нибудь и не барич-белоручка!.. У тебя вот очень уж нервная впечатлительность развита, точно ты в городе на романах вырос... Не забывай, что ты мужик, что романы тебе неприличны, что тебе надо работать и бороться, а не сахарничать... Нашему брату жизнь-то мачеха: на каждом шагу одни встряски да подзатыльники... Нам нужно на все быть готовыми, все уметь грудью встретить, всего своими руками да мозгами добиваться!.. А он тут будет об разлапушке думать да сахары с нею разводить... Наплюй! — Вот весь тебе мой дружеский совет!.. Больше об этом и говорить не будем...

Василий Якимыч ходил взад и вперед по своей каморке, пыхтя папироской. Федя сидел у стола, подперши голову рукою, мрачный, печальный.

— Да,— говорил он сосредоточенно,— и я мужик, и Кирилла мужик, и оба мы живем и делаем всяк по-своему... И у всякого сердце свое!.. Я от работы не бегаю, дома не разоряю, зла никому не хочу и не сделаю... А уж коли пала Параня мне на сердце, так не отнять ее у меня Кирилле... Не бывать этому!.. Ладно же, я знаю, что я сделаю!..

Федя поднял голову и смело тряхнул ею. Лицо его оживилось и повеселело: в голове его вдруг сложился план, который давал ему надежды, успокаивал его. Он встал.

— А ведь уж не рано, Василий Якимыч...— сказал

он.— Смотри, скоро утро... Время, чай, соснуть и вам: я, может, мешаю вам... Ложитесь, а я пойду вон в школу да там прилягу на лавках... Как рассветет, так и уйду... Попрощаемтесь теперь... Я уж вас завтра не потревожу...

— Да куда же ты так рано-то?.. Что надумал еще?..

— Ведь мне нужно побывать и у своих, и на фабрику, хоть ночью, воротиться...

— И туда? — спросил Проскуров, улыбаясь.

— И туда, Василий Якимыч, не хочу лгать, туда прежде всего... А что надумал,— после скажу, коли сделается: теперь говорить не стану, и то вам надокучил... Да ведь мы, чай, скоро и увидимся там, на фабрике...

— Да, да, я скоро приду, вот только здесь совсем рассчитаюсь, и тотчас туда... Так там и скажи, что согласен и рад!.. А вот, брат, что: я-то спать вовсе не хочу, да и завтра у меня целый день делать нечего,— высплюсь... А тебе так вот нужно отдохнуть и укрепиться: ложись-ка на мою кровать, а я свечку унесу в класс и буду там ходить и курить: и тебе свет не мешает, и мне просторнее... А завтра чем свет я и разбужу тебя...

Федя было уперся, но Василий Якимыч настоял и уложил его на свое, не мягкое, впрочем, ложе.

Усталый, измученный и физически и нравственно, Федя скоро уснул, но Василию Якимычу, который остаток ночи промаршировал по школе и выкурил бессчетное количество папирос, не удалось разбудить приятеля. Он вскочил на ноги, едва только стало светать, наскоро попрощался с учителем и ушел.

— Ну, брат, совсем ты Ромео из Ступина! — сказал Проскуров, усмехаясь и провожая приятеля.

IV

Дарья Тихоновна и Параня проснулись поздно. Николка, по случаю праздника, находившийся дома, натаскал дров и опять залез на полати. Мать растопила печку и приготовлялась стряпать, а дочь только что встала, лениво потягиваясь, сидела на лавке и медленно расчесывала гребнем свою длинную косу.

— Матушка! — окликнула Параня.

— Что?..

— Чай, поди, опять придет сегодня...

— Кто?..
— Ну, кому больше: знамо, Кирилла...
— Как, чай, не придти... Придет!.. Обещался!..
— Мне уйти из дома-то или нет?..

Дарья Тихоновна отвечала не вдруг, а подумавши и нерешительно:

— Как знаешь... Перво, пожалуй, посиди... А тут, коли станет дурить, да если мигну, так уйди...

— А он ко мне пристает... Отбою нет! — проговорила опять Параня после некоторого молчания.

— А ты не приманивай... не подпускай... Оборви его хорошенько...

— Да, пожалуй... Пытала: хуже только!..
— Ну, полно врать... Захотела бы, отстал сразу...
— Не таковский парень!.. Неотвязный!..
— Ты, дурочка, не думай... Ведь он женатый!..
— Так разве я не знаю...
— А ты почем знаешь?..
— Недавно узнала, сказали...

— Да ведь и мне-то недавно сказали... И поди ж ты, сколь времени таился!.. Перво на базаре, в трактире, мы с ним повстречались... Робят-то упросил, видно, не сказывать, что женатый, боялся, видать, что до домашних дойдет, и из другой деревни сказался... Так за холостого и шел... Недавно, недавно я его уличила...

— Что же он?

— Ничего, хохочет, смеется!.. А тебе, говорит, что за дело, женатый я или холостой?.. Как, я говорю, что за дело?.. Кабы я прежде знала, что ты женатый, так, может, я бы и в избу-то тебя не пустила... Для того, говорит, я холостым и хожу!... Поди ты с ним!...

— Он веселый!... Лихой!...

— Лих-то он, лих... Да боюсь уж я, как бы беды с ним не нажить...

— А что?..

— А то,— отвечала Дарья Тихоновна и взглянула на полати.

— Николка! — окликнула она сына и подождала, но ответа не получила.

— Спит! Ничего... не услышит! — сказала Параня, сразу понявши мать.

— Ты знаешь ли, чей он сын-от? — спросила Дарья Тихоновна вполголоса, подойдя близко к дочери.

— Знаю, старшинов... Да отец-от его отделил... Нето отделил: все ему предоставил,— и дом, и все!...

— Он отбился у отца-то... Ведь он, сказывают, деревню спалил... в остроге два года сидел... Ведь он бедовый!.. Не знаю, как отделаться-то от него... Я уже давно вижу, что он к тебе пристает... Думала, не вижу, что ли?.. Вижу!.. А ты знаешь ли, что он вчера мне загнул?...

— Что?..

— Отдай, говорит, мне Параньку... Я весь дом, все именье распродам... Уедем, говорит, куда подальше да и будем жить... А то, говорит, все равно сманю я ее. Это тебя-то... Сама убежит со мной... Либо, говорит, силом выкраду!.. От него все станется: он отчаянный!.. Вон глазищи-то какие: ночь темная!..

— Ты что же ему сказала?

— Ну, что сказать-то: известно — обругала!.. А ты вот зачем его приманивала-то?.. Видно, потачку давала, коли такие речи говорит?..

— Да чем я его приманивала? Ничем не приманивала... Сама же велела, чтобы не уходила, как придет...

— Так ведь, дура, я думала — холостой да богатый: больно уж он машист, так деньгами-то и швыряет...

— Ну, так ведь и я тоже думала, что холостой... А ты видала ли жену-то его?...

— Нету, да что мне за корысть?..

— Ведь она Федина сестра...

— Знаю... Только я ему и не заикалась про Федора-то, точно и не слыхала про него никогда...

— Где-то он, сердечный?... Ни слуху, ни духу нет про него!... Вот с Николкой обещался побывать, да так и не пришел...

— Да, вот, верь им! — наставительно сказала Дарья Тихоновна.— Наобещают с три короба, а после и нет ничего..

— Ну, этому поверить можно!.. А, видно, что-нибудь нельзя никак... На-ка, матушка, разбери мне косы-то сзади...

— Да что, уж очень люб, что ли?.. Кажись, не тоскуешь по нем? — спросила Дарья Тихоновна, исполняя просьбу дочери.

— Тосковать-то не тоскую, а все думается: больно уж он меня-то полюбил... Так полюбил, так полюбил!.. Да уж больно смирен, поступчив... Вей из него веревки...

Только в глаза смотрит!.. Этакой робкий парень, а душевный... И говорит сладко: не как наши оглашенные...

— Да ничего ведь нет у него... Бедный!..

— Кабы не беден-то, так что бы!.. Лучше бы его не надо!... Да обещал разбогатеть... Просил только годок подождать...

В эту минуту двери избы отворились, и в них показался Федор. Обе женщины вскрикнули от неожиданности. Параня с распущенными еще по плечам волосами была особенно хороша, и Федя как вошел в избу, так и остановился, точно окаменелый, любуясь на нее. Он не мог отвести от нее глаз, не в силах был промолвить слова, забыл даже поздороваться. Параня, вскочившая было с лавки навстречу Феде, остановилась, вспомнивши о своих распущенных волосах, засмеялась и с лукавой улыбкой, кокетливо поглядывая на Федю, схватила платок и начала торопливо повязывать им голову. От этой улыбки, от вызывающих взглядов Парани, от всей ее красоты у Феди потемнело в глазах. К нему подошла Дарья Тихоновна.

— Вот легок на помине-то, Федор Герасимыч,— приветливо говорила она,— только что мы с Параней тебя поминали...

Голос Дарьи Тихоновны вывел Федю из столбняка, заставив его опомниться и отвести глаза от Парани.

— Здравствуйте, Дарья Тихоновна,— отвечал он, чувствуя, что вся кровь прилила к его лицу. Он застыдился, точно школьник, пойманный за непозволительной шалостью, и в то же время вспомнил все впечатления вчерашнего вечера, вновь почувствовал злобу и негодование против матери Параниной. Но он дал себе слово до времени не подавать вида, что знает о посещениях и намерениях Кирилла.

— А я полагал, что вы не то, что вспоминать... и думать-то обо мне перестали,— продолжал Федя с улыбкой,— особливо вы, Парасковья Михайловна... Здравствуйте...

— Здравствуйте,— отвечала Параня, успевшая уже повязать платок и заглянуть в висевший на стене верешок зеркала.— А вот и напрасно... Вон вы как нас застали... Не ждали никого эку рань, а все же про вас поминали...

— И как это может быть, чтобы мы эких дорогих приятелей своих забывали, как вы?.. Да разве это может статься? — подхватила Дарья Тихоновна.— Садитесь-ка, гость дорогой. Уж не обессудь, в чем застал. Параня-то недавно встала, а я за стряпней.. Да не то, что забыть тебя, а дня не проходило, чтобы не поминали: где это наш друг сердечный, куда это он закатился?.. И не вздумает, и не вспомнит про нас, сирот?.. Что это, родной, и сам-деле тебя давно не видно?..

— Да все за делами... Никак невозможно было: то дома у батюшки работу управлял, а теперь вот на фабрику поступил...

— На фабрику! — вскричали мать и дочь в один голос.

— Да, поступил...

— Ну, вот как!.. Хорошо ли же пришлось?.. По каким делам-то?..

— Да пока все слава богу... Дела мне разные там будут: и по столярной части, и около машин!...

— Значит, и жалованье хорошее получаете?..

— Да жалованье,— это что! Сегодня одно, а завтра и вдвое дадут, смотря по делу... А то главное, что с хозяйским сыном очень уж мы подружились... Так полюбил меня!.. И человек чудесный, добрый!.. И вся фабрика эта его будет: сам-от старик нарочно ее для него и построил... Богачи страшные!

— Что же, вам тут хорошо будет очень, Федор Герасимыч, коли хозяева вас так полюбили... Уж это на что лучше!...

— Да, слава богу!... А где же Николаша-то ваш?..

— А вон спит на полатках... Да пора ему вставать... Вот я сейчас его разбужу,— сказала Дарья Тихоновна.

— Зачем, Дарья Тихоновна?.. Не нужно!.. Пускай его спит: сегодня праздник!.. Я только к тому, что здоров ли, мол... Меня сокрушало, что я точно позабыл о нем, а я не забыл. Вот получите денежек... я принес,— на его обученье...

Федя стал вынимать из кошелька приготовленную бумажку.

— Чтой-то, чтой-то, Федор Герасимыч,— встрепенулась Дарья Тихоновна.— Уж заботы твои велики о нем, совестно даже...

— Теперь время зимнее подходит, тоже одежу нуж-

но ему справить: шубу, сапоги теплые... Вот красненькую бумажку я пока принес... Получите...

— Ну, чтой-то, право, ну, совестно... Себя ты не обижаешь ли, Федянушка? — говорила Дарья Тихоновна, принимая деньги.

— Нету, не беспокойтесь!.. Теперь бог милостлив!.. Деньги будут!..

— Спасибо, родной, голубчик, спасибо... Дай бог тебе здоровья!.. Не оставляешь ты сирот!...

Федя мельком взглянул на Параню. Она сидела, опустя глаза в землю.

— Мне ведь вот нужно поторапливаться еще побывать к сестре да к Федоту Семёнычу... А к ночи нужно на фабрику поспешать,— говорил Федя — Я к вам на минутку только...

— Чтой-то, чтой-то... Побойся бога!.. Нет, не пущу не поевши... Вот печь растопилась. Яишенку сделаю да блинков напеку... Как можно, экой гость дорогой, сколько времени не бывал, да я его так отпущу, голодного!.. Чтой-то, не обижай!.. Водочки, знаю, не кушаешь...

— Нет, еще, благодарю бога, не приучился.

— А вот что: блины-то блинами, а я сейчас сбегаю,— у суседки самоварчик промыслю, чайку у меня испей... Да посиди, батюшка, не торопись. Поспеешь еще... Не пускай его, Паранька... А я сейчас сбегаю...

Дарья Тихоновна проворно юркнула из избы.

Федя, оставшись один, взглянул на Параню. Та смотрела на него светлым, открытым взглядом и улыбалась тою улыбкой, которую Федя никогда не мог вспомнить без трепета, и теперь он чувствовал, как сердце колотилось у него в груди. Так, молча, смотрели они друг на друга несколько мгновений. Наконец, Федя вдруг встал и пересел рядом с Параней.

— Так как же, Параня, не забыла ты меня?

— Видно, не забыла, коли вспоминала...

— И никого не полюбила другого, пока не видались?..

— Кого здесь полюбить-то?..

— А кабы было кого, так полюбила бы, значит?...

— Не знаю... А ты бы еще года на два запропал...

— Так велик ли срок-то, по который ждать хотела меня?..

— А вот как бы забыла, так и ждать перестала...

Федя вдруг схватил Параню за руку.

— Паранюшка, солнышко, скажи всю правду, не обманывай меня: никого ты не полюбила, ни с кем не играла без меня? — спрашивал Федя таким голосом, с таким огнем в глазах, что Параня подозрительно взглянула на него.

— Да нет же, полоумный, говорят тебе,— нет...

— Скажи еще: и не целовалась ни с кем?...

— Вот пристал... Да нету, нет!..

— А Кирюшка? — прошептал Федя, и глаза его вспыхнули злобой.

Параня покраснела, но тотчас же оправилась.

— Вот еще выдумал,— сказала она со смехом.— Не его ли уж, думаешь, полюбила, не он ли тебе что нахвастал?.. Пристает он ко мне, точно, надоел даже до смерти... да мне-то он ненадобен... Хоть бы его и вовсе не было!.. И матушке-то он надокучил, не знает, как от него отвязаться...

— Сердечная ты моя! — вскричал Федя, сжимая Параню в объятиях.

— Отстань... Что ты... Смотри: вот Николка проснется,— шептала Параня,— либо мамонька взойдет.

— Мне теперь все равно!.. Слушай же, Параня... Коли точно ты никого не любишь, а обо мне вспоминала, коли не забыла наш уговор, так вот что: приходи и ты на фабрику, где я живу, вставай на работу там... Дело немудреное и нетяжелое — около стана стоять... А тебе деньги будут платить... И видаться будем каждый день... Мне без тебя не житье! А вот еще немного, дай только справиться с делами, место мне дадут хорошее, тогда и повенчаемся... Здесь жить тебе нечего. На одном стыду да на худой славе живешь, без дела без всякого, бог знает как... А там, по крайности, хоть небольшой, да свой кусок хлеба заработаешь, своим честным трудом,— не на подлые подачки жить будешь... Что же, Параня? Согласна? Пойдешь?..

— Чудной ты, право!.. Ничего я не знаю, не умею... Что и за фабрика-то не видывала, а ты меня работать зовешь туда...

— Этого не бойся, не ты первая... Там и без тебя много приходят, что ничего не умеют, а нанимаются,— выучиваются и денежки зарабатывают...

— Да как я пойду? Меня и мамонька не пустит...

— Так вот что: пускай и мать идет, и Николку возь-

мите,— всем работа будет... И школа для Николки будет... И жалованье дадут ему, и учить будут даром... Вот на что лучше!..

— Не знаю уж... Навряд ли мамонька пойдет от своего дома... А дом-от как же,— бросить, что ли?..

— Да что ваш дом, чего он стоит? Заколотить его, оставьте до времени... Не худо бы и матери твоей честным трудом пожить, не до старости же этак...

— Ну, уж не знаю, говори с ней сам, коли хочешь да не боишься, что она тебя шугнет...

— Да я не боюсь и говорить с ней буду, только ты-то ее не отговаривай... А коли одну отпустит или с Николкой, так иди, не отнекивайся...

— Не разберу я тебя. Мудреное ты нечто затеваешь... Коли купец тебя любит, жалованье тебе хорошее дает, так на что же тебе, чтобы и я, и мы все работали?.. Неужто ты, как и женишься-то, так от хороших достатков работать меня думаешь посылать?..

Федя не успел ответить Паране. На мосту послышались шаги Дарьи Тихоновны. Он отошел от Парани и сел на прежнее место, но опытной «барыне» достаточно было одного взгляда, чтобы догадаться, что Федя не сидел неподвижно и молча, на одном и том же месте.

— Ну, вот и хорошо, что не пустила его, Параня... Спасибо, что остался... А то — как это можно... Не поевши хотел уйти. Вот я сейчас и самоварчик наставлю,— тараторила Дарья Тихоновна, выгребая углей из печи для самовара.

В это время проснулся Николка и, протирая глаза, посмотрел с полатей вниз.

— А, пришел! — сказал он радостно, увидя Федю.

— Здорово, Николаша! — отозвался Федор.

Мальчик проворно слез и подошел к гостю.

— Вот ждали, ждали, да и дождались,— говорил он, здороваясь с гостем.— Думали, не придет-то!.. Вот пришел!..

— Кто думал?..

— Кто?.. Да вон мамка и Паранька...

— А кто же это, Николаша, ты тогда,— помнишь, говорил мне, что к вам вожеватый, с гармонией-то, часто без меня ходил?..

Дарья Тихоновна засуетилась и хотела было предупредить ответ сына, но не успела.

— А Кирилло-то Федотыч,— ответил мальчик.

— Как Кирилла Федотыч?.. Да ведь это мой зять, на моей сестре женат... Разве он к вам ходит, Дарья Тихоновна?.. Я и не знал...

— Как же, заходит когда,— отвечала она, старательно раздувая самовар.

— А я и не слыхивал от него. Хоть бы когда заикнулся!.. Так неужто с этого сплетку сложили: на деревне бабы сестре проходу не дают, все смеются, что Кирилла совсем дом забросил, все ко вдове шляется... Неужто это про вас?..

Дарья Тихоновна торопливо выслала из избы, под каким-то предлогом, Николку.

— Уж этого не знаю — про кого,— ответила она, когда Николка ушел,— а только что зятек твой надокучил. Не знаю, как от него и отделаться...

— А что же?..

— Да надоел. Лезет и во-время, и без время... И бахвалист очень: придет, деньги кидает зря... Сначала холостым даже себя показывал... Не люблю я этаких!.. А поступить с ним грубо боюсь... Говорят, он отчаянный!.. С ним беда!.. Деревню, сказывают, свою спалил со зла...

— А вот что, Дарья Тихоновна, ведь я вчера весь ваш разговор за воротами с Кириллой слышал... Я ведь тут стоял у вас под окнами, только что в потемках-то вы меня не видали... Я и стучался к вам после того, хотел было зайти, как вы думали, что Кирилла стучится...

Дарья Тихоновна совсем смутилась от неожиданности, заглянула без надобности в печь, торопливо схватила кочергу и стала мешать дрова; но она была не из тех, чтобы совсем стать втупик, скоро собралась с духом и надеялась вывернуться из затруднения.

— Ну, так вот, Федор Герасимыч,— заговорила она,— коли сам слышал, так нечего тебе и рассказывать... Каков разбойник!.. Ну, что с ним поделаешь? Куда от него денешься?.. Живу я одна, сиротой, без мужика. Долго ли этакому отпетому обидеть нас!.. Уж, право, и не знаю, как бы его от нас отвадить... без греха да без беды какой...

— А вот как, Дарья Тихоновна... Отпустите вы Параню с Николкой на фабрику, где я живу... Там много и женщин, и ребятишек работает,— и их наймут... Уж коли нужно будет, я молодого хозяина о них попрошу, он для

меня все сделает... А тут тем хорошо, что не только они оба деньги будут зарабатывать, а Николка и в школу будет ходить... Даже и Парасковья Михайловна, коли захочет, так живо грамоте выучится, потому у нас там и для больших школа откроется по праздникам... Опять же и я могу ей пособить во всякое время... Вот, подумайте...

Дарья Тихоновна что-то соображала и отвечала не вдруг.

— Да что же они оба там делать-то будут? Работа-то какая, и какое им жалованье пойдет?.. Может, не по силам и работу-то дадут, а жалованье малое будет? Я не хочу их на муку-то пускать...

— Муки никакой не будет и работа не так, чтобы тяжелая. Паране у стана стоять да смотреть, как он точет машиной, а Николке цевки сучить дадут или что другое,— по годам его... А жалованье обоим рублей десять в месяц положат на первое время, а там прибавят... Может быть, даже и теперь больше положат... Я уж постараюсь...

— Да известно, коли ты у хозяина при руке, да постараешься,— так... А как же я-то здесь одна останусь?.. Я об них соскучусь, стоскуюсь совсем... Да и Параня-то одна там будет... тоже непривычна она... Как, Параня, пойдешь ли?

Федор напряженно глядел на Параню.

— Да я не знаю... Почем я знаю?.. Как ты скажешь: велишь идти, так пойду...

— По-моему, коли жалованье будут давать хорошее да работой не уморят, так попытай,— сходи. Ведь не в кабалу, и сам-деле... Тяжело будет, так и уйдешь... А там людно, весело. Народу много... всякого... Авось, не соскучишься... А главная причина вот и он там, Федор Герасимыч, не оставит вас по знакомству и по приятству своему...

— Не то не оставлю, Дарья Тихоновна, а, кажется,— душу свою заложу за них!

— Только как же, где же они жить-то там будут? Тоже ведь и пить-есть захотят... Кто же про них состряпает?

— Это надо в ближней деревне квартиру нанять у какого мужичка, это уж я приищу...

— Нет, а я вот что думаю: не идти ли и мне с ними туда?

— Это бы было всего лучше, Дарья Тихоновна,— вскричал с восторгом Федя.— Я только что хотел вам это сказать. И вы бы на фабрику поступили вместе с Параней и тоже бы денежки заработывали...

— Ну, пускай хоть на фабрике-то работать я и старенька, а хоть они-то на глазах у меня будут, обшиты, обуты, накормлены... Они работать уйдут, а я все про них припасу, не как чужие люди, придут не к пустому месту... Ну, а если и работка какая подвернется, я, слава богу, не безрукая: что по силам, да время будет,— и поработаю. Вот разве так!..

— И это чудесно, Дарья Тихоновна,— восторгался Федя,— и вам работу найдем. Вы шить умеете, там народа много.

Федя внутренне восхищался мыслью, что замысел его так удачно осуществлялся, что не только Параня, но даже мать ее будут честным трудом зарабатывать деньги, что он будет видеть Параню каждый день, выучит ее грамоте, а, может быть, и дурная слава Дарьи Тихоновны замолкнет ввиду ее трудовой жизни, и таким образом для него облегчится возможность добиться согласия отца на брак с Параней. Под влиянием этих мыслей и чувств он все забыл и простил Дарье Тихоновне, что лежало у него на душе противное, он готов был даже любить ее, как мать Парани; но у Дарьи Тихоновны, так скоро согласившейся на предложение Феди, были свои соображения, о которых он даже и не догадывался. Она думала о фабричном многолюдстве, о разных молодых неженатых приказчиках, которые, конечно, не просмотрят красоту Парани, даже о самом молодом хозяйском сыне... Она верила в красоту своей дочери и в ее счастливую звезду... Она решилась идти на фабрику, все видеть самой собственными глазами и попытаться устроить судьбу дочери, а с нею и свое спокойствие и благополучие на старость... Федя в этих соображениях играл самую последнюю роль и был, так сказать, только в запасе.

А Федя, увлеченный своими надеждами, счастливый и довольный, не удержался и высказался пред Дарьей Тихоновной несколько преждевременно.

— Ведь я вам не чужой,— вскричал он,— ведь я вам все равно, что сын родной, Дарья Тихоновна!.. Сами, чай, вы замечали и догадывались, таиться теперь нечего...

Я уж сказал Паране, скажу и вам: полюбил я ее, всем моим сердцем полюбил, только о ней одной и дума, и забота!.. Я знаю, вы за бедного ее не выдадите, и она обещала мне ждать, пока я справлюсь и деньги хорошие стану зарабатывать, тогда и сватов пришлю... Теперь еще я получаю мало, да, бог милостив, скоро и вы мной не побрезгуете...

— Вот оно что! — вскричала Дарья Тихоновна, представляясь совсем изумленной.— Ну, ошеломил ты меня!.. Ах, вы плуты, плуты вы этакие!.. Да когда это вы столковались!.. Кажется и с глаз-то никогда не сходили... А вот что, друг сердечный Федор Герасимыч, изо всего видать, что ты хороший человек и рассудительный — даром, что молод... Люблю я тебя и все твои качества вижу и понимаю, а только что, правда это, за бедного дочку не отдам... Разве самоволом уйдет, без материнского благословения, а по доброй воле — нет, не отдам. И умница ты моя, разумница, что ты надумал: верно, верно, батюшка, подожди, справляйся, вставай на ноги, чтобы жену не к пустому месту взять и после всю жизнь не плакаться!.. Дай-ка я расцелую тебя за это, сердечный ты мой, сынок названый!..

И Дарья Тихоновна целовала Федю и шутливо грозила Паране, приговаривая: — я тебе дам, вострый глаз!.. Ишь ты, как мать провела: столковались, сладились, а мать ничего и не знает!..

— Ах, вытянется нос у Кирюшки,— продолжала она со смехом,— как придет вось, ан и изба у нас заколочена, и хозяев никого нет!.. А еще того пуще, как проведает, что и женишок у Парани припасен!.. В обиду ее не даст...

— А вы не говорите, Дарья Тихоновна, никому до времени о нашем деле, а особливо ему,— просил Федя.— Вы сказывали ему что про меня или нет?

— Нет, и не заикалась... Не приходилось...

— Так и не надо, и не говорите, точно и не знаете меня совсем...

— Зачем говорить, коли не велишь... Что мне за надобность...

— Он ведь сегодня придет, так я и уйду от вас пораньше, чтобы с ним как не встретиться...

— Али и ты его боишься? — не утерпела Параня, чтобы не подразнить Федю.

— Нет, не его боюсь, Параня, а себя,— отвечал Федя, нахмурясь,— не уцелеет его голова, коли бы я увидел, как он к тебе пристает... Вот чего я боюсь!..

Параня взглянула на вдруг озлобившееся, сделавшееся мрачным лицо Феди и молча опустила глаза.

— Кабы не обошлось у нас так дело,— продолжал Федя,— да не порешили бы вы уйти со мной на фабрику, вряд ли бы Кирилла побывал опять сюда, а побывал бы, так покаялся...

Дарья Тихоновна многозначительно взглядывала на дочь при словах Феди.

— И не связывайся ты, батюшка, Федянушка, с ним,— торопливо заговорила она,— бог с ним, совсем!.. Он беспутный, отчаянный. Ему все равно, а тебе себя берегчи надо! Нам бы только на фабрику-то от него уйти, там-то уж, авось, нас не достанет и ничего не поделает... А ему бояться?! Чего ему бояться его? Он не мы, бабы... Ну-ка, садись, откушай вот чайку, самовар-то поспел... Заваривай Параня, да потчуй богоданного-то своего, а я пока и яишенку толкну да блинков напеку.. Вот он у нас сытой и пойдет...

Параня стала распоряжаться чаем, и Федя с любовью, не спуская глаз, смотрел на нее. Но в душе у него было неспокойно: чего-то он не договорил, чего-то не узнал, какая-то неясная забота беспокоила его. Он сам не умел отдать себе ясного отчета, отчего происходила эта внутренняя тревога, это недовольство, и лицо его отуманилось, несмотря на то, что глаза его встречали ласковый и лукавый взгляд Парани. Он молчал и задумался.

— Ну, что еще? Кажись, уж теперь все хорошо, все по-твоему? — спросила его Параня шутливо,— а у тебя ровно что еще на уме есть...

— Есть, Параня... Пока вы здесь будете, когда *тот* (Федя не хотел назвать Кирилла по имени)... когда тот приходить будет... ты не сиди с ним, тотчас уходи к суседям... чтобы он не думал... чтобы не смел с тобой ни заговаривать, ни заигрывать... Будешь уходить, Параня?..

Параня засмеялась.

— Ах, парень, экой ты сумнительный... с тобой — беда! — заговорила было она. Но Дарья Тихоновна перебила ее серьезным тоном.

— Не опасайся, Федюша, не бойся!.. Не подпущу я близко!... Как придет, так ее и вон из избы... Пускай сидит с одной со мной... Надоест, небось, уйдет скоро...

— Да что вы больно уж меня прятать-то хотите? — сказала Параня.— Не захочу, так и близко не подойдет... и без пряток... Я его ни капельки не боюсь... Вот еще!.. Что вы уж очень с мамонькой боитесь-то его?.. Экого страха он на вас нагнал!.. Пускай еще мамонька!.. А то...

Параня недоговорила и насмешливо засмеялась: она не могла удержать в себе желания подразнить Федю. Тот вспыхнул. Дарья Тихоновна хотела было что-то сказать, но он перебил ее.

—Так, стало быть, Параня, ты по доброй воле и по своей охоте подпускала его приставать к себе?.. Сама, видно, заигрывала?.. Недаром вчера смеялась да визжала, сидя с ним...

— Завизжишь, как облапит да целоваться полезет...

— И хвастает, хвастает,— вмешалась Дарья Тихоновна,— сама его боится, сама мне жалобилась, что отбою от него нет, не знает, что и делать с ним, ни на что не взирает,— лезет... Такой бесстыдник, такой срамной, что беда!.. Придет да сидит, водки с собой принесет, закусок,— из избы-то никаким его колом не выворотишь... Сидит, да и на поди... Горланит песни да побасенки рассказывает!.. Что ты с ним поделаешь?.. Уж досидит до того, пока Паранька придет... Такой охальник!..

— Ну, так вот что, коли так, я не пойду домой, а подожду его здесь... Пущай он при мне придет!.. По крайности, Парасковья Михайловна увидит, боюсь ли я его... Чай, меня-то не выгоните, Дарья Тихоновна, дадите посидеть у вас?

— Чтой-то, Федянушка, да я рада тебе и бог весть как: ты ведь не кто другой... Только я боюсь, что вы встретитесь, так здору бы какого большого не вышло промеж вас нехорошего: ему-то что, он уж потерянный, в остроге сидел, ему все нипочем... А тебе-то, сердечный мой... Вон ты у купцов на виду и в чести, опять же и не хотел ты, чтобы он знал про наши дела теперешние... про твое намеренье... Вот я чего только опасаюсь!.. Тебя-то мне жалко, тебя-то берегу!..

— Да я сам то думал сначала, Дарья Тихоновна... А теперь так рассудил, что мне таиться нечего: я по чести, по совести, жениться хочу на Паране, я люблю ее

ото всего сердца, и коли уж сказался теперь вам, и вы не против меня, а Параня будет ждать, как обещалася, так уж это дело, значит, сделается... Сказывать да рассказывать про это не станем до времени, а и узнают так не беда... Я уж от Парани не отступлюсь, ни на кого ее не променяю и никому не уступлю... А особливо не дам обижать да надругаться над ней... Не бойтесь, Дарья Тихоновна, я отважу его от вас и без драки... Он женатый, он не должен по чужим домам шляться!.. У него жена хорошая, добрая!.. Опять же она сестра мне, родная... Пускай же он видит, что я знаю, куда он от нее по целым дням пропадает... Авось, чай, совесть-то есть в нем хоть маленькая!..

Дарья Тихоновна, видимо, была недовольна решением Феди, но не знала, как выйти из затруднительного положения, и метала сердитые взгляды на Параню.

— Как хочешь, как хочешь, Федор Герасимыч,— тараторила она,— как тебе лучше, так и делай... А на Паранькины лясы смотреть нечего. Что боишься ты его?.. Чего тебе его бояться?.. Он скорее тебя испужается!.. А только вот домашние твои узнают, так не подумали бы, что он на нас деньги сорил али что другое... Деньги-то он кидает во все стороны, богачом себя показывает... Я даже еще сколько раз его останавливала!.. А только что мы тут ни при чем... На нас бы чего не вывел... Так не вели домашним-то,— пускай не слушают его, не верят... Вот и блинки поспели: на-ка вот,— покушай на доброе здоровье...

Дарья Тихоновна очень старательно и радушно угощала Федю, но была в тревожном и озабоченном состоянии духа. Несколько раз она возвращалась к разговору о том: не лучше ли Феде уйти на время, чтобы не встречаться вовсе с Кириллой; но Федя уже не хотел и думать об этом. После всех пережитых сомнений и треволнений, после того, как он открылся матери и решился не скрывать о своей любви, в случае крайности, даже перед своими родными, он вдруг успокоился, повеселел и чувствовал себя безмерно счастливым возле Парани, на которую уже смело и не таясь смотрел как на свою невесту, будущую жену. В нем снова воскресла полная вера в Параню, и даже поддразниванье ее в трусости он объяснял себе только желанием Парани подольше не расставаться с ним. Он перестал даже думать о всем прошедшем и хо-

тел говорить только о будущем. Сидя против Парани, любуясь на нее, с радостным замиранием сердца встречая ее взгляд и улыбку, отвечая веселым смехом на ее шутку, он чувствовал себя на седьмом небе, забывал даже о присутствии Дарьи Тихоновны,— и уйти теперь от нее, по доброй воле, казалось ему просто невозможным.

«И совсем не пойду домой, весь день просижу вот так с ней и отсюда прямо пойду на фабрику!..» — мелькало у него в голове.

О предстоящей встрече с Кириллой он не хотел даже и вспоминать: мысль о ней проносилась иногда через его душу, как легкое облачко, которое не оставляет даже и тени.

Параня тоже была весела, оживилась и, как казалось Феде, с любовью смотрела на него и говорила с ним.

Их беседе никто не мешал и никто в ней не участвовал: Николка, поевши блинов, убежал на улицу, а Дарья Тихоновна сначала была не в духе, молчала и, от времени до времени беспокойно взглядывая то в окно, то на разговаривающих, хлопотала около печки и прибиралась в избе; потом и она как будто увлеклась настроением молодых людей и, присаживаясь около них на лавку, с довольной улыбкой прислушивалась к их болтовне.

Вдруг дверь с шумом распахнулась, и на пороге показался Кирилла.

V

Все невольно вздрогнули при появлении давно жданного, но забытого гостя. Федя побледнел, Параня вспыхнула, Дарья Тихоновна порывисто привстала было с лавки, но тотчас же опять села, бледная и растерянная. Не лучше их был и Кирилла: смело, молодцом, вошел он в избушку и вдруг точно остолбенел, когда увидел Федю. Он забыл даже затворить за собою дверь и стоял несколько мгновений неподвижно и молча, с шапкой на голове и с протянутой вперед рукой, в которой держал чем-то наполненный и завязанный узлом цветной платок. Все молчали. Первая пришла в себя и нарушила молчание Параня.

— Что ты, очумел, что ли, Кирилла Федотыч? — заговорила она, засмеявшись.— Хоть бы двери-то затворил

да шапку-то снял... Здесь, чай, иконы божии, буки нет: чего испужался?..

— Ничего не испужался,— мрачно пробормотал Кирилла, снял шапку и оборотился, чтобы затворить дверь.

— Здорово, Кирюша,— сказал Федя.— Чай, удивился, что меня здесь встретил: не чаял...

Он пошел к нему навстречу и протянул руку.

— Не чаял и есть,— отвечал Кирилла, собравшись с духом и стараясь казаться спокойным.— Как ты это попал сюда? Дарье Тихоновне, Параня...

Кирилла раскланивался с хозяевами и протянул было руку с узлом, но вдруг опять отдернул ее назад, осмотрелся и положил узел в уголок на лавку.

— Никак, братец, не чаял,— продолжал он, опять обращаясь к Феде.— Смотрю: глазам не верю, неужто он? Откуда взялся?..

Кирилла без зова уселся на лавку.

— Я здесь ведь уж давно знакомство веду,— отвечал Федя.— Вот с фабрики шел побывать к вам, пристал, да по дороге и зашел отдохнуть... А вот хозяева добрые сейчас и угощение поставили, не пускают: напоили, накормили...

— Так,— проговорил Кирилла как-то неопределенно, ни на кого не глядя.

— Не хошь ли и ты, Кирилла Федотыч, чайку-то? Я подогрею самовар-от? — подстала, наконец, к разговору и Дарья Тихоновна.— А то, может, блинков?... Опары-то осталось: я сейчас напеку, коли хошь... На шестке огонь разведу... Печку-то скутала...

— Нет не надо... благодарим покорно... Разве тебе здесь по дороге с фабрики-то? — обратился он опять к Феде, быстро перебегая в то же время глазами по лицам всех присутствующих.

— Не так чтобы совсем по дороге... да я, по знакомству, нароком в сторону свернул... Отдохнуть-то отдохнуть, да и так побывать у них захотелось...

— Так,— протянул опять Кирилла, становясь все мрачнее и мрачнее.— Не слыхал я, что ты тут знаешься... Никто не говорил...

— Да, вот, не доводилось,— вмешалась Дарья Тихоновна,— ни тебе про него, ни ему про тебя сказать... Да, правда, мы его, Федора-то Герасимыча, уж, поди, недель с десять не видали... Думали, и он об нас забыл совсем...

— Для чего забывать, Дарья Тихоновна, а случая не приводилось, да и дела не допускали, оттого и не бывал,— отвечал Федя. Что все ли здоровы наши? — обратился он к Кирилле.

— Ничего, здоровы.

— Федот Семеныч дома?

— Нет, уехал... Да ничего, ступай. Там матушка и Анна, может, и батюшка к вечеру подъедет...

— Да вот уж пойдем коли вместе... Ты как сюда: нароком, али шел куда?..

— Нет, я так пошел разгуляться: туда да сюда, в разные места... Да вот и сюда зашел...

— Так домой-то разве не скоро еще пойдешь?..

— Нет, я еще не скоро...

— Ну, так и я посижу коли здесь... Что идти-то? Федота Семеныча нет, тебя тоже, Федосья Осиповна не жалует меня... Нет, и я, коли, не пойду...

— Анна дома...

— Ну, что Анна... Она мне тоже рада не будет, как приду без Федота Семеныча и без тебя... Нет, не пойду!.. Хорошо, что встретились. Узнал, по крайности, что все живы, здоровы... А коли ты пойдешь домой, так пойдем тогда, пожалуй, и я схожу на минутку, сестру проведать... Ведь сестра моя за ним замужем,— обратился Федя к Паране.

Кирилла совсем насупился и молчал. Не начинали разговора и другие.

— Ну, Кирилла Федотыч,— опять Параня прервала молчание,— ты сегодня не как вчера... Вчера смотрика-сь какой был... веселый... песни пел, прибаутки сказывал. Мы с мамонькой животики подвели... таково смешно сказывал!.. А сегодня нет. . не такой!.. Ничто притуманился... Отчего ты сегодня экой?...

— День на день не придется,— мрачно отвечал Кирилла.— Не все зубы скалить... Сегодня ничто голова болит у меня...

— Так разве и вчера ты здесь был? — спросил Федя с непривычным для него коварством, отчего даже покраснел.

— Был,— не смотря на него, но твердо и резко отвечал Кирилла.

— Да ты что же, в сам-деле: ты не хошь ли поесть?.. Ты не церемонься, скажись,— я сейчас блинов напеку,—

говорила Дарья Тихоновна, желая замять неприятный разговор.— А то чайку испей... я мигом вскипячу самовар-то... А чайку-то у меня есть еще маленько... Не церемонься, я говорю, а ты...

— Да ну, пожалуй... чайку изопью... А то вот что: вы самовар-то ставьте, а вон у меня там в узле закуски разные да водка сладкая... Вот погоди-ка я...

И Кирилла вдруг решительно и развязно встал, взял из угла узел и положил его на стол, намереваясь развязывать.

— Что же это ты хочешь делать? — остановила его Дарья Тихоновна.— В гости пришел со своим угощением,— это не годится...

— Чего не годится... Все равно, где ни на есть разопью же... Сегодня смерть-тоска меня одолела: пошел, накупил всяких разных разностей, раскучусь, мол, где ни на есть, с кем повстречаюсь... Вот у вас и разопьем...

— Ну, нет, Кирилла Федотыч... Это не порядок, ты нас не обижай...

— Да какая же обида?.. Вот Параня гостинчиками тут позабавится: орешков пощелкает, пряничков, конфетов отведает, тут всего есть... А мы водочки...

И Кирилла поспешно развязывал узел и подвинул его в сторону, где сидела Параня.

— Я не пью... Ты ведь знаешь,— сухо проговорил Федя.

— Ну, сладкая ведь!.. Сладкой-то выпьешь... эту бабы и девки пьют... Дай-ка стаканчик, Дарья Тихоновна... Вон Параня и та выпьет... Выпьешь, Параня?..

Федя испуганно, в упор взглянул на Параню.

— Напрасно... Я пить не стану,— сказала Параня.

— Что так сегодня?.. А помнишь, ономнясь отведывала...

— Так что, что отведывала?.. А сегодня не хочу...

— Гм... что так это? — злобно усмехнулся Кирилла.— Может, и ты, Дарья Тихоновна, сегодня в постницы записалась? Тоже не станешь?..

— Не стану и есть, Кирилла Федотыч... Нечто у меня голова болит.. Да и не ко времени, равно как и рано еще... Сейчас только чаю напились, блинков поели...

— Ну, подождавши можно. Всего один не выпью... А мне так самое время теперь... Дай же стаканчик-то?..

— Да и ты бы, Кирилла Федотыч, вот лучше чайку

испил да блинков поел... Ну что пути? Охмелеешь, пожалуй... Во хмелю-то ты не больно спокоен... Посиди уж у нас лучше так смирнехонько да хорошохонько, вот чайку испей, побеседуй... А это уж все домой лучше отнеси али куда знаешь...

Дарья Тихоновна говорила это ласковым, медовым голосом и старалась заглянуть в глаза Кириллы. Она чувствовала себя неловко, боялась какой-нибудь неприятной выходки со стороны Кириллы и видимо не знала, как себя держать, как половчее повести дело, чтобы устранить ссору, шум и всякого рода неприятность.

— Это, значит, от меня сегодня никакого угощения не принимается?.. Неприятен, значит?.. А хозяева стали великатные!.. И гостинцы мои не требуются, домой велят нести... Гм... Ну, что же делать?.. Один буду угощаться... Что же, Дарья Тихоновна, не будет милости? И стаканчика не пожалуете?.. Для нас, впрочем, все равно. Мы и так можем, из горлышка в горлышко...

И Кирилла быстро опрокинул в рот посудину с водкой и жадно отпил из нее чуть не целую половину.

— Вот это ладно будет... хорошо! — проговорил он, ставя со стуком полуштоф на стол, и весь красный, воспалившимися глазами поглядывая на хозяев.— Теперь поговорим, пожалуй, побеседуем... Ну, Лиса Патрикеевна, то бишь — Дарья Тихоновна, отчего же вы вдруг угощенья моего принимать не желаете?..

— Да не то не желаю, Кирилла Федотыч,— отыгрывалась Дарья Тихоновна,— а к нам пожаловали, так нашего хлеба-соли просим кушать, чем бог послал. Вот только в чем...

— Видишь ты, как хвостом-то вильнула... Ловко, как же!.. Это ты перед Федей-то, что ли, себя показываешь?.. Так напрасно. Я переж думал, что он божий человек, простота, а коли уж мы здесь с ним на одной половице сошлись, так, значит, он только прикидывается тихоньким-то... А, выходит, по делам-то мы с ним товарищи... Видите, она своего хлеба-соли кушать потчует... А когда же я с пустыми руками сюда ходил к тебе?.. Ну-ка, скажи...

— Так ведь это твоя добрая воля была... Мы, кажется, ничего не требовали... Иной раз из-за совести из-за одной угощенье твое принимаешь... А вот и не надо бы, коли сам же теперь попрекаешь...

— Полно юлить!.. Не попрекал я, а отчего же ты вчера пила со мной, а сегодня не хочешь, отчего вчера, вот на этом самом месте, Параня принимала от меня всякое угощение: и пряники, и орехи ела, а сегодня вон и конфетов принес целый узел, а, может, там и еще что есть... и не дотрагивается, и не смотрит?.. Отчего так? Что вы от Федюшки-то, что ли, больше, чем от меня ждете?.. Али ты в женихи, что ли, его прочишь?

Кирилла злобно захохотал.

— Ну, вот, ведь я так и знала,— сказала Дарья Тихоновна,— как ты заложишь, так и пойдешь шуметь... здорить!.. Что нам, окромя тебя, и знаться, что ли, ни с кем нельзя?.. Ты гость — и он гость!.. Ты, смотри-ка, только пришел,— зашумел, задираешься, а он сидит, словечка тебе не сказал напротив... Ну, будем твое угощение есть, ну, давай... Ешь, Параня, и ты... Ну, вот едим... Ну, что же ты в гору-то полез, парень?.. А-ах... экой неспокойный!.. Хочешь, не хочешь, может, в глотку-то кусок не идет, а коли уж он угощает, так не смей отказаться... ешь!.. Дай-ка сюда водку-то, я приберу... Будет с тебя... Испей вон лучше чайку...

— Погоди, не заговаривай... Не тронь водку, не тронь, говорят... Федя, скажи ты мне, по совести, зачем ты сюда ходишь? Разве тебе место здесь?..

— Коли сижу здесь, так, стало, место,— отвечал Федя, насупившись.— А коли хочешь узнать всю правду, зачем я сюда хожу, подем домой, я тебе дорогой откроюся.

— Нет, ты здесь скажи, сейчас... Здесь чиниться нечего: здесь дело на чистоту... Вишь, какой народ. Вчера я был гость дорогой, лучше меня нету, а сегодня думают: ты не выгодней ли будешь!.. Так сказывай, да и давай торговаться, кто кого перешибет...

— Никому ты здесь не надобен,— вдруг вмешалась молчавшая до тех пор Параня. Лицо ее горело и глаза гневно блестели.— Убирайся ты к жене к своей, а нам эких нахалов да бахвалов не требуется!.. Не думай ты о себе много, не похваляйся: видим тебя, понимаем довольно!.. Давно я мамоньке говорю, что в шею бы тебя отселе нужно, охальника экого, а не то, что угощение от тебя принимать... Что ты, подкупить, что ли, думал меня пряниками-то твоими?.. Возьми прочь твои гостинцы

подлые, не надо их... Неси, кто подешевле нас стоит, а мы про тебя дороги!

Параня схватила узел и бросила его в ту сторону, где сидел Кирилла. Он ударился о бутылку с водкой и столкнул ее на пол. Водка разлилась, и гостинцы Кириллы рассыпались по полу избы. Он сам, бледный, растерянный, злой вскочил на ноги, весь дрожал и смотрел на Параню исступленными глазами, конвульсивно сжимая кулаки.

Федя смотрел на Параню с изумлением, но и с восторгом: ему казалось, что он теперь любил ее еще больше прежнего, и по инстинктивному побуждению поднялся и сел около нее с той стороны, откуда был ближе к ней Кирилла.

Дарья Тихоновна совсем растерялась, охала, ахала, что-то бормотала и бессознательно поднимала и бросала опять на пол разлетевшиеся по избе сласти.

— Так вот как? — проговорил, наконец, Кирилла хриплым, точно сдавленным голосом.

— Вот как! — повторила за ним Параня, сверкая глазами.— Ты думал, боятся тебя здесь?.. Мне тебя бояться нечего!..

— Что же, вы любитесь, что ли, с ним? — спросил Кирилла, указывая на Федю.

— Не твое дело...

— На что же ты... на что ты... тянула меня?..— Голос Кириллы дрожал, в нем слышались слезы.

— Чем я тебя тянула?.. Ты сам лез, приставал, я не знала, как отбиться от тебя, охальника...

— Я иссох по тебе... исчахнул... Я бы все тебе отдал... все!.. Тебе бы не так надо, коли не любишь совсем... не тянуть... Я думал...

Кирилла опустился на лавку, оперся локтями на стол, закрыл лицо руками и зарыдал или, вернее, завыл. Дарья Тихоновна, не зная, что говорить и что делать, тоже заплакала или показывала вид, что плачет.

— Ну, слушай, Кирилла,— заговорил Федя,— не реви, я тебе скажу всю правду: Параня невеста моя... Я на ней жениться хочу...

Кирилла вскочил, как ужаленный.

— Жениться хочешь?.. Невеста?.. Ну, так не верь ему, Параня: не дадут ему жениться на тебе... Не такая им девка нужна... не из такой семьи!.. Не верь ему и не

слушай. Никогда ему не жениться на тебе... Его проклянет отец, как только он заикнется о тебе... Да и мой-то родитель, друг и благодетель его, разве даст жениться на тебе?.. Да они и вас-то с маткой со свету сживут, из волости-то выгонят, как узнают, что их любимое чадушко задумало... Вот вы увидите!.. Еще, может, вспомянешь и меня, Парасковья Михайловна... Ну, коли ин, счастливо оставаться, жених с невестой... Помни, Параня, иссрамила ты меня, обидела, вон прогнала, а я все ж тебя из глаз не выпущу!.. А этот, свят муж, про тебя не жених. Ты так и знай... А тебя, Дарья Тихоновна, покорнейше благодарим на угощеньи, на ласковом привете... Помни!.. Еще увидимся, авось!..

Кирилла быстро повернулся, схватил шапку и выбежал из избы.

— Ну, вот, чуяло мое сердце, что беда будет, коли он с тобой здесь повстречается! — говорила Дарья Тихоновна.— И сунуло тебя тут вступаться да ругаться с ним! — упрекнула она дочь.— Совсем было я его умаслила, так нет вот... Взялась отругиваться... Ну, что с пьяного спрашивать?..

— Так что же? Он будет надругаться над нами, а нам слушать да кланяться? — отвечала Параня.— Потакни-ка ему, он и не то бы заговорил... Да он и не спьяна это, а сначала опешил, как Федю увидал, а тут нарочно и выпил... для куражу... Вот что!.. Не боюсь я его... Наплевать!..

— Да вот, не боишься, а погоди-ка... Кто его знает, что у него на уме?.. Может, такого наплетет, что и самделе Федина-то родня об нас и невесть что подумают... Закажут ему не то, что жениться на тебе, а и знаться-то с нами...

— Не бойтесь, Дарья Тихоновна,— возразил Федя.— Коли Параня любить меня не перестанет, я никого не послушаю, и никто меня с ней не разведет... А уйдете вы на фабрику, да будет там Параня вместе с вами деньги зарабатывать честным трудом, и батюшка даст мне свое благословенье... А о Федоте Семеныче я и не думаю: он мне больше поверит, чем Кирилле... и батюшку еще за меня попросит... Старик меня знает и любит!.. Да и Кириллу, еще погодите, я, может быть, урезоню: поудержится много-то болтать... У меня есть на него страх... Теперь авось сегодня к вам не воротится... Я пойду те-

перь в Ступино повидаться с сестрой, а назад ужо, к вечеру, ворочаться буду на фабрику, опять к вам забегу... Пока прощайте... Вот, Дарья Тихоновна, вы Параню браните, зачем она Кирюшке отвечала, а мне она за это... так, кажется, еще любей стала... И что у меня ни было на душе против нее, какое сомнение,— после этого все точно рукой сняло... Не браните вы ее, Дарья Тихоновна, за это!.. Прости меня, Паранюшка, что иной раз я думал про тебя... сомневался в тебе... Теперь я тебя узнал после этого случая, и кто бы что ни говорил про тебя, ничему не поверю... всякому рот запечатаю!.. Прости меня... любая моя!.. Солнышко мое ясное!...

Федя остановился. Он стоял перед Параней, смотрел на нее восторженными глазами и не знал, не находил таких ласковых слов, которыми бы, в присутствии матери, мог высказать ей всю силу любви своей. Параня раскраснелась и стыдливо потупилась, слушая его.

— Да ну, ну... поцелуйтесь уж, что ли, поцелуйтесь на прощаньи-то,— проговорила Дарья Тихоновна, любовно усмехаясь.— При мне можно: я никому не скажу...

Но Параня закрыла лицо руками и отшатнулась в сторону.

— Не надо... не хочу... не стану,— говорила она.— Не смей, Федя, трогать теперь, а то осержусь!..

— Да не буду, не буду... не бойся... золото мое!— успокоил ее Федя, на которого предложение Дарьи Тихоновны почему-то тоже неприятно подействовало.— Откройся только да погляди... взгляни разок... Я уйду сейчас... До увиданья... Параня!..

— Да ну, уходи, что ли,— проговорила Параня, улыбаясь, и, отведя от лица руки, так взглянула на Федю, что у того от радости захватило дыхание.

Он невольно, точно кем подтолкнутый сзади, рванулся было к Паране и протянул руки, чтобы обнять ее, но тотчас же спохватился, удержался и вследствие этого так смешно и неуклюже поклонился и повернулся, чтобы уйти, что насмешил и Параню, и Дарью Тихоновну. Они провожали его веселым и добрым смехом, который не рассердил и не обидел Федю: он сам усмехнулся, оглянувшись на них, и вышел из избы совсем счастливый.

— До увиданья... К вечеру ждите! — проговорил он, затворяя за собою дверь.

VI

Выскочивши из избы Дарьи Тихоновны, Кирилла не знал, что ему делать, куда идти.

Страшная злоба, ревность и досада душили его: он чувствовал потребность отомстить и Паране, и Федору, и старался сосредоточиться на мысли: что бы сделать такое, чтоб сразу повредить им, поссорить и разлучить.

«Сказать его отцу!..— думал Кирилла.— Рассказать, какая такая барыня Дарья Тихоновна, к которой их тихоня шляется, растолковать, на чьей дочке жениться он хочет... да и какова сама эта доченька-то... Пускай же знают, что хваленый их не лучше нас, грешных!.. Они думают, он на фабрике, денежки зарабатывает для дома, а он вон где сидит, где деньги-то сорит... Туда без денег не ходи, знаем мы тоже Дарью-то Тихоновну довольно!.. Коли соглашается дочку отдать, так, значит, погремел у нее под носом денежками... На сухую-то ложку ее не сманишь тоже!.. Давно знакомство ведет... значит, давно и деньги дает... А где брал?.. Видать, что у нас же из дому таскал... Правду матушка-то говорит... Вот те и честный, и непьющий, примерный!.. Надо и моему-то родителю рассказать, пускай знает!.. Поди еще, не давал ли ему награды... О-о, проклятый потихоня, недаром завсегда у меня кипело супротив него... Подхалима подлый!.. Пожалуй, ведь не поверят... Нет, хорошо бы их обоих, стариков-то, привести пока он сидит там у них, чтобы на месте накрыть... Уж не бывать же этому. Так ли, сяк ли, а расстрою я вас... Погодите!.. Про меня узнают? Скажет?.. Наплевать, мне — все равно!.. С меня не что возьмут, а не доставаться, так пускай не достается никому... Не мне, так и не ему!.. Да от меня еще не уйдет!.. Посмотрим еще... Уж пропадай моя голова, а я посвоему сделаю!.. Кабы не любила она меня вовсе, не стала бы сидеть около меня да глазами заигрывать, да хихикать, не стала бы подзадоривать... Кабы не женат я был, она на Федянку-то бы и не взглянула возле меня... Она девка веселая: ей лихача нужно, а не экого тюрю, как Федька... А эти штуки-то, что гостинцы-то раскидала при нем, ему напоказ, что вот, мол, мы каковы благородны... Ну, это еще на-двое судить можно!.. Известно, коли замуж за него хочет, за жениха считает, так мои речи несносны показались... А коли развести их да похо-

дить хорошенько, так другой разговор пойдет... Нет, не Федьке со мной тягаться... Погоди, тюря невареная, я тебя утешу! Не видать тебе Параньки, как ушей своих!.. Тебя со смиренством твоим да с родительским почтением приберут к рукам, воротят с фабрики-то, в деревню опять возьмут, да силой женят, вот и будешь сидеть!.. А со мной-то что поделают... Я сам себе начало, сам себе голова... Погоди!..»

Так думая и передумывая, злясь, волнуясь и угрожая, Кирилла шел скорыми шагами, бессознательно направляясь к дому. Он был совсем погружен в самого себя, не смотрел по сторонам, бормотал иногда отрывочные фразы из того, что думал, сжимал кулаки, грозился и шел вперед, не замечая того, что сзади его, в некотором расстоянии, давно уже тихо ехала телега. В телеге сидела женщина и задерживала порывавшуюся лошадь, не сводя испуганных глаз с шагавшего впереди Кирилла. Она могла бы проехать мимо, и он, по всей вероятности, не обратил бы даже внимания, но сидевшая в телеге женщина была — Анна.

Возвращаясь из Пархачева от знахарки, она вдруг, совершенно неожиданно, к ужасу своему узнала в идущем впереди мужике своего мужа. Анна оторопела, задержала лошадь, заставила ее идти шагом и с замиранием сердца следила за мужем.

Испуг ее смешался с недоумением, когда она разглядела странные движения мужа. «Пьян?» — была первая мысль ее; но он шел твердо, не останавливаясь, не пошатываясь. «Что делать? — раздумывала Анна.— Ехать ли вперед, или остановиться совсем и дать ему пройти?.. Ехать — узнает, остановит, станет допрашивать, где была? Что скажешь?... Остановиться, дать уйти вперед, так он к дому идет, все равно узнает, что меня нет и лошади нет; тоже будет пытать, как приеду... Что сказать-то мне, батюшки мои, как вдруг оглянется да увидит?.. Сказать разве, что к своим, в Чернушки, ездила, матушка отпускала? Так дорога-то не та, не оттуда... Сказать... сказать разве...»

Но Анна ничего не могла придумать, ни на что решиться, как вдруг Кирилла остановился и присел на краю дороги, чтобы закурить папироску.

Анна натянула вожжи, лошадь остановилась, и бедная баба точно замерла с прижатыми к груди руками,

с неподвижно устремленными на Кирилла испуганными глазами; сердце у нее точно перестало биться, и холодный пот выступил на лбу. Кирилла, раскуривая папироску, случайно взглянул в ту сторону, где стояла лошадь, и тоже сначала не верил глазам своим... Да, лошадь — его собственная и баба сидит в телеге,— его жена!.. Что за чудо такое? Привиделась, что ли?.. Сидит и смотрит на него, глаз не спускает!.. Да, жена и есть, Анна!.. Она это сидит!.. Откуда взялась?..

— Анна! — вскричал Кирилла чуть не с ужасом.— Ты это?..

— Я, Кирилла Федотыч,— отвечал робкий женин голос. Этот голос привел Кирилла в себя.

— Да откуда тебя черт взял? — спросил он, подходя к телеге.— Куда ты ездила?

Анна не отвечала.

— Тебя спрашивают... Али оглохла? Куда ездила?

— Матушка посылала,— отозвалась Анна нерешительно и робко.

— Куда?

Анна опять молчала.

— Да что ты, дьявол, онемела, что ли? Куда, я говорю, матушка посылала?..

— Да тут... к знакомке... к своей... к одной...:

— К какой знакомке?.. Да что ты и вправду?.. С ума спятила, что ли? Так, кажись, не с чего... Али тебя леший обошел, память отшибло?.. Сказывай сейчас, где была?.. Уж не за мной ли досматривать ездила?.. Слышишь, сейчас сказывай, а то всю морду твою поганую сворочу на сторону... Ишь ты, рыло твое поганое, паскудная харя!.. На человека-то непохожа!.. Навязалась на шею жернов, окаянная!.. Слышишь, спрашиваю, где была?..

— Ты перво скажи, где ты-то был? Где ты-то шляешься от жены? — вскричала вдруг Анна, забывшая страх и чувствуя только нанесенное ей мужем оскорбление.— Вот перво ты скажи, где ты-то водишься от живой жены?.. Где ты-то был?..

— Где был? — отвечал Кирилла, сверкая на жену глазами.— Знать хочешь?.. У полюбовницы своей был!.. У нас одна вместе с твоим братом Федюшкой!.. Спроси у него... Вот где я был!.. Ну, слышала?.. А ты где же была?

— А я у полюбовника...

— Ах, ты, мурло!.. Кому ты нужна?.. Тоже! — И Кирилла ударил жену. Воротившаяся к нему злоба требовала жертвы, а она была под рукой.— Говори сейчас...

— Да вот хошь убей... не скажу,— отвечала Анна, рыдая.— Убей уж заодно, легче будет...

— Э, да черта мне нужно, стану я допытывать тебя... Велика мне надобность... Полезай вон из телеги!..

— Зачем я полезу?..

— Пошла, говорят, пока цела...

— Да на что я полезу из телеги?..

— Э, дьявол! — вскричал Кирилла и потащил жену за ворот.— Задушу...

— Ой, батюшки!.. Пусти душу на покаяние!.. Погоди, сама вылезу... Господи!.. Конец, что ли, мой пришел последний? Дай хошь перекреститься... Богу покаяться...

С рыданиями, дрожа всем телом и в самом деле думая, что муж хочет ее убить, не вылезла, а скорее вывалилась бедная Анна из телеги; но не успела она подняться на ноги, как Кирилла вскочил в телегу и погнал лошадь. Анна осталась одна среди дороги. Испуганная, избитая, оскорбленная, она долго не могла придти в себя и понять, что с нею случилось. Безумно смотрела она вслед удаляющемуся мужу, который хлестал и погонял и без того усталую лошадь; потом села тут же на дороге и горько-горько заплакала. Она сидела, закрывши лицо руками и покачиваясь из стороны в сторону; рыдания надрывали ей грудь, разрешаясь воплями и причитаньем. Подавленная своим горем, оплакивая свою горькую участь, Анна не заметила, как подошел к ней брат, Федя, и изумленный остановился перед нею.

— Что ты, Анна, что ты? О чем ревешь? Как ты попала сюда? Что еще наделалось? — спрашивал ее Федя с участием.

— Ах, батюшка, Фединька,— заголосила Анна, узнавши, наконец, брата.— Откуда ты взялся? Ровно с неба свалился... Видно, господь тебя послал ко мне... Батюшка, родимый мой, Федянушка!

— Да расскажи путем: что такое послучалось?.. Как ты здесь-то, середи дороги?..

С рыданиями, прерывающимся голосом, несвязно и беспорядочно рассказала Анна брату все, что произошло. Изо всего ее рассказа Федя понял только, что Кирилла прибил сестру, выкинул из телеги и сам ускакал.

— Да за что же он тебя прибил-то? — допытывался Федя.

— Не знаю, Фединька, ничего не знаю, ровно во сне все это...

— А куда же поехал-то?

— Вон туда,— в эту сторону... Не знаю куда...

— Ну, так, значит, к дому... Перестань, Аннушка... не реви... Вставай, да пойдем лучше домой... Я ведь к вам шел... Вставай...

Федя помогал сестре подняться на ноги. Она все еще всхлипывала и вздрагивала всем телом.

— Вот пойдем... На ходу-то лучше... Переплачешься, так расскажи мне все порядком, я никак в толк не возьму...

— Нет, Фединька, нет, ты мне перво скажи, кто такая у вас с ним одна полюбовница есть... Он сам мне сказал: спроси, говорит, у Федьки,— у нас с ним одна... Неужто и ты к этой вдове ходишь?.. Скажи мне, батюшка... скажи, родимый... Назови ты мне ее по имени... На тебя, значит, и указывала Арина Панкратьевна... Скажи, хороший... Назови мне ее... Вот я тебе в ножки поклонюсь...

Анна бросилась в ноги брату...

— Да полно, Аннушка, полно... Что ты?.. С ума ты сошла, что ли?

Федя старался поднять сестру.

— Мне только бы имя-то ее узнать да где проживает... Больше ничего не надо... Не встану, от ног у тебя не встану,— в пыли, в праху валяться буду, пока не скажешь, кто моя злодейка... та вдова проклятая...

— Да пойдем, пойдем... Перестань... Я все тебе расскажу и растолкую,— и ее назову, только опомнися, встань ты да пойдем... Я с тем и шел, чтобы все тебе рассказать...

Анна быстро поднялась.

— Ну, вот, батюшка, вот не верь,— говорила она.— А мне это слово сказано: «встретится тебе человечек, нежданно-негаданно, на пути-дороге, и все тебе откроет...». Вот не верь гадалкам опосля того... Ну, рассказывай ты мне, рассказывай, облегчи ты мою душу... Я и реветь не стану... Вот и слез нету, ровно ничего и не было...

Анна ждала объяснений Феди точно какого-нибудь откровения, которое должно спасти ее, изменить к луч-

шему всю ее судьбу; она смотрела на него с каким-то трепетом и надеждою, вся превратилась в слух, боясь проронить хоть одно слово, один звук.

— Он тебе сказал, что у нас одна с ним полюбовница?.. —переспросил Федя.

— Сказывал, Федянушка, сказывал... Так и сказал.

— А ты ему и поверила?..

— Поверила — не поверила, а так это мне его слово на сердце пало, так точно стрелой пронзило... Вот, мол, и узнаю же я ее... Так и подумала!.. Федя мне всю правду скажет...

— Сказать я тебе скажу, только ты до времени ничего никому не говори, ни нашим, ни Федоту Семенычу...

— Не велишь, так зачем я стану говорить... Не стану, Федянушка, не стану...

— Нет у меня никакой полюбовницы, а невеста есть,— точно...

— Как невеста?.. Неужто же ты на экой... да на вдове жениться хочешь?.. Чтой-то, Федя?..

— А ты погоди... Не на вдове, а на ее дочке... Это девушка честная, хорошая, даром что у такой матери выросла... А уж красавица, Аннушка, такая... Кажется, изойди белый свет — не найдешь такой, лицом ли, ростом ли, повадкой своей!.. А глаза — так, кажется... что захочет, то глазами-то и скажет. Взглянет — все сердце всколыхнет, дух займется!.. Не то, что говорят, ровно тысячей рублей подарит, а ничего не надо,— от света вольного откажешься, только бы смотрела она на тебя этими глазами своими!.. Ах, Аннушка, как люблю я ее, как люблю — сказать тебе не могу!.. Нет того на свете...

— А матка-то, матка-то, Федянушка, молода еще, видно?.. Тоже рожей-то, видно, смазлива?.. Не стара еще она-то?.. Сама-то какая?..

Федя, который в первый раз еще свободно говорил с близким человеком о любви своей и о любимой женщине, так увлекся этим рассказом, воспоминанием о Паране и своими личными ощущениями, что едва понял вопрос Анны и рассеянно отвечал ей.

— Да, она еще ничего... молода... нестара...

— А все уж, чай, ей под сорок, коли дочь—невеста?..

— Будет, я думаю...

— Ишь, ты, подлая!.. А как зовут-то ее, Федянушка... матку-то?..

— Дарья Тихоновна.

— А из какой же деревни-то будут они, Федя?.. Где живут-то?..

— В Онучине...

— Вот где! — почти вскрикнула Анна, радуясь, что получила теперь все нужные ей сведения.— Ишь, ты, подлая душа!.. Сорок лет — бабий век, говорят, а она... Видишь ты!.. Так онучинская,— вот откуда!.. Ну, Кирилла Федотыч, нет у тебя стыда! Не нашел ты получше-то... С кем связался, на кого жену променял: на вдову детную, старую... На кого ты дом зоришь?.. Недаром люди смеются!.. Уж, стало, баба никуда негодная, непутная, коли у нее дочь — невеста, а она гуляет, любовников заводит... Так ты там-то и повстречался с ним, Фединька?..

— Да, сегодня в первый раз... До этого и не знал ничего...

— Так неужто ты, Федя, и сам-деле на ее дочке жениться хочешь?.. Чтой-то, родной мой?.. Да батюшка-то и слушать не захочет,— и благословенья тебе не даст... Экая тещенька будет!.. Да и Федот Семеныч что скажет... И по мне — так... Нет, батюшка, Фединька, чтой-то ты это надумал?.. Неужто уж так-таки лучше ее в сам-деле нет?..

— По мне — нет, Аннушка... И вот я тебе что скажу... Параня моя до того мне мила и дорога, что хоть бы пришлось батюшке наперекор сделать, с Федотом Семенычем поссориться... а я все ж таки женюсь на ней... Придет время,— так и родителю скажу... По мне, дочь за мать не ответчица, и не всякая дочь по матери идет... Она не виновата, какая бы ни была у нее мать, была бы сама хороша, а за родителей с нее спрашивать нечего... По мне, еще это к чести ее, что у такой матери, на таком виду, да сберегла себя,— хорошая да честная осталась!.. И мать, значит, не вдосталь пропала, коли дочь в порядке выростила, худому ее не учила, а оберегала...

— Да уберегла ли, Фединька? Полно, батюшка, молод ведь еще ты,— всего не досмотришь... Где тебе до всего дойти... Они, видать, ловкие, обойдут и не тебя...

Федя вдруг с силой схватил сестру за руку. Анна взглянула на него и испугалась. Он страшно изменился в лице, дрожал и тяжело дышал, точно задыхался.

— Не смей... не смей! — проговорил он, с усилием переводя дух.— Ты ее не знаешь... Не такая она!.. Зачем

же ты?.. Никогда не смей говорить этого!.. Я ее знаю... Ты поглядела бы, как она твоего Кирилла отделала. Он начал было к ней подлипать... Выгнала из избы-то... Оттого он и злой-то такой... Видно, и тебя-то прибил с этого, не знал уж на ком злость сорвать...

— Как, Федюша, ты говоришь: он и к ней подлипал?.. К твоей-то?.. Господи, батюшка, да уж он не к ней ли и бегал-то?.. Не с ней ли он, полно, Федя?

Аннушка точно с умыслом мучила брата. Ее слова точно острым ножом резали его по сердцу.

— Твой Кирилла жив бы не ушел от моих рук, кабы это так было,— отвечал Федя мрачно.— Она не виновата, что он беспутный, охальник,— что совести в нем нет... Кабы она его сегодня на моих глазах так не прогнала, бог-весть, что бы еще у нас с ним было... Нет, нет, про нее не думай, а он... Ты присматривай за ним и Федоту Семенычу скажи моим именем, коли я сам его не увижу да сказать не удосужусь, что он... подлый твой Кирюшка!.. самый подлый человек!.. Я сам слышал, как он подкупал мать, чтобы она продала ему дочь, стращал, похвалялся силой увезти... Вот он какой!..

— Батюшки!.. батюшки! — завопила опять Анна, всплеснувши руками.— Куда мне от него деться? Куда головушку от стыда-горя спрятать?.. Что мне делать-то? Как мне быть-то?

— Вот что, Аннушка... Я уж Кирилла, может, разведу с Дарьей Тихоновной,— они скоро совсем из Онучина уйдут... А чтобы он не пьянствовал, дома не зорил и тебя не обижал, чтобы хоть немножко его поусмирить, надобно тебе непременно все рассказать Федоту Семенычу и батюшке. Так и расскажи все, как есть, что я сказывал и что сама знаешь...

— Фединька, да он убьет меня... Посмотрел бы ты даве, ведь я думала,— конец мой пришел... А на него же и смотреть-то страсть брала...

— Погоди же, постой... Для того-то ты батюшке все и расскажи, чтобы он знал, как тебя муж мучит и тиранит и какова тебе жизнь замужем,— и чтобы тебе в случае, если Кирилла не образумится, можно было уйти к отцу... Я тебе и прежде говорил, и теперь опять скажу, нельзя с таким мужем жить на этаком сраму, на такой обиде, как ты живешь... Ты не собака, чтобы он тебя бил, а тебе у него руки лизать... Благодарите бога, еще

у вас детей нет... Ну, и уйди от него, бог с ним... Все равно, он не живет же с тобой, как следует с женой... А коли опомнится да придет,— будет звать... Ну, тогда увидишь: коли по силам тебе будет забыть старое да жалко тебе его, так и воротишься... Теперь к Дарье Тихоновне ему ходить будет нельзя, да к этому — и Федот Семеныч его посовестит, и ты уйдешь к батюшке, так, пожалуй, и поневоле притихнет, образумится...

— Фединька, что я тебе скажу...

— Ну, что?

— Не погодить ли говорить-то, особливо те уйдут из деревни?.. Может, и так дело справится... Ты вот ведь не веришь... А я нашла человечка, обещается поворотить его ко мне, только что надо денег достать, заплатить... Уж шубу думаю заложить, а заплачу, ничего не пожалею...

— Да за что же платить-то?

— А она поделает... Либо отворота от той, либо ко мне привороту даст...

— Ну, Анна, не верю я этим пустякам, так нечего мне об этом и говорить... А тебе не надо бы этого вздора и слушать, и деньги на это изводить... Ты не дура, слава богу, ты только с горя всему рада поверить, за все схватиться... Нет, делай, как я тебе говорю, непременно расскажи все и Федоту Семенычу, и батюшке... И для меня добро сделаешь, все равно твой муж похвалялся, что про меня им расскажет, так, по крайности, пускай они от тебя настоящее узнают... Ты скажи только, что хошь я непременно женюсь на Паране, да не скоро еще, когда хорошее жалованье буду получать на фабрике... И попроси батюшку, чтобы он меня не разбивал и не вздумал мешать али отговаривать. Во всем я сын ему покорный, во всем послушаюсь — только не в этом... Так и скажи... Месяца через два я, может, и сам побываю у батюшки, коли можно будет. Вот о праздниках, вось, о святках... А до тех пор, если захочет повидаться, не выберет ли времечко — сам бы побывал ко мне, на фабрику... Я ему сам все расскажу... Вот жалко, Федота Семеныча дома нет... сказывал твой-то...

— Да, да, на два дни уехал в волость...

— То-то горе мое... Ну да воротится, так ты тотчас ему скажи, что, мол, приходил нароком Федор повидаться и все рассказать, да не застал и в великую, мол, ми-

лость просил, чтобы как можно побывал он у меня, что, мол, по гроб жизни он этой милости не забудет, если приедешь... да поскорее... А на фабрике, скажи, мне жить очень хорошо, и хозяйский сын, он знает, очень меня полюбил, все равно, что друг стал... Я со стариком и о себе, и о тебе поговорю, а он приедет, я знаю, как толко ты ему скажешь...

Они подходили к Ступину.

— Что же, уж мне заходить ли к вам в дом-от?.. Старика нет, Федосья Осиповна меня не любит, с тобой все переговорил, а там еще, пожалуй, твоего встречу,— не вышло бы еще у вас с ним чего...

Федя остановился в нерешимости.

— Прощай-ка лучше... Да мне уж и пора... Тоже до фабрики далеко.

Но Анна ухватила его за руку.

— Нет, нету, родименькой, Фединька, доведи ты меня, проводи, ради христа... Я и в дом-то взойти побоюсь теперь... Ты хошь меня до матушки-то проводи, она нынче ничего, много милостивей ко мне стала... Она ведь сама и к гадалке-то меня послала, и лошадь велела взять... Коли дома Кирилла Федотыч, так хоть я приду-то при тебе, не так боязно... Ну, а там, уж что бог сделает... А нет его, так ты посиди со мной, дай мне душеньку-то отвести, посмотреть да поговорить с тобой... Может, надумаешь и матушке что скажешь... Право... Она теперь боится, что Кирилла-то хочет уйти вовсе из дома, так гораздо лучше стала, почитай заодно со мной, рука за руку... Он теперь и с матушкой-то не ладит, и с ней-то мало что говорит... Нет, Фединька, зайди, христа-ради, зайди, прошу я тебя... Да и его, чай, поди нет... Станет ли он дома сидеть, особливо сегодня, в праздник... Бросил, чай, лошадь, изругал матушку, что дала мне ее, да и опять ушел гулять...

Федор не мог отказать сестре и пошел с нею.

В избе они застали одну Федосью Осиповну в сильном смущении. Она почти обрадовалась приходу Анны и рассказала, что сидела под окном, поджидая ее возвращения от гадалки, как вдруг увидела в телеге скачущего мимо дома Кирилла. Лошадь была вся в мыле, а он еще дергал и хлестал ее.

— У меня так сердце и упало,— рассказывала старуха.— Ждала тебя, а вижу он скачет один и мимо...

Что, мол, за чудо такое, не повстречалось ли чего, не сделалось ли?.. Я было высунулась в окошко, окликнуть его, так не знаю, слышал ли, али нарочно виду не дал, что слышит... Даже и на избу-то не смотрит... Как вы повстречались-то с ним?..

Анна все подробно рассказала старухе о своей неожиданной встрече с мужем.

— Куда же он, батюшки, куда же это он поскакал-то? — спрашивала Федосья Осиповна со слезами на глазах.

— Так он, значит, в эту сторону проехал? — спросил Федя, показывая направление.

— Да, да, вот сюда, прямиком через всю деревню.

— Ну, так я знаю куда он поехал,— проговорил Федя.

— Куда? Куда? — спросили в один голос мать и жена.

— В Чернушки, надо быть...

— Почто ему туда? — с сомнением и недоумением заметила Федосья Осиповна.— Близко ли до Чернушек, а лошадь вся и без того в мыле, устала, да и делать ему там нечего...

— А вот посмотрите, что туда... К нашему батюшке...

— Не охоч он был туда ездить-то никогда,— возразила старуха таким тоном, в котором против ее воли слышалось нерасположение к семье Феди.— С чего же ему вдруг теперь надумалось?.. Нет, не может быть... Не поедет он туда...

Федя не стал спорить, но обратился к сестре:

— Вот что, Аннушка, ступай ты теперь же, коли в силах, а нет, так отдохнувши, или завтра чем свет, ступай к батюшке и расскажи ты ему все, что я тебе говорил... Пустите ее, Федосья Осиповна.

— Да чтой-то, батюшки мои, что за тайности-секретности у вас? — возразила старуха.— Зачем вдруг всем Чернушки понадобились?.. И Кирюша, чу, туда ускакал, и ей туда же бежать надобно... Да что такое?.. Скажите хоть что-нибудь...

— Никаких секретностей нет, Федосья Осиповна... Пускай Анна вам все расскажет, а только, если сходит она, так и для нее, и для вас лучше будет...

— Али гадалка что указала?—проговорила Федосья

Осиповна.— Ты ему разблаговестила, что ли, все, братцу-то?

— Не верит он, матушка, гадалкам-то,— отвечала Анна,— а она мне все так точно сказала: встретишь, говорит, человека нежданно-негаданно, и он все тебе расскажет... И я теперь все узнала!.. От него же узнала, от Фединьки!.. Он встретился, все рассказал... Прежде нас он все знал... Горе мое, матушка, стыдобушка!.. Все так точно!..

Анна заплакала.

— Да что, дурочка, что? Ты мне расскажи скорее... Можно, чай, матери-то сказать?

Последний вопрос был обращен с некоторым упреком к Феде.

— Она вам все расскажет, Федосья Осиповна,— отвечал Федя,— только вы отпустите ее поскорее в Чернушки, а ты сходи, Аннушка... Пожалуйста сходи...

— Да я хоть сейчас, Фединька, вот только бы матушка...

— Да коли нужно, так сходи... Что же...

— Так счастливо оставаться, Федосья Осиповна... Прощай, Аннушка... Я пойду...

— Что-то больно скоро? — проговорила Федосья Осиповна, больше ради церемонии. Она сгорала от нетерпения услышать рассказ Анны.— Правда, мужиков-то никого дома нет... Да хошь бы закусил, что ли, поел бы чего...

— Нет, покорнейше благодарю... Не хочу ничего... Мне время идти на фабрику... Я ведь и шел на минутку, только вот сестру повидать, да дорогой встретились,— все переговорили... Прощенья просим, Федосья Осиповна... Прощай, Аннушка.

Старуха больше не задерживала гостя и даже была недовольна, что Анна пошла проводить брата за ворота, в то время как ее снедало женское и материнское любопытство.

Федор не хотел присутствовать при рассказах Анны, боясь каких-нибудь обидных замечаний относительно Парани со стороны Федосьи Осиповны, да и торопился воротиться в Онучино, куда манили его Паранины глазки и надежда уговорить Дарью Тихоновну сегодня же уйти на фабрику. Он знал, что мужицкие сборы, даже и женские, непродолжительны, а идги всю дорогу вместе

с Параней, не расставаться с ней и там, на фабрике, принявшись за работу, знать, что она тут, близко, почти на глазах,— какое бы это было счастье!

Простившись за воротами с сестрой, он быстро зашагал по дороге в Онучино, а Анна торопливо воротилась к Федосье Осиповне, нетерпение которой вполне понимала и сама желала удовлетворить его поскорее: рассказывать новости, даже неприятные и печальные, говорить о своем горе, для крестьянки всегда, если не удовольствие, то большое утешение.

VII

Федя не ошибся в своей догадке: Кирилла, действительно, промчался в Чернушки.

Во время разговора с женой, при встрече с нею на дороге, в голове Кириллы мелькнула мысль немедленно ехать к Герасиму Дмитричу, рассказать ему о намерении Федора жениться на Паране и подбить старика тотчас же ехать в Онучино, чтобы накрыть Федю на месте.

Недолго думая, он привел свое намерение в исполнение,— вытолкнул из телеги жену и поехал. Дорога ему шла прямо через Ступино, и он, чтобы избежать расспросов и объяснений с матерью, проскакал мимо своего дома, показывая вид, что не заметил Федосьи Осиповны и не слыхал ее оклика.

До Чернушек было добрых десять верст; усталая лошадь, непривычная к скорой езде, выбилась из сил и начала беспрестанно заявлять желание идти шагом или по крайней мере легонькой рысцой; но Кирилла нещадно погонял ее, посылая в то же время проклятия жене, которая осмелилась куда-то ездить на ней. Страсть бушевала в душе Кириллы, он не мог ни о чем хорошенько думать, не уяснял себе своего настоящего положения, был полон одним чувством ненависти и мести к Феде, которое и торопился скорее удовлетворить.

Появление его на взмыленной, усиленно вздымавшей боками лошади у ворот дома Герасима Дмитрича напугало старика. От нечего делать, ради праздника, он сидел со старшим сыном на завалинке своей избы, и первая мысль, которая пришла ему в голову при виде измученной лошади и встревоженного лица Кириллы,

была та, что в семье случилось какое-нибудь большое несчастье. Он торопливо поднялся на ноги и быстро подошел к телеге, прежде чем Кирилла успел выскочить из нее.

— Что поделалось, Кирилла Федотыч?.. Что такое?.. Все ли здоровы? — закидал он зятя торопливыми тревожными вопросами, даже забывши предварительно поздороваться с ним.— Анна жива ли?.. Али Федот Семеныч?.. Молви скорее... Не томи...

— Все здоровы... кланяются,— отвечал Кирилла, выскакивая из телеги и чувствуя некоторую неловкость.— Здорово живешь, батюшка... Свату Ивану Герасимычу...

— Что же ты это? — удивленно спрашивал старик, наскоро здороваясь с зятем.— Напугал меня до смерти, и сам-от такой... никакой... и лошадь-то в мыле... Даже и теперь коленки трясутся!.. Да ты сказывай правду, не таись, может, что поделалось, да не хочешь вдруг испугать...

— Дельцо-то есть одно... Пойдем, батюшка, в избу,— говорил Кирилла, оглядываясь по сторонам.

От соседних изб медленным шагом подходили к ним мужики, очевидно тоже заинтересованные неожиданным появлением Кириллы.

— Пойдемте в избу... Это дело такое... А вон чужие люди подходят,— повторил Кирилла вполголоса.

— Пойдем, пойдем,— заторопился Герасим Дмитрич, вновь чувствуя сильное беспокойство.— Иван, введи лошадь-то во двор...

— Да, пожалуй, не тронь ее тут, сват Иван... Я ведь недолго... Постоит и так... Пойдем лучше с нами...

Все озабоченные, встревоженные пошли в избу.

— Вот что, батюшка, пойдем перво в светелку, что ли, или куда... чтобы без баб... нам одним чтобы переговорить,— заметил Кирилла, останавливаясь на мосту.

Эта таинственность окончательно смутила старика, встревожила даже и всегда спокойного, невозмутимого Ивана.

— Знамо, в светелку... А коли кто есть,— выгоним.. И запереться даже можно,— проговорил он озабоченно.

— Пойдем, пойдем...— твердил Герасим Дмитрич, дрожащими руками отворяя дверь в светелку...— А вы

сидите там, не ходите сюда, никого не надо...— обратился он к бабам, выскочившим было в сени навстречу гостю.

Кирилла мимоходом только поздоровался с ними. Бабы в недоумении попятились назад в избу и не сразу затворили за собою двери, с жадным любопытством посматривая на Кириллу.

— Ну, чего рты-то разинули?.. Затворяйтесь! — проворчал на них Иван.

— Что же такое, Кирилла Федотыч?... Сказывай скорее... Совсем даже сердце упало!..— торопил Герасим Дмитрич, войдя в светелку и усаживаясь около зятя.

— Да ты что же так уж очень, батюшка? — успокаивал его Кирилла.— Не пугайся очень-то... Конечно, что тебе это услышать будет не в удовольствие, а все же еще дело поправить можно...

— Да что такое?.. Говори скорее,— чуть не взмолился Герасим Дмитрич.

— Ты говори сразу... не сумневайся,— повторил за ним и Иван.

— Да что сумневаться... Знамо, сразу нужно сказать, зачем ехал, торопился,— отвечал Кирилла.— Федя ваш забаловался очень... Вот что...

— Как Федя забаловался?.. Что ты?.. В чем забаловался?.. Господи, помилуй!— проговорил старик.

— А так, связался с одной бабенкой гулящей, со вдовой, да еще на ее дочке жениться хочет...

— Да что ты?.. Как узнал?.. Он на фабрике живет... Там разве...

— Нет, не на фабрике, а в Онучине... Слыхали Онучину деревню, от нас верст за пять... Вот где... Он и теперь там, у этой самой вдовы... И к нам не приходил, а весь день там, может еще со вчерашнего дня... Хотите поезжайте, сами увидите, еще захватите его там... И уж он, выходит, давно с ними возжается, сначала с маткой, а теперь с дочкой... И жениться на ней хочет... Уж вьявь объявляются женихом с невестой... Знамо, и деньжонки туда таскал, какие были... Вон, батюшка, родитель мой, его тоже не оставлял, награждал, я знаю,— и эти деньги туда же на них, видать, извел... А они такие, этим живут... И не его там оберут до ниточки... Пропадет парень задаром... Жалко!..

— Вот он отчего, видно, и жениться-то не хотел, в люди-то, на сторону, просился!— заметил Иван.

— Так, само собой, для этого самого... Отсюда ему нескладно бегать-то туда, а с фабрики-то ушел... кто его видит!.. Напрасно вы пустили его тогда,— говорил Кирилла.

Герасим Дмитрич сидел, печально и задумчиво опустивши голову. Ему обидно и горько было слышать такую новость об его любимом сыне, которым он внутренне гордился, в которого безусловно верил и для которого ожидал другой, лучшей судьбы. Его огорчила эта новость еще больше потому, что ее сообщал Кирилла. Герасим Дмитрич был дурного мнения о своем зяте и не раз упрекал себя, что отдал за него дочь.

Ему казалось непохоже на правду все то, что рассказывал Кирилла. Ему просто не хотелось верить, казалось невероятным, чтобы умный, скромный, рассудительный Федя был способен и на такие знакомства, и на такие связи.

— Полно, да правда ли это?— проговорил он, не смотря на зятя.— Не сплетки ли одни?.. От кого ты узнал-то?

— Чего от кого, коли своими глазами видел, своими ушами слышал; сам он мне сказал, что жениться хочет на этой девке...

— Да как же так, где ж ты его видел?

— Да там же и видел, вот какие-нибудь два часа назад, у этой самой гулящей вдовки и с невестой рядом... Сидят, чай пьют, блины едят... Праздничным делом, я разгуляться ходил к приятелю к одному в это самое Онучино, а он мне и говорит: а твой, говорит, шурин здесь, Федор Герасимыч,— гостится, говорит, у нашей «барыни»... «барыней» ее прозывают... У Дарьи Тихоновны... Я даже не поверил ему, обругал его, а он божится: да он, говорит, давно с ней живет, а не веришь, сходи, говорит, посмотри сам... А я, признаться, как еще холостой был, так знавал ее... так самая что ни на есть охальная, гулящая, сволочь-баба!.. Погоди ж, думаю, я сам схожу, посмотрю... Вхожу невзначай, так и есть, сидит наш молодец там... По одну руку мать, по другую — дочка, он в середочке... Здравствуй, мол, как так, какими судьбами тебя бог сюда занес?.. А смотрю, у них уж и сладкая водка на столе, и закуски разные... Я и стал было его сты-

дить... Как взъедятся на меня бабы,— вон гнать; я было на них, срамить их стал... Батюшки мои, поднялся наш Федя, дрожит весь. Не смей, кричит, про них худого слова сказать!.. Это, говорит, моя невеста нареченная!.. указывает на девку... А другая-то, говорю, какая же тебе родня-то придется?.. Смеюсь... Ну, уж тут беда что было, чуть не убили меня... Девка-то кидаться стала всем, что под руку попалось, мать с кулаками лезет, Федянка... Ну, думаю себе, парень, попал ты, завяз!.. Выскочил от них да сейчас на лошадь, да к вам... Что же, думаю, как никак, свои люди,— родня, и парня жалко, пропадет задаром... Сам из этих когтей не выцарапается... Надо отцу, брату сказать... Вот нарочно и прискакал к вам!.. Заложите лошадь, поезжайте поскорее, там еще застанете, чай, раньше ночи не уйдет... Я бы на своей с радостью довез, да долго протащится, устала очень... Гнал я уж ее очень шибко...

— Что, Иван, что делать-то?— смущенно и печально спросил старик.

— А что делать?.. Взять его с фабрики да женить здесь, пока не избаловался вовсе, —вот и все...

— Да нет... А теперь-то ехать или нет?

— По-моему, чего тут ездить, лошадь гонять?.. Мало ли он чего надурит, не наездишься за ним...

— А, может, неправда,— обмолвился Герасим Дмитрич.

— Неправда!— вскричал Кирилла.— Ну, так уж поедем, батюшка, я тебя хошь на своей довезу... Это мне даже обидно слышать, я по родству, жалеючи парня, нарочно прискакал, а ты не веришь мне... Что же я, выдумку выдумал, что ли? Да что мне за надобность?.. Кабы не жалеючи вас да его... как по родству... так что бы мне? Наплевать! Я бы и не почесался!.. Нет, а уж теперь, коли ты сказал это слово, так уж поедем... Вели ему, сват Иван, ехать... Пускай же он сам, своими глазами посмотрит, а мне чтобы в лгунах-обманщиках не быть... Нет уж, коли так, поедем же, батюшка, беспременно, сею же минутою...

— Поедем, я съезжу... Ты меня довези на своей, а оттуда, назад, я пешком дойду...

— Поедем и на моей... все одно мне в оборот ехать... Хошь и устала, а ничего, добежит... Только скорее собирайся, чтобы захватить его...

— Да что мне собираться-то, взял шапку да и готов...

Через несколько минут тесть с зятем выехали в одной телеге из Чернушек, возбудивши живое любопытство не только в домашних, но и во всей деревне. Это любопытство осталось неудовлетворенным; хотя и осаждали вопросами молчаливого Ивана, но добиться от него ничего не могли.

— Дело одно вышло... не касающее! — отвечал он одно и то же всем любопытствующим.

Герасим Дмитрич ехал молча и насупившись: он был очень огорчен и сконфужен. Зато без конца говорил Кирилла все на одну и ту же тему, о дурной славе Дарьи Тихоновны и ее дочери, о том, какая бы погибель была для Феди, если б он не узнал во-время о грозившей беде и по родству не предупредил его отца.

«Больно уж ты, парень, что-то хлопочешь да заботишься о Федьке...— подозрительно думал про себя, хотя и не высказывал, Герасим Дмитрич, слушая краснобайство зятя.— Да вот, погоди, сам до всего дойду, все увижу!.. Эх, Федянка, Федянка, неужто уж ты так повихнулся и сам-деле?.. Вот чего не чаил!.. Лучше бы мне не сдаваться тогда на твои слова, не отпускать бы тебя... Либо женить бы сначала...»

С половины дороги Кирилла стал беспокоиться, что время спозднилося, и, погоняя лошадь, высказывал опасение, что они, пожалуй, приедут в Онучино поздно и не застанут Федора у Дарьи; особенно он настаивал на том, чтобы не заезжать в свой дом и не останавливаться у него, так как женщины любопытны, будут доспрашиваться да допытываться, куда да зачем да почему? И все им расскажи подробно и обстоятельно, пойдут суды да пересуды, а время уйдет... Если же теперь Федю не застать, то будет, пожалуй, запираться, что был у Дарьи, и его же, Кириллу, лгуном сделает... А после самокруткой и женится... Федота же Семеныча дома нет, а с Анной Герасим Дмитрич лучше повидается, как назад пойдет.

Старик не возражал и не соглашался с рассуждениями и доводами Кириллы, но слушал их молча.

Не доезжая версты полторы до Ступина, оба они увидели идущую к ним навстречу женщину и с одинаковым изумлением узнали в ней Анну.

— Куда это она идет? — спросил Герасим Дмитрич.

— Кто ее знает... не знаю,— отвечал Кирилла, насупившись. «Не жаловаться ли уж на меня собралась к родителю?— мелькнуло у него в голове.— Вот не во время встретилась!»

Анна, с своей стороны, тоже еще издали узнала свою лошадь и седоков в телеге и торопилась к ним навстречу.

«Чудное дело, зачем это он батюшку везет,— думала она.— Смотри что-нибудь затевает, либо супротив меня, либо насчет Федянки. Да уж погоди же, коли так, все батюшке расскажу, пускай рассудит... Теперь и Федосья Осиповна меня поддержит, мы с ней теперь заодно... Поди-ка как ревела, на плечо ко мне припала, как я все-то ей рассказала... Сама даже посылать стала, поди, говорит, с отцом посоветуй ...»

С такими мыслями встретились родные. Кирилла должен был, хоть и поневоле, остановить лошадь. Сердито и молча смотрел он на жену. Она избегала его взгляда.

— Здорово, Аннушка... Куда это ты?— спрашивал Герасим Дмитрич у подходящей дочери.

— Я к тебе было, батюшка... Да вот хорошо — встретились... А ты к нам, что ли?..

— Нет, было не к вам... Мы вот с Кириллом Федотычем твоим в одно место ехали... Да оттуда я заеду и к вам... Полезай в телегу-то, подвезем к дому, а дорогой потолкуем...

— Дойдет и пешой... Тут недалеко, а лошадь-то устала... Нам ведь еще ехать придется,— проговорил Кирилла и хлестнул лошадь, торопясь поскорее отделаться от жены.

— Постой, постой маленько,— остановил его Герасим Дмитрич.— Экой, братец, ты какой!.. Дай хоть словечко-то перемолвить с дочкой!..

Кирилла с досадой остановил лошадь. Старик повернулся к Анне, которая с опечаленным, смущенным видом осталась сзади телеги.

— Да ты что же к нам собралась-то?— спрашивал Герасим Дмитрич.— Так, погоститься, али нароком, по делу по какому?..

— По большому делу, батюшка, по нужному!— отвечала она со слезами в голосе.— Очень мне до тебя надобность есть, большая!..

— Так пусти ее в телегу-то,— сказал Герасим Дмитрич Кириллу.— Уж, господи помилуй, не какая тяга...

Подвезем ее к дому-то хоть шажком, недалеко тут, а она скажет пока, что за надобность такая...

— Время только даром проведем, батюшка,— бормотал Кирилла,— там, пожалуй, не застанем, а она еще пытать будет, куда едем... А надобность ее какая? Пустяк, чай, какой-нибудь... Опосле скажет... Поедем лучше поскорее...

И Кирилла начал хлестать бедную лошадь, но та, обрадовавшись минутной остановке, неохотно шла даже и шагом и на удары Кириллы, на сердитое подергиванье вожжами отвечала только тем, что встряхивала головой, а рысью не бежала, так что Анна не отставала от телеги и шла вслед за нею.

— Да все одно, не побежит уж она, видно, скорее-то, опешела,— проговорил Герасим Дмитрич и, уже не спрашивая Кириллы, потеснился в телеге и сказал дочери:

— Садись, Анна... Полезай скорее в телегу...

— Как не побежит... Пойдет!— возражал Кирилла, злобно дергая вожжи и показывая вид, что не слышит последних слов тестя.

Анна между тем бежала сбоку, примериваясь как бы поставить ногу на конец оси и влезть в телегу. Инстинктивно поняла она, что муж желает уехать от нее, и по тому же инстинкту не хотела, даже боялась отпустить их, не узнавши, в чем дело.

— Да остановись же, братец!.. Чтой-то!.. Еще, пожалуй, под колесо попадет,— сказал Герасим Дмитрич с некоторым раздражением в голосе и даже сам ухватился за вожжи.

— Ну, так не говори же, что я солгал, коли не застанем... Сам на себя пеняй!— сердито отозвался Кирилла, бросая вожжи и искоса злобно взглядывая на жену, которая успела-таки в это время ввалиться в телегу.

— Да куда вы больно торопитесь?— спросила она, усаживаясь в ногах у отца, лицом к нему и к мужу, который отворотился и смотрел в сторону.

— На что тебе меня-то?.. Какое такое большое дело, говоришь?—вместо ответа, спросил ее Герасим Дмитрич.

Анна заметила, как Кирилла передернуло от этого вопроса.

— Ах, батюшка родимый,— отвечала она,— дело мое такое... не здесь, в телеге, на дому, затворившись да в слезах нужно его сказать!..

— Вот нынче порядки какие пошли,— раздражительно проговорил Кирилла,— жена с какими-то делами ходит, а муж ничего не знает!.. Даве встретил, неведомо куда ездила, лошадь измучила, не сказывается куда, а теперь, тайком от мужа, опять к отцу побежала... Нечего сказать, хороши порядки!..

— Что уж нам с тобой, Кирилла Федотыч, о порядках говорить,— так же раздражительно возразила Анна,— разве мы с тобой, как следует мужу с женой, живем, в одном совете да в любви?..

— А как же еще жить-то?.. Что ты жаловаться, что ли, на меня к отцу-то побежала, что даве выругал да толкнул, что не сказываешься, куда ездила, лошадь совсем измучила?.. Вона, еле ноги передвигает!.. Так жалуйся, а мне никто не закажет тебя за дело поучить!.. Вишь ты, она будет тайком от мужа, неведомо куда, ездить, да не сказываться, а мне глазами хлопать да кланяться: катайся, мол, женушка, гуляй в свою волю... Нет еще, погодишь!..

— Полно, Кирилла Федотыч, не греши... Где уж мне гулять... Не пристало мне!.. Гулять ли, нет ли, видно, уж тебе одному, а мне только слезами обливаться да богу молиться!.. А, правда бы, может, лучше что муж в одну сторону, а жена в другую, по крайности, друг дружке мешать бы не стали... Не спрашивать бы друг о дружке и не наведываться, а так, ровно чужие... Может, этак-то бы, по-твоему, на что бы лучше!.. Может, еще посмотрю, так и сделаю. Лучше уйти от греха, чем на погибель и саму себя, и мужа подводить... как даве... Да вот еще пока вместе-то живем, так бог поневоле, и не хочешь, да сводит... Вот даве ни ты, ни я не чаяли, а бог снес нас, встретились; ты со своего дела ворочался, думал, что и я с другого такого же, тоже со своего... А я, может, по твоему же делу ездила, только не скажу по какому, потому не время, после, может, признаюся, покорюся во всем...

— Вот видишь ты!.. Вот и слушай, что она говорит!.. Не возьми зло!..

Кирилла был внутренне доволен, что попалось под руку обстоятельство, которое как бы оправдывало его поведение относительно жены. Он умышленно напирал на таинственную поездку Анны. Но и та поняла его мысль.

— Полно-ка, Кирилла Федотыч, не за то ты меня бил и срамил, что я ездила, все тебе равно, и не спросил бы; разве бы только лошади пожалел, что взяла, так я не без спроса, мне матушка велела... А за то ты меня бил и срамил, что не в час встретилась, не в добрый твой час под руку тебе попалась... Вот как лучше признайся!..

— Плети, плети перед отцом-то... Заговаривай зубы-то!.. Мне не заговоришь, я все равно спрошу, потихоньку от меня, неведомо куда ездить жене не позволю... И побить тебя за это всегда побью!.. Вот при отце твоем говорю!..

— Коли за это одно будешь бить, Кирилла Федотыч, так я не пожалуюсь, да и бить-то тебе, пожалуй, не придется, не подыщешься вдругорядь...

— Ну-ка, будет уж, вон деревня-то близехонько, вылезай, дойдешь и пешком!.. А мы с батюшкой-тестем теперь поедем... Ужо воротится, будет время, нажалобишься на меня, сколько угодно... Вылезай...

Кирилла остановил лошадь.

— Да куда же вы это, батюшка, едете?— опять спросила Анна, заглядывая в глаза отцу, который во время их перебранки ехал молча, опустя вниз голову и ни на кого не смотря.

— Так ведь ты про свое дело не сказываешь,— хотел отыграться Кирилла,— ну, и мы до времени не скажем... Вылезай же, говорят, скорее... Некогда нам...

— А ты зайди, батюшка, лучше теперя на часок, право, мне больно нужно тебе сказать...

— Да коли все об этом же, дочка, так успеем и после наговориться... Промеж вас судить мне хоть и не больно по мысли, и польза, не знаю, будет ли, да все равно и не теперь можно, опосле... Сразу вас не рассудишь... А теперь, правда, что я по делу...

— Да кабы мое-то дело было, батюшка, одно, так я бы и говорить не стала... Правда, что нас сразу не рассудишь... Да уж и что я... Пускай, бог все видит!.. Мне Федя наказывал беспременно тебя повидать...

Кирилла вздрогнул. Герасим Дмитрич оживился.

— Как, Федя?.. Разве ты его видела?

— Как же, видела... Недавно он только ушел от нас... Меня попросил к тебе сбегать, а сам на фабрику пошел,— время, говорит, идти, тоже не близко... А больно нужно, батюшка, зайди в избу!..

— Ну, коли Федор... так нужно зайти... Зайду,— решил Герасим Дмитрич таким тоном, на который возражать было напрасно.

Кирилла позеленел и с такой ненавистью и злобой посмотрел на жену, что та, случайно встретившись с его глазами, невольно вздрогнула и отворотилась.

Молча подъехали к дому.

— Так не поедешь?— спросил Кирилла, обращаясь к старику.

— Нет, вот перво узнаю, что он Анне наказывал... А тут, может, тотчас и поедем,— отвечал Герасим Дмитрич, вылезая из телеги.

— Тогда нечего даром и лошадь мучить,— проговорил Кирилла грубо,— я и лошадь отложу... Пеняй сам на себя, коли все дело погубишь...

— Нельзя же, Кирилла Федотыч,— оправдывался Герасим Дмитрич.— Может, и сам-деле что нужное... об нем же...

— Да мне все равно, наплевать! И я, дурак, ввязался... Пропади вы пропадом все-то... Очень мне нужно!..

Из избы выходила навстречу гостю и сыну Федосья Осиповна, увидевшая их в окно. Кирилла сердито, с ругательствами, ввел лошадь на двор, хотел было отпрячь ее и уйти из дома, но передумал. Его сильно интересовало узнать, что будет рассказывать Анна, или, по крайней мере, какие будут последствия этого рассказа. Он предчувствовал, что при этом разоблачится многое из его похождений, и сначала не хотел было показываться в избу, но любопытство, надежда как-нибудь вывернуться и повредить Феде взяли верх.

— А, черт их дери там!.. Что мне этот старый хрыч!.. Если что много будет разговаривать, так я из избы выпихну: я тут хозяин-то, никто!..

С самонадеянным, нахальным видом вошел он в избу. Там сидела одна Федосья Осиповна, пригорюнясь, подперши голову рукою.

— А где же батюшка-тесть?— бойко спросил Кирилла у матери.

— В светелке с Анной...

— Так и я пойду туда к ним...

Кирилла сделал было движение к дверям.

— Не ходи... Заперлись они там, одни...

— Что еще за тайности такие?..

— Посоветовать им надо промеж себя... Просились: я пустила в горницу...

— Так ведь, чай, не от мужа секреты-то эти? Пускай ты, а я, я думаю, муж ведь. Я пойду, постучусь...

И, не слушая возражения матери, он пошел и стал стучаться в запертую изнутри дверь горницы.

— Это я... Отопри, Анна,— приказывал он спокойным, но повелительным голосом.

— Погоди, Кирилла Федотыч,— отозвался оттуда Герасим Дмитрич.— Мы вот только с Анной переговорим...

— Да что же я-то?.. Чужой, что ли?.. Не муж?.. В дому не хозяин?..

— Дело не до тебя... Наше дело, семейное... Про Федянку... Не обессудь!.. Погоди маненько!— твердо отвечал Герасим Дмитрич.

— Чудеса, ей-богу, ноне пошли... Хозяина из дома вон гонят!— сказал Кирилла, отходя от дверей, и, ругаясь, воротился в избу.

— Ах, Кирюшенька, Кирюшенька!— говорила Федосья Осиповна, печально смотря на сына и качая головою.

— Ну, что еще?— огрызнулся он на мать.— Ты чего?..

— Ничего я, батюшка... Боюсь, не сгубил бы ты себя без остатка... Все я знаю... Опомнись, батюшка!.. Одумайся, оглянись на истинного бога!..

— Эх, отстань, матушка... Надоели вы мне все до смерти!.. Была хошь одна засуха — жена, а теперь и ты, я вижу, ей в руку запела... Говорю: одно осталось, из дома бежать без оглядки!.. Ну, чего оглянись на истинного бога? Ну, что я делаю? Отчего мне погибать?.. Погибель-то моя одна,— вон она здесь заперлась от мужа!.. Ну, что ты все-то знаешь?

— Все знаю, батюшка...

— Ну, говори: что тебе еще наплели?.. Федька, чу, был тут... Ты нонче и его слушаешь, коли что на меня плетет?.. Ну, говори, что ты знаешь?..

— А как же, Кирюшенька, вдова-то?..

— Ну, так что, что вдова?..

— И дочка у нее...

— Ну, и дочка есть... А еще-то что же?

— Так неужто, Кирюшенька, это можно? От живой жены ты весь дом к ним перетаскал, да еще и...

— Ну, что же еще-то? Говори...

— Да уж правда, что и говорить-то,— язык не ворочается... Кажется, и не поверил бы, кабы не сам ты повестки давал!..

— Какие еще повестки?..

— А уйти-то вовсе из дома!.. Распродать ведь ты все хотел да уйти, их с собой взять... Вот меня-то не хотел брать с собой... С дочкой-то бы жил, а старая полюбовница заместо матери бы у тебя была... Вот ведь ты что затевал!.. Так разве легко это матери слышать?..

— Вот что. Ты слушай кого хочешь и сколько хочешь!.. Мне все одно,— слушай больше!.. А я тебе скажу: не житье мне здесь с вами, вот что!.. Все вы на меня опрокинулись... Мало отца, жена и тебя против меня подбила... И своего отца вон привела... Всем я вам поперек горла встал, и выходит, что мне дома не жизнь, а каторга!... Поневоле вон из дома смотришь... Еще и совсем уйду, убегу — вот дайте срок!..

— Да чем мы, Кирюшенька, чем мы тебе согрубили? Что не по-твоему сделали?.. Уж про меня-то, кажется, грех тебе сказать,— я ли тебя не любила, я ли душу за тебя не закладывала? Когда я поперек тебе слово молвила? Кому бы я за тебя глаза не выцарапала?.. Ну-ка, сердечный друг, родное мое дитятко, ну-ка — подумай!..

— Да, была ты мать... На тебя только еще и надежда у меня была... А теперь ты что говорить стала? Я дом разорил, весь к любовницам перетаскал... Я мать с дочкой увезти хочу... Я с девкой от живой жены убежать думаю, а на этой самой девке Федька жениться хочет.., уж женихом нареченным объявляется!., Вот это ты знаешь ли? Это тебе сказывали ли?

— Как так, Кирюшенька?

— То-то, как?.. Ты вот всему веришь, что подлая женушка с братцом про меня плетут, а про себя, небось, они тебе не рассказывают... А я, может быть, и ходил-то, и гостился, ну и дарил когда, без этого с ними нельзя, может все из-за того только, чтобы, по родству, все дознать да допросить, да помешать парню погинуть напрасно... Думал, тоже ведь шурин, женин брат, моего родного батюшки любимчик... Думалось, вот, мол, и парня спасу, да и вам всем нос утру,— вот, мол, ваш любимец, потихоня, свят-муж, коего вы мне в пример-то ставили... Вот он какой, смотрите!.. Не одни мы, грешные!.. Думал все-таки хошь в совесть возьмут немножко да

спасибо скажут, а они меня же виноватым делают... Так не горько мне это, не противно, можно мне дома жить, на сторону не смотреть?..

Федосья Осиповна совсем растерялась. Она почувствовала себя кругом виноватою перед сыном, в душе ее закипел с новою силою гнев и ненависть к Анне и Феде, она смотрела и слушала сына с благоговением, со страхом, что он рассердится и отвернется от нее навсегда.

— Кирюшенька! Кирюшенька!.. Сердечный мой!— лепетала она, обливаясь слезами.— Ах, они подлые!.. Ах, они окаянные!.. Чувствовало мое сердце, что все это одни сплетки, все одна неправда... Батюшка, Кирюшенька, прости ты меня дуру старую!.. Сынок ты мой золотой, родной ты мой!.. Да я их... да я их, кажется! Прости ты меня, прости, Кирюшенька... Не гневайся ты на меня, дуру старую...

Федосья Осиповна навзрыд плакала.

— Да ну, отстань, матушка... Бог с тобой, не реви!.. А на них на всех мне ровно наплевать... Черт с ними!.. Пускай, что хотят, то и мелют... Досадно только показалось, что для них же старался, а они... А пуще всего эта дурища, урод этот, плакса, сплетница, женушка моя, мне вдосталь опротивела!.. Да вот больше того обидно, что и ты-то им поверила...

— Батюшка, батюшка... Кирюшенька!— рыдала Федосья Осиповна, кидаясь на шею к сыну.— Никогда больше... ни в жизнь им не поверю... Подлые!.. Проклятые!.. Смутники окаянные!.. Никогда... ни в жизнь!.. Золото мое!.. Сердечный мой!..

— Ну, ладно, матушка... Ладно... Перестань же... Не все одно толковать!..

Кирилла освободился от объятий матери и усаживал ее на лавку. Он так вошел в свою роль, что даже лицо его приняло выражение оскорбленного достоинства, точно и в самом деле он пострадал за правду от людской неблагодарности.

В это время в избу вошли Герасим Дмитрич и Анна. Старик был, видимо, расстроен и опечален, но старался казаться спокойным; Анна шла вслед за ним, низко опустивши на лицо платок, которым повязана была ее голова, и стараясь скрыть следы слез, которые только что отерла концом того же платка. Робко, точно виноватая,

пробиралась она за спиною отца в темный угол избы и боязливо взглядывала на мужа и свекровь. Начавши говорить с отцом о Феде, она незаметно увлеклась собственным своим горем и, в первый еще раз в жизни, раскрыла перед отцом все подробности своего печального положения в семье, рассказала о всех похождениях мужа, о тех обидах и оскорблениях, которые она переносила и от него, и от свекрови. Федосью Осиповну, впрочем, она оправдывала и вполне извиняла, а за последнее время даже была благодарна ей. Герасим Дмитрич еще прежде многое подозревал, о многом догадывался, но никак не ожидал, чтобы жизнь дочери была так тяжела и разлад ее с мужем дошел до таких размеров. Уже со времени дела, по которому судился Кирилла, Герасим Дмитрич потерял к нему всякое доверие и считал его дурным человеком; из рассказов Феди он знал, что и свекровь не ладит с его дочерью, жалел о ней, упрекал не столько себя, сколько судьбу в неудачном браке Анны, но смотрел на Анну, как на отрезанный ломоть, на ее судьбу, как на дело решенное, в которое ему вмешиваться не приходится и которое теперь уже в руках божиих. Мало ли на свете народа терпит,— у всякого своя судьба, свое счастье!.. Он предвидел и не удивился бы, если бы услышал от дочери, что Кирилла пьянствует, бездельничает, мотает, бьет и обижает жену, особливо под пьяную руку, даже распутничает; но рассказ о любовных похождениях Кириллы со вдовою и ее дочерью, об его намерении обобрать и распродать весь дом, все хозяйство, чтобы убежать с дочерью любовницы и жить с нею без брака,— совсем ошеломил старика. Это было так ново, так чудовищно, так непохоже на все то, что он до сих пор видел в крестьянской жизни, что Герасим Дмитрич только вздыхал, пожимал плечами да крестился, слушая дочь. А тут рядом другая новость, что его сын, его любимец, скромный и разумный Федя, хочет непременно жениться, даже без его согласия и благословения, на той самой девке, с которою хотел уйти в бега зять... Герасим Дмитрич совсем, как говорится, опешил, растерялся, ничего не мог сообразить хорошенько и не столько с горем, сколько с недоумением и ужасом смотрел на плачущую перед ним дочь...

— Что же это такое, Анна?.. Что за времена настали?.. Как тут жить? Что делать?.. Я и ума не приложу...

Федянку, пускай, скрутить недолго... Взять его домой да женить тотчас же...

— Не женится он, батюшка, на другой... ни за что... И не думай!.. Из дома убежит!..

— Убежит!.. Господи, помилуй!.. Этакой парень, смирный!.. Где ему убежать... Он не Кирюшка твой!.. А что вот с этим делать?.. С твоим-то?.. Как его-то унять?..

— Да ему только того и хочется, чтобы ты Федю-то от нее... от той... увел... разлучил бы их... Он опять и почнет ее сманивать, да и сманит... Убегут!..

— Да что же делать-то?.. Я и не придумаю... Этаких делов в примере-то николи не бывало, да и народ нынче другой пошел!.. В прежнее время задурил парень, повихнулся... ну, взял его, выпорол и раз, и два да и женил... Вот, он и живет, остепенится, опамятуется!.. Недаром пословица: женится — переменится... Да этих и слухов-то не бывало прежде, чтобы жениться без родительского благословения, либо от живой жены... да с другой в убег уйти!.. А поди-ка, нынче... Ну, да и как его выпорешь... хоть бы Федьку?.. Грубости от него никогда никакой... ни пьет, ни мотает... работает за двоих... как его выстегаешь? За что? Да и рука-то на него не поднимется!..

— Ты, батюшка, повидайся с ним. Он, бог знает, как просил, чтобы повидались с ним и ты, и Федот Семеныч... Тогда поговорите сообща, все обдумаете... Только ты его, Федю, бранью да руганью али сердитым сердцем не бери... Смотри-ка, он какой умный да великатный?.. Его так, ласковым словом лучше...

— Да разве я не знаю...

— А вот уж про моего, так я вот что надумала... Подожду еще что будет, опять к гадалке схожу... а уж коли от нее пользы не получу, я жить на таком сраму не стану, я к тебе приду жить... Ты прими меня, батюшка...

— Знамо, приму... Только как же ты от мужа уйдешь?.. Как же ты жить будешь,— ни вдова, ни девка?.. Тоже ровно не слыхано и не привидано этих делов?..

— Что же мне делать-то, батюшка?.. Чего мне ждать-то?.. Чтобы люди уж в лицо смеялись да пальцами показывали... али чтобы он меня совсем прикончил... А он не в добрый час и то сделает, как-нибудь подвернешься!.. Ты бы посмотрел, какой у него глаз-то на меня, страсть— ужас взглянуть!.. Невзлюбил он меня до смерти... ровно лютого ворога...

Анна навзрыд плакала.

— Ну что же... нечего делать!.. Приходи, приходи!.. Не реви... Я, знамо, рад тебе... Вот свата-то нет, ровно нарочно,— с ним бы поговорить, посудить!.. А я теперь коли поеду с твоим туда,— Федьку не застану, хоть тех посмотрю...

— Поезжай, съезди, батюшка... Съезди, посмотри... мне расскажешь!— обрадовалась Анна.— Только ты с Федей смотри, полегче, коли застанешь там!.. Съезди, родимый!..

— Съезжу, съезжу... И с твоим-то дорогой попробую, поговорю...

После этого решения они и вошли в избу.

— Ну, что же, Кирилла Федотыч, поедем, куда правились,— сказал Герасим Дмитрич притворно спокойным голосом, останавливаясь среди избы и не присаживаясь.— Я готов... С дочкой все переговорили... Поедем...

— Чего уж теперь ехать... Непочто... Ночь на дворе!— отвечал холодно Кирилла, не смотря на Герасима Дмитрича.— Не поеду я...

— Куда еще ему ехать... Будет уж с него, довольно!.. Отблагодарили за хлопоты!.. Спасибо!— не утерпела и вмешалась Федосья Осиповна, раздражительно и враждебно.

Анна встрепенулась от этого тона свекрови и напряженно стала вглядываться в нее. Она тотчас же поняла, что у неё произошло примирение с сыном и что Анна потеряла союзницу.

— Ну, так как же быть-то?.. А я надумал идти,— продолжал тем же искусственно спокойным голосом Герасим Дмитрич.— Видно, одному придется... Ну, пойду один,— там коли переночую... А завтра опять зайду, может, сватушка к тому времю воротится... Прощайте коли, сватьюшка... зятек любезный!..

— Батюшка, и я с тобой пойду,— провожу тебя!— сказала вдруг Анна.

— Не ведаю, как сказать тебе,— нерешительно отозвался Герасим Дмитрич, взглядывая на Кирилла и Федосью Осиповну.

— Ты куда еще?.. Тебе что нужно?.. С какой такой стати?— грубо и сердито вскрикнул на нее Кирилла.— Оставайся дома!..

— Нет, Кирилла Федотыч, я пойду с батюшкой,— ре-

шительно ответила Анна.— Не в беги ведь и не с чужим человеком... с родителем пойду!. Из дому ничего не унесу!.. А завтра воротимся... Пойдем батюшка...

— Ну, коли ин, пойдем и сам-деле... Мне охотней с тобой-то... Прощенья просим, прощайте, христа ради...

Не дождавшись ответа на поклон хозяев, старик повернулся и пошел к дверям, которые уже отворяла перед ним Анна, спешившая уйти из избы от глаз мужа и свекрови. Кирилла, понявший намек Анны о побеге, не нашелся сразу что сказать и только злобно сверкнул на нее глазами.

— Вот так жена!— говорила зато вслед уходящим Федосья Осиповна.— И батюшка хорош! Хорошему учит дочку,— никого не спросилась, свилась — собралась!.. Будет муж любить экую жену!..

Далее уже следовала брань раздраженной старухи, которой, впрочем, не слыхали Герасим Дмитрич и Анна, поспешно затворивши за собою дверь избы.

— Да пускай ее идет!— остановил мать Кирилла.— Лучше, глаза мои не видят!.. Хошь бы сквозь землю провалилась!.. Совсем бы не ворочалась!..

Кирилла видел, что не может остановить Анну, но в душе очень беспокоился за последствие встречи жены с Дарьей Тихоновной и Параней.

К сердцу у него подступила тоска и злоба; он схватился руками за волосы и, стиснувши зубы, оперся локтями о стол. Федосья Осиповна подошла было с ласками, но он грубо оттолкнул ее.

А Герасим Дмитрич с Анной спешно шли вдоль деревни, среди опускающихся сумерек.

— Ладно ли сделала, что пошла?— лаконически спросил ее Герасим Дмитрич, уже немало отойдя от дома.

— Батюшка, да страх меня, ужасть взяла теперь дома-то одной с ними остаться,— отвечала Анна.— Разве ты не видал, какие они оба,— и матушка-свекровь, и муженек-от?.. Глазами-то бы съели меня!..

Она не призналась, что, кроме этого страха, ее гнало из дома и непреодолимо влекло в Онучино нестерпимое, жгучее любопытство... Там враги ее, ее ненавистная разлучница, там невеста Феди... Она узнает, увидит их!.. Анна шла так скоро, что Герасим Дмитрич едва поспевал за нею.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Совсем уже стемнело, когда Герасим Дмитрич с Анной пришли в Онучино. В первой же крайней избе спросили они: где дом Дарьи Тихоновны? Им растолковали.

«Вот где это гнездо-то проклятое! Вот где живет моя злодейка!— думала Анна, подходя к избушке «барыни».— Вот сейчас увижу тебя!.. Разгляжу уж, разгляжу, чем ты приманила, чем приворожила его?.. Батюшки, да ведь две их!.. Которая же, которая взаправду — злодейка-то моя настоящая, разлучница?.. Против которой мне отворота брать?.. Авось, сердце скажет, авось весть подаст...»

Злобное чувство ненависти и ревности смешивалось в душе Анны с любопытством и с каким-то страхом. У нее замирало сердце, захватывало дыхание, вся она дрожала. Она не могла промолвить ни одного слова, когда Герасим Дмитрич, поравнявшись с переулком, приостановился и проговорил, указывая вперед:

— Сказали,— третья изба за проулком.. Вон эта, стало быть...

Они подошли к самой избе. Из маленьких окошечек ее падали на улицу лучи света. В то время как Герасим Дмитрич приостановился на минуту, оглядываясь, не встретится ли кто-нибудь, чтобы наверно узнать, точно ли эта изба Дарьи Тихоновны, Анна стремительно бросилась к освещенному изнутри окну и прильнула к нему лицом.

— Здесь, здесь... Она самая,— проговорила Анна, вдруг отскакивая от окна, задыхаясь и невольно хвата-

лось за сердце.— Видела, видела!. Здесь он... Федя!.. И они обе... Ай, батюшки мои!.. Моченьки моей нет... сердечушко!..

Не сознавая хорошенько, что делает, Анна схватила отца за рукав и потащила к окну.

— Вона!.. вона!— говорила она сдавленным голосом.

Герасим Дмитрич также заглянул в окно. На столе, недалеко от окна, горела свечка и освещала всю внутренность небольшой избушки. У того же стола, на лавке, сидел Федя, с радостным, сияющим от счастья лицом, и с веселой улыбкой смотрел на двух женщин, которые ходили взад и вперед по избе, что-то снимали с полатей, что-то ставили на полки, собирали и связывали в узлы.

Лица женщин, вследствие их постоянного движения, трудно было рассмотреть, да Герасим Дмитрич и не интересовался ими,— он не мог оторвать глаз от сына, и старческое сердце его тоже ускоренно билось. Сначала закипел было в нем гнев и досада на сына, но радостное светлое лицо, какого он давно не видал у задумчивого и грустного обыкновенно Феди, вызвало невольную улыбку и на угрюмое лицо старика; он чувствовал, что сердце его смягчается. Но Герасим Дмитрич поспешил насильно прогнать это мягкое чувство.

«Нет, не здесь тебе место!.. Уж коли не на фабрике, так лучше бы домой побывал, к отцу... Видать, что забаловался!..»— подумал он снова, насупившись, и сердито постучал в подоконницу. Он видел, как Федя вздрогнул и подбежал к окну. У Анны при этом неожиданном стуке чуть не подкосились ноги. Бессознательно схватилась она за руку отца.

— Кто тут? — спросил Федор, отворяя окно и просовывая в него голову.

— Здорово, сынок... Признаешь ли? — отвечал Герасим Дмитрич внушительно.

— Батюшка! — вскричал Федя.

— Он самый!.. Прежде детки к отцу на поклон приходили, а ныне приходится отцу за сыном ходить да разыскивать... Еще почтешь ли за отца-то?..

— Что это, батюшка... Зачем такие слова? Пожалуйте, зайдите... Я сейчас выйду...

Федя смутился и, откинувшись от окна в избу, проговорил скороговоркой, обращаясь к женщинам, которые стояли сзади его:

— Батюшка пришел... Кирюшка подослал! Ничего!.. Я позову его сюда... Ничего!..

С этими словами он выбежал из избы.

— Свету-то что не взяли?.. Посветить бы надо, — говорила ему вслед Дарья Тихоновна, тоже видимо смущенная, и, торопливо схвативши свечку, вышла вслед за Федей на мост.

— Здравствуй, батюшка... Вот больно я рад, что ты пришел, — говорил Федя неровным голосом, порывисто бросаясь обнимать отца.

— Рад?— усмехнулся Герасим Дмитрич, не отталкивая сына, но и не отвечая на его объятия. — Кабы рад был, так ровно бы надо домой побывать к отцу-то, а не в чужих людях его встречать...

— Здравствуй, Федянушка, — проговорила Анна.

— Ай, да и сестра пришла... Здравствуй, Аннушка... Вот и слава богу... и ты пришла... Батюшка, пожалуй, взойди в избу... Что же на улице-то?..

— Да куда же ты это меня зовешь. К кому?.. Сродственников, что ли, каких разыскал? Так, кажись, у нас здесь никогда не бывало?..

— Пожалуй, батюшка, взойди, прошу я тебя... Ну что, ведь уж тебе все известно, — коли Аннушка тут, значит она все тебе рассказала... Будь милостив, взойди, пожалуй... Вон хозяйка свет вынесла, со светом ждет тебя...

— Пойдем, батюшка, пойдем,— подталкивала старика и Анна, замиравшая от нетерпения и любопытства.— Ну, что и впрямь на улице стоять... В избе все лучше,— все увидим... и переговорим, коли что...

— Да я не знаю, как идти-то к незнакомым людям?.. Рады ли будут?.. Чтобы после не спокаяться — либо тебе, либо мне...

В это время у калитки, со свечкою в руке, показалась Дарья Тихоновна, которая успела придти в себя, собралась с духом и решилась идти навстречу Герасиму Дмитричу. О приходе Анны она еще не знала.

— Милости просим, пожалуйте, — говорила она медовым голосом,— не обессудьте только, что застали в такой час,— в путь-дорогу собираемся...

— Это вот хозяйка, Дарья Тихоновна,— говорил Федя, опять смущаясь.

— Здорово живете,— отозвался сухо Герасим Дмит-

рич.— Не обессудьте нас, что в такую пору... в ночную... Да вот сына разыскивали...

— Пожалуйте, пожалуйте... милости просим... За всяк час рады экому дорогому гостю,— говорила Дарья Тихоновна, идя вперед со свечкой.— Потише тут, не оступитесь... Вон у нас половица в мосту-то прогнила, да и приступок-от не годится... Что делать, не обессудьте — в сиротстве живем... в бедности...

Анна шла сзади Герасима Дмитрича и не спускала глаз с Дарьи Тихоновны, жадно всматриваясь в нее, ловя каждое ее движение, каждое ее слово.

«Вот оно, так точно, как сказывала тетка Арина,— думала Анна,— и белая, румяная, и глаза зазывистые, и речь бойкая... Вишь ты, вишь ты, как размазывает... Речь-то сладкая какая!.. Словами-то ровно сахаром али медом кормит... Подумаешь,— праведная душа!.. Ой змея подколодная!.. Сорок лет бабе, а смотри-ка ты, смотри-ка,— морщинки нет на роже, и сама белая, ровно кипень, и рука-то, вон рука-то, подсвечник держит, белая, белая, ровно и не мужицкого рода... Ну да, в сиротстве вы живете, в бедности!.. Как же!.. Да!.. Нет, не такая бы ты была, кабы не этим промышляла, а поломала бы на работе спину-то широкую, бока-то свои толстые... Что половица-то провалилась, что приступок-то сгнил, что избенка набоку?.. Эка невидаль!.. Разве тебе то нужно? Обиход да порядок?.. Ты и так сыта, и в этих хоромах весело живешь, ежедень пиры сводишь, распутная!.. Вон изба-то хоть набоку, а волосья-то мазаны, волос к волосу, платье-то экое у меня только два раза в год, на большие праздники... Шаль-то не эту ли мой-от подарил?.. Вишь ты,— распустила... Видать,— не купленное, дареное... Нет, мы в христов день к обедне разве экие платки-то надеваем...».

Вошли в избу.

— Пожалуйте, пожалуйте, Герасим Митрич... милости просим... Не обессудьте, в избе-то не обрядно у меня: в дорогу собираемся... Садитесь вот... Прошу, мил...

Говоря эти слова, Дарья Тихоновна шла со свечкою к столу и, поставивши ее, торопливо отодвинула стол и обратилась было, чтобы вновь приветствовать гостя и посадить его на большое и почетное место под образами, но увидела вдруг рядом со стариком какую-то нез-

накомую женщину — и остановилась, не договоря фразы... Глаза соперниц встретились. Дарья Тихоновна тотчас же почувствовала во взгляде Анны вражду и недоброжелательство...

В избе вдруг произошло минутное неловкое молчание; все действующие лица несколько мгновений оставались неподвижными. В середине избы стояли: Герасим Дмитрич рядом с Анной и против них недоумевающая, удивленная и даже немного испуганная Дарья Тихоновна. Сзади отца Федя заботливо и напряженно вглядывался в противоположный угол, где в тени стояла Параня, с очевидным любопытством рассматривавшая вновь пришедших. Неожиданное общее молчание отвлекло внимание Феди от Парани; он перевел глаза на мать ее, на Анну и тотчас вспомнил, что Дарья Тихоновна не знала о приходе сестры вместе с отцом и что она не знает еще, с кем теперь встретилась.

— Это сестра моя, Дарья Тихоновна, Аннушка,— поспешил сказать Федя и чуть-чуть не прибавил: Кириллова жена!— но удержался,— тем более, что хозяйка, очевидно, и без его слов сразу сообразила это.

Лицо Дарьи Тихоновны передернулось, брови было сдвинулись и в глазах мелькнул недобрый огонек, но все это мгновенно исчезло: опять появилась прежняя приветливая улыбка, прежний ласковый, заискивающий взгляд.

— Ну, вот... милости просим,— заговорила она.— Рады дорогим гостям... Пожалуйте вот садитесь сюда, повыше... Покорно просим... Чем потчевать-то дорогих гостей?.. Вот в час какой пожаловали: ничего у меня нет... да и в путь-то мы собираемся... Разве самоварчик наставить?.. Я сейчас промыслю, коли...

— Не надо, не надо... Ничего не надо,— остановил ее Герасим Дмитрич.— Мы не с тем... Мы вот насчет сына... Его повидать хотелось...

— Коли вам что нужно с сынком поговорить, так мы, пожалуй, из избы повыйдем, поговорите... Ничего, выйдем, на мосту посидим!..

— Да нет... ничего такого... что же!— отвечал Герасим Дмитрич, растерявшийся от неожиданного предложения Дарьи Тихоновны.— А вы куда же отъезжаете?..

— Да вот на фабрику собрались... Работки там хотим поискать... Вот Федор Герасимыч обещает помочь...

насчет чтобы определить к месту, потому у него там знакомство... Трудно очень жить, Герасим Дмитрич, по сиротству нашему... Не с чего взять, не на чем заработать... Вон и надумала: со всей семьей хочу на фабрику идти... И сынишку малого, и того беру... Вон и дочку тоже... Не знаю уж, что будет, а обещал Федор Герасимыч к месту пристроить: всем, говорит, работа будет...

— А это дочка твоя?— спросил Герасим Дмитрич, исподлобья взглядывая и кивая головой на Параню, которая смирно сидела в том углу, где застали ее гости, входя в избу.

— Нечто... дочка!.. Параня, подойди сюда да поклонись Герасиму Дмитричу.

Параня немножко зарумянилась, но бойко встала, смело подошла к столу и молча поклонилась.

У Феди судорожно сжалось и забилось сердце. Он быстро пробежал глазами по лицам Парани, отца и сестры. Лицо отца было холодно и серьезно, в глазах Анны выражалось изумление и как будто даже испуг. Федя понял, что красота Парани поразила сестру.

— Здравствуй, здравствуй, девица красная... Здравствуй,— отвечал Герасим Дмитрич на поклон Параши.

— Как звать-то тебя?..

— Парасковьей...

— Так... А сколько годков-то?..

— Девятнадцать-двадцатый...

— Что же долго засиделась?.. Замуж пора... Экая красавица! Женихов, чай, безотбойно?..

— Много их было, да, видно, еще судьба не пришла... Я не нужу! — отвечала Дарья Тихоновна.

— Разборчива, значит!— проговорил Герасим Дмитрич. В словах его, несмотря на ласковую их форму, слышалась холодность и недоброжелательство, которые старик напрасно старался скрыть. То же выражало и его серьезное, сумрачное лицо.

Параня смело встречала холодные взгляды Герасима Дмитрича и недружелюбные Анны, улыбнулась при словах старика об ее красоте и женихах, но нисколько не смутилась; молча отошла она и села на свое прежнее место. Анна провожала ее уже совсем злобным взглядом.

«Ишь ты, соколена!— думала она.— Видать, что по матушке дочка пошла:.. Ни стыда, ни совести!.. Хоть

бы маненечко буркалы-то свои опустила, а то так и смотрит, так и выставляется: нате, мол, глядите, какова я есть красота писаная... Да, как им вдвоем с матушкой не обойти человека: не то Кирюшку, всякого с пути собьют!.. Вон уж на что Федя, а и тот... Эта еще хуже матки-то!.. Матка что... с ней бы погулял да и бросил... А вот кто настоящая-то...»

Между тем в избе опять наступило молчание. Разговор не вязался. Все чувствовали себя в неловком положении, особенно Герасим Дмитрич. Он шел с намерением остановить, вразумить сына, даже побраниться, взыскать с него и во всяком случае прекратить неприятное знакомство, запретить ему даже и думать о таком браке, а вместо того он сидит в гостях у этих самых врагов своих, в этом непотребном доме, куда заманили Федю, и не только сидит, но еще без брани, даже ласково разговаривает с матерью, хвалит красоту дочери...

«Обошли, и меня-то обошли,— думает Герасим Дмитрич, сердится и хмурится.— Чем бы оборвать, обругать их всех сразу — и за Кирилла, и за сына, а Федюшку шугнуть, велеть сейчас из этого омута вон идти и не знаться, и не заглядывать сюда... я... ну-ка что!.. А все Анна: полегче да поласковей... Его ласковыми речами лучше проймешь!.. Нет, видно, надо покруче повернуть! Чтой-то за срам!.. Неужто уж из-за одной рожи смазливой давать Федьке губить себя, родниться с этакой семейкой, на смех да на срам людям?.. А на этих беспутных смотреть нечего... При них и начну: пускай слушают... Лучше еще!..»

— Ну, так как же, сынок любезный,— вдруг заговорил Герасим Дмитрич, обращаясь к Феде,— как же это так: две недели ты на фабрике прожил, вышел день праздничный, слободный, так чем бы тебе домой прибежать к отцу-старику да рассказать ему все как и что, как ты там живешь, какое жалованье получаешь и все такое прочее, ты вдруг целый день в чужом дому сидишь, с чужими людьми водишься... чужую крышу кроешь, когда своя непокрыта стоит... А?.. Как же это так?.. Это, брат, какой же такой порядок ты заводишь?.. А?..

— Извини, батюшка, не гневайся,— отвечал Федя.— Ведь до тебя от фабрики больше тридцати верст будет: мне бы взад да вперед днем не поворотить... А тут мне

еще надо было к учителю в село побывать: от хозяев наказ был...

— Да что ты мне россказни-то рассказываешь... Ты здеся с раннего утра вон до сяковой поры, до поздней ночи сидишь... Кабы захотел, кабы об доме гребтелось, так переночевал бы в селе-то, а утречком и добежал бы до нас, а из дома-то по нужде бы и лошадь тебе заложили, подвезли бы тебя... Что ты мне говоришь?.. А какой тебе след здесь сидеть?.. Коли ты не на фабрике, пошел разгуляться, так, знамо, одна дорога тебе: либо к сестре, к Федоту Семенычу, либо к отцу родному... Вот тебе место, а не по чужим людям, незнаемым, шляться... Не к неведомо каким бабам в беседу идти...

Анна испуганно взглянула на начинавшего горячиться старика и робко толкнула его локтем.

Федя побледнел и нахмурился.

— Разве, батюшка, сестра Анна ничего тебе не сказывала?.. Я нароком к тебе ее посылал...

— Да что мне Анна?.. Она сказывала мне, да я это и слушать-то не хочу... Мало ли какая дурь тебе в голову войдет... Дурь-то из вашей братьи выбивать нужно...

— Это, батюшка, не дурь во мне,— резко возразил Федя.— Дурь-то вон в Кирилле сидит: ее точно что, может, нужно выбивать... А мое дело чистое, святое... совестное дело... Не на ветер, не на время, а на всю жизнь!.. Было бы тебе известно, батюшка... Не знаю, как тебе Анна мои слова передала... Так вот я тебе сам при всех говорю: из моей души, что в ней есть, никаким битьем, никакой силой не выбьешь... Мое намеренье крепкое...

— Федянка!— грозно прикрикнул на него Герасим Дмитрич.

— Слушай, батюшка... Я всегда был тебе сын верный, покорный, таким и останусь... По гроб жизни твой слуга верный буду во всем... Что хочешь приказывай,— все сделаю... А в этом деле... не гневайся и не нудь ты меня... никого я не послушаю, потому над своим сердцем сам я невластен и ни у кого этой власти над ним нет... Дашь ты мне свое благословение,— со слезами приму, в ногах валяться буду, его выпрашивать... А не смилуешься, откажешь, на твоей душе грех останется... А я все-таки свое сделаю, свою судьбу возьму...

— Ну, коли тебе родительское благословение недорого, так и другую управу найдем... Изволь, коли, домой идти, живи дома... На своих глазах тебя держать буду... Живи у меня на глазах... в моем доме... при деле, а не таскайся, как пес, по чужим дворам... Вот что!.. Уходи с фабрики... Теперь же иди со мной!..

— Нет, батюшка, ты этого не сделаешь: не таков ты, отец, не таков, родитель... А коли сделаешь, так разве связанного да за замком будешь держать... И ни пользы, ни радости тебе от этого не будет, разве только вовсе изведешь сына родного...

— Ничего, не изведешься... пустое!.. Нет, это кровь в тебе ходит, горячка одна... Как взять тебя да выстегать хорошенько, чтобы поутих, да женить, на ком я знаю,— на девке стоющей, так лучше дело будет: выйдешь мужик настоящий, тихий смирный,— и сам после благодарить будешь...

— Полно, батюшка, не говори ты этих речей... У тебя образец-то на глазах... хорош ли?.. Вон Кириллу-то и стегали, и женили... на что уж лучше: на твоей родной дочери, на Анне... Да что вышло?.. Присмирел ли? Благодарит ли он тебя с Федотом Семенычем, али Анну-то осчастливили, что ли?.. Нет батюшка, не приведется тебе ни сечь меня, ни женить поневоле... Сечь не за что, да и рука у тебя не поднимется... А невеста у меня одна,— вот она... Параня... Разве есть... не то — лучше... а хоть другая такая?.. По мне нету ни краше, ни лучше ее... Либо на ней женюсь, либо... уж не знаю, что тогда будет... Вот, батюшка, я тебе теперь все сказал, всю свою душу открыл... А ты не гневайся, а лучше будь родитель, как всегда был,— добрый, радельный: дай ты мне свое согласие и благословение. Прошу я тебя...

Федя низко поклонился отцу и стоял перед ним, ожидая ответа. Напоминание о Кирилле и судьбе Анны в словах Феди было очень неуместно: оно оскорбило Герасима Дмитрича, вызвало в его памяти рассказы дочери о похождениях зятя в этом самом доме, с этими самыми женщинами, на одной из которых Федя хочет жениться, а другую — признать своей второй матерью. Лицо Герасима Дмитрича, против ожидания Феди, сделалось еще мрачнее и сердитее.

— Хошь бы ты здесь-то, в этом месте при этих...—

отвечал старик, указывая рукою в сторону хозяев,— не поминал бы о Кирилле... Сестру-то бы тоже пожалел: тут же ведь она сидит.. Вона!.. Ну-ка, подумай: с какими людьми ты знаешься, на ком ты жениться хочешь, да еще благословенья моего просишь?.. Не стал бы я этого при них говорить, бог бы с ними... да сам ты меня навел... Вспомни-ка: зачем он сюда ходил?.. Из-за чего его привечали?.. Для кого он дом свой зорил, жену бил и тиранил?.. Так такую-то ты роденьку завести хочешь?..

— Да что же это вы нас так срамите и обижаете в нашем же дому?— вмешалась Дарья Тихоновна плаксивым голосом.— Неужто, что мы сироты, так нас всячески бесчестить можно, вступиться за нас некому?.. Напрасно вы так меня понимаете... Я Федора Герасимыча свататься не заманивала, да еще и полного своего согласия не дала... Я не нуждаюсь в нем... бог с вами совсем!.. И из-за чего такого я Кирилла Федотыча привечала?.. Привечать я всякого привечаю, по сиротству и по своему характеру ласковому, приветному... Не он один к нам ходит: есть, слава богу, добрые люди, не гнушаются нашей бедностью... А чем я виновата, что он непутный человек, жену не любит, из дома тащит, гуляет, пьянствует... Я еще его сколь раз останавливала, совестила, что деньги зря мотает... Напрасно вы так сирот обижаете, не зная, по чужому оговору...

Дарья Тихоновна заплакала.

— А шалевый-то платок не дарил, скажешь, не дарил?— накинулась вдруг на нее молчавшая до сих пор Анна, в глазах которой загорелась злоба и ненависть.— А угощенья не носил?.. А деньгами-то сколько передавал?.. Полно, все знаем!.. Не прикидывайся!.. Некуда ему больше таскать, как к вам, аспидам... Аспиды, аспиды!.. Кровь вы мою высосали!.. Мужа отняли, дом разорили!..

— Да что же это такое? Господи, помилуй!.. Пришли ко мне в дом надругаться?.. Федор Герасимыч, да на что же это похоже? Где это видано? Неужто уж?..

— Так неправда? Неправда, что ли?— перебила ее Анна.— Не такая ты, что ли... и с дочкой-то со своей?.. Такая, такая рас... Ой, батюшки!..

Федя с такой силой схватил Анну за плечо, что она вскрикнула от боли. Брат стоял перед ней бледный, как

полотно, и весь дрожал; глаза его горели, лицо было страшно. Анна взглянула на него,— и испугалась до того, что у нее сдавило горло и язык перестал двигаться.

— Я тебе сказал... сказал: никогда не смей!— говорил Федор едва слышным, сиплым голосом.— Не смей про Параню: она хорошая... честная!.. Ты хоть и сестра мне... а за это я вон выброшу!.. Откажусь!.. От всех откажусь из-за нее!.. Не дам обижать ее... не дам!.. Ты еще сестра... любимая!.. Я все для тебя!.. Я тебя просил, а ты.... поссорить нас хочешь...

Голос Феди оборвался: он робким взглядом искал Параню, боясь встретить ее обиженное лицо, услышать от нее какое-нибудь страшное для себя слово.

— С горя, Фединька, с горя моего, с большого,— оправдывалась Анна.— Простите вы меня, христаради... Не сердитесь вы из-за меня на Фединьку: уж как он любит, как любит... А я... известно... я горькая, самая горькая: у всех на смеху, на сраму!.. С меня что взыскивать?.. Что с меня взять?.. Нет, нет, Федя хвалил вас, как хвалил!.. Он никому слова не даст худого сказать про вас... А мне, известно, горько... Горько мне из-за мужа своего, из-за бесстыжего!.. Не слушайте меня, ради христа... Не примайте моих слов ни во что!..

— Бог с вами!— продолжала Дарья Тихоновна в прежнем тоне.— Нас, я говорю, сирот, обидеть всякому легко.... Да не то что привечать да заманивать его, Кирилла Федотыча, а не знала, как отделаться, как развязаться с ним... Не рада была, что и знакомство с ним завела... Спросите-ка при Федоре Герасимыче, как его сегодня,— добром ли, мы с дочерью из дома проводили?.. Куда пошло его угощенье, его сласти-закуски, водка сладкая, что принес с собой?.. Да и в знать-то он с нами вошел обманным манером: холостым себя объявлял, показывал...

— Холостым!— вскрикнула Анна, всплеснувши руками.

— Недавно, недавно... и то от сторонних людей узнали, что он женатый-то,— подтвердила Дарья Тихоновна.— Кабы вперед знать да ведать, что он этакий угар-молодец, что от живой жены холостым объявляется, так давным бы давно я его спровадила... Не дала бы ему про себя, про свою дочь худую славу пускать... Мы

люди хошь бедные, а тожé сами себя оберегаем, живем тихо, смирно, никого не трогаем...

— А вот теперь, батюшка,— поддержал Федор,— Дарья Тихоновна с обоими детьми на фабрику хочет ехать, в работу там наниматься, чтобы ото всех этих поклепов уйти, чтобы все эти сплетни кончились: всякий увидит тогда, что своим трудом они живут,— своими руками хлеб себе промышляют...

— Мне, сынок, все одно: какие они, куда идут, что делать хотят... Сватов я к ним посылать не стану... И не с Кириллой судить, разбирать их я пришел: мне до одного тебя дело... И вот тебе мой приказ: как воротишься на фабрику, получи с хозяев расчет за время, что прожил,— и приходи домой... Не желаю я, чтобы ты в чужих людях жил: живи дома, у меня на глазах... Не надо мне твоих больших заработков, и дома про тебя работы довольно найдется... Слышал? Вот больше ничего...

— Этого, батюшка, никак невозможно... Паспорт у меня плакатный на год взят, с твоего позволенья... Как тебе угодно, а я домой не приду теперь...

— Да что ты, с ума спятил, что ли? Как ты не придешь, коли я, родитель, тебе приказываю?.. Не придет он!.. Да как у тебя язык-от повернулся молвить этакое слово?.. Чтобы через два дня дома быть! А то велю связать да привести... Слышишь?..

— Нет, батюшка, по доброй воле не приду... и не жди!.. Разве и сам-деле связать велишь да домой связанного притащишь.— Ну, тогда другое дело: твоя власть... Ничем я ни перед тобой, ни перед людьми не виноват,— не пью, не гуляю, деньги, что заработаю, тебе же отдавать буду... Ну, а ты срами сына, тащи его связанным, коли на то твоя родительская воля: пускай люди видят, пускай думают, что я в мошенники али в воры, что ли, какие попал, что сам отец велел сына связанного домой тащить... А доброй волей я не приду...

— Вот так сын тихий да покорный!.. Как поговаривать стал против отца... Дал порадоваться на себя... нечего сказать... Спасибо, сынок, спасибо за послушанье твое, за почтенье к родителю!.. Да неужто ты вправду думаешь, что я захочу их в родню взять, что я дам тебе благословенье жениться на девке незнаемой?.. Али ты уж больно умен стал и благословенье родительское

ни во что не почитаешь? И без него окрутиться думаешь?.. А коли я тебе, Федор, вот при невесте твоей и при матери ее прямо скажу, что не будет тебе моего позволенья жениться на ней ни теперь ни после?

— Не говори, родимый батюшка, не говори этого слова... Богом тебя прошу... Земно тебе кланяюсь...

Федор поклонился отцу в ноги и остался перед ним на коленях.

— Не мешай ты моему счастью... Погибель моя будет в том, коли этого не сбудется... Посмотри ты на нее, батюшка, посмотри хорошенько, поговори с ней: веть нету других этаких...

— Что мне смотреть, что говорить, не я выбирал ее про тебя, ты меня не спрашивал, и не знал я ее вовсе... Нынче вы умнее отцов стали, сами себе невест ищете и находите, никого не спрашиваете!.. Без родительского благословенья, вон, самокруткой женитесь... Я думал, что мой сын не как другие нонешние молодые ребята, думал, из воли родительской, из родительского почтения не выйдет... А ты, видать, за ними же идешь, по одной дорожке... Во всех ноне один дух!.. Ты меня слушаться не хочешь, что я приказываю,— не уважаешь, так нечего тебе и на коленках передо мной стоять, не о чем просить меня, и мне хлопотать, видно, не о чем... Живи, как знаешь, делай, что хочешь... Незачем тебе моего позволения просить, незачем мне свое согласие давать... Вы выходите ноне отцов-то умнее, сами все лучше их знаете... Пойдем, Анна... Нечего нам здесь больше делать...

Герасим Дмитрич торопливо, ни на кого не смотря, поднялся с места и стал выбираться из-за стола, за которым сидел.

Федор встал с колен с недовольным, расстроенным лицом.

— Я тебе, батюшка, во всю жизнь ничего напротив не сделал,— сказал он,— всякое почтение оказывал, был всегда твоим слугой и останусь по конец твоей жизни... А в этом деле... правда, что это мое дело, ничье больше, потому судьба моя... Вся твоя воля, как тебе угодно...

Герасим Дмитрич ни с кем не простился и шел к дверям, не говоря ни слова и не оглядываясь.

— Ты хоть бы простился с ним, батюшка... с Федей-то,— шепнула Анна, идя вслед за отцом.

Но старик ничего не отвечал и стал отворять дверь. Анна наскоро обняла брата, торопясь за отцом.

— Батюшка, да куда же ты теперь?— спрашивал Федя, но также не получил ответа.

Он вышел из избы вслед за отцом и сестрой.

— Прощай же, батюшка, по крайности... Я, кажется, ни в чем тебе не согрубил, а что же мне делать, коли все сердце мое тут... Не гневайся, простись, по крайности,— говорил Федя уже на улице.

— Батюшка, ну, что же ты, и сам-деле?.. Он же, ведь, смотри-ка, как... на коленках ползал,— уговаривала старика с своей стороны Анна.

Герасим Дмитрич остановился.

— Прощай,— сказал он подошедшему сыну.— Жалко мне тебя... На рожу на одну польстился... Не такую бы тебе надо... Ну, по крайности не кори отца, коли после спокаешься... Нет тебе моего совета, а не послушаешь, делай, как знаешь... По нашим местам и разговорка-то эта одна, что промеж нас была, у невесты, в дому, при ней и при матери, так срамотушка: кажется бы, невесте-то нужно было со стыда сгореть, а матери нас всех и с тобой-то вместе по шеям выгнать... Да нынче весь свет вверх ногами перевернулся... Либо уж они-то вовсе бесстыжие... Ну, да что говорить... Теперь тебе хошь кол на голове теши... Может, бог даст, сам всмотришься, все увидишь... Эх, Федя, Федя... Не чаял этого... Стар я, видно, слаб стал... Не так бы надо мне!.. Прощай... Оставайся с богом...

Анна бросилась на шею брату.

— Techиинька, а они верно уедут отсель?— спрашивала Анна, расцеловавшись и попрощавшись с братом.

— Уедут, уедут...

— Обе?

— Обе...

— На эту... на фабрику?..

— Да, да...

— А далеко это, Techиинька?..

— От вас больше тридцати верст...

— Ах... дай-ка, господи!— проговорила с глубоким вздохом Анна, отвечая на собственную невысказанную мысль.

— Батюшка, не сумневайся ты обо мне,— говорил Федя, идя около отца,— каков я был, таков и есть...

Не гневайся ты на меня, а в этом я не волен сам в себе...

— Ну, и ступай, ступай к ним... Не мы тебе нужны,— они!.. Сиди с ними... Что уж тут говорить много... Нечего: все видать!..

Старик сердито поправил шапку на голове и быстро зашагал вперед.

— Прощай, батюшка,— говорил Федя, останавливаясь.— Поклонитесь Федоту Семенычу... Попросите, не побывает ли ко мне, на фабрику... не сделает ли такую милость...

— Попрошу, попрошу, Фединька... Приедет он к тебе,— отвечала Анна.— Увезешь ты их, батюшка,— продолжала она шепотом, обнимая брата,— может, и он остепенится маленько, мой-от, бегать-то будет не к кому... А уж я всячески, всячески буду просить — припадать и к батюшке, и к Федоту Семенычу насчет тебя... чтобы не трогали тебя... Красива она, больно красива, злодейка!.. И любовь твоя к ней великая!.. Только смотри, Фединька, смотри, батюшка, не обманули бы они тебя... Не сердись, родименький!.. Я для тебя только... жалея тебя... А, может, и лучше твоей судьбы не будет: не узнано это!.. Как сказать!..

— Анна!— сердито вскрикнул далеко уже отошедший Герасим Дмитрич.

— Иду, иду... Прощай, сердечный... Буду просить, буду припадать всячески... Прощай...

И Анна побежала догонять отца.

II

Когда дверь за Герасимом Дмитричем затворилась и Дарья Тихоновна осталась в избе одна с дочерью, она вопросительно посмотрела на Параню, как бы вызывая ее высказать, что та думала и чувствовала по поводу всего происшедшего; но Параня сидела молча, задумавшись, с серьезным лицом и холодно, безответно встретила взгляд матери.

— Что нос-то опустила, задумалась?— спросила ее Дарья Тихоновна.

— Ничего... Так...— отвечала Параня с легким вздохом.

— Да как ничего?.. Разве я не вижу?.. Скажи...

— Чего говорить-то?.. Все-то нас срамят, все надругаются... Ровно и за людей не считают...

— Да кабы я знала, что не больно тебе дорог Федянка, шугнула бы я этих гостей по-свойски... Только из того и стерпела, что тебя пожалела. Думаю себе, с отцом вовсе поссориться, уж и с ним разойтись придется... Какой уж жених, коли отца с сестрой невестина мать из дома вон выгнала...

— А теперь, по крайности, хошь нас изругали да без поклона, без привета, ровно из кабака какого, ушли от нас! — раздражительно, с горькой усмешкой проговорила Параня.

— Так что же было делать?.. Ругаться с ними сняться, что ли, да вон гнать в шею женихова-то отца?..

— Еще бог знает: либо будет женихом-то, либо нет...

— Так ведь кто тебя знает. К тебе в душу-то не влезешь, а ты мне ничего не сказывала...

— Да сказывать-то нечего...

— Я думала, что он и невесть как дорог да мил тебе...

— Разве в том, мил али нет?.. Хошь и мил, да коли своего ничего нет и не будет, а родитель его вон как нас понимает, так и ты не отдашь, да и я не пойду за него...

— Так ведь... ах, батюшки!.. И я-то про то же! — с видимым удовольствием согласилась Дарья Тихоновна.— Не привязана ты к нему и сам-деле... Подождем, поглядим, что из него будет... Может, и сам-деле купцы его облагодетельствуют, человеком сделают, на дорогу выведут,— и богат будет... А, может, он только хвастает, да так на том, что есть, и останется... Тогда эких-то, много и получше его найдется!..

— Больно он парень-то хороший... Смотри-ка, как любит меня... Души не чает... во мне!..

— Еще бы он тебя не любил... Где он экую-то другую найдет?.. Ну, а коли любит, так пускай и старается, промышляет... устраивает сам себя... чтобы было чем жену, семью прокормить и одеть... Чу, идет...

Вошел Федя. Лицо его было озабочено: он беспокоился о том, какое впечатление произвело на Параню посещение отца и его объяснение с ними.

— Не обессудьте, Дарья Тихоновна... Не сердись и ты, Паранюшка, на моего старика... Это все Кирилла его сбудоражил. Я так и думал, что он, проклятый, пойдет и наврет ему... Так и вышло...

— Ну, что делать-то, Федор Герасимыч!— отвечала Дарья Тихоновна.— Я, по своему сиротству, привыкла уж обиды-то от людей принимать. Ласково-то мало кто скажет, а обидеть-то всегда много охотников находилось... Бог с ними!.. Что уж про нас думать!.. Нет, а вот мы с Параней про тебя разговаривали, о тебе тужили...

— Что же про меня тужить-то, Дарья Тихоновна?.. Кажется, все славу богу...

— А вот родитель-то на тебя гневен... Неприятно ему, что ты с нами знакомство даже ведешь... А о чем другом уж и говорить нечего... Уж ехать ли нам, полно, на фабрику-то?..

— Отчего же не ехать, Дарья Тихоновна?— испуганно спросил Федя.

— Да ведь мы собрались в надежде на тебя, а как ты завезешь нас туда да покинешь?.. Не то — по доброй воле, я того не думаю!.. А как и в сам-деле родитель домой тебя вытребует?..

— Этого быть не может, Дарья Тихоновна... По доброй воле я не пойду до года, пока паспорт выйдет, а силой он меня не потребует, срамить меня не захочет,— не такой он человек.

— Да все-таки и ссориться вам из-за нас с родителем ровно как не приходится... Как-никак, а все у него в руках, все он в дому голова и хозяин... Хорошо, как если на фабрике там деньги будешь большие получать... Ну, так можешь тогда и сам по себе жить... А как все так-то, на этаком-то жалованьи, как теперь получаешь, да придется, пожалуй, тебе в дом воротиться... я тебе вперед говорю: я Параню к вам в дом не отдам, да она и сама не пойдет... Вон ведь родитель-то твой как нами гнушается... Никогда, говорит, за родню не сочту... Так какая же приятность Паране в такой дом идти, хошь бы как она тебя ни любила?..

— Дарья Тихоновна!.. Параня!.. Все переделается, все по-другому будет, только вы не передумывайте на фабрику ехать... не отменяйте этого... Я на себя надеюсь... Изо всех сил стараться буду, добьюсь чего-ни-

будь!.. А насчет родителя вы не беспокойтесь; он и теперь сказал мне, уходя: делай как хочешь... А вот побывает у меня Федот Семеныч, поговорю я с ним, покажу ему Параню... Он и родителя моего уговорит, и батюшка другой будет... А к себе в деревню, к батюшке в дом, я Параню не поведу... Я сам не хочу в деревне жить.. Вы только не передумывайте, а ты, Паранюшка, подожди только,— все будет хорошо... Вот бы мне только в машинное отделение попасть, там тотчас мне жалованья прибавят!.. А там, может, и в механики попаду... Мне бы только Паранюшка была со мной да любила меня, да не гребтелось бы о ней: что она, да как, а я еще одну штучку там обдумываю для фабрики,— очень будет выгодно для хозяев... Все обдумаю, скажу им, сами увидят, какая для них польза: не оставят и меня наградят... Погодите, погодите только... Все будет хорошо... Я ведь эти две недели ровно шальной ходил, ни о чем и думать не мог, окроме Парани... Никакие машины мне в голову не шли, только одна ты, Параня, и стояла в глазах... А на сердце тоска по тебе, тоска смертная... Руки работают: пилят, тешут, а перед глазами ты стоишь, ровно живая, а сердце ноет, ноет... Вот так и жил две недели-то, не знаю,— как и прожил!.. А ведь будешь ты у меня на глазах, не будет у меня этой тоски по тебе, я не так и за дело примусь... И выдумки у меня пойдут одна лучше другой!.. Мне и теперь много в голову приходило, только думать-то я пристально никак не мог...

— Ах, ты, милый ты, милый, сердечный парень!— говорила с ласковой улыбкой Дарья Тихоновна.— Умен ты, умен, а молодо еще,— зелено!.. Все это, батюшка, буки, когда-то будут... А ты смотри и нас на буках не оставь... Ведь хошь и говоришь, что десять рублей в месяц жалованья дадут Паране с Николкой, да ведь это на своих харчах, да за квартиру еще заплати... А харчи нынче дорогие, а нас трое: пить, есть, одеться нужно: пожалуй, и не станет... А как и тебе-то нас поддержать будет нечем?.. Тут как быть?..

— Не беспокойтесь, Дарья Тихоновна, надейтесь на меня!.. Уж только поедемте...

— Да хорошо, хорошо, уж только по надежде на тебя и еду, от своего дома отстаю...

— А ты что, Паранюшка, задумалась, ничего не ска-

жешь?.. Сомневаешься ты во мне, не надеешься, не веришь? — спрашивал Федя.— Скажи что-нибудь...

— Что говорить-то?.. Хошь верь, хошь не верь, все одно уж... Ждать надо, что будет...

— А тебе бы вот что, Федя, лучше стараться,— заметила Дарья Тихоновна,— в приказчики бы как попасть к купцам-то! Вот, я слыхала, выгодно, сказывают, в приказчиках у купцов жить...

— Да, вот бы и я тогда приказчица была! — засмеялась Параня.

— Из приказчиков-то вон иные в купцы выходят... капиталы наживают!.. Свои каменные дома, лавки имеют!.. Я вон в городу была: сколько мне таких показывали...

— Да, пожила бы купчихой-то в своем каменном дому! — воскликнула Параня с увлечением.

Федя нахмурился и собирался что-то возразить, но в это время послышался грохот подъезжавшей к избе телеги и вслед затем в избу вбежал Николка.

— Приехали! И баушка Лампея сейчас придет! — вскричал Николка, вбегая.

Его посылали за подводой, которую Федя велел нанять, чтобы довезти до фабрики Параню с матерью, и за дальней родственницей Дарьи Тихоновны, крестьянкой той же деревни, баушкой Лампеей, надзору которой решили поручить дом в отсутствие хозяев.

— Что ты больно долго ходил, Николка? — спросила Дарья Тихоновна.— Поди, чай, всех приятелев обежал: прощался, что уезжаешь?

— Да я только к Тишке да к Гришутке забежал, пока дядя Евграф лошадь закладывал, а больше с ним провозился: насилу уговорил ехать-то... Что, говорит, вам приспичило ночью?.. Меньше рубля, говорит, не возьму!.. Насилу уговорил за три четвертака,— только что, говорит, непременно, чтобы там на косушку ему дать, сверх ряды... Я думал, думал, да и велел закладывать... Уж и домой не пошел вам сказывать... Как хочешь, Федор Герасимыч, а дешевле его никто не возьмет... потому ночное дело...

— Дорого, дорого!.. Как это можно этакие деньги! — вскричала Дарья Тихоновна.— Ведь тебе велели, пострелу, только поискать да прицениться, а ты уж и нанял, и привел...

— Да ведь как же... Я думал лучше... Смотри-ка: ночь на дворе... Лягут спать, так тут и толков не добьешься... А уж я знаю, что дешевле дяди Евграфа никто не повезет, потому он и к лошади не жальлив, доматывает ее в конец... да и выпить-то любит: я его косушкой-то и поманил...

— А пуще всего самому-то тебе ехать до смерти хочется... вот что! — заметила Дарья Тихоновна.— А ты бы то подумал сначала, что этакие деньги большие просят... Может, Федору-то Герасимычу и дорого покажется... Не по мысли будет...

— Нет, нет, недорого... Спасибо, Николаша, что нанял и привел... Молодец за это!.. Спасибо!..

— Я старался было... как лучше...

— Спасибо, спасибо!.. Умник, молодец!.. Ну, собирайтесь же, Дарья Тихоновна, да поедем... Параня, собирайся...

— Эк, тебе уж не терпится: увезти-то нас хочется поскорее! — засмеялась Параня.— Смотри, придется ли еще нам по мысли у тебя на фабрике-то...

— По мне, Параня, где ты, там и хорошо... А без тебя везде плохо... Не знаю, как ты! — не без упрека ответил Федя.

— Вот только баушка-то Лампея скоро ли, а то мы совсем готовы,— отозвалась Дарья Тихоновна.— Да к суседям надо бы сходить: попрощаться да попросить, чтобы приглянули за избенкой-то... Больно уж ты скоро нас свил, собрал...

— Так сходите, Дарья Тихоновна, поскорее... Только бы подвода-то подождала, а то поспеем еще... до утра-то доедем, хоть и шагом повезет: ночь нынче долгая...

— Ну, так я сбегаю пока, а ты, Параня, прибирай остатки...

Дарья Тихоновна ушла. Федя выслал из избы и Николку, под предлогом попросить подвозчика, чтобы подождал минутку.

Оставшись один с Параней, Федя бросился к ней.

— Параня, солнышко мое,— говорил он, обнимая ее,— скажи ты мне, рада ли ты, что едешь со мной, что мы будем каждый день видаться?.. Может, жить вместе будем?..

Он старался поцеловать ее в губы, но Параня отвернула лицо и выскользнула из рук Феди.

— Вишь, ты какой нынче стал, на фабрике-то пожил: бойкий!.. Не как прежде!.. Ровно наши ребята, лезешь...

— Я думал, ты любишь меня,— проговорил Федя упавшим голосом. Глаза его потухли и сделались печальны, руки опустились.

— Так почто же этак-то? охальничать-то?.. Ровно, вот, Кирилла,— тоже...

— Разве я... разве я... для тебя... все равно, что Кирилла?— проговорил Федя прерывающимся голосом.— Кабы любила ты меня... не сказала бы этого... не сделала бы так...

Он был бледен. В голосе его слышались слезы.

— Что отец-от твой говорил и сестра-то... Разве лестно слушать этакие речи?..

— Так чем же я-то виноват?.. Разве через меня?.. Разве я давал им говорить?.. Послушался я, что ли, отца?.. Никого, Параня, не послушаюсь, никто меня не остановит... коли ты любишь меня... На это не смотри, не слушай!.. Коли бы ты нужды не боялась, хоть сейчас обвенчаемся...

— Спасибо!.. Я к твоей родне не пойду на поклон... под начало... на срам да на ругань!..

— Не пойдем мы к ним, Параня: на фабрике жить будем... Недолго и нужду потерпеть придется: может быть, скоро на другое дело переведут и жалованья прибавят...

— То подожди, пока богат будешь, то теперь в нужду иди, да, может, и совсем в ней останься!.. Либо прибавят, либо нет!.. Да еще сколь и прибавят-то?.

— Так разве ты из-за того только, Параня, пойдешь за меня, что я богат буду?

— Вот и речи свои по-другому повел!.. Я, кажись, с тобой не торговалась, сам просил подождать, пока дела поправятся, пока денег будешь много промышлять... И матушке так сказал.

— Да я и не отрекаюсь от своих слов, Параня... Только зачем же ты так-то со мной?.. Зачем ты с Кирюшкой-то меня равняешь?.. Меня ведь тянет к тебе: взглянешь ты на меня, около сядешь,— и то радость мне большая... А уж поцеловать-то... кажется, и радости-то другой нет такой... Отчего же тебя-то не тянет ко мне?.. Ну, пускай, даве, при матери, по ее приказу, не хотела... я сам не хотел... А теперь-то что?.. Мы одни,

никого нет... а ты от меня отворотилась, оттолкнула, точно немил, противен я тебе... точно чужой я тебе совсем... Кабы любила, разве бы?..

— А зачем силой лезешь?.. Насмерть не люблю!.. Не приставай никогда: мне и без тебя надоели приставальщики-то...

— Так разве я пристаю?.. Разве я силой, Параня?.. Я думал, что ты сама... Думал, что у меня на сердце, то и у тебя... Ну, Паранюшка, солнышко мое!.. Ну, коли любишь, подойди сама... подойди сама ко мне...

— Когда вздумаю, тогда и подойду...

— Так, видно, немил я тебе? — вскричал Федя.— Ну, вздумай же теперь... Паранюшка... ну, подойди же теперь, коли любишь!..

— А ты кричи шибче, знай... Того и смотри чужи люди войдут, вон по мосту некто шагает...

В избу вошла старуха в сопровождении Николки. Параня быстро, многозначительно взглянула на Федю. Тот уныло опустил голову: у него было очень нехорошо на душе; он смутно чувствовал, что в словах Парани была какая-то неискренность и, во всяком случае, не выражалось того беспредельного, глубокого, охватывающего чувства к нему, какое он испытывал к ней. Такие минуты сомнения бывали и прежде, но они проходили при первом ласковом слове или даже взгляде Парани; они скоро прошли и теперь при мысли, что Параня обижена его отцом и не может сразу забыть эту обиду.

— Здравствуй, баушка Лампея,— приветствовала Параня вошедшую старуху.

— Здорово живете!.. Здравствуй, Паранька,— отвечала старуха.— А это чей такой молодец-от? — продолжала она, оглядывая Федю.

— Знакомый наш... из Чернушек деревни...

— Ага, знакомчик! — протянула Лампея,— Ну-у... Молодой еще! Молод!.. Вишь ты!.. Видать, не женатый...

— Нету, холостой,— спокойно отвечала Параня.

Но Федю сильно покоробило от замечания старухи. Ему показалось, что в словах ее был намек на предполагаемые ею отношения его не к Паране, а к самой Дарье Тихоновне.

— Слыхала я Чернушки-то деревню,— продолжала старуха, обращаясь уже прямо к Феде,— только николи не бывала, да кажись, и не знаю тамоди никого... Не

близко же ведь она... Издалека ходишь гоститься-то, молодец!.. Как тебя звать-то?..

— Федором,— неохотно, почти грубо отвечал он.

— А из чьих будешь?.. По отце-то как?..

— Герасимов... Да что тебе, баушка?.. Ты нас не знаешь...

— Не знаю и есть... Не знаю Горасима,— простодушно сказала Лампея.— А только что не ближне место — Чернушки... Издалека, мол, ходишь гулять-то!..

Феде ужасно хотелось огрызнуться на старуху, но он промолчал, вспомнив, что она считается родственницей Дарьи Тихоновны, а следовательно и Парани.

— Он не гулять пришел, а по делу, баушка,— отвечала Параня, которая как будто тоже поняла намеки старухи,— и не из Чернушки он пришел, а с фабрики...

— Да, да, слышала я: сказывал Николка, да я не поверила... На фабрику-то собираетесь все?

— Да, баушка, собрались уж, вон и подвода стоит... Сейчас поедем, матушка только к суседям побежала... попрощаться да тебя поджидала...

— Да что матка-то с ума, что ли, спятила?.. С чегой-то это на фабрику сдумала... от своего дома?.. И не посоветовалась... ничего... так, на-ка, вдруг!.. Да что ей там,— золоты горы, что ли, насулили?.. Али, думает, людно там, так и... али про тебя жениха, думает, сыщет?.. А уж давно, девка, пора, засиделась ты...

— Нет, баушка, жить нечем здесь, промыслить не на чем, в работу идем наймоваться...

— Слышала я это. И Николка, постреленок, тоже рассказывает мне, забегал... Ну, да я его не послушала: что, мол, мальчонок, смыслит... что сказали, то и болтает!.. А ты-то — тоже... Полно-ка!.. Какие вы работницы с маткой... Отстань-ка!.. Жили, жили налегке... ровно птицы... жизнь была у вас самая легкая, гулящая... да вдруг, на-ка вот, работы захотели!.. Эка девка, подумаешь, хитра: старуху провести хочет!.. Сказывай правду уж... коли знаешь...

— Да я, баушка, правду истинную тебе говорю... Верно, что легкая-то жизнь надоела, опостылела, больно уж слава-то хороша по ней идет. Вот матушка и надумала... Здесь-то нечем промыслить, а на фабрике работы сколь угодно, и денежки платят хорошие... Жить можно...

— Ай, девка, врешь, ни в жизнь не поверю!.. Это

чтобы матка твоя в чужи люди в работу пошла... Врешь, не пойдет: не на тех харчах она век прожила, чтобы ей спину гнуть да руки мозолить... коли вот экие молодцы еще в гости ходят!.. Не заработать ей столько, сколь они, дружки-знакомчики, натаскают... и куска сладкого, и одежи нарядной...

Параня вспыхнула. Федя побледнел и задрожал при последних словах старухи.

— Никто нам ничего не таскает,— проговорила Параня неровным голосом и робко, стыдливо взглянула искоса на Федю.

— А я, баушка, не таковский, что ты думаешь,— сказал Федя, поймавший взгляд Парани и заметивший ее смущение,— я не знакомчик, а жених Паранин.

— Жених! — вскрикнула старуха недоверчиво и с удивлением.

— Да, баушка, жених!.. И едут они на фабрику точно работать, а не за чем другим: Параня с Николкой будут на фабрику ходить, а Дарья Тихоновна на квартире станет жить, чтобы около них обихаживать...

— Жених! — твердила старуха недоверчиво.— Да что мы не слыхали, чтобы сватов-то ты присылал?.. Уж знали бы, кажись: в одной деревне живем... Да и в родстве тоже считаемся. Кажись бы, надо сказать матке-то... Нынче хошь со старыми-то, видно, не советуют, не слушают их, а все бы, кажись, сказала, что дело у вас наладилось...

— Я, баушка, без сватов, сам сватался, да и сказать-то тебе было некогда, потому сегодня только мы объявилися...

— Как без сватов? Как без сватов сватался?.. Что ты меня, ровно дуру, морочишь?.. Где это видано, слыхано!.. Да что ты,— сирота, что ли, безродный? Ни отца, ни матери, ни сродственников,— нет никого?.. Хошь какая-нибудь родня да есть же?.. Парень ты молодой! Смотри-ка, борода-то еще не опушилась,— да сам ты пойдешь свататься!.. Да кто тебя слушать-то, говорить-то кто с тобой будет?.. Али безродный какой, вправду?..

— Нет, не безродный: и отец у меня есть, слава богу, жив, здравствует, и брат старший женатый, и другие сродственники есть... А я все ж таки сам сватался, без всяких сватов...

— Ну, уж разве только что Дарья... Легкий она че-

ловек у нас, так слушать тебя стала, а в другом месте тебе и речей-то этих выговорить не дали бы: пришли, мол, постарше да поумнее!.. Да нет, врешь... не поверю!.. Что ты, разве воровски от отца-то жениться хочешь?.. Да богат больно, ну, так, может, Дарья польстилась: не хотела она ни за что за бедного-то отдавать... А коли богат, так на что же им на фабрику в работу-то идти?..

— Нет, я, баушка, небогат... А на фабрику они с моего же совета идут, что там можно промыслить лучше и честным трудом... А здесь жить, только на сраму да на этакой славе, что и ты вот говоришь... Вот зачем они на фабрику идут!

— Ну, уж, брат, молодец, путаешь ты меня, да не спутаешь же, не удастся!.. Ты, видно, баушку-то Лампею еще не знаешь... Что говоришь? Беден ты, без сватов сватаешься, а она, Дарья, отдает за тебя Параньку да еще работать на фабрику посылает с твоего совета, да и сама за тем же едет, свою избу покидает... Ну, ты шутки-то эти шути с кем другим, а не со мной... я дурой-то и не про тебя, так не бывала... Ишь ты какой прокурат!.. Откуда взялся экой?. Видала я много вашей братьи этаких!..

— Да не сердись, баушка... Не шучу я, не смеюсь. Вот спроси Параню,— и она тебе скажет, что правду я тебе говорю...

— Да Паранька-то, пожалуй, тоже зубы-то поточить над старухой рада... Только что разве меня знает, не посмеет. Я сама оборву, изругаю... Ну, Паранька, скажи: вправду жених это твой?..

— Вправду, баушка,— отвечала Параня, подумавши, но не так решительно и скоро, как бы того желал Федя.

— Смотри, Паранька, не смей зубоскалить надо мной: знаешь, не люблю... Мать придет да скажет настоящее,— изругаю ведь, рассержуся...

— Да что же, баушка... Я правду говорю... Вправду он сватался, я обещала ждать, пока побогатеет...

— Так так бы ты, дура, и говорила... А то — жених, сватался, говорит... Какой же он жених!.. А так, стало быть,— одна разговорка только промеж вас была... Ну, мало ли что парень с девкой промеж себя болтают... А то — жених!.. Это, значит,— когда еще что будет, вилами на воде писано... Этаких-то женихов у тебя, чай, много...

— Много, Параня? — спросил Федя, нахмурившись, и упорно, не сводя глаз, смотрел на Параню.

— Известно, таких, как баушка говорит, много,— вывернулась Параня.

— Нет, а таких, как я? — настаивал встревоженный Федя.

— Ну, опять сначала, что ли, мы станем с тобой все переговаривать... Экой ты парень какой.. тошной!.. Право, тошной!..

— Затоскуешь, Параня, как на все посмотришь да все это переслушаешь! — со вздохом проговорил Федя.

Бабушка Лампея собиралась еще что-то сказать, но в это время вошла в избу Дарья Тихоновна в сопровождении подводчика, дяди Евграфа, и Николая; а вслед за ними ввалилась в избу целая толпа соседок, пришедших поглазеть на отъезжающих и их сборы в дорогу.

Бабушке Лампее не удалось расспросить хорошенько обо всем Дарью Тихоновну. В избе началась суетня, вытаскивание узлов на подводу и такой говор и перестрелка вопросов, ответов, замечаний, желаний и советов, что Дарья Тихоновна успела только попросить бабушку, чтобы та, по родству, не оставила, взглядывала бы на ее избу. Но и в этом отношении все соседки в один голос успокаивали, обнадеживали отъезжающую хозяйку, ручаясь, что не пропадет ни синь порох, ни одна соломинка с крыши, что они за всем присмотрят и все уберегут.

— А ты бы окна-то заколотила бы,— подавала вслед затем совет свой одна из соседок.

— Беспременно нужно заколотить,— соглашалась другая,— для всякого случая.

— Как можно не заколотивши: не ровен час... От лихого человека не убережешься!— поддерживала мысль третья.

Но оказалось, что Дарья Тихоновна просила уже об этом дядю Ивана, и тот обещал беспременно, и что старый тесишко для этого предмета имеется уже в виду.

— Ты бы и ворота-то велела бы заколотить,— начинались снова советы.

— Нет, ворота почто заколачивать... Они снутри запором задвинуты... А вот калитку беспременно нужно заколотить...

— Нынче, матушка, и через крышу пролезут... Народец-от вон какой стал!

— Пожалуй, полезай: на дворе-то не что возьмешь, а вот, чтобы у дверей избяных запор был хороший...

— Пробои чтобы здоровые и замок тяжелый,— чтобы слыхать было, коли недобрый человек вздумает...

— Да мне бы, матушки, только бы не подпалил, храни бог, злодей какой: вот чего опасно... А то взять-то у меня нечего: одни битые горшки да ухваты разве останутся, и то вот баушка, что получше, к себе спрячет, а одежу всю я с собой забрала,— отвечала Дарья Тихоновна.

— Дай-ка я узел-то вынесу,— старались и в этом помочь соседки.

— Да ничего, вот Параня с Николкой... Вон и Федор Герасимыч подсобляет: поспеем...

— Дай, дай, говорят, дай — я вынесу! — И соседка почти вырывает из рук хозяйки узел с одеждой и несет к телеге, а хозяйка, не вполне доверяющая бескорыстию услужливой соседки, идет вслед за нею и за узлом, с пустыми руками, или посылает Параню.

— А ты помни мое слово,— говорила суетящейся Дарье Тихоновне бабушка Лампея,— досадила ты мне до смерти, и зла я на тебя, ровно собака... Как так — свилась, собралась, ни словечка не сказавши, не посоветовала... ничего!.. И что за причина такая?.. Ничего не знаю... Век тебе этого не забуду!

— Полно, не сердись, тетушка: право, некогда было... Сама не знаю, как собралась... Опосля все расскажу...

— Ладно, ладно!.. Нет, ты кабы почитала-то меня... А еще родней считается.— Небось, нужда пришла, так к кому? К баушке... Баушка, постереги, посмотри!.. Неужто на этих сутолок-то понадеяться можно, даром обещают?.. Надейся: ни одна и не взглянет, разве плашка понадобится, так из твоего же забора заборник вытащит...

Наконец, все узлы были вытащены и уложены на подводу, Дарья Тихоновна и Параня перецеловались со всеми соседками, вновь выслушали множество пожеланий и советов, вышли на улицу и уселись сверх своего скарба на телегу; прилепился кое-как сбоку хозяин подводы, и воз двинулся. Федя с Николкой пошли около него пешком.

— Прощайте!.. Счастливо вам там! — вскрикнули им вслед доброжелательные соседки и разбрелись по домам.

III

Около полуночи Федя со своими спутницами добрался до деревни, находившейся против самого Старого села, по другую сторону разделявшей их речки. С открытия фабрики все почти крестьяне этой деревни стали отдавать свои избы под квартиры фабричным рабочим, которые, впрочем, приходили сюда только спать, а прочее время проводили или на фабрике, или в трактирах и кабаках. Последние как из земли выросли вместе с превращением Старого села из помещичьей усадьбы в фабричное заведение. Рабочие терпели большой недостаток в самых необходимых вещах; питались одним черным хлебом всухомятку, но зато горячие напитки, чай и водку, имели всегда в изобилии и употребляли на них половину своего заработка. Мало кто из рабочих нанимал квартиру с варевом от хозяев, большинство же довольствовалось только правом ночлега и хранения небольшого скарба, захваченного из дома, да разве изредка разогревало в хозяйской печи принесенные из дома, после праздника, щи без говядины, с забелой. Хозяева обыкновенно жили в одной избе со своими квартирантами.

Федя рассчитывал приютить Дарью Тихоновну с семьей к одному крестьянину, у которого было две избы, который сам работал на фабрике и одну из своих изб отдавал исключительно под квартиру для фабричных. Федя надеялся, что, может быть, хозяин уступит ему вовсе одну избу: тогда он мечтал поселиться вместе с Дарьей Тихоновной и жить у нее как бы на хлебах.

Когда, по указанию Феди, извозчик поворотил лошадь в порядок деревенских домов, стоявших по высокому берегу речки, вся фабрика вдруг обрисовалась среди окружающего мрака своими многочисленными, блестящими от внутреннего освещения огнями. В ночной тишине ясно доносился с того берега рев, шум и стук машин и станков фабричных. Огненный столб искр высоко стоял в небе над фабричной трубой. Это неожидан-

ное и невиданное зрелище до такой степени поразило Параню, Николку и их мать, что они в один голос все вскрикнули: в крике этом слышался не только восторг, но даже испуг.

— Вот она, фабрика-то, какая! — проговорила Параня, не отводя глаз от нее.

— Да-а... — протянула Дарья Тихоновна.

— Вот так хорошо-о-о!.. Хорошо! — кричал Николка, чуть не прыгая от восторга.

— Что, Параня, понравилось? — спрашивал Федя.

— Как не понравиться: чего уж лучше? Ровно во сне снится, а не наяву...

— А вот поприсмотришься, да об эту пору придется, пожалуй, вставать да на свою смену идти, так и глядеть не захочешь...

— В какую смену?

— А как же?.. Тут через каждые шесть часов смена: одни отстояли свои шесть часов, домой идут, а на их место другие становятся — опять же на шесть часов... Вот сегодня, воскресенье, работа с шести часов началась,— вот до полуночи первая смена, а с полуночи до шести утра — другая, а тут опять до полуден те, что эту первую смену стояли: так и идут одна смена за другой... Вон уж пошли,— видать, скоро полночь будет.

Федя указал на человеческие фигуры, двигавшиеся в полутьме, вдоль домов, к ним навстречу.

— Вот это вторая смена идет... Скоро и свисток будет...

— Какой свисток?

— А как время смене, так и пускают пар в трубку: он и свистит так громко — за пять верст услышишь... Вот слушайте... Скоро засвистит... Мне сказывали, что где много фабрик по соседству, так купцы этими свистками друг перед другом бахвалятся: который громче свистит да дальше слышно...

В той избе, куда направлялся Федя, светился огонек.

— Вот хорошо, в самый раз приехали,— сказал Федя,— хоть стучаться не придется, и здесь, видно, на фабрику собираются.

Велевши подождать себя, он скрылся за незапертою калиткою, чтобы переговорить с хозяевами. Переговоры эти, впрочем, были непродолжительны; скоро отворились ворота, и путники въехали во двор. В эту минуту

послышался давно ожидаемый свисток, от которого женщины взвизгнули с веселым смехом.

— Эк вас нелегкая!.. Не слыхивали, дьяволы! — проговорил выходивший со двора рабочий и при этом ради шутки сказал такую фабричную остроту, что женщины мгновенно примолкли, а Федя весь вспыхнул.

Со двора вошли в большую избу, которая была полна народом. Многие лежали вповалку на полу и на лавках, другие обувались, иные, совсем одетые, готовы были выйти вон. Тут были и мужчины, и женщины, и дети. Изба едва освещалась керосиновой лампой без стекла, которая дымила и сильно воняла. При этом освещении встрепанные, всклокоченные головы спящих, выставлявшиеся из-под полушубков и кафтанов, которыми были прикрыты туловища, мрачные, заспанные, недовольные и бледные лица собиравшихся на работу, тяжелый храп и стоны беспокойно спящих, отрывистые речи, сопровождаемые ругательствами проснувшихся,— производили на свежего человека подавляющее впечатление. Дарья Тихоновна с Параней и Николкой робко остановились у дверей и с недоумением и испугом осматривались.

— Сегодня уж здесь переночуете как-нибудь,— тоном оправдывающегося говорил Федя,— а завтра уж я с хозяином переговорю: в ту избу попросимся, где он живет с семьей, там просторнее будет... Самого-то нет теперь — на фабрике, а вон хозяйка без него... не знает... не соглашается...

Федя указал на полудремлющую женщину, которая сидела, облокотясь на стол.

— Да где же мы ляжем-то? И сесть-то негде, кажись... не то лечь... Опять же узлы у нас,— с упреком, но вполголоса возражала Дарья Тихоновна.

Федя подошел к хозяйке.

—Хозяюшка, где же бы нашим лечь-то? Места-то нет.

— Будет места, будет про всех,— лениво отвечала она.— Вот отвалит смена, местов много опростается... Подождите... Это ведь вот сегодня после праздника сгрудилось много: две смены сошлись... А то мало ли места: изба большая... Про всех места будет...

Действительно, когда все очередные ушли на работу, оказалось несколько свободных мест на полу и даже на лавках, но надо было ложиться врозь, рядом с чу-

жими людьми, и рассовать по разным местам пожитки. Дарья Тихоновна и Параня находили это неудобным и, по совету Феди, предпочли лечь спать в телеге, в которой ехали, тем более, что провожатый их, дядя Евграф, хотел остаться до утра, чтобы побывать в фабричном трактире или, по крайней мере, в кабаке.

— А мы с Николкой здесь где-нибудь приткнемся,— говорил Федя.— Да, правда, я и спать-то не хочу, а вот подожду хозяина да вас сторожить буду... Внове-то, чай, робко вам меж чужими людьми...

Федя заглядывал в глаза Паране, но она смотрела на него холодно и серьезно: веселое настроение, которое произвел на нее наружный вид фабрики, давно уже прошло и сменилось чувством какого-то страха и недовольства. Она молча последовала за матерью опять на двор, молча влезла в телегу, отрывисто, односложно отвечала на все вопросы Феди о том, ловко ли, хорошо ли ей лежать, и ни слова не промолвила в ответ на его уверения, что завтра все устроится, что он отыщет им удобное и просторное помещение. Параня, видимо, была недовольна и сердилась. Федя был глубоко огорчен и винил себя в непредусмотрительности, так как сам настоял, чтобы Дарья Тихоновна с семьей ехала немедленно, и рисовал им жизнь фабричную в розовых красках; ему и в голову не приходило задать себе вопрос: да с чего же, по какому праву явилась вдруг эта требовательность в Паране, которая выросла и жила в бедности и приехала сюда работать и жить так же, как и все остальные рабочие? А тем более он не мог представить себе те смутные надежды, те неясные мечты, которые наполняли душу Парани и заставили ее согласиться идти на фабрику и которые имели такую определенную и реальную форму в мыслях Дарьи Тихоновны.

Уложивши Николку в избе, Федя вышел на мост и сел там, в ожидании возвращения с фабрики хозяина. Тот, наконец, пришел. Федя объяснил ему, что привез на фабрику целое родственное ему семейство и желал бы нанять у него отдельную малую избу. Мужик тотчас же изъявил согласие, но заломил такую цену, которая была уже вовсе не по силам Феде; впрочем, после взаимных уступок и надбавок, кое-как столковались.

На рассвете Федя попрощался с Дарьей Тихоновной и Параней и ушел на фабрику, взявши с собою Николку

для того, чтобы тот знал дорогу и мог проводить потом к нему мать и сестру. Федя надеялся, что Александр Кузьмич утром забежит к нему, чтобы расспросить об учителе, и не ошибся: молодой Кошатников явился очень рано,— тотчас как проснулся и напился чаю.

— Ну, что, Федор, согласился он или нет? — спросил он озабоченно. Федя рассказал.

— Ну, вот и чудесно!.. А и мы вчера кое-что сделали... Во-первых, квартиру для школы я отыскал... Отличная, большая изба с перегородкой... и недалеко от фабрики, и кругом по деревням наши рабочие живут... Столы и доску я уже заказал... Алена Николавна ездила вчера в город: отпросилась будто бы за покупками для себя, сказала: обувь там, что ли, нужна, башмаки,— а сама, вместо того, накупила бумаги, карандашей, аспидных досок... Хотела купить учебников, но, представь, наш город каков — азбук, простых азбук не могла отыскать, а не только уж каких-нибудь других книг или пособий... Этакое невежество!.. Впрочем, она написала, скоро вышлют... Я дал денег, чтобы и ландкарты у нас были по стенам, и большие счеты... Знаешь, этакие стоячие, чтобы считать их учить... Я хочу, чтобы все было, как следует школе... Вот и твой учитель, если что скажет, что нужно,— я все выпишу, ничего не пожалею... И знаешь, уж мы вчера — и я, и Алена Николавна — успели переговорить кое с кем из рабочих и мужиков насчет училища... Они очень рады: добро бы, говорят, обучил наших робят грамоте,— на что бы лучше!.. Стали бы, говорят, век поминать да благодарить!.. Так что это дело у нас, значит, пойдет... Я очень рад и доволен!.. Только вот насчет того, что можно большим выучиться, учась только по праздникам,— этому не верят, смеются... Ну, да увидят — поверят только бы начать да в школу заманить... Через недельку, думаю, откроем... Вот как, Федор!..

— Ну, это все хорошо,— сказал Федя.— А я к вам для начала двух учеников привез,— ученика и ученицу...

— Как так?..

— Так... Я не открывался еще вам, Александр Кузьмич, а ведь у меня невеста есть: только я жениться буду на ней, вот когда мне место у вас на фабрике или где повыгоднее выйдет... потому — она девушка бедная, да и у меня-то мало, так мы так и порешили... Вот ее-то я

и привез, вместе с ее братом, мальчиком, сюда, чтобы на фабрику их, в работу, поместить... Братишка-то уж в школе был у Василия Якимыча и почитывает... Вот он и здесь будет в училище ходить... А невеста-то моя в воскресную школу: она еще ничего не знает... Вот пускай Алена Николавна с нее и начнет... Я попрошу...

— Да и просить нечего,— она сама радехонька будет... Она теперь только о том и заботится, чтобы в воскресную школу ходили... Так вот ты как, Чернушкин,— у тебя уж и невеста есть! Что же, хорошенькая?..

— А вот увидите!.. По мне, на свете-то, кажется, нет лучше ее...

— Очень любишь?

— Гм... Не то — люблю, а, кажется, голову, душу-то самую за нее отдам!.. Ото всего откажусь, на край света из-за нее пойду...

— Что же, тебе отец этакую выбрал?..

— Нет, сам я...

— Экой ты счастливец какой!.. Вот бы мне этакую найти, полюбить бы этак да тятенька бы жениться позволил... А у нас и не думай сам выбирать, а дожидайся, когда тятенька найдет да жениться прикажет...

— А вот что, Александр Кузьмич, вы мне посоветуйте, как им половчее сделать,— к кому идти, чтобы их на фабрику-то не отказали, приняли, да и жалованьем не очень бы обидели... Они хоть ничего еще не знают оба, да ведь скоро научатся, а будут работать, стараться станут.

— А это нужно к Петру Архипову, к главному приказчику: ему поручено рабочих-то рядовых нанимать... Известно, он скажется Дмитрию Тимофеичу, только тот никогда не отменит, кого он наймет... А ехиден же, прижимист и тот, особливо теперь, у нас народа на фабрике достаточно, а все идут — просятся... Да новые же, ничего не знают, не умеют: прижмет ценой непременно!.. Еще, пожалуй, и вовсе не возьмет!.. Народа-то очень много просится... Вот что!.

Федя встревожился.

— Как же быть-то, Александр Кузьмич?.. Я было на вас надеялся: я ведь всю семью вовсе сюда перевез, и мать с ними приехала... Теперь, если их не примут, не знаю, как и быть... Нельзя ли как?.. Помогите. Вас все-таки, чай, послушает...

— Да, правда, он ко мне подбивается, лебезит, в глаза смотрит: думает, видно, себе, что долго ли, коротко ли, а буду же настоящим хозяином... Пожалуй, я ему скажу, только не знаю, как это сделать...

— Не оставь, родной, сердечный Александр Кузьмич... Вон, они идут ко мне все... и с матерью... Я велел придти сюда...

Федя указал рукою в окно, мимо которого прошла Дарья Тихоновна с детьми.

Александр Кузьмич с любопытством заглянул в окно, но не успел рассмотреть проходящих.

— Сказать-то я скажу ему, — успокаивал он Федю. Надо так сделать: пускай они идут к нему, а я точно не нарочно...

В это время в мастерскую отворилась дверь, и на пороге, вслед за Николкой, показалась Параня. Александр Кузьмич не кончил своей речи и весь вспыхнул: красота Парани сразу поразила его. Федя не заметил этого впечатления, потому что шел навстречу пришедшим и сам пристально смотрел на Параню. Ему не понравилось, что и она, и мать вырядились совсем по-праздничному, — чуть ли не в лучшие свои платья.

— Это вот хозяйский сын, Александр Кузьмич, — предупредил он вошедших.

Федя заметил, как Дарья Тихоновна и Параня встрепенулись при его словах, — с каким жадным любопытством устремили глаза на Александра Кузьмича. Лицо Дарьи Тихоновны приняло вдруг подобострастное выражение, — Паранино, напротив оживилось лукавой улыбкой, а глаза заискрились из-под полуопущенных стыдливо ресниц. Федя с бессознательной болью в сердце вспомнил ту Параню, которую он видел в начале знакомства, в хороводе, на деревенском празднике. Обе — и мать, и дочь — степенно и почтительно поклонились Александру Кузьмичу и остановились неподвижно у дверей. Дарья Тихоновна смотрела на хозяйского сына с улыбкой умиления, — Параня не поднимала глаз и, казалось, стыдливо глядела в землю, но она видела и подробно рассматривала Александра Кузьмича. Последний был сильно смущен и не знал, как держать себя.

— Не оставьте вы нас, сирот, своими милостями, — проговорила Дарья Тихоновна медовым голосом, — и, как показалось Феде, совсем не кстати.

— Я уж просил об вас Александра Кузьмича, — заметил он. Народа, говорит, очень много просится на фабрику: многим отказывают, — не берут...

— Уж моих-то, батюшка, Александр Кузьмич, прикажите принять... Вот дочка моя, Параня, а это — сынок... Их-то только примите... А я-то уж стара, — я и не прошуся... Будьте отец родной!.. Как бог, так и вы! — заговорила опять Дарья Тихоновна. — Обнадежил он нас, Федор Герасимыч: всем домом поднялась, приехала... Не оставьте!.. Будем для вас стараться.

— Да я ведь не... не распоряжаюсь, — ведь я... — смущенно отвечал Александр Кузьмич, стараясь не смотреть на Параню и невольно взглядывая на нее. — Батюшка еще тут и зять... Да ведь это... главному приказчику препоручено: рабочих нанимает Петр Архипов... Вы к нему...

— Да коли вы прикажете, хозяйский сынок, так разве они могут ослушаться вас?..

— Да я... я скажу ему... Вы теперь ступайте к нему... Спросите там на фабрике: главный приказчик, Петр Архипов... Что он вам скажет?.. А вы не уходите, постойте там: я сейчас же приду, следом за вами...

— Очень вам благодарны, батюшка Александр Кузьмич... Уж не оставьте нас, сирот, а мы это должны понимать и чувствовать все ваши милости, что не оставляете сирот, не гнушаетесь, при всем вашем великом богатстве... Вот доченька-то моя больше всего меня сокрушает, Паранюшка... Ее-то бы как-нибудь хотелось пристроить к хорошенькому дельцу, чтобы не больно тяжело, да и жалованьицем-то не обидели... Девочка она молодая, — нигде не бывала, ничего не знает, у матери под крылышком жила, а здесь, вижу, людно, народ бойкий, смелый, — не обидели бы как... Вот о чем больше хлопочу!.. Ну, сынишка — этот как-нибудь: ему все равно, да он и шустрый... Ему только посмотреть да примениться, — он все поймет, все сделает... Ну, а и побьют, так ничего: не во зло прибьют, а ему же в науку!.. А вот дочку-то уж не оставьте, батюшка, господин хозяин... чтобы не обидели-то ее как, не огорчили бы огорченьем каким, не суносным... Я вот как вашу милость прошу: матери не стыдно, — я в ножки поклонюся... Не оставьте вы мою доченьку, Александра Кузьмич!..

И Дарья Тихоновна, прежде чем ее успели остано-

вить, действительно, бросилась в ноги молодому человеку. Кошатников совсем смешался и, бормоча какие-то несвязные речи, старался поднять Дарью Тихоновну. Федя, как говорится, был сам не свой: его коробило от униженных речей Дарьи Тихоновны,— он сердился, волновался и не знал, как бы остановить ее, а при последней неожиданной выходке ее его бросило в жар, ему стало стыдно, и обидно, — и за себя, и за Параню; и вдруг какой-то страх, какое-то невольное ревнивое чувство к Александру Кузьмичу заговорило в его душе; он быстро взглянул на Параню: та стояла опустя глаза, — лицо ее горело, она была тоже, очевидно, смущена и пристыжена назойливыми просьбами и земными поклонами матери.

Смущение Парани несколько успокоило Федю за нее, но усилило его негодование против матери, — и в то же время он почувствовал беспричинное недоброжелательное чувство к Александру Кузьмичу. «Все оттого, что богат, — оттого и поклоны эти, и унижение!» — мелькнуло у него в голове.

— Встань... Напрасно... Зачем это?.. Встаньте!.. что это!.. Я и так все сделаю... постараюсь... все сделаю, что возможно,— говорил между тем Александр Кузьмич, обращаясь к Дарье Тихоновне и невольно поглядывая на Параню.

— Ах, вы, батюшка мой, красавец, благодетель!.. Оченно вами благодарна, оченно благодарна!— говорила Дарья Тихоновна, поднимаясь на ноги и вытирая слезившиеся глаза. — За сирот и вас господь не оставит, невидимо наградит... Я уж и считать буду, что вот заступа крепкая за мою Параню... Как что, так и к вам... А так теперь на фабрику приказываете нам идти?..

— Да, да, на фабрику ступайте... к Петру Архипову. Он там теперь...

— Слушаю-с... Только как бы нам пройти-то туда?.. Впервые мы здесь: ничего не знаем, куда и идти-то... У вас уж очень много всего понастроено: кажется, и заплутаешься... Разве не можно ли тебе, Федор Герасимыч, проводить нас, дорогу-то указать?..

— Нет, ему нельзя,— отвечал за Федю Александр Кузьмич,— того смотри придет директор, а его нет за работой... Неприятность может выйти... Да я вот сей-

час иду на фабрику, так вы идите за мной... А подойдем — я покажу...

— Ну, это уж на что лучше, коли милость ваша будет... коли не затруднительно вам, не гнусно с нами идти... Да вы извольте идти, а мы издальки за вами, только бы из глаз не выпустить... Близко-то не подойдем, тоже понимаем, чувствуем сами себя... Экой батюшка милостивый!.. Экой ангел!.. Счастливы твои родители, что этакого сынка выростили!..

Последние слова Дарья Тихоновна произносила вполголоса, как бы про себя, но так, что их слышал Александр Кузьмич. Он торопливо уходил из мастерской, ни слова не сказавши Феде, даже как будто стараясь не встретиться с ним глазами. Вслед за ним вышли и все остальные, не сказав Феде ни слова, точно забыли даже об его существовании.

«А ведь он оттого так захлопотал, что Параня очень красива! — ревниво подумал Федя, оставшись один, и сердце его болезненно сжалось. — Зачем я?.. Лучше бы их не возить сюда вовсе... Да неужто же, господи?.. Нет ведь, это мать только... Параня ничего... Она и слова не сказала и не взглянула на него... И Александр Кузьмич... Хоть известно — балованный, богатый... Да нет, он не из таких!.. Ведь я же сам просил его за них: может, он просто оттого, что, невеста моя... Для меня же!»

Но как ни старался Федя успокоить себя, сердце у него ныло, и работа валилась из рук. Он то и дело беспокойно поглядывал в окно, ожидая, что кто-нибудь, хоть Николка, прибежит сказать о результатах переговоров с Петром Архипычем.

Между тем Александр Кузьмич, идя на несколько шагов впереди Дарьи Тихоновны и ее детей, беспрестанно оглядывался назад, как бы для того, чтобы убедиться, что они не отстали, но в действительности желая взглянуть на Параню, и каждый раз глаза его встречались с глазами Парани, каждый раз он быстро отворачивался, чувствуя, как кровь бросалась ему в лицо. Параня своим женским чутьем сразу отгадала, какое впечатление произвела на молодого и богатого купчика; это льстило ее самолюбию, и в отсутствие жениха она не считала нужным накидывать на себя стыдливость и застенчивость. Она смело ловила взгляды Кошатникова и встречала их с лукавой, довольной улыбкой.

У одного из входов на фабрику Александр Кузьмич остановился, подозвал к себе спутников, велел им тут стоять и ждать, а сам отправился в отделение, куда сносился изготовленный и срезанный со станов товар и где царствовал обыкновенно Петр Архипыч. Он застал его на месте. Это был человек лет за шестьдесят, высокий, худой, юркий и подвижный не по годам, с серебряными кудрями, с тощей седой бородкой и с рысьим взглядом из-под черных еще бровей, в длинном до пят сюртуке, в застегнутом наглухо жилете, поверх которого лежала широкая бисерная цепочка часов. Петр Архипыч пользовался большим доверием Кузьмы Иваныча и был переведен на новую фабрику в качестве главного приказчика по просьбе самого Дмитрия Тимофеича. Последний лучше самого Кузьмы Иваныча понимал характер своего верного слуги и знал, что он отлично с ним уживется, что Петр Архипыч сумеет примениться ко всякому положению и лучше всякого другого поймет, как ему нужно будет держать себя для своей личной пользы и для пользы своих доверителей. С другой стороны, такой выбор должен был бы успокоить и Кузьму Иваныча в том отношении, что зять не боится окружать себя людьми, преданными и близкими главному хозяину. Согласившись с удовольствием на такое назначение и руководясь своим принципом взаимного и перекрестного надзора, Кузьма Иваныч поручил втихомолку Петру Архипову наблюдать за всем на фабрике и в конторе и обо всем подробно и секретно доносить; здесь разумелся главным образом надзор за зятем, хотя имя его и не было прямо названо. Петр Архипыч отлично понял своего хозяина и доносил обо всем очень аккуратно, но никогда не был виновником ни малейшего неудовольствия между тестем и зятем, потому что понимал, о чем можно и следует говорить и о чем выгоднее молчать. Вследствие этого он жил в большом ладу с Дмитрием Тимофеичем и не терял кредита у старого хозяина. Он знал и намерение Кузьмы Иваныча передать фабрику в распоряжение Александра Кузьмича в скором времени после его женитьбы, знал, что старик-хозяин занят и приискиванием подходящей невесты, а потому старался всячески сохранить за собою и благорасположение будущего владельца фабрики.

С выражением преданности и готовности встретил

он Александра Кузьмича, который разыгрывал роль человека, пришедшего без всякой задней мысли, и разговаривал с приказчиком несколько времени о делах фабричных, рассматривал товар, спрашивал о ходе работ и как бы мимоходом коснулся общего количества рабочих, требования на них и предложения услуг. Оказалось, что рабочих вдоволь и что прибавлять придется разве только по времени, ближе к ярмарке, и то, если требование на товар поднимется. Разговаривая таким образом, Александр Кузьмич вышел с провожавшим его приказчиком на лестницу и тут только промолвил:

— Ах, да, как я шел сюда, так видел тут у крыльца: ждали тебя женщины да мальчик, на фабрику просятся,— сказал Александр Кузьмич.

— Ну их с богом.. Не надо их!.. Довольно!.. Следовало бы, по-настоящему, и старым цены сбавить, потому народа очень много просится... Вот хочу Дмитрию Тимофеичу предложение это сделать...

— Ну, вот, Архипыч, еще сбавлять; кажется, уж и без того небольшие жалованья... много меньше, чем на той фабрике...

— Так ведь как же... Александр Кузьмич?.. Что вы, батюшка!.. То и давай бог, чтобы как подешевле, то и для хозяина приятнее... Как же можно!.. На той фабрике уж поневоле дороже платим, потому народ все школеный, набалованный... Фабрик кругом много, цены знают, местов много: не тут, так там... А здесь, помилуйте!.. Здесь что? Одна наша фабрика на тридцать верст кругом, и от народа отбою нет,— только, батюшка, возьми христа ради!.. Здесь как возможно платить против тех мест? Никакого расчета нет... Я так полагаю: 20 процентов можно цены сбавить — и то народу завсегда достаточно будет... потому в работе нуждаются... Окромя взять не с чего...

— Вон они стоят; поговори да прими их,— сказал Александр Кузьмич, выходя на крыльцо и указывая на Дарью Тихоновну с детьми.— Бедные, должно быть, прими, пожалуйста... Я тебя прошу... И в цене не обижай...

Петр Архипыч, успевший рассмотреть Параню, быстро и проницательно взглянул на Александра Кузьмича, который от этого взгляда смешался.

— Да коли хозяин приказывает, так наше дело...

что же?.. Слушаться нужно,— проговорил приказчик.

— Нет, я не то, что... А так что жалко: бедные... просятся... издалека приехали!

— Издалека приехали? — повторил Петр Архипыч и опять быстро вскользь взглянул на молодого человека. — Эй, вы, подойдите-ка сюда поближе!..

Дарья Тихоновна с детьми подошла.

— Откуда будете?

— Из Онучина... деревни Онучина...

— Не близко...

— Далеко, батюшка... Нароком приехали... Всем домом переправилась сюда... Вот бы дочку да сынка на фабрику бы не будет ли милости,— заговорила Дарья Тихоновна, но приказчик перебил ее:

— Дочка твоя?..

— Дочка, сударь... Сироты мы... Вдова я... Без земли живем, сиротами...

— Красавица у тебя, дочка, красавица!..

— Ну, батюшка... Покорно вас благодарю, что похвалили... А мне свое детище ни хаять, ни хвалить не приходится...

— Так на фабрику желательны?..

— Да уж не оставьте... Вот и вас просим... и молодому хозяину кланялись...

— А прежде живали ли на фабриках-то?..

— Нету, сударь, не приходилось... Впервой!..

— Гм... Так, значит, ничего не знают ни дочка, ни сынишка... Учить их, стало, надо будет...

— Будут стараться... Поймут скоро... Заслужат вашей милости; на том надеюсь...

— Это хозяину надо заслуживать — не мне... Я сам верный раб... По мне бы, так вам ни места, ни работы нет, да вот хозяин приказывает, Александра Кузьмич, так должен слушаться; надо вас как-нибудь пристроить...

— Покорно благодарю, батюшка Александра Кузьмич,— проговорила Дарья Тихоновна.

— Только вот что, девушка красная... Как тебя звать-то?

— Параня.

— Паранюшка... Тяжеленько тебе с непривычки на фабрике-то покажется... А ты вон какая: белая, румяная... Изведешься, пожалуй... А тебе бы вот в услуженье лучше идти, в дом... Я вон слыхал, Александра Кузьмич,

сестрица ваша, Лизавета Кузьминишна, в прислуге горничной нуждаются... Вот бы!.. На что лучше?.. И руки у нее, смотри-ка, какие белые, и из себя красавица... Право!.. А на фабрике что?.. На фабрике ты не думай, девица, хорошего мало получишь!.. Ну, пускай, по приказу Александра Кузьмича, жалованье тебе побольше против людей положим: надо бы тебе рубля четыре на месяц положить, как ты, по новости, ничего еще не знаешь... Больше нельзя бы... Ну, да коли хозяева приказывают, можно и пять, и шесть положить... А ведь уж больше-то теперь никак нельзя, разве что по времени прибавят, когда понаучишься... Так ведь харчи свои, квартиру нанимай да во всякую погоду и днем, и ночью иди уж, плетись на свою смену... Да шесть-то часов отстой-ка на ногах около станка... Не понравится!.. А там, в горничных-то, пускай хоть жалованье и небольшое — рубля на три, да зато ты завсегда в тепле, в чистоте, ешь-пей сладко, работа легкая и спи в свое время,— вся ночь твоя... А главная причина, коли хозяевам угодишь, так у наших купцов, не как в господских домах, услугу человека видят и ценят, награждают всячески: и обуют, и оденут, своей копеечки не изведешь!.. Вот я бы советовал проситься в дом; это за счастье даже великое нужно почитать и почитают,— к купцам-то в услужение попасть... Желаешь ли?

Петр Архипыч, по своим, быстро мелькнувшим в его голове, соображениям, надеялся угодить Александру Кузьмичу таким предложением и, наблюдая незаметно за его лицом во время своих слов, убедился, что не ошибся. Александр Кузьмич, действительно, обрадовался при первой мысли, что эта красавица будет жить у них в доме горничною, ежеминутно у него на глазах; он забыл в эту минуту даже и о том, что Параня — невеста Феди, Он смотрел на нее и, с замиранием сердца, ожидал, что ответит Параня на доводы и вопрос Петра Архипыча; он чувствовал, что безмерно бы обрадовался, если б Параня изъявила согласие. Но Параня молчала.

— Что же молчишь?.. Говорю тебе: иные прочие за великое бы счастье почитали... Али не желаешь?— повторил свой вопрос Петр Архипыч.

— Да ведь не знаю, как сказать-то?— отвечала Параня.— Маленькой я в услужении-то жила у барыни; все позабыла уж... Пожалуй, не услужишь, не угодишь...

— Там тебе будет хорошо,— проговорил неровным голосом Александр Кузьмич.— Сестра у меня добрая... Там, правда, что тебе лучше будет и покойнее, нечем на фабрике...

Александр Кузьмич раскраснелся, обращаясь к Паране. Она взглянула на него мельком, исподлобья и едва заметно, лукаво улыбнулась, но тотчас же опустила глаза и приняла серьезный вид.

— Опять же я не сама по себе... С маменькой живу; не знаю, как скажет,— уклончиво отвечала Параня.

— Ну, уж в этом деле, как хочешь,— отозвалась Дарья Тихоновна,— сама не маленькая, сама про себя рассудить можешь... Известно, коли вон и сам господин хозяин обнадеживают, что хорошо тебе будет у них жить, значит всякую тебе милость окажут... А по тебе и нас, сирот, не оставят... Как сама знаешь. Мое дело наставленье всякое сделать, как жить по-хорошему, а в счастье твоем я мешать не намерена, коли господь тебе это местечко на счастье посылает... Как тебе лучше, так и делай, такой и ответ давай!.. Известно, что, может быть, одежки у нее нет такой, чтобы в горницах служить, потому в деревне мы живем, по-деревенски и одеваемся...

— Да это пустяки!— возразил Александр Кузьмич с увлечением.— Сестра ее оденет, надает платьев, у нее много...

— Ну, вот слышишь, Параня... что изволят говорить... Прямо сказать, что милостивцы: видно по всему,— говорила Дарья Тихоновна, в которой предложение Петра Архипыча возбудило разные приятные надежды.

Но Параня вдруг наклонилась к уху матери и, закрываясь рукою от окружающих, шепнула ей:

— Надо бы Феде перво сказать... Ровно как нехорошо, не переговоривши-то с ним...

Эти слова дочери не понравились Дарье Тихоновне, но, не обнаруживая своего неудовольствия, она сказала вслух, обращаясь преимущественно к Александру Кузьмичу:

— Робеет, сумневается, услужит ли... Просит времечко подумать, переговорить...

— Да не то подумать,— заметил Петр Архипыч,— а еще надо сначала узнать, возьмет ли Лизавета-то Кузьминишна... Ведь это я так только, к слову, а ведь еще бог знает: может им и не нужно, а может — и не понра-

вится... Али что... Ведь это как за них сказать можно!.. А вы-то промеж себя подумать да переговорить... Э-э!.. Еще как успеете... Вашей-то братии сколько угодно... Я говорю: за счастие почитают... да там-то берут с выбором... Вот что!..

— Так разве я, сударь, не понимаю?— оправдывалась Дарья Тихоновна.— Я все это довольно понимаю и чувствую, а она-то вот, по молодому своему рассудку, и робеет... ничего не знает ведь еще — не видала... А то как нам не желать? Я обеими руками благословлю, только бы услужить умела...

— Вы пока меня на фабрику-то примите,— бойко сказала с своей стороны Параня,— а там видно будет...

— Ну, нет, она у тебя не робкого десятка девка, я вижу,— заметил Петр Архипыч.— Так тебя и будет Лизавета-то Кузьминишна дожидаться! Теперь есть место, а завтра, может, и займут... Ну, да ладно. Ступайте в контору, дожидайтесь там меня... Запишу вас там, а с завтрева и на работу поставлю... Вон ступайте в ту сторону, спросите там, где, мол, контора... Покажут!..

Когда они отошли, Петр Архипыч с улыбкой обратился к Александру Кузьмичу, провожавшему глазами Параню.

— Где этакую разыскали?.. Девка на первый сорт!.. Вишь ты наш Александр Кузьмич, ловкач какой!.. Сколько жалованья-то положить прикажете?.. Больно-то много сразу нельзя; в глаза бросится...

— Да хоть шесть-то рублей... Я ведь сейчас только их увидел... Совсем и не знал прежде... Право, не знал... Ты не подумай чего...

В эту минуту Александр Кузьмич вспомнил, что Параня — невеста Феди, и ему стало вдруг почему-то совестно перед самим собой при намеках Петра Архипыча.

— Ты, пожалуйста, ничего не думай такого... Я их совсем не знаю!—повторил он.— Просто из жалости одной...

— Да слышу, слышу... Слушаю-с,— отвечал приказчик.— А все бы лучше,— так я сам про себя полагаю,— в дом ее как-нибудь пристроить, нечем на фабрику, для жалости-то собственно... Потому народ-то здесь обожженный, ребята-то фабричные, а она вон какая... Отбою ей не будет от них...

— Она при матери жить будет... Да и жених у нее здесь есть,— проговорил Александр Кузьмич.

— Жених!— протянул Петр Архипыч.— Жених есть... Ну, то дело десятое... Да и для жениха-то бы согласнее ее от фабрики-то подальше... Ну, да их дело — и то сказать... А коли что и вперед нужно будет, Александр Кузьмич, так только дохните, батюшка... С душевной радостью!.. Слуга ваш по гроб жизни!.. Пойду я теперь, Александр Кузьмич... Чай, штук нанесли... Не нужен я вам больше?..

— Нет, нет... Я сам иду сейчас,— рассеянно отвечал Александр Кузьмич, уходя.

Петр Архипыч улыбнулся за его спиною.

«Ах, ты молодо-зелено!..— подумал он.— Увидел девку-то и растаял... Тоже притвориться хочется, а не умеет... И захотел меня провести!.. А дал бы Кузьма Иваныч за этот предмет дорого!.. Любит, греховодник!..»

IV

В то время как Дарья Тихоновна с детьми стояла в конторе среди небольшой толпы рабочих, окружавшей Петра Архипыча, сообщавшего писарю, что нужно было записать, а тот вносил в книгу, в контору вошел Кузьма Иваныч. Кто-то в толпе вполголоса сказал: «сам!» Произошло общее движение, толпа зашевелилась и повернулась лицом к хозяину, писаря повскакали со своих мест, даже Петр Архипыч подобострастно вытянулся,— и все, кто тут ни был, низко поклонились. Увлекаясь общим примером, поклонилась и Дарья Тихоновна, и Параня. Кузьма Иваныч, проходя мимо и едва отвечая на поклоны, безучастно смотрел на толпу, но, заметив Параню, остановил на ней пристальный взгляд и как будто даже замедлил шаги. Усевшись за большой стол, стоявший поперек конторы, он мотнул головой стоявшим навытяжку, в ожидании его приказаний, писцам.

— Пиши, пиши,— проговорил он повелительно.

Писцы уселись. Толпа повернулась лицом к книге, в которую вписывалось что-то о ней, неведомое для нее. Дарья Тихоновна, показывая головою в сторону Кузьмы Иваныча, шепотом спросила своего соседа:

— Кто это будет?..

— Вот, не знает!.. Сам, Кузьма Иваныч...

У Дарьи Тихоновны замерло даже сердце при мысли, что она в двух шагах от такого могущества, и что она, по неведению своему, не поклонилась, кажется, ему так низко, как бы следовало. Робко, осторожно полуоборотила она голову, чтобы украдкою взглянуть на знаменитого миллионщика. То же самое сделала и Параня, слышавшая вопрос матери и полученный ею ответ; и обе они вместе заметили, что Кузьма Иваныч, сидя на своем месте, пристально смотрел именно на них. Обе они быстро отворотились, обе потупились.

В эту минуту Петр Архипыч вполголоса, из уважения к присутствию хозяина, подозвал их подойти поближе к конторке.

— Ну, сказывайтесь же: как зовут,— говорил он.

— Меня...— заговорила было Дарья Тихоновна.

— Не тебя, ты не поступаешь ведь, а дочку и сынишка... Запишут да книжки им выдадут. У нас книжки заведены...

— Дочку... Параней... Парасковьей, а сынишка — Николай...

— Как по отчеству, из какой деревни, какой волости, сказывай!— заметил писец.

— Архипыч!— вскрикнул хозяин.

Приказчик встрепенулся и подбежал к нему. Толпа повернула голову вслед за ним; оборотилась было и Дарья Тихоновна, но писец хотя тихо, но строго велел ей скорее отвечать на вопрос. Зато Параня могла свободно и вволю рассматривать своего будущего главного хозяина, родителя Александра Кузьмича. И она услышала такой разговор между Кузьмой Иванычем и его приказчиком.

— Что за бабы?— спросил хозяин.

— На фабрику просятся: вон та девка с братом мальчишкой... А та будет им мать... Мать так только пришла; она не поступает...

— Что же, берешь?..

— Думаю взять... Пускай их... Али не прикажете?...

— Откуда они, из какой деревни?..

— Да они дальние, не здешние... Мать-то вдова, совсем сюда переехала, здесь жить будут, коли возьмем... Просятся очень...

— Бывали на фабрике-то али нет?..

— Нет, внове... Я было не хотел брать, да Александр

Кузьмич очень просили...— Последние слова Петр Архипов проговорил шепотом, и Параня их не расслушала. С первых же слов хозяина, когда она поняла, что разговор касается ее, Параня потупилась, не поднимала глаз, но слушала очень внимательно.

— Кто?— переспросил Кузьма Иваныч.

— Александра Кузьмич,— повторил так же тихо Архипыч.

— А ему что?

— Значит, антиресуются... Очень просили. Сироты, говорят, бедность большая... Я было докладывал, что надобности в народе у нас не имеется,— с излишком даже... Опять же и внове, неопытны... Нет, говорят, пожалуйста, прими,— стараться будут!.. Слушаю, говорю, приму... А то как прикажете...

— Ишь ты, Сашка!.. Женить пора!— проговорил про себя Кузьма Иваныч.— А не знаешь, давно он с ними знается?— спросил он вполголоса, так что Параня опять не слыхала.

— Говорят, будто сегодня только встретили... Жених будто бы есть у нее.

— Последи...

— Слушаю... Так принять?..

— Ну, вот еще!.. Само собой!.. А красавица, волк ее зарежь!.. Ты последи...

— Слушаю-с...

Глаза Петра Архипыча впивались в лицо хозяина и, казалось, читали в его душе.

— Я было советовал лучше в горничные к Елизавете Кузьминишне... Слышно, нуждаются,— говорил он тихо.

— Не замай... После, может... Пускай теперь на фабрике побудет...

— Эй, тетка, подь-ка сюда,— вдруг вскрикнул Кузьма Иваныч Дарье Тихоновне и махнул ей к себе рукою.

— А ты, поди, пока отпускай других,— приказал он Петру Архипычу.— Тот тотчас же понял, отошел и сосредоточил на себе внимание всех остальных рабочих и писарей.

Дарья Тихоновна вздрогнула и робким шагом пошла к столу, где сидел хозяин.

— И с девкой, и с девкой подойди,— приказал Кузьма Иваныч.

Параня подошла вслед за матерью и стала сзади ее.

— Это дочка твоя, что ли? — спросил Дарью Тихоновну Кошатников.

— Точно так, батюшка Кузьма Иваныч, ваше... ваша милость, дочка-с,— отвечала она, кланяясь уже теперь по-настоящему, чуть не до земли.

— Ты на фабрику ее хочешь отдать?..

— Коли милость ваша будет, не оставьте... Будьте...

— Да что она прячется за тебя?.. На фабрику просится, а от хозяина хоронится...

— По глупости по деревенской, по робости!.. Не смеет она вашей милости... Никогда не видывала... Робко ей... Не смеет...— Дарья Тихоновна отодвинулась так, чтобы дочь была видна хозяину.

— Чего не сметь?.. Меня бояться нечего — не укушу!.. Меня люди не боятся, а любить — любят и благодарят!.. Красавица у тебя девка... красавица!.. Что же тебе за охота на фабрику-то ее отдавать?..

— Нужда, батюшка, Кузьма Иваныч, ваша милость,— сиротство, бедность, прокормиться нечем!.. Вот еще сынишка у меня, и о том прошу...

— А не боишься, что избалуется?.. Балуются ведь девки на фабрике-то!..

— Зачем баловаться!.. Я не велю!.. Завсегда около меня и сама я тут буду... Да и не такая она у меня... А и то сказать, батюшка,— захочет, так и без фабрики избалуется, а не захочет, так и на фабрике себя сохранит...

— Ничего ведь ты не умеешь? а? — спросил Кузьма Иваныч, пожирая глазами Параню и стараясь придать своему голосу ласковое выражение.

— Учиться буду,— отвечала Параня, не поднимая глаз.

— Учиться будешь да с меня же за ученье деньги брать?.. А?..

Кузьма Иваныч добродушно смеялся.

— Выучусь да пойму, так все и заработаю вам,— отвечала Параня, ободренная ласковым и шутливым тоном миллионщика.

— Э, да ты умная... А сколько тебе жалованья-то обещал Архипыч?

— Не знаю я, сколько положит...

— Архипыч! — позвал Кузьма Иваныч приказчика, который между тем успел отпустить остальных рабочих.— Сколько ты ей жалованья-то положил?

— Да еще не знаю; сколько прикажете... По мне бы, рубля три, много четыре; довольно бы на первое время...

— Уж больно мало... Батюшка,— заныла было Дарья Тихоновна.

— Мало!.. Нет, не мало, а больше четырех никак нельзя... Так, Архипыч, и книжку выдай... А вот увидишь,— будет стараться, не станет баловать, с ребятами фабричными играть... Ну, тогда сверх жалованья по шести рублей еще выдавай на месяц...

— Ах, ты, батюшка, благодетель, отец милостивый! — вскричала Дарья Тихоновна, низко кланяясь.— Не оставь ты нас, сирот, милостивец...

— Для сиротства вашего и делаю, да вижу,— девка умна, отвечать умеет... Ну, смотри же, девка! Не будешь с ребятами баловать?..

— Что мне за надобность!..

— Ну вот, так и делай... Я вот теперь отъезжаю на ту фабрику недели на три, а уж без меня Архипыч присмотрит за тобой, все мне скажет... Выдай ей, Архипыч, теперь вперед за месяц... А ворочусь да скажет, что слова не держишь, с ребятами играешь али что — и с фабрики долой сгоню... Распутных я насмерть не люблю и не держу... Слышишь?

— Слышу...

— Ну, то-то же, смотри... Ну, ступайте пока с богом...

— Батюшка, Кузьма Иваныч, велики ваши милости,— говорила Дарья Тихоновна.— Уж и мальчишку-то не оставьте, отец родной, прикажите принять...

— Да, и мальчишку взять, и мальчишку...

Дарья Тихоновна рассыпалась в благодарностях. Петр Архипыч отдал Паране шесть рублей. Параня взяла их с каким-то недоумением и не догадалась даже поблагодарить.

— Поклонись, дурочка, поклонись... Поблагодари его милость...— подсказывала Дарья Тихоновна, поталкивая дочь, и та поклонилась, но не промолвила ни слова.

Мать вышла из конторы в самом восторженном состоянии духа, дочь, напротив, была задумчива и молчалива. Она старалась объяснить себе причину такого неожиданного покровительства: смутное чувство подсказывало ей, что главную роль играла в этом случае ее красота, но старый купец, хоть и не сводил с нее глаз, и ласковое слово сказал, и пошутил, а кончил тем, что ве-

лел ей работать прилежнее, вести себя скромнее, надзирать за ней приказал и внушал ей об этом так строго и повелительно... А, может, просто оттого, что добрый человек, видит,— сироты, пожалел?.. Да и чего ему стоит, велики ли эти деньги для него?..

Для более опытной Дарьи Тихоновны вопрос этот разрешался гораздо короче и проще: она сразу объяснила в уме своем настоящее значение купеческой добродетели, но не сочла нужным говорить об этом дочери, а, напротив, распространялась пред нею в похвалах и благодарностях к неожиданному благодетелю.

— Вот ругают богатых, а они невпример лучше нашего брата,— внушала она дочери.— Богатый скорей тебя пожалеет и нужду твою к сердцу примет, и поможет тебе, нечем свой брат. Свой брат что?.. Только завиствуют да смотрят, как бы с тебя же сорвать али поживиться от тебя, а нечего взять, так норовят подвести подо что-нибудь, да как бы во вред человеку что сделать!.. Как можно... богатые невпример лучше: смотри-ка родитель ли, сынок ли, так и рвутся, как бы пособить человеку-то да добро тебе сделать!.. Да и что им?.. Им ничего от тебя не нужно, всего у них своего довольно, не в чем им тебе завидовать, а за добродетель, знают, их господь не оставит, вот и помогают во спасение своей душе!..

Но во время этих речей голова Дарьи Тихоновны работала над другим вопросом: кто же выгоднее и надежнее, кого надо больше и крепче держаться: старика ли, сына ли, или Федянки? Последний, впрочем, скоро ушел в ее думах на самый задний план: «Ссориться с ним не из-за чего, гнать от себя и подавно, почем знать: может и пригодится?.. А все же не надо, чтобы и мешал!.. Не надо из рук его выпускать, да не расчет очень обнадеживать... Видно по всему, парень он хоть умный и горячий, да простодушный: за нос его водить можно!.. А вот: сынок, или родитель?.. Старик-от всех их будет посерьезнее, и все у него в руках... только что они, старые черти, крепки: себе на уме!.. Небось, не сразу раскошелится: эко отвалил, подумаешь, шесть рублей, да еще дозор нарядил... Тот бы, известно, молодой, ничего не пожалел: возьми, что хочешь, да в руках-то нет ничего, воли-то своей-то нет... Ну, да уж, брат, старый черт, и я не таковская мать, а Параня моя не этого стоит!.. Не затем я ее

берегла, наблюдала!.. А либо замуж за богатого выдай, либо приданое дай настоящее, и меня, и ее на всю жизнь в спокое сделай!.. Ишь ты куда занеслась, ничего еще не видя! — остановила Дарья Тихоновна полет своей фантазии и улыбнулась.— Ну, да ведь и то сказать: недаром же я и на свете жила, недаром дурой не почитают. Мне немного нужно, я человека-то по глазам вижу, особливо в этом деле... Нет бы — он и близко-то к себе не подпустил бы, и не подумал бы о нашей нужде, кабы Параня не приглянулась... Нет ведь уж меня на кривой-то не объедешь: вижу, что у него в глазах-то, у дьявола, как на нее зенки-то таращил!.. А значит, уж тут на этой фабрике судьба Параськина, да и моя тоже, недаром не думано, не гадано попали сюда,— чего и не снилось, то наяву привиделось!..»

Они шли из конторы опять в мастерскую к Феде, чтобы сообщить ему о результатах своих похождений.

— Сказывать ли нам, Паранька, Федору о шести-то рублях? — спросила вдруг Дарья Тихоновна.

— А что?

— Да по мне, не говорить бы... Лучше!..

— А что же молчать-то? — допрашивала Параня.

— Кто его знает... Больно он никак... сумнителен, что ли!.. Как ему взглянется!.. Благороден больно, скажет пожалуй: выклянчивали да выпрашивали... Разве уж прямо сказать, что десять, мол, рублей на месяц положил приказчик этот?..

— Так ведь он в книжку посмотрит: тамой, чай, писано, что по четыре рубля...

— И то правда!.. Да и то думаю: сказать ему, пожалуй, обнадеется, что вот, дескать, сколь много получать будут, проживут-де и без меня,— думать не станет про нас... А велики ли эти деньги здесь на покупных-то харчах?.. Только-только разве прокормиться... Да ведь и кто его знает, Кузьму-то Иваныча: этот месяц дал, а на тот, может, и отменит,— ведь не ряда!.. а он, Федянка, будет думать, за что нехорошее отменил купец... Что его только в сумнение вводить?.. Право, по мне, лучше бы не сказывать... Я бы и Николке заказала, чтобы молчал про эти деньги... Ведь что эти деньги?.. Так, ровно бог послал, точно с неба на нашу бедность свалились: вот понравилось купцу, что ты потрафила ему, в ответ хорошо сказала, ну, и дал... А ведь, пожалуй, опять чем не по-

трафишь или этот старый, Архипыч-то, наплетет что на тебя, вот и отменит... и живи тогда на четыре рубля... Право, лучше будет не говорить... Уж ты слушай меня,— я тебе к худу к твоему не посоветую!..

— Да, пожалуй, не скажем... Мне все одно... Я правда что не знаю, как ему и растолковать-то, за что эти деньги нам положили...

— Ну, то-то и есть... Само собой!..

И Дарья Тихоновна настрого запретила Николке рассказывать кому-либо, а тем более Феде, о дополнительной месячной плате.

— Вот ты давеча тоже,— продолжала мать,— говоришь: надо посоветовать с ним, насчет в горничные тебя звали... На что бы, по мне, очень-то его баловать,— все спрашиваться да докладываться ему?.. Этак избалуешь его, пожалуй, захочет: во всем по его дудке пляши... Пока он парень пословный, а избалуешь его, ему и командровать тобой захочется...

— То дело другое, матушка. Поехали мы на фабрику с его зову, думали жить вместе, работу он мне одну показывал, а я бы вдруг не посоветовалась да в чужой дом ушла и совсем не на то дело... Обидно бы ему показалось, осердился бы пожалуй и... А я ведь ему обещала ждать... И женихом он себя моим почитает... Ровно как не хорошо бы не сказаться-то: так мне подумалось...

— Да вот ты обещалась, да и слова своего держишься, а, смотри, он-то свое обещание исполнил ли: разбогатеть-то хотел... Жди-пожди его, да долго ли?.. А, может, тебе тут такая судьба выйдет, что и много лучше его...

— Ну, да пока что будет... А что же он... он парень добрый, хороший, по мысли мне!.. Что мне его обижать!..

— Да так-то так, только и не поддавайся уж ему очень-то... Пускай же он за тобой ходит, а тебе за ним ходить не из чего... Особливо же после того, как его родные над нами надругалися... Что мы, так последние, что ли, на белом свете, хуже нас нет? Хвастает, что отца не послушает, сам богат сделается, а ведь еще бог знает как... Не на срам, на смех да на побои тебе идти к нему в дом и сам-деле... Они об себе много полагают, а мы об себе: ты, вот, куда ни покажешься, кто тебя ни увидит, все в один голос кричат: красавица писаная!.. Да и разумом-то нас, славу богу, господь не обидел... Что бедны-

то?.. Ну так ведь — у бога всего много, неизвестно еще, что вперед будет.

Параня слушала мать молча. Многое в ее словах задевало ее за живое, льстило ее самолюбию, возбуждало уверенность в себе и самонадеянность; многое, хотя смутно и неясно, но отвечало ее собственным тайным мечтам и неопределенным ожиданиям. Она не могла и не умела проверять и анализировать свои чувства и душевные движения, но сознавала, что Федя не до такой степени дорог ей, чтобы она не могла с ним расстаться, чтобы все мечты, думы и желания ее сосредоточивались на нем одном. Восторженная любовь Феди, его честная, прямая натура влияли на Параню, и, ей казалось, она любила его, но она знала и себе цену, гордилась своей красотой, как купец гордится большим капиталом, а постоянные практические соображения и внушения матери вместе со всем тем, что она вокруг себя видела, успели уже достаточно очерствить и развратить ее. Мать никогда не имела, по-видимому, на нее непосредственного и прямого влияния, не насиловала ее воли, давала ей во всем полную свободу, часто во многом они расходились и даже ссорились, но как-то так выходило, что в важных случаях жизни действовали заодно. Федя пытливо и тревожно всматривался в лицо своей невесты, когда она вместе с матерью вошла к нему в мастерскую, но он ничего не мог прочесть на нем: Параня была совершенно спокойна; зато Дарья Тихоновна сияла от удовольствия.

— Ну, что, приняли? — спрашивал Федя, переводя глаза на мать.

— Слава богу, слава богу, благодарить дружку твоему Александру Кузьмичу: приняли! — отвечала Дарья Тихоновна.— Уж этакой ангел... истинный ангел!.. Кабы не он, и разговаривать бы с нами не стали. Пришлось бы людей смешить, назад домой ехать... Как уж просил он за нас, как хлопотал!..

— А много ли же жалованья-то положили?..

— Да Параньке четыре рубля, а Николке два сорок...

— Только?

— Только... Вот ты думал десять-то дадут обоим. Всего шесть сорок... Да и то благодарить Александру Кузьмичу, без него бы и вовсе не взяли...

— Мало это очень... Я знаю, у них новеньким давали по шести рублей, а мальчишкам по четыре...

— Знамо — мало!.. Чем тут жить? Уж и не знаю как... За квартиру заплати, харчи, одежа, обувь... Трудненько будет!.. Пообнадеялись мы на тебя, Федор Герасимыч. Надо бы перво так побывать, все разузнать, а уж тут бы и перебираться вовсе...

— Ну, что делать-то... Как-нибудь побьемся сначала, после, может, прибавят, как попривыкнете к работе... По крайности хоть на месте. Дома-то и этого бы не промыслили... Только как же это Александр Кузьмич не мог побольше-то схлопотать. Платят же ведь другим?.. Экой ведь какой!..

Но в душе Федя был доволен, что для Парани не сделали исключения: значит, он напрасно приревновал молодого хозяина...

— Да ничего, проживем, бог милостив! — успокаивал он,— первый месяц только побиться... Паранюшка постарается, живо все поймет, привыкнет. Переведут к широкому миткалю — и жалованья прибавят, Николаша тоже...

— Меня и теперь получше делом-то потчуют,— сказала Параня,— и покойней, и выгодней много... Хотя сейчас иди... Очень зовут... Я вот только отложила посоветовать с тобой...

— Что такое?

— В горницы зовут, в услужение, к хозяевам?.. И жалованье сулят хорошее и подарки, и работа легче...

— Кто это тебя зовет? — спросил Федя, меняясь в лице.

— Да и этот приказчик старый; и твой-от... молодой хозяин, Александра Кузьмич... Обещают, что много будет лучше, чем на фабрике...

— Ну, уж нет, Параня, это тебе не место! — вскричал Федя, бледнея и чувствуя вновь приступ ревности.

— Отчего не место, коли спокойно и выгодно?.. Сиди в тепле, по стуже ночью не бегай за версту, ночи не работай... не как на фабрике твоей...

— Нет, Параня, и не думай, и не говори этого... Коли с моего совета хочешь делать, так я не посоветую и не пущу тебя туда... Первое, что нам с тобой видаться там нельзя будет, а другое: не хочу я, чтобы ты холопкой была... Тут ты хоть маленькое жалованье берешь, да сама себе хозяйка: отбыла свои часы, да и знать ничего не знаешь... А там целый день на посылушках, да на послу-

ге чужим людям, надругаются, наломаются там над тобой... Да ты и сама не ужилась бы...

— Отчего не ужиться? Хозяйка, говорят, добрая...

— Да хоть бы какая ни была... нет, нет, не пущу!.. И не говори!.. Коли любишь меня, коли считаешь женихом, и не думай об этом... И с чего это Александр Кузьмич выдумал?.. Что он полагает?..

Параня вспыхнула.

— Вот ты какой!.. Ничего не видя, уж командуешь надо мной: не ходи, не думай, не смей!.. А, может, мне на фабрике-то не покажется, работа не по силе будет... Может, мне там много прибыльней будет: и покойнее, и подарки... и маменьку не оставят?.. Буду сама хороша, так за что надо мной ломаться да ругаться будут?.. Ты же сам говорил, что хозяева добрые, любят тебя... По тебе и мне будет хорошо... А повидаться... Не за десять верст жить будем, всегда повидаться можно!.. Ты с чего же ломаешься-то: не пущу, да не думай!?.. Коли советовать, так ты советуй с резона, а не то, что так смаху! Не ходи да не пущу — и шабаш!..

— Не командую я, Параня, и не наобум говорю, а прошу тебя, коли любишь,— и резон у меня есть... Ты посмотри-ка: пойдет ли из деревни, от отца-матери, хоть какая путная девушка в услужение к господам али к купцам?.. Ни одна не пойдет!.. А какие идут? Либо уж сироты круглые, бездомные, которым деться некуда, промыслить не на чем, либо которые дворянскими холопками родились и к другому делу непривычны, или... просто сказать тебе: балованные, беспутные... Вот такие только и вертятся, треплются, бегают из места в место: там пожила, не понравилось, в другое место перебежала... Так они по деревням у нас и слывут шлюхами да дворянками... Ни один парень в деревне этакую дворянку замуж не возьмет... потому слава уж про них очень хороша идет... Вот спроси Дарью Тихоновну, и она тебе скажет, что я правду говорю... Так на что же тебе на этакую славу идти?.. Мне ты дорога. Я не хочу, чтобы про тебя не то что кто нехорошее сказал, а и подумать не смел!.. Вот скажите, Дарья Тихоновна, по совести: правду я говорю, или нет?..

— Да ведь как сказать, Федор Герасимыч?.. Коли на людские сказки смотреть, так — правда, да ведь люди часто зря обижают... Все по человеку глядя: как сам себя

человек соблюдает... А чаще того бывает и так, что ни в чем человек не причинен, а недобрые люди про него худую славу несут... По мне, на чужие наговорки смотреть нечего, а где бы человек ни жил, на какое бы дело ни попал, нужно самому о себе...

— Да ведь сами же вы мне рассказывали,— перебил разгорячившийся Федя,— отчего взяли Параню из услужения, когда она подрастать стала,— что боялись, как бы ее дворня с пути не сбила, не испортила... Пускай теперь Параня и возрастней, и умней стала, не даст себя с пути сбить. И себя, и меня пожалеет... А от обиды-то не уйдет... Уж тем ее обидят, что всякий приказчик, всякий лакей... а, пожалуй, и другой кто... смотреть будут как на такую, что... Да, кроме этого... зазорно, ну, просто зазорно, а особливо без нужды, по доброй воле, в холопки идти!.. Уж как ни верти, а все служанка в дому, холопка, последний человек: ни своего угла, ни своего куска, ни своей воли нет... Во всем человек подневольный. Делай, что велят, иди, куда посылают, всякую самую грязную работу справляй, нет у тебя ни часу, ни минутки своей; сам о себе не думай, а смотри хозяевам в глаза, да отгадывай, что им от тебя требуется, ровно собака ученая, а то и послуга твоя ни во что... Да нет, нет, Дарья Тихоновна, не советуйте вы, не пускайте, отговаривайте Параню!.. Нейдет ей, нейдет туда идти!.. А коли не послушаешь, Параня, пойдешь,— так и буду знать, что не любишь ты меня, отказаться от меня хочешь...

— Да ведь я не принуждаю ее, Федор Герасимыч,— говорила «барыня»,— и не советую так, чтобы уж непременно шла... А только что чем же мы жить-то будем... Хорошо, прибавят... ну, месяц как-нибудь пробьемся,— а не прибавят?.. Чем же тут жить?.. Двадцать копеек в сутки на троих... Подумай-ка сам... много ли?.. Да тут и не прокормишься!.. На тебя тоже надеяться нечего: не велико и твое жалованье, да и то, пожалуй, родитель твой все забирать будет... Вот ведь о чем думаем, сердечный друг...

— Об этом не думайте, Дарья Тихоновна. За первый месяц я все свое жалованье вам отдам и после буду половину отдавать. Мне самому ничего не надо, только меня прокормите, а батюшке нужда в деньгах разве к весне будет, до тех пор он не потребует...

— А ну, потребует?

— Ну, как он хочет, а коли вам нужда будет, откажу ему...

— Так он тебя домой возьмет...

— До году не возьмет, а год много времени. Ни я, ни Параня на этом жалованье не останемся... Да все равно, вот вам обеим мое последнее слово: коли любит меня Параня, всю жизнь свою за вас положу и бедствовать вам не дам, а не послушает меня Параня, уйдет к купцам в дом, значит, не любит меня, не надеется, на купеческие подачки идет... Тогда я все равно вам не слуга, и делать мне здесь нечего. Я, кажется, и с фабрики-то убегу!.. Вот знайте!..

Мать с дочерью переглянулись и не возражали.

— Так пойдешь, Параня, али нет в дом, в услужение? — спросил Федя.

— Ай, парень, какой ты! — сказала Параня.— Я думала, ты пословный, а в тебе вон какой дух-то: дай хоть пооглядеться да одуматься...

— Не о чем тут думать, Параня... Во всем я пословен тебе, что велишь,— все сделаю!.. А тут тебе сказать нужно мне: коли любишь да жалеешь меня, так не пойдешь... Говори теперь...

— Да ну, отступись... Известно, не пойду, коли тебе уж так...

— Ну, вот, Паранюшка, спасибо!.. Вот теперь ты меня успокоила: точно камень от груди отвалился... И не думай ты, и не говори никогда об этом... Не мучь и меня... Может, и блажь мне в голову пришла, а верней, что дело. Знаю я, с чего тебя в горницы звали... Не ждал я этого от... Ну, да будет!.. Не говори, и не напоминай мне об этом больше никогда!..

Чтобы устранить от себя даже мысль об этой новой туче, которая набежала было на душу Феди, он начал расспрашивать о всех подробностях найма на фабрику. Вскоре затем послышался обеденный свисток, и Федя, успокоенный и веселый, пошел обедать на новую квартиру Дарьи Тихоновны.

V

К вечеру того же дня в мастерскую к Феде вошел Александр Кузьмич. В первый раз еще при виде его у Феди явилось какое-то неприязненное чувство: он взгля-

нул на него холодно и, ни слова не говоря, продолжал работу. Александр Кузьмич тоже вдруг почувствовал себя как-то неловко, и хотя пришел возбужденный и торопился рассказать Феде новость, но, встретя его холодный взгляд, смутился, нерешительно подошел к верстаку, за которым работал Федя, и некоторое время молча и рассеянно смотрел на его работу.

— А я было пришел к тебе сказать,— заговорил он наконец, когда молчание стало тяготить обоих,— сказать, что тятенька уехал на старую фабрику... Ты знаешь ли?..

— Нет, не слыхал,— отвечал Федя.— Что же так?..

— Получил письмо: вызывают... Дела, пишут, хорошие... А оттуда в Москву поедет...

— Надолго, значит?..

— Да недели три проездит, что больше... Это для нас хорошо: без него все ловчее... свободнее... Я насчет школы-то говорю...

Федя ничего не сказал.

— Теперь бы вот только твой учитель приехал: сейчас и откроем,— продолжал Александр Кузьмич, исподлобья, нерешительно взглядывая на Федю. Молчание последнего очень его смущало.

— А мне сегодня досталось от тятеньки... из-за тебя,— проговорил он после некоторой паузы.

— Из-за меня? — переспросил Федя, вскидывая удивленные глаза.— За что же?..

— Да не то, что из-за тебя... А вот этот подлец Архипыч насплетничал... Уж я вперед знал, что насплетничает: вот что я за невесту-то твою хлопотал, просил, чтобы принял да побольше жалованья положил ей... Он все, подлец, тятеньке перевел... Тот на меня и накинулся... да за обедом, при всех и при Алене Николаевне... Да ведь что говорит?.. У тебя, говорит, только и заботы, что за девчонками бегать, а об деле не думаешь... И с чего ты взял, говорит, из-за твоих... ей-богу, при всех так и брякнул!.. С чего ты взял, что я тебе позволю, говорит, цену у меня на рабочих портить?.. Ничего не стоющей девчонке велит давать такую цену, что впору хорошему рабочему дать!.. И пошел, и пошел!.. Точал, точал... Да нет, говорит, пора тебя женить. Вот в Москву поеду, об невесте тебе полажусь... Будет тебе баклуши бить! Вот, я

говорил, Чернушкин, что женит он меня,— вот так и выходит!.. Теперь того и жди, что вдруг в Москву выпишет...

— А вы еще, Александр Кузьмич, звали Параню в дом, в горничные,— с упреком заметил Федя.

Кошатников вспыхнул.

— Да это не я... Это Архипыч... Я полагал только, что ей бы там покойнее и выгоднее было...

— Покойнее и выгоднее с женихом развести... холопкой своей сделать... А, может, и еще что думали?..

Федя оставил работу и горящими глазами в упор смотрел на Александра Кузьмича. Тот сконфузился.

— Да, право же, это Архипыч,— не я...

— С чего Архипычу хлопотать о ней?.. Разве ему не все равно?.. Он для вас же, значит: увидел, что она вам... А вы думали, что она — деревенская девка, бедная, а вы богаты... что ее деньгами сманить можно!.. Неужто вы это думали и забыли, наплевали на то, что она моя невеста, что она мне дороже всего?.. Ведь я же вам признавался, как люблю ее... Я на вас как на брата родного надеялся...

— Да, право же, Федор... что ты?.. Я ничего не думал, а хотел только... как бы ей лучше сделать... Разве же на фабрике-то, ты думаешь, ей будет хорошо, что ли?..

— Да хошь бы как плохо ни было, а все-таки она — вольный человек... не холопка, не служанка горничная... и всегда на глазах и у меня, и у матери,— каждый день я ее вижу... Нет, Александр Кузьмич, коли у вас ничего не было на уме, так прости меня, что погорячился и о вас нехорошо подумал,— да ведь вы богаты, балованы: поневоле это подумаешь!.. А отчего вам того не вздумалось, что зазорно честной девушке от матери, от жениха по чужим домам жить, да еще холопкой служить?.. Разве служанка — вольный человек? Разве не помыкают ими у вас, не срамят, не ругают, не ломаются над ними, а они не смотрят вам в глаза, не угождают, словно крепостные?.. Да и она же — ничего не знает, не умеет и служить-то. Зачем же она вам понадобилась?.. Стало-быть, у вас было что и на уме нехорошее насчет ее?.. Вот вы, говорите, бедняков рабочих жалеете, добро им хотите делать,— учить их, а того не подумали, что у меня Пара-

ню отнять хуже, чем с нищего суму снять... Лучше голову снесите, нечем...

— Да полно же ты, Чернушкин, что и в самом деле?.. Говорят тебе: ничего у меня такого в голове не было... А так я только... Кто тебя знал, что ты этакой?.. Известно, красавица она у тебя... да я больше и смотреть-то на нее не стану... и слова никогда с ней не скажу...

— Да, да, голубчик Александр Кузьмич, и не глядите, и не говорите с ней, точно и знать ее не знаете: всего мне это лучше, всего дороже!.. Не за нее я боюсь, а у нее мать такая... балованная, деньги любит... Она не сбила бы ее, боюсь... Я привез их сюда, на вас надеялся... и в голову мне не пришло, что вы на нее засмотритесь... А как теперь только показалось мне это, да раздумался... все сердце у меня переболело... Вы богаты... мать, пожалуй, польстится... Неужто же меня смертно обидит тот, на кого я больше всех надеялся?..

— Нет, брат, напрасно... Не беспокойся: я не такой... Не то, что тебя,— я никого обидеть не желаю... Брось это, не думай: не надо мне... Любитесь вы с нею... Бог с вами!.. Что ты!.. Честью тебе говорю: ни смотреть, ни говорить не стану, пока не женишься на ней!.. Довольно тебе этого?.. Правда, брат, точно... Вот покаюсь я тебе... засмотрелся я давеча на нее. Уж очень она красива!.. А только вот тебе рука моя: ничего больше такого не будет... Да что же ты не женишься на ней?.. Женился бы, что ли, скорее...

— Нельзя... Оба мы чуть не нищие... Пока жалованья хорошего не буду получать, не женюсь...

— Коли только в деньгах дело, так возьми у меня сколько тебе нужно... Сколько есть у меня — дам с удовольствием...

— Нет, покорнейше благодарю... Не надо!.. Не возьму я!..

— Отчего, отчего?.. Я ведь от души... Ты не подумай что-нибудь... С полным моим удовольствием!.. Возьми, пожалуйста, не сомневайся... Не обижай меня!.. Сколько у меня есть — все возьми, а мало... после получу, опять дам... Чернушкин, я тебя прощу: ты не думай обо мне этак... Я не такой!..

— Да спасибо вам, Александр Кузьмич... Я очень понимаю и чувствую, и благодарен вам... Теперь и не сум-

неваюсь... вижу: добрый вы, хороший человек... Всегда я о вас так и думал, и понимал, а только что так деньги брать, без работы, мне не след... не приходится...

— Да почему, коли я с удовольствием?..

— Да, первое, вам теперь деньги на другое нужны, на хорошее дело, а второе — как я скажу, откуда эти деньги у меня? Подачку получил, христа ради дали?.. Да мне и не то нужно, чтобы деньги показать, что ли, что они есть у меня, али нарядов невесте накупить и свадьбу сыграть... Нет, мне нужно, чтобы видели, что я и вперед заработать могу, что у меня дело в руках хорошее, что за мной жена нуждаться да бедствовать не будет... Вот я ошибку большую сделал, что в столяры помесячно поступил к вам,— поштучно бы я вдвое денег заработал... Вот нельзя ли бы как с того месяца на штучную работу мне перейти, или коли уж нельзя к Дмитрию Тимофеичу с этим подойти, так хошь бы он позволил после шабаша по ночам работать поштучно?.. Он видит теперь, что я в рабочий день сработать могу, я столько бы справлял, а по вечерам... ну, и ночи бы прихватил когда... сверх того заработал бы себе что-нибудь...

— Так что же, это можно!.. Я сегодня же ему об этом скажу... Я думаю, он даже с удовольствием согласится на это, потому — для него же лучше: работа скорей пойдет... Непременно сегодня же, вот сейчас за чаем, и переговорю с ним...

— Переговорите, Александр Кузьмич, попытайте... Я торговаться не стану.. Сколько сам положит с рамы, тем и доволен буду: ведь уж очень-то, чай, не обидит же...

— Ну, само-собой... Известно, уж настоящей цены не даст: ему нельзя не нажать человека... ну, а все-таки хошь подходяще... Непременно, непременно!..

После этого разговора молодые люди расстались снова друзьями. Федя вполне успокоился, а Александр Кузьмич ушел с чувством очищенной совести и самых честных добрых намерений... Он торопился к вечернему семейному чаю, в котором всегда участвовал Дмитрий Тимофеич. Он хотел говорить с ним о Феде. Увлекаясь доброжелательством к Феде и пользуясь отсутствием родителя, он надеялся устроить что-нибудь для своего друга повыгоднее разрешения на ночную штучную работу. Он сознавал

себя виноватым перед Федей в нечистых помыслах и намерениях относительно его невесты, на которую при первой встрече смотрел как на одну из фабричных работниц, и о которой он ходил хлопотать вовсе не ради того только, что она — невеста его приятеля. Теперь, давши слово Феде выкинуть из души все эти помыслы, под влиянием его слов признавая себя даже более виновным, чем был в действительности, он чувствовал потребность услужить обиженному другу и единомышленнику, сделать для него что-нибудь такое, что бы доказало ему его приязнь и готовность содействовать его счастью.

Александр Кузьмич вошел в большую, хорошо освещенную комнату, где около круглого стола собралась уже вся семья. Сестра его Лизавета Кузьминишна — высокая, тучная, с добрым, но ленивым оплывшим лицом, с маленькими бесцветными глазами, сидела в мягком кресле и разливала чай. Около нее с одной стороны, на низеньком столике, помещался огромный томпаковый самовар, с другой — на стуле сахарница, перед нею, на круглом столе,— поднос с чашками. Очевидно, все было приспособлено, чтобы труд наливания чая, который Лизавета Кузьминишна оставила за собою, не особенно обременял ее, но и он утомлял разжиревшую хозяйку: она никогда не кончала этой операции и, наливши несколько чашек, подконец всегда сдавала ее кому-нибудь другому. Рядом с хозяйкой с одной стороны помещался Дмитрий Тимофеич, а с другой — Алена Николавна, которая должна была принимать и передавать налитые чашки сидящим с нею рядом детям, наблюдать за ними и вообще помогать хозяйке. Ею обыкновенно заменяла себя Лизавета Кузьминишна у самовара, когда чувствовала усталость. При этом, когда хозяйка была в хорошем расположении духа и в миру с гувернанткой, то она обыкновенно говорила: «Поди-ка сядь за меня, Алена Николавна: смерть моя — устала... Похозяйствуй-ка, мать моя, привыкай,— тебе это в пользу: молода, неравно замуж выйдешь,— пригодится!..» А когда отношения бывали неприязненные или Лизавета Кузьминишна была за что-нибудь ею недовольна, то после нескольких вздохов, оханий и внушительных на нее взглядов она вела такую речь: «Гувернанточка, нечего сказать!.. Хошь бы уж не то, что... а хошь бы совести-то немножко взяли, подумали бы: не устала ли хозяйка-то день-то деньской... Я думаю,

можно бы спросить: не прикажете ли, мол, за ваше место сесть... подсобить?.. Кажется, не велико дело, не много с вас спрашивают, не замучили на работе... не как в других домах!..»

Остальные стулья около чайного стола занимали обыкновенно Александр Кузьмич, кто-нибудь из начальствующих на фабрике лиц, которых Дмитрий Тимофеич считал нужным поощрить или приласкать приглашением к чайному столу.

Впрочем, когда в Старом селе находился Кузьма Иваныч и выходил из своих комнат к вечернему чаю зятя, тогда никто из посторонних лиц не приглашался без его желания и приказания, и Лизавета Кузьминишна не только не передавала гувернантке своего места, но находила силы вставать и подавать родителю каждую чашку чаю. И Кузьма Иваныч, очевидно, любил эту церемонию, потому что садился всегда подальше от дочери, несмотря на убедительную каждый раз просьбу зятя занять его обычное место, и никогда не просил дочь налить себе опорожненную чашку, но ждал, чтобы дочь сама подошла и взяла ее с вопросом: не прикажете ли, тятенька, еще?.. Лизавета Кузьминишна знала, что нарушение этого порядка могло бы поссорить ее с отцом, и потому напряженно следила за ним во время чаепития и забывала свою лень и усталость.

Когда Александр Кузьмич вошел в чайную, зять уже был там, на своем обычном месте, а в некотором расстоянии от него сидел с чашкою чая Петр Архипыч.

Молодого человека покоробило от присутствия этого гостя: он вспомнил, что из-за него получил сегодня неприятность от отца.

Петр Архипыч, как ни в чем не бывало, привстал с подобострастной заискивающей улыбкой, низко поклонился молодому хозяину и стоял, провожая его глазами и выжидая, когда тот займет место, чтобы не сесть прежде его. Александр Кузьмич едва ответил на поклон, сел около маленького племянника и отворотился от Архипыча.

— Садись, садись,— сказал ему между тем Дмитрий Тимофеич.

— Уж сейчас вижу, что гневаться изволите на меня, Александр Кузьмич,— заговорил Архипыч,— мне только что все рассказали Дмитрий Тимофеич... А я, ей-богу, ни

в чем не виноват!.. Вы не извольте на меня напрасно гневаться!..

— Знаю я, знаю тебя!.. Рассказывай! — отвечал Кошатников.— Тебе, как же, нельзя было не насплетничать тятеньке... И что ты там наговорил ему, черт тебя знает...

— А, ей-богу же, ничего!.. Вот вам, истинный бог, ничего!.. Ну, рассудите вы по-божески... Как мне было быть, что делать, что ответить?.. Пришли в контору тятенька как раз в этот самый секунд, что книжку девке выдавать...

— Да ну ладно, хорошо... будет уж!..

— Да нет, вы позвольте же мне перед вами оправиться... Как же я могу?.. Я вас тоже за хозяина почитаю... Известно, Кузьма Иваныч у нас самый главный, а как же я могу не почесть, коли мне приказывают: вы ли, али Лизавета Кузьминишна, али Дмитрий Тимофеич?.. Вы все наши хозяева!.. Все ваше добро!.. Вам служим!.. Вами живем!.. Ваш хлеб едим!.. Как я могу ослушаться?..

— Да совсем я тебе ничего не приказывал насчет жалованья... говорил только, нельзя ли взять...

— Так я-то что же, Александра Кузьмич, помилуйте... Будьте вы довольно великодушны: позвольте сказать... Как тятенька стали с меня взыскивать, зачем ничего незнающую беру да шесть рублей жалованья назначаю... Ну, я — человек подначальный... каюсь, сробел!.. Говорю,— по Александру Кузьмичу принимаю... Вот только и сказал!.. И истинно вам докладываю: не скажи я этого, пожалуй бы, и вовсе не приказали принять... Пришлось бы девке отказать вовсе... Ну, а как узнали они, что вам этого угодно, так хоть и погневались, и жалованья приказали убавить, а взять все-таки дозволили... Ну, как же мне было сказать?.. Извольте сами рассудить... Нет, вы не гневайтесь на меня... Окажите ваше великодушие... Дозвольте уж эту вину мою невольную заслужить перед вами... Тысячу разов заслужу!.. А что истинно сробел, не знал, что доложить тятеньке... ну, и обмолвился на вас... В этом уж простите!.. А не из-за чего другого ведь и жалованье хотелось положить ей побольше, чтобы вам угодить... Да вот раз какой вышел... Простите великодушно... Александра Кузьмич!.. Уж мне это очень даже обидно и прискорбно, что гневаетесь вы

на меня... Испытайте другой раз мою службу... А я тысячу разов, до конца гроба, готов служить вам...

— Да что тебе в этой девке? — спросила Лизавета Кузьминишна, успевшая уже сдать бразды правления за чайным столом Алене Николавне.— Давеча, проводивши тятеньку, убежал и не рассказал ничего... Какая эта?.. Что за девка такая?.. Из-за чего ты-то хлопотал?..

— Да ни из-за чего больше,— отвечал Кошатников, конфузясь,— что невеста она одного тут парня..., люблю я его... Вот и все!

— Какого эта парня?..

— Да тут столяром у нас, на фабрике живет...

— Это Федора Чернушкина? — спросил Дмитрий Тимофеич.

Архипыч насторожил уши.

— Да, его... Она, бедная, сирота... хочется с женихом вместе жить, мне жалко стало их... Вот и все!..

— Очень уж вы, братец, чувствительны,— с едва заметной насмешливостью проговорил Дмитрий Тимофеич.

— Истинно уж ангельское сердце у Александра Кузьмича,— подтвердил Архипыч.— Самый добродетельный хозяин будут... Бог приведет!.. Только народ-то они, рабочие, не совестный, не чувствительный... Не понимают этого!..

— Есть всякие!.. Иные понимают! — раздражительно заметил Кошатников.— А по-моему, братец, наша обязанность хозяйская помогать рабочим, особенно тем, которые стараются, работают честно и верно...

— Им и помогают, братец, не оставляют!.. Чуть кто себя покажет, вперед в нужде даем, жалованья прибавляем... и другие прочие милости делаем... Ведь кабы притесняли да обижали, жить бы не стали: никто не привязан, живут по доброй своей воле...

— Да уж это надо по-божески сказать: если у наших хозяев не житье, так пускай поищут другого, где лучше! — умиленно произнес Архипыч.

— А вот я вас попрошу за Чернушкина: уж, кажется, совестливо работает... Вы либо жалованье ему прибавьте, либо на штучную работу его переведите...

— Ничего я в нем особенного такого старания не вижу.. Работает так себе... с прохладкой,— возразил Дмитрий Тимофеич.

— Ну, уж, братец, это даже неблагородно,— загорячился Александр Кузьмич.— Как же вы говорите... с прохладкой... когда он в две недели за шесть-то рублей наработал вам столько, что вы поштучно втрое бы заплатили!..

— Не знаю, как это вы так считаете... уж очень много!.. Еще бы он на первых порах лениться стал... А что с первого месяца да ему жалованья прибавлять... это уж нигде не водится!..

— Ну, так переведите его на штучную работу...

— Это для чего же?..

— Для нас все равно, а он может заработать больше...

— Нет, братец Александра, это для нас не все равно: работает он помесячно, ему торопиться нет надобности, он и делает аккуратно, пригоняет как следует, а плати ему от штуки, он будет делать кое-как, лишь бы счетом вышло больше,— чтобы денег больше заработать... Какой же тут расчет для хозяина?.. А коли вы говорите, что он старается, так он и поштучно больше не заработает, если совестливый человек, значит и для него нет никакого расчета...

— Да уж это его дело, его личный расчет,— вмешалась вдруг Алена Николавна.— Вы принимаете работу, можете требовать, чтобы она была сделана чисто, аккуратно.... Это ваше право... Но он по своей воле, для личного интереса, может увеличить количество рабочих часов.. Тут, мне кажется, взаимная выгода, самое правильное отношение труда и рабочей силы к капиталу... Рабочий затрачивает на труд столько своих сил, сколько хочет и сколько может, но зато и капитал...

— Да что вы, мать моя,— вдруг остановила ее Лизавета Кузьминишна,— в уме ли? Никто ее не спрашивает, а она в мужской разговор врезалась!.. И я — так молчу, да слушаю только, а она... нате-тка... Право, не в разуме!..

— Да что же такое, Лизавета Кузьминишна?..

— Как что, сударыня?.. Непристойно: вот что!.. Тебя никто не спрашивает, а ты в хозяйский разговор мешаешься, да еще промеж мужчин... Пущай бы по науке что... ну, уж так бы и быть, что ученостью вы забрались, да и то надо полагать: губерналочке-то не больно пристойно приставать, коли никто не спрашивает... А то,—

говорят хозяева промеж собой, насчет фабричного рабочего,— ну, какой след тебе мешаться?..

— Да я совсем не насчет рабочего... Я думала общий вопрос... Это тоже наука: политическая экономия... Я хотела убедить Дмитрия Тимофеича...

— Убедить!.. Ну, где уж вам его убеждать... Ах, мать моя!.. Ах, Алена Николавна!.. Неужто уж все вы такие, ученые-то?.. Ведь что скажет!.. Хозяина научить хотела!.. Добрый вы человек и к детскому ученью старательна... а уже за это не похвалю... Нет, не хорошо!..

— Уж нельзя и слова сказать-с,— пробормотала Алена Николавна, надувшись.

— Отчего не сказать-с? Очень можно! — заметил Дмитрий Тимофеич.— Только всякое слово нужно говорить с опаской... которое следующее нужно говорить, а неследующее лучше про себя оставить, я так полагаю-с!.. По вашей части, в науках ваших, мы, кажется, вам ни в чем не препятствуем и не мешаемся... и насчет вашего продовольствия и обращения, кажется, довольно деликатны, не можете ни на что пожаловаться... А уж по нашей-то части, насчет фабричного дела, ровно как и вправду нам ближе вашего все известно... Для чего же нам эти ваши убеждения?.. Совершенно напрасно-с!..

— Извините, пожалуйста... Я больше никогда не буду высказывать своего мнения,— проговорила Алена Николавна.

— Потому и не стоит-с... люди мы необразованные, неученые, даже мнениев этих понять не можем...

— Нет, Дмитрий Тимофеич,— сказал Кошатников раздражительно,— вы даже очень хорошо все это понимаете, потому, мало ли у нас рабочих на поштучной плате... И прежний столяр тоже от штуки получал... А вы вот только за что-то Чернушкина невзлюбили и притесняете его...

— Что же мне, братец, его любить али не любить?.. Это для меня даже обидно слышать, что стану я рабочего притеснять: довольно низко для меня... Коли мне всех рабочих любить, так это и сердца не станет... Для меня все одно, что Чернушкин, что Белянкин какой-нибудь... что один рабочий, что другой... Удивительно даже, как вы это, братец, говорите...

— Так отчего же вы для него ничего не хотите сделать?..

— Да что же мне за обязанность для него делать?.. Тятеньке угодно было его в столяры взять,— я и взял, приказали двенадцать рублей жалованья положить,— он и получает... Какое же ему притеснение?.. Право, даже разговаривать об этом сужете неприятно... Живет человек третью неделю, а уж об нем разговоры какие...

— Дмитрий Тимофеич, да вы не сердитесь... Послушайте меня, вот ведь я почему прошу: и он, и невеста у него, оба они бедные, и положили они между собой тогда обвенчаться, когда он будет денег побольше зарабатывать или место получит хорошее... Так вот он и просит: позвольте ему хоть по ночам поштучно работать... Уж теперь видно, сколько он может в сутки сработать, так — что сверх этого будет сделано, за то поштучно ему платите по уговору... или еще лучше: уж это я вас прошу, для меня сделайте: переведите вы его в машинисты... Там, по крайней мере, жалованье двадцать и двадцать пять рублей... Да это бы и для нас полезно было: он вон говорил мне, что если бы ему дали хорошенько к машине и к фабрике присмотреться, он, может быть, такую бы штуку придумал и устроил, что у нас половину работы не паром, а водой из реки можно бы справлять... Это, братец, расчет!.. А у нас река-то так даром течет, только и есть, что воду в ней фабрика портит...

— Уж очень вы ему верите: нахвастает он вам, наврет, а вы так принимаете, что уж точно он и невесть какой механик... А он просто мальчишка-бахвал!.. Больше ничего!..

Петр Архипыч, очень внимательно прислушивавшийся к разговору и делавший в голове свои соображения, на последние слова директора одобрительно улыбнулся и, отворотясь от Александра Кузьмича, старался показать Дмитрию Тимофеичу своим лицом и взглядом полное свое согласие.

— Ну, да, положим вы так о нем думаете, а я по-другому,— настаивал молодой человек,— ну, сделайте же хоть для меня... Попробуйте: переведите его к машине... Ведь, вон, Зайцев пьет, сами им недовольны, и механик жалуется: штрафуете его... Переведите вот на его место...

— Не смею я, братец, без тятеньки... Как я могу?.. Кабы еще тятенька не сами его принимали... ну, то дру-

гое дело, а то почем я знаю ихные мысли насчет его?.. Вот коли вам угодно: когда тятенька возвратятся, попросите их сами, прикажут, ну, тогда и разговора никакого не будет: сейчас сделаем...

— Само собой! — подтвердил вполголоса Петр Архипыч.

— Тогда он и прожект свой пускай тятеньке представит... Может быть, они и механиком его прямо сделают... А без него я, братец, никак не могу!.. Как вам угодно!..

— Дмитрий Тимофеич кончил чай и встал, чтобы опять идти на фабрику. Петр Архипыч вскочил вслед за ним и, низко поклонившись хозяйке и хозяйскому сыну, вышел вместе с директором.

— Ах, Сашенька, Сашенька, охота тебе за всякого вступаться да хлопотать,— говорила Лизавета Кузьминишна, зевая и собираясь также уходить из чайной.— Нет у тебя своей заботы-то, так ровно старица Софья обо всем мире сохнешь... Полно, батюшка, не стоит тебе беспокоить-то себя из-за них: правда, что Архипыч ни скажет, самый неблагодарный, нечувствительный народ!..

Алену Николавну передергивало от слов хозяйки, но она удержалась, не сказала ни слова, и ограничилась только презрительной улыбкой в ее сторону и вызывающим ободрительным взглядом Александру Кузьмичу.

— Нет, сестрица Лизавета, и ты, и Архипыч врете,— горячо возразил он,— они и чувствительнее, и благороднее нас!.. Тебе хорошо эти слова говорить, когда ты и сыта, и одета, ни о чем не заботишься, живешь в довольстве и в роскоши да ничего не видишь и не знаешь: как люди бедствуют и нуждаются в самом необходимом... А я всегда буду о них заботиться: это долг, это обязанность каждого честного, добросовестного хозяина...

— Ну, ну, ладно, ладно! Вот погоди, женишься да дело в руки возьмешь, тогда другое заговоришь: как своя-то семья да забота на спину навалятся, забудешь чужую крышу крыть прежде своей и слова эти забудешь, откажешься, что и не говаривал... Вели-ка, Алена Николавна, прибирать да веди детей... А я пойду полежу до ужина...

— Дайте руку,— порывисто вполголоса проговорила Алена Николавна, быстро подходя к Александру, когда Лизавета Кузьминишна ушла, и беря его за руку так, чтобы не видали дети.— Жму вам ее от чистого сердца: вы не будете паразитом, вы развиваетесь!.. Еще побольше воли, характера, настойчивости,— и вы будете деятелем!.. Я считаю вас настоящим товарищем!.. Слышите? Этим много сказано!.. А что Чернушкина они не любят и ничего для него не делают, я очень рада. Надо, чтобы он на них не надеялся и крепче примыкал к нам... Зачем это он жениться хочет: что еще за вздор!?.

— Как вздор? — переспросил удивленный Александр Кузьмич.

— Очень ясно! Разумеется вздор!.. Это его может даже погубить в нашем смысле... Тот, кто хочет служить до самопожертвования, ничем не должен себя связывать: брак — хомут, ярмо... А он еще женится, кажется, по-любви... Плохо! Он ненадежен!.. Скажите ему это от меня!.. Миндальности тут не у места!..

— А меня тоже хотят женить...

— Вы — другое дело... Вы не по любви: вас это не свяжет, а еще развяжет руки... Для дела это будет даже полезно, если женитесь без любви и на богатой... Однако прощайте... Пора...

Алена Николавна опять порывисто пожала руку Александра и увела детей из комнаты. Александр Кузьмич остался в комнате один и долго сидел в глубоком раздумье: он был польщен похвалами Алены Николавны и озадачен ее словами о женитьбе Феди... Параня против его воли то и дело приходила ему на ум и как живая стояла перед ним, то лукаво улыбающаяся и заигрывающая своими жгучими глазами, какою он ее видел утром, то веселая, довольная и счастливая жена Феди, то как будто опечаленная разлукою с ним, но не убитая горем и внимательно выслушивающая ласковые речи, которыми Александр Кузьмич утешал ее, то...

— А ведь это подло,— сказал он сам себе, быстро вскакивая с места.— И зачем я дал ему слово?.. А уж дал, так надо держать; нечего и думать, пока...

Александр Кузьмич поспешно вышел из комнаты на улицу и, не зная, что с собою делать, крупными шагами пошел на фабрику. Проходя по фабричному двору, он сделал крюк, чтобы заглянуть в окна мастерской, где

работал Федя; но в ней было темно, и двери заперты снаружи: Александр Кузьмич понял, что Федя ушел к своей невесте... Ему сделалось вдруг грустно и тяжело на душе; он не в силах был идти на фабрику и бесцельно бродил по улице вплоть до самого ужина.



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В селе, где Василий Якимыч был учителем школы, собирался волостной сход. Мужики в ожидании, пока волостной писарь «управится с делами» и кликнет их наверх, в правление, наполняли сборную избу, толпились у крыльца, на самом крыльце и в коридоре, разделявшем нижний этаж волостного дома. Василий Якимыч получил уже окончательный расчет, расплатился с долгами, попрощался с детьми и намеревался сегодня же отправиться на фабрику, так как ему было объявлено, что на следующий день квартиру его должен занять новый учитель. Несмотря на то, что он оставлял свое место с надеждою и почти уверенностью получить лучшее, Василий Якимыч был в недовольном, желчном расположении духа. Расставанье со школой, в которой он учил около трех лет, с местом и людьми, к которым успел привыкнуть, само по себе грустное, дало ему много тяжелых впечатлений, во многом разочаровало его. Ему казалось, что он отдавал школьному делу всю свою душу, все свое сердце; он был уверен, что труд его как учителя приносит пользу не только детям, которых он учил, но и всему обществу, что он имеет значение общественной деятельности, и потому ожидал большего к себе сочувствия,— по крайней мере, хоть со стороны тех крестьян, дети которых были у него учениками; но ни один отец, ни одна мать не пришли проститься с ним, сказать ему «спасибо», пожелать счастья в будущем. Три дня назад все ученики его уже знали, что он уходит от них: следовательно, должны были знать и ро-

дители, но никто не счел нужным прийти к нему и выразить сожаление, что школа лишается такого учителя. Дети, правда, показали ему и любовь, и привязанность, но выразили их, как и следовало ожидать, по-детски: кричали в один голос, что жалеют его, что им другого не надо, лезли к нему всей толпой, но тут же подняли драку и толкотню, шум и хохот, а на другой день больше половины школьников вовсе не явилось, пришедшие же собрались, очевидно, не для ученья и учителя, а потому, что дома делать нечего, а в школе, кучей, веселее баловаться: никто даже и книжек не принес с собой,— все были уверены, что отставной учитель учить не будет: что ему за неволя!

Василий Якимыч, приготовляясь нанять подводу до фабрики, заглянул в свой кошелек и нашел в нем только два рубля да несколько мелочи — вот все денежные средства, с которыми отпускала его школа после трехлетних трудов, а прочий скарб его заключался в двух узлах да маленьком медном самоваре.

«И одинок, и беден, и никому не нужен»,— мрачно думал Василий Якимыч, шагая в последнюю ночь по школьной комнате.

Напрасно прождавши заявления с чьей-нибудь стороны сожаления и сочувствия к себе, он сначала хотел было уехать из села, ни с кем не простившись, но собравшийся сход изменил его намерение: он почувствовал потребность высказаться, услышать, что будет говорить ему мир.

Он вышел в сборную. Она была полна народом: мужики сидели по скамьям и на полу, стояли и среди избы. Иные сидели понуро, опустя голову, другие, казалось, дремали; большинство громко, даже с криком, разговаривало; слышались ругательства; в воздухе стояло густое облако табачного дыма.

Заметившие появление Василия Якимыча прекратили разговор и вопросительно смотрели на него, ожидая, что он скажет, но ничего не спрашивая.

— Я к вам, господа миряне,— сказал Василий Якимыч.— Пришел попрощаться с вами, поблагодарить за хлеб, за соль...

— Отъезжаешь, значит, вовсе от нас?— спросил кто-то.

— Кто такой это, парень?— спросил другой.

— Не ведашь разве? Учитель наш,— сказали ему.

— Да, отъезжаю совсем,— отвечал Василий Якимыч.— Три года прожил в вашей волости учителем,— человек, чай, тридцать ребят ваших вполне грамоте обучил: и читать, и писать умеют, и в арифметике, считать то есть, порядком маракуют... Обучил бы и больше, и еще чему-нибудь, кабы не брали раньше из школы, давали бы ребятам подольше учиться. Кажется, старался: авось, хоть не вы, так дети ваши добром помянут.

— Ты старался! Нечего сказать: старание твое было больше... Робята на тебя не жаловались... Одобряют тебя!— Что же, мы ничего.... Мы тобой довольны!— заговорили мужики с разных сторон.

— Вот только если бы, парень, ты на крылосу, чтобы в церкви пели, обучил... Ах, чудесно бы! Вот этого в тебе нет,— говорил мужик, большой любитель церковного благочиния.

— Ну, уж чего нет,— на том не взыщите, а что мог, умел и знал,— так учил всему, старался, кажется.

— Да мы ничего... Мы что же?.. Мы тебя не рекаемся. Живи себе.... Ты на что же уезжать-то хочешь?.. Куда? С чего прощаешься-то?.. Может, где, в другом месте, складнее тебе будет насчет жалованья али харчей?.. Какое положенье-то тебе у нас от волости шло?

— Пятнадцать рублей я получал.

— Ну, вот, спрашивает, ровно не знает. О запрошлом году ему три рубля накинули: переж двенадцать получал.

— Ну, да, пятнадцать!.. Так что же, парень? Тебе положение как есть... следующее... Пятнадцать рублей на месяц... Что ж?.. Жить можно... Чего тебе еще?.. Ну, а послужишь обществу... опосля не оставим,— може, еще прикинем рубль-то какой али два. А ты постарайся, послужи...

— Да я совсем не из-за того ухожу, что жалованья мало... Правда, что немного разгуляешься на пятнадцать рублей на своих харчах... да мне немного и нужно... Я, братцы, не для жалованья у вас жил и детей ваших учил... Прибавки просить у вас я не думал, и в прошлом году вы мне прибавили не по моей просьбе, а сам волостной старшина от себя предложил вам увеличить мое жалованье... Я не об этом хлопотал, а мне

хотелось пользу сделать и вашим детям, и вам: я их учил не только одной грамоте, а старался, чтобы из них вышли люди честные, трудолюбивые, чтобы они уважали свое мужицкое звание, понимали бы, что они не только люди — такие же, как и все другие,— но что в мужике вся сила... что на нем все держится... что если все мужики будут грамотные, а при этом честны и трудолюбивы, да узнают свои права, тогда... никто их не обидит, не будет ни бедности, ни пьянства... ни того унижения... тогда все изменится, настанет другая жизнь, придут другие, хорошие, порядки...

— Ну, брат, ты это точно что,— перебил Василия Якимыча средних лет бахвалистый мужик,— она, грамота, знамо в пользу, кому если она далась. Говорить нечего: пользительна... А только что на одной грамоте, без капитала, далеко не уедешь... Вот если капитал имеешь, да грамотный человек,— вот оно тогда точно что... А нищего с сумой хоть какой грамоте обучи... пущай хоть все звезды на небе сосчитает, а все он нищим пойдет с сумой. Вот богатому человеку — тому грамота прибавляет, а бедный что с ней поделает? Так она, ни к чему... одно звание, что грамотный... Вот ты и грамотный, и ученый,— да что толку-то? Велики ли капиталы-то наживаешь?..

Среди мужиков послышался сдержанный смех, тотчас же, впрочем, заглушенный и остановленный неясным, отрывистым ропотом: нашлись рассудительные люди, осуждавшие этот неуместный смех, несогласные с доводами оратора-мужика, заинтересовавшиеся словами Василия Якимыча.

— Нет, ты это не дело, Прокофий Иваныч,— говорили эти последние,— ты его не сминай... Он учитель, свою линию гонит, он к добру говорит... к нашему, значит, благополучию... Ты помолчи, Прокофий Иваныч, ты опосля... А ты говори... говори знай свое, не взирай!— убеждали они Василия Якимыча.

— Да мне говорить-то, братцы, больше нечего. Вот разве ему только в ответ сказать: оттого ты, почтенный, грамоту считаешь нужною для одних богатых людей, что сами вы — люди темные, ничего не знаете; привыкли, что богатые вас в руках держат, распоряжаются вами, ездят на вас, как на скотах; привыкли думать, что только и есть одна благодать на свете —

богатство, деньги... и что грамота, дескать, только на то и нужна, чтобы к деньгам деньги наживать... в счете не ошибиться, не просчитать самому и не дать себя обсчитать другому!.. Вот ты на меня указал, а другие, умники нашлись и насмеялись над тем, что я грамотен и учен — да беден... А я вот тебе что про себя скажу: правда, я беден — беднее, может, вас всех,— а кланяться богатому не стану, командовать ему над собой не позволю, а коли он еще богат да подлец, так я ему это прямо в глаза скажу... И как живет богатый,— мне дела нет, хоть он пропади совсем — для меня все равно, а вот вы — бедняки, нищие, серые мужики, а я вам служил и желал добра, и опять служить буду,— не вам, так другим, таким же, как вы... И не стыдно мне нисколько ни бедным быть, ни служить вам, а богатому служить я не хочу, за низость для себя считаю... А ты бы скорее к богатому пошел служить, чем бедному,— а отчего так? Как ты думаешь? Оттого, друг, что я грамотный, а ты человек темный... Ну-ка, посмотри: как вы живете?.. Друг против друга,— все врознь.. как бы одному от другого поживиться, одному другого надуть!.. Как бы только тебе хорошо было, а на другого наплевать! А коли кто чуть стал богатеть между вами, так сейчас и норовит всем уж остальным на шею сесть да покрепче всех в руки забрать, мироедом делается,— сосет из бедных-то людей в одно свое брюхо!.. Что?.. Неправда, что ли?

— Нет, правда!.. Это правда!.. Это так точно!.. Истинную он говорит!— послышались кругом голоса.— Мы уж промеж себя что? Как живем? Надо правду говорить: как бы как один под другого!.. А не то, что побожески бы, по-душевно: в одну руку тянуть, заодно!.. Нет, этого нет промеж нас!..

— А все оттого, что темные вы люди. А будь-ка вы грамотны, так узнали бы, что надо не врозь идти, а помогать друг другу, стоять заодно, что каждого из вас легко в руку взять, а всех-то вместе помудренее, что заодно вы много бы больше и сработали, и денег выручили, узнали бы, что не в деньгах сила, а в вашем труде, что обижают, притесняют вас потому только, что вы ни прав своих, ни силы своей не знаете... Да мало ли бы вы что узнали!..

— А ведь это он все к делу говорит, ребята,— заметил один.

— И по писанию, как в писании!..

— Знамо, по писанию... Вон он и по новым книжкам по гражданским, учит, а все оно... к одному, значит, поворачивает...

— Ты на что же от нас уходить-то хочешь?.. Мы тобой довольны остаемся... Обиды от нас ты, кажись, тоже не видал?.. Прибавки ты не просишь... С чего же ты это?

— Да я ухожу, братцы, не по доброй воле: меня выгнали...

— Кто тебя выгнал?.. Что ты?.. Слышь: мы ничего... Желаем тебя... Остаемся довольны... Ты для наших робят старателен... Что же?.. Ты вот и их обучаешь грамоте, и для нас желателен... Нам не надо другого...

— Ну вот, спасибо вам, господа миряне: мне больше ничего и не нужно, чтобы вы меня добром помянули да не велели вашим ребятишкам забывать того, чему я их учил... А выгнали меня за то, что я будто бы порчу ваших детей, учу их не делу...

— Да кто, кто выгнал-то?.. Неужто Федот Семеныч?

— Нет, нет... Мое начальство... школьное... Видно кто-нибудь порадел... обнесли меня перед начальством... Другого на мое место назначили: отца Матвея свояка... а мне велено вон убираться...

— То-то я, братцы, слышал от писаря: на учителя, чу, надбавка будет на тот год... в жалованье... Вот оно что значит!— сообщил один из крестьян.

— А мы не согласны... Вот!.. Мы для своих робят тебя желаем!.. Давай, господа миряне, приговор о нем сделаем...

— Приговор!.. Приговор и нужно!.. Беспременно! — загалдела толпа.— Пойдем к писарю... Велим писать... Он вон и прибавки не хочет. На том остается доволен... А тот с чего это еще надбавку просит?.. Незнаемый человек... а надбавку... Мало что отца Матвея свояк... А мы не желаем!.. Плевать!.. Приговор... приговор!.. Пойдем приговор писать!..

Толпа шарахнулась было к дверям, но ее остановил пожилой мужик.

— Погодите-ка... Слышь: начальство его сменило... Чего ж ты с приговором-то полезешь?.. Чумные!.. Разве можно... коли ежели начальство...

— Начальство!.. Так что начальство?.. А мы желательны его, потому начальству неправильно про него... Ведь деньги-то мы ему платим за своих робят... Ну, значит, и желаем...

— Да чудные... Деньги, знамо, мы платим... И за все платим... Да разве можно супротив начальства?.. Теперь бы исправник сотского сменил, али, ближе сказать, посредник старосту с места ссадил, а ты бы на своем стоять да приговор писать: не желаю другого, этого желаю... Кто же это вас слушать-то станет?.. Пиши, пожалуй... Ты приговор напишешь, а тебе другого посадят. Вот только и будет!.. Да писарь и писать-то не станет, и Федот Семеныч не велит... Бунтоваться, что ли, пойдете из-за учителя-то?.. Чумные право, ну!..

— А что, ведь и дело, ребята... Супротив начальства как же теперь?..

— А что такое... Какое такое начальство? Мы не знаем... Ничего не будет...

— Передерут всех: вот только и будет!.. Тогда и начальство тебе покажут: узнаешь какое!.. Полно, ребята, и не затевай пустяков...

— Да и не нужно, братцы,— сказал Василий Якимыч,— совсем бесполезно... Очень вам благодарен за ваше намерение, только все равно: я не останусь у вас... Да мне и не позволят оставаться, хотя бы вы и приговор составили... Прощайте, господа миряне... Спасибо вам на добром слове...

— Прощай, брат... Ну, что делать-то?.. Начальство, так уж ничего не поделаешь!.. Как же ты теперь?.. Куда?..

— Да авось, бог милостив, не пропаду... Найду себе кусок хлеба...

— Да знамо... только теперь уж тебе нужно в дальние места какие, коли начальство супротив тебя...

— Куда уж судьба приведет... не знаю... Прощайте...

Василий Якимыч вышел в сени, и вся толпа из сборной последовала за ним. В это время к крыльцу волостного дома подъехал Федот Семеныч. Увидя в сенях учителя, он подозвал его к себе.

— Еще не уехал,— сказал он, подавая руку.— А я уж боялся: не застану тебя...

— Совсем уже собрался и ехать бы надо,— отвечал Проскуров,— да вот только подводчика своего жду... После схода поедем...

— А мы, Федот Семеныч, желательны его при себе оставить!— выступил из толпы один мужик.— Не надо бы его отпущать-то, потому он для нас и для робят наших больно согласен...

— Мы приговор желаем насчет его... Приговор, что желательны,— заговорили в толпе несколько голосов,— желательны, чтобы беспременно его... А больше никого... Потому он для нас в пользу... Почто обижать человека?.. Он старателен для нас... И от нас доволен... Вот!.. А прибавки на учителя мы не желаем... Почто еще прибавку?.. И без того невснос!.. Приговор желаем, Федот Семеныч!.. Вот!..

— Да я бы сам, ребята, хотел, чтобы он остался у нас,— отвечал старшина.— Он парень тихой, непьющий, а уж как для ребят-то старался, сам я видел: здесь училище-то у меня на глазах... Да как же его оставишь, коли начальство не желает?.. Начальство для того поставлено: оно лучше знает...

— А мы попросим за него... Похлопочем...

— Я уж благодарил мирян,— сказал Проскуров,— и толковал им, что мне нельзя остаться здесь ни в каком случае.

— Ну, вот слышите... Что же делать... Жалко его, да делать-то нечего...

— Ну, так уж и прибавлять же другому учителю мы несогласны... Неведомо какой еще будет, а уж, ничего не видя, прибавку, просит...

— Об этом мы вот на сходе потолкуем, братцы, не здесь,— возразил Федот Семеныч.— Пойдем-ка, я зайду к тебе на минутку, Василий Якимыч,— обратился он к Проскурову,— попрощаться с тобой порядком да потолковать...

— Пойдем, Федот Семеныч.. Очень рад...

— А вы, ребята, собирайтесь наверх, в правление. Я тотчас приду...

Проскуров и старшина вошли в училище, а толпа шарахнулась на лестницу.

— Ну, как же ты, куда теперь, Василий Якимыч? — спросил Федот Семеныч, когда они уселись в каморке учителя.

— Где-нибудь да надо искать дела,— уклончиво отвечал Проскуров.

— Обидели, брат, тебя... Понапрасну обидели... Ну, что делать!.. Перво я хотел тебя в волостные писаря звать, да раздумался: и сам-то я скоро из старшин уйду, да и, бог знает, посреднику ты потрафишь ли... Опять же и исправник, и становой: все начальство!.. Всем угодить надо, а ты молод еще, горяч...

— Да нет, спасибо, Федот Семеныч. Я в писаря не пойду. Это не по мне...

— Я то и думал, что не по тебе... Да и то рассудил, что уж теперь тебя из учителей все равно, что выгнали, и у всех ты, значит, господ будешь в сумнении, потому они все на человека смотрят один по одному: одному согрубил или не потрафил, уж и другие от тебя того же ждут... Один сказал: пьяница, али человек ненадежный, али там что другое.. все ему и верят: так уж ты и останешься у всех в подозрении..

— Это я знаю...

— Ну, то-то и есть... Уж тебе, значит — хоть бы в учителя — опять здесь никуда не попасть... Вот ведь горе-то!.. А я что про тебя думал: не попытаться ли тебе к купцам на фабриках, в конторщики?.. Ты человек письменный, ученый... Может, возьмут?.. Либо детей малых у них учить: тоже, бывает, нуждаются... А? Попытался бы!.. Вот после схода я поеду к Федянке, к дружку-то твоему, на фабрику... Не хочешь ли подвезу кстати?.. И за подводу тебе не платить, и с Федей повидаешься... А, может, что и выйдет...

— А вы что же, Федю проведать едете?— спросил Проскуров, не решаясь сказать, что и он собирался ехать туда же, только с другой целью.

— Да вот и про Федю-то мне с тобой хотелось потолковать... Прибегал ко мне его отец,— сват ведь он мне приходится... прибегал советовать насчет Феди... И невестка-то моя, Федина сестра, сказывает, что и он-то сам, Федя, очень уж просит побывать к нему... Так вот и думаю съездить... Ты ничего не слыхал о Феде-то нашем?

— Особенного ничего не слыхал...

— Спотыкнулся, брат, наш Федя, спотыкнулся: жениться задумал против родительской воли, да невесту-то, сказывают, больно уж плоху выбрал...

— Знаю я про эту любовь, Федот Семеныч: от него самого слышал... Вы что же хотите делать?..

— Да чего тут делать?.. Тут делать нечего, кроме что постыдить да посовестить: не образумится ли сам... Отцу, чу, наотрез сказал, что не то, что кого-нибудь, а и его не послушает: женится на ней... Велел было отец домой идти,— и в этом не послушался... Значит, уж очень его закружили там!.. Вот я и думал: не поможешь ли и ты образумить его — по вашему с ним дружеству... А, между прочим, и об месте-то бы про себя похлопотал... Право!.. Поедем-ка...

— А что же, поедемте, Федот Семеныч, мне все равно... Багажа со мной немного, я не потесню вас: все уложится и самим места будет... Поедемте...

— Ну, вот и чудесно!.. Так откажи подводе-то твоей. Скажи, что со мной едешь...

Часа через два после этого разговора Федот Семеныч с Проскуровым ехали уже в Старое село.

II

Федот Семеныч с Проскуровым приехали в Старое село в гулящий день. Все окрестные деревни праздновали п р е с т о л у своей приходской церкви. Работа на фабрике в этот день прекращалась. В первый год открытия фабрики Кузьма Иваныч хотел было обойти этот праздник, как не указанный в святцах кружком с крестом посередине его, и не хотел останавливать фабрики; но народ в этом отношении ему не уступил. Напрасно шипел паровик, напрасно раздавались свистки, напрасно угрожали штрафами,— местные рабочие на фабрику не шли, а смотря на них, ушли с нее и те, которые принадлежали к другому приходу и для которых этот праздник необязателен. С тех пор вошло в обычай праздновать местному престолу и на фабрике.

Осень уже сменялась зимою. На скованную крепкими утренниками землю выпал молодой снежок, устанавливалась давно желанная, в этот год запоздавшая, санная дорога. Она усиливала веселое, праздничное настроение деревенского гуляющего люда.

Весь народ был на улице и особенно толпился около трактира и кабаков. Песня, смех, говор и гармония

слышались со всех сторон. Время было послеобеденное, веселье в полном разгаре. Все, кого ни встречал Федот Семеныч, подъезжая к фабрике, были поголовно или пьяны, или навеселе: мужики, бабы, девки, даже подростки, почти дети; все горланили, шумели, точно старались перекричать друг друга. Молодые ребята из местных жителей катали по первопутке фабричных девок, раскрасневшихся от мороза и водки и целым десятком ввалившихся в розвальни. Девки визжали, хохотали, толкались, вываливались из саней и кидались на них чуть не вниз головой, а ребята посмеивались, отпуская своеобразные остроты, щипали девок или гагайкали и нахлестывали выбившуюся из сил лошаденку. Трактир, большое двухэтажное здание, как видно, был наполнен народом через край: на крыльце, на лестнице и около него толпился народ; непрерывная волна народа лезла вверх по лестнице, сталкиваясь с другою, спускавшеюся вниз: дверь почти не успевала затворяться, и оттуда, изнутри трактира, несся оглушительный шум, крик, визг, говор, песни и резкий бряк посуды. Отдельные кучки рабочих, мужчин и женщин, прохаживались и распевали фабричные, часто непристойные песни, приплясывая, притоптывая, выкидывая разные колена: кто во что горазд.

Мужчины в цветных рубашках, в поддевках нараспашку, с картузами на затылках без церемонии обнимали и целовали женщин, а те, в свою очередь, перед ними приплясывали, кривлялись и размахивали цветными платками. В одной кучке пели:

Старосельские ткачи
Носят плюсовы рубахи,
Без подметок сапоги:
Старосельски-то ткачи.

Толпа мальчишек подростков с каким-то особенным бахвальством пела:

Где ни пройдем, ни проедем,
Везде ворами зовут.
Мы не воры, не разбойнички,
Мы лихие рыболовщички:

Ловим рыбу по сухим берегам:
По амбарам, по клетям,
По шкатулкам, сундукам
Да по каменным домам.

В другой толпе описывалась и прославлялась фабрика:

Как во Староем селе,
На господской на земле,
В преогромном том врагу
Кузьма выстроил трубу.

Тут стоит труба высока,
Корпус длинный с полверсты.
Во стенах связи толсты.
Тут пируют мужики;

День и ночь они пируют,
Во котлах вода кипит,
Колесо паром вертит.
От того ли колеса

Проведены чудеса:
Не рассмотришь в три часа.
Корпус длинный, двухэтажный,
Наверху свисток отважный.

Свисток взвоет, заревет,
Народ на фабрику пойдет.

Среди этого движения, разгула, шума и гама Федот Семеныч ехал насупившись, опустя голову, с недовольным лицом. Василий Якимыч, напротив, чувствовал себя веселым, довольным и чуть не с восторгом любовался народным разгулом. Когда они переехали через реку и повернули к фабрике, народу стало встречаться все меньше и меньше: гулянье осталось сзади их, и шум стал затихать. Василий Якимыч повернулся, смотрел назад и прислушивался; старик поднял голову и взглянул на спутника.

— Экое безобразие! экой срам! — проговорил он.— Ровно с цепи сорвались, все ровно как оглашенные!.. Тьфу!..

Федот Семеныч плюнул.

— Что это вы, Федот Семеныч!— возразил Проскуров.— А я так смотрел да радовался: вот, думалось мне, что значит фабрика, свободный, ничем не стесненный народ, готовый заработок, лишний грош в кармане!.. Вон как разгулялся рабочий народ!.. Все веселы, беззаботны, ни одного лица хмурого нет... Все: от мала до велика!.. Никого знать не хотят, ни о ком не думают... У всех душа нараспашку!..

Федот Семеныч сердито посмотрел на Проскурова.

— Ну, я думал, что ты... умнее по крайности...

— Что так, дедушка... За что же глупым-то ты меня счел?

— Да разве это веселье?.. Это разврат... пьянство... распутство одно, вот что!.. Разве ты думаешь, оттого шумят, что у них на душе весело, на сердце спокойно?.. Как же!.. Водка в них бурлит одна, вот что!.. Запри-ка кабаки, не давай водки: что из них будет?.. Говоришь: лишний грош в кармане!.. Нашел лишний грош... да!.. Не то лишний, ничего у них нет за душой!.. Один из десятка разве что домой принесет; все здесь останется и к тому же хозяину в карман пойдет, все здесь пропьют, проедят да прогуляют... Это голь да горе, да распутство гуляет, а не то что готовый заработок да лишний грош!.. Вот, что деньжонок вчера получил — сегодня спустит, а завтра еще не проспится, либо опохмелиться захочет, на фабрику-то не попадет, да под штраф себя подведет... А уж, брат, купец свое возьмет, не думай: не помилует, штрафы-то у них такие, что за прогульный-то день неделей не заработаешь... Вот тебе и все заработки!.. А, окроме того, разврат-то этот, бахвальство, девки-то распутные, ребятишки пьяные... что, хорошо это по-твоему?.. Слышал али нет, о чем песни то поют?.. Ведь не даром?.. Что же, и этому радоваться, что ли, нужно?.. Что народ-то свободный, узды-то, палки-то на него нет?.. Что с десяти годов и водку пьет, и никому не уважает, и распутство всякое знает, и бахвалится еще этим?.. Этому, что ли, ты радовался-то, смотря на все это безобразие?..

Василий Якимыч внутренне согласился, что старик во многом прав; понял, что и он сам увлекся народным весельем потому только, что у него у самого было весело на душе от надежды получить на фабрике хорошее место: при другом настроении он, вероятно, и сам иначе посмотрел бы на этот разгул и сделал бы выводы, близкие к рассуждениям старика; но ему не хотелось в этом признаться.

— Само собой, Федот Семеныч,— возразил он,— я не пьянству и не распутству радуюсь, а тому, что есть у мужика возможность заработать на фабрике больше, чем сидя дома, а как он употребит этот заработок,— это другой вопрос. Известно, если бы мужик у нас был грамотный да не такой бедный, так он не только не дал бы мальчишке своему пьянствовать, но и сам бы не

стал пить... не стал бы пропивать заработка, а сберегал бы...

— И то не правда: вон у меня сын и грамотный, и не в бедности вырос, а вышел бездельник... бездельником так и останется... и пьяницей...

— Один ваш сын не пример...

— Да и не один: и других знаю грамотных,— тот проворовался, тот спился с кругу, другой в мошенничестве попался... Да вот, коротко тебе сказать: сколько я писарей переменил, а ни одного путного найти не мог! Либо плут, либо пьяница, либо на обе руки удача... Нет, это пьянство и беспутство не оттого.

— А отчего же по-вашему?..

— А так думаю, что не от воли ли этой самой... Жил мужик прежде, ровно малый ребенок, под началом да под палкой... А вот теперь пораспустили поводья... Он и забрал форсу, ровно саврас без узды...

— Полно, Федот Семеныч... Какой форс, какая особливая воля у нашего мужика?.. Только ведь и барыша-то всего, что на барщину не гоняют... А кому он не подначален, кто его не обидит, коли захочет, кто с него не берет сколько вздумается?.. Сам ты лучше меня это знаешь... И мир у него — начальство, и писарь — начальство, и староста, и ты — начальство, не говоря уж о чиновниках... И всякого он боится, и всякого слушает — и в деле, и не в деле... И до сих пор хорошенько не знает, что его, что чужое, что следует отдать, чего нет... Пошевелиться, подумать-то не смеет сам ни о чем, а ищет глазами, кто бы распорядился им да приказ отдал... Видал я, вон как он повинности свои платит: не знает хорошенько, сколько с него следует, сколько с него взяли, сколько за ним остается, дадут квиток,— так ладно, не дадут,— и так уйдет... А покричи-ка на него, припугни хорошенько, ото всего отступится, только бы свою-то шкуру унести.. А отчего все это?.. Оттого что неграмотен, ничего не знает, вступиться за себя не умеет...

— Ну, так уж и фабрика же твоя хваленая богатства ему не даст и от пьянства не отучит, а только еще больше избалует да к распутству приучит... И ничего хорошего от этих фабрик для нашего народа не будет: от земли он отобьется, богатства не наживет, а всякой мерзости научится с малолетства с самого... Вон каких

принимают — совсем сосунчиков: чего он здесь насмотрится, что хорошего переймет, какой человек из него выйдет?.. Дома-то мужик сидит хоть и в нужде, и в бедности, да в своем месте, в своей семье: муж при жене, жена при муже, как и следует, за молодым парнем старшие присмотрят, за девкой мать али бабка... Да и мира всякой опасится, от мира стыдно бывает, как что нехорошо, да неладно делает... А здесь что, на фабрике?.. Кому кто нужен? Кто за кого вступится, остановит или поможет?.. Всякому только до себя... Заодно-то только пьют да гуляют!.. Вот уж в этом друг от друга отстать нельзя, потому кампанство большое, людно, весело, да и сподручно: в долг верят, знают, что у фабричного человека жалованье недельное либо месячное... Вот он, твой готовый-то заработок, первым долгом в кабак али в трактир и уйдет!.. А как живут-то: ни сыт, ни голоден, хлеб всухомятку едят, без варева, только и радости, что чаем брюхо парят да табачищем либо водкой дурманят себя... С этого здоров не будешь... И смотри-ка, много ли краснорожих-то да толстых, у всех бока подвело, все ровно в болезни какой, и большие, и малые!.. Нет, не в путь, и не в корысть нам эти фабрики: не разбогатеет от них мужик и не поправится, а только вдосталь испортится!..

— Тебя послушать, Федот Семеныч, так хоть указа ждать, чтобы все фабрики закрывали... А на чем же бы мужику заработать без фабрики-то, особливо в ваших местах?.. Земли у мужика мало, да и та плохая, не прокормит; в иной семье лишние руки — девать их некуда, работы нет про них: чем же кормиться-то?.. Чем подати платить?.. А подати нынче, сам знаешь, какие... Иной бы молодой парень или девка, сидя дома, зимой, так бы, без дела прошатались, даром бы хлеб ели, а теперь они на фабрике и сами прокормятся, и домой к лету что-нибудь заработают, а летом опять готовы на полевую работу... Вот и выгода!..

— Ну, уж, брат, кто на фабрике пожил, к этой беспутной фабричной жизни привык, тот плохой работник на поле... Нет, его и к чаю тянет, и спина не гнется, и руки не те, да и моды он всякие узнал: в ситцевых рубахах да в платьях, в сапогах да в башмаках выучился ходить... Нет, его на поле-то разве палкой гнать, а доброй волей он не пойдет, не понравится!.. Да и он

домой-то придет с фабрики, скажет: устал, измаялся, отдохнуть надобно, а страх-то и послушание уж потерял, никого домашних-то в грош не ставит: он — фабричный человек, бойкий, в картузе, в сапогах, а те домашние — мужики серые, станет ли он их почитать — слушать?.. Нет, уж фабричный на землю и смотреть не станет: его от нее воротит, а земля-матушка тому в руки дается, про того родит, кто ее любит, на нее надеется, от нее кормиться хочет... Да вот я тебе что скажу: пускай в наших местах эта фабрика внове, народ еще в ней силы не узнал, а я бывал в тех местах, где этих фабрик много, и они там издавна, так совсем там мужики забросили землю-то: либо вовсе впусте лежит, либо кое-как всковырена, ровно нехотя, от безделья... Ну, знамо, и не родит ничего... Вот весь там народ фабричный, а этакой бедности да голодовки я нигде и не видывал, даром все в суконных поддевках да в ситцевых платьях ходят и самовары в каждом доме позавели... А уж насчет порядков-то и говорить нечего: испроворовался, испьянствовался, распустился народ вовсе... Ни стыда, ни совести!.. Не приведи, господи, чтобы и в нашем краю так сталося, а будет то и у нас, коли много фабрик пооткрывается... Вот она что фабрика-то значит!.. Походи-ка за землей-то хорошенько: какая бы она ни была плохая, она тебя прокормит и худому не научит, а фабрика только оденет тебя, зато голодным оставит и беспутным сделает!.. От этих фабрик только одним купцам хорошо: им они в пользу,— и сам он толстеет, и карман у него пухнет, а для народа?.. Нет, не радуюсь я этим корпусам каменным и трубам высоким: остатки они из мужика все вымотают и вместе с дымом на ветер пустят!.. Ты говоришь: мужика везде обижают, обсчитывают, а здесь ты думаешь что? Об нем что ли хлопочут, для него стараются, не обижают и не обсчитывают, что ли?.. Всего, брат, довольно и здесь еще больше, чем дома, в деревне, а уж насчет начальства-то да всякой строгости... он в деревне-то того и не видывал: здесь уж и вовсе никакого разговора не слушают!.. В одном свобода полная: отстоял свои часы, иди, куда знаешь, пей, сколько душа примет: кабаки-то да трактиры от хозяина же сданы, он за них аренду получает... Нет, пускай бы уж эти фабрики хоть в городах, что ли, строили: там народ бойчее, развязнее, себя в обиду не

даст, а в деревню бы, к серому мужику, их ненадобно... Мужику от земли питаться указано: пускай бы от нее да от своего промысла, кто что умеет, и кормился... Лучше бы было...

Проскуров, слушавший Федота Семеныча с улыбкой, собирался что-то возразить ему, но остановился. Навстречу им с фабричного двора выехали легонькие беговые санки, в которые был заложен серый раскормленный жеребец, с крутой жирной шеей, с толстыми ногами. Ожиревший красавец конь фыркал, озирался из-под длинной густой чёлки, порывался бежать, но, чувствуя туго натянутые вожжи, кругло и высоко вскидывал передними ногами. В санях сидели Александр Кузьмич, который сам правил лошадью, и Алена Николавна.

Федот Семеныч тотчас узнал хозяйского сына и сообщил о предстоящей встрече Проскурову.

— Вот этот самый, дружок-от и благодетель Федин,— сказал он.— А кто это с ним — не знаю. Видать, кататься поехали. Ты смотри, держи правее, дай им дорогу,— приказал он своему кучеру.

— Экой конь богатый... Настоящий купеческий! — проговорил этот последний, обращаясь к своим седокам.— Ишь ты, ногами-то, ногами-то что делает... Вот так кормен!.. Аи, кормен!..

Когда сани поравнялись, Федот Семеныч молча поклонился.

— Кто это? — спросила Алена Николавна.

— Ах, да это... Это... Чернушкина старик... Старшина!— торопливо отвечал Александр Кузьмич, осаживая свою лошадь, и окликнул Федота Семеныча, имя которого он забыл.

— Вы к кому? — спросил он, оборачиваясь.— Тятеньки нет: он на старой фабрике, и Дмитрия Тимофеича нет — в гости уехал.

— Нет, мы к Федору к своему...

— Его нет на фабрике: он в деревне... Он теперь не живет в мастерской...

— А где же? — невольно спросил Федот Семеныч.— Я и не знал.

— Поезжайте за мной: я покажу. Заворачивайте... Не стоит никак мой-то... рвется... Поезжайте за мной...

Федот Семеныч приказал заворачивать.

— Не поспеешь, сударь, за вами... Вона какой у

вас!.. рысак должно быть? — говорил, осклабляясь, извозчик Федота Семеныча.

— Ничего, я потихоньку поеду... Буду поджидать вас, чтобы не отставали,— ответил Александр Кузьмич, но, польщенный похвалою лошади, не мог удержаться, чтобы не показать ее бег.

— Да, это рысак!.. Хорошо бежит!— сказал он, дал лошади свободу и слегка тронул ее вожжами. Она понеслась как вихрь и мгновенно оставила назади волостную пару.

— Да, вот угонись за ним,— говорил извозчик, нахлестывая своих лошадей.— Ни в жизнь не догонишь!.. Купеческая лошадь... она сытая!.. Опять же — рысак...

Но Александр Кузьмич, промчавшись до моста, оглянулся назад, поворотил свою лошадь и шагом поехал навстречу ямской паре. Он был очень доволен тем, что показал резвую и красивую побежку своей лошади, которою сам правил, доволен тем радостным впечатлением, которое произвела на Алену Николавну быстрая езда; он был счастлив чувством свободы, независимости и как бы полной самостоятельности, которое он испытывал в настоящую минуту, благодаря отсутствию отца, зятя и сестры. Пользуясь этим отсутствием, он пригласил с собою Алену Николавну прокатиться и кстати осмотреть школу. Молодые люди были вполне покойны и беззаботно веселы. Алена Николавна забыла свои серьезные задачи, оставила напускную озабоченность, сосредоточенность и суровость, она весело болтала и хохотала; Александр Кузьмич больше, чем когда-нибудь, чувствовал себя человеком, мужчиной и достойным товарищем ученой барышни.

— Зайдемте и мы, Алена Николавна, к Федору,— предложил Александр Кузьмич,— познакомьтесь и посмотрите на его невесту... Вам же нужно поговорить с ней насчет воскресной школы...

— Так что же, зайдемте: я с удовольствием... Куда хотите!..

— Поговорите с ней... И потом скажите мне ваше мнение о ней...

— А что же?..

— Так, мне хочется знать ваше мнение...

— Я замечаю, что эта особа вас очень интересует... А?..

Алена Николавна засмеялась. Александр Кузьмич вспыхнул и смутился.

— Нет, нисколько,— оправдывался он.— Я только... для Федора... Годится ли она ему в жены?.. Вы же сами говорили... Помните?..

— Хорошо, хорошо,— смеялась Алена Николавна,— я ее позондирую... Надо посмотреть, не удобнее ли она для кого другого... Хорошо, посмотрю...

— Ну, вот вы какие... Алена Николавна... Я так... просто... Мне что же?.. Я ведь не стану же жениться на ней...

— Да где вам жениться: вы богач, а она крестьянская девка, бедная!.. Вам нужно богатую невесту... с капиталом!..

— Да совсем я не про то... Вот вы все придираетесь... Она Чернушкина невеста: он без памяти в нее влюблен... он непременно хочет жениться на ней... А вот, как она к нему?.. Я насчет нашего дела... Помните: вы говорили, что женитьба может его отвлечь... Что он весь отдастся жене, ни о чем больше думать не будет... А если она мало его любит?..

— Так не лучше ли, чтобы вас полюбила?.. А?.. Так, что ли?..

Алена Николавна опять засмеялась.

— Да полноте, право... Ну, что вы это,— отшучивался Александр Кузьмич.— Что вы какая сегодня?.. Я об деле, а вы все смеетесь, шутите...

— Совсем не шучу: я серьезно... Недаром вы так расписывали мне ее красоту... Ну, я в этом отношении уж не судья... А вот насчет нравственной, интеллектуальной стороны, извольте, постараюсь для вас: исследую и сообщу... Но ведь вы, чай, одних похвал и восторгов будете ждать от меня?.. По вашему мнению, ведь, при наружной смазливости должны быть и всякие высокие душевные качества?..

— Нет, Алена Николавна, с вами сегодня невозможно об этом говорить...

— О чем: об этом?

— А о деле... Вы надо мною сегодня смеетесь... шутите... насмехаетесь...

— Так разве неправда, что вы никогда не обратите внимания на женщину, как бы она ни была умна и развита, если у нее нет смазливой вывески?.. Разве вы су-

меете оценить, или полюбить такую женщину?.. Нутека — ответьте... Я теперь серьезно вас спрашиваю?..

В тоне Алены Николавны прозвучала какая-то новая, неслыханная прежде Александром Кузьмичом, нота. Он чувствовал, что Алена Николавна повернула к нему свое лицо, смотрит на него в упор и ищет его взгляда. Ему сделалось неловко, он старался спрятать от гувернантки свои глаза, растерялся и не знал что ответить... К его счастию, в это время они почти съехались с лошадьми Федота Семеныча: он должен был объехать их, чтобы снова поворотить лошадь назад.

— Богатый конек у вас,— проговорил в это время Федот Семеныч.

— Да, ничего,— отвечал Александр Кузьмич, стараясь ехать рядом с санями старика.— С аттестатом!.. С бегов в Москве куплен. Застоялся только очень... Давно на проездке не был... А вы, что же, нарочно повидаться с Федором приехали?..

— Да, проведать... Просил побывать... Как он тут поживает у вас, Александр Кузьмич, хорошо ли работает, не балуется ли?..

— Ничего, хорошо... Он не такой, не избалуется...

— Отчего это он на деревне-то стал жить, а не на фабрике?.. Ведь, кажись, ему позволено было в мастерской находиться?..

— Да ведь там, в деревне, он с невестой живет: ему лучше там, удобнее, невестина мать про него и стряпает, а тут где же — на фабрике... На одном хлебе жил, без приварка...

— Так, стало быть, уж и вам известно это самое...

— Что такое?..

— А намеренье его... насчет женитьбы?..

— Как же... Он мне сказал...

— Вот как!.. Стало быть, уж у него это дело решенное?..

— Да!.. Разве вы не знали? Разве он вам не сказывал?

— Весть-то эту он мне подал... А от самого-то его еще ничего не слыхал...

— Мне он признался тотчас же, как невеста его сюда приехала... Вот мы и теперь, вместе с вами, хотим заехать к нему тоже, побывать...

— Милостивый вы господин... Дай бог вам здо-

ровья: не оставляете его... За великое счастье он это должен почитать...

— Какое же тут счастье особенное?.. Я-то его правда что люблю, да пользы-то ему от этого мало: воля-то не моя... Вот жалованье-то ему все еще малое идет... Все еще не у машин, а в столярной работает...

— Ну, что же делать: не все вдруг... Пускай подождет... Коли хозяева будут им довольны, не оставят: до всего дойдет...

— Скажите, пожалуйста, вы ведь, кажется волостной старшина? — спросила Алена Николавна.

— Точно так, сударыня... Извините, не знаю как величать вас,— отвечал Федот Семеныч.

— Это все равно... А скажите...

— Осмелюсь спросить: сестричка али сродственницы какие вам будут? — обратился Федот Семеныч к Александру Кузьмичу, считая неудобным вести разговор с лицом неизвестным.

— Нет, я учительница в доме его зятя,— отвечала сама Алена Николавна,— занимаюсь с детьми, учу племянников и племянниц Александра Кузьмича...

Лицо Федота Семеныча невольно выразило недоумение, но Алена Николавна не обратила на это никакого внимания и продолжала:

— Я вас хотела спросить... У вас при волости ведь есть школа?

— Как же-с, сударыня... Это уж теперь положение такое: при каждой волости училище полагается...

— Да, это я знаю... А в вашем ведь училище был учителем Проскуров?

Василий Якимыч сделал невольное движение.

— Точно так,— в нашей...

— Отличный человек, прекрасный учитель, которого, как и следовало у нас ожидать, уволили, попросту сказать: прогнали с места!.. Скажите, пожалуйста, где он теперь?.. Не знаете ли?..

— Как не знать... знаю! — медленно, с улыбкой отвечал Федот Семеныч.

— Где же он? — повторила свой вопрос нетерпеливая Алена Николавна.

— Да недалечко отселе... Вот он! — проговорил с той же улыбкой Федот Семеныч, указывая на Проскурова, который снял фуражку и собирался объявить о себе.

— Как, это вы? — вскричали в один голос Кошатников и Алена Николавна.

— Я самый,— отвечал Проскуров с сияющим лицом.

— Погодите, погодите... Остановитесь,— приказывала Алена Николавна и выскочила из саней прежде, чем лошади успели остановиться.

— Я хочу, непременно хочу первая пожать вам руку! — говорила она, подбегая к саням старшины с той стороны, где сидел Проскуров, и протягивая ему руку.— Вы честный труженик!.. Вы благородный, высокий деятель!.. Мы заочно уважали вас и ожидали с нетерпением...

Василий Якимыч совсем растерялся от таких неожиданных заявлений сочувствия: он был взволнован, умилен и тронут почти до слез. Перегнувшись всем корпусом из саней, он с чувством сжимал и потрясал протянутую ему женскую руку.

— Вы к нам?.. Конечно, к нам!.. Мы вас ждали!.. Мы вас не отпустим!.. Здесь вы найдете много дела... Вы необходимы здесь! — говорила Алена Николавна, стоя около саней и не выпуская руки Проскурова. Федот Семеныч и его извозчик с удивлением смотрели на эту сцену.

— Александр Кузьмич... Вот это — Александр Кузьмич, который... вы знаете! — продолжала Алена Николавна.— Александр Кузьмич, что же вы ничего не говорите?.. Что вы не приветствуете дорогого гостя?..

— Да я сам очень рад... Здравствуйте... Я бы тоже желал пожать руку, но мне лошадь нельзя оставить... Вот когда к Федору приедем... Вот обрадуется он... Алена Николавна, пожалуйте, садитесь... Поедемте поскорее...

— Да, поедемте... Теперь я вполне, вполне довольна!.. Нас прибывает... Теперь наше дело пойдет,— говорила Алена Николавна, усаживаясь в сани подле Кошатникова.— Поезжайте же, Александр Кузьмич...

— А он притаился и не сказывает мне, что вы его ждали... что уж он переведался с вами,— говорил Федот Семеныч.— Зачем же ты таился-то от меня, Василий Якимыч? — спросил он, когда лошади опять двинулись и Кошатников поехал вперед.

— Я еще и сам ничего не знал наверное... Не знал, как меня примут здесь...

— Да на какое же дело-то тебя сюда зовут?..

— После, после, Федот Семеныч.. Пускай они сами вам все расскажут...

— Ну, только чудная мне эта барышня!.. Не знала ведь тебя, а как обрадовалась, ровно брату родному!.. Смотри-ка, и теперь все едет да на тебя оглядывается... Что ей в тебе?..

— Да вот, подивитесь, Федот Семеныч: совсем мы друг другу чужие, никогда не встречались, не знались и не разговаривали,— а как обрадовались один другому?.. Как старые друзья!.. Не подумайте и того, что это из-за выгоды какой-нибудь, из-за личного интереса... Нет, мы ничего не можем сделать друг для друга, да если бы и могли, так на это мы не обращаем никакого внимания, не придаем этому никакой цены... не то нас соединяет и связывает... А знаете что?.. Вы, старые люди, может быть, даже не поймете или не поверите: нас соединяет и роднит между собою не личный, а чужой интерес — любовь к народу, желание принести ему пользу, готовность пожертвовать даже собою для его блага... Вот этот серый невежественный мужик, который дает себя обижать и притеснять, который нас не знает и не понимает, но которого мы любим,— вот кто нас сближает между собою!.. Признайтесь, Федот Семеныч: вам дико, странно слышать это от меня?.. Вы ведь думаете, чай, что я из хвастовства говорю,— хочу перед вами показать себя, похвастаться?.. Ну, признайтесь...

— Да чем тут хвастаться?.. Хвастаться-то тут нечем... Ну, коли ты жалостлив, хочешь помочь бедному человеку,— добрая, значит, у тебя душа, а сделаешь добро — бог тебя за это самого не оставит... Что об этом говорить,— мало ли на свете добрых людей... Делают добро и молчат, не станут про него рассказывать,— уж это не милостыня, коли расхвастана да ославлена,— милостыня творится втайне... Нет, не про то я думаю... Тебе, знамо, поверить можно, что ты мужика полюбил и добра ему желаешь: хоть сам и не мужик, да ты с ним жил, служил ему, кормился от него, жалованье получал... Ну, узнал его и понял... И сам ты бедный человек,— знаешь, какова нужда на свете живет... А вот с чего барышня-то?.. Мужика-то она, я думаю, из окошка только видела, в избу-то к нему разве по особливому случаю какому заходила, а может и не бывала никогда, разговоров

с ним тоже, чай, не важивала. Где ей мужицкую жизнь, мужицкое горе, нужду, заботу узнать?.. И за что ей любить мужика, думать и хлопотать о нем?.. Ни ему до нее, ни ей до него никакого дела, никакого касательства нет... С чего она будет и любить, и жалеть, и хлопотать за мужика?.. Учит купецких детей, завсегда при них, живет в этаких палатах, на рысаках катается, а об мужике будто думает!.. Да и какую она помочь может ему оказать?.. Не так ли, полно, сутолочится только?..

— Я так и знал, что мы друг друга не поймем. Вы вот, хорошие старые люди, думаете, что все добро что можно сделать,— это милостыню подать, деньгами в нужде поддержать, и что заботиться можно больше всего только о своем близком человеке, с которым вместе живешь, вместе хлеб-соль ешь, горе и радость делишь... А мы любим не тех только, с кем живем, кого знаем, а всех, весь народ,— хотим помогать не одному Ивану да Петру, что с голода сегодня умирают, а всем несчастным, угнетенным, обиженным, страдающим от невежества и притеснений; желаем уничтожить зло в корне, просветить народ, облагородить, возвысить... По-вашему, нет выше подвига, как если богатый человек раздаст имение нищим, а в наших глазах этот подвиг выеденного яйца не стоит и никакой пользы не принесет, хоть бы богач не то — по рублю или по полтине, а по сту рублей на брата разделил... А вот, если он все свое состояние употребит на устройство школ, на какое-нибудь предприятие, которое улучшило бы быт рабочих,— одним словом, на какое-нибудь дело народное, общеполезное не только в настоящем, но и в будущем,— вот это будет подвиг!.. По-вашему, только власть имеющий может изменять негодные порядки, бороться с злоупотреблениями, улучшать быт, и только от богатого можно ожидать действительной помощи, а по-нашему... Да, впрочем, что я говорю?.. К чему?.. Вот увлекся!.. Вы ведь никогда не согласитесь со мной и к нам не пристанете...

— Да, брат, занесся ты и сам не знаешь куда... Горячки в тебе много... и сердце широкое... только размах-то, кажись, не по силе,— смотри, перекувыркнешься... людей насмешишь!.. Не чаял я в тебе этакой прыти!.. Говоришь хорошо, складно. Недаром Федянка души в тебе не чает; видно и ему в голову ты все это вложил... Будет ли путь-то из того?.. А мне уж само собой, приставать

к вам и не по годам... да и не по рассудку моему... Учены мы мало, а выросли на терпеньи да на послушаньи... А в вас другой дух, в молодежи!.. Давно это вижу!.. Очень вы много на себя надеетесь, большие дела обещаете... Что-то от вас будет?..

Разговор на этом прекратился, так как подъезжали к избе, у которой остановился уже Александр Кузьмич, и где жила Дарья Тихоновна. Федя успел уже выскочить навстречу своим гостям.

III

Гости застали Федю в дурном расположении духа. Фабричный праздник принес ему не радость и веселье, а тяжелое раздумье и много тревожных, неприятных впечатлений. Федя ожидал этого дня как такого, который он может провести на свободе, весь около Парани, тихо и уединенно; совсем не таковы были мечты и ожидания Парани и Дарьи Тихоновны. И той и другой успели порядком надоесть монотонность и однообразие фабричной жизни. Пока Параня и Николка были на фабрике, Дарье Тихоновне приходилось проводить время совершенно одной, почти без всякого дела; знакомых и приятелей она не успела еще завести, да и все, кого она видела вокруг себя, были хмурые, озабоченные, недовольные, усталые и главное — бедные. Пробовала было она ходить на фабрику под предлогом — провожать и встречать Параню, но там никто не обращал на нее внимания, несмотря на цветные платки, которыми она повязывалась, и на вызывающие взгляды; а один раз молодой суетливый приказчик, которому она попалась на дороге, даже обругал ее,— а от приказчиков-то именно она и ожидала совсем другого обращения. Правда, молодые фабричные ребята, с первого же дня заприметившие Параню, начали преследовать ее, приставать, и те, которые выходили из фабрики в одну смену с нею, провожали ее до дому и даже заходили в избу, но Дарья Тихоновна встречала и выпроваживала их неласково. Она сразу видела, что это была все такая голь и бедность, которая сама рада бы была поживиться насчет ближнего и сорвать что-нибудь с первого встречного, и не то, что оказать помощь и покровительство бедной вдове; относительно же Пара-

ни у нее были известные надежды, которые заставляли ее делать дочери внушение о том, что она должна держать себя как можно осторожнее, скромнее, неприступнее и ни с кем не сближаться. В этом отношении ее поддерживал и Федя, который говорил Паране то же самое, хотя и совершенно из других побуждений.

Параня слушала все эти наставления молча, иногда с улыбкой, но они ей очень надоедали. В ее хорошенькой головке были свои соображения,— она сама знала, как ей нужно было держать себя. На первых же порах с ней случился на фабрике казус, который обратил на нее общее внимание и поставил ее в несколько особое положение от других работниц. На фабрике существовало обыкновение,— после каждой смены, перед уходом домой, для предупреждения воровства осматривать всех рабочих, у которых на руках бумажная пряжа. Осмотру этому подвергались как мужчины, так и женщины; производился он приказчиками, которые, охраняя интересы хозяина, нисколько не стеснялись стыдливостью прекрасного пола, особенно падкого на початки, мотки пряжи и тому подобную бумажную дрянь, которую они покушались иногда уносить, по словам приказчиков, под головными платками, в чулках, под рубахой. Привычные к этому осмотру фабричные женщины обыкновенно только посмеивались, а иногда визжали и ругались, и операция эта редко кого возмущала,— напротив, служила источником разных острот, прибауток и сопровождалась веселым хохотом. Параня, никем не предупрежденная, с первого раза была поражена бесцеремонностью производимого обыска и, когда дошла до нее очередь, решительно воспротивилась ему; но, к общему удовольствию и смеху всех окружающих, охранитель хозяйского интереса не хотел отказаться от своего права и старался исполнить свою обязанность с наибольшею тщательностью.

Оскорбленная Параня, недолго думая, ударила обидчика по щеке, оттолкнула его и бросилась бежать вон из палаты; поднялся шум, говор,— кто-то поднял на полу два мотка пряжи, будто бы выкинутых Параней во время обыска; с этими мотками в руках обиженный приказчик догнал Параню на лестнице и потащил на суд к Петру Архипычу. Петр Архипыч выслушал жалобу и обвинение приказчика, выслушал и Параню, которая расплакалась, клялась и божилась, что не брала ни одной

нитки, и, оправдываясь в своем буйстве, объяснила старику, главному приказчику, как могла, то, что ее вынудило на сопротивление и драку.

— Да, тебя бы так и пропустить, а ты бы хозяйское добро стала воровать,— защищался приказчик.— Вишь ты, какая выискалась,— благородная...

— Ничего я не воровала, ничего!.. Врешь ты, бессовестный!

— Бессовестный... А это что?.. Откуда мотки-то взялись?.. Вот оно, поличное... Не в кармане же я их носил, из тебя же вытащил... Что?.. Вишь ты!.. Да еще она же и драться... Шкура!.. Много вас этаких... драться-то давать вам... Право, шкура!..

— Не шкура я... Сам ты подлец!..

— Нехорошо, девушка, нехорошо! — прекратил этот спор Петр Архипыч, сразу понявший настоящую суть дела, но не желавший показать этого Паране.— Никогда вперед этого не делай... Молчи, не перебивай меня... Говорить нечего. Улика налицо, поличное принес, на свидетелей ссылается... Следовало бы тебя за это оштрафовать, а, пожалуй, и с фабрики согнать, да на первый раз тебе прощается... по глупости твоей!.. Да нет, ты слушай, не перебивай меня. Не воровала, говоришь, а все-таки приказчика ударила... Как же ты это смела?.. Уж очень ты выходишь бойка... Ну-ка, с первого же дня, благослови бог,— и буянить!.. Приказчик тебе — не своя сестра. Он от хозяина поставлен, свое дело наблюдает, не одну тебя — всех обыскивает... Без этого нельзя!.. Подумай-ка,— если не надзирать за вами, да если каждая из вас по два только мотка утащит, так какой хозяину ущерб... А дай-ка вам волю, так вы целыми штуками таскать будете... Без этого, милая, нельзя без досмотру!.. Ну, а если он тебя обидел, так ты пришла бы, пожаловалась,— мы бы разобрали, не велели обижать... А ты, ну-ка, сама расправляться... буянить!.. Нет, смотри, вперед этак нельзя, у нас насчет этого строго, боже сохрани!.. Ну, уж на первый раз так и быть, я это дело покрою, ровно ничего и не было... И его попрошу, чтобы простил тебя, не обижался бы... приказчика... А только впредь у меня смотри, не делай этого!.. Ну, ступай с богом...

— Да не дамся я себя этак обыскивать и вперед: вот я вам прямо сказываю... Я не воровка какая! Да и этак

разве можно?.. Я лучше и на фабрику не пойду совсем, так и самому хозяину скажу, а уж этак... всякому... срамиться не дамся...

— А как же другие-то?.. Что же, для тебя другой закон, что ли, заводить?.. Вишь ты,— вмешался обиженный приказчик.

— А мне наплевать, как другие... А я не хочу!.. А, право, коли вы, Петр Архипыч, не вступитесь, не закажете ему этак делать, пошлю матушку к самому... Неужто он этак велит!?..

— К хозяину еще!.. К самому!.. Вишь ты, какая!.. Станет с тобой хозяин разговаривать... со сволочью!.. с воровкой! — говорил досмотрщик, недовольный снисходительностью Петра Архипыча.

— Ты, может, сам вор-то и сволочь, а не я! — отбранивалась Параня.— Да, и пойду к хозяину, и пойду!.. Он добрый!.. Небось, не даст тебе надругаться! Я еще не таковская!..

— Постой ты, молчи! — нахмуривши брови, сердито остановил Петр Архипыч своего исполнительного чиновника, который начал было возражать что-то Паране.— Ты, я вижу, девушка хоть и бойкая, а честная и стыдливая... Опять же внове и порядков наших фабричных не знаешь... Оттого я тебя и жалею. А с другой бы и разговаривать не стал, а велел бы прямо с фабрики согнать... Хозяин наш, точно, добрый, добрей его на свете нет... И охальства он, точно, не любит и не позволит... Но только тебе дойти до него, минуя меня, не придется,— он верно что и разговаривать с тобой не будет... потому у нас на это порядок. Как вы все к хозяину полезете, так он никакого покоя себе не увидит!.. Ты вот думаешь, что он тогда милостиво с тобой поговорил, так и другой раз станет?.. Да он бы и тогда-то звания не взял и взглянуть-то на вас с маткой, кабы не я его попросил за вас... Что сказала! К хозяину пойду!.. Хозяин! Хозяин-то разве шутка?.. Наш брат, что ли, он, ты думаешь?.. Хозяин-то, дурочка, ведь миллионами ворочает, ведь у него вашего брата на двух-то фабриках тысячи четыре, ведь к нему большие чиновные господа за счастье считают подойти да поговорить, а вы ведь червяки перед ним пресмыкающие,— он вас кормит, поит, и он и ногой раздавить может... Вот что значит хозяин-от!.. И мы-то, его слуги старые, верные, близкие, вот хоть бы я, и то подходим к нему со стра-

хом и трепетом, говорим и слушаем со всяким раболепием, а вы, простые рабочие, и за глаза-то должны о нем говорить со всякой осторожностью да с почтением. Вот что, дурочка!... А обижать тебя и я не позволю... Я для того и поставлен от хозяина, чтобы вас нанимать и рассчитывать, взыскивать и защищать вас... И вот, коли ты мне жалуешься и по глупости своей в обиду себе этот досмотр ставишь, так вот и прикажу,— и не будут тебя больше трогать... Вот слышишь, Потрускин: не приказываю тебе никогда ее так доглядывать... Вели руки показать, вели платок с головы снять для порядку, только для виду одного, и пропускай... А больше чтобы ни-ни... Слышишь?..

— Слушаю, Петр Архипыч... А только что уж я больше за нее отвечать не могу, если она что утащит...

— Ничего я не утащу! — промолвила Параня.

— Ну, ты, дурак!.. Ты слушай, что я тебе говорю,— остановил приказчика Петр Архипыч.— Коли я что приказываю, так слушай!.. Я знаю, что она ничего не утащит... Она девочка еще молодая, непривычная, опять же у нее жених есть... я знаю... С ней не годится так, как с другими... Ведь я вас знаю, дураков, чертей!.. Рассудку в вас на грош нет... Да, увидели вот, смазлива... Ну, и не смей трогать в другой раз, сказано тебе!.. В руках нет ли чего,— посмотри, узел несет,— вели развязать, показать, а больше того не смей пальцем тронуть ее... Слышишь?

— Слышу, Петр Архипыч... Мне все равно, как прикажете...

— Ну, довольна ты теперь? — обратился главный приказчик к Паране.

— Что же... Я очень довольна... Покорно благодарствуйте...

— Ну, так вот и ступай с богом... И матке своей, и жениху своему расскажи, как я с тобой рассудил... Ступай же...

Этот случай огласился на фабрике между рабочими и повел к разным толкам и предположениям. Все заметили и то льготное положение, в которое стала Параня на фабрике после этого случая. Приказчики, очевидно, смотрели на нее вообще сквозь пальцы, не взыскивали за работу, не ругались с нею, старались как будто обходить и не замечать ее, либо заискивающе улыбались

ей. Все это возбуждало зависть и недоброжелательство к Паране и вместе с недоступностью ее для фабричных ловеласов оставило ее и Дарью Тихоновну совершенно одинокими среди фабричного многолюдства.

Федя был очень доволен таким положением, но Дарья Тихоновна и Параня скучали. Они обе ожидали с нетерпением фабричного праздника, о котором и в деревне, и на фабрике уже несколько дней шли разговоры. Все заботились о том, чтобы приготовить денег на гулянье, вспоминали, как весело прошел праздник в прошлом году, какая у кого была шаль, сколько платьев переменила такая-то в продолжение гулянки, сколько кто выпил, кто кого поколотил, рассчитывали, какие запасы водки и чаю делаются в кабаках и трактире. Дарья Тихоновна с Параней обдумали, в каких они платьях будут показываться на гулянье... Одежей Дарья Тихоновна всегда щеголяла и сарафанов никогда не носила,— в этом отношении фабричные привычки были ей не в новость, и фабричное щегольство ее не пугало. Она надеялась даже произвести собою некоторое впечатление. И вот, как только гулянка дошла до разгара, как хохот, говор, песни и музыка гармонии, бубнов и медных тарелок стали доходить до их слуха, а на улице, мимо окон, задвигались веселые толпы народа, Дарья Тихоновна и Параня стали торопливо собираться на гулянку. Федя с большею бы охотою просидел дома, с глазу на глаз с Параней, но он не решился даже высказать этого желания и присоединился к ним.

Сначала они гуляли втроем тихо и спокойно,— никто их не трогал, никто и не обращал особого внимания.

Федя был очень доволен, но Дарья Тихоновна не без грусти высказалась:

— Вот и видно, что в чужом месте живем,— никто-то тебя не знает, не подойдет, не заговорит, не попотчует... Ровно оглашенные какие ходим!..

— А и не хуже это, Дарья Тихоновна,— возразил Федя.

— Чего уж тут хорошего?.. Не знаю! — проговорила с досадою Параня.

— Да давно ли еще на фабрике-то... Некогда еще знакомства-то свести,— продолжал Федя.— Да и с кем тут знаться-то?.. Вон народ-то какой фабричный... И дев-

ка, и баба, и парень — все пьяные!.. Ломаются да ругаются... Вон идут,— хороши ли?..

Федя указал на подходившую им навстречу толпу мужчин и женщин. Все они были пьяны, на испитых бледных лицах горел багровый неестественный румянец, глаза были воспалены, шапки сдвинуты на затылок, платки на головах женщин в беспорядке, у многих торчали из-под платков пряди растрепанных волос. Вся эта компания только что вывалилась из трактира. Все в одно время горланили, обнимались друг с другом, целовались, пошатываясь на ногах, ругались на воздух самыми отборными выражениями, желая перещеголять друг друга в изобретательности, запевали песни самого цинического содержания, причем женщины захлебывались от удовольствия, взвизгивали, приплясывали, махали платками и били в ладоши. Одна девка пела:

Он за то его любил,
Сюртук, брюки подарил,
Что сестру к нему водил.

У другой в руках был штоф водки и стакан, который она, прикрикивая и приплясывая, поднимала от времени до времени над головой, стучала ими друг о друга, наливала водки и подносила то тому, то другой, не забывая и себя.

Каждый выпитый стакан сопровождался какой-нибудь неблагопристойностью, которая возбуждала общий восторг и хохот.

Федя советовал уйти от этой толпы подальше в сторонку или воротиться назад, но Дарья Тихоновна и Параня остановились и засмотрелись на эту вакханалию, первая не без внутреннего сочувствия, вторая — с любопытством и улыбкой.

— Право, пойдемте... Чтой-то... Нехорошо,— уговаривал Федя, когда толпа подходила уж очень близко, но его не слушали.

Вдруг некоторые женщины из толпы заметили Параню, и она в них узнала своих соседок по палате, в которой она работала.

— Паранька,— вскричала одна.

— Паранька... да!.. наша,— подтвердила другая.— Что ж ты, дьявол, угости!.. С тебя спрыски нужно... Тебе хорошо!..

Пошатываясь, она подошла к Паране.

Вся толпа приблизилась вслед за нею и остановилась.

— Рада бы угостить, да нечем,— ничего еще не зажила, не заработала,— бойко отвечала Параня.

— Врешь, подлая!.. У тебя, чай, денег-то больше нашего... Твоя работа легкая, барышная,— тебе сполагоря!..

Женщина нахально захохотала.

— Какая моя работа? Такая же, что и твоя, только жалованье-то мое меньше, потому я внове...

— Да что тебе это жалованье?.. Наплевать... Разве ты за ту работу жалованье берешь?.. Знаю я твою работу!.. И мы ее любим, да про нас купцов-то богатых нет... Вот твоя работа какая.— Она сделала жест, который вызвал гомерический хохот в пьяной толпе.

— Что ты, подлая тварь,— вступилась Дарья Тихоновна, обидевшись,— она при матери, при мне живет, она девушка честная!..

Она схватила дочь за рукав и поспешила уйти прочь от толпы. Федя, бледный как полотно, сжимая кулаки и озираясь назад сверкающими глазами, точно дикий зверь, ожидающий нападения и готовый броситься на врага, медленно шел вслед за невестой.

— Ишь ты, невидаль,— девка!.. Я сама была девка... И тоже не без матери родилась! — кричала им вслед пьяная баба.— Про меня только что ни купца, ни приказчика не выгорело... А твоя, видишь ты, купецкий товар!.. А подлая-то не я... а ты да дочка твоя... купецкая!..

Федя, который слышал эти слова, бросился было назад, но хохочущая толпа, доведенная до восторга последней выходкой, двинулась вперед и увлекла с собой ругавшуюся женщину, загородив ее от Феди, движение которого никто и не заметил. Он остановился, опустил голову и руки и, не поднимая глаз, ничего не говоря, последовал как шальной за Дарьей Тихоновной и Параней, которые тоже молчали, тоже упали духом, также не смотрели на Федю и, уже не интересуясь более гулянкой, опустя голову, пошли домой.

— Экой народ здесь каторжный, батюшки!.. Клятой какой-то, бесстыжий! — говорила Дарья Тихоновна, когда вошла к себе в избу.

— Я вам говорил,— не слушали,— отозвался Федя, взглядывая на Параню.

— Охота была и ехать сюда... Только и есть, что

один срам да ругательства... А хорошего-то еще ничего не видно,— сказала Параня капризным, раздражительным тоном.— Сидеть бы в Онучине,— гораздо лучше. По крайности никто не обижал!..

— И здесь, Параня, никто бы не обидел, кабы сидели дома,— с упреком заметил Федя, у которого до сих пор еще стояли в ушах слова женщины и заставляли его нервно вздрагивать.

— Да что же мы в тюрьму, что ли, сюда попали... что из дома нельзя выйти? — раздражительно отозвалась Параня.— Да, правда, что не лучше тюрьмы!.. Что уж это за жизнь?.. Двенадцать часов на фабрике труби... Домой придешь,— взаперти сиди, а на улицу вышли, так того жди, либо осрамят тебя, либо обругают ни за что!..

Федя робко и нерешительно подсел к Паране.

— Послушай,— заговорил он после некоторого колебания.— Нельзя так... чтобы кто смел это говорить... хоть в пьяном виде... Несносно мне это слышать!.. И с чего только люди взяли?.. Все сердце во мне горит!.. Глаза застилает!.. Повенчаемся, Параня, поскорей... Теперь же, до филипповок...

— А тут что будет? — спросила Параня холодно, не оборачиваясь к Феде.

— Как что будет?.. Жена моя будешь... Всем рот закроем. Никто не посмеет подумать, не то слово сказать...

— Чем же это ты рот-то людям зажмешь?.. На ту же фабрику ходить буду, та же жизнь-то будет... Никому не закажешь и говорить что вздумается...

— Да я убью...

— Всех не перебьешь... А за первого на каторгу сошлют...

— Так не ходи на фабрику... Не надо!..

— А чем же жить-то будем?.. На двенадцать-то рублей не больно разгуляешься... Да какие еще двенадцать... Оброк спросят, подушны, в дом потребуют,— себя-то одного не прокормишь, не то что меня с матушкой...

— Живут же, Параня, люди... и меньше еще меня получают,— робко проговорил Федя.

— Да, вот оно что!.. Вот что заговорил!.. Так ты за этим, что ли, сюда нас заманил, чтобы волей-неволей, от стыда, от срама да от ругательств я за тебя, за бедного, замуж вышла.. на нужду да на горе?..

— Параня,— вскричал Федя с болью в сердце.— Да

ты говоришь со мной, точно я тебе враг заклятый... точно не то, что ты любишь меня, по охоте идешь, а ровно поневоле, по принуждению... или только потому, что богатства от меня ждешь!.. Из-за денег!.. Времечко только ведь потерпеть, недолго... Не останусь я с этой добычей; больше буду получать... Все, что ни добуду, все про тебя... И матушку, и брата твоего никогда не оставлю... Коли любишь ты меня, так неужто не в силу тебе месяц-другой али полгода в нужде-то перебиться?..

— Полгода!.. А как всю жизнь?.. От кого у тебя расписка дана, что через полгода другое будет, а не то же самое, что теперь, не та же нужда?.. Ты вот и в приказчики не хочешь идти,— дурь в тебе какая-то... На машины свои надеешься... А, может, и не нужны никому твои машины-то?.. Теперь-то даже ты вон как козыряешь,— этого не хочу да другое неподходяще... Выдумал что! Чего люди добиваются, за счастье считают,— в приказчики попасть,— для него это зазорно... Как ты и век-от свой этакой будешь, так каково жене-то будет через тебя?.. Ты бы вот о чем подумал!.. Мне тоже своя голова дорога!.. Замуж-то одинова выйти. А тут что будет?

Федя собирался что-то возразить, но Дарья Тихоновна, смотревшая в окно, вдруг вскрикнула:

— Глядите-ка, кто-то подъехал к воротам... Лошадь-то какая!.. Ай, да никак молодой хозяин?.. Он и есть!.. И с барыней с какой-то!..

И Параня, и Федя бросились к окнам. Параня вспыхнула. Федя побледнел, нахмурился, но вышел из избы навстречу гостям.

IV

— Здравствуйте, Чернушкин,— говорила Алена Николавна, протягивая руку Феде, когда он вышел за ворота.— Вот я к вам в гости приехала вместе с Александром Кузьмичом. Желала навестить вас и познакомиться с вашей невестой...

— Милости просим... Пожалуйте,— отвечал Федя как-то рассеянно и не вполне приветливо.

— А ты посмотри, Федор, кто еще к тебе едет,— говорил Александр Кузьмич заискивающим голосом, точ-

но оправдываясь в какой вине. Перед этим он только что заметил в окне личико Парани и сам весь вспыхнул. Он указал Феде на приближающуюся по улице пару лошадей.

— Батюшки,— вскрикнул радостно Федя,— да ведь это Федот Семеныч с Василием Якимычем.

— Мы их встретили перед фабрикой... И дорогу к тебе сюда мы им указали... Они на фабрику ехали, думали, ты еще там живешь, в мастерской...

Федя побежал навстречу подъезжающим, забывши даже, что следовало бы сначала проводить или, по крайней мере, показать дорогу в избу Алене Николавне и принять лошадь из рук Александра Кузьмича. Впрочем, на последнюю услугу явилось много охотников из случившихся на улице мужиков, которые с низкими, подобострастными поклонами окружили тотчас же сани хозяйского сына и его лошадь. Александр Кузьмич поручил двоим, более, по его мнению, благонадежным, взять лошадь под уздцы и подержать ее, пока он зайдет в избу. Все бросились исполнять просьбу, и кому не удалось схватиться за удила лошади, старались показать свое усердие к хозяину по крайней мере хоть тем, что трепали лошадь по шее, по спине, оправляли на ней, вполне исправную, сбрую, полами и рукавами своих кафтанов обтирали ее тучные бока и смахивали снег, приставший к передку саней. Жеребец фыркал, недоверчиво поводил глазами и настораживал уши.

— Вы не машитесь около него, пожалуйста,— уговаривал Александр Кузьмич.— Не пугайте его...

— Зачем махаться, Александра Кузьмич,— отвечали мужики.— Мы тихо... ласковым манером... Вот так!.. Го-го!.. Милый!.. Сс!.. Что?.. Что?.. О-о-о!..

Встревоженный перед тем и мрачно настроенный, Федя был безмерно рад и как будто даже успокоился от приезда Федота Семеныча и учителя. Они являлись к нему, точно неожиданные защитники и покровители в тяжелую минуту его жизни. Радостно обнимал он то того, то другого.

— Здравствуй, здравствуй, Федюша... Здорово! — отвечал Федот Семеныч на его приветствия.— Даром, весело живешь, а, видать, обрадовался же и нам... Да что же ты проклажаешься с нами?.. Мы свои люди.. Вон Александр-то Кузьмич с барыней стоят одни, ждут те-

бя... Поди же, поди.... Примай их... Они тоже к тебе приехали в гости...

Федя, как послушный ребенок, бросился к Кошатникову.

— Александр Кузьмич... Алена Николавна, извините... Пожалуйте... Милости просим... Никак не ждал я... Федот Семеныч и Василий Якимыч, все вдруг... Вот Василий-то Якимыч... учитель! — говорил Федя.

— Мы уж познакомились. Я уж пожала ему руку... С удовольствием пожму и еще раз,— отвечала Алена Николавна, направляясь навстречу Проскурову.

— Позвольте и мне... Очень рад... Мы вас ждали с нетерпением, у нас все готово, недоставало только вас,— говорил и Александр Кузьмич, пожимая руку Проскурова.

— Здравствуйте! — обратился он к Федоту Семенычу.

— Очень вам благодарен, Александра Кузьмич, что вы не оставляете моего Федю... Много я наслышан о ваших милостях к нему,— говорил Федот Семеныч, кланяясь.

— Какие милости?.. Что вы!.. Ничего я не успел еще для него сделать,—возражал Кошатников конфузливо.— Алена Николавна, вот познакомьтесь. Это почтенный старик, третье трехлетие волостным старшиной, честный, благородный человек, стоит за своих мужичков горой... Все его любят и уважают...

— И мой благодетель и покровитель! — примолвил с своей стороны Федя.

— Очень приятно,— несколько кисло отвечала Алена Николавна.— Я не сомневаюсь в ваших достоинствах и готова уважать вас, но, извините меня. Вы благодарите Александра Кузьмича за какие-то милости, а, по-моему, истинный гражданин не должен ни пользоваться, ни надеяться на чьи-нибудь милости... Милостей не должно быть,— они унижают и оскорбляют того, кто их принимает, и показывают душевную низость в том, кто их хочет делать и считает себя вправе делать... Люди все равны и имеют одинакие права... Может происходить взаимный обмен услуг, но о милостях и покровительстве не может быть и речи...

Федот Семеныч с недоумением, молча смотрел на Алену Николавну. Она это заметила и продолжала:

— Вам, конечно, дико слушать такие речи; вы выросли и состарелись на других понятиях... Но вас мне отрекомендовали как отличного человека... Я хочу, чтобы и вы знали, с кем имеете дело... Чтобы знал и г. Проскуров, что я с ним единомыслящая... А что он так же думает, в этом я вполне уверена... Однако что же, господа, мы ведь на улице дебатируем... Пойдемте же в избу... Что же вы, хозяин, не зовете нас?..

— Пожалуйте... Я вас ждал,— отвечал Федя.

— Да, да, Чернушкин,— говорила Алена Николавна, идя впереди других, вслед за Федей,—мои слова и к вам относятся... В нашем лексиконе не должно быть таких слов, как «благодетель», «покровитель» и «милости»... А вы их употребляете. Это нехорошо!.. Надеюсь, что это по привычке только и что настоящие убеждения у вас совсем другие... А в противном случае вы нам не товарищ...

— Федот Семеныч — мой действительный друг и благодетель... Всегда скажу и в глаза, и за глаза,— упрямо настаивал Федя.— Я не из лести, Алена Николавна, не из подлости!.. Да он и не такой человек, он — старик, а с молодым парнем будет разговаривать, как со своим братом... и всякое добро старается сделать... Таких людей на свете мало!..

Отворенные в избу двери помешали Алене Николавне возразить.

У порога гостей встретила, как хозяйка, Дарья Тихоновна. Сзади ее стояла Параня. Алена Николавна прямо подошла к ней и заговорила первая, прежде чем успели войти в избу остальные гости и Федя.

— Без сомнения, вы невеста Чернушкина... Познакомимтесь... Я — друг его... то есть хочу быть его другом, если только он... Впрочем, вы этого не поймете... Вероятно, вы слышали от него обо мне? Я гувернантка... учительница детей Дмитрия Тимофеича... Меня зовут Алена Николавна... Вероятно, слышали обо мне?.. А вас ведь зовут Параня? Да?..

— Так точно-с...

— Ну, вот видите: я знаю... Здравствуйте же...

Но Алена Николавна напрасно протягивала Паране руку. Та не знала, что с нею делать, и, смущенная, озадаченная, только улыбалась и кланялась.

— Ах, да, я и забыла, у вас свои привычки,— спо-

хватилась Алена Николавна.— Ну, поцелуемтесь... О, какая вы красавица!.. Я понимаю, что могли вскружить голову Чернушкину... Но не злоупотребляйте этим. Помните, что у него есть другие обязанности, кроме любви и заботы о вас!.. Ну, об этом мы еще после поговорим... Я хочу с вами сблизиться...

Между тем Дарья Тихоновна, так бесцеремонно обойденная и оставленная без всякого приветствия и внимания незнакомой барыней, с которой она не знала еще, как и держать себя, рассыпалась в любезностях перед остальными гостями и особенно перед Александром Кузьмичом, но она скоро почувствовала, что и остальные гости пришли не к ней и мало ею интересовались. У нее стало настолько такта и соображения, чтобы тотчас же стушеваться под предлогом хозяйственных хлопот об угощении дорогих гостей, оставив хозяевами в избе дочь и Федю. Она сделала это тем охотнее, что чувствовала невольную неловкость и даже какой-то беспричинный страх перед Федотом Семенычем, даже встречая его, не могла заставить себя взглянуть ему прямо в глаза и сознавала, что ласковыми речами она не подкупила бы его.

Усадив мужчин, Федя обратился к Паране, с которой все еще продолжала разговаривать Алена Николавна.

— Уж познакомились,— сказал он, подходя к ним.— Просила бы, Параня, садиться.

— Пожалуйте, садитесь... Покорно просим,— говорила Параня, рассеянно слушавшая свою собеседницу, и наполовину не понимая, что и к чему та говорит. Ей хотелось взглянуть на остальных гостей, на Александра Кузьмича, который ее интересовал, и на Федота Семеныча, которого она никогда не видала и который, она знала, приехал для того, чтобы говорить с Федей о ней.

— Алена Николавна, пожалуйте присядьте!— повторил Федя просьбу Парани.

— Сядемте, сядемте,— отвечала Алена Николавна.— Я знаю, по русскому обычаю нужно непременно сначала усесться, чтобы разговоры вести. Ну, пойдем, Параня, сядем вместе и потолкуем об ученьи... Я уж успела не только познакомиться с вашей невестой, но и упрекнуть ее и вас вместе с ней за то, что она до сих пор грамоте не знает... А это бы, кажется, первая обязанность

влюбленного — развивать или, по крайней мере, хоть выучить ее грамоте.

— Некогда было, Алена Николавна... Знаете сами, она на фабрике, я — в мастерской... когда же?.. Параня, поди поклонись Федоту Семенычу... Вот они...

— Здравствуй, милая, здравствуй,— отвечал ласково Федот Семеныч.

— А вы еще разве до сих пор не знали его невесты? — вмешалась Алена Николавна.

— Нет, еще впервой вижу,— отвечал Федот Семеныч, любуясь на Параню, которая стыдливо стояла перед ним с опущенными скромно глазами, с раскрасневшимися щеками. Он, конечно, не мог догадаться, что Параня застыдилась не перед ним, а потому, что рядом с ним сидел Александр Кузьмич.

— Ну, это мне, по крайней мере, нравится, что Чернушкин хоть сам себе невесту выбрал, а не ждал, чтобы ему навязали ее родители или благодетели... хоть этой добродетели в нем нет, а то был бы совсем благонамеренный юноша... Красавица, красавица!.. И умненькая, кажется... Жаль вот только, что неграмотная... Ну, да мы это скоро поправим. Хорошо, по крайней мере, что желает учиться...

— А вот это твой старый знакомый... Василий-то Якимыч... Узнала, чай, Параня? — спросил Федя.

— Как не узнать... Узнала,— отвечала она.— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Параня... Помнишь, как ты меня отделала за то, что я твоего братишку не хотел из школы выпустить? — говорил, улыбаясь, Проскуров.— Помнишь?..

— Нужда наша не позволяла тогда,— отвечала Параня, покраснев еще более.

— А кстати, где же он, мой ученик?..

— Гуляет... С утра на гулянке,— отвечала Параня, отходя и садясь около Алены Николавны.

— В книжку, чай, и не заглядывает никогда?..

— Нет, когда читает. Заставляем...

— Вот как. Заставляете!.. Ну, это хорошо!.. Да ведь, чай, Федор больше заставляет, а не ты?..

— Когда и я!.. Что же, не все ему баловаться... Коли

время позволяет, пускай и почитает... Отчего же?.. И я велю!..

— Ну, значит, и ты изменила свои взгляды на грамотность!.. Это хорошо!.. Тогда и самой, конечно, следует обучиться грамоте...

— Да вот что, господа,— заговорила Алена Николавна.— Почтенного старца, судя по отзывам о нем, нам стесняться нечего,— он нас не выдаст... Нам можно и при нем поговорить о нашем деле, благо мы все здесь и Проскуров приехал... А, впрочем, мы это сейчас обмозгуем... Вы как... Федот Семеныч, кажется?..

— Так точно-с...

— Вы как, Федот Семеныч, насчет школ для народа?..

— То есть как это насчет школ?.. Что вы изволите спрашивать-то?.. В каком роде?..

— А то есть следует учить народ грамоте или нет?..

— Кабы не следовало, так и училищ бы не заводили... А, напротив того, у нас стараются сколь возможно больше школ заводить...

— Значит, вы не принадлежите вашими убеждениями к людям вашего поколения, которые думают, что ученье, образование развращает народ?..

— Какое ученье, какое образованье!.. Вот как этакое, что мы сегодня на фабричной гулянке видели, так тут хорошего мало... А каждый фабричный думает, что он много образованнее простого серого мужика...

— Да нет, я собственно насчет народных школ... Вы не думаете, что грамотность портит народ, приучает его к вольнодумству, к самомнению... к неповиновению, что ли?..

— Я на своем веку всего много видал. Видал грамотных и хороших людей, видал и таких, что хуже не надо... Дело не в грамоте, дело в человеке,— и нож в хороших руках на пользу идет, а дай его разбойнику в руки, он им человека зарежет... То и грамота... Умному она в пользу, а дурака умным не сделает...

— Да нет, вы все говорите односторонне, а я желала бы знать ваше мнение в общем смысле, что лучше,— учить ли народ, или оставить его в том невежестве, в котором он находится?..

— Да уж это не мной выдумано и до нас сказано, что ученье — свет, а неученье — тьма... Да что вы меня,

сударыня, пытаете?.. Я старик, старик старый... Думаю сам про себя... Вы люди ученые, а я мужик простой, темный, хоть и грамотный маленько... Разве вам можно со мной считаться?.. Что вам в моих мыслях?.. Слышу я, что вам нужно о чем-то поговорить промеж себя по секрету: велите, так выйду,— разговаривайте, а при мне будете говорить, так я в ваше дело не впутаюсь и в доказчики на вас не пойду... Вы ведь, чай, не против закона что замышляете?..

— Да ведь закон закону рознь... Вы, пожалуй, и это, что мы задумываем, сочтете противозаконным... Пожалуй, у нас и за такое дело можно пострадать.

Федот Семеныч вопросительно взглянул на Федю.

Тот не выдержал.

— Нет, Федот Семеныч,— сказал он,— ничего тут нет такого и завсегда бы я вам это открыл, не побоялся бы... Все в том, что Александр Кузьмич потихоньку от тятеньки своего школу открывает для фабричных, потому Кузьма Иваныч против всякого ученья... Вот и Василия Якимыча приглашают в эту школу учителем... Больше ничего и нет...

— Так что же, сударыня, вы сумневались говорить-то при мне? — обратился Федот Семеныч к Алене Николавне.— Ничего тут нет, окроме хорошего, и против закона ничего нет... Это доброе дело Александр Кузьмич задумал!..

— Но однако... все ж таки... некоторым образом тут подрывается авторитет родительской власти,— иронически произнесла Алена Николавна,— сын идет против отцовской воли!..

— Да кабы он на худое шел, так так, а то ведь он на доброе... Никто его за это не осудит, коли если только... Извини ты меня, Александра Кузьмич... Если денежки не будешь потихоньку от родителя брать...

— Нет, я на свои, на собственное жалованье,— поспешно отвечал Кошатников.

— А вот, по нашему мнению, для доброго, общеполезного дела не стыдно было бы даже и потихоньку взять денег у такого эгоиста, эксплуататора и самодура, как родитель Александра Кузьмича... А вы как думаете? — говорила неугомонная Алена Николавна.

— Ну, уж насчет этого не знаю, как вам сказать...

Это ваше рассуждение! — промолвил, нахмурившись, Федот Семеныч и опустил глаза.

— Так вот, Василий Якимыч, милости просим,— обратился к Проскурову Кошатников.— У меня все готово... Какие будут ваши условия?.. Я ничего не пожалею, сколько могу... Коли сойдемся, так вот поедемте: и квартира вам готова, и сторож нанят, он и прислуживать вам будет...

— Между нами условий никаких быть не может,— отвечал Василий Якимыч.— Сколько заплатите, то и ладно, лишь бы мне сытым да одетым быть, вот и все... Об этом и толковать нечего... Я здесь совсем... Федя меня позвал от вашего имени,— я и приехал вовсе...

— Браво!.. Вот это люди! — восторженно вскричала Алена Николавна...— Вот, Федот Семеныч, вот каких людей мы ищем, вот каких, надеемся, образует школа и ученье!.. Людей, которые идут на дело не из-за рублей, а из любви к нему, из желания сделать пользу!.. Вот, заикнись только Василий Якимыч о рублях, заговори только о жалованьи, начни торговаться, я потеряла бы к нему половину уважения, а теперь я вновь хочу пожать его благородную руку...

— Вы преувеличиваете... Что же я сделал такого?— конфузливо говорил Василий Якимыч.

— Нет, нет, оставьте... Не преувеличиваю я, а говорю искренне...

— Вот видите,— продолжала она, обращаясь к Федоту Семенычу,— мы можем деньги взять потихоньку для общего дела, что называется, по-вашему: украсть! И мы же всегда готовы для общей пользы пожертвовать всеми своими интересами, даже самими собой... Вы, хороший человек старого поколения, способны презирать за это нас, молодежь?.. Ну-те-ка, скажите, по совести...

Федот Семеныч взглянул на Алену Николавну и улыбнулся.

— Добрые вы, я вижу, только горяченьки,— сказал он.— А украсть все-таки не украдете...

— Нет, украду... со спокойной совестью украду,— горячилась Алена Николавна,— но это не будет воровство в моих глазах... Он обворовывает, обирает народ, живет его трудом, его кровью и его тяжелыми заработками, набивает свой карман, следовательно, взявши у него для общего дела, для общей пользы, я только воз-

вращу отнятое насильно тому, кому оно принадлежит по праву... Вы ведь уважаете людей, которые владеют огромным богатством?.. Признайтесь,— уважаете вот, например, его отца?..

Алена Николавна указала на Александра Кузьмича.

— Признайтесь, ведь в ваших глазах его отец чуть не великий человек, перед которым все должны преклоняться, благоговеть и унижаться?.. Так ведь?.. Не правда ли?..

— Что же? Правда!.. У нас Кузьму Иваныча все почитают!.. Да он и стоит того,— сколько народа от него кормится!.. Опять же он человек добрый, благотворительный; вон мосты строит, которые большие, не под силу мужикам; покорным, почитай, никогда у него отказу нет,— всегда помогает... И так милостыню подает, вот когда поминки али что... Тысячи народа к нему издалека собираются, на лошадях приезжают за подаянием, значит хорошо оделяет,— за пустым местом не поехали бы!.. И к мужику не прижимист, всегда льготу даст, если мужик без грубости, повинится и милости попросит.— Это уж я знаю по своим делам и по разговорам его... Как его не почитать?.. Всякий его уважит, потому для всего общества человек полезный. Всегда скажу!.. И не из того говорю, что сынок его здесь, а и не будь его, то же бы сказал!..

— О, я так и думала!.. А я вот тоже при Александре Кузьмиче скажу, что в моих глазах его отец не больше, как эксплуататор, грабитель, который без стыда и без совести обирает народ, жиреет и богатеет на счет других да еще грошовыми подачками заставляет этот же обобранный им народ считать себя своим благодетелем... Вот как я понимаю вашего Кузьму Иваныча и всех ему подобных!.. И поверьте, не я одна, а вместе со мною и вся передовая, развитая молодежь!..

— Про других не знаю, а что от вас слышу, так довольно мне это удивительно, особенно как сказали вы, что ихних внучат учите, стало быть в их доме живете, ихную хлеб-соль едите да, поди, еще и жалованье не малое получаете...

Алена Николавна искусственно и преувеличенно расхохоталась.

— О, если бы вы даже этого и не высказали, я знала, что вы это думаете!.. Как, в самом деле? Жить в до-

ме, получать жалованье и о хозяине своем так думать?!. Да в этом-то и вся сила, этим-то наше поколение и не похоже на ваше, этому-то вот, вместе с грамотой, мы и хотим обучить наш бедный, загнанный, невежественный народ, чтобы он не думал, что богатый купец, нанявши его в работники и платя ему жалованье, оказывает ему милость и благодеяние, а понимал бы, что купец при этом обирает его и отдает только малую частицу того, что ему следует!.. Вы рассудите только. Кто производит весь этот товар, с которого купец наживает барыши? Ведь рабочий? Так?.. Отчего же он из своего барыша отдает рабочему только какую-нибудь копейку с рубля, а остальное берет себе?.. По какому праву?.. Он нанимает рабочего за сто рублей, а тот ему сработает на тысячу... Зачем же он берет все эти деньги себе, а не делится с рабочими?.. Разве это не грабеж?.. Да еще мало этого,— он старается и эту-то ничтожную плату уменьшить... Как бы еще подешевле платить... И вот рабочие в нищете, в лишениях, а он строит дворцы, роскошествует, не знает, что делать со своими деньгами... И этаких людей вы называете благодетелями народа, людьми, полезными обществу!.. Вы умный и честный старик,— все это говорят и я сама вижу,— а потому так откровенно и высказываюсь перед вами... Вы подумайте о моих словах!..

Теперь Федот Семеныч в свою очередь улыбнулся, но скромно и сдержанно.

— Уж вы так, кажись, сударыня, полагаете,— сказал он добродушно,— что мы вовсе ничего не думаем... А, может, все это давно уж передумано... Не от первой от вас слышу я эти речи. Говорят их и мужички, которые бахвалистые, слыхал их и от господ, кои свои достатки порасстроили и завиствуют на купеческое богатство... У народа нашего русского, простого, зависти нет,— он бога благодарит и за малое!.. Все уж это переговорено и пересужено... И об этом, если толком говорить, надо много и долго... А вот вы мне что молвите. Вот вы хотите, чтобы весь народ думал так, по-вашему, тому обучать его хотите и втолковывать... Ну, а будет ли лучше-то, как ежели он переймет все это с ваших слов? Как полагаете?..

— Без сомнения, лучше!..

— А чем же?.. Что тут народ поделает?..

— Мало ли что!.. Он будет делать стачки, отказываться от работы, под угрозой остановки фабрик может вынудить повышение платы, уменьшение рабочих часов, даже участие в прибылях...

— Не одолеть бедным людям богатого... Не угрозят ему тем, что фабрика станет, — переборет он их... На место бунтовщиков тотчас другие охотники найдутся... А и разорят они купца,— положим так, станет фабрика, совсем закроется. Кому какой от того барыш? Только лишнего заработка себя лишат... А там суд да взыск с бунтовщиков,— и вовсе значит себя разорят... Не люблю я фабрик, не по мысли они мне, потому народ портят, от земли отбивают... Ну, да народ пока рвется на них,— видят, лишний рубль можно заработать... На купцов не жалуются, а еще хвалят, благодарят и кланяются, что работу дают... Остаются довольны... На что же вы хотите учить его своей-то науке, коли она вовсе и не нужна ему?.. А ну, как он так вашу науку поймет, что коли нас грабят, так стало и нам грабить можно, да разбоем пойдут на богатых-то купцов?.. Разве не может статься?..

— Это было бы, может быть, лучше всего,— воскликнула Алена Николавна.

— Ну, уж, сударыня, извини ты меня... Это, выходит, язык без костей,— все скажет!.. Ведь разбойник-то человек бессудный; он не станет разбирать, не одних купцов, а, пожалуй, и тебя заденет, и другого, третьего оберет, кои ни в чем не виноваты и не причинны... На кого ни взглянет, на всякого позавиствует, что ни увидит, все ему подавай, все ему мало... Да об этом и подумать-то, так... не приведи господи!.. И говорить-то страшно!.. А не то что — лучше всего!.. Нет, уж это ты, по женскому своему разуму, перемахнула слишком... Без всякого рассудка сказала! Извини ты меня!.. Не обидься!..

— Ну, дедушка, ничего,— я не обидчива! — отвечала Алена Николавна со снисходительной улыбкой.— Не бойся, не рассержусь... Где же тебе и понять настоящий смысл моих слов... Мне, конечно, не следовало бы и заговаривать с тобою об этих вопросах... Они очень чужды вашему мировоззрению, вашим привычкам,— я понимала это вперед... Помните, сказано: в меха старые нельзя вливать вина нового!.. Но я увлеклась общими похвалами о вас *наших*, тем доверием, которое они

вам оказывают... Я, впрочем, уверена и теперь, что вы не доносчик какой-нибудь!.. Во всяком случае вы здесь между друзьями, которые, заметьте, все думают одинаково со мною... Ведь, вы, конечно, доносить на нас не будете?..

— Доносить! — усмехнулся Федот Семеныч.— О чем доносить-то?.. Разве от ваших разговоров что станется?.. Правда, что век прожил,— дураком не считали, а уж если я ваших слов в толк не возьму и к сердцу не примаю, а так думаю, что с ветру вы это говорите, так кто вас слушать-то будет?.. Подите, поговорите, попробуйте!.. Доносить!.. Смешная вы, сударыня... Право!.. Да вот Федюша-то из ваших, говорите, и тоже рабочий на фабрике, а спросите-ка его, согласен ли, чтобы рабочие на него разбоем пошли, ограбили бы его и фабрику бы его разнесли?.. Чудная, сударыня... право, чудная!.. Желаем, говорит, этого!.. Лучше бы всего было!..

Федот Семеныч добродушно смеялся.

— Вы, Федот Семеныч, не совсем так приняли слова Алены Николавны,— заметил Проскуров; — она про разбой не говорила, это вы сами сказали... Она говорила почти то же самое, о чем и мы давеча дорогой с вами толковали, слова только другие подошлись...

— Как то же самое? Что ты!.. И украсть, говорит, хорошо! И ограбить можно — и следует!.. Коли я беден, а ты богат: ну, значит, ты грабитель, ограбил меня, а я должен тебя грабить... Вот ведь она чему учить-то хочет!.. Как же это не разбой?..

Федот Семеныч усмехался.

— Ну, довольно, довольно, дедушка,— перебила его Алена Николавна.— Положим, я не совсем то говорила, да оставим это, напрасно только опять поднимать об этом разговор, а нам время бы, Александр Кузьмич, ехать... В школе ведь хотели побывать... Вот, кстати, возьмемте с собою Проскурова и водворим его на новосельи...

— Ах, в самом деле... Поедемте,— отозвался Александр Кузьмич.— Это отлично!.. Только негде нам посадить-то вас... Нельзя ли бы лошадь промыслить?— обратился он к Феде.

— Да пускай мой ямщик отвезет,— сказал Федот Семеныч.— Разве что далеко?...

— Нет, близехонько, всего с версту отсюда...

— Ну, так чего же тут... Скажи ему, Федя, чтобы довез... Рад я, Василий Якимыч, что ты на хорошее место попал... Дай бог тебе обжиться здесь... Только не учи, брат, ребят этому, что вот сударыня говорила... Ребята малые,— они, пожалуй, как раз переймут, это не мы, дураки старые... Вон уж, слышал, и без науки-то вашей, сами по себе, какие они песни здесь переняли...

— В одном, дедушка, не сомневайся,— подстала Алена Николавна,— наши ученики, если только не забудут наших наставлений, будут людьми честными, подлости никакой не сделают, но и унижаться не станут, а сами за себя постоят!.. Ну, прощайте же, дайте вашу руку, расстанемся друзьями!.. Мы хоть и не сходимся с вами в убеждениях, но, я вижу, вы честный старик!..

Алена Николавна крепко сжала и сильно потрясла руку Федота Семеныча.

— Ну, Параня, так будешь ходить в нашу школу по воскресеньям?.. Я сама буду тебя учить,— обратилась она к Паране.

— Коли время позволит, так отчего же? — отвечала Параня.

— Ну, как времени не найти... Мы надеемся, что ты и других своих товарок будешь зазывать, а Чернушкин — рабочих... Ты и не заметишь, как выучишься, мы ведь не по-старому будем учить,— у нас через два-три месяца и читать, и писать будешь уметь...

— Добро бы это,— подстала молчавшая до сих пор Дарья Тихоновна.— Покорно вас благодарим за вашу ласку... Как ей не ходить, будет беспременно ходить... А что же, у меня, вон, самоварчик поспел... Чайку бы удостоили, откушали...

— Нет, нет, некогда... В другой раз когда заедем...

— Да что же это,— я сейчас бы ведь... Вот и они с дорожки-то откушали бы...

Дарья Тихоновна указала на Проскурова, но тот тоже отказался. Александр Кузьмич молчал; он с удовольствием бы посидел еще здесь, где была Параня, но боялся это обнаружить. Он плохо даже слышал, о чем говорили и спорили вокруг него, он заботился во все время только о том, чтобы незаметно для Феди взглядывать на Параню. Он хотел было предложить, чтобы и Федя, и Федот Семеныч ехали вместе с ним под предлогом осмотра школы и взяли бы с собою Параню, но

не решился сказать и уехал расстроенный и недовольный.

А между тем Федя ревниво наблюдал за ним и за Параней, заметил их робкие взгляды, их смущение,— и молча страдал...

V

Федот Семеныч с Федей вышли проводить гостей, но после их отъезда старик не пошел в избу, и остановил Федю на улице.

— Ну, вот просил, я приехал,— сказал он.— Почто же звал? Говори здесь... Там, может, при бабах, нескладно будет нам разговаривать... Анна мне все рассказала, и старик твой жаловался на тебя... Ты его слушать не хочешь... На что же я-то тебе?.. Меня, чай, и подавно не послушаешь?.. Ну, говори... Потолкуем...

Федя забыл о намерении своем просить содействия Федота Семеныча к убеждению отца — согласиться на его женитьбу; в настоящую минуту он видел в нем только друга, который разрешит его сомнения, устранит мучительную тревогу, которая наполняла его душу.

— Видели вы ее? — спросил Федя.

— Кого это?... Невесту-то твою нареченную, что ли?

— Да, Параню.

— Как же не видеть, сам знаешь, что видел...

— Ну, как она вам показалась?..

— Как?.. Девка как девка... Пригожа, смазлива, а там... кто ее знает, сразу разве покажется...

— Я на ней беспременно женюсь, Федот Семеныч, не сжить мне без нее...

— Ты ведь уж и отцу то же сказал... Никого слушать не хочешь...

— Про нее это все напрасно... Она ни в чем не виновата, она хорошая, честная!.. Разве она вам не показалась чем?..

— Да много ли я ее видел?.. И речей от нее, почитай, никаких не слыхал...

— Поговорите вы с ней, Федот Семеныч, попытайте вы ее. Для меня, батюшка, родимый!..

— Да насчет чего попытать-то?.. Что, подуривать,

что ли, она стала, замечаешь?.. Обманывает, что ли, тебя?..

— Ой, нет, нет... Грех это сказать... А мучит меня, неспокоен я стал, место здесь, фабрика, нехорошее... Народ такой... бедовый!.. А жениться скоро нельзя... Будем ждать да ждать, а как кто ее сманит от меня, как надоест ей ждать-то... Куда я денусь?.. Я пропаду тогда... Измучился я совсем!.. Посоветуйте мне, Федот Семеныч, помогите... Я на вас, как на отца... Вы умный, вы меня любите, я знаю! Тяжело мне, так тяжело!..

— Да, в чем помочь-то тебе, дурашка?.. А совет мой тебе один будет: брось ты их, уйди отсель, вовсе с фабрики уйди, куда подальше... А то пропадешь, пожалуй...

— Как, от нее-то уйти?.. От Парани?.. Нет, Федот Семеныч, нет!.. Пускай уж лучше пропаду, а мне от нее по доброй воле не уйти... И не уйду, и ее из глаз не выпущу, сторожить стану, никому не отдам!.. Я, кажется, нож всажу всякому, кто подойдет-то только к ней близко!.. Себя не пожалею, а ей либо за мной быть, либо...

— Стой-ка, стой... Вот что, Федор, мне непристойно и слушать-то такие речи... Я тебя не затем на фабрику представил и не того от тебя ждал. Я думал, ты дело делать хочешь, работать... А это, выходит, беспутство!.. Слышу — жениться хочет, полюбил девку и она его тоже... Говорят, мать ее такая-сякая... Ну, думаю, бывает, что дочь и не по матери выходит, а, значит, уж судьба его такая... Не всегда и родители потрафляют,— бывает, ошибаются, это дело от бога, кому какая судьба!.. Думаю себе, зовет, поеду, посмотрю, коли уж не больно зазорно,— попрошу отца, чтобы очень-то не теснил его.. Что делать-то?... Сам не дурак, видит!.. А теперь с твоих слов выходит, что либо девка эта вовсе беспутная, либо в тебе блажь какая ходит.. Говоришь неведомо что, тоскуешь, ножом похваляешься,— и к свадьбе дело не подвигается, и сторожить ее хочешь... Нет, видать, что тебя закружили, одурили совсем... Я тебе тут не помощник и не советчик!.. Да, признаться сказать, и все мне тут не по мысли, и дружество это, и с учителем тайности, и разговоры все эти... и учительша эта блажная!.. Нет, Федя, нехорошо, нехорошо, не того я ждал!.. Правду отец говорил, что надо бы тебя отсюда хоть силой взять... Пожалуй, что лучше будет, сам будешь после благодарить, хоть перво и посердишься...

— Нет, Федот Семеныч, хоть этого-то вы батюшке не советуйте,— пускай не делает, пути не будет... Нет, вы попросите лучше батюшку, чтобы он ни о чем не думал, не теснил бы меня, а дал бы мне волю. Я сам по себе лучше, а будете силой разводить с Параней,— хуже сделаю... На мое счастье и без того завиствуют, так пускай уж хошь домашние-то горя не прибавляют...

— Кто это тебе завиствует?.. Экое счастье твое, подумаешь! — насмешливо сказал Фетод Семеныч.

— Вы не смейтесь, Федот Семеныч... Я вижу... и все понимаю!.. Сердце — вещун!.. Недаром здесь, на фабрике, Параня хуже стала... Там, в деревне, я Кириллы боялся, а здесь приходится, видно, еще больше опасаться.. Правда это, что бедные на богатство завидуют, а уж богатые-то рады все отнять у бедняка,— не то что последнюю суму снять, а что и в душе-то у него, в сердце, и то вытащить,— и то, дескать, ему лишнее, мне надобно... И неужто вправду они какие милости делают людям?.. Нет! Кто им ненужен, ничего тот с них не получит, и если дают что, так или потому, что самим нужно взять с того человека, или добиваются, чтобы им кланялись, хвалили, прославляли... Совести, жалости у них нет к людям!..

— Ну, Федя, убил же ты бобра, выбрал же сам себе суженую, коли уж теперь, ничего не видя, еще до женитьбы, она до таких дум да до этаких речей тебя довела... На себя ты не похож...

— Нет, это не она довела, Федот Семеныч... Это так, только к слову пришлось, а как пожил я здесь, посмотрел на все порядки, так точно увидел и по себе, и по другим, что все на том держится, как бы на бедного человека получше нажать да побольше из него вытянуть!.. А хуже всего то, что и за человека-то бедняка не считают!.. И в деревне это видно было, да не так, как здесь... И хоть вам и не по мысли было, что Алена Николавна говорила, а, пожалуй, что много и правды есть в ее речах... Василий Якимыч еще прежде мне много похожего рассказывал, а теперь и сам вижу... И правда, все это оттого, что народ у нас добрый и неграмотный.. Думает, что всему так и следует быть,— все терпит, что с ним ни делают!..

— Ну, Федор,— прервал его Федот Семеныч,— угостил ты меня сегодня... Спасибо!.. Наслушался я много

хорошего со всех сторон; денечек сегодня мне выпал,— нечего сказать... Было зачем вызывать меня, мою старость тревожить!.. Спасибо, утешил!.. Прощай, брат!.. Вон мои лошади возвращаются, я домой поеду... Мне здесь делать больше нечего... Прощай...

Федя спохватился.

— Федот Семеныч, да за что же вы прогневались на меня?.. Я ведь вам как отцу, что на душе,— все говорю... Тяжело мне было, не стерпелось, вот и сказал, что на уме было не с сегодняшнего дня... В другой раз, может, остерегся, промолчал бы, сам в себе передумал, а сегодня проговорился... Вы не гневайтесь на меня, ради христа...

— Что мне гневаться?.. За что?.. Да и что с моего сердца будет?.. У всякого свой царь в голове, всякий по-своему думает... А только и похвалить нельзя и радоваться нечему!.. Давно, брат, уж я вижу, что все как-то идет не в порядке... Старшие спились с круга, всякую правду, и суд, и совесть на одну водку меняют, без нее шагу не ступят!.. А молодые... Одни беспутничают, шалберят... Никого знать, ничего путем делать не хотят, к чему-то рвутся, чего-то ждут, на наши слова смеются... А другие, которые поумнее, на кого надежда,— те вон какие речи говорят, какие думы думают!.. Вон вас компания какая: учитель бедняк, купецкий сын богатый, ты — мужик простой да еще барыня ученая... А все вы заодно, и все одно думаете... И своим думам народ учить хотите... О тебе я полагал, что нет тебя смирнее, добрее и покорнее, что ни до чего тебе нет дела, кроме своей работы, и что разум у тебя твердый и душа христианская... А теперь вижу, что и в тебе не наш старый дух, а новый какой-то... Может, так и надо, не знаю я, вы умнее, ученее... А только страшно мне и неприятно!.. Жалко тебя и досадно на тебя!.. Вижу, что ничего мне против вас не сказать: забьете вы меня словами, а моих речей даже и слушать не будете, либо хошь и выслушаете из совести, так не поверите... И ты хошь промолчишь, чтобы не согрубить, не обидеть старика, а сделаешь все по-своему... И — знаешь что, Федя? — никогда я так не думал, что я стар и никуда негоден, как сегодня, особливо при твоих речах... Слава богу, что скоро уйду из старшин и что хату себе сиротскую выстроил, уйду и запрусь в ней ото всех... Да, не годимся мы, старики, про

вас,— управляйтесь сами!.. Только одно тебе скажу, любя тебя: береги свою голову, пожалей себя!.. Ну, прощай, Федя; не сержусь, брат, я,— не бойся!.. Только что... нет, не гожусь я больше!.. Думал ведь я про себя, что умен, что все вижу и понимаю, всех в руках держу и пользу миру делаю, а выходит,— никуда я не гожусь. Сына вырастил... сам знаешь, каков... и в тебе не умел досмотреть и понять, что делается... и любил тебя совсем не за то, что есть в тебе... Думал, что ты то же, что и мы,— только пограмотнее, поученее... Мы и не то перетерпели и пережили, да у нас и похожего на ваши думы в головах не было... Ну, прощай, Федя!.. Люблю я тебя... Во всякой нужде приходи, ровно к отцу или к брату, а теперь делать мне нечего...

— Да хоть зайдите, Федот Семеныч, чайку покушайте... а то я буду думать, что огорчил вас, прогневил... Мучиться буду...

— Нет, нет... Слышишь, ничего!.. А так мне самому ровно как горько, тяжко стало...

— Да и перед домашними-то моими неловко мне будет... Ну, как им сказать, что вы не захотели зайти, уехали, от чашки чаю отказались?.. Подумают, гнушаетесь... Хоть для меня зайдите... Там ведь ждут...

— Ну, изволь, для этого зайду, пожалуй, на минутку... только не говори со мной ни о чем об этаком... А помни одно мое слово, береги свою голову!.. Дорогая она, не того стоит!..

В избе за чаем Федот Семеныч очень ласково разговаривал с Параней, шутил, смеялся, сказал даже несколько слов с Дарьей Тихоновной, но ни одним словом не коснулся женитьбы Феди и вообще его отношений к невесте. Уезжая, он обнял Федю, расцеловал и, садясь в сани, шепнул ему на ухо:

— Еще прошу, ради христа, оберегай ты себя...

— Я вас провожу маненько, Федот Семеныч,— говорил Федя.

— Нет, зачем?.. Знаешь, лишние проводы... Оставайся с богом!.. Прощай!.. Все уж переговорили ведь...

— Да вы хоть мне скажите, что Аннушка? Как Кирилла? — спрашивал Федя, идя рядом с двинувшимися санями и придерживаясь за них.

— Все, брат, то же... Все одно... Ничего нет ни нового, ни хорошего... Эх, лучше бы не поминал!..

Федот Семеныч с отчаянием махнул рукой.

— Прощай, Федя... Прощай! — прибавил он таким тоном, который как бы просил оставить его одного с самим собой.

— Прощайте, Федот Семеныч... Поклонитесь батюшке... Скажите, чтобы не думал, не сомневался обо мне... не боялся бы ничего... Не трогал бы меня,— упрашивал Федя, но быстро двинувшиеся лошади оторвали его руку от саней, и он должен был остановиться, не расслышавши ответа Федота Семеныча. Он видел только, как старик обернулся, дружелюбно кивнул ему головой и перекрестил его на воздухе.

Глубоко тронутый этим последним выражением любви старика, с тоской на сердце, с мрачными, нерадостными думами медленно возвращался Федя к своей избе. В первый раз еще он не рвался к Параше, ему хотелось остаться одному и как бы разобраться в наплыве разнообразных мыслей и ощущений дня. Он миновал свой дом, прошел через всю деревню в ту сторону, куда уехал Александр Кузьмич, подальше от праздничного шума. Он вышел за околицу и в поле.

«Неужто в самом деле Александр Кузьмич ухаживает за Параней, и та ему отвечает?..— думал он на свободе.— Ведь он клялся мне, обещал, что этого не будет... Зачем же эти осторожные взгляды? Зачем Параня улыбалась на них?.. А пьяная баба?.. С чего это она сказала?.. Ведь не так же, зря, она выдумала?.. И Параня совсем не та стала, какая-то степенная стала, не как прежде, не улыбается, не хохочет, точно все о чем думает и мной все недовольна, на бедность, на нужду, на скуку жалуется, и ни ласки, ни привета, ни шутки от нее не вижу, а о свадьбе как она давеча сказала!.. И зарделась она вся, как он давеча подъехал... И он точно сам не свой... Вот она, купеческая-то совесть!.. Он хоть и лучше других, а все же купец, богатый, балованый... У них все на деньги,— что захотел, сейчас купил, переманил... Думает и от меня деньгами отделаться... Что, дескать, ему... Я потешусь, а он женится после!.. Разве он мое горе, мою муку понимает?.. Вот будь я голоден, не одет, в рубище, обижай, бей меня кто-нибудь другой на его глазах, он пожалеет, потому — добрый, поможет, пожалуй даже вступится, коли посмеет, это ему ничего не стоит!.. А тут надо от самого себя отказаться... Самого

себя переломить, из-за совести, из-за жалости к другому самому себе горе сделать или хоть радости, забавы себя лишить... Нет, ему этого не сделать, не станет его на это!.. Да если бы и в том деле, если бы он знал, что ему действительно большая беда может быть, разве бы он пошел на это?.. Перед Аленой Николавной ему стыдно, хочется себя показать, да скучно, делать нечего... ну, и на отца досадно, что воли никакой не дает,— вот из чего все!.. А сделайся-ка он сам полным хозяином, дай ему все капиталы в руки... ну, может быть, подобрее бы других был... а с нами заодно не пошел бы... Нет, не пошел бы!.. И Алена Николавна?.. Эта из-за чего?.. Жалованье большое получает, живет в полное свое удовольствие?.. Что ей до народа и сам-деле?.. Разве она была в этой шкуре, знает что-нибудь?.. Так, понаслышке да из задора... Около таких людей водилась, наслушалась, в книжках начиталась... За что ей любить и жалеть мужика, коли с богатыми купцами водится?..»

Размышления Феди вдруг были прерваны вылетевшим к нему навстречу из-за перелеска рысаком Александра Кузьмича. Конь был пущен во всю свою рысь и несся точно на крыльях, как видно, к полному удовольствию седоков, веселый говор которых смутно слышался Феде. Не по мысли была ему эта встреча в настоящую минуту.

Он невольно остановился и осмотрелся по сторонам, как бы ища места, куда бы спрятаться; но кругом него было чистое поле.

Федя повернулся и пошел назад; он надеялся, что, авось, его не остановят и проедут мимо: но меньше чем через минуту рысак был возле Феди и, осаженный вовремя, поровнялся с ним и пошел шагом, фыркая, покачивая головой и прядя ушами.

— Как бежит!.. Прелесть! — сказал Александр Кузьмич, обращаясь к Феде.

— Да,— угрюмо и стараясь не смотреть на него, отвечал тот.

— Как ты попал сюда? Вот нежданная встреча! — опять промолвил Кошатников.

— Так... шел...

— А я очень рада, что мы встретились,— заговорила Алена Николавна,— по крайней мере, переговорим теперь же... Ну, Проскурова мы вселили и устроили... Он

остался всем очень доволен... Да ему, впрочем, ничего и не нужно, кроме дела... Да, это, действительно, человек хороший, от него можно много ждать!.. Я с ним поговорила!.. Чернушкин, да что вы какой мрачный?..

— Нет... Я ничего,— отвечал Федя, стараясь казаться спокойным.

— Как ничего?.. Разве я не вижу...

— Да, да... Есть что-то,— подтвердил и Кошатников.

— Ничего нет,— упрямо и сухо отвечал Федя.

— Где же ваш старик?..

— Он уехал.

— Уехал?.. Так скоро?.. Куда же он поехал? — беспокойно спросила Алена Николавна.

— Домой уехал.

— Да вы не поссорились ли с ним из-за чего-нибудь?

— Не из-за чего мне с ним ссориться, я его люблю и уважаю, как отца родного... пожалуй, еще больше... Я от него все выслушаю, что бы он ни сказал, и никогда не обижусь и не согрублю...

— Ну, так с невестой повздорили, что ли? — насмешливо спросила Алена Николавна,— вы ведь чувствительный юноша... Влюбленный!..

Александр Кузьмич при этом вопросе быстро отвернулся и стал внимательно рассматривать сбоку походку лошади. Федю передернуло, но он старался сдержать себя.

— И с невестой мне не из-за чего вздорить,— сухо отвечал он.

— Ну, однако, Чернушкин, скажите мне, пожалуйста... Меня очень беспокоит... Я давеча увлеклась и чересчур, кажется, высказалась при вашем старике... Вполне ли вы уверены в его честности?.. Хоть Проскуров и успокаивает меня, но все-таки ваш старик ретроград и обскурант, в этом вы меня не разуверите... А вот скажите, по крайней мере, вполне ли вы уверены, что он не донесет?..

— Федот Семеныч станет доносить! — возразил Федя.— Таких людей немного на свете, как он!.. Он ничего не боится и все делает прямо. Если бы он собирался доносить, он прямо бы вам это сказал... Да и о чем доносить?.. Что поговорили, так от разговоров немного сделается...

— Ну да ведь кто как смотрит. В словах выражает-

ся идея, обнаруживается мировоззрение, по ним можно судить о намерениях и целях... Конечно, вероятнее всего, что он ничего не мог понять... и я очень этому рада... По крайней мере, не сумеет пересказать, что слышал...

— Напрасно вы думаете, все он понимает и видит дальше другого... Но только доносить о каждом пустом разговоре не станет, не такой он человек!..

— Но мне странно, Чернушкин, мне кажется, вы-то сами не понимаете, что в словах иногда вся суть дела, что за слова преследуют больше всего... потому что за словами всегда следует дело, с которым управиться потруднее... Неужели вы этого не понимаете?..

— Разговоров-то я много слышал, только дела еще не видал никакого...

— Надо же было сначала организоваться, обдумать, собрать силы, а теперь начнется и дело... Вот школа уже есть... Потом станем влиять на рабочих... О-о, Чернушкин! Да вы мне становитесь подозрительны... Или вы вовсе никогда нам не сочувствовали и только притворялись в расчете в самом деле на купеческие милости, о которых говорил давеча ваш старик, или вы теперь, когда начинается дело, испугались, хотите отлынивать, даже изменить нам?.. Так помните, что эта измена для вас будет самая гнусная... Помните, что на нашем знамени стоит: народ, служение ему, все для народа... А вы сами из народа и первый собираетесь убежать из-под этого знамени... Это позорно, Чернушкин, гнусно!..

Федя вспыхнул. Глаза его загорелись.

— Полноте, Алена Николавна, Я мужик... мужиком родился, мужиком и останусь!.. Мне от своего брата убежать нельзя я завсегда с ним и телом, и душой... И горе, и нужду его я знаю... Стану я говорить с ним, он меня и слушать будет, и поймет, и поверит!.. На миру коли сказали всем стоять за одно, так все и стоят, потому одному больно — всем отзывается... Какая тут может быть от меня измена, не откажусь же я сам от себя!.. И коли до дела дойдет, не испугаюсь и не побегу!.. А вот, что вы-то с Александром Кузьмичом делать можете?.. Вас-то слушать будут ли?.. Поверят ли, что вам есть какая забота о бедном народе, когда вы живете в каменных купеческих палатах, катаетесь на рысаках, рядитесь вон как... Кто поверит, что вы мужицкое горе знаете и помочь ему хотите?.. Да и сумеете

ли, если и в сам-деле захотите?.. Вот вы-то оба не испугайтесь и не сбегите скорей меня...

— Ну, Чернушкин, если все это искренне, что вы сказали, я нисколько не сержусь на вас... Напротив, очень рада, что вы, наконец, высказались, и уважаю вас, хотя вы говорили и грубо, и обидно... Придет время, я вам докажу себя!.. Дайте руку...

— Он сегодня ужасно раздраженный какой-то,— сказал Александр Кузьмич с ласковой улыбкой.

— Будешь раздражен, Александр Кузьмич,— сказал Федя, метнув на него вызывающий, многозначительный взгляд,— когда... Эх, да поезжайте вы вперед, ради создателя!.. Что вам ко мне приставать... И без того тошно!..

Федя остановился и отвернулся в сторону. Кошатников тронул лошадь.

— Чудной он сегодня!— заметил он, уезжая.

— Действительно, он должен смотреть на нас с презрением на этом тысячном жеребце, в этой обстановке,— промолвила Алена Николавна.— Толкуем про труд, про горе рабочего, а сами катаемся на рысаке... Это действительно большая ошибка!.. Я этого никогда себе не прощу!..

Алена Николавна возвращалась домой расстроенная.

Федя, придя домой, ни слова не сказал о встрече и весь остаток дня был скучен и неразговорчив. Параня не решилась или не хотела его расспрашивать о причине такого расположения духа.

VI

Поездка Алены Николавны вдвоем с Александром Кузьмичом сделалась известною Лизавете Кузьминишне и, получивши характер случайно открытой скрываемой тайны, дала повод к разным соображениям, комментариям и выводам. Припомнилось, что в последнее время молодой Кошатников был особенно скучен и задумчив, что его нередко заставали в беседе с гувернанткой с глазу на глаз в присутствии одних только ничего не понимающих детей; было принято в соображение то обстоятельство, что Алена Николавна часто вмешивалась в разговор и принимала сторону Александра Кузьмича,

что и последний не только защищал иногда гувернантку перед ее хозяевами в случае их неудовольствия, но и указывал на ее доброту, нетребовательность, усердие в обучении детей, на ее ученость словом,— так расхваливал ее, как и не следовало бы вовсе молодому человеку, не имеющему никаких особенных видов на девицу.

«Как это я раньше-то не догадалась? Как это мне раньше-то в голову не пришло?— задавала себе вопрос Лизавета Кузьминишна.— Да нет, я замечала, и прежде замечала их содружество, только кто же мог это вообразить себе?.. Из себя ничего в ней нет этакого; ни кожи, ни рожи, ни белизны, ни запаса, ни приятности никакой особливой... Ни наряду этакого, чтобы заметного, а напротив даже того,— всегда в неглиже; и юбок-то, так, кажется, одну только юбку надевает, и то не крахмаленую!.. Разве что разговором своим, языком взяла?.. На язык бойка, точно, дай только волю!.. Ну, да что, кажется, для этакого мужчины, как Александра, что значит один женский разговор, особливо же по науке: этим не завлечешь... И опять это,— Кошатникова сын и губернанка!.. И представить-то этого себе, кажется, невозможно!.. А бывает, все бывает, все случиться может. Сидит да сидит один, хоть бы и Александра, женского пола только и есть, что я да прислуга... Ну, правда, целая фабрика тоже... Да это все не то, надоест!.. Для компании-то нет никого из женского пола: вон он тоже все насчет наук да насчет книжек любит поговорить... Вот и заговорила она его... беспременно, что заговорила, больше и быть не от чего: нечем ей взять!.. Да кабы только этак-то, так наплевать, куда бы не шло. Ну, дал денег, поезжай с богом, матушка, сама виновата, не с кого взыскивать, не докажешь!... Ну, известно, неприятно, хлопоты, разговоры, срам, да все-таки еще ничего!.. А вот беда, он совестлив, Александра, как он да задумает жениться на ней? Вот это — так беда будет настоящая!.. Да тут тятенька кажется... И боже сохрани, что будет!.. А бывали, и такие случаи бывали, что и миллионщики на низких, самых бедных женятся... Да вот недалеко ходить — Харитона Галактионыча сын... Что поделаешь, взял да женился на станового дочери... А капиталы тоже... немного разве послабее тятеньки будет... Отец-то уж после и бесился, и запивал с горя... и после свадьбы срамил молодых-то всячески, по всем визитам возил с музыкой, сами в ко-

ляске едут, а впереди на тройке в телеге мужиков куча пьяных в сковороды да в заслоны, в кастрюли бьют, песни срамные поют... Да ведь, пожалуй, тогда что хочешь делай, не развенчаешь!.. Живут теперь, как быть надо, муж с женой!.. Нет, мне надобно беспременно сначала самой с ней переговорить, постращать ее, попугать... А уж не возьмет мой страх, тогда и с Дмитрием Тимофеичем поговорить... Да я как заговорю с ней, так и узнаю всю подноготную, что у них там, так ли только, одно ее поведение... али она надеется от него?.. Может быть, ведь чего доброго, и обещание уж вытребовала от него — жениться на ней... Она бойкая, а он слабый человек, добрый, чувствительный!... Долго ли?..»

Лизавета Кузьминишна, как в тумане, припомнила подробности собственного брака, только на свое место ставила брата, а на место Дмитрия Тимофеича — гувернантку. Она велела послать к себе в спальню Алену Николавну одну, без детей, и заперлась с нею, приказавши предварительно осмотреть, нет ли кого лишних в соседних комнатах.

— Что за секрет такой, Лизавета Кузьминишна?— бойко, с улыбкой спросила Алена Николавна, видя эти таинственные приготовления.

Лизавета Кузьминишна, рассчитывавшая смутить гувернантку одним уже своим многозначительным пытливым взглядом, а затем намерением объясниться с нею наедине, при закрытых дверях, была сама поражена смелостью Алены Николавны.

— Ах, как ты, мать моя, бойка!.. Как бойка!.. Так я надивиться не могу!— говорила Лизавета Кузьминишна.— Да другая бы, кажется, на вашем месте смотреть-то не знала бы куда от стыда-совести... А эта?.. Еще усмехается!.. Да стыд-от есть в вас какой-нибудь, коли уж нет ни страха, ни совести?..

Лизавета Кузьминишна многозначительно ужимала губы, таращила свои ленивые заплывшие жиром глаза и старалась вообще придать своему лицу строгое, внушительное выражение.

— Да что это вы мне за замечания делаете? Что за вопросы задаете?.. С какой это стати?..

— А вот с какой, губерночка прекрасная... Я расскажу, все узнаешь, не беспокойся!.. О празднике я уезжала в гости, на чьих руках у меня дети оставались?..

Есть у меня для них губернантка, али нет?.. Платим мы вам за это жалованья, али нет?.. Для чего, позволь спросить, мы вас нанимаем, поим, кормим, подарки делаем?.. Вот ответь-ка ты мне на все это...

— Какие вы глупости спрашиваете... Тут и отвечать-то не о чем... Да для чего вы прямо не говорите, зачем эти обходы?.. Говорили бы уж прямо, я сейчас догадалась, к чему вы речь ведете... Вам, вероятно, донесли, что я уезжала прокатиться на какой-нибудь час времени,— так ведь я и няньку, и всех девушек просила присмотреть без меня за детьми... И что же, разве что-нибудь случилось?.. Дети здоровы, никто не ушибся...

— Да не в том только, сударыня... Этот-то раз — разом, что без хозяйки из дому от детей уехала кататься... Это уж тоже хорошо, не оправишься тем, что на няньку оставила. Мне что нянька, коли у меня губернанка про детей нанята, коли они ей на руки сданы... Это уж само собой!.. А главное-то дело, с кем кататься-то изволила и не час, а может три часа?.. А?.. С кем?..

— С кем?.. С Александром Кузьмичом!.. Точно вы не знаете — спрашиваете, ведь знаете...

— Знаю-то я знаю... И все очень хорошо знаю!.. Только разве пристало вам, губернанке, без хозяйки, потихоньку с холостым мужчиной, да еще с хозяйкиным братом, вдвоем неведомо где часа по три пропадать... А?.. Пристало это вам?.. Не зазорно?.. Ну-ка, вот теперь про это самое вы со мной и поговорите, и подержите мне ответ?.. Бойка-то очень... Ну-ка?.. Я послушаю...

— Да что же тут такого зазорного?.. Это ведь только в диких нравах здешнего темного царства считается зазорным, если девушка с мужчиной останутся одни, вдвоем, и будут разговаривать между собою... А я это считаю... ровно ни за что... Мне и рассуждать-то об этом смешно, а не только оправдываться!..

— Да вы где живете, в чьем дому, в своем, что ли?.. Как вы здесь живете-то у нас, по найму али сама себе хозяйкой?.. И коли я вам говорю, хозяйка ваша, что по здешним местам та девушка путная, которая глаза стыдится на мужчину-то поднять, а которая сама забегает, да заговаривает, да норовит, как бы с холостым человеком в компании время провести... такая безо всякого поведения считается... Так что же вы мне говорите?.. Какое мне дело до ваших-то понятиев?.. Вы мои соблюдайте,

что мне нужно, а не свои!.. Какая вам пара, какая компания брат Александра?.. Что он вам — сродственник, что ли, близкой, чтобы с ним в саночках-то раскатываться вдвоем, без кучера?.. Али в женихи, что ли, закрутить его собираетесь?..

Алена Николавна засмеялась.

— Да, в женихи, в женихи его прочу!.. Миллионы его хочу захватить, купчихой Кошатниковой сделаться!..

— Да чему ты, мать моя, смеешься-то? — спрашивала Лизавета Кузьминишна, недоумевая и сердясь.— Я не на смех говорю, не шутки шучу... Я ей выговариваю, а она смеется!.. Бесстыжа уж очень... Смеется!.. Неведомо чему!..

— Да как же не смеяться коли вы мне смешны...

— Как смешна!? Как, я смешна?.. Я, хозяйка, смешна?.. Да ты полоумная, что ли?.. Ведь я тебя прогоню, захочу — куска хлеба лишу...

— Вот она, буржуазная-то жилка, сейчас одна угроза: куска хлеба лишу!.. Да, знаю, жалко вам каждого куска хлеба, который вы не сами сжираете!.. О, вы, паразиты, паразиты презренные!.. Да, желала бы я иметь ваши миллионы, чтобы показать, что нужно с ними делать... Не хочу я вашего куска хлеба, и даже прогнать вам меня не удастся: не доставлю я вам этого удовольствия!.. Я сама ухожу от вас...

— Как уходите?.. Как? Куда?..

— А вам что за дело? Куда хочу, туда и уйду... Меня никто остановить не может!.. К мужикам пойду, черный хлеб буду есть с ними, их детей учить стану, сарафан надену, за мужицкую работу примусь!.. А на ваше чужеядное богатство, на ваше жранье, на вашу дурацкую роскошь плюю и презираю ее!.. Поняли?.. Нет, конечно!.. Тем лучше!.. Надоели вы мне до смерти!.. Ищите себе другую гувернантку... Я ухожу...

Алена Николавна пошла к двери и стала отпирать ее.

Лизавета Кузьминишна смотрела на нее вслед, выпуча глаза. Она была не столько рассержена, сколько поражена, даже испугана.

— Не сумасшедшая ли она? — мелькало у нее в голове.— Право, сумасшедшая... Чтой-то она такое наговорила-то?.. Батюшки мои, и не перескажешь!.. Вот обернется вдруг да бить станет!.. Закричать разве?..

Но Алена Николавна ушла, не оглянувшись даже на-

зад. Несколько успокоившись, Лизавета Кузьминишна послала за мужем, велела звать его сейчас же, по нужному, а Алена Николавна накинула салоп и пошла на фабрику разыскивать Александра Кузьмича. На дороге она встретилась с Дмитрием Тимофеичем.

— Это вы куда? — спросил он ее, остановившись.

— А вам что за дело? — резко отвечала Алена Николавна.

— Как же, однако-с... каким это родом вы говорите?.. Что мне за дело?..

— Очень просто, иду, куда мне нужно...

— Позвольте, однако же, как же так... А дети при ком же остались, коли ежели вы гувернантка?..

— Ах, надоели... Я отказалась... Сказала уже вашей жене, что не хочу более быть гувернанткой и ухожу от вас!.. Приготовьте мне деньги, сколько с вас следует, за прогульные часы можете вычесть... Спросите там Лизавету Кузьминишну, она вам все расскажет, а мне противно и разговаривать-то с вами!..

Алена Николавна ушла, оставив и Дмитрия Тимофеича почти в таком же недоумении, в каком ждала его Лизавета Кузьминишна.

Алена Николавна отыскала Александра Кузьмича на фабрике и отвела его в сторону.

— Знаете, что я сделала,— сказала она ему без всяких предисловий,— я сейчас отказалась от моей должности у вашего зятя и ухожу от вас.

Александр Кузьмич выразил изумление.

— Ничего нет тут удивительного. Разве я могла оставаться долго в этой затхлой атмосфере?.. Я давно задыхалась в ней... Но ускорило мою решимость одно обстоятельство. Помните слова Чернушкина о том, что народ нам не поверит и слушать не станет, потому что мы живем в каменных палатах, не делим с ним его нужды и горя, хорошенько не знаем его... Это была правда, горькая правда; она поразила меня, как упрек совести, и я тогда же решилась идти в народ, жить с ним одной жизнью... Я воспользовалась первым же столкновением с ожиревшей дурой, вашей сестрой... извините!.. которая вздумала было делать мне выговоры, наставления и гнусные инсинуации по поводу нашей с вами поездки тогда, на празднике... Я не стала с нею объясняться, впрочем, кое-что высказала ей, чего она, кажется, не

поняла даже, и отказалась... Ну, вот теперь в чем дело: где мне поселиться?.. Я хочу остаться здесь, чтобы продолжать наше дело... Вот что, пойдемте к Чернушкину, я хочу попроситься, нельзя ли мне поселиться с его невестой... Это было бы чудесно!.. Ну, а если нельзя, в таком случае на первое время я поселюсь в нашей школе, вместе с Проскуровым... Это ничего... Я без предрассудков... Мы уживемся с ним. Да это будет даже еще и лучше, и удобнее, пожалуй... Ну, да это увидим!.. Пойдемте же сейчас к Чернушкину...

Александр Кузьмич беспрекословно повиновался и пошел с Аленою Николавною, но он был изумлен и озадачен ее неожиданною выходкою.

— Как же вы так вдруг решились, Алена Николавна? — спрашивал он ее дорогою.— Я просто в себя прийти не могу...

— Да что же тут удивительного?.. Не думаете ли вы, что я могла бы, по-вашему, целую жизнь переносить это лишение свободы, это унижение, эту жизнь среди людей не только неразвитых, но пошлых и подлых, молча выслушивать их дурацкие рассуждения, их гнусные эксплуататорские тенденции, позволять им даже делать наставления и внушения?.. Нет, я на это неспособна!..

— Да нет, я про то, что как же вы будете жить теперь без жалованья... без всяких средств?..

— А как живут тысячи, миллионы тех тружеников, ради которых мы хотим действовать?.. Что вы за галиматью говорите!.. Хотите служить народу и спрашиваете, как я буду жить... без каких-то средств?.. А как живет народ?.. Как живет Проскуров и множество ему подобных развитых людей?.. Он будет учить мальчиков, я буду помогать ему, а впоследствии устрою в школе отделение для девочек... Вы платите ему жалованье, платите и мне... Да, наконец, вы имеете эти средства, я смотрю на вас, как на нашего кассира... При вашей зависимости от отца, вообще при вашем положении, вы ничем пока и не можете служить нашему общему делу, как этими средствами... Разумеется, мне лично от вас ничего не нужно, деньги нужны для дела... Или в вас уж заговорила купеческая жилка? Вам стало жалко ваших рублей?.. Так вы скажите вперед, теперь же, сейчас... и убирайтесь из нашего общества... Я скажу об этом Проскурову и Чернушкину, напишу Промптову, и мы условимся, что нам де-

лать... А про вас будем знать, по крайней мере, что вы трус или изменник...

— Что вы, Алена Николавна, зачем вы так меня обижаете?.. Вы знаете, что мне ничего не жалко... Я с радостью отдаю все, что получаю... Но если этого будет мало?.. А главное вот что, я не успел вам сказать... Сегодня зять получил письмо от отца, в котором он сообщает, что имеет в виду мне невесту очень богатую, что он уже начал переговоры, и что если он пришлет телеграмму, так я бы тотчас же выезжал к нему в Москву... Я не хочу ехать... Я не хочу так жениться по приказу... Я не поеду, а он тогда, пожалуй, не велит мне ничего выдавать...

— А, по-моему, вы должны непременно ехать и жениться, чтобы иметь свои собственные средства, чтобы поскорее взять фабрику в свои руки... Что за важность, что вас женят там на какой-нибудь тетехе, что она вам будет не по вкусу... Еще лучше!.. Тут не миндальничанье ваше нужно, а важно то, что вы тогда можете свободно служить делу, принести много пользы... Я уверена, что и Промптов вам то же скажет...

— Но ведь я человек же...

— Все равно, вас женят не на той, так на другой, не сегодня, так завтра...

Они подходили к столярной мастерской.

— Да вот поговорим еще с Чернушкиным,— сказала Алена Николавна,— я уверена, что и он так же посмотрит на вашу женитьбу...

— Нет, он так не посмотрит: он сам себе выбрал невесту, он женится по любви!..

— Ах, да... Я и забыла!.. Это, пожалуй, правда... В этом случае он не может подать беспристрастного мнения... Но я вам скажу, эти нежности в нем мне противны... Они делают его подозрительным в моих глазах... Я боюсь, что он не будет годиться для нашего дела, что он не может быть вполне солидарен с нами... Жалко, что Промптов мало обратил на него внимания, интересно бы его мнение.. Но я думаю, что он согласился бы со мною... Впрочем, если буду жить с Параней... мы еще увидим!..

В мастерской Федя был один. Алена Николавна, не теряя времени, рассказала ему, что отошла от хозяев, решилась идти в народ и жить такою же жизнью, как крестьяне.

— Я давно об этом думала,— говорила она,— это было давнишнее мое намерение... Я сама всегда вполне сознавала, что народ может верить только людям своей среды, испытавшим всю ту нужду, горе и тяжелый труд, который выпал на его долю... В прошедший раз вы поторопились, Чернушкин, делать ваш приговор обо мне, о жизни в каменных палатах, в роскоши и т. п. Полагаю, вы должны теперь признать во мне искреннюю готовность идти в борьбу, глубокое убеждение в идее, способность и право быть настоящим деятелем... Что же вы не воодушевляетесь, не протягиваете мне руки?.. Вам больше, чем всякому другому, следует сочувствовать моей решимости... Теперь уж никто не назовет меня барышней, теперь я вполне ваша... простая мужичка!.. Ну, что же вы скажете?..

— Трудно вам будет, Алена Николавна, с непривычки... Вот разве учительницей будете в школе... и Александр Кузьмич будет поддерживать, а то...

— Что вы за свинство говорите, Чернушкин!.. Что за поддержка?.. Кто осмелится мне ее предлагать?.. От кого я соглашусь ее взять?.. Как въелась эта мерзость в русских людей, это вечное ожидание подачек, помощи со стороны, что даже лучшие из них не могут расстаться с этим... рабским понятием... Вам стыдно, стыдно, Чернушкин, думать и говорить подобные вещи!..

— Нет, ведь я только насчет того, что с непривычки вам трудно и тяжело было бы... если б во всю крестьянскую работу... во всю нужду!.. Родиться, вырасти нужно в ней, чтобы свыкнуться, переносить!.. Вон Параня... Уж, кажется, в крестьянстве и родилась, и выросла, да не на том положении, не на такой работе жила весь век, так даже и здесь, на фабрике, работа, кажется, полегче деревенской; а ей тяжела, скучает, жалуется... А еще для нее льготы там делают разные, слышу я... Александр Кузьмич, что ли, приказал...

Федя как-то особенно холодно и неприязненно взглянул при этих словах на Кошатникова, но тотчас же отвел глаза и старался казаться спокойным.

Кошатников вспыхнул.

— Я ничего не приказывал,— поспешно проговорил Александр Кузьмич.—Я ничего даже и не знаю об этом...

— Ну, так, стало быть, приказчики сами от себя... Стараются подслужиться...

Федя говорил это, по-видимому, покойно, но голос его был неровен и обличал внутреннее волнение.

— Ну, а я докажу вам, что не боюсь никакого труда, никаких лишений,— возразила Алена Николавна.— Вы увидите, Чернушкин, что значит убеждение... увлечение идеей!.. А вот вы кстати упомянули о Паране... Я хочу поселиться с вами, то есть с нею, с Параней... Я затем и пришла к вам, чтобы переговорить об этом... Как вы на это посмотрите?.. Я полагаю, что мое влияние было бы полезно для вашей Парани... Уж о том и говорить нечего, что я обучу ее грамоте, но, может быть, достигну и того, что она поймет наши цели и будет нам содействовать... Вам этого не сделать, вы слишком влюблены!.. У вас не то в голове и на сердце!.. Вероятно, и разговоры с ней больше сладкие, миндальные!.. Ну, а под моим влиянием, в моих руках, она во всяком случае была бы нам полезна. Ведь она постоянно на фабрике, среди рабочих... Это очень важно!.. Вы понимаете?..

Федя встревожился. В последнее время он сделался недоверчив и подозрителен. В голове его мелькнула мысль, не Александр ли Кузьмич это подстраивает, чтобы иметь предлог часто ходить к Паране, прикрываясь необходимостью видеться с Аленой Николавной.

— Конечно, если бы я не боялся,— отвечал он нерешительно,— если б я был уверен, что вы можете иметь на нее доброе влияние... научите ее грамоте... заставите уважать труд... не гнушаться бедностью и не соблазняться богатством... я был бы очень рад и благодарен!.. Она все может понять!.. Но я боюсь...

— О, в таком случае я обязана поселиться с нею... И я там поселюсь... Я надеюсь на себя... Я сумею ей все объяснить... Ну, мы, может быть, не поладим с матерью, но на это нечего обращать внимания... Да мы и это еще увидим... Не бойтесь, Чернушкин, я вам разовью ее... Я сделаю из нее вам настоящего друга и товарища, а не только красивую самку!.. Это будет первая моя работа, первый действительно практический шаг во имя нашей идеи!.. Если я достигну цели, она будет нам безмерно полезна, я знаю, с этим согласился бы и Промптов!.. Но о чем же вы еще задумались?.. Что вы хмуритесь?.. Отчего колеблетесь?.. Говорите прямо и откровенно... Насчет денежных средств, что ли?.. Насчет разных там условий?..

Не бойтесь, у нас будет все общее, по крайней мере, все, что я имею, будет находиться в их распоряжении... Об этом думать нечего...

— Нет, не о том,— сказал Федя с усилием.— Пожалуй, вы смейтесь надо мной, сколько хотите, но скажу вам прямо: мне Параня дороже всего на свете!.. Я без памяти люблю ее!.. И если вы думаете отнять ее, разлучить со мной... расстроить нас... так лучше и не... Я вам вперед говорю, я себя не пожалею, но уж и...

Говоря это, Федя волновался все больше и больше, голос у него обрывался, захватывало дыхание, глаза горели...

— Да что вы, сумасшедший?.. Любитесь вы сколько хотите, кому нужно?.. Только бы эта любовь от дела вас не отрывала, не мешала бы вам... Для этого-то я и хочу ею заняться, развить ее, направить, как нужно... С чего вы это выдумали, что есть мне охота и время заниматься с вашими любовями?.. Плевать я на них хотела!.. Мне нужны вы как деятель... и из вашего предмета я хочу сделать тоже помощницу, а не помеху нам... Вот и все, кажется, ясно!..

— Но коли со всех сторон я слышу, что Параню считают... купеческой любовницей!.. если я сам замечаю, что вон Александр Кузьмич потихоньку от меня поглядывает на нее нехорошо, а сам обещал, что никогда этого не будет... Коли я знаю, что она за богатством гонится, а он богат... я беден... Что же?.. Терпеть мне это нужно?.. Или смотреть сквозь пальцы, не обижаться, радоваться, может быть?.. Разве это не та же обида, не то же притеснение бедному от богатого?.. Коли есть деньги, так сманить ими, сбить девку, ничего, что ли, хорошо? Не подлость это?.. А коли я ее люблю без ума, больше души, так мне что же?.. Не горевать, не злиться, молчать али отступного просить?.. Богатый заплатит с радостью!.. Ему что!.. А ты — бедняк, животное, ты будь доволен, что тебя милуют, награждают, а не вовсе уничтожают, как гадину какую!.. Так, что ли?..

— Ах, так вот в чем дело! — вскричала Алена Николавна с насмешливой улыбкой.— Значит, я не ошиблась, Александр Кузьмич?..

— Да это совершенно напрасно, Чернушкин,— оправдывался Кошатников.— Этого совсем ничего нет!.. Я тебе обещал и после того даже одного слова с нею не сказал...

А что там почему говорят, я ничего не знаю... Это сплетни!.. Ты напрасно обо мне так думаешь, я не только не хочу отбивать... я желаю тебе счастья от всей души!.. Я давно замечаю, что ты сердишься... стал совсем другой со мною... Я не мог понять, отчего это?.. Если я и взглядывал на нее... ты заметил... так что же? Я все-таки никаких намерений подлых не имел...

— Так я теперь понимаю, почему вам и жениться-то не хочется, откуда у вас явилось дерзкое намерение и смелость тятенькиной воле сопротивляться,— продолжала насмехаться беспощадная Алена Николавна...— Ну, батюшка, если у вас в голове одни амуры да любовные похождения, так от вас нечего ждать толку!.. Зачем же вы в деятели-то лезете, зачем передового человека из себя корчить?.. Идите уж по тятенькиной дорожке, будьте пошляком, набивайте карман, гнетите, притесняйте, обирайте... наслаждайтесь чужими страданиями, топчите людей!.. Уж и не суйтесь в среду людей, у которых одна цель, один интерес — общее благо, которые во имя своих принципов, во имя идеи готовы на все!.. Зачем же вы притворяетесь, зачем рисуетесь перед нами своим сочувствием к нашим идеям?..

— Алена Николавна, да что же это такое?.. За что же вы меня обижаете?.. Я не притворяюсь... я, действительно, искренне предан!.. Я сам готов на все!.. Не оскорбляйте меня!.. Если я не хочу жениться поневоле, так не потому... что вы говорите... а потому, что я считаю это унизительным... С этим и Чернушкин согласен!.. Мы еще прежде об этом с ним говорили... Спросите его!..

— Мне нечего спрашивать, я вижу очень хорошо, насколько и Чернушкин еще не освободился от старых предрассудков... Но если вам говорят, что ваш брак должен быть не больше, как фикция... что он не только не должен вас ничем стеснять, но развяжет вам руки, даст самостоятельность... если, наконец, он нужен для дела; если вам говорят, что, женясь поневоле, вы совершаете гражданский подвиг, приобретаете возможность содействовать великому делу... Это унижение по-вашему?.. Если это унижение, в таком случае унизительно и всякое самопожертвование, всякое отрешение от личных интересов во имя идеи и общего дела... В таком случае унизительно и то, что я отказываюсь от удобств жизни в ва-

шем доме и иду переносить всякого рода лишения!.. Почем вы знаете, может быть, вы самой мне нравитесь как мужчина... Но это не мешает мне говорить вам, что польза дела требует, чтобы вы женились на богатой...

Александр Кузьмич и Чернушкин опустили глаза. Алена Николавна насильственно засмеялась.

— Не бойтесь, не бойтесь, это не признание в любви... Я неспособна на такие нежности!.. Однако довольно, господа... Подадим друг другу руки и скорее к делу. Ссориться нам не приходится, а пустяками заниматься тем больше... Чернушкин, помиритесь с Кошатниковым... Я ему намылила голову, но ручаюсь вам за него, он оставит вашу невесту в покое, тем более что я сама буду жить с ней... и не позволю ему ловеласничать... Но и вы, прошу, помните, что у нас есть задачи посерьезнее ваших личных сердечных ощущений... Мы докажем Промптову, что можем сделать больше, чем он думает!.. Ну, подайте же, господа, руки... Мир!..

— Ты не думай этого, Чернушкин... Право напрасно,— говорил Александр Кузьмич, протягивая руку Феде.

— Очень уж тут говорили нехорошо... А вы переглядываетесь... Да и она-то... Эх, все это мать ее!.. Я ничего, Александр Кузьмич... Мне только горько, обидно было!..

И Федя подал свою руку.

— Ну, вот и чудесно! — вскричала Алена Николавна.— А, честное слово, господа, я могу быть отличным организатором!.. Так скажите же вашим, Чернушкин, я сегодня же перееду к ним... Скажите им, что Александр Кузьмич просил вас пристроить меня у них на время, впредь до приискания другого места... Ну, а там уж мое дело!.. А насчет платы чтобы не сомневались, сколько я буду им стоить, сколько скажут, столько и заплачу... Ну, пойдемте, Александр Кузьмич... Вы проводите меня до дому, пускай ваши злятся и думают, что я хочу вас женить на себе... Это меня очень забавляет!.. До свидания, Чернушкин... Наймите и пришлите мне подводу после обеда, пожалуйста, попроще, самые простые розвальни... Я хочу уехать от этих... буржуа... как следует мне, совсем по-мужицки!..

Когда Федя сообщил своим домашним о новой жилице, Дарья Тихоновна очень было восстала, но имя и желание Александра Кузьмича, а также обещание без-

условной оплаты всех расходов и настойчивость Феди заставили ее согласиться.

К вечеру Алена Николавна переехала к ним и сразу завоевала расположение и матери, и дочери, подаривши каждой по хорошему платью из своего гардероба.



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

Школа, открытая молодым Кошатниковым, пошла весьма успешно. Дети посещали ее охотно и в большом числе. Не малую приманку представляло то, что каждому вновь поступающему ученику и ученице выдавались, смотря по нужде, валеные сапоги, шапки, платки, а некоторым даже полушубки. Решено было, чтобы девочки учились вместе и одновременно с мальчиками, и родители не видели в этом ничего предосудительного, несмотря на то что в числе школьников были порядочные подростки. Ученье шло почти целый день, с утра до вечера, через каждые два часа Проскуров и Алена Николавна сменяли друг друга и занимались с детьми поочередно. Успех школы чрезвычайно воодушевлял способных к увлечению и восторженности наставников. Оба они были просто счастливы, очень подружились между собою и первое время отдавались своему делу так, как будто никакого другого и на свете нет. С нетерпением ожидали они ближайшего праздника, в который предполагали открыть воскресный класс для взрослых. И здесь удача превзошла даже ожидания. В назначенный день наплыв рабочих был так велик, что обширная школьная изба не могла поместить зараз всех жаждавших премудрости; между ними, впрочем, надо правду сказать, было немало и таких, которые шли из любопытства, из желания угодить молодому хозяину и из смутной надежды получить от его щедрот, если не валеные сапоги, так хоть, по крайности, на чай. Юные педагоги, разумеется, не предполагали даже возможности

подобных побуждений и видели в этом наплыве народа несомненное доказательство жажды знания в массе. Александр Кузьмич, приехавший в школу с раннего утра, хотел тоже участвовать как преподаватель в воскресном уроке: но открытие воскресного класса и первый урок в нем Алена Николавна отвоевала себе, доказывая, что она первая подала мысль о школе, и преимущественно воскресной, и что она по праву должна открыть ее. Против этого никто не стал и возражать.

В сопровождении Кошатникова и Проскурова Алена Николавна вышла к собравшейся перед школою толпе и произнесла к ней длинную, восторженную речь, в которой приветствовала народ с начинающимся пробуждением после тысячелетнего сна, объясняла, какой светоч вносят в мрак окружающей жизни знание и наука, какой залог скорого освобождения от всех настоящих зол и бедствий представляет собою школа и грамотность; внушила, однако, что грамотность не есть цель, а только орудие для иных высших целей, и тут же обрисовала эти цели,— коснулась экономического положения рабочих и того, которое должно бы быть и возможно в будущем, и все это заключала указанием на добрые намерения Александра Кузьмича.

— Он,— говорила она,— хочет возвысить плату, уменьшить число рабочих часов, допустить вас к участию в прибылях...

— Покорнейше благодарим, батюшка, Александра Кузьмич... Дай бог тебе много лет здравствовать! — загудела толпа.

— Мы очень согласны служить вашей милости, как родителю твоему служим, так и тебе... Ото всей души...

— А это точно, что надбавочку сделать надо!.. Обидненько платите, в других местах, слышно, больше...

— Да штрафы, штрафы ты с нас сними, Александра Кузьмич!.. Это первым долгом, очень они нас донимают, штрафы эти... Не будь им ладно!..

— Да и приказчиков поуйми, Александра Кузьмич, теснят, страсть как теснят, насчитывают... Прижимки всякие делают!..

— Моему Сеньке надбавь, Александра Кузьмич. Ну, что, мальчонко живет — сорок копеек в неделю?.. Не прокормишься...

— А моя-то Катька?.. Да сам я, братцы, три рубля в месяц живу... мужик! Можно ли то думать?..

Алена Николавна едва могла остановить заявления расходившейся толпы, насилу могла сосредоточить опять на себе ее внимание и заставить слушать себя...

Вся краснея от волнения и сияющая от внутреннего довольства, она, заключив свой спич приглашением учиться, пошла в школу.

— Как вы отлично говорили! — сказал с восторгом искренне увлеченный Александр Кузьмич.

— Спасибо! — отвечала она, с чувством пожимая его руку.— Я бы еще им многое сказала, но удержалась на первый раз...

— И то не переложили ли? — вопросительно заметил Проскуров.

— Да-а, были местечки, были очень забористые!.. Я тоже подумал! — согласился Кошатников.

— Нельзя-с, нельзя... Без этого нельзя. Надо было им намекнуть, что тут не одно ученье грамоте... Надо было возбудить их мозги... И, кажется, я достигла цели... Пускай пережевывают и думают... Мы должны действовать осторожно, но решительно... Другого такого случая, пожалуй, не скоро дождешься; надо было дать массе нервный толчок,— и я его дала... Может быть, они половины не поняли, но это ничего, пускай подумают!..

— Но как говорит-то, Василий Якимыч, Алена Николавна?.. Замечательно! — обратился Кошатников к Проскурову.

— Да, оратор, оратор вполне!..

— Да, во мне это есть,— с самодовольной улыбкой соглашалась Алена Николавна.— Это заметили в Петербурге, в кружках, где я всегда брала слово. Меня любили слушать и хвалили... Я часто убеждала и там!.. Но, однако, милые товарищи, пора за дело...

Алена Николавна начала урок.

В толпе, перед которою ораторствовала Алена Николавна, стоял Кирилла; в числе первых он протерся и в самую школу. Никто из рабочих еще не знал его. Он только накануне пришел на фабрику, переночевал в деревне, собирая справки о Паране и Чернушкине, и вслед за другими присоединился к толпе, стоявшей около вновь открытой школы. Речь Алены Николавны заинтересовала его. Как человек бывалый, он сразу понял и ос-

мыслил ее по-своему, а участие в деле хозяйского сына заставило его мгновенно сообразить, что было бы очень выгодно познакомиться и обратить на себя внимание Алены Николавны. После отъезда Дарьи Тихоновны и Парани Кирилла скоро узнал, куда они скрылись. Первое время сильно бесновался, пьянствовал, ничего не хотел делать, ругал и бил жену без всякого повода, а как только отец вышел из старшин,— совсем ушел из дома.

Он явился сюда не только с целью разыскать и вновь преследовать Параню, но и наняться в рабочие на фабрику, с тем чтобы потом добиваться места приказчика. Посредство Алены Николавны, казалось ему, могло бы помочь ему даже и в этом отношении.

Он решился как-нибудь заговорить с учительницей.

«Надо книжку у нее попросить почитать,— мелькнуло у него в голове.— Про которые она книжки говорила... Такую бы!..»

Он протискался вперед и терпеливо стоял и слушал, как Алена Николавна объясняла буквы.

— Как вы легко учите... Совсем не как нас учили. У вас легко понимать грамоте,— проговорил он, когда Алена Николавна подошла близко к нему.

— А вы разве грамотный? — спросила она.

— Сколько угодно, и читать, и писать...

— Что же вы здесь слушаете?

— Да оченно мне любопытно, каким манером вы обучаете... Так зашел с прочими да и заслушался... Чудесный этот манер у вас!.. Наши старинные учителя так не умеют, нас все учили аз да буки, буки да аз — ба!.. Скоро ли поймешь? По вашему — много легче!..

— Вы здешний рабочий? — поинтересовалась Алена Николавна.

— Нет, еще только наниматься пришел... Вот завтра в контору пойду... Да сказывают — не очень принимают, а я бы и по письменной части мог...

Алена Николавна хотела было отойти, чтобы продолжать урок.

— Да я вот слушал, как вы говорили там на улице,— остановил он ее.— Все вы правду говорили, я все понял... Другие прочие, пожалуй, что и не вникли в ваши слова, а я все даже понял... Именно, что злодеи, и все от нашего невежества!.. Вот бы вы мне книжку дали почитать, что говорили...

— Ах, очень рада, встрепенулась Алена Николавна.— С удовольствием!.. Сегодня я до вечера здесь пробуду на уроке, мне некогда... А вы приходите вечером ко мне. Я живу в деревне Прислонихе, в избе Авдея; спросите там только Алену Николавну, меня так зовут... А то Дарью Тихоновну, из Онучина, мы вместе живем... Вот, приходите и потолкуем... А то вот что: подождите меня здесь,— я кончу свой урок и, пока другие будут учить,— сбегаю домой перекусить,— вот вместе со мной и пойдем... Я и книжку вам дам...

У Кирилла при имени Дарьи Тихоновны даже в глазах зарябило, и он едва в силах был выговорить:

— Это уж на что лучше... Я подожду здесь... Не оставьте... Очень желательно почитать, любитель я большой...

— Хорошо, хорошо!..

Алена Николавна продолжала свой урок. Кирилла сидел, но не слушал уже ее, а думал о Паране.

— Вот она, судьба-то!.. Искал, разузнавал, расспрашивал, а вот где не чаял, тут и получил... Нет, Параня, видно, тебе не уйти от меня...

Задумавшись, Кирилла не заметил, как в школу вошел и протиснулся через толпу Федя; но голос его, когда он заговорил с Аленой Николавной, заставил Кириллу вздрогнуть и придти в себя. Мельком взглянувши в ту сторону, где стоял Федя, он торопливо и как бы невольно отворотился, стараясь остаться незаметным.

— Что это вы опоздали? — спрашивала Алена Николавна, протягивая Феде руку.

— Да я нарочно не торопился... Что же, ведь вас здесь трое; думаю, поспею еще, до меня не скоро черед дойдет... Да еще и нужен ли буду сегодня?..

— Кроме этого, вам следовало бы быть на открытии... У нас все отлично сошло, я приветствовала наших учеников речью... Говорят, хорошо сказала!.. Напрасно вы не пришли...

— Ну, что же делать... Жалко!.. Василий Якимыч там, что ли?..

Он указал на перегородку.

— Да, там, с Александром Кузьмичом...

Федя хотел идти туда.

— Погодите, погодите,— остановила его Алена Николавна.— Я представляла уже нашим ученикам себя,

Проскурова и Кошатникова; надо, чтобы они знали и вас...

Федя, чувствовавший себя во все время речи Алены Николавны предметом общего внимания, смутился, стоял опустя голову, переминался и поспешил уйти за перегородку, как только учительница кончила.

«Больно уж много она говорит... Дела еще нет, а она все сказывает... Народ всякий ведь тут»,— думалось Феде.

Он вошел за перегородку встревоженный.

— Сколь много народа подобрано у вас всякого, разного... И все, значит, для нашей науки!.. Значит, с качествами... знающие... по этой части! — заметил один рабочий с глуповатым лицом, считая нужным что-нибудь сказать и с своей стороны. Алена Николавна не успела еще ответить ему, как к ней обратился с прямым уже вопросом другой.

— А что, будет нам поддержка какая ни на есть... в случае чего?..

— Какая поддержка?.. В каком случае? — живо переспросила Алена Николавна.

— А насчет всякой нужды?.. Если нужда какая пристигнет... Денежек попросить али что?.. Можно, чай, к Александру-то Кузьмичу?..

— Тут дело идет не о личной нужде каждого, а об общем деле... чтобы всем было хорошо,— с заметным неудовольствием отозвалась Алена Николавна.— Я вам, кажется, объясняла давеча в своей речи... Впрочем, теперь, господа, не время разговаривать, мы отвлекаемся от урока... Я буду продолжать...

Кирилла, боясь новой встречи с Федором, потихоньку выбрался из школы; он решился дожидаться Алены Николавны на улице. Вслед за ним вышли еще двое из соскучившихся учеников.

— Ну, что? — спросил один другого.

— Да что, парень... Бойка больно эта девка, за всех одна отвечает!.. Тех всех смяла, не могут, значит, против нее!.. Вон Александра Кузьмич, хозяйский сын, и тому не уважает...

— Значит, учена больше... К этому...

— Нет, а я все думаю, братец ты мой, что за чудо за такое, с чего это все взялось?.. И на какую статью они дело это самое наворачивают?.. Ну, пущай училище...

Что же?.. Оно ничего!.. Кому требуется, оно в пользу! А вот насчет жалованья-то прибавки и насчет всего прочего?.. Любим, говорит, стараемся для вас!.. Всей душой, что угодно!.. Ну, пущай девка-то эта, ей все равно, не свое, чужого не жалко... А вот Александра-то?.. Чудное дело, с чего тот-то?.. Стоит, слушает. Стало, промеж них заодно... Только что разговор этот от нее идет, что бойчее она их... в речах!.. Так думаю, что у них с отцом, с Кузьмой Иванычем, да и с зятем-то, стало быть, не лады. Воли ему никакой не дают, к делу не припускают!.. Вот он рабочих всех и хочет на свою руку переманить, чтобы на тех не взирали, а на него бы надеялись!.. Переманивает, значит, за себя!.. Не хочет ли уж свое заведение, так я полагаю?..

— Так ведь это надо бы ему водки выставить... Без водки что же тут будет?.. Ничего не поделает!.. А ведь ничего даже... И звания не было никакого, насчет угощения хошь бы... И не обещал, что, мол, угощу вас, ребята, постарайтеся для меня... Ничего этого!..

— Правда, что... Чудно, провалиться, чудно!.. Ничего даже и не удумаешь...

— Э, да ну их!.. Подем в трактир... Не целы же сутки здеся проклажаться...

— Подем и есть...

Кирилла остановил их вопросом:

— А что, братцы, хочу я вас спросить, эта девка-то в полюбовницах, что ли, у хозяйского-то сына?..

— А ты что же? Внове, что ли, здеся?..

— Да я только что пришел наймоваться...

— Отколь будете?..

— Дальний я, верст за двадцать за пять...

— Кто их знает!.. Болтают, будто купцы-то ее из дома прогнали, что заприметили промеж них... А и то сказать, кто ж их душу ведает...

— Да с лица-то она не больно способна... На фабрике-то, чай, много народу, получше ее найдутся?..

— Да как не найтись; вон, люди и то болтают, что будто она сводит Александра-то с девкой с одной... Ну, та красива!.. Будто затем и на деревне живет она у этой самой девки... А то может статься... Кто их знает!.. Ты что теперича?.. Подем с нами в трактир, что ли... Может, угостишь, по новости для знакомства-ради?..

— Нет, некогда теперь, дело есть... А вдругорядь по-

встречаемся, с нашим удовольствием!.. Отчего же!.. Очень можно!.. Будьте знакомы...

Новый слух о Паране, был ли он сплетня или правда, доставил Кирилле чувство злобной радости.

«Ага, Федька,— думал он,— увез ты ее от меня, да, видно, и самому не достанется!.. Известно, коли купеческий сын обихаживает, так станет ли она на тебя смотреть?.. Вот это ладно!.. Уж коли не мне, так, по крайности, и не тебе!..»

С этими злорадными думами он дождался, наконец, Алены Николавны. Скорым шагом сосредоточенно пошла она по направлению Прислонихи. На ней был простой крестьянский полушубок, голова повязана большим платком. Наружным видом она ничем не отличалась от крестьянской бабы. Кирилла догнал ее.

— Я все вас поджидал,— сказал он,— книжку-то дать обещали... Не оставьте...

— А-а, да... Пойдемте, пойдемте... Вот кстати и потолкуем дорогой.

Между ними живо завязался горячий разговор, в котором Кирилла сумел показать себя перед Аленой Николавной с самой выгодной стороны. Лукавый от природы, он сразу понял, что нужно учительнице. Прикинулся мрачным, озлобленным, недовольным, готовым на все...

Алена Николавна была в восторге, что нашла еще нового и такого энергического деятеля.

— Я не ожидала, не думала, что вы так много понимаете, что у вас такие идеи... Вам надо только еще прочитать кое-что,— и вы будете совсем готовы!.. Я вам дам несколько таких книжек, вы будете читать неграмотным вслух, а грамотным раздавать... Я надеюсь, что с вами у нас дело пойдет решительнее и быстрее... Чернушкин как-то уж чересчур осторожен, труслив. Иной раз он просто бесит меня и заставляет думать, что не вполне предан нашему делу...

— А вы Чернушкину-то не очень доверяйте... Я его знаю довольно, он прикидывается тихоней, а сам только и высматривает, где ему повыгодней!.. Да он совсем и не такой человек, как вы думаете... Как раз продаст!..

— Да вы почему же его знаете?

— Как же мне не знать его,— усмехнулся Кирилла и объяснил Алене Николавне свое родство с Федей.

— Так это ваш отец волостной старшина, старик?.. Как его зовут?.. Забыла...

— Федот Семеныч... Как же, мой отец!..

— Ну, батюшка, я понимаю, что у такого отсталого старика сын должен быть с вашим направлением...

— Да, а в Федоре он души не слышит... Они и думают заодно!.. Этот самый Федор меня и с отцом-то поссорил, насплетничал ему... насчет всего этого... Ну, тот и на дыбы!.. Я ведь и Параню знаю, и мать ее: и с ними он меня поссорил, наговорил, наврал на меня бог знает что... Не знаю, как теперь вот встретиться... Нет, вы этому Федору не верьте, он за грош и купит и продаст человека...

— Спасибо, что предупредили, это надо принять к сведению... Но, однако, как же?.. Неужели мы все так ошибались в нем?.. Правда, он мне всегда был несколько подозрителен своей замкнутостью, молчаливостью, какой-то излишней осторожностью... Но, случалось, он увлекался, высказывался... Мы видели, что он солидарен с нами... Наконец, он знает вполне все наши намерения и цели, присутствовал постоянно на наших совещаниях, знает нашу переписку, читал все книжки... Случалось, в подробностях он спорил со мной, не соглашался, высказывал отсталые идеи... Ну, я это объясняла его неподготовленностью, недостатком развития... Но в общем, в главном, в основном, он совершенно совпадал с нами... В нем нет этой энергии, этой решимости, как вот во мне, например... или, вот, в вас... Но я объясняла это его характером, темпераментом, даже этой его глупой страстью к Параше... Но я никак не думала, чтобы он... Послушайте, однако, как же объяснить эту его давнишнюю дружбу с Проскуровым?.. Проскуров в него безусловно верит...

— Да ведь я ничего не говорю насчет этого... Может, в этом он и точно верен будет... А только так-то, как довольно он мне известен, ненадежный он человек, подхалим, тихоня, наговорщик... У отца моего деньги выманивал, подличал перед ним!.. Вот я насчет чего!.. А ведь в этом деле, может, он и вправду... Я не знаю...

— Нет, нет... Ошиблась я, мог ошибиться и Проскуров... Нужно предупредить всех, нужно за ним наблюдать хорошенько...

— Присматривать-то вы присматривайте за ним,

это не хуже... А всем-то говорить я бы не велел, потому он хитрый... Кто-нибудь не остережется, вид только ему покажет, он сейчас догадается, притаится, особливо как узнает, что я здесь... А лучше помолчите. Вы будете присматривать да и я... Уж у меня-то он из глаз не вывернется, я его на свежую воду выведу!.. Мы ведь с ним приятели старинные. Вот, погодите-ка, что он будет вам про меня рассказывать, и ровно как и правду, только не с того конца, какой я пьяница и распутник, и что в остроге я сидел, и что подозренье на меня пало, будто я деревню и свой отцовский дом спалил... А вот этого не скажет, с чего это все со мной сталося, как отец по рукам, по ногам меня связал, всякую волю отнял, дышать не давал и бил из своих рук, и сек на миру, да по неволе, насильно женил... А по моему характеру, коли меня вяжут, воли, свободы мне не дают, я напролом пойду, на все полезу, хоть с ножом!.. Вот этого он не скажет!.. Не расскажет, как и дом мой он без меня разорил, пока я в остроге сидел, как у отца деньги выманивал, как мать мою они с сестрой, с супружницей моей, совсем смяли и в угол забили... И все через подлость, через подхалимство перед моим старым дураком-отцом. С тем что хочешь делай, да только слушай его, по его указке и говори, и думай, да кланяйся перед ним!.. Ну, а я не таков, по мне дороже всего своя воля, свой царь в голове!.. И кланяться я не стану!.. Не то что на своей одной шкуре принял, а видал довольно, как он, родитель, мужиков порол за всякую малость, как загонял их, что рта перед ним разинуть не смели, как из-под его руки волостные писаря их жали и обирали, как он всякому начальству и богатым купцам руку держал против своего брата... За это, что ли, я буду кланяться?.. Нет, я вот пьяница, распутный, вор, деревню спалил, а я за своего брата, как за самого себя, в огонь и в воду полезу!.. Вот я какой человек!..

— Послушайте, если вы поступите сюда, на фабрику, и будете действовать по моим указаниям, вы можете очень помочь нам и принести громадную пользу нашему делу... Я вижу, что вы можете приобрести влияние на рабочих...

— Нет, вот что, Алена Николавна, кабы мне как в приказчики или в какие доверенные попасть к купцам, вот бы я вам тогда показал себя!.. Уж услужил бы!.. По-

тому я и купцу бы глаза отводил, и народ бы мне верил больше, не как рядовому рабочему... Я не из-за жалованья!.. Мне жалованье все равно, какое бы ни положили, хоть самое малое, а мне бы как туда, в центру-то в самую попасть... Я бы их утешил!.. А то простой рабочий, что он поделает? Человек подначальный, целый день на работе, присмотр за ним, да и не послушают его, если в случае чего... А вот приказчик, от хозяина поставлен, да начнет говорить за рабочих!.. То совсем другой вид!..

— Это правда!.. Я поговорю с Александром Кузьмичом и вас с ним познакомлю...

Они вошли в деревню. На улице по случаю праздника было много народа. Алена Николавна дружелюбно со всеми раскланивалась, а встречным подавала руку и обменивалась приветствиями, стараясь подделаться под крестьянский говор и разыграть из себя настоящую мужичку. Мужики добродушно, но не без лукавства, улыбались, разговаривая с нею. Некоторых она мимоходом упрекала, что не пришли в школу сегодня, и похвастала, что все, кто был, знают уже половину азбуки и выучились складывать простые слова. Деревенские ребятишки окружили и провожали ее; она их обнимала, целовала, с иных ради шутки срывала шапки и кидала в снег, ее толкали и теребили...

— Пустите... пустите... Некогда, некогда,— говорила она, отбиваясь от детей.— Опять надо бежать в школу... Только перекушу, заморю червяка, попарю маленько варевцом брюхо, и опять бежать...

Она была очень довольна и счастлива.

— Я чувствую себя здесь совершенно крестьянской девкой... членом народной семьи!.. И посмотрите, как меня любят! — похвастала она Кирилле.

— А вот и моя изба,— указала она.

У Кирилла замерло сердце. Сейчас он увидит Параню и Дарью Тихоновну...

II

Накануне вечером, когда Параня, отстоявши свою смену, собиралась уходить с фабрики домой, ее как бы случайно встретил Петр Архипыч и отозвал в сторону.

— Скажи-ка ты мне, красавица, что ты, в сорочке, что ли, родилась? — спросил он ее ласково, шутливым тоном.

— Как в сорочке? — переспросила Параня.

— Да так!.. Очень уж ты счастлива!.. Ну-ка, подумай: пишет ко мне Кузьма Иваныч, отписывает приказы об разных делах... и тут же о тебе вспомнил!.. Спрашивает, отпиши, хорошо ли работает Параня, старается ли, не дурит ли, с ребятами не балуется ли?.. Нет, ты подумай, чего ты стоишь вся-то, а этакой человек... высокий, можно сказать, человек, надо всеми превозвышенный, вдруг о тебе вспомнил, интересуется!.. Как же это не счастье-то твое особливое?.. Правда, что он у нас благодетель известный, и уж если начнет бедному человеку помогать, так помогает до конца... Но все ж таки... этакая персона... миллионщик!.. Все на свете ему открыто!.. И вдруг, при всех своих делах и заботах, об тебе, настоящей девчонке, вспомнил, спрашивает!.. Чувствуешь ли ты это? Понимаешь ли, какие это милости?.. Взор-от этот один, внимание-то от этакого... могущественного, можно сказать... персона?..

Параня стояла и слушала молча.

На губах ее играла невольная улыбка.

— Что же ты ничего не отвечаешь?.. А?.. Не чувствуешь ты, что ли, этого благодеяния?..

— Как не чувствовать... Очень останемся благодарны... завсегда!..

— То-то... Ну, так что же мне отписывать-то ему насчет тебя?.. Одобрять али нет?.. Как полагаешь?.. А?..

В голосе Петра Архипыча слышалась почти родительская ласка и нежность.

— Отписывайте, как лучше... За что вам меня хулить-то?.. Я, кажется, ничего, ни в чем не причинна... Работаю, стараюсь, как можно!..

— А с робятами-то балуешься али нет?..

— Большая мне охота со здешними робятами вязаться!.. Не желаю я... Никто не скажет!..

— Что же, одного жениха довольно, с ним, что ли, с одним любишься?..

— Не знаю, к чему вы говорите-то это...

— Врешь, знаешь!.. Разве Федор-то Чернушкин не вместе с вами живет?.. Ведь вместе?..

— Так что с того, что вместе живет?..

— Так, скажешь, с ним у вас ничего и нет?..
— Чему быть-то?.. Он замуж меня сватает... женихом считается...
— Так, небось, так ты за него и пойдешь?..
— Пойду, коли денег будет промышлять довольное число...
— А не будет?..
— Ну, уж тогда не знаю... Мамонька, пожалуй, не отдаст тогда...
— Вот бы мне нужно матку-то твою повидать...
— Почто?..
— Поговорить бы с ней... Прислала бы ты ее ко мне... Хоть теперь вот...
— Пожалуй, пришлю... Да о чем вам говорить-то нужно с ней?..
— О чем?.. Больно ты любопытна... Известно, о тебе. Вот расспрошу ее, так ли же ты дома-то, как на фабрике, да накажу ей, чтобы досматривала за тобой хорошенько... не давала бы баловаться-то!.. А то я тебе дам перед Кузьмой Иванычем аттестат хороший, он тебе, может, велит какое награждение сделать, а после, пожалуй, что и окажется, так какими я глазами-то на него буду тогда глядеть?.. Скажет: ты врешь, старый черт, душой кривишь!.. Ну, а я к этому не привык, я служу верой и правдой... Чтобы все по истинной совести было!..
— Насчет меня не бойтесь, ничего не окажется...
— Ну, смотри, девка...
Петр Архипыч погрозил пальцем.
— А насчет Александра-то Кузьмича? А? — сказал он внушительно.
Параня вспыхнула.
— Что насчет его?..
— Да не знаю что... Я ничего не знаю, а только слух пошел...
— Мало ли что наплетут, всего не переслушаешь!.. Этак и невесть что скажут, когда ничего и нет...
— Да ладно, ладно, коли нет ничего, не надо, чтобы и было, а то, боже тебя сохрани, беды наживешь!.. Большая беда вам всем из-за этого будет!.. Кузьма Иваныч, кажется, всех вас со света сживет, коли что узнает. Он насчет Александра Кузьмича очень наблюдает, чтобы никакой мерзости этой не было!.. А как же губернанка-

то наша к вам попала?.. Разве не Александр Кузьмич ее к вам прислал?..

— Я не знаю, кто прислал... А она по знакомству с Федором у нас живет. Он мамоньку просил, чтобы пустила, что ей жить негде... Да и не то что просил, а так, что «пускай, говорит, живет у нас лучше, чем в другом месте, все-таки платит нам, для нас жить посходнее»...

— Что же она живет?.. Что делает-то?

— Да что делает?.. Что ей сдумается. Вон деревенских грамоте обучает... Когда в книжку читает да записывает ничто... Что ей делать-то?..

— А Александр-то Кузьмич у вас часто бывает?..

— Ни одинова не бывал опосле праздника...

— А не врешь ты? Правду говоришь?..

— Да ну-ка, чтой-то, Петр Архипыч, с чего мне врать-то?..

— Ну, смотри же, насчет Александра Кузьмича всю блажь из головы выкинь... Я тебе от всей доброй души говорю!.. Чтобы ни разговоров, ни переглядок никаких, и вместе чтобы вам не быть. Он подошел, а ты прочь отходи, он заговорил, а ты: да, да нет!.. да и к своему делу!.. Ну, ступай, уж я о тебе, так и быть, отпишу хорошо, жди гостинца!.. А матку пришли ко мне... Да какой разговор промеж нас теперь был, чтобы мы только и знали, никому ни слова не говори, ни Чернушкину, никому, разве матке... Потому Кузьма Иваныч насмерть не любит, коли про его добродетель рассказывают да хвастаются... Возненавидит того человека, и ничего уж тогда от него не жди!.. Ну, ступай с богом!.. Я уж тебя опишу в лучшем виде, будешь старика помнить да благодарить!..

Параня и без наставления сама сообразила, что нужно послать родительницу к приказчику таким образом, чтобы об этом не знали ни Федя, ни Алена Николавна. Она так и сделала, рассказавши предварительно матери наедине весь разговор свой с главным приказчиком. Очень тронута была Дарья Тихоновна вниманием благодетельного миллионера, с тайной, невысказанной, но видимо радостной мыслью поцеловала дочь и с легким сердцем пошла к Петру Архипычу.

— Вот что, стар....— заговорил приказчик,— хотел было назвать тебя старухой, что дочь возрастная, да взглянул и поперхнулся; сама ты баба, что калач бе-

лый... Не то старуха, а хоть сейчас с любым парнем молодым под венец веди!..

Дарья Тихоновна осталась очень довольна вступительной шуткой влиятельного приказчика и, самодовольно осклабляясь, скромно ответила:

— Уж и то старуха стала, батюшка Петр Архипыч!.. Не такой бы мне надо быть, кабы не горе да не нужда наша сиротская...

— Ну, не все горевать!.. У бога не без милости, может, и про тебя еще у него радость припасена!.. Вот уж благодетеля бог и послал вам, какого и не чаяли!.. Про нашего Кузьму-то Иваныча я говорю...

— Да, дай бог здоровья, поддержали, не оставили нас на первых порах, завсегда благодарю!.. Конечно, что для них эти шесть рублей может, ровно как ничего, а при нашей бедности дорого они стоят, по здешней дороготне!.. Как бы мы тут стали жить на четыре-то целковых без этой поддержки, уж и не придумаю... Завсегда, завсегда поминаю и благодарю, уж истинно благодетели!..

— Ну, а вот он, видишь ты... сказывала, чай, дочка?.. и там об вас думает и заботится...

— Сказывала, сударь, она одной мне сказывала... Всплакнула даже я от радости, что об нас, низких людях, этакие, вправду, миллионщики, что которые, может быть, самые первые, назирают и беспокоятся!.. Именно, что не стоим мы этого!..

— Да ведь я дочке твоей всего-то не сказал... Обо всем-то я с ней и говорить не стал, потому, думаю, ну, что говорить с ней, с девочкой... Как-никак, а все еще она полным умом не собралась!.. Вот и велел тебя прислать... Ведь он что об вас удумал!.. Ты с ума сойдешь от радости, как я тебе все-то скажу!.. Он ведь хочет вас обеих, и тебя, и дочь, к себе в дом взять, на ту фабрику!.. Чтобы ты жила у него в ключах, вроде как ключница али экономка, а дочь при тебе за помощницу!.. Одной-то тебе, пожалуй, не управиться, потому дело большое... Ну, а с дочкой-то тебе и сподручно... Ты ведь, сказывают, из дворовых, при господах прежде жила, в девках?...

— Точно так, сударь...

— Ну, так вот тебе какая благодать!.. Радуйся да бога благодари!..

— Истинно, Петр Архипыч, что даже в память не могу вдруг прийти, такое вы мне сказали...

— Я тебе говорил!.. Только вот что, с одним уговором, чтобы свадьбу Паранину с этим Чернушкиным отменить...

— Что же так, сударь?..

— А по тому самому, что замужнюю Кузьма Иваныч в эту послугу не возьмет... Да он замужнюю прислугу в дом и вовсе не берет, не любит, потому, говорит, она к мужу бегать будет, и о деле своем уж у нее такой заботы не будет... А взять тебя одну опять же нескладно: будешь об дочери думать, в гости к ней проситься, либо она к тебе приезжать... Да уж и веры такой иметь нельзя, все будет думаться, что к замужней дочери в дом хозяйское добро тащишь...

— Мы не с этим согласны идти, чтобы тащить... Боже избави!.. А чтобы служить ото всей души, со всей верностью...

— Да ведь это все так говорят... Но только об этом и толковать нечего, одну тебя, без дочери, он не возьмет, и с дочерью замужней али помолвленной тоже... Да и чего ты будешь думать тут о каком ни на есть Чернушкине при этаком счастьи вашем?.. Сумеете угодить, так Кузьма Иваныч может по времени вздумает, приданое твоей Параньке даст да за такого выдаст,— не Чернушкину чета!.. Из его-то рук всякий за счастье сочтет невесту взять!.. Неужто ты не понимаешь этого и не чувствуешь, какие милости тебе хотят делать?..

— Как мне не понять, батюшка Петр Архипыч!.. Довольно все понимаю и чувствую... все великие к нам милости Кузьмы Иваныча!.. Кажется, уж чего больше!.. Но только вот в этом я очень обробела, Петр Архипыч. А ну, как моя дочка по девичьей своей глупости не согласится отказаться от жениха-то?.. Ведь уж промеж них все налажено, так уж они ведь и ведутся, как жених с невестой, только вот и ждали, чтобы маленько он пооперился... насчет денежек!.. Что жалованья, мол, прибавят али к дельцу другому переведут... Поприбыльнее...

— Ничего ему не будет, ни жалованья прибавки, ни дела другого... А дилехтор его не любит, так, пожалуй, и вовсе с фабрики-то сгонят... Ты об деле-то, о счастье-то своем думай да говори, что тебе ровно с неба валится, его-то не потеряй, а пустяков-то этих нечего переби-

рать!.. Паранька мне сама сказала, что, коли, говорит, поправки у него в делах не будет, так ты ее не выдашь за него...

— Да я-то, сударь, не выдам, это точно, что не выдам, да она бы сама не ушла, без спросу моего, она-то у меня характерна... Вот в чем!.. Да и этот молодец, Федянка-то!.. И от этого, пожалуй, не отобьешься, тот из-за Парани на нож полезет!..

— С этим-то мы управимся... Этого не бойся... Захотим, так завтра же не то на фабрике, и близко-то фабрики его не будет...

— Нет, так зачем же обижать парня? Бог с ним, пускай живет!.. Нет, вы этого не делайте, а то и с Параней-то ни за что не сладишь. Скажет, жениха моего напрасно обижают, а мы к ним служить пойдем!.. Не пойдет тогда ни за что...

— Ну, так как же быть-то?..

— А это надо подумать да пообождать... Опять же это дело такое, Петр Архипыч, не минутное, вековое, на всю жизнь!.. Тут надо подумать да и подумать... да и потолковать много!.. И не раз, и не два!.. Я так полагаю!.. Это ведь не то, что в горничные, в услужение али на фабрику наняться: по мысли, так живи, а нет, так и на другое место уйти можно.... Это дельце-то маленько помудренее, Петр Архипыч!..

— Так что же?.. Ты будешь думать да передумывать, а Кузьме-то Иванычу ждать вас, коли это ему вздумалось?.. Не написать ли ему это в ответ-то?.. Так он и меня-то с вами туда пошлет, что и не вспомнишься!.. Он и плюнуть-то тогда на вас поленится!..

— Ну, уж это как будет угодно!.. А в этаком деле не подумавши да не поговоривши нельзя...

— Так ведь мне надо же что-нибудь написать ему ответ-то, дура?.. Вот с бабами-то дела делать!..

— Да уж как угодно... Нежелательно мне вас прогневить, а так и извольте отписать, что, мол, подумать и поговорить желают...

— Вот тебе и раз. Я думал, она мне в ножки с радости поклонится да побежит молебен служить всем радостям, а она?.. Извольте-ка, что разговаривает!.. Ты с ума не спятила ли?..

— Меня, батюшка, Петр Архипыч, никогда за дуру не почитали... И я от своего счастья не отказываюсь, и

очень ценю, и чувствительно благодарна... Но только что это дело такое, сами вы довольно знаете!.. Наобум делать не приходится!..

— Так только и весь твой ответ теперь?..

— Только и есть, сударь, а по времени опять можно переговорить с вами ли али, может, сами Кузьма Иваныч наедут сюда... А только что это отпишите, что я от своего счастья не отказываюсь и очень чувствительно как благодарю...

С тем Дарья Тихоновна и ушла.

«Ну, баба! — подумал ей вслед Петр Архипыч.— Министр-баба!.. Лучше другого приказчика дело свое знает!.. Эту на кривой не объедешь, она свое возьмет!..»

***

Воротясь домой, Дарья Тихоновна не могла найти времени в тот же день, чтобы переговорить с Параней наедине и сообщить о предложении Петра Архипыча. Федя весь вечер не отходил от Парани, пользуясь кануном праздника; Алена Николавна также была дома. И мать, и дочь,— обе тяготились этим: одной хотелось поскорее рассказать, другой узнать подробности свидания с приказчиком; по лицу матери Параня догадывалась, что случилось что-то очень важное. Вследствие этого на следующий день Параня не пошла на открытие школы ни с Аленой Николавной, ни с Федей, отказываясь легким нездоровьем.

— Ну что, мамонька, скажи-ка ты мне про вчерашнее-то... Что, почто звал он тебя? — нетерпеливо спрашивала Параня, как только Чернушкин ушел в школу, а она осталась наедине с матерью.

— Да уж не знаю, как тебе и сказать, Параня,— отвечала мать.— Звал-то он меня за больно хорошим делом. Кузьма Иваныч выходит такой нам благодетель, что истинно надо за него нам богу молиться. Хочет нас с тобой совсем счастливыми сделать... Только теперь вся сила в нас самих, чтобы своего счастья не потерять, а лучше того сказать вся сила в тебе состоит...

— Как так, мамонька?

Дарья Тихоновна передала дочери предложение Кузьмы Иваныча и те условия, на которых он его делал. Она

объяснила причину этих условий совершенно так же, как объяснил их ей самой Петр Архипыч.

— Ну, так вот уж теперь,— заключила она,— сама видишь, что вся сила в тебе! Коли захочешь ты с Федянкой своим развязаться, так и богата, и счастлива будешь, и матку свою на старости лет успокоишь, а не захочешь... И опять твое дело!.. Я тебя не нужу!.. Как тебе лучше, так и делай!..

— А как же по тебе-то?.. По-твоему-то, как лучше,— осторожно спросила Параня, задумчиво сдвинувши свои черные брови.

— Нет, нет, меня и не спрашивай, я слова не скажу... Я не такая мать! Как самой лучше, так и делай!..

— Так почему же ты полагаешь, что там-то уж нам так хорошо очень будет?..

— А вот почему я полагаю. Первое, что будем мы жить у этакого миллионщика, в его собственном дому, в ключницах, стало, мы во всем дому, после самого хозяина, как самыя главныя, потому, все равно как доверенные какие, все у нас на руках будет... И жалованье, значит, он хорошее нам положить должен по этому самому, это ведь не то, что в горничных быть... Вот первое!.. А второе, угодить-то мы ему с тобой сумеем, потрафим на него: уж постараемся!.. А угоди-ка миллионщику-то, приучи-ка его к себе, чтобы он без тебя ни жить, ни быть не мог, так ведь он озолотит, сделает так, что и свой дом тебе выстроит да подпишет, и капитал тебе даст. По-купечески одеваться будешь, на своих лошадях кататься станешь!.. Не то самой в услуженье идти, а у самой своя прислуга будет!.. Все ведь от них может статься, от богатых!.. Ему чего стоит тебя осчастливить-то?.. Ничего не стоит. У него не убавится из-за этого, а ты-то навек покойна и довольна!.. Вот ведь что бывает!.. А то и так, Петр Архипыч даже и проговаривался, что по времени, может, замуж тебя выдаст за стоющего человека да приданое за тебя даст хорошее. Мало ли что богатый человек может сделать для бедного, коли захочет его осчастливить!..

— Да, коли захочет!.. А как не захочет?.. Потешится да и прогонит ни с чем... Разве не бывает?..

— Ну, так ведь уж на это своя голова на плечах, надо все думать, да уговорить вперед... Зря-то и птичка вон в руки не дается, и та на прикормок идет... Так то птич-

ка глупая!.. А мы, слава богу, с разумом!.. Даром-то себя обидеть не дадимся!..

— А разве не бывает, что и через золото слезы льются? — раздумчиво спросила Параня.

— Да, в песнях так поется, точно!.. А наяву-то, посмотри-ка, кто больше плачет-то — богатый али бедный? Кому лучше на свете-то жить: неимущему человеку али с капиталом?..

Параня совсем опустила голову и задумалась. Дарья Тихоновна молчала.

— А как же Федя-то? — вдруг сказала Параня.— За что же я его-то обижу так, безо всякого?.. Ведь он точно меня любит, ото всей души, без хитрости, без обману... Смотри-ка ты, рад душу-то заложить за меня!.. Как же я?.. Ведь я сама дожидать обещала?..

— Так долго ли еще ждать-то думаешь? Вон Петр Архипыч говорит, что никогда ему здесь никакой прибавки не получить, потому его хозяйский зять не любит, а у Александра-то Кузьмича своей воли нет... ничего поделать не может!.. А узнает Кузьма Иваныч, что мы против него этакую грубость делаем, от его благодеяния из-за Федянки отказываемся... тогда уж и вовсе Федянке нечего здесь себе никакого добра ждать... И выдет, что только так, даром время протянет, тебя-то счастья лишит да и себе ничего не получит!..

Параня ничего не возражала и еще больше задумалась; в эту минуту она как будто вдруг на несколько лет постарела: на лбу, между бровями, показались две складки, глаза потухли и приняли какое-то холодное, суровое выражение, даже щеки как будто осунулись, и вместо обычного румянца на них выступили багровые пятна. По лицу ее можно было догадываться, что в душе Парани происходила сильная и тяжелая борьба.

— Да ты вот что,— хотела помочь ей наблюдавшая за нею Дарья Тихоновна,— ты не о Федянке, а об себе думай!.. Что он-то тебя любит, так это при нем пускай и останется. Мало ли народа тебя любило... Вон и Кирилла тоже без памяти был... да ни с чем же ушел!.. На это смотреть нечего!.. А вот сама-то ты как к нему, к Федянке-то?.. Думается мне, что не надо бы, кажись, так уж тебе без памяти-то его любить, что ни жить, ни быть — за него выйти... А ведь и то сказать, не знаю

ведь я, что у тебя на сердце... А?.. Скажи-ка ты мне правду-то...

— Да какую правду-то сказать?.. Я и сама не знаю... Иной раз жалко мне его, так бы, кажись, на шею к нему и бросилась, радостен уж очень он тогда бывает, смотреть на него любо... А другой раз нет этого, а даже сердце супротив него у меня, ровно он виноватый какой, и знаю, что вины за ним нет, а во мне вот так и кипит, так бы вот я все назло ему и делала!.. А после и пройдет опять, и опять ровно как мне его жалко, и люб он мне... Только что не в этом!.. А то, что парень-то он больно уж хорош!.. Стыдно мне перед ним, совестно!.. Он вон какой, совсем добрый, ничего ему не надо, ничего не жалко; все возьмите, останное!.. А уж что скажет, от слова николи не отступится, самый верный человек!.. Ни на какое богатство он и не смотрит, и не желает, не уважает ему!.. Если бы что и промыслить хотелось ему, так не для себя, а для меня же!.. А то бы все отдал, кому нужда есть... И богатых этих он гнушается; не по деньгам на человека смотрит, а по душе, по делу... От богатых-то людей, от этих, он мне сказывал, всем бедным плохо на свете жить!.. Да мало ли он что мне говорил, каких слов... Хорошие все слова говорит!.. Слушать — не наслушаешься! И ни с кем он столь не говорит, что со мной, и все к делу, а не то, чтобы в баловство какое... И после этаких-то слов его... я на что пойду!.. За его любовь такую, что я с ним-то сделаю?!.. Вот что, мамонька!..

— Ну, Параня, моя вина, что я дала тебе слушать да примать его слова пустые, а твоя вина, что ты слушала да мне ничего не сказала!.. Кабы сказала, я сама поговорила бы с ним!.. Про любовь твою к нему я теперь вижу. Известно, вертится около тебя молодой парень да ласковые слова говорит... тот али другой,— все одно!.. Ну, вот тебе его и жалко, иной час и потянет тебя к нему!.. А подумаешь ты, что этот парень, может, жизнь твою заедает, что не такой бы по тебе жизни надо,— ну, и сердце у тебя супротив него!.. Эта любовь твоя не страшная, другой подвернется — и к другому такая же будет. Пусти к тебе Кирилла,— вот и беспутный парень, и женатый, а с тем то же у тебя будет!.. А вот насчет слов его... Так что ты на слова-то полагаешься? Что слова?.. Слов можно наговорить каких угодно... А вот он

на деле себя покажи!.. Вот обещал, что десять-то рублей на фабрике тебе будут платить, а что на деле-то вышло?.. Сказывал,— подождите только маненько да поедемте со мной, а деньги будут: машин понавыдумаю, купцы озолотят, место другое скоро получу и жалованье дадут большое... А где же все это?.. Вот они слова-то!.. Еще не то, что прибавки али капиталов больших, а жди того, что вовсе и с фабрики-то прогонят!.. Что богатством-то гнушается да купцов бранит, так это из зависти... Известно, что бедному человеку делать, коли ума да обороту нет, чтобы капитал нажить?.. Ну, ругаться!.. Нынче и все так: сам не умеет чего сделать, достать, промыслить, а другие люди умеют... ну, значит, они разбойники, грабители, душегубы!.. Слов-то этих, Паранюшка, нечего слушать, они легки, слова-то, их всякой сказать может!.. Вот кабы дело было, ну, то другое!.. А слова эти к сердцу примать да в стыд себе считать... это дураком надо быть!.. Я тебя, Параня, не нужу, вся твоя воля!.. А только ты зря от своего счастья не отказывайся и из-за пустых, бездельных речей себя не губи... Ты лучше подумай да и подумай, торопиться нечего, поспеем еще с ответом-то... Вижу я, очень купцу-то послуга наша понадобилась... Ну, так пускай подождет, а мы подумаем... А надумаем, так еще поторгуемся... Я и тебя, и себя зря, наобум, в кабалу не отдам!.. А только что судьба твоя тут, на фабрике, это видать, что судьба!.. Ну, и надо ее ловить, не упускать, а прозеваешь... после не скоро изымаешь!.. А, может, и спокаешься, что свое счастье прозевала!..

Дарья Тихоновна прекратила на этом разговор и с умыслом оставила Параню в борьбе с самой собою. Она, впрочем, надеялась, что результат этой борьбы будет вполне благоприятный, в интересах ее желаний. В таком состоянии застал их Кирилла, явившийся вместе с Аленой Николавной. Появление его было до такой степени неожиданно и так удивило хозяек, что они обе не верили своим глазам и смотрели на него, не произнося ни слова, ни звука, точно обе вдруг онемели. Это впечатление заметила даже Алена Николавна, обыкновенно не замечавшая ничего, что не касалось ее самой лично или ее идей и специальных целей.

— Старого знакомого к вам привела,— проговорила она, указывая на Кириллу.— Не ждали...

— Доброго здоровья, Дарья Тихоновна... Парасковья Михайловна,— сказал Кирилла с нахальным видом, но не без внутреннего волнения.— Видать, что не ждали меня!.. Думали, чай, что никогда и не повстречаемся?..

Кирилла старался улыбнуться и казаться спокойным, но лицо и глаза его говорили совсем другое. В них отражалась и страсть, и злоба, и радость свидания, и желание посмеяться, подразнить, припугнуть даже собою оторопевших женщин.

— Здорово живете!..— повторил он, сверкая своими черными глазами.— Чай, никогда и не вспомянули старого дружка-приятеля?.. А я вот как тут, ровно из земли вырос... Здравствуйте же...

— Здравствуй, здравствуй,— отозвалась первая Параня, скорее матери собравшаяся с духом.— Правда, что наш атлас не идет от нас!— прибавила она с усмешкой.

— Какими судьбами попал сюда? — спросила в то же время и Дарья Тихоновна.

— Да стосковался по вас, Дарья Тихоновна!..— отвечал Кирилла.— Правда, что ни скажет Параня, ваш атлас!.. С вашего примера и мне захотелось на фабрике, около купцов, счастья поискать. Наймоваться пришел!..

— С женой или один? — спросила Параня не без ехидства.

— Один Парасковья Михайловна... Что моей жене здесь делать?.. Сами знаете, неразвязная она баба!.. Здесь народ другой требуется, умной, оборотистый, вот как Дарья Тихоновна али вы!..

— Скучно ей будет там без тебя,— говорила Параня с той же язвительностью.

— Ничего, привыкнет!..

Кирилла начинал злиться и приготовлялся сказать еще новую колкость Паране, но его перервала Алена Николавна.

— Ну, вы еще здесь наговоритесь, а мне поесть что-нибудь, Дарья Тихоновна, да в школу опять пора,— сказала она.

Дарья Тихоновна спохватилась.

— Ах, батюшки, и сам-деле, ведь вы еще не обедавши... Сейчас, сейчас!

Она начала суетливо приготовлять обед.

— А книжек-то обещали, Алена Николавна,— обратился к ней Кирилла.

— Как же, как же... Возьми.

Она собственноручно вытащила из-под лавки сундук, наполненный книгами, порылась в нем, вынула несколько книжек и подала Кирилле.

— Вот вам... на первый раз!.. Вы спрячьте их подальше... Понимаете?.. Дома прочитайте сначала один и побывайте у меня. Мы потолкуем тогда...

— Покорнейше благодарю, Алена Николавна... не беспокойтесь, спрячу,— говорил Кирилла, и с серьезным, озабоченным видом положил книжки за пазуху, наглухо застегнул поддевку и осмотрел себя. Он хотел показать Алене Николавне, что понимает, как надо беречь данные книжки и как к ним относиться.

Алена Николавна принялась торопливо обедать.

— Вы теперь куда отсюда пойдете? Где вы живете? — спросила она Кирилла.

— Да вот пока здесь посижу, со старыми знакомыми покалякаю, а после пойду квартиру искать... Я ведь пока только на ночь приставал переночевать. Надо постоянную квартиру приискать где, здесь поблизости...

— А я с вами в школу пойду,— сказала Параня.

— Пойдем, пойдем!.. Вот чудесно!.. Мне ужасно досадно было и давеча, что вас не было, Параня, на открытии... Я речь говорила мужичкам... Кажется, произвела впечатление... Народу столько привалило в школу, что все сразу даже не поместились...

— А вы тоже грамоте хотите учиться, Парасковья Михайловна? — спросил Кирилла.

— Да она уж учится у меня дома,— отвечала за Параню Алена Николавна.— И очень успешно, умница большая!.. Еще недельки три-четыре,— свободно читать будет...

— Вот как!.. И дома учитесь, и в школу-то хотите идти...

— Нет, я не для ученья иду, а так... посмотреть!.. Да дома и делать нечего. Скука одной, а там все: и Федя, и Алена Николавна... Опять же Федя, может быть, тоже учить будет. Посмотрю, как он примется...

— Там и хозяйский сын тоже учить, видно, будет, Алена Николавна? Или он так только там? — спросил Кирилла, как будто простодушно, но Параня поняла, что он говорил это с умыслом и на ее счет. Она вспыхнула и рассердилась.

— Как же, будет, будет и он... непременно!.. Это необходимо!.. Я настаиваю! — отвечала Алена Николавна.— Ну, собирайся же, Параня, пойдем... Я уж кончила...

Кирилла злобным взглядом провожал Параню, которая ушла из избы, не простясь, не оглянувшись на него, как будто позабывши даже об его присутствии. Он остался в избе наедине, с глазу на глаз с Дарьей Тихоновной, но сидел молча, насупившись, мрачный, озлобленный, и смотрел неподвижно на дверь, за которою скрылась Параня с Аленой Николавной.

Дарья Тихоновна, успевшая мимоходом заглянуть в висевшее на стене зеркальце и поправить на голове волосы и платок, искоса поглядывала на Кирилла и ждала, чтобы тот заговорил, но он упорно молчал.

Дарья Тихоновна, наконец, не выдержала.

— Зачем еще, сокол, объявился сюда? Чего нужно? — спросила она Кирилла шутливо и ласково.

— А вы думали,— уйдете от меня, спрячетесь так, что и не найду?..

— И не думали мы прятаться, а поехали за своими делами, куда нам надобно... А тебе-то, вот, что здесь нужно? Ты-то зачем сюда пожаловал?..

— Не за тобой ли, думаешь, за кралечкой писаной?..

Кирилла презрительно и злобно усмехнулся. Дарья Тихоновна обиделась.

— А за кем же? Не за Паранькой ли опять?.. Так уж тебе, кажись, сказано, что не то, что она, и я-то не по твоему рылу... Проезжай-ка мимо, заворачивай оглобли назад, откуда приехал,— уходи, пока Федянка не воротился, пока цел!.. Тебе-то я не нужна, а ты-то мне и вовсе... Вишь ты... Эким-то золотом, что ты, гати гатят!.. Убирайся, говорят, откуда пришел!..

— А ты не брыкайся очень-то... Со мной, смотри, полегче, я не другие прочие... Видишь ты, зазналась; около купцов-то, что ли, этакого форса набралась... Около них, что ли, хвостом-то завиваешь?..

— Ну, а хошь и около купцов, так что же? Тебе какое дело?.. Опять-таки не твое здесь место... Убирайся...

— Дарья, слушай: у меня двести рублей есть... Вот здесь в кармане лежат. Хочешь, сейчас покажу?..

— Ну так что?.. Есть да не украл, так твои... А мне-то что?..

— Хочешь, тебе их отдам, развяжись только с Федянкой, прогони его... А я, может, здесь в приказчики попаду... Как бы зажили!.. Насчет Парани уж я сам, ты только не мешай... Пожалуй, пускай она и с купцами... только чтобы Федянку прочь, чтобы замуж она за него не шла... Мало тебе двухсот, весь дом разорю, распродам, все деньги твои, только чтоб Паранька моя была...

— Ах, ты дурак, дурак!.. Сумасшедший дурак!.. Полоумный!.. Ступай-ка, ступай, подобру-поздорову!.. Коли пьян, так проспись, а тверез — перекстись... Ну, куда ты лезешь с своими двумя сотнями?.. Ну, где тебе Паранькой владать?.. И прежде-то в деревне жили, что я тебе говорила насчет этого?.. Вспомни-ка!.. А теперь и говорить-то мне с тобой не охота... И смеешь ты ко мне, к матери, с этакими твоими словами подлыми лезть?!.. Да с чего ты это взял? С чего выдумал?.. Убирайся вон отселе, чтобы нога твоя не была у меня!..

— Так так вы ноне, Дарья Тихоновна?.. Убирайся вон?.. Вот как!..

— Да, так я ноне... Испугать, что ли, ты меня думаешь?.. Так не испугаешь, небось, не таких видала!.. Держался бы, держался, дурак женатый, за меня, и того бы про тебя слишком... А то, видите, еще за Паранькой тянется!

Дарья Тихоновна искусственно засмеялась.

— Да мне тебя-то даром не надобно, гроша я медного за тебя не дам... А вижу я теперь, откуда в тебе форс этот. Сладилась, видно, сторговалась с купецким-то сынком, а Федянку про запас держишь, про всякой случай, чтобы им, дураком, грех прикрыть... А тот дуралей ничего не видит, не понимает... Ну, ладно же, я тебя утешу — сам не видит, я наведу!.. Пускай же, коли не мне, так и он передо мной не бахвалится!.. А уж тебе... Я тебе подстрою, постой!.. Останешься на бобах... Погоди!..

Кирилла в бешенстве выскочил из избы.

Дарья Тихоновна осталась спокойною и даже довольною.

«Добро бы ты,— думала она,— подбил Федянку-то самого от нас отшатнуться... На что бы лучше!.. Чего мне и надобно... А он стращает!.. Нет, парень, не перехитрить тебе умную бабу!.. Простоваты вы все!..»

III

По окончании воскресного класса, за чаем у Проскурова, к которому остались Кошатников и Федя с Параней, Алена Николавна, среди восторженных разговоров о блестящем начале предприятия, об еще более блестящих надеждах на будущее, вспомнила и сообщила присутствующим, что она отыскала нового прозелита, прозондировала его, открыла в нем задатки и способности и успела уже их направить известным образом. Федя изумился и испугался, когда узнал, что речь идет о Кирилле.

— Так и ты его видела, Параня? — спросил Федя.

— Как же, видела... Он с Аленой Николавной к нам приходил...

— Что же ты мне не сказала?..

— Да не угодила... Я оттого и из дома-то ушла, что он пришел...

Федя с благодарностью взглянул на Параню.

— А напрасно вы ему, Алена Николавна, книжек дали и говорили с ним много...

— Почему же?..

— Так... Он не такой человек!.. Ему до этого никакого дела нет... Самый он негодный человек, беспутный, пьяница, в остроге сидел!..

Алена Николавна насмешливо улыбнулась.

— Я от вас ожидала, Чернушкин, такой оценки ему,— сказала она.— Вы судите о людях по личным отношениям и по той узкой мерке условных правил нравственности, которая в моих глазах ровно ничего не стоит... Напротив, я предпочитаю людей безнравственных, по понятиям большинства, людям нравственным и благонамеренным... Вы слышали, кажется, что в глазах вашего хваленого старшины, отца этого Кирилла, и Кузьма Иваныч — желанный человек... Мне очень грустно, но, кажется, и вы, Чернушкин, придерживаетесь этих отсталых взглядов. Вы должны знать, что нравственности как отвлеченного понятия не существует. Читайте Бокля... А условная нравственность сочиняется только для удобства эксплуатации... Это азбучные истины!.. Я не хочу знать о том, как ведет себя человек, как думает о нем общество... Считает ли его человеком нравственным, добродетельным или негодяем... Для меня дорого и важ-

но одно: какие идеи и убеждения разделяет этот человек... Наш он или чужой, в известном смысле?.. Скажу более: всех людей нравственных, так называемых благонамеренных, мы, передовики, должны считать своими заклятыми врагами... Да они таковы и есть!.. И если я встречаю человека, от которого отворачивается общество, это гнилое, растленное общество, отворачивается как от негодяя, но если этот негодяй понимает меня, сочувствует моим идеям, готов энергически проводить их в жизнь, то я протягиваю ему руку, называю его другом и товарищем... И такой человек, я уверена, гораздо больше сделает, чем другой, самый нравственный, но нерешительный, чересчур осторожный, старающийся идти так, чтобы никого не задеть, никого не обидеть, а главное, разумеется, чтобы не повредить самому себе!..

Феде показалось, что Алена Николавна делает неблагоприятные намеки на него. Он вспыхнул, нахмурился, но по свойствам своего характера не мог ни оправдываться, ни возражать.

— А вы вполне убедились, Алена Николавна,— спросил Проскуров,— что Кирилла разделяет наши убеждения, что на него вполне можно положиться?..

— О, без сомнения!.. Уже самое его общественное положение,— этот гнет и ссора с отцом, нелюбимая жена, от которой он бежал, это мнение о нем большинства как о негодяе, его излобленность, недовольство говорят в его пользу... Наконец, неужели вы думаете, я не прозондировала предварительно все его взгляды, убеждения и мнения?.. Он очень подходящая нам личность... Конечно, он мало развит, чтобы быть непосредственным деятелем, но он будет отличным орудием в наших руках...

— Я его не знаю, но, по рассказам Федора, считал его самой ничтожной, бессодержательной личностью...

— Напротив, он весьма неглуп... Но ведь, я и сказала, что он не вполне развит и пока может быть только орудием... Кстати, Александр Кузьмич, он подал отличную мысль, чтобы сделать его приказчиком... Это было бы недурно, если бы наш человек мог иметь влияние на рабочих под фирмой приказчика хозяйского... Вы понимаете?.. Нельзя ли бы как это устроить?.. Или поместить бы его, по крайней мере, в контору писарем. Он пишет хорошо, по его словам...

— Вы знаете ведь, мне трудно... меня не послушают...

А вот, если бы он как-нибудь сам... Я, впрочем, подумаю, посмотрю... Может быть, и можно будет...

— Он хитрый!.. Он притворился, обманул вас! — вскричал Федя, не выдержавший более.— Вы ошибаетесь!.. Ему решительно все равно!.. Ему только бы в приказчики попасть... Он обманет, продаст нас всех!.. И если только вы примете его, господа, в нашу компанию... будете доверять ему... в таком случае я ото всего отказываюсь... Не считайте меня больше за товарища!.. Я лучше всех вас знаю, что это за человек...

— Чернушкин! — строго заметила Алена Николавна,— во-первых, повторяю вам, что вы судите о Кирилле в силу ваших личных с ним отношений, а это не может служить критериумом; во-вторых, вы не имеете права сами уходить от дела, которое вам доверили,— это возбуждает подозрение, это заставляет черт знает что думать о вас...

— Думайте что хотите, считайте меня чем вам угодно, но я решительно не верю в такое дело, в котором, рядом со мной, может участвовать Кирилла, и отказываюсь от него... Я вам объявляю решительно... Да и вообще, Алена Николавна, так нельзя... Я давно собирался сказать... Все, что мы ни делаем, похоже — кабы на медведя с одним кулаком идти... Только людей смешить да свои бока даром подставлять!.. Что Промптов пишет, я тому не верю. Бумага все терпит, а нас всего только четверо... Его приказов слушаться я не намерен!.. Эх, да что говорить. Вы со мной не согласитесь, вы вон как обо мне думаете... Ну, и думайте!.. Я знаю себя, я вас не выдам, никому слова не скажу, хоть пытай меня... Но и оставаться вместе с Кириллой не хочу... Пойдем домой, Параня... Прощайте...

Федя хотел уйти, не подавши даже никому руки, и остановился в ожидании только Парани, которая медленно собиралась, не понимая хорошенько, что произошло перед нею, в чем поссорились друзья.

— Федя, погоди ж ты,— остановил его Проскуров,— разве так можно?.. Я тебя не узнаю... Ты можешь высказывать свое мнение, но такое бегство похоже, в самом деле, на измену...

— Нет, Василий Якимыч, вы меня знаете и не подумаете этого... А что мне делать, если я вижу, что Алена Николавна меня подозревает, а Кирилле верит?.. Если

я убедился, что вся наша затея ни к чему не поведет, что мы сами себя руками отдаем, припуская таких людей, как Кирилла!..

— Что же, брат, видно, по-твоему, к старой теории воротиться хочешь: терпеть надо?.. Грустно, брат, мне это!.. Не ожидал!.. Скоро ты струсил!..

— И вы против меня?.. Ну, Василий Якимыч, с вами я после поговорю, а теперь не могу... Не струсил я, вы увидите!.. А только так нельзя... Прощайте...

— Я этого ожидала, благонамеренный ретроград! — сказала Алена Николавна вслед уходящему Феде.

— А вы, действительно, Алена Николавна, сделали, может быть, большую ошибку, сразу доверившись Кирилле. Надо было предварительно хорошенько всмотреться и испытать его.

— Да ведь я ему ничего особенного не сказала... Дала только книжек и велела потом побывать к себе... Вот посмотрю еще, потолкую с ним...

— И вообще нам надо бы быть поосторожнее,— робко заметил Александр Кузьмич.

— Ну, господа, с вашей осторожностью да вот с такими деятелями, которые ретируются на первых шагах, вы никогда ничего не сделаете,— возразила Алена Николавна.

— Федора я ворочу к нам, вы не беспокойтесь, надо только поговорить с ним да сделать ему уступку насчет Кирилла,— заметил с своей стороны Проскуров.

Но, тем не менее, восторженное состояние союзников значительно охладилось происшедшим эпизодом, и они расстались унылые и недовольные друг другом.

Александр Кузьмич, воротясь из школы домой, был поражен сообщением Дмитрия Тимофеича. Он получил от Кузьмы Иваныча письмо, в котором тот, между прочим, приказывал сыну немедленно приехать в Москву для представления приисканной ему невесте. Александр знал несколько эту будущую свою партию. Она была дочь очень богатого купца, годом старше его, некрасивая, сырая, белобрысая девица, за то с миллионным приданым. «Пускай Сашка чувствует,— значилось в письме Кузьмы Иваныча,— сколь я старался для него по моим родительским чувствам. Не по одному разу сходились с подлецом, будущим сватушкой, толковать о приданом, три пота сошло с меня, пока к приданым деньгам дом еще в

Москве выморщил... Московские мазурики, не как мы деревенские!.. Да бог помог!.. Высылай его тотчас, безотменно, с получения сего письма»...

В глазах молодого человека зарябило, когда он прочитал эти строки. В его воображении, вместо невесты, упорно вставал образ Парани, в голове мелькали мысли о школе, о гражданском подвиге, о фиктивном браке, о настойчивости, с которой Федя защищал против родительской власти свое право выбирать подругу жизни, об обязанности, которую навязывала ему Алена Николавна, пожертвовать собою для общей пользы... и мысли эти кружились несвязной вереницей около миловидного личика Парани... Вдруг Александр Кузьмич вспомнил, как скромный, молчаливый, тихий Федя решительно заявил свой протест давеча в школе по поводу Кирилла, ушел сам и увел с собою Параню, на которую так ловко было смотреть из-за самовара... И в своей душе Александр Кузьмич почувствовал энергию сопротивления... «Не поеду! — решил он мысленно.— Не скажусь им, что велено ехать, а объявлюсь больным и не поеду... А там что будет!»

— Что же, братец, когда думаете в дорожку? — заискивающим голосом спрашивал Дмитрий Тимофеич.

— Не знаю еще... Не сейчас же ведь в самом деле... Надо собраться, уложиться...

— Да само собой!.. Только что тятенька-то пишут, чтобы сейчас безотменно?.. Я было и лошадок велел приготовить?..

— Нет, где же сегодня?.. Я не могу!.. Не успею собраться!..

— Как вам угодно, братец, только бы не прогневить тятеньку...

— Нет, я не могу сегодня... Не поеду я сегодня...

— Ну, завтра, так завтра... И то в самом деле, не горит, успеете... Не на срок дело...

Но назавтра Александр Кузьмич сказался больным, не выходил никуда из комнаты и не поехал. Что выйдет из этого, он сам не знал и не хотел о том думать, он просто чувствовал потребность борьбы, сопротивления чужой воле, хотя бы временно и пассивно. Как слабохарактерный человек, он был доволен собою уже и за то, что нашел в себе силы хоть для такого тупого упорства. Его

забавляло и тешило то, что зять и сестра, видимо не доверявшие его болезни, беспрестанно приходили его проведывать и высказывали беспокойство о последствиях такого неповиновения родительскому приказу. Когда на третий день по получении письма была послана Кузьме Иванычу телеграмма, что сын не может выехать по болезни, Александр Кузьмич расхрабрился до того, что объявил сестре о намерении своем вовсе не слушаться отца и не жениться на выбранной им невесте. Испуг сестры при этом сообщении доставил Александру Кузьмичу чувство полного самодовольства.

— А что же? Не захочу и не женюсь!..— пугал он сестру.— Меня никто не может заставить жениться поневоле... И отец!.. Что он мне сделает?..

— Ай, Сашенька! — говорила с ужасом Лизавета Кузьминишна.— Да разве ты не знаешь тятеньки, как ежели что не по нем?.. Да боже сохрани!.. Он, кажется, и...

— Ничего он не может сделать со мной,— храбрился Александр Кузьмич— Нынче, вон, у крестьян, так и у тех нет этого деспотизма... И там сами себе выбирают невест, а не женятся на ком родители приказывают...

— Так то мужики, Сашенька... Что мужик сделает?.. Разве побьет только сына или дочь... А тятенька тебя капитала может лишить... и фабрики тебе этой тогда не видать. Не подпишет за тебя ни за что...

— Ну, и пускай, я не очень льщусь на эти капиталы... Разве честным трудом они нажиты, а не обманом, не обидой?

— Ай, Сашенька, что ты за слова какие говоришь... Даже слушать неприятно!.. И от кого ты этих слов набрался вредных?.. Бог тебя знает... Уж не гувернанточкины ли это штуки, думаю я?.. Не она ли тебя подбивает против тятеньки?.. Сашенька, да уж не думаешь ли ты на ней жениться?.. Недаром она, подлая, здесь, говорят, живет, на деревне... Не губи ты себя, Саша, что ты это!.. Ни кожи, ни рожи, ни ума, ни достатка, один форс да разговор, ровно полоумная какая!.. Да тятенька узнает, так, кажется, обоих вас со света сживет!.. Да и нам так неприятно... Уж какая это пара тебе!..

— Слушай, Лиза, да ведь ты вышла же замуж против тятенькиной воли... Что он поделал?.. Ничего же... Поругался, поругался, да и обошелся!..

— Так то я... девка была, а не сын!.. Да и похвалю, что ли, я себя? Не похвалю, не думай!.. То ли бы дело, кабы законным порядком... От недосмотра это все вышло, что досмотра за мной не было хорошего, без маменьки... Да и сменил ты! Дмитрий-то Тимофеич какой человек-то?.. Разве этакого ума?.. Ведь он вон какой, самого ума большого!.. Только один изъян в нем был, что небогат... Как можно тебе это говорить!.. И вздумал сменить. Моя судьба али твоя?.. Хошь бы эта гувернанка?.. Я хоть за бедного, да по крайности за человека шла, и красавец был, а это что?.. Уж не знаю, к чему и приравнять-то ее...

— Нет, Лиза, ты не думай, я на Алене Николавне не женюсь... А еще вот что тебе скажу: она даже советовала мне жениться непременно на богатой, которую отец выберет, да только я слушать-то ее не хочу... Я хочу сам себе выбрать, а не по чужому указу...

— Ну, Саша, обдумайся, обдумайся, полно... Не накликай даром беды на себя... Все равно ведь уж тятенька повернет по-своему, заставит жениться на ком захочет, только что одну муку да неприятность даром себе примешь... Право, брось, собирайся-ка да поезжай!..

Но Александр Кузьмич еще упирался, и хотя он ощущал трепет при невольно приходящей мысли о встрече и объяснении с отцом, но старался не останавливаться на этой мысли и отделаться от нее. В то же время он чувствовал необходимость в какой-нибудь поддержке его энергии.

«Алене Николавне не надо и говорить,— думал он,— она будет настаивать, чтобы я женился, ради общей пользы... Хорошо, если бы Параня узнала, что мне предстоит такая богатая партия и я не хочу жениться, не могу... Если бы она догадалась, отчего?.. Да она догадается!.. Разве посоветоваться с Федором?.. Он, конечно, примет мою сторону, он сам в таком же положении, тоже идет против отца... Да, поговорить с ним!.. Он докажет и Алене Николавне, что нельзя требовать от человека, чтобы тот приносил себя в жертву... Он ведь вот никого же их не слушает, а хочет непременно жениться на Паране...»

И Александр Кузьмич в качестве скучающего больного решился послать за Федей, чтобы позвать его побеседовать.

IV

Еще в воскресенье, в школе, и особенно возвращаясь из нее вместе с Параней, Федя заметил в своей невесте что-то особенное, небывалое. Она была задумчива, уныла, молчалива и рассеянна. В школе он зорко следил за ее отношениями к Александру Кузьмичу и к удовольствию своему заметил, что Параня почти не обращает на него никакого внимания, хотя Кошатников и кидал на нее втихомолку страстные взгляды; но, по-видимому, Параня была столько же равнодушна и невнимательна и к самому Феде.

«Неужто же это оттого, что Кирюшку увидела?» — думал он.

Дорогою из школы, после нескольких вопросов, на которые Параня отвечала холодно и односложно, Федя спросил ее:

— Что ты сегодня какая, Параня?

— Какая еще?..

— Да точно горе али забота большая у тебя?..

— Не с чего, кажись, и веселиться-то... Радости-то никакой особливой не вижу...

— Разве что Кирюшка-то пришел... Не молвил ли чего?.. Может, сказать не хочешь? — осторожно спросил Федя, заглядывая в лицо Паране.

— Отстань ты от меня с твоим Кирюшкой!.. Очень он мне нужен!.. Плевать я на него хотела... Вот!... Кирюшка!.. Стану я слова его слушать да думать о нем!..

— Так что же такое, Параня... солнышко?.. Уж вижу, сердце мне сказывает, есть ничто у тебя на душе... Не таись!.. Скажи лучше!..

— Надокучили вы мне все... Глаза бы мои на всех на вас не смотрели... Вот что!..

— И я, Параня?..

В голосе Феди слышалось оскорбленное чувство.

— Так что, и ты разве лучше людей? Все вы ровно какие полоумные!.. Говорите неведомо что. И не разберешь вас!.. Сойдетесь, послушать вас, ровно глумные!.. Почнете купцов, богатых, да господ ругать, что народ будто обижают... Бедных бы всех вам одеть, накормить да богатыми сделать, а тех всех разорить... Вздумали грамоте всех обучить... книжки раздаете читать... ровно с грамоты да с книжек сыт народ будет?!.. Ну, правда,

что шапки да сапоги коим детям дали. Так Александру Кузьмичу почему не прокуратить так, не баловаться!.. Он богат! А вы-то с чего тут?.. Вон Алена Николавна, смех сказать, в одном платьишке осталась, рубах нет, мои в смену надевает, а свои все раздала... Намедни прослышала, девка ребенка принесла, голый лежит, так схватила остатки, что своего белья было, все перервала на пеленки да бежит к ней, а завернули ребенка-то, перевязать нечем, так, не долго думавши, хвать, кромку от подола у платья своего отполоснула... Так и испортила одежу-то, без подшивки подол-то у платья остался, надеть нельзя... Да и то сказать, она наденет!..

Параня засмеялась.

— Что же, Параня, разве это не хорошо, разве это не от доброй души?..

— Знамо, от доброй души, да что пути-то из того?.. Самой надеть нечего, а людей одевает!.. Всех не оденет, голи-то много!..— А ты лучше, что ли, людей-то?.. Такой же... Тоже о чужой нужде хлопочешь да заботишься, а о своей и не подумаешь!.. Обещал богатым сделаться, деньги наживать, а я прибавки что-то не вижу!.. С этаким купцом богатейшим водишься, что не знает куда деньги девать, а ничего для себя не умеешь от него попользоваться!.. В приказчики идти не хочешь. Низко, видите, ему, неблагородно...

— Параня,— перебил ее Федя с упреком в голосе,— да ведь разве я тебе не толковал, не рассказывал про все?.. Разве ты не знаешь, с чего я в приказчики идти не хочу, с чего денег купеческих даром брать не желаю... отчего за своего брата, бедного рабочего человека, стою!.. Ведь не мало и я, и Алена Николавна толковали тебе про это...

— Слышала я, слышала все эти сказки-то ваши... Всех бедных богатыми хотите сделать, да чтобы никто никого не обижал, не прижимал... Ну, пускай, это хорошо!... Да где вам-то сделать, коли вы сами про себя промыслить не умеете?.. Вот ведь уж говоришь, что жалеешь, любишь меня, все уши прожужжал про то... Ждать просил, пока побогатеешь... Вот жду... А где твоя забота о том, чтобы как поскорее справиться?.. Уж почал другое говорить: поди за тебя теперь, за бедного, нужды отведай да опять жди... Нужду-то уж я знаю довольно, а ждать-то от тебя путного, видно, нечего. Не то у тебя

в голове!.. Не то нажить, а скорей того: с фабрики тебя прогонят... И вот тебе сказываю, Федор Герасимыч, хоть и жалко мне тебя будет, ровно как привыкла я к тебе,— и парень ты хороший, добрый!.. А коли так все будет... я ждать больше не стану!..

— Что же ты сделаешь... Параня? — с испугом, с болью вскрикнул Федя.

— Да что сделать?.. Бог с тобой!... Ищи коли про себя кто умнее да лучше, а я в бедность не пойду... Опостылела она мне, эта бедность самая, низкость эта наша подлая,— что последние мы люди на свете!.. Кричат люди в голос, кричишь и ты: красавица, да писаная!.. А я стану сама, по доброй воле, красоту да молодость свою заедать, стоя у стана по целому дню... ночи не досыпать, спину надсажать, ноги отстаивать?.. Нету, спасибо!.. Вот и то уж у меня спина-то ныть начала, ноги, руки, с фабрики-то приду, млеют... А мамонька говорит, да и сама вижу, и с лица я тускнуть стала...

— Параня! — вскричал Федя с отчаянием, чуть не со слезами,— да ты не любишь меня совсем?.. Я думал, хоть немножко жалеешь, а ты не любишь, не любишь вовсе!.. И жалости в тебе нет ко мне никакой!..

— Как хошь думай... А всяк сам себе дороже... Я молода. Мне пожить, повеселиться хочется, порядиться, побарствовать... А ты меня в работу, ровно в хомут, затянул да так навек и оставить хочешь... Не желаю я экой жизни, не желаю!.. Либо делайся богатым скорей... ну, и женись на мне, коли любишь. Небось, верная жена буду, на стороне гулять не стану!.. А в бедность опять не пойду, не пойду!.. И ждать не хочу, надоело мне ждать!.. Конца нету жданью-то этому!..

— Параня!.. Да что же это?.. Кто тебя сомустил? Кто тебя сбил?.. Неужто это... неужто ты и вправду на Александра Кузьмича надеешься?.. Мать твоя, что ли, это тебя подбивает?..

— Никто меня не подбивает... И про Александра Кузьмича ты не думай. Трех слов я с ним не сказала... Нечего мне на него надеяться!.. А что сама я тебе говорю, подойдет линия хорошая, уйду я от тебя вовсе!.. Не вини тогда меня, а себя вини. Я ждала тебя, слушалась, сколь сил моих хватало, а больше ждать не хочу... Не умеешь ты промыслить про меня, приходится, видно, самой про себя промышлять!.. Вот и весь сказ тебе!..

— Да ты не на такой ли же промысел-то хочешь идти, что и мать твоя? — проговорил Федя глухим, сдавленным голосом. Его душило горе и обида, он чувствовал страшную злобу против Парани, хотя не переставал любить ее.

— Ну, а коли ты меня такой почитаешь, так чего лучше! И жениться тебе на такой непригоже, и жалеть тебе меня нечего... Пускай такой и буду!..

Федя спохватился.

— Нет, нет, Параня, с горя я это молвил, со зла!.. Не такая ты, я знаю... А что же мне делать?.. Рад бы я не то, что... озолотить бы тебя рад был. Да где же мне вдруг взять?.. Не разбоем же идти, не ограбить же кого?.. Погоди же хоть немножко. Вот сам хозяин приедет, я ему скажу, что придумал насчет машин... Должен он мне заплатить за это... Вот и деньги будут... Параня, не сердись на меня... что я сказал!.. Горьки мне твои слова стали, несносны!..

Но что ни говорил Федя, Параня не отвечала уже ни слова, и, придя домой, почти не смотрела на него, едва отвечала на его вопросы. Бедный Федор терзался, не спал всю ночь и на другой день едва в силах был работать.

Во время обеда они обыкновенно сходились с Параней, так как первая ее смена на фабрике оканчивалась в полдень. Федя обыкновенно поджидал ее у фабричных ворот и провожал до дому. Так было и в этот раз; но они шли рядом молча, почти не смотря друг на друга,— Федя печальный, убитый, с опущенной головой, Параня сосредоточенная, серьезная, холодная. Изредка, вскользь и незаметно, она взглядывала на Федора, и в глазах ее мелькала как будто жалость и сострадание, но лицо оставалось так же неприветливо и холодно. Это выражение Паранина лица оскорбляло Федю, сковывало ему язык, пугало его как угроза, что если он заговорит, то услышит слова окончательного разрыва; он страдал невыносимо. В то же время, искренне любящий, он готов был во всем оправдать Параню, все ей простить, обвинить себя одного.

«И в самом деле, разве я не обещал ей, что разбогатею? — думал он.— Не просил подождать?.. А что сделал для нее, какую ей жизнь устроил?.. Да еще я же и обидел ее вчера... Она устала ждать, надоела ей фабричная

работа... А я-то, я-то что сказал ей!.. Скажи ей это кто другой, что бы я сделал?.. А сам говорю...»

Уже подходя почти к самому дому, Федя собрался с духом и проговорил вслух:

— Параня, прости ты меня, не сердись, что я тебе молвил вчера... Право, я с горя, с тоски это сказал, не думал я того... Не сердись, Паранюшка!..

— Что мне сердиться... Я не сержусь. Мне все одно!— холодно отвечала Параня.— Коли таковская я, так и жалеть тебе меня нечего. Тебе же легче будет... Найдешь про себя невесту стоющую, честную, не этакую!

— Параня... да не надо мне никого, кроме тебя... Неужто же... неужто и вправду?.. Ой, Параня, смерть моя... Тошно мне!.. Нету, нет, не говори этого... Богом тебя прошу!..

У Феди оборвался голос. Он не мог говорить, у него сдавило горло от задушенных рыданий. Параня пристально посмотрела на Федю, и в душе ее как будто пробудилось вдруг нежное, доброе чувство.

— Эх, Федя, Федя! — промолвила она точно невольно,— душевный ты, хороший!.. Жалко и мне тебя!.. Хоть бы хоть что-нибудь... хоть бы мало-мало какой прибыток у тебя был, а то и нет ничего, да и ждать-то нечего... Горький ты, горький!.. Уж не знаю, как, что и делать...

— Параня... подожди, подожди, родная!.. Справлюсь я!.. Не думай!.. Не будешь в нужде жить за мной... Ждала, подожди еще...

— Да, все жди да жди!.. Да дождешься, пожалуй, что и того хуже будет... Нет, видно, Федя, не я — твоя судьба... И родня вся твоя против меня, и отец твой благословенья не дает, и моя мамонька не желает тебя, что беден... да и тебе не такую нужно!.. Откажись ты лучше сам от меня. И мне бы легче было, не думалось бы...

— Нету, Параня, нету!.. Не быть этому, чтобы не была ты моя... Никому не уступлю тебя, а не то, что отказаться по доброй воле... До беды дойдет... коли кто только задумает отнять тебя... Я вижу, что мать тебя против меня подбивает... Не слушай ее, ты не такая!.. Вижу я теперь, все понимаю. Это ты не по себе говоришь, не от своего сердца слова, а тебя мать подбивает, ее наущенье!.. Она тебя на что-нибудь недоброе наущает, через тебя хочет богатой сделаться... Не поддавайся, Па-

раня, не слушай ее!.. Без нее ты и нужды бы не побоялася... и слов бы этих не говорила... Нехорошая она!...

— Не замай ты матушку... Я твоей родни не трогаю! — раздражительно остановила его Параня.— Ни к чему меня мамонька не нудит, ничему нехорошему не учит, во всем моя воля, что захочу сама, то и сделаю!.. Сама я бедности не хочу, сама под неволю даром не пойду!.. Не звать бы тебе меня на фабрику, не дразнить, как богатые живут, не показывать... В деревне бы я, может, скорее и за тебя, каков ты есть, пошла... Вот что!..

Минутный проблеск сочувствия снова исчез и на лице, и в глазах, и в голосе Парани. Она опять сделалась серьезна и холодна, а в душе Феди опять поднялась прежняя буря сомнений, тоски, горя и какой-то злобы.

В таком настроении он отобедал или, лучше сказать, просидел обед, потому что кусок ему не шел в горло; в таком возвращался, задумчивый и мрачный, после обеда на фабрику, как вдруг встретил на половине дороги Кирилла. Федя отвернулся и хотел пройти мимо, как будто не видал, но Кирилла остановил его.

— Здорово живешь, Федор Герасимыч,— сказал он дружеским тоном.— Чтой-то больно невесел?.. Да ты не отворачивайся, не сердись на меня... Ну, что старое поминать!.. Нам теперь с тобой ссориться не из-за чего, обоих нас с тобой одна змея ехидная ужалила, давай лучше вместе и горе загуливать... Ты под меня подкапывался. Думал, увезешь от меня, так и твоя будет... Да нет, брат, сам теперь видишь,— не такая она, не по нашему рылу это кушанье, выходит!.. Я уж наплевал на нее и рукой махнул!.. А ты неужто и после этого еще не одумался, все еще, не взирая на то, жениться хочешь?.. Полно на срам-то идти!.. Наплюй и ты лучше. Ведь все знают... Только на смех себя пустишь!.. Я, вот, давно ли здесь,— всего третий день, а уж и то все уши прожужжали...

— Про что ты говоришь? — спросил Федя, задыхаясь и едва шевеля засохшими губами. Он смотрел на Кириллу помутившимися глазами и видел его как через туман. В голове и в ушах у него стоял страшный шум и звон.

— Ну, вот что тут притворяться!.. Точно не знаешь?..— говорил Кирилла, нахально ухмыляясь.—Вся фабрика в один голос говорит, что хозяйский сын купил Параньку у матки и живет с ней. У старшего приказчика

и видаются... Видели, как матка и торговаться-то с ним приходила... Знают, сколь и взяла-то!..

Федя остановился. Он едва стоял на ногах, голова у него кружилась, кровь точно застыла в жилах, в глазах потемнело. Несколько мгновений он стоял неподвижно, смотря в упор на Кириллу, точно силился рассмотреть и узнать незнакомого человека...

— Что, брат?.. А ты думал, не знают, что ли?.. Все знают!.. Видно, шила в мешке не утаишь!.. По матушке, знать, пошла, а ты полагал,— честная она, безгрешная душа?.. Эх, простота!..

Кирилла хохотал. Этот наглый смех точно разбудил Федю, словно кто ножом пырнул его в самое сердце так больно, невыносимо больно...

— Подлец! — вдруг вскричал он и неожиданным страшным ударом кулака окровавил Кирилла и сшиб его с ног.

Валяясь в снегу, Кирилла кричал: караул! а Федя, даже не оглянувшись на него, медленно, пошатываясь, почти не сознавая, что он сделал, пошел без мысли вперед, по привычной дороге, в мастерскую. Здесь он опустился на скамью около своего верстака и, навалившись на него спиною, сидел некоторое время без всякого дела, опустя руки, с неподвижным взглядом; он ничего не думал, а только как будто прислушивался к невыразимо болезненному чувству, которое сжимало его сердце. Затем он совсем машинально принялся за свою обычную работу; физический труд мало-помалу возвратил его к сознанию.

«Что делать?..— думал он.— Допытаться у нее?.. Нет, идти к Александру Кузьмичу, спросить его прямо, правда ли?.. Запрется,— узнаю по глазам!.. А если правда?.. Если правда?..»

Федя вздрагивал и без надобности, с озлоблением начинал рубить топором совершенно обделанную, выструганную, пригнанную в дело штуку. Вдруг явился за ним посланный от Александра Кузьмича. Федя торопливо, как был с топором в руке, без кафтана и шапки, пошел было вслед за посланным; но, сделавши несколько шагов, опомнился, бросил топор и оделся.

— Федор, что с тобой?.. На тебе лица нет... Здоров ли ты? — спросил Александр Кузьмич, взглянувши на вошедшего Федю.

— Ничего... Здоров...— отвечал тот.

— Да что же ты какой?.. Верно, нездоров?.. Садись, пожалуйста.

Федя молча сел.

— Я за тобой послал, чтобы посоветоваться... сказать тебе новость,— продолжал Александр Кузьмич, удивленно смотря на Федю.— Да ты скажи мне сначала, не случилось ли чего-нибудь?..

— Вам лучше знать!.. Вы мне скажите,— отвечал Федя, впиваясь глазами в Кошатникова.

— Я, брат, ничего не знаю. Третий день из дома не выхожу!.. Ты меня пугаешь. Растолкуй, пожалуйста!..

— Скажите мне всю правду,— заговорил Федя, поднимаясь со стула и подходя вплоть к самому Кошатникову,— всю правду скажите!.. Я по глазам узнаю!.. Купили вы Параню у матери себе в любовницы?..

— Что ты... Господь с тобой!.. Ты с ума сошел, Чернушкин! — отвечал Кошатников с испугом, невольно отодвигаясь от него.

— Все говорят... вся фабрика!.. Скажите мне правду... Ради господа, скажите! — умолял Федя, наступая на Александра Кузьмича.— Я ничего вам не сделаю... ничего... Только скажите...

— Да ты смотри же на меня... Это неправда!.. Богом тебе божусь, неправда!.. Да разве я такой?.. Разве бы я мог?.. Что ты?.. Как тебе не стыдно, Чернушкин, что за подлости ты обо мне думаешь!..

— Нет, нет, не думаю! — вскричал Федя, вдруг оживая.— Нет, слава богу, нет!.. Вижу, вздор, сплетня!.. Простите вы меня, Александр Кузьмич. О, разбойник этакой, подлец! Он нарочно это выдумал!..

— Да кто, кто это тебе сказал?

— Кирюшка... А отчего же, отчего же она-то мне все это говорила? — думал вслух Федя, снова поддаваясь подозрениям.

— Александр Кузьмич, вы ее ничем не сманивали, не подговаривали, ни ее, ни мать?.. Я видал, вы смотрели на нее, а в уме у вас не было, чтобы сманить ее от меня, али виду вы какого-нибудь не давали ли, чтобы в любовницы ее взять, богатой сделать?..

— Да нет же, я тебе говорю, нет. Ни с матерью, ни с ней, ни с кем слова не говаривал ни о чем таком... Да

брось ты это... Как тебе, я говорю, не стыдно думать-то обо мне так?..

— Ну так это сама мать надумала. Вот оттого, что видела, вы засматривались на нее, вот и придумала... От нее станется!..

— Я было позвал тебя о своем деле потолковать, да, вижу, теперь ты ничего не поймешь, ни о чем говорить не можешь...

— Нет, нет, теперь ничего, отлегло!.. Я могу все понять... Говорите...

— Видишь что. Отец прислал письмо, нашел мне невесту, велит приезжать в Москву, а я не хочу жениться по принужденью — и не слушаюсь, не еду... Мне обидно!.. Я не пешка, я человек, мной нельзя так распоряжаться!.. Я тогда женюсь, когда сам захочу, полюблю, или выберу невесту сам... а не по приказу!.. Алена Николавна говорит, что я должен жениться на нелюбимой, но богатой, для нашего дела, для общей пользы... Но ведь этого нельзя требовать... Ты как думаешь?.. Что я буду за человек, если мной будут помыкать?.. Ведь это подлость!.. Ты как думаешь?.. Ты сам ведь не слушаешь отца, а женишься против его воли... Алена Николавна про тебя, наоборот, говорит, что ты бы не должен жениться, что тебе это будет мешать... А ты ведь никого не послушаешься... и для дела не откажешься от Парани?.. Ведь нет?.. Ты мне скажи, ты как думаешь, как я должен поступить?... Слушаться мне отца и Алены Николавны или нет?..

—Да вы из-за чего не хотите жениться?.. Вы не из-за того, что поневоле!.. Вы полюбили кого-нибудь... Вы Параню полюбили!.. Из-за нее вы жениться не хотите!..

Чувство ревности и беспокойства опять охватило Федю, тем более что Александр Кузьмич при последних словах его вспыхнул, видимо смутился, и хотя отвечал отрицательно, но какими-то несвязными, ничего не значащими фразами.

— Не отдам я ее вам, Александр Кузьмич, не отдам! Не любить вам ее, как я люблю... Это одно баловство в вас!.. Позавиствовали только на мое счастье!.. Бросьте вы это, Александр Кузьмич, бросьте!.. Выкиньте ее из головы... Не уступлю я ее никому!.. Беды наделаю!.. То говорил, хоть бы поневоле женил меня отец да фабрику и капитал поскорее в руки отдал, показал бы я тогда,

как народ люблю, как бедных жалею, всех бы кругом себя счастливыми сделал... ничего мне самому не надо... не хочу владеть этакими деньгами!.. А теперь что?.. Приглянулась чужая невеста, так и все свои обещания позабыл. Ведь не женитесь, так отец остатки скрутит вас по рукам, по ногам, последних денег лишит... А как же школа-то, как же все дело-то наше?.. Или на все наплевать? Пускай все пропадает?.. Зачем уж притворяться, Александр Кузьмич?.. Делай начистоту и девчонку деньгами сманивай, поторгуй у матери. За хорошие деньги она продаст!.. И женись на купчихе богатой, и фабрику получи, а от меня да и от всех нас долго ли отделаться. Дохни только,— сейчас уберемся... Но только помни, Александр Кузьмич, женись — не женись, а Параню живой я тебе не уступлю... Побереги и свою голову!..

Федя, как сумасшедший, выбежал от Кошатникова, оставив его в совершенном смущении. Некоторые слова Феди казались ему голосом его собственной совести, другие преувеличенным упреком, незаслуженным оскорблением. Он и стыдился, и негодовал, негодовал на самого себя за свою бесхарактерность и слабость и на своих друзей,— за то, что они хотели его эксплуатировать, видели в нем только орудие, а не самостоятельную, деятельную личность. В нем пробудилась гордость, чувство собственного достоинства.

«Я же вам всем докажу, что я не подлец и не тряпка какая-нибудь! — мысленно ободрял он сам себя.— Я не позволю собой распоряжаться всем и каждому... Пускай мне Параня нравилась, но я не из-за нее только не хотел жениться поневоле, по приказу... а потому, что это — подлость, унижение!.. И я не женюсь, не послушаю ни отца, ни вас!.. А чтобы обеспечить школу... и Промптову обещал денег... вот что сделаю: завтра же скажу, что выздоровел, что хочу ехать, потребую от Дмитрия Тимофеича тысячи две денег, будто на дорогу, на платье, на всякие жениховы расходы... Ради этого он не откажет... подумает, что и отец не будет бранить... Получу деньги, отдам их Алене Николавне, а сам не поеду... И пускай там будет, что будет!.. По крайней мере, все увидят, что я не подлец... а хочу быть только самостоятельным и таким же деятелем, как они!.. А Федор опомнится, увидит, что я неспособен на такие подлости, как он говорит!.. Он

раскается в своих словах и сам придет прощения просить!..»

На этих мыслях Александр Кузьмич успокоился, ободрился и на следующий день объявил себя выздоравливающим и готовым ехать в Москву. Дмитрий Тимофеич, как он и ожидал, беспрекословно выдал ему две тысячи рублей... И он, и Лизавета Кузьминишна, боявшиеся, что тятенька объяснит непослушание Александра их интригой и подговором, чтобы, дескать, не выпускать из рук фабрики, были очень довольны переменой намерений братца и всячески старались угодить ему, торопя в то же время сборами в дорогу... Но, к ужасу их, Александр Кузьмич, получивши деньги, стал откладывать свой отъезд день за день, вновь ссылаясь на нездоровье.

V

Кузьма Иваныч, рассерженный телеграммою зятя, что «братец Александра, захворавши, тотчас не выезжает», был вслед затем совсем уже и удивлен, и донельзя взбешен следующим письмом от Петра Архипыча, которое пришло дня через три после телеграммы.

«Милостивому моему великому, благодетелю и покровителю, Кузьме Ивановичу.

От преданного раба вашего и слуги Петра Архипова.

Об ваших делах не знаю как и осмелиться доложить вашему степенству, чтобы недостаточно обеспокоить вашу милость, а только что оченно нехорошо и мне не по мысли, а утаить тех обстоятельствов, по обязанности моей, вашей чести несогласен. Пущай же пострадаю, а должен доказать по всей справедливости. Первое, что насчет Александра Кузьмича здоровья,— сумнительно мне, чтобы точно были нездоровы, а так полагаю, что нежелательно им теперича, по ихным молодым делам занятиям, в законный брак вступить уж не знаю доподлинно, по губернанке ли по старой, которая бывшая Алена Николавна, а теперь в удалении от дома на деревне живет, либо по этой самой Параньке. Слежу всячески, и не думно мне это пока время, а только что совокуплены оныя вместе, губернанка с Паранькой, в одном дому, и мною было говорено достаточно и матери, и Параньке насчет всякого воздержания от Александра Кузьмича;

и жених этот Федька тут, завсегда при них, и ваше намерение, говорил, осчастливить их, и в том надеюсь, только матка — баба лукавая и жадная, до вас оставила, переговорить желает. А второе их занятие,— училище завели для праздного народа, сманивают ребятишек и даже рабочих в большом секрете, но я проник, и к чему это, и с чего взялось, все обстоятельно дознаюсь, а только что есть, и учитель заведен, и там с этой губернанкой свидание имеют, и Параньку водили, а Федька при том тоже был в учителях. Но окромя того, что оный Федька при том был, и дело всенародное, насчет Параньки с Александром Кузьмичом не полагаю, а больше того думаю, что все это с запотрою той губернанки заведено. И ходит она теперь, и ведет себя в мужицком роде, даже в полушубке,— видно изо всего, что до самого разврата дошла, что непременно нужно Александра Кузьмича, по невинности и добродетели ихной, от всех этих предметов развратных освободить и сочетать законным браком для общаго благополучия, чтобы, чего боже сохрани, эта мерзавка, губернанка, даже до венца с собой не довела, потому ей, голой, в этакое высокое родство вступить лестно».

Прочитавши это письмо, Кузьма Иваныч, как грозная буря, поднялся, свился и полетел в Старое село. Он явился туда совершенно неожиданно, упал, как снег на голову. Уже одно его появление произвело общую панику в семье. Встревожился Дмитрий Тимофеич, перетрусилась Лизавета Кузьминишна, упал духом в ожидании развязки и Александр Кузьмич. Страх был тем более велик, что, приехавши, Кузьма Иваныч прошел прямо в свои комнаты, не хотел видеть никого из родной семьи, а велел позвать к себе Петра Архипыча и заперся с ним.

— Вот, братец, наделали беды. Это он из-за вас гневается! — упрекал Дмитрий Тимофеич Александра Кузьмича.

— И что теперь с тобой будет, Саша? — вторила мужу Лизавета Кузьминишна.— Из-за тебя теперь и нам всем беда будет...

— Ничего не будет!.. Я один отвечу! — храбрился Александр Кузьмич, бледнея.

Приехал Кузьма Иваныч перед вечером, и вся семья, собравшись в столовой, ожидала, когда кончится аудиенция Петра Архипыча, и не решалась даже приступать

к чаю, не зная, угодно ли будет самому выйти, или потребует чаю к себе. Лизавета Кузьминишна, вся красная и потная, сидела в тревоге перед кипящим самоваром, потихоньку переставляя чашки с одного места на другое. Дмитрий Тимофеич, опустив набок голову, тихими шагами расхаживал по столовой, от времени до времени покачивая головой и дотрагиваясь руками до висков, точно вспоминая старое, давно минувшее время, в которое эти виски отвечали за него. Александр Кузьмич сидел неподвижно, развалясь на стуле, вытянувши ноги, и нервно барабанил пальцами по столу; он старался казаться спокойным, но лицо его было бледно и обличало душевную тревогу.

Вдруг пришли сказать Дмитрию Тимофеичу, что приехал становой и настойчиво требует, чтобы доложили о нем немедленно самому Кузьме Иванычу.

Дмитрий Тимофеич побежал к нему. Такое смелое и настойчивое требование со стороны станового о свидании с самим не могло быть без особенно важной причины. Становой был такой маленький человек для Кузьмы Иваныча, что он обыкновенно считал за особенную честь, если Кузьма Иваныч удостоивал его позвать к себе, а не то что требовать, да еще настойчиво, свидания с ним.

Дмитрий Тимофеич нашел станового в конторе, расхаживающего из угла в угол большими шагами. Это был высокий, белокурый господин, с совершенно статскою наружностью, но в полувоенной форме и с очевидным желанием казаться военным человеком.

С очень озабоченным видом поздоровался он с Дмитрием Тимофеичем. Тут же у стенки, облокотясь на нее, с нахальным видом стоял Кирилла.

— Да какое дело-то, вы мне только скажите? — допытывался Дмитрий Тимофеич у станового.

— Не могу, Дмитрий Тимофеич, не могу сказать,— отвечал тот,— лично и секретно должен переговорить с самим!.. Одно вам доложу, дело весьма важно и не терпит отлагательства!.. Еще если б самого не было, так в крайности может быть и вам бы сказал... Но, к счастью, он сам тут; лично должен переговорить...

— Да я не знаю теперь, как сказать-то ему, только-что приехал, отдыхает с дороги... Пожалуй, не примет, рассердится...

— Ну, как угодно. Пускай примет, потому что дело

не такое... После сам пожалеет, если не примет. Так и скажите!..

— Не знаю, право, как и быть... А это кто же, что за человек? — спросил Дмитрий Тимофеич, указывая на Кириллу, которого сначала не заметил.

— А этот человек... со мной... Он тоже пойдет со мной к Кузьме Иванычу...

— Как, и он? — удивился Дмитрий Тимофеич.

— И он... всенепременно! — загадочно отвечал становой.

— Да, без меня нельзя! — нахально и многозначительно подтвердил Кирилла...

— Да вы поскорее, пожалуйста, Дмитрий Тимофеич... а то... смотрите!

— Ну, так пойдемте... Нечего делать...

— Да послушайте, нельзя ли вам так нас провести, чтобы народу нас поменьше видело... Я нарочно вечером приехал и без колокольчика...

Эта оговорка еще более встревожила Дмитрия Тимофеича. Он взглянул пристально на Кириллу и старался припомнить, где его видал? Он вспомнил, что видел его мельком на фабрике, когда Кирилла приходил к Петру Архипычу наниматься в рабочие и получил отказ.

Оставивши станового с Кириллой в передней комнате, Дмитрий Тимофеич не совсем смело подошел к запертой двери в спальню Кузьмы Иваныча и постучался.

— Какого черта? Кто тут? — послышался сердитый вопрос, прервавший разговор, пред тем происходивший шёпотом.

— Это я, тятенька...—отвечал Дмитрий Тимофеич.

— Что тебе? — Сказал: никому не ходить, никого не нужно!..

— Господин становой приехал, требует немедленно вас видеть...

— Что-о?.. Становой?..— переспросил Кузьма Иваныч таким голосом, в котором слышался и гнев, и удивление.

— Говорит, по очень важному делу и сею минутою нужно вас видеть...

— Мало что, подождет до завтра!.. А больно нужно, отбери ты...

— Удивительно, в самом деле!.. Никогда этого не бывало! — послышался за дверями голос Петра Архипыча, поддерживавшего настроение патрона.

— Тятенька-с...

— Ну, что еще?..

— Он мне не сказывает... Говорит, только вам можно объяснить самолично... и секретно... Такое дело!.. Говорит, сами жалеть будете, если не примете его...

— Что за... Ну, уж я ж его, коли с пустяками... Веди его коли... Отопри, Архипов, да выйди пока... Подожди там... Что еще за чудеса?..

Становой вместе с Кириллой вошли в спальню Кузьмы Иваныча, где он лежал на кушетке в одной рубахе, беседуя с Петром Архипычем, и остался так, даже не пошевелился при входе станового.

— Здравствуйте, Кузьма Иваныч...

— Здорово, брат, здорово... Боек ты ноне стал очень что-то... Насильно лезешь!..

— Дело такое-с, Кузьма Иваныч,— уверенно и многозначительно произнес становой.— Теперь позвольте вас попросить, чтобы в совершенном секрете, никто чтобы не подслушивал... Дмитрий Тимофеич, пожалуй, могут остаться, но больше чтобы никто...

— Архипыч, стой там в передней, чтобы никто не вошел,— распорядился Кузьма Иваныч и уже, несколько озабоченный предосторожностями станового, привстал и сел на той же кушетке.

— А это что за человек?.. Этот зачем здесь? — указал он на Кириллу.

— А вот сейчас все вам ясно будет, все объясню! — отвечал становой, заглядывая в соседнюю комнату.— Призаперли бы вы ту комнату, Дмитрий Тимофеич, для всякой осторожности...

Дмитрий Тимофеич запер дверь. Петр Архипыч тотчас же припал к ней ухом, но он слышал только начало секретного разговора, пока говорили вслух.

— Да ну же... Не мучь!.. Что за оказия! Кажется, никакой уголовщины за мной нет,— говорил Кузьма Иваныч.

— А я приехал собственно для вашего предупреждения, Кузьма Иваныч,— отвечал становой.— Во что почтете,— не знаю, а дело много хуже уголовного... Сынок ваш пропасть может!.. Вот этот человек доставил мне следующие предметы... Изволите видеть?..

Тут начался разговор шёпотом, и Петр Архипыч напрасно напрягал свой слух. Что происходило за заперты-

ми дверями,— осталось тайною для Петра Архипыча, но через несколько времени из спальной вышел Дмитрий Тимофеич с испуганным, совсем расстроенным лицом, сопровождая станового и Кириллу, лица которых, напротив, сияли полным довольством. Проходя мимо Петра Архипыча, он торопливо сказал ему:

— Добеги, Архипыч, в кучерскую... Вели сейчас же тройку разгонных закладывать... да живее...

Через несколько минут в спальню к Кузьме Иванычу был введен затем Александр Кузьмич, на которого накинулся родитель. Слышались ругательства, проклятия, угрозы, после которых Александр Кузьмич вышел от отца совсем растерянный, уничтоженный.

Через час он, наскоро собравшись, вместе с сестрою ускакал в Москву.

Месяц спустя, Кузьма Иваныч давал на старой фабрике пир по случаю бракосочетания сына Александра Кузьмича с дочерью почетного гражданина Евпраксиею Зотовною Лебедкиной, как значилось на пригласительных билетах, заказанных в Москве и разосланных по всем знакомым тузам-капиталистам.

Дарья Тихоновна на этом пире исправляла должность экономки, а Параня — ее помощницы. Обе они были нарядны и веселы, но дочери Кузьмы Иваныча от них отворачивались.

Александр Кузьмич несколько раз сталкивался с Параней. Она пополнела и как будто немного обрюзгла, но была хороша по-прежнему и при встрече взглядывала на молодого тем взглядом, от которого и теперь, как прежде, кидало его в жар. Но Кузьма Иваныч только два дня позволил молодым прогостить на старой фабрике и отправил их в Старое село, где в числе приказчиков Александр Кузьмич увидел вновь определенного, по приказанию отца,— Кириллу Федотова. О Феде, Алене Николаевне и Проскурове там давно не было и слуха.

Новая фабрика по-прежнему находилась в руках Дмитрия Тимофеича и Петра Архипыча, под верховным надзором Кузьмы Иваныча. Александру Кузьмичу предоставлено было жить на ней в качестве будущего хозяина, «пока не соберется вовсе с умом, не забудет своих прежних глупостей и не докажет своим рассудком и поведением, что ему можно дать дело в руки»...

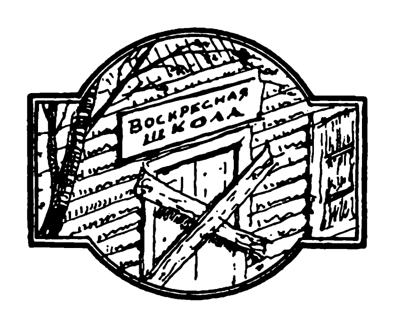
Впрочем, он мог теперь наслаждаться семейным счастьем и ездить с женою в Москву, когда вздумается.

От времени до времени он получал какие-то письма, которые очень старательно уничтожал. В дни получения этих писем он был сам не свой, старался не смотреть никому в глаза и как-то недоверчиво и робко оглядывался по сторонам. Этот робкий, как бы испуганный взгляд сделался потом постоянным и остался у него на всю жизнь.

Анна, после того как Кирилла ушел вовсе из дома, потерявши всякую веру в снадобья и знахарство Арины Панкратьевны, перешла жить к отцу; а Федот Семеныч одиноко с женою доживал свой век в маленькой избушке среди пчельника.

Большая изба стояла заколоченной. Никогда ни слова не говорил о сыне и старался даже не вспоминать о нем; зато нередко он вздыхал, вспоминая Федю, и обыкновенно при этом приговаривал:

— Эх, задаром пропала золотая головушка!..



А. А. ПОТЕХИН

(Биографическая справка)

Писатель и драматург Алексей Антипович Потехин родился 1 июля 1829 года в приволжском городке Кинешме, в семье мелкопоместного дворянина, казначея уездного суда.

Окончив костромскую гимназию, а затем ярославский Демидовский лицей, А. А. Потехин служил некоторое время на военной службе. Но эта карьера, с её бессмысленной муштрой, чинопочитанием, не могла увлечь будущего писателя. Он бросает военную службу, поселяется в Москве и сходится с кружком молодых литераторов, в числе которых был драматург А. Н. Островский.

В 1852 году Потехин печатает этнографические очерки на близкую ему тему — о Волге, Кинешме, где он провел свое детство. Один из этих очерков — «Забавы и удовольствия в городке» — был помещен в некрасовском журнале «Современник», лучшем и передовом журнале того времени. Это послужило началом знакомства Потехина с Н. А. Некрасовым. Оно продолжалось до самой смерти великого поэта.

Вскоре А. А. Потехин пишет свой первый рассказ «Тит Сафроныч Казанок», а потом и крупный роман «Крестьянка», хорошо принятые читателями. Один из критиков писал: «Литература приобретает нового талантливого, честного и плодовитого деятеля».

Все же А. А. Потехин не сразу становится писателем-профессионалом. На два года он уезжает в Кострому и служит чиновником особых поручений. Однако чиновничья служба, как и военная, не удовлетворила писателя. Ему была противна затхлая атмосфера ра-

болепия и взяточничества. Он окончательно решает, что литературное дело — это его призвание.

Осенью 1853 года А. А. Потехин по совету А. Н. Островского написал пьесу из крестьянского быта «Суд людской — не божий». Пьеса была напечатана в журнале «Москвитянин» и с большим успехом поставлена в Петербурге.

В письме к А. Н. Островскому начинающий драматург писал:

«Общество ваше лучшая для меня школа: я чувствую, как взгляд мой на великое дело искусства развивается...»

В этом же письме А. А. Потехин называет великого драматурга «образцом и страшным судьею».

Вслед за первой в 1855 году появляется вторая пьеса — «Чужое добро впрок не идет». Она также ставится в Петербурге Александринским театром и получает еще большее одобрение у зрителей.

Через два года А. А. Потехин публикует роман «Крушинский», выступая в нем противником «неравенства происхождения», поборником того, что «все люди равны», и пишет одну из лучших, если не самую лучшую, свою пьесу из чиновничьего быта «Мишура». Здесь помогли писателю его личные наблюдения во время службы в Костроме. В ней он ярко показал насквозь продажный мир губернского чиновничества.

Появление «Мишуры» было отмечено обстоятельной рецензией Н. А. Добролюбова, который писал, что пьеса является «произведением, замечательным по своей силе».

Этот отзыв критика-демократа настолько ободрил А. А. Потехина, что он обратился с просьбой к Н. А. Некрасову, редактору журнала «Современник», включить его в число постоянных сотрудников журнала, среди которых был и Н. А. Добролюбов.

В 1863 году А. А. Потехин печатает роман «Бедные дворяне». В нем он рисует пустую и отвратительную жизнь помещиков, беспощадно обирающих крестьян.

Как драматург А. А. Потехин был довольно плодовитый. Но большинство его пьес, изображающих преимущественно тяжелую жизнь крестьян, встречало иногда непреодолимые цензурные препятствия. Их или запрещали показывать или снимали со сцены после нескольких постановок. Царское самодержавие боялось буквально всего, что хоть в какой-то мере говорило о народе, показывало нищенскую, подавленную жизнь его.

Несмотря на ограниченность своих взглядов, А. А. Потехин все же отражал глубокие социально-экономические противоречия распадающейся, классово-расслаивающейся деревни. Писатель видел, как одна, наиболее многочисленная, часть крестьян разорялась, нищала, увеличивая количество деревенской бедноты, а другая часть

богатела, превращалась в кулачество, деревенскую буржуазию. В частности, в очерках «Деревенские мироеды» он ярко показал тип жестокого кулака, торговца и ростовщика Николая Ивановича Курощупова. Под видом «благодетеля» и «доброго человека» он сумел закабалить всю деревню Пустополье.

Необходимо также отметить, что в некоторых своих произведениях А. А. Потехин сильно, без прикрас изобразил представителей духовенства. Все они, благовидные с виду, оказываются в действительности ханжами, льстецами, дармоедами и нечистыми на руку.

Как беллетрист А. А. Потехин оставил значительное наследство. За долгую жизнь (писатель умер 16 октября 1908 года) он написал много очерков, рассказов, несколько повестей и романов. Для нас наибольший интерес представляют его последние по времени создания романы — «Около денег» и «Молодые побеги». В них изображено развитие капитализма в текстильной промышленности, хотя скупо, но достаточно верно показаны быт и положение рабочих, многие из которых еще не совсем порвали связь с крестьянским хозяйством.

Несмотря на остатки крепостничества, развитие промышленного капитализма после реформы 1861 года пошло быстрыми темпами. Оно коснулось и сельских фабричных районов. Вместо полуручных и примитивных заведений стали вырастать огромные машинные фабрики. Формирование постоянных рабочих кадров внесло новую и живую струю в патриархальный общинный быт деревни. Это отразилось не только на внешнем облике вчерашних крестьян, но и на их мировоззрении.

В романе «Около денег» показана семья фабриканта Терентия Савельича Скоробогатого, раздираемая жаждой личного обогащения. В целях скорейшего получения в наследство фабрики и капитала Иван Терентьич, сын Скоробогатого, молчаливо соглашается на сожительство своей жены с Терентием Савельичем. Сам же Иван Терентьич ухаживает за Аленой Федоровной, женой Капитона Обожжухина, рабочего их фабрики. Но Капитон, этот продувной бестия, ловкач и хитрец, зная о разладе в семье фабриканта, в свою очередь «увивается» около Степаниды Терентьевны, престарелой и богомольной дочери Скоробогатого, которая, однако, тоже не прочь прибрать к своим рукам награбленные отцом деньги. Обожжухин понимает, что через Степаниду, «разлапушку», можно «хапнуть», урвать кое-что из тугих карманов Скоробогатого.

Капитон Обожжухин — это не рабочий в настоящем смысле слова, не пролетарий. Его пребывание на фабрике временное. Он мечтает сделаться купцом, фабрикантом, чего бы это для него ни стоило. Постоянные мысли о богатстве, славе буквально не дают ему покоя.

Во имя обогащения Капитон доходит до того, что, скучая, посещает церковь, возится с иконами во время крестного хода,— все это он делает лишь ради того, что у Степаниды можно «хапнуть» денег.

В конце концов Обожжухин добивается своего. Искренне поверив в любовь его, Степанида обворовывает отца, крадет у него несколько тысяч денег и передает Капитону, который, получив их, отталкивает «разлапушку», ставшую ему ненужной.

Несмотря на некоторую растянутость повествования (это общий недостаток творчества писателя), А. А. Потехин верно изобразил один из способов первоначального накопления и развития капитализма, его отвратительную волчью психологию — «коли подошло да урвал, ну, и таланен и счастлив».

Во втором романе — «Молодые побеги» — писатель показывает молодежь, занимающуюся революционной пропагандой среди рабочих фабрики Кошатникова. Правда, и Алена Николаевна, гувернантка директора фабрики, и учитель Василий Якимович, и Федя Чернушкин, молодой талантливый рабочий,— все это наивные революционеры, только еще «молодые побеги». Но сам факт упоминания об этом заслуживает внимания. Да и сама фабричная обстановка изображена здесь полнее и ярче, нежели в романе «Около денег».

Кошатников — это расчетливый капиталист, миллионщик. Земельный надел крестьян окружающих деревень слишком мал, чтобы прокормить их, поэтому договор у него с рабочими очень прост: сколько положит... При двенадцатичасовой работе они получают настолько низкую заработную плату от всевозможных «взысков», что не имеют возможности снять даже мало-мальски сносную квартиру, а ютятся по нескольку человек в общих с хозяевами комнатах.

И тем не менее учитель Василий Якимович, провожая на фабрику Федю Чернушкина, говорит ему:

«На фабрике больше жизни, движения, больше ума и знания, чем по вашим норам... Там скорее не уснешь, там есть люди, можно и научиться и научить».

Конечно, Василий Якимович, один из «молодых побегов», еще далек от понимания настоящих задач. Больше того, как и Федя Чернушкин и Алена Николаевна, женщина весьма начитанная, культурная, имеющая в своей личной библиотеке книги К. Маркса, учитель Василий Якимович едва ли даже представляет себе пути настоящей борьбы с капитализмом.

Алена Николаевна прямо заявляет:

«Сила в нас, в пролетариях... Сила не в деньгах, а в рабочих руках, не в капитале, а в труде».

И её желание послужить своему народу так же выражено искренне и хорошо. Она говорит Феде Чернушкину:

«Служить народу, жить, работать для его блага, для его счастья — какая задача может быть выше этой?»

Несмотря на свое увлечение красивой девушкой Параней, девушкой безвольной и мечтающей о легкой обеспеченной жизни, Федя Чернушкин готов служить народу. Он принимает участие в организованной «кружком» воскресной школе для рабочих фабрики, он не боится возможного ареста за пропаганду среди рабочих. Вообще тип Феди Чернушкина, молодого, грамотного и талантливого изобретателя,— любопытен. Его судьба говорит о том, что капитализм, даже в начале своего развития, своего «расцвета», не способствовал выращиванию талантливых людей, а наоборот — беспощадно мял и душил их. Молодой Кошатников, будущий хозяин фабрики, прикидывающийся от «страшной скуки» революционером,— так и говорит Феде, что у них на фабрике не любят грамотеев, способных людей.

Само собой разумеется, что А. А. Потехин был далек от истинного понимания всех социально-экономических процессов, происходивших в пореформенной России,— писатель не поднялся в своих воззрениях выше честного либерального интеллигента,— но тем не менее А. А. Потехин, как наблюдательный художник, сумел увидеть не только возникновение и развитие капитализма, но и зарождение «молодых побегов» революционного движения.

В этом сильная сторона романов «Около денег» и «Молодые побеги».

СОДЕРЖАНИЕ

А. А. ПОТЕХИН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор *Д. Г. Прокофьев.*
Художник *А. И. Толстопятов.*
Художественный редактор
В. А. Орлов
Технический редактор
А. И. Панкратов.
Корректоры *Н. А. Смирнова,*
В. П. Катышкина.

Сдано в набор 26/I-1960 г. Подписано к печати 21/III-1960 г. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$ — 20,75 печ. л., 34,03 усл. печ. л., 35,44 уч.-изд. л.

Тираж 7000 экз.

КЕ—00320

Ивановское книжное издательство.
г. Иваново, Крутицкая, 9.

Ивановская областная типография,
г. Иваново, Типографская, 6.

Заказ № 444

Цена 10 р. 85 к.

